ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

АЛЬМАНАХ

ОДЕССКИЙ

29

ОДЕССА, 2007

ББК 84(4Укр-4Оде-2Од)63-47я430+63.3,014(4Укр-4Оде-2Од)63я430
Д 362
УДК 821.161.2'06=161.1(477.74-21)-92(082.1)+908(477.74-21)(09)"452.2"

Д 362 Дерибасовская — Ришельевская: Одесский альманах (сб.) / кн. 29 Всемирн. клуб одесситов: Сост.: Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский, О.И. Губарь. — Одесса: "Печатный дом", 2007. — 320 с.

ISBN 966-8099-99-0

Д $\frac{4702640204}{2004}$ $\frac{0503020902}{2004}$

Редактор Феликс Кохрихт
Редколлегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора)
Олег Губарь

Редакционный совет:
Виталий Амурский (Париж), Андрей Добролюбский, Игорь Коваль, Татьяна Липтуга, Игорь Померанцев (Прага), Аркадий Львов (Нью-Йорк), Александр Мардань, Юрий Стоянов (Санкт-Петербург), Михаил Рашковецкий, Нелли Харченко (Берлин), Кармелла Цепколенко.
Фото:
Вячеслав Теняков, Иван Череватенко, Олег Владимирский.

Editor Felix Kokhrikht
Editorial board: Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
Oleg Gubar

Editorial council:
Vitaliy Amoursky (Paris), Andrey Dobrolyubskiy, Igor Koval, Tatyana Liptuga, Igor Pomerantsev (Prague), Arkadiy Lvov (New York), Alexander Mardan, Yuriy Stoyanov (St. Petersburg), Mikhail Rashkovetsky, Nelly Kharchenko (Berlin), Karmella Tsepkolenko.
Photos by:
Viacheslav Teniakov, Ivan Cherevatenko, Oleg Vladimirskiy

ISBN 966-8099-99-0
© Авторство художественных текстов, 2007

От редакции

В нынешнем году исполнилось 180 лет со дня выхода в свет романа "Евгений Онегин", начатого Пушкиным в дни одесской ссылки. Кроме прочих великих достоинств книга эта – еще и первый путеводитель по нашему городу, причем не только поэтический, но и исторический, по которому нынешние историки и краеведы изучают и топографию, и топонимику Южной Пальмиры.

Посланцы Пальмиры Северной сыграли заметную роль в становлении молодого города на берегу Черного моря. Жизнь многих петербуржцев-петроградцев-ленинградцев так или иначе связана с Одессой. Перечисление славных фамилий заняло бы несколько страниц нашего альманаха.

Недавно, в дни, когда отмечалось 100-летие великого ученого и гуманиста Дмитрия Сергеевича Лихачева, впервые были опубликованы воспоминания академика о своем одесском детстве.

Оказывается, его отец перед первой мировой войной был назначен на одну из руководящих должностей в Одесском почтово-телеграфном округе. По инициативе инженера Лихачева здесь, чуть ли не впервые в России, стали развозить почту не на лошадях, а на автомобилях, для чего был построен гараж.

Как вспоминает Дмитрий Сергеевич, "матери в Одессе сначала не понравилось, но затем она уезжала с плачем". Каким же виделся ему наш город спустя такую долгую и многотрудную жизнь? "Жизнь в Одессе, – пишет он, – была очень веселая. Ездили на яхте компаниями в Аркадию, в Малый Фонтан, в Большой Фонтан. В Одессе – замечательный оперный театр с итальянскими певцами, которым удобно было приехать на пароходе"...

"Одесса – та же Италия!" – и спустя почти век Дмитрий Сергеевич верен своим детским впечатлениям и продолжает: "Поэтому опера в Одессе была замечательная, очень хорошая. Ну и народ веселый был. Это вообще была средиземноморская культура".

Удивительно, как точно и образно замечательный мыслитель, истинный демократ, пострадавший за свои убеждения во времена сталинского террора, определил важнейшую составляющую самобытности и самодостаточности нашего многонационального и мультикультурного города.

Лихачев вспоминает свой диалог со знаменитым ученым сэром Исайей Берлиным – другом Анны Ахматовой, родившейся на Большом Фонтане. Дмитрий Сергеевич подчеркнул, что "одесская культура располагает к уличной жизни с многочисленными кафе, к общению, к легкости знакомств".

Завершим эти заметки выводом, который делает академик Лихачев, исходя из воспоминаний одесского детства и опыта огромной жизни, протекавшей в Санкт-Петербурге: "Юмор и игра позволяют народам сблизиться, лучше понимать друг друга".

Мы уверены, что с Дмитрием Сергеевичем согласны и читатели нашего альманаха, и все граждане Пальмир, как Южной, так и Северной.

Особая благодарность —
агентству недвижимости
"БЕЛЬЭТАЖ"

Выражаем признательность за помощь:
фирме "АРХО",
агентству недвижимости "КАПИТАЛ"

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

Елена ПОЛЕВЩИКОВА
Французские волонтеры в Измаиле: неопубликованная записка графа Ланжерона 6

Олег ГУБАРЬ
Дом Никифорова: Успенская, № 21 (Маразлиевская, № 1) 12

А.В. ГЛУШКО
Взаимоотношения академика В.П. Глушко со своими руководителями 15

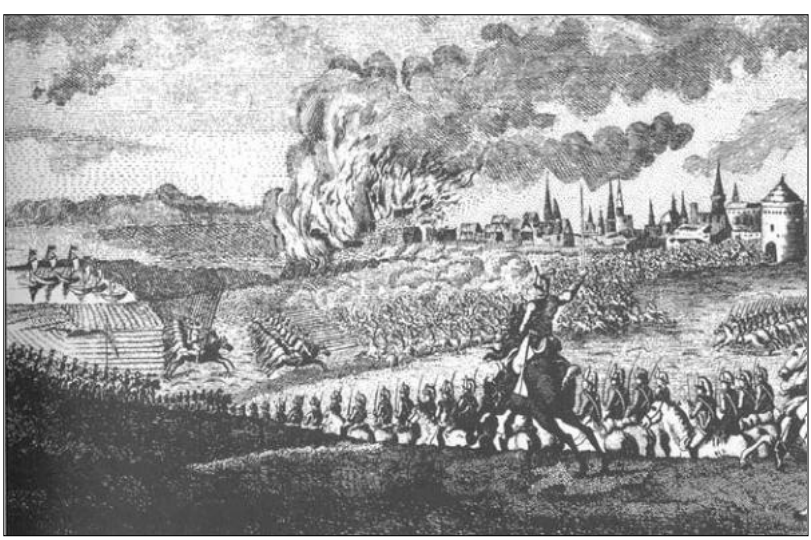
Владимир КАТКЕВИЧ
Внучка Сталина и Кленов на фоне Эвереста 32

Елена ПОЛЕВЩИКОВА

Французские волонтеры в Измаиле: неопубликованная записка графа Ланжерона

Описывая в поэме "Дон Жуан" события, происходившие в конце 1790 года под Измаилом, лорд Байрон сначала демонстративно не желал называть французов среди иностранцев – участников штурма турецкой крепости, хотя и не отрицал факт их присутствия как таковой: "Там были и веселые французы, / Но я – неукротимый патриот: / В столь славный день моя британка-муза / Зазорных их имен не назовет!". (Зато он с удовольствием перечислил "Джеки, Билли, Вилли, Джили..." – "пятнадцать Томсонов и двадцать Смитов!".) Об этом ярком эпизоде русско-турецкой войны английскому поэту было известно из "Истории Новороссии" Г. Кастельно, чему были посвящены следующие строфы, не лишенные сарказма: "Когда бы нам (историк говорит) / Деянья русских описать досталось бы, / Тома б наполнить мог любой пиит – / И многое несказанным осталось бы!" / А потому о русских он молчит / И воздает хвалы (смешно, казалось бы!) / Десятку чужеземцев: Ланжерон, / Дама, де Линь – вот русской славы звон!". Вот об этом "десятке чужеземцев" и пойдет речь.

В конце XVIII века участие в военных действиях против Порты стало для европейцев делом чести. Тон задавали такие блестящие представители эпохи, как принц де Линь, адмирал Нассау-Зиген. Приключение графа Роже де Дама, буквально помчавшегося в Рос-



сию воевать с турками в русской армии в очаковскую кампанию, было вдохновляющим примером для молодых французских дворян.

При этом подобное поведение совершенно не соответствовало официальным установкам французской дипломатии: в ходе русско-турецкого противоборства за господство в Северном Причерноморье Франция поддерживала Османскую империю. Строительством и укреплением ряда турецких крепостей руководили находившиеся на службе Порты французские инженеры. Самым известным из них был Лафитт-Клаве (автор одного из планов Хаджибея), возглавивший работу инженерной миссии по перестройке турецких крепостей Очаков и Измаил.

Одновременно с этим в русскую армию поступают французские офицеры и, как точно подметил исследователь, "мы присутствуем при странном зрелище, как французские инженеры, посланные правительством, помогают туркам укреплять и вооружать их крепости в то самое время, как французские добровольцы в русских войсках готовятся эти же крепости штурмовать".[1]

Начавшаяся революция во Франции усилила приток в русскую армию волонтеров, движимых не только благородными порывами. По признанию Ланжерона, поступившего на русскую службу весной 1790 года, среди них было немало "жалких авантюристов", приехавших в Россию в поисках чинов и высоких покровителей, которых можно одурачить. Неудивительно, что и в армии, и при дворе с таким недоверием отнеслись к Роже де Дама, Ришелье и самому Ланжерону, готовых рисковать жизнью "ради одного лишь страстного желания отличиться".[2] Едва узнав о предстоящем штурме крепости Измаил, Ланжерон и Ришелье (тогда еще герцог Фронсак) вместе с сыном принца де Линя Шарлем немедленно отправились в армию Потемкина. Эта история хорошо известна. Покинув Вену, они "пустились в путь в плохих открытых почтовых каретах и мчались днем и ночью в пасмурную, холодную и дождливую осеннюю погоду, за 9 дней они добрались до Бендер, где тогда находился князь Потемкин".

Впечатления Ришелье от первой встречи со "светлейшим" отражены в его "Дневнике путешествия в Германию, начатом 2 сентября 1790 года". Арман Эммануэль был поражен увиденным: "Князь Потемкин занимал в Бендерах дом паши. Мы вошли через портик и зал, заполненный офицерами всех званий, которые допускались к нему лишь в определенные часы. Нас тотчас же представили. Десять дней и десять ночей путешествия, страшная усталость, пустынная и непросвещенная страна, — [все это] не подготовило меня к зрелищу, которое бросилось мне в глаза, когда я вошел в салон князя: диван из золотистой ткани под роскошным балдахином, пять прелестных женщин, убранных со всем вкусом и изысканностью, какие только возможны; шестая, одетая со всем великолепием греческо-

[1] Миллер К. Французская эмиграция и Россия в царствование Екатерины II. Париж, 1931, с. 281.

[2] Архив министерства иностранных дел Франции (AMAE). Mémoires et documents. Russie. Vol. 20. F. 235.

го костюма, возлегала на диванных подушках на восточный манер. Князь Потемкин сидел один подле нее. Он был одет в разновидность весьма длинной шубы, довольно похожей на халат; это его излюбленная одежда, и зачастую кроме нее на нем ничего нет, и в таком случае он может быть почти обнаженным. Пятьдесят офицеров всех званий стояли в глубине зала, освещенного огромным количеством свечей. Таково было зрелище, подробности которого я заметил, когда мои глаза, ослепленные всем, что их поразило, смогли постепенно распознать все, что окружало меня".[3]

10 и 11 ноября, находясь в Яссах, Ришелье и Ланжерон написали письма князю с просьбой позволить им присоединиться к русской армии, расположившейся под Измаилом.[4]

Среди участников знаменитого штурма в декабре 1790 г. они нашли как своих соотечественников, так и выходцев из других стран (самые громкие имена напрямую связаны с основанием Одессы – де Рибас, де Волан; назовем здесь и кавалера де Россе (Росетти?), впоследствии – инспектора карантина одесского порта, близкого друга Ришелье). В рапортах князя Потемкина и адмирала де Рибаса о взятии Измаила несколько раз упоминаются граф Дама, принц де Линь, герцог Фронсак, "который сражался с отличною храбростию, устремляясь повсюду, где только предстояла опасность". Выделяют и "королевской французской службы полковника графа Ланжерона, оказавшего отменную неустрашимость в атаке неприятеля".

Награждая Ришелье орденом св. Георгия 4-й степени и шпагой с надписью "За доблесть", императрица писала в собственноручном черновом рескрипте на имя герцога: "Вы разделили опасности и усилия столь храбрых и выдающихся воинов".

Французские волонтеры покинули Измаил с ощущением исключительности приобретенного ими опыта – и военного, и человеческого. Они были свидетелями настоящей бойни (приказ Суворова был "взять Измаил любой ценой"), героизма солдат и офицеров, но и мелочной зависти генералов русской армии к успехам друг друга, и интриг при "дворе" Потемкина.

Мемуары Дама, Ришелье, Ланжерона содержат как хорошо известные сведения о самом штурме (эта кампания давно и подробно изучена), так и любопытные "живые" детали о настроениях и поведении его участников. Накануне они вместе ужинали, играли в карты и проболтали всю ночь, наговорив немало глупостей. Сотрапезников было 11 человек; было хладнокровно подсчитано, что каждый третий из них погибнет, и даже бросили жребий, чтобы узнать имена четверых несчастных. Однако все участники застолья остались живыми и почти не пострадали (лишь трое были легко ранены). Впрочем, повезло далеко не всем: французскому волонтеру некоему Буамилону, очевидно, не приглашенному на ужин, оторвало ядром голову. "Прискорбно, что этот триумф стоил такой крови и что он был осквернен беспримерной в истории резней..." – сокрушался Ришелье в своем

[3]Сборник русского исторического общества. СПб., 1887, т. 54, с. 147-148.

[4]См. Записки Одесского Общества истории и древностей. Т. 9, с. 237-238.

"Дневнике". Детали, врезавшиеся в память и приведенные в воспоминаниях, куда красноречивей статистики потерь. Вспоминая, как после штурма они шли по щиколотку в кровавой грязи, Ланжерон уверял, что эта жутковатая краска навсегда осталась на его шелковых чулках, безукоризненно белых еще утром того памятного дня.[5]

Штурм Измаила занимает особое место в послужном списке Ланжерона, принявшего участие, по его собственным подсчетам, в девяти войнах, двадцати двух битвах, тридцати пяти боях, двадцати шести стычках, двух штурмах, пятнадцати осадах и восьми вылазках. На протяжении жизни он неоднократно обращался к памятным событиям конца 1790 года. Воспоминания эти опубликованы лишь частично.

Ланжерон сначала присоединился к своим товарищам в Вене, затем, навестив родственников в Экс-ла-Шапель, направился в Петербург. Очевидно, что как раз тогда, спустя два с половиной месяца после описываемых событий, и была написана приведенная ниже записка. К сожалению, нам неизвестно, кому именно предназначался этот документ, хранящийся в Национальном архиве Франции в бумагах семьи графа. Можно предположить, что это фрагмент письма Ланжерона к их общему с Ришелье другу и корреспонденту – графу А.К. Разумовскому, с которым они могли познакомиться в Вене в том же 1790 году, кем-то переписанный специально для рассказа об измаильских событиях.

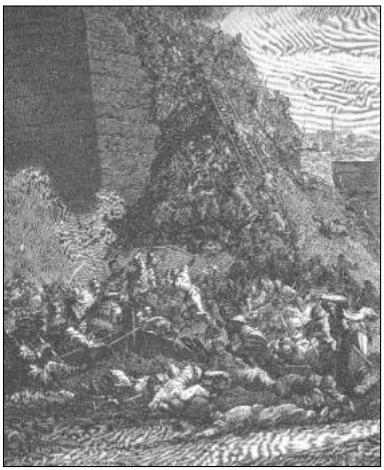
Записка о штурме и взятии Измаила русскими 21 декабря 1790 года г-на Ланжерона, французского офицера, волонтера русской армии

Я обещал вам [сообщить] детали ужасного события, недавно произошедшего здесь, хотя мне вовсе не хочется описывать его; однако сведения, которые я вам передам, представляют такой интерес и значение для государства, которому я служу, что с удовольствием отправляю их вам, вовсе не считая, что поступаю нескромно.

Штурм, предпринятый в Измаиле, — кровавое событие, превосходящее даже штурм Очакова.

Измаил находится на левом берегу Дуная, в тридцати лье от Черного моря. Весьма высокий (и) крутой берег [этот] лишь слегка покрыт глиной, но чрезвычайно прочен, он обнесен частоколом; перед ним вырыт глубокий ров. Со стороны реки он (берег) оставался совершенно незащищен-

[5] См. Damas, comte Roger de, Mémoires. 2 vol. Paris, 1912-1914; AMAE Mémoires et documents. Russie. Vol. 20; Сборник русского исторического общества, т. 54. См. также Pingaud L. Les Français en Russie et les Russes en France, 1700-1900, Paris, 1886.



ным; сознавая важность этой крепости, турки послали сюда сераскера[1], трех пашей, трех султанов из Крымских ханов, семнадцать тысяч янычар, от двенадцати до тринадцати тысяч турок и триста восемьдесят орудий.

1 декабря 1790 года флотилия приблизилась к городу и обстреляла его со стороны реки, три корпуса наземных войск собрались и окружили город; в целом они составляли двадцать пять тысяч регулярных войск и от десяти до двенадцати тысяч козаков: 10-го принять командование армией прибыл генерал Суворов. На другой стороне реки на расстоянии ста и ста двадцати туазов[2] от крепости было построено восемь батарей и в ста туазах от суши — еще четыре. Эти работы закончились лишь 20-го, а турки соорудили вдоль реки укрепление, оснащенное пятьюдесятью четырьмя орудиями. Батареи флотилии начали обстрел 20-го в восемь часов утра: канонада продолжалась двадцать один час, а штурм начался 21-го в шесть часов утра. С помощью лестниц и фашин со стороны суши поднялись четыре колонны, каждая из пяти батальонов и одна колонна из четырех тысяч козаков. Со стороны реки мы высадили десять батальонов и три тысячи козаков. Турки ждали нас, и каждая колонна была обстреляна картечью, ружьями, гранатами, пистолетами и т. д. Несмотря на эти препятствия, штурм состоялся, и с появлением [русских войск] на крепостной стене огонь прекратился. Наши солдаты пиками и штыками атаковали турок, которые были вооружены саблями и кинжалами. Этот бой продолжался пять часов: турки были изгнаны с крепостных стен; они забаррикадировались на улицах, и каждый дом был осажден. Наконец в полдень четыреста турок (оставшихся из тридцати тысяч, защищавших город) сложили оружие, и бой прекратился. Последовавший страшный грабеж закончился лишь на следующий день. Почти во всех колоннах мы потеряли треть убитыми и ранеными, а в одной — две трети. На двадцать три тысячи участников штурма приходилось от шести до семи тысяч жертв, в том числе [погибли] три

[1]Сераскер — заместитель великого везира, руководивший войсками в Османской империи.

[2]Старинная французская мера длины, равная шести футам (около двух метров).

генерал-майора, один бригадир, шесть полковников, более сорока подполковников или майоров и двести-триста [младших] офицеров.



Я был занят в корпусе генерала Арсеньева, взобравшегося на кавальер[3], на более чем сорок футов возвышавшийся над водой, на котором было установлено двадцать две пушки. Пять батальонов, которые составляли эту колонну, предприняли пять атак (приступов) и один самостоятельный маневр. Я попросился следовать за графом Роже де Дама, командовавшим пятьюстами сорока стрелками и десятью офицерами: из них мы потеряли семерых и [кроме того] сто восемьдесят семь солдат. Добравшись до вершины парапета с большим трудом, потому что было очень сыро и скользко (что вынудило нас опираться на штыки солдат, увязших в земле), я имел несчастие быть сброшенным вниз на более чем тридцать футов находившимся впереди меня поскользнувшимся стрелком. Я отделался легким вывихом, от которого страдал совсем недолго. Во Франции граф Дама младше меня по званию, а в России старше. Однако я был рад служить под началом столь достойного младшего (по званию). Фронсак (граф де Шинон, внук покойного г-на маршала Ришелье) продемонстрировал чудеса храбрости в колонне под началом принца Шарля де Линя. Последний ранен в бедро. Князь Гессенский, волонтер, получил сквозное ранение, а одежда г-на де Фронсака дважды задета пулей. Обеспечив русским столько преимуществ для последующей кампании, взятие Измаила вынудит турок заключить мир. Потребовалось несколько дней, чтобы убрать трупы, которыми были заполнены рвы, земляные валы, улицы и большие площади. Не могло быть и речи о том, чтобы спасать раненых, почти все были безжалостно добиты. Были пленные, которые при виде этой жуткой бойни умерли от страха. Quo usque tandem?..[4]

Принц де Линь и г-н де Фронсак отправились сообщить эту новость в Вену.

Филиппвилль, 7 марта 1791 года в 9 часов вечера

[3] Земляная насыпь для установки орудия.

[4] До каких же пор, наконец? (пер. с лат. яз.). Слова Цицерона из речей против Катилины, выражающие гневное нетерпение.

Олег ГУБАРЬ

Дом Никифорова: Успенская, № 21 (Маразлиевская, № 1)

Продолжаем серию публикаций, посвященных традициям градостроительства, архитектуры, риэлторства Одессы и связанным с ним общественным бытом. Неизменный спонсор этой рубрики, агентство недвижимости "Капитал", уже 11-й год плодотворно работает на отечественном рынке недвижимости. Настоящее публикация посвящена удачно реставрированному старому зданию, находящемуся поблизости от Всемирного клуба одесситов.



Сверяясь с реестром объектов культурного наследия Одессы, порой не можешь удержаться от вопроса, по каким принципам он составлялся. Во всяком случае, то и дело удивляешься, почему одним произведениям известных зодчих отдано предпочтение перед другими — вполне равноценными, а то и превосходящими охраняемые памятники по ряду характеристик. Полагаю, многие здания и сооружения остались вне поля зрения составителей означенного перечня по двум простым причинам. Во-первых, они пребывали в довольно-таки сером, убогом, неприглядном виде на момент формирования этого документа, а во-вторых, об этих объектах просто-напросто не нашлось нужной сопроводительной информации, требовавшей дополнительных изысканий. Теперь, когда отдельные из этих неприметных доселе домов превосходно отреставрированы нынешними владельцами, когда они обрели достойный вид, рельефно демонстрирующий их значимость, вероятно, должен быть пересмотрен и их статус, и они должны быть взяты под охрану. Такова, в частности, и судьба далеко не масштабного, однако камерно изысканного, поистине пряничного одноэтажного особняка по улице Успенской, № 21.

Удаленное от раннего исторического центра, это место продолжительное время застраивалось менее плотно. Так, на плане архитектора Г.И. Торичелли 1828 года этот угол Успенской и будущей Новой (Маразлиевской) улицы вообще не застроен. Лишь на месте дома № 23 мы видим небольшой флигель по красной линии Успенской. В принципе, улица Новая фигурирует на планах города, по крайней мере, со второй четверти позапрошлого столетия, однако активная ее застройка началась только



в 1860-е годы, и особенно с 1875-го, после официального основания Александровского парка. Постепенно здесь складывался район элитарных особняков. Одним из них и стал дом Никифорова, возведенный в том же 1875 году на углу Успенской и Новой улиц. Спроектирован и построен он не каким-нибудь второстепенным архитектором, а знаменитым Леоном Леоновичем Влодеком — строителем "Большой Московской", "Пассажа", дома Фальц-Фейнов, цирка Санценбахера и многих других выдающихся памятников градостроительства. О нем я уже рассказывал в предыдущих очерках, опубликованных в нашем альманахе, а вот о домовладельце Никифорове, его соседях и преемниках сказать, конечно, надо.

Антон Константинович Никифоров — один из видных и заслуженных юристов Одессы третьей четверти XIX века. Получив университетское образование, он много лет служил участковым мировым судьей, каковая служба требовала огромной самоотдачи, была связана с тяжелыми нравственными страданиями. Начинал он секретарем Одесского окружного суда в чине губернского секретаря. В конце 1870-х был уже мировым судьей в 15-м участке, на Тираспольской улице, где его клиентами зачастую становились "погибшие, но милые создания", содержательницы близлежащих домов терпимости, разного рода мазурики и маклаки. В конце 1870-х — первой половине 1880-х он имел скромный (пушкинский!) чин коллежского секретаря, в 1883-м возглавил 12-й мировой участок, "камеру" которого и разместил в собственном особняке, носившем в ту пору № 17. Там он жил и там принимал "клиентов".

Соседями его были лица весьма интересные, хорошо представляющие пестрый и пряный лик города: наследники генерала Гофмана, греческие негоцианты Парпутти, итальянец Мокко (о родоначальнике этого семейства, карантинном боцмане Луиджи Мокко, напишу как-нибудь отдельно), крупнейшие предприниматели итальянского же происхождения Анатра, еврейское семейство Двойрих и русское — Ивановых. Много лет добросовестно служа городу, А.К. Никифоров заработал авторитет, сделался статским советником, казначеем и членом комитета (директором) Одесского городского кредитного общества. В самом конце 1890-х он был уже почет-

ным мировым судьей, оставаясь казначеем означенного общества. В это самое время дом его перешел во владение представительницы известной фамилии одесских купцов-старожилов Посилиных (Посылиных), много лет владевших угловым домом на пересечении Ришельевской и Дерибасовской, где ныне Государственный банк.



До середины 1900-х дом, носивший нумерацию сначала 17, затем 17Б (1897 г.), далее 19 (1898 г.) и, наконец, 21 (1904 г.), числится уже (1905 г.) за некими Жибурт-Жибуртовичами. Знакомясь с данными об этих последних, поначалу никак не мог взять в толк, откуда у них могли появиться средства на покупку столь престижной недвижимости в элитарном районе. В самом деле, "не имеющий чина Юлиан Каэтанович (Константинович) Жибуртович (Жабуртович)" служил в это время скромным секретарем Херсонского губернского акцизного управления. Даже заподозрил его в мздоимстве, но на поверку все оказалось куда проще и как бы законнее.

Суть дела открылась мне, когда нашел в списке одного из местных комитетов (Монастырского) Общества для помощи бедным города Одессы, состоящего под высочайшим покровительством ее императорского величества государыни императрицы Марии Федоровны, соседствующие фамилии товарища (заместителя) председательницы — Елены Николаевны Посылиной и секретаря того же подразделения — Юлиана Константиновича Жабуртовича. Короче говоря, бедный дворянин выгодно женился. Правда, и после женитьбы дом все-таки числился за его дальновидной купеческой половиной Еленой Николаевной, сменившей суконную девичью фамилию на громогласную Жибурт-Жибуртович. Как ныне говорят, круто.

Так или иначе, а недавно отреставрированный особняк, несмотря на отсутствие помпезного декора, простоту и камерность, украшает собой как Успенскую, так и Маразлиевскую улицы. Лишний раз можем убедиться в том, что у талантливого и добросовестного Л.Л. Влодека "проходных работ", "халтурок" не бывало. И еще: при должном отношении практически любое старое здание исторического центра может засверкать прежними красками, формируя присущую только Одессе градостроительную гармонию. Гармонию, каковая нынче безвозвратно улетучивается.

Специалист по истории советской пилотируемой космонавтики, биограф авторов "катюши" И.Т. Клейменова и Г.Э. Лангемака полковник ФСК А.В. ГЛУШКО

Взаимоотношения академика В.П. Глушко со своими руководителями*

...5 мая 1955 г. его вызвали в МГБ для дачи показаний по делу И.Т. Клейменова и Г.Э. Лангемака. В этот момент у В.П. Глушко появилась возможность сделать что-то уже лично для своих товарищей, и он охотно дает показания, направленные в защиту их добрых имен... Понимая это, Валентин Петрович рассказывает следователю прокуратуры Расторгуеву все, что было необходимо для опровержения вымыслов, подписанных и И.Т. Клейменовым и Г.Э. Лангемаком на следствии...

"*...К приходу в лабораторию Клейменова в ней было три отделения: одно отделение возглавлял я, второе Лангемак и третье — Дудаков...*

Нужно отметить, что до прихода Клейменова лаборатория была очень бедной организацией. Средств нам отпускалось очень мало...

Когда к нам на должность начальника Ленинградской гидродинамической[34] *лаборатории прибыл Клейменов, он в нашу работу внес новую, как говорится, струю. Кроме того, что он был инженером и понимал дело, он еще имел хорошие организаторские способности. Сразу же он добился выделения для нашей лаборатории помещения и мастерских, а также увеличения средств на конструкторскую работу.*

...Я хочу подчеркнуть, что благодаря инициативе Клейменова научно-исследовательская работа в области реактивного дела была поставлена на хорошую производственную основу, и у нас собственно организация стала настоящей...

Теперь по существу показаний Лангемака о его, как написано в обзорной справке, вредительской деятельности.

Лангемак — это талантливый инженер...

...88 мм и 132 мм реактивные снаряды разрабатывались Лангемаком вместе с подчиненными ему работниками. Автором этих снарядов являлся по существу Лангемак... ...Какое применение эти снаряды нашли в Отечественной войне и какие показали результаты, мы об этом знаем из истории Отечественной войны, и мне кажется, Лангемак за это должен быть помянут хорошим словом — это его заслуга, что он своим трудом обогатил артиллерийскую науку...

Клейменов как руководитель института не тормозил разработку

* Окончание. Начало в кн. 28.

этих снарядов, а наоборот, способствовал успешной работе по их созданию. Так что, показания Лангемака в этой части от начала до конца являются вымышленными...

...Не соответствуют действительности показания Лангемака и в отношении меня. Я никогда не занимался разработкой кислородных двигателей, а работал всегда над азотными двигателями. Так что, эти показания Лангемака были, видимо, вынужденными. Он, конечно, прекрасно знал, чем я занимался, и перепутать он никак не мог. Он у нас был научным руководителем института в целом...

...Я хочу сказать, что ни Клейменов, ни Лангемак, ни кто другой не занимался затягиванием лабораторных и полигонных работ во вредительских целях...

Клейменова я знаю как инициативного и энергичного руководителя, как ценного работника и преданного советской родине человека..."[35]

29 сентября 1956 г. В.П. Глушко был реабилитирован. Понимая, что у него есть возможность помочь семьям расстрелянных товарищей, он помогает им вернуться в Москву и получить сначала комнаты, а затем и квартиры. В этих квартирах их вдовы и дочери жили до конца своих дней... Л.Е. Стернину М.К. Левицкая рассказывала о получении дочерью Ириной квартиры на Бауманской улице — благодаря многократным ходатайствам В.П. Глушко.

В начале 1960-х гг. начался бум... Прошла реабилитация, в космос слетал Ю.А. Гагарин, и средства массовой информации обратились к именам тех, кто стоял у истоков советской космонавтики. Правда, имена академиков В.П. Глушко и С.П. Королева были тогда засекречены, но "общественность требовала" назвать имена! И тогда пришел час для умерших и безвинно расстрелянных...

Следом за статьями профессиональных журналистов и историков, рассказывающих об истории ГДЛ и РНИИ, появились статьи профессора Г.В. Петровича (псевдоним академика В.П. Глушко), в которых ученый рассказывал о тех, с кем он работал в 1930-х гг. Он начал возвращать их имена... Кроме этих публикаций ученым был выпущен научно-популярный труд "Развитие ракетостроения и космонавтики в СССР", а также энциклопедия "Космонавтика", в которых приводилась информация о вкладе этих людей в создание первых образцов ракетной техники.

В середине 1960-х гг., когда начали давать имена кратерам на обратной стороне Луны, Валентин Петрович смог добиться, чтобы двум кратерным цепочкам были присвоены наименования ГДЛ и РНИИ, а четырем крате-

рам — имена их четырех руководителей: Н.И. Тихомирова, Б.С. Петропавловского, И.Т. Клейменова и Г.Э. Лангемака. Имя Н.Я. Ильина еще одному кратеру было присвоено несколько позже.

В своей организации — ОКБ-456 — В.П. Глушко создал целую группу, которая работала в разных архивах и занималась поисками документов о деятельности Газодинамической лаборатории и Реактивного НИИ. Сотрудниками этой группы, ставшей впоследствии отделом, было найдено большое количество документов, но далеко не все...

Предпринимались попытки и по увековечению их памяти на планете Земля. Так, 13 ноября 1968 г. академиком В.П. Глушко было подписано два письма.

Первое — в адрес председателя исполкома Мосгорсовета В.Ф. Промыслова: "*...Наше предприятие полностью поддерживает решение торжественного заседания Института истории естествознания и техники АН СССР и присоединяется к изложенной просьбе: "Просить исполком Мосгорсовета (тов. Промыслова В.Ф.) назвать именами ЛАНГЕМАКА и КЛЕЙМЕНОВА новые улицы в г. Москве и установить мемориальные доски на Донской ул. на доме № 14, где в кв. 19 с 1933*[36] *по 1937 гг. проживал Г.Э. ЛАНГЕМАК, и на ул. Серафимовича на доме № 2, где в кв. 475 с 1932*[36] *по 1937 гг. проживал И.Т .КЛЕЙМЕНОВ*".[37]

Второе — председателю исполкома Ленгорсовета А.А. Сизову: "*...Наше предприятие полностью поддерживает решение торжественного заседания Института истории естествознания и техники АН СССР и присоединяется к изложенной просьбе: "Просить исполком Ленгорсовета (тов. Силова А.А.) назвать именами ПЕТРОПАВЛОВСКОГО, ЛАНГЕМАКА и КЛЕЙМЕНОВА новые улицы в г. Ленинграде и установить мемориальные доски на ул. Миллионной (Халтурина) на доме № 19, где с 1930 по 1933 гг. проживал Б.С. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, а в 1932-1933 гг. проживал И.Т. КЛЕЙМЕНОВ, и на улице Кирочной на доме № 5, где в кв. 12 с 1930*[38] *по 1933 гг. проживал Г.Э. ЛАНГЕМАК*".[39]

Ответов на эти ходатайства в архиве не обнаружено. Вероятнее всего, московские и ленинградские власти не посчитали важными эти предложения ветеранов-ракетчиков, подкрепленные письмами академика В.П. Глушко. Эти предложения, к сожалению, до сих пор не реализованы.

К 40-летию ГДЛ по инициативе В.П. Глушко было решено привести в порядок могилу Н.И. Тихомирова, захороненного в 1930 г. на Ваганьковском кладбище г. Москвы. Однако в процессе поисков выяснилось, что книга, в которой была сделана запись о месте нахождения могилы, сгоре-

ла вместе с конторой, когда во время Великой Отечественной войны в нее попала немецкая бомба. Найти же могилу путем прочесывания территории кладбища не представлялось возможным из-за огромной территории.

Поэтому решили установить символический памятник конструктору. В связи с этим 19 декабря 1968 г. В.П. Глушко направил письмо в адрес управляющего Московским городским трестом похоронного обслуживания Д.И. Попова: "*В апреле 1930 года на Ваганьковском кладбище в гор. Москве похоронен видный ученый в области ракетной техники ТИХОМИРОВ Николай Иванович. В данное время установить местонахождение его могилы не представилось возможным за давностью времени и отсутствием архивных учетных книг.*

Прошу Вас дать указание подобрать наиболее удобный участок на Ваганьковском кладбище для сооружения символического памятника видному ученому в области ракетостроения ТИХОМИРОВУ Н.И..."[40]

Была получена положительная резолюция, изготовлен памятник, и в 1971 г. на Ваганьковском кладбище состоялось его открытие. А затем, через год, памятник был осквернен: от него отломали латунную ракету...



Памятник Н.И. Тихомирову, установленный академиком В.П. Глушко на Ваганьковском кладбище (после кражи ракеты) Фото А.В. Глушко

17 июня 1972 г. В.П. Глушко пишет письмо в адрес начальника 11 отделения милиции Москвы подполковника милиции М.А. Сафонова: "*В конце 1971 года на участке № 5 Ваганьковского кладбища установлен памятник из черного гранита бывшему начальнику Газодинамической лаборатории, основоположнику разработки советских ракетных снарядов "катюш" ТИХОМИРОВУ Н.И. К стеле памятника на металлических штырях была прикреплена ракета из латуни (см. фотографию), которая в мае-июне 1972 года была оборвана и похищена.*

Прошу Вас принять необходимые меры розыска преступника, совершившего облом ракеты на памятнике ТИХОМИРОВА Н.И., для привлечения его к ответственности.

О принятых Вами мерах прошу уведомить меня..."[41]

Продолжение переписки отсутствует, как и украденная ракета. Видимо, милиция и не думала искать человека, оторвавшего ракету и сдавшего ее в приемный пункт металлолома.

В январе 1983 г. старшая дочь Г.Э. Лангемака Анна Георгиевна очень тяжело заболела и захотела переехать в Павлодар, к своей младшей сестре Майе. За помощью она обратилась, опять же, к академику В.П. Глушко, который написал следующее письмо:

"*Секретарю Павлодарского горкома*
Коммунистической партии Казахстана
тов. НИКИФОРОВУ Г.А.
Председателю исполкома
Павлодарского городского совета
народных депутатов
тов. ДЖАЗИНУ А.Н.

Прошу Вас оказать содействие в решении жилищного вопроса А.Г. Лангемак — дочери известного советского ученого, одного из пионеров советской ракетной техники Г.Э. Лангемака...

В настоящее время дочь ученого Анна Георгиевна Лангемак нуждается по заключению врачей в постоянном уходе после перенесенной тяжелой операции. В связи с этим она договорилась об обмене двухкомнатной квартиры в г. Москве на двухкомнатную[42] *квартиру в г. Павлодаре (по ул. 1 Мая, д. 32, кв. 23), в котором живут ее близкие родственники (сестра и племянник с семьями). Прошу Вас оказать содействие А.Г. Лангемак в обмене двухкомнатной квартиры на трехкомнатную*[42] *в г. Павлодаре, с тем чтобы вместе с ней могла поселиться семья племянника, которая возьмет на себя заботу о А.Г. Лангемак...*"[43]

Обмен удалось провести, А.Г. Лангемак в тяжелом состоянии была доставлена самолетом в Павлодар, где ее встретил муж ее младшей сестры Г.И. Белянин и доставил в больницу. Через несколько дней она умерла...

В 1982 г. в один из осенних вечеров, отвечая на мои многочисленные просьбы рассказать что-нибудь о своем прошлом, В.П. Глушко рассказывает о Б.С. Петропавловском, И.Т. Клейменове и Г.Э. Лангемаке... В общем, ничего особенного в этом рассказе не было... Жили такие люди, делали снаряды... Но что-то не то творилось с ученым, когда он произносил фамилию "ЛАНГЕМАК"... Его голос, он как-то очень сильно дрожал... срывался... ему было трудно о нем говорить... больно...

Десятилетний мальчик не обратит на это внимание, но эти имена запали мне в душу. Я тут же попросил его познакомить меня с ними. На что

ученый ответил: "Познакомлю я тебя с ними... Они спросят о том, как ты учишься, а я что, краснеть из-за тебя буду?".

Через полгода из троечника я превратился в отличника и снова подошел к нему с этой просьбой. В этот момент он понял, что зря так поступил, и признался, что Б.С. Петропавловский давно умер, а И.Т. Клейменов и Г.Э. Лангемак были расстреляны по приказу И.В. Сталина... С тех пор и на всю жизнь определилось мое негативное отношение к И.В. Сталину (то, что мой отец тоже сидел, я узнал на несколько лет позже), а И.Т. Клейменов, Г.Э. Лангемак и остальные стали частью моей жизни...

Но что мог сделать десятилетний мальчишка, каждый раз требовавший все новых и новых рассказов о Г.Э. Лангемаке?.. Мальчишка, для которого существовало только три бога: его собственный отец, М.Н. Тухачевский и Г.Э. Лангемак. Со временем Г.Э. Лангемак превратился во второго после собственного отца близкого человека. Однако уважение к М.Н. Тухачевскому (опять же, благодаря рассказам отца) осталось. Все же остальные рассматривались мною как ближайшее окружение Г.Э. Лангемака, без которого не было бы этого "бога"...

В этот же период времени, т. е. в 1980-х гг., была проведена обширная переписка по установке доски на доме № 90/92 по Невскому проспекту в г. Ленинграде, где в 1924-1930 гг. жил Н.И. Тихомиров, а также сделана попытка установить доску в Москве.

13 октября 1983 г. В.П. Глушко пишет письмо Председателю Государственного комитета по делам строительства УССР Г.К. Злобину:

"*Прошу Вас в виде исключения рассмотреть и положительно решить вопрос изготовления двух мемориальных досок из белого мрамора размером 500 мм х 1000 мм при толщине 50 мм, которые будут установлены на домах в Москве и Ленинграде, где жил и работал Николай Иванович Тихомиров, основоположник разработки ракетных снарядов, широко и с огромным эффектом использованных в 1941-45 гг. на фронтах Отечественной войны в мобильной ракетной установке, прозванной "катюшей".*

На мемориальных досках выполнить надпись с покрытием букв сусальным золотом.

Оплату гарантируем, наш расчетный счет № 263608 в Калининградском отделении Госбанка..."[44]

Первоначально текст на доске для Ленинграда должен был быть следующим: "*В этом доме в 1926-1930 гг.*[45] *жил и работал Николай Иванович Тихомиров — выдающийся ученый, основатель Газодинамической лаборатории — первой в СССР организации по разработке ракетной техники.*

В период 1941-1945 гг. на фронтах Отечественной войны его снаряды широко использованы в мобильной ракетной установке, прозванной в народе "катюшей".

5 декабря 1983 г. председатель Комитета советского национального объединения истории и философии естествознания и техники АН СССР академик Б.М. Кедров и председатель комиссии АН СССР по разработке научного наследия пионеров освоения космического пространства член-корреспондент АН СССР Б.В. Раушенбах подписали письмо в адрес того же Г.К. Злобина (копия — В.П. Глушко), в котором приводятся несколько иные тексты для мемориальных досок: "*В этом доме в 1909-1925*[46] *гг.* (для Ленинграда — *в 1926-1930*[46] *гг.*) *жил и работал Николай Иванович Тихомиров — основоположник разработки ракетных снарядов, широко применявшихся в годы Великой Отечественной войны в гвардейских минометах "катюша", основатель Газодинамической лаборатории — первой в СССР научно-исследовательской и опытно-конструкторской организации по ракетной технике...*"[47]

11 марта 1984 г. В.П. Глушко отправляет письмо в адрес вице-президента АН СССР академика П.Н. Федосеева:

"*Согласно нашей договоренности мною пересмотрен текст на мемориальных досках видного советского ученого в области ракетной техники Тихомирова Николая Ивановича для г. Москвы и Ленинграда и сокращен: "В этом доме в 1909-1925*[48] *гг. жил и работал Николай Иванович Тихомиров — выдающийся ученый, основатель Газодинамической лаборатории — первой в СССР организации по разработке ракетной техники".*

Прошу Вас рассмотреть новый вариант сокращенного мною текста и утвердить..."[49]

Таким образом, этот текст стал окончательным. Что касается Ленинграда, то там были другие даты: вместо 1909-1925, было написано "1926-1930", в остальном текст был тот же.

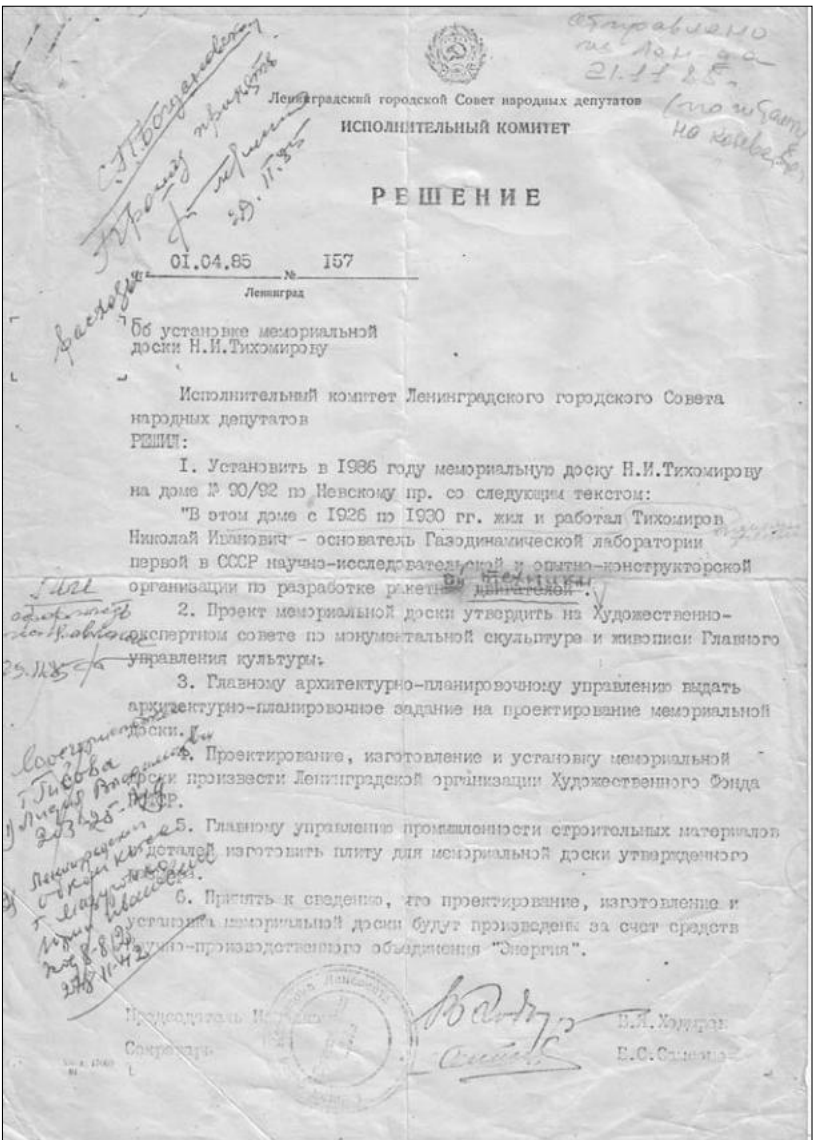
1 апреля 1985 г. вышло Решение исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов "Об установке мемориальной доски Н.И. Тихомирову":

"*Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета народных депутатов*

РЕШИЛ:

1. Установить в 1986 году мемориальную доску Н.И. Тихомирову на доме № 90/92 по Невскому пр...

2. Проект мемориальной доски утвердить на Художественно-экс-



Ленинградский городской Совет народных депутатов

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

01.04.85 № 157

Ленинград

Об установке мемориальной доски Н.И.Тихомирову

Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Установить в 1986 году мемориальную доску Н.И.Тихомирову на доме № 90/92 по Невскому пр. со следующим текстом:

"В этом доме с 1926 по 1930 гг. жил и работал Тихомиров Николай Иванович - основатель Газодинамической лаборатории первой в СССР научно-исследовательской и опытно-конструкторской организации по разработке ракетных двигателей".

2. Проект мемориальной доски утвердить на Художественно-экспертном совете по монументальной скульптуре и живописи Главного управления культуры.

3. Главному архитектурно-планировочному управлению выдать архитектурно-планировочное задание на проектирование мемориальной доски.

4. Проектирование, изготовление и установку мемориальной доски произвести Ленинградской организации Художественного Фонда РСФСР.

5. Главному управлению промышленности строительных материалов и деталей изготовить плиту для мемориальной доски утвержденного образца.

6. Принять к сведению, что проектирование, изготовление и установка мемориальной доски будут произведены за счет средств научно-производственного объединения "Энергия".

Председатель Исполкома В.А.Хомутов

Секретарь Е.С.Соломина

Решение исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов об установке мемориальной доски Н.И. Тихомирову.

пертном совете по монументальной скульптуре и живописи Главного управления культуры.

3. Главному архитектурно-планировочному управлению выдать архитектурно-планировочное задание на проектирование мемориальной доски.

4. Проектирование, изготовление и установку мемориальной доски произвести Ленинградской организации Художественного фонда РСФСР.

5. Главному управлению промышленности строительных материалов и деталей изготовить плиту для мемориальной доски утвержденного размера.

6. Принять к сведению, что проектирование, изготовление и установка мемориальной доски будут произведены за счет средств Научно-производственного объединения "Энергия"..."

На Решении стоит резолюция, написанная В.П. Глушко 29 ноября 1985 г.: "*С.П. Богдановскому. Прошу принять расходы*".[50]

13 мая 1985 г. в газете "Вечерний Ленинград" была опубликована заметка под рубрикой "Исполком Ленсовета решил", в которой было написано следующее: "*С Ленинградом связана деятельность советского ученого в области ракетной техники Н.И. Тихомирова. В память об этом на доме № 90/92 по Невскому проспекту будет установлена мемориальная доска...*".[51]

Итак, с Ленинградом все было в порядке. Доска будет установлена. А что же с Москвой? В Москве все было иначе. В.П. Глушко получил от-



Академик В.П. Глушко возлагает цветы к мемориальной доске Н.И. Тихомирова Ленинград, сентябрь 1987 г.
Фото из архива "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко", публикуется впервые

каз на установку доски. В результате этого отказа было написано письмо следующего содержания:

"Председателю Мосгорисполкома
Товарищу ПРОМЫСЛОВУ В.Ф.

Вашим аппаратом (тов. Покаржевский Б.В.) была отклонена просьба АН СССР (исх. № 10120-1520 от 5.06.84) об установке мемориальной доски в память видного отечественного ученого Н.И. Тихомирова (1860-1930),[52] *основателя первой в Советском Союзе организации по ракетной технике (ГДЛ в 1921 г.), разработавшей реактивные снаряды прославленной "катюши" и другие важные объекты. Просьба отклонена на том основании, что в Москве уже установлена мемориальная доска в честь организации ГИРД на доме № 19 по Садово-Спасской улице. Это недоразумение, т. к. ГИРД никакого отношения к ГДЛ не имеет.*

Кроме того, по сообщению сотрудницы Мосгорисполкома Л.В. Гибовой, Постановлением ЦК и СМ от 12.04.83 № 218 запрещено строительство в 1983-1985 гг. мемориальных сооружений. Однако мемориальные доски не упомянуты в этом Постановлении в перечне памятных сооружений, кроме того, срок запрета кончается в конце текущего года.

По моей просьбе первый заместитель председателя СМ СССР тов. Архипов И.В. обратился к Вам с просьбой рассмотреть этот вопрос (исх. СМ № ПП16582 от 20.08.1984 г.).

Исходя из вышеизложенного и учитывая выдающийся вклад Н.И. Тихомирова в развитие советской ракетной техники, прошу положительно решить вопрос об установке мемориальной доски на доме № 11 по Новослободской ул., где жил и работал Н.И. Тихомиров..."[53]

По просьбе В.П. Глушко письмо такого же плана было направлено в адрес В.Ф. Промыслова и от член-корреспондента АН СССР С.Р. Микулинского. Разница в содержании этих писем была в том, что С.Р. Микулинский расписал все различия между ГДЛ и ГИРД.

Что же касается Ленинграда, то доска была открыта осенью 1987 г. На ее открытии присутствовал В.П. Глушко (это была его последняя командировка в Ленинград) и ветеран ГДЛ В.С. Соколов. После открытия доски В.П. Глушко дал свое последнее телевизионное интервью в залах Музея ГДЛ, созданного по его инициативе и ныне носящего имя своего создателя...

Даже последнее выступление В.П. Глушко в Колонном зале Дома Союзов на пленарном заседании Январских чтений по космонавтике было посвящено памяти И.Т. Клейменова, Г.Э. Лангемака и Б.С. Петропавловского — их 90-летию...



Академик В.П. Глушко дает интервью ведущему программы "Человек, Земля, Вселенная" летчику-космонавту СССР В.И. Севастьянову в помещении Музея ГДЛ
Ленинград, сентябрь 1987 г.
Фото из архива "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко", публикуется впервые

К 80-летию со дня его рождения журнал "Авиация и космонавтика" должен был опубликовать полный текст этого выступления, но вместо него вышла биографическая статья. И только в середине 1990-х гг., уже после смерти ученого, полный текст этого выступления был опубликован в одной из московских газет В.А. Белоконем, присутствовавшим на этом заседании и записавшем выступление академика В.П. Глушко на магнитофон.

В декабре 1988 г. уже тяжело больной академик В.П. Глушко в последний раз заводит разговор о своих товарищах по работе в ГДЛ и РНИИ. Он просит меня, чтобы я разыскал И.И. Кулагина и передал ему, что ученый его простил... (Я выполнил его просьбу, только уже после смерти И.И. Кулагина, поставив об этом в известность его семью...) И еще об одном...

"*— Ты должен дать мне слово... наш Лангемак... Я не смог выпустить о нем книгу... о нем, о Клейменове, Ильине... Петропавловском... Я не нашел могил погибших... доведи это до конца! Они авторы "катюши", и никто другой... Обещаешь?*

— Да, папа..."[4]

Этого было достаточно, чтобы академик В.П. Глушко и после смерти (моими усилиями) продолжал восстановление их добрых имен...



Памятная доска Г.Э. Лангемака, открытая 15 ноября 2003 г. на Донском кладбище Фото А.В. Глушко

В 1994 г. я впервые попал в Центральный архив ФСБ (как он сейчас называется) для ознакомления со следственным делом академика В.П. Глушко. С этого момента и начались мои серьезные занятия по сбору документов и подготовке публикаций...

За это время я еще несколько раз побывал в этом архиве, где познакомился со следственными делами И.Т. Клейменова, Г.Э. Лангемака, Н.Я. Ильина, а также членов их семей; а также в ЦГВА, где обнаружил ряд документов, касающихся их деятельности; ЦГАВМФ (г. Санкт-Петербург), где нашел материалы, имеющие отношение к молодости Г.Э. Лангемака; в архивах Одессы, Киева, Москвы, Кировограда, Санкт-Петербурга... В этих архивах мне удалось собрать большое количество не известных ранее документов. На основании этих материалов было опубликовано около 20 статей (три из них стали первыми публикациями в мире (о Б.С. Петропавловском и Н.Я. Ильине) и первой публикацией на английском языке (о И.Т. Клейменове), целиком основанных на архивных документах.

В 1995 г. при помощи комиссии, которую возглавлял М.Б. Миндлин, мне удалось разыскать место захоронения И.Т. Клейменова и Г.Э. Лангемака (где похоронен Н.Я. Ильин, мне неизвестно до сих пор).

А год 105-летия со дня рождения Г.Э. Лангемака был ознаменован официальным объявлением о месте его захоронения и открытием мемориальной доски на могиле...

После обнаружения места захоронения у меня появилась идея установки памятной доски на Донском кладбище. Но не в первой могиле невостребованных прахов (как цинично называется это место), а на месте захоронения его вдовы, похороненной на том же кладбище в 1972 г., в 100 метрах от места захоронения мужа. Несколько месяцев ушло на то, чтобы получить официальное разрешение дочери конструктора М.Г. Беляниной (Лангемак). Я даже летал в Павлоград и провел у Майи Георгиевны две недели, оговаривая с ней условия этого мероприятия.



Ветеран "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко" Л.Е. Стернин выступает на открытии доски Г.Э. Лангемака на Донском кладбище Москва, 15 ноября 2003 г. Фото А.В. Глушко, публикуется впервые

В августе началась работа по воплощению проекта в жизнь. В ней принимали непосредственное участие: генеральный конструктор НПО "Энергомаш" имени академика В.П. Глушко Б.И. Каторгин, давший согласие на проведение этих работ под своей эгидой, автор проекта А.Б. Прошляков (независимый историк и член редколлегии военно-исторического журнала "Цейхгауз"), а также автор доски художник-гравер Т.М. Белялов, непосредственно выполнивший работу.

15 ноября 2003 г., в день 15-летия старта системы "Энергия" — "Буран", в 11 часов на Донском кладбище состоялось открытие доски. Приехали только те, кого приглашали лично, и те, кто имел к работам непосредственное отношение. Открывая встречу, специально приглашенный мною для этой цели пресс-секретарь НПО "Энергомаш" Ю.Г. Коротков сказал о том, какую роль Г.Э. Лангемак сыграл в жизни двигателистов и какое влияние он оказал на дальнейшее развитие ракетно-космической науки и техники в СССР, а потом и в России.

Следующим выступил летчик-космонавт Российской Федерации А.И. Лазуткин. Космонавт рассказал о том, как работы конструктора повлияли на деятельность его товарищей, и подчеркнул, что сохранение памяти о тех, кто стоял у истоков советского ракетостроения, является обязанностью для тех, кто идет следом...

В своем выступлении ветеран НПО "Энергомаш" доктор физико-математических наук профессор Л.Е. Стернин остановился на основных моментах из жизни ученого и перечислил основные работы, выполненные под его руководством.



Лидер команды "Несчастный случай" А.А. Кортнев выступает на открытии доски Г.Э. Лангемака на Донском кладбище Москва, 15 ноября 2003 г. Фото А.В. Глушко, публикуются впервые

Лидер эстрадной группы "Несчастный случай" А.А. Кортнев рассказал о телевизионном проекте, посвященном памяти конструкторов реактивной техники, в котором он должен был играть роль Лангемака, и выразил надежду на воплощение проекта в реальность, считая, что жизненный пример Г.Э. Лангемака необходим для воспитания подрастающего поколения.

После возложение цветов присутствующие в сопровождении представителей телевизионного канала ОРТ проследовали к первой могиле невостребованных прахов, где почтили память всех похороненных в ней жертв политических репрессий.[54]

В 2004 г. к моим работам подключилась Ирина Анатольевна Полякова (Лангемак), внучатая племянница Г.Э. Лангемака. Она разыскала в домашнем архиве некоторое количество очень интересных документов и фотографий, которые помогли мне при работе в других городах.

В июле — августе 2006 г. я ездил в Кировоград, в город, где в течение 17 лет жил Г.Э. Лангемак. За время командировки были обнаружены обширные материалы, посвященные его детству, а также деятельности его родителей, старшей сестры Марии, брата Виктора и братьев его будущей жены — Алексея, Николая и Виктора Петерсов — сыновей начальника Елисаветградского кавалерийского училища генерала В.Н. Петерса. В связи со 110-летием со дня рождения, празднование которого планируется на вторую половину апреля 2008 г., Управление культуры областной администрации дало предварительное согласие на предложенный мною план мероприятий по увековечению имени ученого: установку доски на новом здании Педагогического университета имени Винниченко (оно стоит на месте дома, в котором семья Г.Э. Лангемака жила до октябрьско-

го переворота), сооружение памятника и присвоение его имени одной из улиц города. Со своей стороны, они предложили повести выставку в краеведческом музее и научно-практическую конференцию, а также детский конкурс, и присвоить Научно-воспитательному комплексу "Кировоградский коллегиум" имя Г.Э. Лангемака...

В заключение я бы хотел привести слова академика В.П. Глушко, сказанные им о Г.Э. Лангемаке...

"*Мы были близкими друзьями. Георгий Эрихович был на голову выше меня как ученый и конструктор. Я всегда тянулся за ним, стараясь не выглядеть на его фоне каким-то серым и незначительным. Мне всегда хотелось быть похожим на него. Он был для меня образцом во всем... И я бы очень хотел, чтобы и ты, сын, пронес через свою жизнь уважение к этому Человеку с большой буквы... ...Если бы его не расстреляли, то я уверен, что Георгий Эрихович стал бы маршалом артиллерии и членом Советского Правительства... Я всегда считал его членом своей семьи и очень хочу, чтобы и ты относился к нему так же... Он член нашей семьи...*"[4]

Автор выражает благодарность за помощь в работе по поиску архивных документов и фотографий:

Моей сестре Евгении Саркисовой, лидеру команды "Несчастный случай" Алексею Кортневу, дочерям И.Т. Клейменова Ирине Ивановне (посмертно) и Ларисе Ивановне, вдове И.Т. Клейменова М.К. Левицкой (посмертно), дочери Г.Э. Лангемака Майе Георгиевне (посмертно), внучатой племяннице Г.Э. Лангемака И.А.Поляковой, дочери Б.С. Петропавловского Валерии Борисовне.

Летчикам-космонавтам СССР и России, а также космонавтам-испытателям: М.Н. Бурдаеву, В.Г. Корзуну, А.Ю. Калери, С.В. Кричевскому, А.И. Лазуткину, Г.И. Падалке, В.П. Савиных, А.А. Сереброву.

Сотрудникам ОАО "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко": генеральному конструктору, академику РАН Б.И. Каторгину; генеральному директору Н.А. Пирогову, В.К. Чванову, А.Г. Пызину, В.Ф. Рахманину, Ю.Г. Короткову, В.С. Судакову, Л.Е. Стернину, А.А. Машевскому, У.А. Якубовой и О.А. Шестопаловой.

Сотрудникам архивов: заведующему архивом МГУ Н.П. Фролову; сотрудникам РГВА, ГАООиСС ЛО, ЦА МО РФ — Н.И. Шестопалу; ЦА ФСБ РФ — В.С. Христофорову, Н.Н. Воякиной, В.А. Гончарову; ГАКО (г. Кировоград), начальнику отдела ГАОО (г. Одесса) В.В. Харковенко, сотрудникам Артиллерийского музея (г. Санкт-Петербург).

А также: Н.И. Бабанской, Е.Т. Белоглазовой, В.А. Белоконю, В.Н. Босько, Т.А. Головкиной, Л.Б. Кизнер, П.К. Корнакову, И.А. Маринину, М.Б. Миндлину (посмертно) и С.Х. Шамсутдинову.

Источники, литература и комментарии

4. Глушко А.В. Воспоминания об отце. В 3-х ч. Ч. 2: Отец и пионеры ракетно-космической техники. Рукопись. Архив автора.

34. Так в документе.

35. Протокол допроса свидетеля Глушко Валентина Петровича от 05.05.1955, ЦА ФСБ РФ, Архивно-следственное дело № Р-2020 Клейменова Ивана Терентьевича, лл. 26, 26 об, 27, 27 об, 28, 28 об, 29.

36. Здесь были допущены ошибки. Дело в том, что Г.Э. Лангемак переехал из Ленинграда в Москву в начале января 1934 г., а И.Т. Клейменов получил эту квартиру (24 подъезд) только в 1934 г., до этого его семья жила в другой квартире, находившейся внутри двора. Получил же квартиру в этом доме в 1933 г.

37. Письмо главного конструктора КБЭМ В.П. Глушко на имя председателя исполкома Мосгорсовета В.Ф. Промыслова от 13.11.1968. Копия. Архив автора.

38. Здесь тоже допущена ошибка. По имеющимся у меня данным, по этому адресу семья Г.Э. Лангемака поселилась в 1923 г., сразу после поступления Г.Э. Лангемака в Артиллерийскую академию РККА.

39. Письмо главного конструктора КБЭМ В.П. Глушко на имя председателя исполкома Ленгорсовета А.А. Сизова. Копия. Архив автора.

40. Письмо главного конструктора КБЭМ В.П. Глушко на имя управляющего Московским городским трестом похоронного обслуживания Д.И. Попова № 098 от 19.12.1968, архив ГДЛ-ОКБ, оп. 5, ед. хр. 16.

41. Письмо главного конструктора КБЭМ В.П. Глушко на имя начальника 11 отделения милиции г. Москвы подполковника милиции М.А. Сафонова № Р-331 от 17.06.1972, Архив ГДЛ-ОКБ, оп. 5, ед. хр. 16.

42. Так в документе.

43. Письмо генерального конструктора НПО "Энергия" В.П. Глушко на имя секретаря Павлодарского горкома Коммунистической партии Казахстана Г.А. Никифорова и председателя исполкома Павлодарского городского совета народных депутатов А.Н. Джазина от 01.1983. Копия. Архив автора.

44. Письмо генерального конструктора НПО "Энергия" В.П. Глушко на имя председателя Государственного Комитета по делам строительства УССР Г.К. Злобина № П-063 от 13.10.1983, архив ГДЛ-ОКБ, оп. 5, ед. хр. 16.

45. На самом деле Н.И. Тихомиров переехал в Ленинград в 1924 г.

46. Н.И. Тихомиров жил в Москве до 1924 г.

47. Письмо председателя Комитета советского национального объединения истории и философии естествознания и техники АН СССР академика Б.М. Кедрова и председателя комиссии АН СССР по разработке научного наследия пионеров освоения космического пространства член-корреспондента АН СССР Б.В. Раушенбаха на имя председателя Государственного комитета УССР по делам строительства Г.К. Злобина (копия академику В.П. Глушко) от 05.12.1983, Архив ГДЛ-ОКБ, оп. 5, ед. хр. 16.

48. Н.И. Тихомиров жил в Москве до 1924 г. Кроме того, в этом письме был приведен текст только одной доски — для г. Москвы. Текст доски для Ленинграда в письме не приведен.

49. Письмо генерального конструктора НПО "Энергия" В.П. Глушко на имя Вице-прези-

дента АН СССР академика П.Н. Федосеева № П-086 от 11.03.1984, Архив ГДЛ-ОКБ, оп. 5, ед. хр. 16.

50. Решение исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов "Об установке мемориальной доски Н.И. Тихомирову" № 157 от 01.04.1985, Архив ГДЛ-ОКБ, оп. 5, ед. хр. 16.

51. "Отмечены памятные места". "Вечерний Ленинград", 13.05.1985.

52. Так в тексте. На самом деле Н.И. Тихомиров родился в 1859 г.

53. Письмо генерального конструктора НПО "Энергия" В.П. Глушко в адрес председателя Мосгорисполкома В.Ф. Промыслова № П-0171 от 20.11.1985, Архив ГДЛ-ОКБ, оп. 5, ед. хр. 16.

54. Глушко А.В., "Открытие памятной доски Г.Э. Лангемака". "Новости космонавтики", № 1 (252), 2004, стр. 72.

Владимир КАТКЕВИЧ

Внучка Сталина и Кленов на фоне Эвереста

Визбор в ночлежке "Голодный глаз"

Анекдоты о Йети, снежном человеке, гуляют по Тамелу, "туристскому гетто" Катманду, как у нас в Великую Эпоху об армянском радио.

Сидят два Йети.

— Недавно видел Витю Кленова, — невнятно говорит один, обгладывая чьи-то косточки и запивая пивом "Амстел" из ржавой банки.

— А что, разве он существует?

Вместо Кленова в устном фольклоре может присутствовать Рейнхольд Месснер, топтавший вершины четырнадцати восьмитысячников, или Верн Теджес, 20 раз осиливший Эверест. Все зависит от того, в какой компании интерпретируют анекдот. Если в дешевой гостинице "Голодный глаз", то непременно вспомнят одессита Витю Кленова. В "Глазе" находят приют соотечественники, зачастившие в последнюю гавань последних романтиков. Попадаются среди сорванных с якорей ровесников Кленова и бродяги со степенями, нынче профессура косяком прет в заоблачное королевство. Знание языка на уровне кандидатского минимума и манеры позволят в сезон устроиться лазающим переводчиком к состоятельным непоседам. Проникшие же в Катманду через агентство Кука леди на излете, люди свободного времени, по достоинству оценят образованного проводника, галантно помогающего осилить скальные и языковые барьеры или перетащить инвалидную коляску через осыпь на подходе к священной горе Кайлас. Или, если уж очень повезет, то кандидат в мастера спорта и наук наймется шерпом в свиту махараджи Кашмира.

Настоящий легендарный шерп Тенцинг, "распечатавший" Эверест, позже, в 60-е, пробовал для комплекта еще покорить и Эльбрус, да погода подгуляла. Аккурат в это время с вершины спустилась группа, в составе которой был Витя Кленов. Кленов извлек из рюкзака советский бестселлер "Тигр снегов" в мягкой обложке, удобно трамбующийся в рюкзак, и Тенцинг написал на обложке: "Будущему снежному барсу Кленову от тигра снегов". Вите Кленову было пятнадцать, но он прибавил год, чтобы приняли в альплагерь. Так когда-то рвались на фронт.

Когда в видовом альбоме "Nepal Parbat" очерку Кленова отвели три полосы, а Месснеру всего две, Месснер притворно обижался.

— Конечно, Виктор, — говорил, — король тебе благоволит.

Король Непала — член редколлегии журнала, с ним Кленов не то чтобы накоротке, но знаком, здоровается, как и с наследными принцами, они здесь доступнее, чем, скажем, у нас члены Политбюро. Выпускник Кембриджа, король Непала сказал, что у Кленова язык образнее. Король знает, что Кленов в своих публикациях не позволит "бульб", не напутает. Достоверность фактов не вызывает сомнений и у редакции газеты "Himalayan Times", издающейся в двух странах: Индии и Непале. Кленов трудится в "Гималайских временах" собственным корреспондентом в Катманду, он — *feature writer*, разумеется, англоязычный, его гвоздевые материалы не подлежат правке.

— По писаному дурь виднее, — говорит.

Кленов еще и фотохудожник. Его персональная выставка откроется в июне во Флоренции.

Виктор с тем же потешным, похожим на детский, рюкзачком, с которым шлепает по Одессе, и в тех же кроссовках, удобно принявших форму его ломаных-переломаных ног, отправляется в Катманду. Когда летел в последний раз, забыл в Дели заполнить две графы: *Status* и *Date of expire*. Проницательный офицер "стэйт-контроля", видимо, неплохой психолог, написал в анкете: *Temporary person passing throuth*, то есть буквально "*временная персона, следующая насквозь*". Как в Шамбалу. Дата же окончания "следования насквозь" *unknown*, неизвестна. Он и сейчас не загадывает, когда вернется. Может быть, пригласят участвовать в турнире по *elephant polo*, потом срочно писать репортаж о неспешном слоновьем футболе. В последний раз в составе его элефантской команды был кумир публики Стивен Сигал, в другой команде манипулировал клюшкой, похожей на швабру, солист группы "Роулинг Стоунс". Если женская команда соревнуется с мужской, то Кленов назначает для разгону гандикап, сразу 6:0 в пользу отважных дам. Уважающий Кленова таиландский драйвер выдал ему лицензию на вождение слона за три дня, хотя в Непале курс обучения — два года.

Кончина и воскресение Горбенко

В 2007 Кленов будет участвовать в составе украинской экспедиции на Хилмачули высотой 7900 метров и загадочный Пик-2. Экспедицию пестует Валентин Симоненко, президент Федерации альпинизма Украины, сделавший очень много для сохранения позиций и развития отечествен-

ного альпинизма. Кленов включен в состав команды и трековой группы. В Катманду ву него будет возможность не спеша пройтись по Тамелу. Услышит из окна, распахнутого настежь в горную весну, струнные перебоpы и визборовское: "Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой". Наверняка знакомых встретит.

— Привет, *crazy vagabond*! — окликнут, обнимутся — пивом, возможно, угостят или чем-то покрепче. Закусят диким плодом, сорванным с придорожной пальмы.

Сезон еще только столбится, потому проводят до площади Дарбар, к Патану, ступе Боудаданатх. Как водится, вспомнят общих знакомых, живых и павших.

— То место, близ Покхары, где умер Слава Горбенко, — спросит Кленов, — туристам еще показывают?

— Как Слава поживает? — справятся. — Не собирается на Амадаблам?

Слава, Мстислав Горбенко, одессит, заслуженный мастер спорта, действительно умирал у подножья Аннапурны в 96-м.

Победное восхождения на Аннапурну далось с трудом. Обмороженный и похудевший на 20 килограммов Горбенко на спуске еле тащил ноги. Его поддерживали товарищи, пока он не упал замертво. Сердце остановилось, дыхание не фиксировалось. Местные жители привели шамана и сказали:

— Он попробует оживить вашего товарища.

— Это суеверия, средневековье, — буркнули восходители.

— Все необычное, что происходит в Гималаях, для вас суеверия, — парировал шаман.

Ничего не обещая, он развел костер, бил в барабан, дудел в дудочку. Зарезал двух цыплят, черного и белого, перемешал кровь, сдобрил известными ему мазями и стал ворожить. Отлетевшая же душа Мстислава Горбенко в это время наблюдала с высоты птичьего полета собственное тело и возникший вокруг него переполох. Через два часа усопший открыл глаза и сам поднялся.

К помощи шаманов альпинисты прибегали и ранее, скажем, в 1990, когда состоялась международная экспедиция "великих врагов" — СССР, США и КНР — на Эверест. Горбенко тоже в ней участвовал. Погода не баловала, две недели валил снег, ветром разорвало палатку. Понимая, что штурм, приуроченный к Играм доброй воли в Сиэтле, под угрозой, начальник экспедиции Джим Уиттакер позвонил по спутниковому телефону жене и попросил ее связаться с Мэри Потлач, главной шаманкой резервации индейцев племени навахо. На другой день он получил в базовом лагере электронное письмо.

"Джим, я, конечно, могу отправить запрос по e-mail в федеральную службу погоды, но я всегда тебя считала интеллигентным человеком, — отвечала Мэри из резервации. — Мы, шаманы, не можем останавливать ветер, но можем менять его направление".

Тем не менее, перед восхождением тучи разошлись, экспедиция была спасена, на вершине водрузили три флага. Джим позвонил жене, передал приветы.

— Как дела дома? — спросил.

— Крыши нет, — сообщила жена, — ее снесло ветром. Ураган переворачивает трейлеры. Затоплено полгорода. Такого урагана Сиэтл не помнил со дня основания.

Слышимость на высоте была идеальной, как будто говорили из соседней палатки.

"Окно" продержалось всего час, на спуске снова повалил снег.

Знакомство Кленова и Горбенко имеет куда более глубокие корни и не ограничивается Гималаями. Много лет назад оба на равных штурмовали Эльбрус, где, кстати, в прошлом году регулярно погибали в лавинах группы. Причем одну связку вел Горбенко, вторую — Кленов. Всего же в активе Кленова 17 восхождений на Эльбрус, мало кто из альпинистов может похвастаться таким достижением.

Кленов угостит сосиской узнавшую его бродячую собаку, и ему посигналят из проезжающей машины. Машина с желанием и нетерпением тормознет, оттуда выпорхнет весенним ветерком в розовом сари "Мисс Непал — 99", по-простецки расцелуются. Для победительницы конкурса красоты у него припасена недорогая безделушка — фигурка Будды, сделанная из уральской яшмы и купленная на Дерибасовской. "Мисс Непал", между прочим, двоюродная внучка Сталина, Светлана Сингх, ее батюшка — родной брат одного из мужей Светланы Аллилуевой. У братьев была большая разница в возрасте, что не редкость в индийских семьях. Светлана Иосифовна, как известно, познакомилась с первым секретарем компартии Индии товарищем Сингхом в ЦКБ, кремлевской больнице. Растрогавшись самоцветами с Дерибасовской, племянница партийного лидера Светлана Сингх поделится с Кленовым сердечными тайнами, он к этому особо располагает. Пообещает позвонить и полетит ветерком дальше, а он продолжит путь по дорогим сердцу местам, где богов больше, чем людей.

— Намасте! — ответит на приветствие местного жителя, сам и не упомнит, откуда знакомы.

— Виктор! — окликнут иноземцы с ударением на последнем слоге. Непременно затащат в "Rum Dubble", где возле стойки бара доска с факсимиле всех покорителей Пика Планеты. Здесь и росчерк самого бесшабашного альпиниста-одиночки словенца Томаша Хумара, и лучшего британского альпиниста Криса Бонингтона. Кто-то совершил ночное восхождение, как Миша Туркевич в 1982-м, кто-то покорил без кислородного аппарата. Японец Миура спустился с вершины мира на лыжах с тормозным парашютом. Недавно Миура в 70 лет поднялся на Эверест, чтоб навсегда проститься с вершиной. Верн Теджас прихватил на Эверест гитарку, сымпровизировал что-то на космической высоте, а через год поднялся со скрипкой. А почему бы и нет? Какой же это *climb* без куража?

На столбах истрепанные рекламки:

"Ключи от Нирваны — 500$"

"Путеводитель по Шамбале — от 55$"

Почему "от"? Предложат еще ключ с секретом? Грань между реальностью и вымыслом преодолена. Слизана грань и между чудесным советским прошлым и шерповским настоящим у кандидата наук, который будет сопровождать в Шамбалу.

Там же на столбе расценки на отстрел йети. Лицензия стоит 400 долларов.

Охота на йети даже с помощью винтовки "Alka Seltzer", стреляющей пулями со снотворным, запрещена, так что рекламка устарела. Кленов сорвет ее со столба, откроет ключом скромную дверь и шагнет в микромузей, вернется к постоянной выставке Лисаневича, проникнет в свою Шамбалу. Выставка, его, Кленова, стараниями созданная в 2001-м, была торжественно открыта премьер-министром из династии Рана.

Человек из Шарлатанского переулка

Друзья нарисовали Бориса Лисаневича прямо на банкноте достоинством в 10 рупий, с одной стороны король Махендра, с другой — демонического вида мужчина, Борис. А почему бы и нет? Изображен же на банковских билетах Новой Зеландии Эдмунд Хиллари.

Журнал "Лайф" еще в 55-м году писал: "Лисаневич — вторая по счету достопримечательность Непала после Эвереста".

Борис Лисаневич родился в Одессе на 4-й станции Большого Фонтана в родовой усадьбе, жалованной прапрадедушке за взятие крепости Хаджибей еще градоначальником Иосифом-Хосе Дерибасом.

Революция рассеет семейство, один из братьев погибнет при подавле-

нии Кронштадтского мятежа, разумеется, он будет на стороне мятежников-эсеров, второй утонет на броненосце, след третьего оборвется во Франции. Бывшего же кадета Бориса Лисаневича, стройного, сильного и музыкально одаренного, примет в свою студию балерина Гамсахурдия, кстати, дальняя родственница Лисаневичей, в Одессе почти все друг с другом в родстве.

В 1924-м году в финальном акте оперы "Пророк" Мейербеера пиротехник передозирует калиевую селитру, нарушит пропорцию, и одесский театр, символ города, весело загорится, как пионерский костер. С пепелища Лисаневич уезжает в Париж, тогда еще выпускали, получает "паспорт Нансена", промежуточный документ, выдаваемый беженцам, и заключает контракт с театром "Альгамбра". На просмотре в театре Сары Бернар Борис сделал двойной пируэт, взлетел и был принят в труппу Дягилева *Ballet Russe*. Он танцует на лучших сценах мира в балетах "Петрушка", "Парад", "Карнавал", "Жар-птица", "Треуголка".

В кармане лежит аргентинская виза, билет на пароход до Буэнос-Айреса, где продолжатся гастроли. Лисаневич входит в ресторан в Монте-Карло проститься с друзьями из шаляпинской труппы, знакомится с солисткой балета Кирой Щербачевой, рвет билет и уезжает на гастроли в Индокитай. В промежутках между гастролями охотится на леопардов, буффало и носорогов. Жизнь напоминает феерию с буффонадой, каждый день как праздник, на который приглашаются все желающие. Что за актер без импровизаций?

"Я был очарован Востоком, — напишет. — Не мог поверить, что чувство гармонии и красоты, которое я испытывал только на сцене, могло существовать в реальном мире".

Индия манила и перспективой получения британского паспорта. Он обзаводится влиятельными друзьями и покровителями и с их помощью, в том числе финансовой, отрывает в Калькутте аристократический "Клуб-300".

В "Клубе-300" организует тайные переговоры Джавахарлала Неру с отлученным от престола королем Непала в изгнании Трибхуваном.

В 52-м вместе со второй женой юной датчанкой Ингер Пфейфер и двумя сыновьями прибывает в средневековый Непал, где не знали керосина, электричества и унитазов. Приобщая возвращенного на престол короля к цивилизации, Лисаневич учит доверчивых, как детей, непальцев выращивать шпинат, капусту и клубнику. Для привлечения туристов открывает отель, сам поселяется на крыше, где все звезды его. В разное время на кры-

ше побывали король Испании Хуан Карлос, Агата Кристи, Франсуаза Саган, Жан-Поль Бельмондо. С начинающим еще актером Бельмондо Лисаневич снялся в эпизоде фильма "Человек из Гонконга". Когда в этом году Кленов позвонил Бернадетте Вассо, подруге Бориса и Жана-Поля, она соединила его по телефону с Парижем.

— Наконец-то кто-то заинтересовался Борисом и моим фильмом с его участием, — сказал Бельмондо. — Я очень хочу, чтоб одесситы увидели его, и при первой возможности передам в Одессу.

Уже передал, Кленов демонстрировал автору фрагменты из кинокомедии.

Гостил у Лисаневича и Климент Ворошилов. Первого красного офицера очаровали пагоды на фоне снежных пиков, но был и другой, приглушенный обстоятельствами государственный интерес. Еще в 24-м проживавший в Индии русский живописец Николай Рерих затеял масштабную экспедицию в Тибет. Политкомиссаром у Рериха был агент ВЧК Яков Блюмкин, советский Лоуренс Аравийский. За караваном Блюмкина двигался арьергард с вооруженными большевиками бурятами, задачей отряда поддержки было поднятие красного флага над Лхассой. Ни много ни мало. Климент Ефремович настойчиво приглашал в Москву.

— Только в том случае, если будет куплен билет в оба конца, — отшучивался Лисаневич.

После смерти короля Трибухвана, его друга и покровителя, Лисаневич недолго сидит под арестом по сфабрикованному обвинению. Его выпускают, потому что новому королю Борис с его связями тоже необходим.

Подверженный горной романтике президент Всемирного банка Роберт Макнамара предоставляет Лисаневичу баснословно выгодный кредит для постройки отеля "Yak and Yeti". В результате интриг недобросовестного партнера по бизнесу, а может, и благодаря собственному хлебосольству Лисаневич разоряется и умирает в больнице для бедных в 1985-м году. Он похоронен на кладбище британского посольства.

Кленов заглянет на кладбище, пожмет руку пожилому сторожу, положит на скромную плиту гиацинт.

На улице "32 бабочки", где находится ресторан "Boris", с Кленовым поздороваются по-русски.

— Как там Одесса? — спросит морщинистый местный гражданин, выпускник Одесского объединенного командного училища.

— Одесса помнит своих героев, — ответит Кленов.

Институт сухопутных войск Кленов посещал в прошлом году. Начальник института генерал-лейтенант Троц, несмотря на занятость, вы-

кроил время принять посетителя. Троц в своем вполне почтенном генеральском возрасте до сих пор садится на шпагат, так что лампасы сливаются в одну линию, и является кумиром юных курсантов и лицеистов. Отрадно, что на протяженном и по времени, и по расстояниям пути передачи культурной эстафеты встречаются такие яркие личности. А может быть, закономерно.

Генерал-лейтенант поднял архивы кадетского корпуса, в кирпичных стенах которого располагается военное учебное заведение, чтобы удовлетворить интерес Кленова к личности кадета Бориса Лисаневича. Усадьба Лисаневичей вместе с конезаводом находилась через дорогу от кадетского корпуса в Шарлатанском переулке (ныне улица Пионерская). Начальник кадетского корпуса генерал от инфантерии Михаил Евгеньевич Дерюгин частенько заезжал сюда на самовар, заодно и любовался ахалтекинскими племенными скакунами, бравшими призы на ипподроме, он тоже через дорогу.

Скитания как сознательный выбор

Одесские корни Кленова примерно с того же самого суворовско-дерибасовского периода, как и у Лисаневича. После перемирия 1791 года между Турцией и Россией русская агентура активно работает по разложению задунайского казачества и возвращению беглых казаков в Россию. В письме к генерал-поручику Волконскому Кутузов рекомендовал купца Евтея Кленова как "весьма верного человека". Кутузов выписал купцу подряд на подъем пушек, затонувших при форсировании Дуная, а также позволил брать десятину с рыбных промыслов. Евтею Кленову удалось уговорить 550 казаков вернуться под предлогом встречи с родственниками, после чего он получил звание почетного гражданина Одессы.

Прабабушка Елена Кленова жаловала в 1829 году 6 тысяч рублей на строительство богадельни при Старом кладбище. Богадельня эта именовалась Кленовой или Еленовой, в этом торжественном здании размещался районный отдел милиции.

Семейные обстоятельства сложились так, что детство Виктора Кленова прошло в Алчевске, том самом скандально замерзшем Алчевске (Ворошиловске), где "одновременно учились ходить, пить и курить". На местный металлургический комбинат со всей страны свозили для переплавки оружие в ассортименте, малолетки, естественно, активно пополняли личные арсеналы годными револьверами и обрезами, и перестрелки не были редкостью. Для наведения порядка в Алчевск дважды вводили войска, о карательных

рейдах в печати не сообщалось. В 11 лет Витя поменял наган на "Дон Кихота". Когда книга была проглочена залпом, он закрыл ее и сказал:

— Я буду путешествовать до пенсии!

Бросил курить и записался сразу в шесть спортивных секций. К спорту приобщали энтузиасты-фронтовики, среди которых попадались калеки. Поскольку Кленов был неформальным лидером в квартале, ему откат не простили.

— Мне устроили остракизм, — вспоминает.

Пару раз пришлось жестоко драться. Потом отстали.

В 7-м классе убежал в Крым, миниатюрность позволила без труда поместиться в угольном ящике под вагоном. Вернулся через два месяца. С твердым убеждением, что бродяжничать будет продолжать и дальше. Домовой явно не любил его, следующие скитания затянулись на 8 месяцев и закончились в уфимском СИЗО.

В 8-м классе он уже играл за юношескую сборную УССР по футболу.

— Мунтян играл в Киеве, — говорит, — а я в Луганске.

Защитник умышленно подсек девятого номера Кленова и сломал ему сразу две кости. Напрочь. Поскольку доктор Илизаров со спицами тогда еще не практиковал, лечили вытягиванием, к веревкам подвешивались гири. Перемучился девять месяцев, перелом усугубился костным туберкулезом, и врач написал в истории болезни: "Больной Кленов ходить не будет". Всего он в разное время и в разных географических точках провел в больничных палатах три с половиной года, залечивая переломы голеней, ключиц, ребер, гематомы и растяжения связок.

Он нырял с железнодорожных мостов по заказу луганского телевидения. Для самоутверждения прыгал с крыш движущихся вагонов в обводной канал Днепрогэса. Один раз не угадал, ударился о берег плечом, насилу вытащили. Рука с тех пор имеет ограниченную подвижность, из-за чего едва не утонул, гоняясь на виндсерфинге. На регате при перемене курса яхты-четвертьтонника его оглушило гиком.

— Не болят ли с возрастом переломы? — спросил у него.

— Я на восхождении просыпаюсь часа на полтора раньше, чтобы привести себя в порядок, — сказал.

И не только для трековой группы. Лазающий переводчик нарасхват у иностранных "матрасников"! Месснеру даже за кратковременное присутствие на таких мероприятиях каждый участник доплачивает сверх тарифа по две тысячи долларов. Месснер может рассказать анекдот или расписаться на рюкзаке. Остается пожелать и Кленову коммерческих успехов, правда, сам он не очень к ним стремится.

Костный туберкулез бабушка лечила традиционными снадобьями, изготовленными смешением меда, желтков яиц, орехов. Ноги болели долго и невыносимо. Хромая и морщась, шлепал на завод. Взяли лекальщиком, изготовлял штампы. Работе отдавался с жаром, как и всему, что увлекало. Досрочно присвоили шестой разряд, зарабатывал по тем временам серьезные деньги, "закрывали" по 300-400 рублей. Оставаясь нигилистом, не принимая издержек Великой Эпохи, он не воспользовался обычной схемой, не пошел истопником в котельную, не отвергал систему "взагали". Даже жесткий распорядок желанных альплагерей с подъемами, построениями и отбоями вызывал в нем яростный протест. Отправлялся на Эльбрус в сентябре, чтобы всласть побродить в одиночку. Он и сейчас не воспринимает многие странности затяжного межвременья.

Одесский университет выбрал не только потому, что тянуло к могилам пращуров, не заживала нога.

— В Одессе солнце, грязи, — посоветовала бабушка.

К вступительным экзаменам едва не опоздал, спустился откуда-то с гор пыльный, уставший, волосы до плеч.

На первом экзамене с ним беседовали час. Поставили "отлично". Экзаменатор настаивала, чтобы Виктора обязательно зачислили независимо от результатов трех оставшихся экзаменов. Он показал отличное знание остальных предметов и был принят. Через неделю студент исторического факультета Витя Кленов был на раскопках Ольвии и ловил в лимане камбалу. Местное вино, "шмурдяк" с табаком, разливали из античных амфор.

Он никогда не состоял в комсомоле, правда, в профком факультета выбирали каждый год. Несколько раз дрался... с преподавателями, добиваясь справедливости. Не к себе, конечно. У сокурсника умер отец, через неделю похоронили матушку. На сессии отлучки во внимание не приняли. Бедняга собрался было уезжать домой совсем, но тут восстал Кленов.

Свидетели дали показания, что Кленов к замдекана не прикладывался.

— Ты его все-таки приварил? — спросил после "амнистии" знакомый методист. — Вот молодец!

Завещание Блещунова

В Непал его благословил известный одесский альпинист и коллекционер Алексей Блещунов. В его квартире-музее Виктор Кленов пропадал месяцами, помогал систематизировать коллекции, иногда ночевал.

— К сожалению, я Непал Рериха не увижу никогда, — говорил Блещунов. — Ты должен туда попасть. Тем более, там уже ступал одессит, Лисаневич.

Кем был Лисаневич? Альтруистом с душой нараспашку? Чудаком? Плейбоем, для которого каждый прожитый день в удовольствие? Еще художником, коллекционером, администратором, неважным предпринимателем. Мечтательный хозяин — часто приговор бизнесу, особенно в сфере сезонного сервиса.

Для коренного же населения, безусловно, белым пришельцем, им неважно откуда. Важно, что добрый и не высокомерный. А раз добрый, значит, из благополучной страны, где растет вкусная клубника и готовят на примусах.

Для англичан и европейцев, безусловно, прежде всего, выходцем из государства с культурными традициями, пусть человеком без паспорта, но не из ряда паниковских.

По большому счету, Лисаневич открыл для западного туриста Непал. Фаддей Беллинсгаузен Антарктиду, а он Непал. А непальцы, в свою очередь, открыли Одессу.

Все-таки Лисаневича, наверное, нужно было воспринимать живьем, как балет, в движении. И благородные хлопоты Кленова, человека тоже беззаветно восторженного, как раз и направлены на то, чтобы забвение не случилось. Сначала на Кленова с его самодельными лекциями о земляке, ставшем частью Непалианы, ходили робко. Сейчас во Всемирном клубе одесситов аншлаги. Открыли знаменитого земляка с опозданием на сорок лет, но отношение трепетное и немного истеричное. Даже обращались к мэру города, чтобы улицу Зоопарковую, что соседствует с Шарлатанским переулком, переименовать в улицу Лисаневича. Тем более что в Катманду обещали увековечить имя легендарного одессита в названии одной из площадей.

Профессионально настороженные британские и американские офицеры считали Лисаневича международным агентом, двойным, тройным, перекрестным, каким угодно. Будучи человеком проницательным, Лисаневич, не опровергая догадки, многозначительно улыбался. Кстати, дипломатично улыбается и Кленов, не разрушая предположения в свой адрес первых секретарей посольств в Катманду. Дипломатам известно еще, что особым расположением Кленов пользуется у чрезвычайного и полномочного посла США в Непале Майкла Малиновски. Дело в том, что дедушка Михаила Малиновского сто с лишним лет назад эмигрировал... из Одессы.

Такие мечтатели, как Кленов и Лисаневич, не умещаются в привычный ряд.

Лисаневич незадолго до смерти сказал:

— Все это — игра. Только одно может стоить в этой жизни — как много людей вы сделаете счастливыми.

Когда в 80-е соцреалии особенно допекли бессребреника Кленова, он спасался от перестроечных безобразий в детской среде. Обратился в Дом пионеров Приморского района Одессы, и ему доверили шесть десятков подростков для приобщения к высокому в топографическом и образном смысле и внеклассного воспитания. Трудных мальчиков и трудных девочек Кленов водил в Крым, на Кавказ, учил языкам, боксировать, управлять парусами. Подросткам, особенно из неполных семей, нужны одержимые преподаватели, и желательно мужчины. По большому счету, историк и археолог Кленов учил, как жить и как воспринимать далекий от совершенства мир. Некоторые из его воспитанников уже топтали в триконях и без Гималаи. Непал тоже "упал на сердце", так что задачу по обеспечению "паблик рилэйшн", завещанную Алексееем Блещуновым, Кленов перевыполнил.



ПРОЗА

Аркадий ЛЬВОВ
Двор 45

Анатолий КОНТУШ
Прерывистые линии 69

Александр МАРДАНЬ
Меню 120

Александр ГРИНБЛАТТ
Зико 128

Ганна КОСТЕНКО
Не дивись так... 140

Валерий КУЗНЕЦОВ
Уманское утро 147

Аркадий ЛЬВОВ

Двор

От редакции:

Наш земляк, член редакционного совета альманах Аркадий Львов работает над IV книгой эпопеи "Двор", судьбы героев которой – жильцов одного из домов по переулку Нечипуренко – прослеживаются с 1927 года на протяжении десятилетий.

Публикуем отрывок из главы книги III, вышедшей в московском издательстве "Захаров".

Время действия – весна 1953 года, когда вскоре после смерти Сталина уцелевшие жертвы террора начали возвращаться домой – в Одессу...

Спозаранку, ни свет ни заря, Иона Чеперуха стучал кулаком в двери и требовал, чтобы Зиновий немедленно отворил. Едва ступив через порог, Иона закричал:

— Зюня, я тебе говорил, что Ланда вернется домой! Только что передавали по радио, что доктор Ланда не виноват и может вернуться домой.

— Ланда? Так и сказали по радио: доктор Ланда? — Зиновий стоял на одной ноге, держался рукой за дверь. — Батя, а ну дохни.

Иона дохнул, постоял секунду молча, чтобы сын мог разобраться, и громко воскликнул:

— Ну, теперь ты мне веришь! Сын, я тебе скажу больше: не только один доктор Ланда, а все другие доктора, которых взяли, тоже. Берия приказал, чтобы проверили, как идет следствие, и оказалось все наоборот: врачи не виноваты, а виноваты те, кто вел следствие. И теперь Берия приказал врачей выпустить, а тех, наоборот, посадить.

— Подожди, — остановил Зиновий, — ты говорил, что по радио называли доктора Ланду. Называли или не называли?

— Называли, не называли, — замахал руками Иона. — Какое это имеет значение? Я тебе повторяю: сказали, что врачи не виноваты и всех отпустят домой. И я тебе даю гарантию: через день-два Ланда будет дома.

Из-за стены раздался стук, чтобы не шумели так громко, не дают людям спать. Иона, вместо того чтобы понизить голос, как просили, расшумелся еще больше:

— Пушкарь, ты слышал своими ушами, повторять не надо: доктор Ланда возвращается домой.

Федя Пушкарь опять постучал, в этот раз громче. Иона понизил голос,

можно было думать, этим ограничится, но Пушкарь воспользовался тишиной, чтобы вставить свое слово:

— Не кричи гоп, пока не перескочишь!

— Колхозник, — закричал весело в ответ Иона, — вертайся до своих коров и свиней, там будешь давать свои советы! А сегодня заходи вечером, позови Степу, выпьем за доктора Ланду и за Дегтяря, который не дожил!

Пушкарь ответил, хорошо, он зайдет, вчера он достал две большие тараньки и рыбца, привезли из Николаева, а горилку пусть обеспечит Иона.

Зиновий хотел усадить отца за стол, чтобы вместе позавтракать, а то до вечера, пока Пушкарь принесет свою тараньку, еще далеко, но Иона в ответ замахал руками, нету ни одной свободной минуты, надо бежать к Бирюку и напомнить этому фрицу, как он кричал на Чеперуху, что пойдет в энкавэдэ, и пусть там выведут биндюжника Чеперуху на чистую воду.

— Батя, не дури, — Зиновий пытался остановить отца, но тот уже захлопнул дверь, через открытую форточку можно было только услышать слова: этот берлинец еще попляшет на коленях, и весь двор будет свидетель, как он просит, чтобы биндюжник Чеперуха простил его.

Слышно было, как в парадной цокают по чугунной лестнице тяжелые сапоги, и через минуту в утренней тишине на весь двор раздался голос Чеперухи:

— Эй, майор, открывай свои двери: телеграмма от полковника Ланды, чтобы майор Бирюк подготовил встречу!

Зиновий, когда услышал, набросил на себя макинтош, хотел немедленно подняться наверх, увести отца, иначе наверняка разразится скандал, и майор Бирюк будет прав на все сто процентов. Но вопреки ожиданиям никаких голосов — ни громких, ни тихих — больше не было, видно, хозяин открыл двери, впустил непрошеного гостя, и теперь разговор шел в квартире. Квартира есть квартира, и врываться, как его отец, спозаранку к соседу Зиновий не мог позволить себе, тем более по делу, которое к нему лично не имело отношения.

Слышно было, как Федя Пушкарь открыл свои двери, видимо, тоже стоял и прислушивался, но поскольку шум прекратился, через пару минут захлопнул.

Катерина, нечесаная, в ночной рубахе, вышла из другой комнаты, уставилась на Зиновия:

— Ты чего караулишь? Слышала во сне папашин голос: своего друга Ланду звал. А тот, — Катерина засмеялась, — в ответ звал к себе: "Давай, Иона, сюда, здесь для тебя на нарах свободное место рядом, вдвоем весе-

лее!". Дурень, — Катерина подошла, прижалась, — говорила тебе: Гизеллу все равно выселят, не спи, дергай в исполкоме за все ручки, пусть передадут квартиру офицеру-инвалиду Зиновию Чеперухе, семья четыре человека. Ну не можешь сам, скажи: не могу. Вдвоем будем теребить. Не хочешь вдвоем — сама пойду, одна.

Катерина взяла руками голову Зиновия, сказала, пусть не отворачивается, пусть смотрит в глаза, Зиновий сбросил руки, посмотрел внимательно в глаза, как будто испытывает, и произнес:

— Готовь, Катерина батьковна, хлеб-соль: полковник Ланда возвращается домой.

— Шутишь! — воскликнула Катерина.

— Шучу, — сказал Зиновий, включил радио, комната наполнилась звонкими пионерскими голосами: "И все мы в бой пойдем за власть Советов, все, как один, умрем в борьбе за это!".

Катерина затрясла кулаками, пусть немедленно выключит свое радио, а то дети проснутся.

Но дети уже сами проснулись, выскочили оба из своей спальни и просили папу, чтобы не выключал радио, эту песню как раз вчера учили в детском саду, и воспитательница велела, чтобы все выучили наизусть, а кто не выучит, того поставят в угол, и будет стоять, пока не выучит.

Когда песня кончилась, диктор сказал, с первых дней апреля в нынешнем году по всей стране началась всенародная подготовка к празднованию годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В Ульяновске, бывшем Симбирске, где Ильич провел свои детские и юные годы, организована выставка: "Ленин — вождь и создатель Коммунистической партии и Советского государства". На выставке широко представлены подлинники и копии документов, написанных лично Лениным.

Зиновий внимательно слушал, Катерина сказала, эти новости она уже слышала у себя в Улан-Удэ, когда принимали в пионеры, Зиновий не откликался, прослушал сообщения по стране до конца, Катерина насмешливо спросила, ну, где та байка, что Ланда возвращается домой, надо готовить хлеб-соль, Зиновий пропустил мимо ушей, на лице росло удивление, и громко произнес:

— Катерина, ты слышала, ни разу не назвали Сталина.

Катерина пожала плечами: а чего называть? Кто именинник, того назвали. Зиновий посмотрел внимательно, как раньше, как будто хотел прочитать в глазах, Катерина вдруг вспыхнула:

— Брось ты, Зиновий Ионыч, свои одесские штучки: есть чего сказать,

говори, а читать в глазах, как покойный ваш Дегтярь, ты забудь это. Свято место пустовать не будет: ты не спеши занимать.

Катерина вся напряглась, дети смотрели испуганно, прижались один к другому, Зиновий неожиданно подмигнул, засмеялся, крикнул мальчикам весело:

— А ну-ка, дети, скажите своей маме медведице, что на дворе уже апрель, пора вылезать из берлоги!

— Мама, — закричали хором Гриша и Миша, — вылезай из своей берлоги: на дворе уже апрель!

Катерина схватила одного и другого за уши, мальчики, хотя лица скривились от боли, в один голос завопили, а нам не больно, в это время распахнулась дверь, влетел дед Чеперуха, вырвал внуков из рук Катерины, подставил свою седую голову и сказал, если так сильно неймется, пусть дерет за уши его, только раз-два, а то пора на работу, он не успеет рассказать про Бирюка и Бирючку, как те его кормили завтраком у себя дома.

Катерина, вместо того чтобы ответить свекру как надо за то, что подрывает авторитет матери перед детьми, вдруг сама развеселилась, как будто в самом деле смешно, и предложила Ионе, пусть еще расскажет, как хозяева уложили его между собой и поднесли в постель пол-литра.

Старый Чеперуха ответил, пол-литра не поднесли, а стопку таки поставили, и не одну, а две.

— Можете сказать, и три, — насмешливо повела плечами Катерина.

Чеперуха наморщил лоб, будто припоминает, загнул один палец, другой, третий и громко топнул ногой:

— Катерина, чтоб я так был здоров, ты права: таки не две, а три!

Зиновий нахмурился, видно, не нравилась вся сцена, Иона опять топнул ногой:

— Зюня, ты можешь быть гордый за своего папу. Твоя чалдонка угадала на все сто процентов: не две стопки, а три. Майор как раз успел сказать тост, что Бог любит троицу, но Бирючка выхватила прямо из рук, до вечера еще далеко, день только начинается, а с Чеперухой немного опоздала, так что получилось ровно три.

— Ровно три, — топнул ногой Гриша, за ним топнул Миша, — ровно три!

Мальчики прижались к деду, Иона поднял обоих на руки, как будто Первое мая или Седьмое ноября, и торжественно произнес:

— Внуки, запомните навсегда этот день! Сегодня майор Бирюк, Герой Советского Союза, которому дали пост в самом Берлине, чтобы охранял нашу советскую власть, сказал вашему деду: "Иона Чеперуха, ты был прав

насчет доктора Ланды, а я был неправ, и прошу тебя как солдат солдата, не поминай меня лихом и прости!".

— Дед, — закричали Гриша и Миша, — он плохой, он на тебя кричал, пусть просит, пусть станет на колени, а ты скажи ему: не хочу простить!

— Внуки мои, — старый Чеперуха поцеловал одного и другого в щеки, громко крякнул, оба заложили пальцами уши, — внуки мои, человек не должен быть злой, не должен злиться. Человек может рассердиться, — Иона задумался, качнул головой, — да, рассердиться может, но злиться, держать злобу в душе не надо. Кто держит внутри злобу, тот себе портит жизнь и другим портит.

— Папаша, — сказала Катерина, — кончайте свою философию, здесь не хедер и не Красный уголок.

— Катерина, — Иона подошел вплотную, положил руку на плечо, — откуда у молодой женщины столько желчи на людей? Пойди к доктору, проверься на камни, может быть, надо сделать операцию, пока не поздно.

— Не ваша забота, — Катерина наклонила голову, сбросила руку. — Не я садила вашего Ланду, но раз посадили, значит, было за что. Так просто, ни с того ни с сего, не садят.

— Дурочка, — сказал Иона, хотел опять положить руку на плечо, но Катерина уклонилась, — дурочка, вместо того чтобы вылеживаться по утрам и гадать на кофейной гуще, лучше вставай спозаранку, как встает Иона, и включи свой репродуктор.

— Тьфу, — сплюнула Катерина, — а горел бы он огнем, ваш репродуктор!

— Дед, — закричали хором Миша и Гриша, — а горел бы огнем твой репродуктор!

Катерина завела руку кверху, вроде собирается шлепнуть, но в это время постучал за стеной Федя Пушкарь:

— Эй, прекратите свой гармидер и слушайте, что говорит радио.

— О! — Иона поднял свой палец к потолку, все машинально посмотрели вслед, как будто ожидали голоса сверху, но голос шел сбоку из-за стены: Федя Пушкарь сделал как можно громче, чтобы соседи могли послушать вместе с ним.

Начало уже пропустили, но по смыслу легко можно было догадаться, что диктор — все узнали голос Левитана — говорит про врачей:

— ...были арестованы неправильно, без каких-либо законных оснований... — в комнате у Пушкаря радио сильно затрещало, Зиновий быстро включил свой приемник и сразу нашел станцию. — Показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получе-

ны работниками следственной части бывшего Министерства госбезопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия...

— Да где же здесь про вашего Ланду? — развела руками Катерина.

Старый Чеперуха, хотя никто не просил, подскочил к приемнику, сделал на полную громкость, так что теперь глухонемой мог услышать. Левитан говорил торжественным голосом, как во время войны, когда передавали приказы Верховного Главнокомандующего про победы наших войск над немцами и наступление на Берлин:

— Привлеченные по этому делу полностью реабилитированы, из-под стражи освобождены, а лица, виновные в неправильном ведении следствия, арестованы и привлечены к уголовной ответственности.

— Ах, сукины дети! — Иона хлопнул в ладони, Гриша и Миша тоже хлопнули и повторили вслед за дедом: — Ах, сукины дети!

Катерина схватила Гришу и Мишу, в один прием обоих, за уши, закричала, чтоб не повторяли уличные слова, старый Чеперуха наклонил голову, подставил прямо под руку, пусть хватает его, а на детей пусть руку не поднимает.

Катерина вдруг заплакала, набросилась на Зиновия:

— Что, христарадник, доигрался, дождемся, теперь молчишь, как истукан! Господи, за что, — Катерина затрясла руками, — за что, Господи!

— Чалдонка, — весело закричал Иона, — перестань свои кулацкие штуки, а то допросишься у Бога, что будешь опять, как та старуха в сказке про золотую рыбку, сидеть у разбитого корыта!

— Зиновий, — Катерина вытерла кулаком слезы, видно было, что уже взяла себя в руки, — ты скажи своему Ионе Аврумовичу, кто привык всю жизнь жить в нужнике, того в нужнике и похоронят, а я сама у отца-матери жила по-людски, и мои дети будут жить по-людски, а не только ваши Ланды да Гизеллы.

— Наши Ланды да Гизеллы? — переспросил Зиновий. — Что ты имеешь в виду?

— А то имею в виду, — скривилась Катерина, — что все люди имеют в виду, и нечего пялить зеньки, как солдат на вошь.

— Как солдат на вошь, как солдат на вошь! — обрадовались Гриша и Миша, подбежали к деду и спрятались за спиной.

— А ну, байстрюки, марш одеваться! — скомандовала Катерина.

— Подожди, — остановил Зиновий. — Я просил тебя объяснить, что ты имела в виду: какие наши Ланды да Гизеллы?

— Зюня, — встрял старый Чеперуха, — не придирайся к человеку: ничего она не имела в виду. Она просто повторяет то, что говорят другие: наши евреи умеют устраиваться. Да, — сказал Иона, — умеют. Но я хочу у тебя спросить, Катерина батьковна: ты говоришь, что живешь в нужнике, а по-моему, твой Зюнчик тоже сумел неплохо устроиться, и покойный Дегтярь был тысячу раз прав. А что касается нашего доктора Ланды, так пусть Иона Чеперуха не доживет до того дня, когда его внуки будут жить в квартире доктора Ланды, потому что доктора Ланду посадили в тюрьму. Кому нравится, пусть въезжает, а Иона Чеперуха, его сын и внуки на чужих костях в рай въезжать не будут.

— Только на своих биндюгах, — засмеялась Катерина. — У вас в Одессе, как послушать, так каждый биндюжник — Дюк Ришелье.

— Ерусалимские дворяне, — крикнул из-за стены Федя Пушкарь, — чумакам не свояки: ездют верхом на чужом горбу!

— Вот, — Катерина указала рукой на стену и поддела носком плинтус, чтоб сосед мог лучше услышать, — так и жить будем: пусть всякий Федя ухом приложится — да еще дырку в декорации просверлит.

За стеной послышался смех, но тут же оборвался: человек зашелся в сильном кашле и никак не мог унять.

— Федя, — постучал кулаком Иона, — а ты не затыкай себе рот: не дай Бог, навсегда поперхнуться можно.

— А вы, Иона Аврумович, не волнуйтесь, — нарочно громко, чтоб хорошо было слышно за стеной, сказала Катерина. — Федя хоть подавится, а слово свое, где надо, скажет. За ним не пропадет. Раньше до Дегтяря да Малой бегал, а теперь на повышение пошел — прямо на Бебеля половичок сладили.

— Ну, чалдонка, ну, баба, — Иона развел руки, захватил Катерину в охапку, — вот за это я тебя люблю! Не то, что наши одесситки: только на мужа гаркают и своими ляжками трясут!

Катерина сделала вид, что увертывается, и закричала, вроде зовет на помощь:

— Мадам Малая! Мадам Малая!

Гриша и Миша схватили деда за штаны, как будто оттаскивают, чтобы помочь маме, и хором тоже закричали:

— Бабушка Малая! Бабушка Малая!

Самое удивительное, что тут же постучали в дверь, Зиновий едва успел отворить, и на пороге встала сама Клава Ивановна.

— Чтоб я так была здорова, — поклялась Клава Ивановна, — сердце

подсказало мне, что Чеперухи меня ждут. Я сказала себе: Малая, хватит вылеживать свои боки — не надо ждать, пока позовут, а надо нагрянуть к людям как гром среди ясного неба, чтоб было настоящее чудо.

Клава Ивановна была в своем домашнем халате из добротной серой байки, немного похоже на балахон, пояс впопыхах забыла завязать, одним концом волочился по полу, Зиновий подобрал, быстро свернул в клубок, положил в карман халата. Клава Ивановна машинально схватилась рукой, как будто поймала воришку, но оказалось, это был только хитрый маневр, чтобы отвлечь внимание хозяев: засунув руку в другой карман, Клава Ивановна немного нахмурилась, будто не может найти то, что ищет, но тут же, как фокусник в цирке, выдернула руку из кармана, подняла высоко над головой, в руке была бутылка, на дне лежал зубец чеснока и стручок красного перца.

— Иона, — сказала Клава Ивановна, — это тебе персонально, чтоб мы все могли сегодня выпить за нашего доктора Ланду, которому ты собирал подписи от жильцов дома, когда никому другому не приходило в голову.

— Мадам Малая, — Иона смотрел как завороженный, смахнул большим пальцем с глаза слезу, — в старое время люди привыкли говорить: до царя далеко, а до Бога высоко. А я отвечаю: смотря какой царь, смотря какой Бог. Сегодня утром я зашел до Бирюка, и в присутствии жены и всей семьи он вслух признал: "Иона, то, что ты делал, тогда было ошибкой и неправильно. Но пришло время, наши органы разобрались, и оказалось, рабочая совесть тебя не подвела". Прямо в подштанниках, он даже не успел завязать штрипки, майор взял из буфета графин и сказал тост: "Иона, цыплят по осени считают. К народу, Иона Аврумович, надо прислушиваться: отмахиваться нельзя".

— Чеперуха, — мадам Малая велела поставить бутылку в шифоньер, пусть постоит, она скажет, когда пора откупорить, — я всегда знала и всегда говорила: снаружи, по манерам, Иона Чеперуха бывает грубый, как биндюжник с Молдаванки, но внутри у него доброе сердце, которое болит за правду.

— О, — воскликнул Иона, — теперь, когда сам товарищ Берия за меня и заявил, что Чеперуха таки был прав, все подхалимничают и хотят со мной дружить!

— Чеперуха, — мадам Малая зажмурила глаза, седые брови высоко поднялись над переносицей, — теперь, когда в нашем доме уже нет товарища Дегтяря, который поправлял нас на каждом шагу, надо помнить и нельзя забывать ни на минуту: каждый должен требовать от себя, как

требовал покойный Дегтярь, который всегда верил и знал, что если кого-то взяли по ошибке, как взяли нашего Ланду, обязательно придет день, партия разберется, и человек вернется домой.

Иона задумался, на лбу собрались морщины, сделал рукой движение, видно было, хочет задать мадам Малой вопрос, но Зиновий, который до этого момента внимательно слушал и молчал, опередил и спросил первый: почему сообщение, что врачей арестовали незаконно и подвергали пыткам, идет от имени Министерства внутренних дел, которым руководит Берия, а не от имени ЦК партии или Генеральной прокуратуры, которая подотчетна Верховному Совету?

— Зюня, — воскликнул старый Чеперуха, — это с твоей стороны некрасиво перебегать дорогу отцу. Пусть мадам Малая пока подумает, а я тебе отвечу. Все знают, Сталин был грузин, и Берия — грузин. Можно было рассчитывать, что после Сталина будет Берия. Но в Кремле решили по-своему: главным назначили Маленкова, а заместителем Берию. Но все равно, люди помнят: Берия есть Берия, Сталин любил его и доверял больше всех. И если Берия говорит, что врачей взяли даром, врачи не виноваты, все люди верят и говорят: товарищ Берия, вам спасибо, а виновных надо поставить к стенке и расстрелять. А расстреливать — это всегда была работа ГПУ и НКВД, а партия расстрелами не занимается. Партия руководит и учит — это ее работа. А расстреливать, — повторил Иона, — это всегда была работа НКВД, и для этого партия их поставила.

— Чеперуха, — замахала руками мадам Малая, — остановись! Я тебе говорю, остановись, а то у тебя в голове такой гармидер, что даже у покойного Фимы Граника был больше порядок!

За стеной, у Феди Пушкаря, загремело, как в мастерской у жестянщика, как будто кот, который неудачно прыгнул с полки на верстак, сбросил на пол все кастрюли, миски и листы жести.

Катерина подошла к стене, громко постучала и окликнула:

— Федя! Пушкарь! Ты еще живой там, невредимый, или пробило дырку в голове, надо срочно карету вызывать?

Все замолкли, стали машинально прислушиваться, но никто не отвечал. Иона вдруг сорвался с места, сказал, он постучит Феде в дверь, просто так, ему интересно знать, дома Пушкарь или уже ушел на работу, мадам Малая хотела загородить выход, но пока дошла до дверей, Иона был уже с той стороны и тарабанил к Пушкарю так, что в комнате у Зиновия все дрожало, и люстра качалась под потолком, как будто землетрясение.

— Зиновий, — сказала Клава Ивановна, — если ты хочешь, чтобы

у твоих сыновей был рядом дед, который в выходной день может взять их, чтобы пойти с ними погулять на Дерибасовскую или поехать в Аркадию, объясни ему по-хорошему, пока есть время и еще не поздно: Дегтярь лежит на кладбище, но советская власть у нас не кончилась. Объясни ему, этому старому биндюжнику: советская власть не кончилась.

— И никогда не кончится, — добавила Катерина.

— Правильно, Катерина, — похвалила Клава Ивановна, — и никогда не кончится, хотя я слышу в твоем голосе нотки, которые чужой человек, если не знает тебя, может услышать по-своему.

Зиновий вдруг, как будто какой-то веселый спектакль или клоун показывает в цирке свои трюки, зашелся в смехе, схватился за живот, Гриша и Миша тоже схватились за животы, Клава Ивановна сама не выдержала, стала смеяться, одна Катерина стояла неподвижно, будто нашел столбняк. Старый Чеперуха отворил дверь, остановился в проходе, по глазам видно было, не понимает, откуда такое веселье, но тут же, чтобы не отставать и не портить людям праздник, открыл шифоньер, вынул бутылку, отпил немного прямо из горла, произнес тост за доктора Ланду, за весь двор и всех соседей, чтобы жили всегда дружно и не знали горя, сделал еще пару глотков, слышно было, как булькает в горле, поставил бутылку обратно в шифоньер и сказал, пусть стоит до вечера, Федя Пушкарь вернется с работы и можно будет вместе отпраздновать.

Когда успокоились, Клава Ивановна напомнила Зиновию, пусть поговорит с отцом, а со своей стороны дала старому Чеперухе совет, сначала думать, а потом говорить, чтобы не приходилось гадать, слышно у соседа за стеной или не слышно.

— Гадать? — удивился Иона. — Почему гадать? Если сосед дома, так он слышит. А если его нет дома, так он не слышит. Но иногда сидят так тихо, что неизвестно, дома или не дома, и тогда приходится постучать в двери или позвонить, чтобы сосед ответил, дома он или не дома.

— Чеперуха, — покачала головой Клава Ивановна, — я вижу, лавры покойного Ефима Граника не дают тебе покоя: ты хочешь притворяться идиотом, чтобы смешить людей и говорить все, что тебе ударит в голову. Иона, — опять покачала головой Клава Ивановна, — но ты не Ефим Граник: он потерял все на свете — детей, жену, семью. А у тебя все есть: дети, жена, семья. И вдобавок, внуки. Иона, я повторяю тебе: ты не Ефим Граник.

Иона, хотя до этой минуты был настроен миролюбиво и мог радоваться вместе со всеми, что все складывается так хорошо и удачно, вдруг, когда никто не ожидал, набросился, словно укусила какая-то муха, на мадам

Малую с такими словами, что Катерина немедленно схватила Гришу и Мишу, вытолкала в другую комнату, только бы не слышали, какие выражения сыплются изо рта у деда. Зиновий, вместо того чтобы немедленно вмешаться и остановить, пока еще не поздно, сидел, как будто заколдованный на своем стуле, только хлопал глазами, вроде перед ним не родной отец, а незнакомый, посторонний человек ворвался неизвестно откуда и устроил настоящий погром.

Старуха Малая раскрыла рот, голова заметно тряслась, Иона обозвал неприличным словом, вынул из шифоньера бутылку, которую подарила ему персонально мадам Малая, бросил на пол, растоптал своими сапогами, комната сразу наполнилась запахом спирта, немного отдавало сивухой, и тут только Зиновий пришел в себя, схватил отца за плечи, усадил на диван, велел сидеть и не двигаться. Иона сделал попытку встать, Зиновий усадил вторично, подошел к мадам Малой, у старухи текли по щекам слезы, голова тряслась еще сильнее, Зиновий осторожно взял под руку, повел к дверям, гостья не сопротивлялась, шла покорно, Зиновий обнял за плечи, слегка прижал к себе, мадам Малая тихонько бормотала:

— Дети мои, дети. Мои дети.

— Мадам Малая, — сказал Зиновий, — вы же знаете моего папу, особенно когда выпьет. Это моя вина. Я виноват.

Зиновий предложил проводить домой, Клава Ивановна махнула рукой, не надо, сама притворила за собой дверь, потопталась немного на одном месте, как будто забыла, в какую сторону идти, отворилась Федина дверь, у порога стоял хозяин.

— Пушкарь? Ты дома. А, — покачала головой Клава Ивановна, — Иона так и думал, что ты дома.

— Дома, — подтвердил Пушкарь.

— Дома, — повторила Клава Ивановна, проходя мимо. — Я вижу, ты дома. Ты, наверно, слышал...

— Слышал, — кивнул Федя.

— ...нашего Ланду... — Клава Ивановна вдруг качнулась, протянула руку, будто хочет ухватиться за стенку, и свалилась как подкошенная.

Федя подбежал, стал поднимать, но тут же воротился, захлопнул двери, чтоб люди видели, только что пришел с улицы, застал Клаву Ивановну без памяти, в двух шагах от порога Чеперухи, откуда минуту назад старуха вышла, и громко стал звать на помощь.

Выскочила Катерина, за ней Зиновий, выглянули из окон соседи, Катерина наклонилась, взяла за руку, пыталась нащупать пульс, хлопнула

несколько раз по щекам, голова качнулась влево, вправо, глаза оставались закрытыми, Федя спросил: кончилась? Катерина не ответила, с третьего этажа на весь двор закричали:

— Мадам Малая скончалась! Лежит возле форпоста, где Чеперухи.

Через две минуты вокруг собралась толпа, Катерина требовала, чтобы освободили пространство, а то нарочно создают условия для асфиксии, люди соглашались, что надо расступиться, освободить пространство, но получалось наоборот, еще теснее обступали, пока, наконец, не вмешался старый Чеперуха, который один, как будто у себя в конюшне, не растолкал, раскидал людей, поднял с земли мадам Малую и понес на второй этаж, чтобы могла отлежаться на своей постели.

Катерина велела всем выйти, пришлось буквально выставлять, осталась одна у постели, взяла пузырек с нашатырем, аптечка стояла на тумбочке, прямо у изголовья, поднесла больной к носу, слегка смочила ноздри, послышался слабый стон, Клава Ивановна открыла глаза, во взгляде было недоумение, тихо спросила:

— Где я? Что со мной? — Чуть скривились губы, похоже было на горькую усмешку. — Я живая?

— Живая! — Катерина засмеялась, поцеловала в лоб.— Сто двадцать лет жить будете.

— А где этот... — Клава Ивановна напряглась, видно, пыталась вспомнить имя и не могла, — ну, этот, который растоптал своими ногами бутылку, я принесла ему подарок?

Катерина нахмурилась, в глазах мелькнула тревога:

— Мой тесть?

— Да, да, — обрадовалась мадам Малая, — твой тесть, ну, как его зовут? Я вижу, ты забыла, как его зовут. Ну, возьми себя в руки, ты должна вспомнить.

— Чеперуха, — Катерина наклонила голову. — Иона.

— Чеперуха, — повторила Клава Ивановна, — правильно: Иона Чеперуха. Он схватил топор и бегал за своим Зюнчиком по двору, а Степа Хомицкий и Фима Граник его останавливали. Я давно не видела Фиму. Ты не знаешь: где Фима? Раньше он жил на третьем этаже, а теперь с тобой рядом. Ты не любишь его, ты плохо к нему относишься.

Катерина взяла Клаву Ивановну за руку, пальцы были холодные, слегка помассировала и сказала:

— Лежите спокойно, не надо думать и вспоминать о плохом. Надо думать только о хорошем. Вам нельзя волноваться. Думайте только о хорошем.

— Катерина, — сказала Клава Ивановна, — здесь под кроватью горшок. Дай горшок: мне надо вырвать.

Катерина наклонилась, достала горшок, но пока поднесла, больную вырвало, все попало на халат, Катерина собрала в ладонь, стряхнула в горшок, взяла полотенце, смочила, тщательно вытерла, осталось только влажное пятно и немножко неприятный запах.

Клава Ивановна сказала, она хочет встать, пусть Катерина поможет ей, а то кружится голова, как будто долго качалась на качелях.

Катерина объяснила, вставать нельзя, только что был сильный обморок, наверно, спазм сосудов мозга, полагается лежать и сохранять абсолютный покой, пока не наступит полное восстановление сил.

Клава Ивановна сказала, она не хочет абсолютного покоя, пусть у наших врагов на том свете будет абсолютный покой, а у нее есть работа и, если она сама не сделает, никто другой за нее не сделает.

Катерина терпеливо выслушала, согласилась, да, Клава Ивановна сама должна сделать свою работу, никто другой не сделает, но если человек заболел и надо полежать, значит, надо полежать, а капризы ни к чему.

— Сволочи, — заплакала Клава Ивановна, — пока Малая на ногах, она за всеми ухаживает и подносит горшки, чтобы не делали под себя, а когда Малая говорит, помогите мне подняться, вы находите всякие отговорки, чтоб уложить ее навсегда, и тогда каждый сможет делать, как хочет!

— Очень хорошо, — сказала Катерина, — я вижу, вы уже при полной памяти, но все равно придется полежать. А хотите по-своему, сами и управляйтесь, я пособлять не стану.

Клава Ивановна привстала, оперлась на локоть, на шее от напряжения вздулись жилы, темно-синие, с лиловым отливом, Катерина молча смотрела, машинально сделала движение, чтобы помочь, но сдержала себя, Клава Ивановна сама продолжала подниматься, наконец выпрямилась, прислонилась спиной к стене, ноги опустила на пол, но, видно, потратила слишком много сил и опять свалилась.

— Мадам Малая, — сказала Катерина, — теперь вы сами видите: пока надо лежать.

— Помоги мне, — опять заплакала больная, — помогите! Я прошу: помогите!

Это была уже не просьба, это был крик о помощи, как будто кто-то навязывает свою волю или прямо насилует, Катерина грубо осадила, сказала, у нее тоже терпение не железное, всему есть предел, но Клава Ивановна, вместо того чтобы взять себя в руки, как можно было ожидать в ее положении, наоборот, собрала все свои силы и опять стала выкликать:

— Помогите! Ратуйте!

Катерина закрыла уши ладонями, чтобы не слышать этих воплей, но вдруг задергалась ручка, дверь затряслась от стука и грохота, словно высаживают тараном.

Катерина крикнула, чтоб прекратили бесчинства, а то придется вызвать милицию, но стук тут же повторился, Катерина побежала отворять и, едва отомкнула, увидела, что на пороге стоит майор Бирюк, в мундире, при всех своих регалиях.

Не говоря ни слова, майор отодвинул Катерину в сторону, как будто не живой человек, а какая-то кукла или манекен, подошел к мадам Малой, с ходу спросил, почему она лежит, почему не встает, Клава Ивановна смотрела испуганными глазами, Андрей Петрович протянул руку, чтоб больная могла ухватиться, и громко приказал:

— Вставай, Малая!

Катерина, наконец, опамятовалась, подошла к Андрею Петровичу, хотела оттолкнуть, как он давеча, едва ступив через порог, оттолкнул ее, но майор даже не качнулся, как будто ноги магнитом притянуло к полу, только посмотрел нехорошими глазами и, кивнув в сторону Малой, то ли спрашивал, то ли сам ставил диагноз:

— У старухи удар? Я в курсе дела. Разберемся. Пока вызывай скорую помощь, надо отправить в больницу.

Катерина сказала, это не удар, просто сильный спазм сосудов головного мозга. Майор махнул рукой и обратился к больной:

— Малая, у тебя шалят сосуды. Надо вызвать скорую помощь, чтобы отвезли в больницу. Малая, приготовься. Оставь, кому хочешь, ключи, чтобы могли присмотреть за домом. Можешь оставить мне, я сам организую.

— Бирюк, — больная протянула обе руки, кожа была морщинистая, с коричневыми пятнами от запястья до локтя, — зачем тебе надо, чтобы меня забрали в больницу? Я не хочу в больницу, прошу тебя, я хочу остаться у себя дома. Я обещаю тебе: завтра я буду уже на ногах, и никому не надо будет возиться со мной.

— Малая, — перебил майор, — давай не будем разводить канитель. Сказано: у тебя шалят сосуды, надо принимать меры. Я позвоню, чтобы прислали карету. Когда в больнице обследуют, будем решать, — Андрей Петрович кивнул в сторону Катерины, — что делать дальше. Пока задание номер один: госпитализация.

Андрей Петрович вышел, тут же заглянул старый Чеперуха, Катерина сделала знак, чтоб не заходил, но все равно зашел, кулаками сжал с обеих

сторон голову, Клава Ивановна повернулась, увидела, поманила пальцем, пусть подойдет к ней.

Иона топтался на одном месте, видно, не решался или не понял, что зовут. Малая опять поманила пальцем и сказала:

— Подойди, я зову тебя.

Иона стоял растерянный, было впечатление, что ждет сигнала от невестки, Катерина процедила:

— Чего теперь галантерейничать: подходите, Иона Аврумович, коли зовут.

Иона подошел, правый глаз немного слезился, вытер кулаком, мадам Малая ласково улыбнулась:

— Чеперуха, ты знаешь: нашего доктора Ланду выпустили.

Иона улыбнулся в ответ: он знает. Из-за этого все получилось: если бы радио не объявило про врачей и про доктора Ланду, которые ни в чем не виноваты и могут вернуться домой, он бы не выпил сначала с Бирюком, потом немножко у Зиновия, когда мадам Малая принесла ему персональный подарок. Все были бы живы и здоровы, мадам Малая не лежала бы теперь с головой и сосудами, так что приходится думать черт знает что.

— Малая, — правый глаз опять стал слезиться, Иона провел кулаком, чтобы вытереть, — ты таки права: я еще больше идиот и дурак, чем покойный Фима Граник, пусть земля ему будет пухом. И как ни тяжело, что Дегтярь умер, но не дай Бог ему все это видеть и слышать. Жалко только, что он не дожил и так уже никогда не узнает, что Берия освободил нашего Ланду и вместе с ним всех остальных докторов и врачей.

— Иона, — нахмурилась Клава Ивановна, — почему ты сказал про Фиму, пусть земля ему будет пухом? Он опять набедокурил и прячется неизвестно где?

— Малая, — Иона улыбнулся, развел руками, — ты из чистого золота: только что ты имела обморок, а теперь шутишь, как ни в чем не бывало. Малая, я хочу поцеловать твои золотые руки, которые делали нам столько добра, что все вместе разом мы не стоим твоего мизинца.

Иона наклонился, взял руку мадам Малой, немного приподнял, прижался губами, Клава Ивановна зажмурила от удовольствия глаза:

— Ах ты, старый супник, тебе дай волю — ты всех женщин перепортишь!

— Ой, Малая, — запричитал Иона, как будто над покойником, — я сволочь, я последняя сволочь, и меня надо стегать батогом, как я своих коней, когда не хотят идти вперед и тянут в разные стороны!

Свободной рукой Клава Ивановна провела у Ионы по волосам, сказала, стал совсем седой, а в голове все равно ветер, как в двадцать пятом го-

ду, бедная Оля была беременная, должен был родиться Зюнчик, а Иона бегал к Циле из тринадцатого номера, и весь переулок видел, так что стыдно было смотреть людям в глаза.

— Малая, — Иона опустил голову еще ниже, — здесь рядом стоит Катерина и все слышит своими ушами, а ты выводишь Чеперуху на чистую воду, чтобы через тридцать лет краснел и раскаивался, как будто только вчера, и все должны помнить.

— Чеперуха, — сказала мадам Малая, — люди все помнят. Как говорил покойный Дегтярь: у нас хорошая память — мы ничего не забываем. А теперь немножко отодвинься: что-то мне не по себе, опять тошнит. Катерина, подай сюда горшок, чтоб стоял рядом.

Катерина, которая смотрела на Клаву Ивановну и своего тестя во все глаза, так что не могла оторваться, откликнулась не сразу, Иона не стал ждать, сам полез под кровать, достал горшок, поставил прямо у изголовья, но Клава Ивановна сделала знак рукой, пусть уберет, пока не надо.

Внезапно из коридора задергали ручку, послышался сильный стук в двери, Катерина была уверена, что вернулся майор Бирюк, пошла отворять, но оказалось, дергает и стучит Ляля Орлова, которая тут же влетела в комнату с криком, с воплями, как будто тайный притон, вершат черные дела, а она поспела в последнюю минуту, чтобы прийти на помощь.

Оттолкнув старого Чеперуху, Ляля опустилась на колени, обеими руками схватила больную за голову, Катерина сказала, это издевательство и насилие над больным, которому, прежде всего, нужен покой, Клава Ивановна тоже просила отпустить, но Ляля, вместо того чтобы послушаться, закричала:

— Убийцы! Палачи! Я все знаю: Малая пришла к вам, чтоб поделиться радостью, а вы устроили у себя в доме дебош и довели старуху до инсульта, до мозгового удара, чтоб хватил паралич и не могла двигаться! Думаете, пробил час для реванша: ваш Чеперуха терзал Дегтяря, Дегтяря похоронили — теперь на вашей улице праздник! Будет вам праздник на Люстдорфской дороге, давно приготовили для вас место, — Ляля выпрямила два пальца, положила поверх два других, получилось, как у детей, когда показывают теремок, а в нем окошко, — для всего кагала вашего!

Катерина пожала плечами: при чем здесь кагал — она вообще из Сибири. Ляля возмутилась: пусть не перекручивает, она совсем не то имела в виду!

Вернулся Андрей Петрович, остановился в дверях, Иона хотел обратиться, чтоб был ему за свидетеля, как эта женщина оскорбляла всю семью

Чеперухи и грозила тюрьмой, как будто она советская власть и прокуратура в одном лице, но майор тут же перебил и сам обратился к Орловой:

— Слушай, Орлова, ты здесь самозванством не занимайся — в тюрьму людей не загоняй. Потребуется следствие — организуем следствие. Потребуется суд — дойдем до суда. Есть для этого закон, а самозванством не занимайся.

— Бирюк, — Иона развел руки, двинулся навстречу, — я всегда говорил, покойный Дегтярь, если б он был живой и с нами, мог бы тебе подтвердить и повторить мои слова: майор Бирюк, если его посадить на кони, так гикнет, аж ветер в ушах засвистит. Бирюк, дай я обниму тебя.

Андрей Петрович выставил вперед руку, Иона невольно наткнулся, в другое время можно было бы обидеться, но сейчас был неподходящий момент: Клаву Ивановну вдруг сильно вырвало, лицо сделалось серое, под глазами тяжелые мешки, с синевой по краям, видно было, состояние значительно ухудшилось, майор, пока женщины убирали рвоту и смывали пятно, слегка потрепал больную по руке и сказал:

— Малая, потерпи немного: скорая помощь уже едет, сейчас тебя отвезут в больницу, там доктора сделают укол и все что надо.

Первую минуту Клава Ивановна громко ойкала и стонала, но понемногу пришла в себя, опять стала возражать и доказывать, что ей не нужна скорая помощь, не нужна больница, она отлежится у себя дома, все пройдет, а свои хлопоты и заботы пусть оставят для другой цели.

Ляля сплела пальцы, прижала к груди, громко воскликнула:

— Какая другая цель! Какая может быть сейчас цель, кроме одной: чтоб вы опять стали здоровы и были с нами!

Бирюк сказал Чеперухе, чтобы вышел на улицу и ждал у ворот, пока не приедет скорая помощь, а то станут даром тратить время на поиски. Иона ответил, у ворот всегда кто-нибудь стоит, тем более сейчас, так что он будет только пятое колесо в телеге, а здесь он может пригодиться.

Андрей Петрович, чтобы не тревожить больную громкими разговорами, взял Чеперуху под локоть, повел к дверям и сам отворил:

— Повторяю: стой у ворот и жди, пока не приедут.

Первое желание у Ионы было ответить как надо этому солдафону, который забыл, что он не в армии, среди фрицев в Берлине, но за дверью стояли соседи, внимательно наблюдали, Иона вдруг, хотя в мыслях не было ничего похожего, взял под козырек, как будто наполовину шутка, наполовину всерьез, и повторил приказ:

— Есть, товарищ майор: стоять у ворот и ждать, пока не приедут!

Иона успел спуститься на один пролет, в парадную зашла Дина Варгафтик и стала подниматься по лестнице прямо навстречу. Иона вежливо поздоровался первый, можно было ожидать, сейчас начнутся расспросы, но Дина даже не поздоровалась в ответ, не повернула головы, как будто впереди пустое место. Иона машинально замедлил шаг, на какой-то миг приостановился, стал смотреть вслед, а Дина продолжала подниматься по лестнице вверх, ступенька за ступенькой, захотелось догнать ее, плюнуть в физиономию, как плюнула в лицо ему, но Дина уже закончила свой подъем, слышно было, как цокают каблуки по паркету в коридоре, Иона махнул рукой и вышел из парадной во двор.

На черном дворе у крана над сливом стоял со своим разводным ключом Степа Хомицкий. По выражению лица видно было, дело не ладится, Иона спросил Степана, не нужно ли подсобить, тот ответил, тут никакая человеческая сила не поможет, надо просить Джавахарлала Неру, чтобы слонов из Индии прислал, столько наложили. Да, подтвердил Иона, наложили, придется поднимать решетку, делать ревизию всего узла, тем более что возвращается доктор Ланда и глазами медицинского работника посмотрит, до чего довели санитарное состояние двора.

Эге, махнул ключом Степан, пока вернется доктор Ланда, еще двадцать раз успеем обверзаться с ног до головы.

Надо сделать, сказал Иона, как предлагала Малая: поставить у крана круглосуточное дежурство.

— Слушай, Иона, — вдруг перевел на другое Степан, — ты, говорят, старуху Малую трахнул так, что упала без сознания и теперь одной ногой там.

Степан указал ключом в землю. Иона от удивления мог только рот раскрыть.

— Степан, — Иона развернул свою пятерню, ладонь была вся покрыта бурыми мозолями, — как ты можешь повторять эти грязные слухи и сплетни! Ты же сам своими глазами столько раз видел, как Чеперуха держал одной рукой Мальчика за копыто, такого мерина Одесса больше не будет иметь, а Мальчик мог только еле-еле ногой подрыгать. Боже мой, — Иона схватился обеими руками за голову, — какая короткая память у людей из двора, где Чеперуха прожил всю свою жизнь, и каждый камень знает его как облупленного!

Память у людей, сказал Степан, как этот слив: хорошее уходит под землю, а дерьмо забивает трубы и остается на виду.

— Степан, — Иона положил руку Степе на плечо, — я тебе скажу, как брату: Дегтярь, если б он был живой, вызвал бы Чеперуху к себе, дал, как

положено, но закрыл бы рот кому надо, чтоб не поливали незаслуженной грязью старейших жильцов двора.

— Такие Дегтяри, — Степан поднял решетку, из-под земли ударил тяжелый воздух, — рождаются один на тысячу, и надо думать, как жить своей головой, а не ждать, пока придет новый Дегтярь, а то будем строить коммунизм еще сто лет, пока не доведем жилой фонд и сантехнику до такого состояния, что никакой золотарь со своей американской бочкой не выгребет.

Иона удивился: американский золотарь? При чем здесь американский золотарь со своей бочкой? Во-первых, у нас есть свои бочки и свои золотари, и не надо звать на помощь американцев. А во-вторых, Иона задумался, видно, не мог сразу найти подходящее слово, а во-вторых, из этого сравнения можно подумать, Степа не верит, что мы можем построить коммунизм. Тогда, сказал Иона, он задаст другой вопрос: если мы не можем построить коммунизм, так что же мы строим?

Степан сказал Ионе, чтобы не перекручивал слова, никто не может ответить точно, в каком году, тем более какого числа, но коммунизм будет не только у нас, будет во всем мире, это факт, взял кусок толстой проволоки, загнул один конец, чтоб получился крючок, запустил в глубь жижи, пришлось заталкивать с силой, потому что скопилась очень плотной массой, и стал шурудить. Иона внимательно наблюдал, со своей стороны предложил Степану помощь, пусть сделает второй крючок, он тоже пошурудит, вдвоем будет быстрее. Степан не откликался, так погружен был в дело, Иона сам взял кусок проволоки, наступил ногой, чтобы согнуть, затолкал крючок в массу, завертел с такой силой, что образовалась воронка, сразу видно было, дело пошло на лад.

— Степан, — весело воскликнул Иона, — недаром наши пионеры поют: кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется!

Степан, хотя налицо имелись явные признаки успеха и были все основания радоваться, наоборот, нахмурился. Всматриваясь в воронку, которая, в зависимости от скорости вращения, то увеличивалась, то уменьшалась, Степан велел Ионе прекратить движение, сам тоже прекратил, воронка быстро сходила на нет, наконец, совсем не стало, только подымались пузыри, которые тут же, едва вздувшись, лопались. Иона смотрел с недоумением, как будто не верит своим глазам, настолько разительный был контраст: пока крутили проволокой, воронка в какие-то моменты делалась такой глубокой, что, казалось, сейчас хлынет все в канализацию, и останется только промыть чистой водой.

Степан сказал, придется идти в погреб, снимать колено, делать генеральную ревизию, а то жильцы со второго, третьего этажа добавят — весь двор затопим так, что никакие скафандры не помогут.

— Степан, — обратился Иона, — я пойду с тобой, но сначала надо привести Бирюка, чтобы пошел вместе с нами и увидел своими глазами, что так оставлять дальше нельзя и надо принимать меры.

Степан махнул рукой, незачем звать. Иона сказал, вот так и получается: один махнул рукой, другой махнул — а потом всем двором будем кивать на Ивана, на Петра, на Сидора.

— А кто они: Иван, Петр, Сидор? — разошелся Иона.— Ты, Хомицкий, ты, Чеперуха, ты, Бирюк — мы все Иван, Петр, Сидор, и нечего кивать, а надо прямо сказать: ты хозяин — ты в ответе и призови каждого, чтобы все знали: ты хозяин — ты отвечай!

Степан спустился в погреб. Иона готов был побежать вслед, но на улице завыла сирена "скорой помощи". Иона вспомнил, что должен встретить у ворот, чтобы проводить к мадам Малой, которая, пока он помогал Степану с чисткой канализации, совсем вылетела у него из головы.

Хорошее настроение, которое было, пока работали со Степаном и рассуждали про коммунизм, вмиг улетучилось, на сердце опять легла тревога, как будто должно произойти что-то нехорошее, Иона ускорил шаг, чуть-чуть не опоздал, доктор со своим санитаром уже стояли в подъезде, прямо навстречу вышла Оля, Иона только успел подумать, сейчас начнется истерика и вопли, Оля схватилась за голову, не своим голосом закричала:

— Ой, я предчувствовала! Иона, что с нашими детьми?

Иона невольно засмеялся, так далеко было от истины, ответил, с детьми все в порядке, они сидят дома и пьют чай перед детским садом, а "скорая помощь" — к мадам Малой, майор Бирюк поручил ему встретить у ворот, чтобы даром не тратили время на поиски.

Оля сразу успокоилась и тут же, хотя никто не обращался и не спрашивал, объяснила доктору, что мадам Малая, вместо того чтобы в ее годы сидеть где-нибудь в Александровском садике на скамейке и отдыхать, всегда находит что-нибудь, чтобы крутить мозги себе и другим, можно только удивляться, откуда у старухи берутся такие силы, и, она дает голову наотрез, "скорая помощь" с чем приехала к мадам Малой, с тем и уедет.

В действительности не все оказалось так благополучно, как предвидела Оля. Доктор, старый еврей, вынул из кармана свой фонендоскоп, видно, достался еще от отца или деда, такой был потертый, выслушал мадам Малую со всех сторон, велел приподняться, постукал по спине костяшка-

ми пальцев, Андрей Петрович придержал за плечи, больная сначала терпела молча, но через минуту стала жаловаться на головокружение, доктор разрешил лечь, измерил давление на левой руке, на правой, была небольшая разница, но, в общем, ничего страшного.

Иона, ни к селу ни к городу, поднял сжатый кулак, сделал рот фронт и громко произнес:

— Наша старая гвардия!

Больная улыбнулась, подняла ко лбу правую руку, получилось вроде пионерского салюта, доктор похлопал по плечу, да, старая гвардия это старая гвардия, майор Бирюк сказал, тем более надо беречь и обеспечить медицинскую помощь в первую очередь. Доктор на миг задумался, взял больную за руку, непонятно было, щупает пульс или просто держит, чтоб подбодрить, и объявил решение: стационар.

Ляля Орлова сразу состроила гримасу, как будто предлагают отвезти не в стационар, а неизвестно куда, чуть не на кладбище, мадам Малая категорически заявила, что никуда не поедет, она отлежится дома, во дворе всегда найдется кто-нибудь, чтоб мог присмотреть, если понадобится. Катерина Чеперуха откликнулась первая, она готова хоть сейчас, но майор Бирюк приказал женщинам, пусть соберут минимум вещей, необходимых пациенту для больницы, велел санитару принести носилки, через пять минут все было готово, мадам Малая, когда принесли носилки, опять заартачилась, пришлось укладывать чуть не силой.

Санитар встал у носилок сзади, майор Бирюк велел Ионе, пусть возьмет с головы, а сам расположился сбоку, чтобы в случае надобности подхватить.

Больную отвезли в Сталинскую райбольницу, на углу Троицкой и Карла Маркса, по-старому Екатерининской. В приемном покое дежурный врач, молодая блондинка, большие серые глаза, на голове крахмальная шапочка, внимательно осмотрела, спросила, на что больная жалуется, мадам Малая ответила, у нее одна жалоба, она хотела, чтобы оставили дома, а ее насильно уложили и привезли сюда.

Доктор велела закрыть глаза, нажала пальцами на веки, больная невольно застонала, доктор удивилась, неужели так больно, вынула из халата булавку, сделала несколько уколов в лоб, подбородок, потом в пальцы рук и ног, всякий раз, укалывая, задавала вопрос, чувствует ли больная укол и есть ли разница, Клава Ивановна отвечала, что укол чувствует, а есть ли разница, сказать не может: то кажется, что есть, то кажется, что нет.

Хорошо, сказала доктор, пусть больная полежит, она сейчас вернется.

Сейчас, как рассчитывала доктор, не получилось, прошло хороших

полчаса, пока вернулась и привела с собой еще одного доктора, по лицу чем-то напоминал Ланду. Доктор держал в руках никелированный молоточек, внимательно посмотрел в глаза, поднес молоточек больной к носу, провел несколько раз направо, налево и велел следить взглядом. Клава Ивановна просила, не так быстро, она не успевает поворачивать глаза. Доктор сказал, наоборот, это он поворачивается так, что в Древнем Риме его назвали бы Кунктатор-Медлитель, как ихнего генерала Фабия, который прославился своей медлительностью, когда один семит, по имени Ганнибал, из африканского города Карфагена, стоял у ворот Рима и кричал своим гортанным голосом: "Эй, римляне, посмотрите налево, посмотрите направо: везде я, Ганнибал, со своими слонами!".

Повторяя команду, какую Ганнибал давал римлянам, чтобы смотрели налево и направо, доктор убыстрял движение молоточка, и Клава Ивановна невольно следила, как будто команда относилась к ней. Доктор похвалил, назвал молодцом и сказал, если бы у всех наших людей были такие рефлексы, можно было бы закрыть все больницы. Общество с такими рефлексами, сказал доктор, не нуждается в больницах.

— О, — обрадовалась Клава Ивановна, — когда приехала "скорая помощь", я говорила то же самое: я не хочу в больницу, я полежу у себя дома — и все пройдет.

Доктор велел Клаве Ивановне присесть, опустить ноги на пол, взял за руку, слегка ударил молоточком по локтю, потом ударил по коленкам, руки и ноги дергались в ответ, было немного смешно и забавно, Клава Ивановна засмеялась, доктор сказал, рефлексы, как у молодой девушки, пока не успела еще истрепать себе нервы, и дал свое заключение: прямых показаний к госпитализации нет, щадящий режим в домашних условиях.

Клава Ивановна, когда услышала, первым делом потребовала книгу жалоб и предложений. Доктор спросил, что больная хочет написать: жалобу или предложение? Больная ответила, она не хочет писать ни то ни другое — она хочет написать благодарность. Доктор указал пальцем вверх:

— Благодарить надо его, а доктору достаточно сказать спасибо.

— Ах, доктор, — зажмурилась Клава Ивановна, в уголках выступили слезы, — вы так похожи на нашего доктора Ланду, что просто душа болит. Но, слава Богу, мы ждем его уже не сегодня-завтра домой. Вы, наверно, слышали радио: Берия дал приказ всех докторов освободить и вернуть домой.

— Да, — сказал доктор, веселое выражение вдруг сошло с лица, как будто совсем другой человек, — всех, за исключением тех, которые уже вернулись домой.

Клава Ивановна сначала не поняла, кого доктор имеет в виду, потому что приказ товарища Берии первый раз передавали сегодня утром, а приказ есть приказ: без приказа из тюрьмы не выпускают и не освобождают. Но тут же мелькнула догадка, что доктор имел в виду не дом, где люди живут, а совсем другой дом, про какой уместно было бы слышать от покойной Сони Граник или Тоси Хомицкой, которые готовы были день и ночь торчать в синагоге и церкви, но не от интеллигентного человека, которому советская власть дала высшее образование.

— Доктор, — улыбнулась мадам Малая, — спасибо за внимание и заботу, но перед уходом я хотела бы, чтобы вы мне ответили на один вопрос. Первый раз вы сказали, кого надо благодарить, и показали пальцем в небо. Нетрудно было догадаться, кого. Но можно было подумать: это просто так, шутка. А второй раз, когда вы сказали про арестованных докторов, что некоторые из них уже навсегда вернулись домой, то есть на тот свет, это тоже была шутка? А если не шутка, так объясните, доктор, чтобы мы вас поняли, какой смысл вы имели в виду.

Доктор покачал головой:

— Я не сказал, навсегда вернулись домой. Я сказал: вернулись домой. Но вы поняли как надо. Именно этот смысл я имел в виду.

— У профессора Вациса, — сказала доктор, которая до этой минуты стояла молча и не вмешивалась в разговор, — арестовали двоюродного брата, профессора Шмульяна, уролога. Он не дождался приказа товарища Берии. Семья получила извещение.

— Вы сами видели, своими глазами? — Клава Ивановна рывком поднялась, забыла, что доктор предписал ей покой и щадящий режим, схватилась обеими руками за голову. — Боже мой, если это правда, значит, с нашим Ландой тоже могло случиться...

Клава Ивановна не договорила, внезапно закружилась голова, упала на подушку, и тут же ее вырвало.

Няня принесла влажную тряпку, стряхнула рвоту в урильник, немного попало на края, няня смела ребром ладони, сложила тряпку, чтоб снаружи была чистая сторона, вытерла руки, сказала, она помнит больную, зимой приходила в терапию, к одному пациенту, говорили, партийная шишка, лежал в отдельной палате, помер. А теперь сама...

— Няня, — перебил профессор Вацис, — спасибо, можете идти.

Клава Ивановна лежала с закрытыми глазами, лицо было бледное, веки как будто припорошены землей, профессор Вацис сказал, нет худа без добра, кажется, готовы были поторопиться, придется повременить. Надо отвезти в палату.

Доктор покачала головой: в палатах ни одной свободной койки.

— Пусть поставят койку у меня в кабинете, — сказал профессор Вацис.

Клава Ивановна открыла глаза:

— Где я? Я хочу домой. Отпустите меня домой. Доктор, — Клава Ивановна обратилась к профессору Вацису, поманила пальцем, — наклонитесь ко мне: я хочу сказать вам что-то на ухо.

— Голубушка, — профессор Вацис похлопал больную по плечу, — лежите спокойно. Вы слишком близко принимаете все к сердцу. Поберегите себя.

— Доктор, — опять поманила пальцем Клава Ивановна, — я хочу вам сказать по секрету: когда вернется наш Ланда, я познакомлю вас, и вы будете первые друзья. Хорошие люди должны дружить между собой.



Анатолий КОНТУШ

Прерывистые линии

Часть первая
Золотистая на оранжевом

Наконец поезд замедлил ход и остановился. Я спрыгнул на перрон; ты положила мне руки на плечи и шагнула вниз с высокой ступеньки; я подхватил тебя, ты оправила юбку, проводник подал чемоданы, arrivederci signora arrivederci signor, la desidero tempo piacevole in Quinto,[1] поезд медленно тронулся и покатил вдоль перрона, открывая пустынный раскаленный солнцем вокзал; носильщик положил чемоданы на тележку, вытер пот, и мы пошли за ним к выходу. Точнее, ты пошла к выходу, чуть-чуть покачиваясь на высоких каблуках, а я остался стоять на перроне возле большого щита с крупной надписью "Orario"[2] и хорошо видел, как носильщик, то и дело оглядываясь на тебя, катит на своей синей тележке наши чемоданы, как ты идешь вслед за ним, отставая на несколько шагов и улыбаясь, и как я иду рядом с тобой, улыбаясь тебе в ответ и обняв тебя за плечи. Я видел, как мы с тобой прошли через маленькую площадь, расплатились с носильщиком и взяли такси; как ты села на переднее сиденье рядом с таксистом, сдвинув наверх темные очки и закинув ногу на ногу; как таксист без перерыва рассказывал о Лигурии, отворачиваясь от дороги и заглядывая тебе в глаза, а потом заставил тебя взять карточку с его телефоном, signora non esitare per chiamarme qualunque tempo, avere una sera piacevole signor;[3] как мы вышли из такси перед отелем, прошли через сад и вошли в вестибюль. Номер был готов; я видел, как мы поднялись по широкой деревянной лестнице на четвертый этаж, как я открыл дверь тяжелым старым ключом с искусно вплетенной в рукоять буквой "Q", как ты сбросила на ковер туфли и юбку, стянула через голову блузку и кинулась в душ, а я распахнул окно и смотрел на красные крыши домов, зеленые верхушки кипарисов и белые очертания облаков, смотрел до тех пор, пока не услышал шаги за спиной и не почувствовал, как ты обнимаешь меня

[1] До свидания, синьора, до свидания, синьор, желаю вам приятного времяпрепровождения в Квинто (итал.).

[2] Расписание (итал.).

[3] Синьора, не стесняйтесь звонить в любое время; желаю вам приятного вечера, синьор (итал.).

за плечи, прикасаясь ко мне грудью. Отсюда, с перрона, мне был хорошо виден темный, дрожащий в жарком полуденном небе прямоугольник окна с твоей светлой фигурой посередине, мокрые блестящие на солнце волосы, закинутые за голову руки, закрытые от яркого света глаза. Ты высунулась наружу по талию, подтянула к себе створку жалюзи и шагнула от окна в полумрак комнаты, оставляя два мокрых пятна на подоконнике и разворачивая затянутое вокруг бедер полотенце; твое лицо приблизилось, заслонив собой окно; перрон завертелся и унесся неизвестно куда, и ты вернулась ко мне.

Наша гостиница стояла на склоне недалеко от пляжа. Город сбегал к морю с отлогих заросших лесом гор; крошечные, едва различимые снизу, домики робко появлялись тут и там, высоко среди зелени; ниже по склону к ним присоединялись другие; потом домов становилось больше, они весело бежали вниз, сверкая светлыми стенами и образуя ручьи; еще ниже появлялись улицы, все больше и больше, они сливались в реки и стремительно неслись дальше; потом склон становился положе, движение замедлялось, дома начинали тесниться, громоздясь друг на друга, и сходились в один неспешно текущий поток; увеличиваясь в размерах и обрастая деталями, двух-, трех-, четырехэтажные строения медленно скользили к морю по еле заметному склону, соединялись в кварталы, рассыпались на улицы и площади; колокольня возвышалась над изломанной поверхностью крыш, обозначая центр; рядом поднималась островерхая башенка вокзала с надписью "Quinto al Mare" под ней; ставшие огромными дома высились над головами, закрывая небо, они с трудом ползли по неожиданно плоской поверхности, пока в конце концов не упирались в четкую линию набережной; движение прекращалось, остановленное цепью скал, о которые разбивались волны.

Держались теплые ясные дни; начинался июль; по утрам я открывал окно, и ворвавшийся в комнату свежий ветер подхватывал меня и уносил к морю. Я пролетал над верхушками пальм, изгибами крыш, изломами стен; утренний экспресс Ливорно — Генуя с шумом проносился внизу, и я несколько минут раскачивался на расходившихся от него волнах; узкие ущелья улиц были заставлены лотками, и солнце сверкало на мокрых мостовых; я видел торопящихся куда-то покупателей, до меня доносились громкие крики продавцов; над площадью летали голуби, и мне приходилось следить за движениями, чтобы не столкнуться с кем-нибудь из них; еще один ряд домов, серая линия скал, и море оказывалось прямо подо мной, переливаясь на солнце и темнея пятнами водорослей; я делал плав-

ный поворот, проносился над водой, постепенно снижаясь, и мягко приземлялся на песок посередине маленького пляжа. Какое-то время я лежал с закрытыми глазами, привыкая к неподвижности, затем переворачивался на спину, доставал из рюкзака полотенце, стягивал шорты и майку и шел к воде, а потом долго лежал на горячем песке, дожидаясь тебя. Я замечал тебя еще на набережной; ты шла вдоль парапета, высоко подняв голову, и золотистые волосы рассыпались по твоим округлым плечам. Ты спускалась на пляж, снимала туфельки, проходила несколько метров по песку, наклонялась, чтобы поцеловать меня в губы, и мы шли купаться. Мы переходили границу берега с морем и возвращались на родину. Теория о выходе животных из океана на сушу превращалась в расхожую истину; вынесшие нас на берег волны ласкали наши тела, соленая вода обволакивала со всех сторон, границы кожных покровов исчезали, и мир становился частью нас самих, каким он был когда-то; так прошло лето.

 В сентябре я начал читать в университете курс астробиологии. После биохимических основ жизнедеятельности мы перешли к строению небесных тел; звезды, галактики, межзвездный газ, происхождение химических элементов, зарождение Солнечной системы, планеты, атмосферы, условия возникновения жизни. По вторникам занятия проходили в планетарии; тихо играла музыка, небесные тела загадочно серебрились над головой; примерно в это же время ты приезжала в госпиталь и переодевалась в своем кабинете, напевая "Italiano vero"[1] и аккуратно развешивая одежду по плечикам; тускло светящаяся Вселенная медленно поворачивалась в вышине, и я видел, как твое тело небесно серебрится над головой недалеко от Большой Медведицы. Жара никак не спадала; ты надевала белый халат прямо на тонкие трусики, взглядывала на себя в зеркале, брала со стола несколько приготовленных накануне папок и выходила в коридор строгой походкой врача с международной известностью. Из всех цветов ты больше всего любила свой родной оранжевый, и сидящие на стульях в ожидании приема мужчины иногда замечали, как твой яркий стринг слегка просвечивает сквозь плотную белую ткань прямо у них перед глазами. Обычно это происходило, когда я молча стоял в темноте, ожидая, пока студенты сделают записи, но если ты заставала меня на середине предложения, мне приходилось запнуться на полуслове, налить стакан воды и медленно выпить его долгими глотками, чтобы вернуться из длинного белого коридора в высокий темный зал и взять себя в руки.

[1] "Настоящий итальянец" (итал.)

Пожалуй, этой осенью я впервые по-настоящему заинтересовался Титаном. Спектральные данные удивили не только меня, а фотографии просто ошеломили. Сверкающие золотом пятна, рассыпанные по красно-оранжевой поверхности, свидетельствовали в пользу высоких концентраций углеводородов; укутанные в многокилометровую толщу азота и пронизанные электрическими разрядами, они удивительно походили на ту странную смесь, откуда, согласно Миллеру и Юри, и появились мы с тобой. Что-то неясное, еще не умеющее думать, но уже живое, возникало где-то глубоко под оранжевым слоем облаков и стремилось быть замеченным с расстояния в тринадцать миллионов километров. Еще было тепло, шли дожди, и мы лежали в постели под звуки падающих на асфальт капель, глубоко погрузившись друг в друга; капли стекали и падали, растворяясь в наших телах, и что-то живое возникало в красно-оранжевой глубине.

В октябре погода наконец испортилась, в гостинице стало неуютно, и мы сняли просторную квартиру на виа Джанелли. Окна комнат выходили на юг; солнце светило через стекла, рассекая пространство пыльными лучами. Багаж привезли через несколько дней; грузчики вносили мебель, расставляя ее по местам, и гулкая пустота чужих комнат постепенно принимала знакомые формы. Большая комната прямо от входа наполнялась стульями, столиками и креслами, превращаясь в нашу гостиную; в проходной комнате справа рядами выстраивались книжные шкафы; заполняясь книгами, они превращали бесформенное пространство в прочитанную вдоль и поперек библиотеку; широкая постель и высокий шкаф со шторами вместо дверей занимали маленькую комнатку рядом с ванной почти целиком, делая ее нашей спальней. Разложенный по ящикам, заклеенный и надписанный, наш дом неспешно возникал вокруг нас, и мы возвращались домой.

Мы были заняты обустройством еще какое-то время, а потом поехали к тебе на родину по случаю рождественских каникул. В Бреде было холодно, шли дожди, и мы гуляли вокруг крепости под большим зонтом, а потом обедали в дешевом ресторанчике недалеко от собора. Еда была простой и вкусной; ты заказывала фасоль и жареную макрель, а я брал бифштекс и вареный картофель. Мы запивали обед "Хайнекеном" в больших запотевших кружках, а в конце заказывали pannekoeken[1] и кофе. Вечерами мы чаще всего бродили по старому городу, Grote Markt, Kasteelplein, Cingelstraat, Veemarktstraat, висящий в воздухе дождь, жел-

[1] Блинчик (голл.).

тые пятна фонарей, блестящие камни мостовой, Ballantines, Jack Daniels или Johnny Walker в каком-нибудь баре, а потом шли танцевать или просто слушать музыку в джаз-кафе, Fats Domino, Count Basie, Nat King Cole, высокие стаканы для коктейлей, брошенные на столик трубочки, изнурительный ритм рок-н-ролла, моя рука, постоянно ищущая твою руку, и твоя рука, постоянно оказывающаяся в моей руке. В кафе сразу за стойкой была маленькая комнатка с надписью "Privé",[1] которая никогда не запиралась; ключ был вставлен в дверь изнутри. Ты сказала мне об этом, когда мы пришли сюда в первый раз, и потом каждый вечер, осторожно, предварительно убедившись, что там никого нет, мы проскальзывали внутрь, запирали дверь и любили друг друга в узком пространстве между пустыми пивными ящиками; было заметно, что ты хорошо знаешь это место и прекрасно ориентируешься в темноте, уверенно раскладывая вещи по невидимым мне полочкам, было заметно, что ты хорошо знаешь его, но я не хотел знать, почему.

Когда мы вернулись, в Квинто уже вовсю шли дожди; так продолжалось всю зиму. Выходные тянулись долго, и я наконец—то собрался посмотреть, как ты устроилась в госпитале. Ты была постоянно занята с больными; инсульты превратились в одну из основных причин смертности в Европе, и у тебя хватало работы. Стенки артерий утолщались постепенно, на доли миллиметра в год; спустя десятилетия обеспечивающий движение крови просвет уменьшался до такой степени, что его закупорка оказывалась неизбежной. С инженерной точки зрения, артерии, вены и капилляры представляли собой обычный водопровод, а человеческое тело было той редкой системой, в которой его отказ мог иметь фатальные последствия. Ты занималась ремонтом водопровода на ходу; как и подобает профессиональному сантехнику, ты удаляла отложения с внутренней поверхности труб, меняла клапана, прочищала засорившиеся участки. Странным образом едва заметные невооруженным глазом изменения в толщине артериальных стенок обладали способностью перемещать больных в пространстве и времени, отправляя их в недоступные тебе миры и навсегда оставляя в прошлом. Твоя работа состояла в том, чтобы задержать их здесь и дать им будущее.

 Гипотеза о наличии на Титане условий, пригодных для возникновения жизни, была достаточно безумной, чтобы оказаться верной. Мы сделали расчеты, которые многое объясняли, но их нельзя было прове-

[1]Частная собственность (голл.).

рить даже с десятиметровым телескопом Кека; "Kuiper" существовал еще только в чертежах, и мне приходилось путешествовать в одиночку. Я надевал скафандр — температура в минус 181 градус по Цельсию плохо подходила для прогулок в обычной одежде, вешал на спину баллон с кислородом — азотно-метановая атмосфера не вполне годилась для дыхания, прикреплял к поясу фонарик — даже днем на поверхности Титана света было в тысячу раз меньше, чем на Земле, хотя и в триста пятьдесят раз больше, чем на Земле ночью, — и оправлялся в путь. Я шел по ровной покрытой льдом поверхности; составленная Колриджем подробная карта Ксанаду похрустывала в заднем кармане. "Where Alph, the sacred river, ran Through caverns measureless to man Down to a sunless sea".[1] Над застывшим континентом висел тонкий пурпурный туман, блестели языки ледников, далеко на юге дрожали над горизонтом метановые облака. Я пересек небольшую возвышенность; сверху была хорошо видна темная гладь широкой углеводородной реки; я прошел мимо озер с этаном, пропаном и ацетиленом и направился к гряде невысоких холмов, которые виднелись неподалеку в метановой дымке; меня заинтересовало то, что холмы образовывали странную фигуру, похожую на кошку; шел стылый дождь, и затянутое низкими тучами небо слабо светилось над головой.

Вернувшись обратно, я делал записи, обдумывал то, что увидел, и время от времени звонил отцу, чтобы лучше представить себе физику образования облаков и туманов. Мы часами обсуждали свойства Титана на семинарах, вечерами я подолгу сидел за компьютером, просчитывая разные варианты строения атмосферы, а когда ты засыпала, часто разговаривал с Гюйгенсом и Кассини. Мы долго спорили о жизни в других мирах; Гюйгенс настойчиво убеждал нас в существовании обитаемых планет, цитируя свой "Космотеорос"; я внимательно следил за ходом его рассуждений, иногда делая пометки в блокноте, а Кассини только иронически улыбался в ответ. Еще бы, ведь именно его, а не Гюйгенса, Людовик XIV пригласил руководить новенькой обсерваторией, только что построенной на окраине Парижа за Люксембургским садом; к тому же Кассини был на четыре года старше. Иногда Гюйгенс приходил прямо с заседаний Королевского общества; облаченный в роскошную мантию, он расхаживал по моему кабинету, слушая доводы Кассини о геоцентрическом строении Солнечной системы. Мне было любопытно наблюдать с расстояния в триста лет, как блистательный первооткрыватель Красного пятна упорствует в своих пред-

[1] "Где Альф, священная река, бежал сквозь тьму пещер издалека, вниз к темному морю". Сэмюэль Колридж, "Кубла Хан" (англ.).

ставлениях о Земле как центре мироздания. Гюйгенс приходил в необычайное возбуждение и приводил довод за доводом, ссылаясь на Коперника и Галилея, но Кассини не желал соглашаться с аргументами своего подчиненного: ведь Гюйгенс работал под началом Кассини в течение многих лет. Титан был единственным, что не вызывало у них расхождений: и математик из Гааги, и астролог из Ниццы были твердо уверены в том, что жизнь там невозможна. Гюйгенс, первым увидевший Титан с Земли, не мог допустить существования жизни в Солнечной системе на таком удалении от Солнца, а Кассини, добавивший Сатурну еще четыре спутника и щель между кольцами, просто не верил в другие миры, кроме земного.

В начале лета я уехал на Гавайи; на Мауна Кеа только что установили новый спектрограф; качество фотографий было необычно высоким, и мы подолгу просиживали в обсерватории, обсуждая последние результаты. Под оранжевыми облаками проступал метановый океан, углеводородные дожди падали на золотистые континенты, и я неделями вдыхал этот странный воздух, почти не выходя наружу. Белые башенки телескопов стояли на самом гребне, застывшая лава спускалась вниз черными кругами, и облака висели над океаном у самого горизонта. Оттуда, сверху, мне хорошо было видно тебя; я видел, как ты просыпаешься в нашей постели на виа Джанелли, откидываешь одеяло, обнажая свое загорелое тело; солнце уже бьет прямо в окна, и в спальне жарко; ты встаешь, распахиваешь окно и несколько секунд смотришь вниз на город, прикрывая грудь руками, а потом разворачиваешься и идешь в душ, чуть-чуть подрагивая бедрами; у тебя крепкая стройная фигура уроженки Северной Европы, сильные руки, плотная талия, немного тяжелые бедра; я вижу, как ты открываешь краны, с наслаждением забираешься под теплую воду, аккуратно намыливаешься, снимаешь со стены душ, смываешь пену, тщательно моешь внизу живота, немного расставив ноги; короткие жесткие струи касаются тебя там, и тебе это приятно; ты возвращаешь душ на место, закрываешь краны и оказываешься на мохнатом коврике перед большим зеркалом; ты потрясающе выглядишь в зеркале, бронзовое лицо, круглые плечи, крупные белые груди, капли падают на пол с золотистых волос; ты понимаешь это, и тебе это нравится; какое-то время ты внимательно смотришь себе в глаза, потом осторожно касаешься сосков обеими руками, захватываешь их пальцами, чуть-чуть оттягиваешь и тут же отпускаешь; я вижу, как ты повторяешь это несколько раз, потом проходишь в комнату, падаешь на спину поперек постели, не отпуская сосков, и кладешь руку туда, где к тебе только что прикасались короткие жесткие струи; ты

остаешься в таком положении несколько долгих минут; я не могу оторвать взгляд от того, как вибрирует твое тело; наконец ты вздрагиваешь, резко изгибаешься мне навстречу, замираешь над простыней на несколько секунд с громким стоном и обессилено падаешь на спину, успевая увидеть меня над собой и не отнимая руку от тела.

 Я вернулся в Квинто в конце июня. Стояли лучшие летние дни; в густом вечернем воздухе было все, что нужно для счастья, — запахи магнолий, акаций и крокусов, шум невидимых волн, пение цикад, аромат крепкого кофе, далекие аккорды фортепиано, звуки песен на чужом языке; в некоторых магазинчиках на набережной можно было купить заполненные этим воздухом консервные банки, которые запаивали прямо при вас; утреннее небо было безоблачным, море — безупречно гладким, и мир достигал совершенства. В такие минуты время превращалось в пространство. Впитывая в себя проходящие дни, высокое небо Италии становилось бесконечным; квазары, пульсары и диски горячего газа, стремительно вращающегося вокруг черных дыр, можно было увидеть невооруженным глазом; бесконечно далекие нейтронные звезды оказывались рядом с медленно перемещающимися над головой метеорологическими спутниками. Утекающее в пространство время почти останавливалось; секунды оказывались часами, минуты превращались в дни, и солнце подолгу висело прямо над нами, не давая уснуть по ночам.

Наверное, мы начали ссориться именно из-за солнца. Мы никогда не ссорились так бурно, как тем летом; я хорошо помню, когда после очередной нашей ссоры ты хлопнула дверью и вышла в город в этих облегающих джинсах с двумя широкими вырезами на месте задних карманов, которые ты до того одевала только для меня, когда мы оставались дома вдвоем; твои круглые белые ягодицы подрагивали в такт шагам, выдавливаемые наружу плотно прилегающей тканью, и у всех останавливающихся проводить тебя взглядом мужчин перехватывало дыхание и становилось тесно в брюках, потому что никто из них в своей жизни никогда не видел ничего подобного. Ты шла по середине улицы, гордо подняв голову, как будто ничего не случилось, твои распущенные волосы неслись за тобой, развеваемые западным ветром, твои прелести колыхались над мостовой, и у тебя в глазах было такое, что самые отчаянные повесы не решались заговорить с тобой. Ты спустилась на пляж, прошла к воде, стянула с себя рубашку и брюки, швырнула на песок лифчик, прыгнула в воду и поплыла к горизонту. Когда ты вышла из воды, уже было темно, но на пляже тебя

ждали несколько человек с фотокамерами; назавтра в местных газетах появились несколько возмущенных статей о нарушении общественной нравственности дерзкими иностранцами; правда, статьи не были проиллюстрированы фотографиями; этим дело и обошлось, но я еще долго замечал, что мужчины как-то особенно смотрят на тебя во время наших вечерних прогулок.

 Очевидно, Алька появился у тебя внутри в Лидо ди Венеция вскоре после этой истории; мы остановились в уютной гостинице на морской стороне и занимались любовью по три раза в день, не особенно предохраняясь; октябрь только начинался, на солнце было тепло, и я плавал недалеко от берега в прохладной осенней воде, а ты лежала на песке с закрытыми глазами, а потом задумчиво любила меня в еще не закрытых на зиму домиках прямо на пляже. Плотно сбитые деревянные стены хорошо защищали от ветра, на закрытой с трех сторон веранде было жарко, и я лежал на теплом деревянном полу, щурясь от солнца, а ты ритмично поднималась и опускалась надо мной, постанывая от удовольствия и притягивая любопытные взгляды пожилых пар, неспешно прогуливающихся по песку возле воды. Невидимый Титан сиял прямо над нами в соединении с Солнцем, и холодные молнии пронизывали его оранжевые облака, ударяя в ледяные вулканы.

Целый месяц о появлении Альки не знал никто, кроме него самого; он регулярно отправлялся с тобой в госпиталь по утрам и так же регулярно по вечерам возвращался обратно, а по выходным ходил с нами за покупками, валялся на пляже и купался у самого берега; потом об этом узнала ты, забежав на несколько минут к своему врачу по дороге домой с работы, а еще через несколько минут и я, подняв трубку телефона в своем кабинете. Ты носила Альку с собой всю зиму, весну и половину лета; он участвовал в совещаниях по обсуждению состояния особо тяжелых больных, вникал в детали новых методов борьбы с последствиями инсультов, прогуливался по набережной в солнечные дни, прислушивался к шуму прибоя, ходил в кино по выходным, ездил на выставки в Милан, Рим и Флоренцию, танцевал на джазовых концертах, сидел в приморских кафе, раскачивался на балконе в плетеном кресле, а последние два месяца неподвижно лежал на широкой постели, осторожно спускался по лестнице и долго отдыхал на скамейке в саду. Первое время он вел себя тихо; наверное, ему еще нечего было сказать, но по мере того как он рос, у него постепенно складывались свои мнения, которые он проявлял, постукивая по тебе изнутри. К августу он

стал настолько независим, что перестал нуждаться в тебе; машина скорой помощи повезла тебя через спящий город, бесшумно сверкая синими лампами, и его самостоятельная жизнь началась. Тогда он еще не знал, что это произойдет с ним еще раз примерно через восемнадцать лет.

Мы расписались, когда Альке исполнилось четыре года. Ты непременно хотела венчаться в церкви; роскошное белое платье, шляпка, вуаль, гости в строгих костюмах, низкий голос священника, звуки органа, блики солнца в витражах. Мы выбрали Hochzeitskirche[1] на берегу Альстера в Гамбурге; когда-то там венчались твои бабушка с дедушкой. Собрались друзья, твои родители приехали из Голландии, отец с мамой прилетели поздравить нас из Одессы. Когда мы вошли в церковь, орган уже звучал, заполняя собой все пространство. Тяжелые низкие звуки медленно поднимались вверх, собираясь в массивные колонны; плавные арпеджио висели над ними, складываясь в потолок; замысловатые соло расписывали купол причудливыми узорами красок; вибрирующие аккорды вставали по бокам гулкими выемками капелл; быстрые всплески стаккато дрожали горящими в полутьме свечами; высокие ноты поднимались вверх невидимыми в темноте стенами; звучащий в вечернем воздухе собор возвышался перед нами, поражая идеальными пропорциями и удивляя слух; одетый в темное органист кланялся, привстав со своего места, и когда гости наконец вставали и, зашумев, начинали идти к выходу, немыслимо расписанный потолок внезапно тускнел, свечи гасли в апсидах и казавшиеся незыблемыми стены неслышно обрушивались по краям, оставляя нас наедине друг с другом, тебя со мной и меня с тобой.

 Вскоре после того, как Алька пошел в школу, тебя назначили руководителем исследований; в твоем подчинении оказались три лаборатории, и ты часто работала допоздна. Ваши работы по активатору плазминогена привлекли внимание; постинсультное восстановление улучшилось почти вдвое, тебя начали приглашать с докладами на конференции и конгрессы, ты часто уезжала, и мы с Алькой подолгу оставались вдвоем. В такие дни наши с ним жизни вращались вокруг общего центра тяжести; мы вставали рано, я отвозил его в школу и ехал в университет; днем мы встречались дома, чтобы пообедать, он возвращался из школы на автобусе, а я приезжал на полчаса из университета; обычно я работал до шести, а потом бежал за покупками, готовил ужин, делал с Алькой уроки и, когда он уже засыпал, писал при неярком свете настольной лампы или читал Павича, Уэльбека

[1]Свадебная церковь (нем.).

или Мураками. В выходные мы ходили на пляж, гуляли, играли в настольный теннис, смотрели телевизор, иногда выбирались в кино; я покупал газеты в киоске на углу, Die Zeit, Le Monde, The Guardian, иногда Corriere della sera и просматривал их за завтраком, Алька разглядывал заинтересовавшие его фотографии, и мы обсуждали последние новости — войну в Ираке, расширение EU, землетрясение в Калифорнии, исчезновение английских нефтяников. В нашей системе двойной звезды моя жизнь, все еще быстро вращающаяся, но уже начинающая стареть, уравновешивалась его жизнью, пока еще медленно поворачивающейся и очень молодой, но уже начинающей неуклонно ускорять свое вращение. Соблюдение этого равновесия требовало аккуратности от нас обоих, иначе излучаемый нами свет превращался в беспорядочный поток не зависящих друг от друга квантов; такая несогласованность вызывала дискомфорт у окружающих, и нам приходилось сосредоточиваться друг на друге, чтобы вернуть нашу жизнь в устойчивое состояние. Все менялось, когда ты возвращалась домой; нас становилось трое, и равновесие нужно было искать заново. На это требовалось время, с каждым разом все больше, поскольку твои отлучки становились все длиннее; наши жизни вращались без остановок, и мы отлаживали систему на ходу, постоянно ощущая взаимные притяжения и отталкивания; мы не были стары, у нас хватало времени и сил, и в конце концов, нам удавалось добиться своего; наша система тройной звезды начинала испускать сильный ритмично меняющийся золотисто-оранжевый свет, хорошо заметный издалека и привлекающий знакомых и незнакомых.

Пожалуй, это были наши самые счастливые дни. Мы жили втроем на виа Джанелли, а когда становилось жарко, уезжали на дачу в Стрезу. Осенью и весной мы гуляли по набережной, иногда купались и играли в футбол на песке; зимой открывали окна в теплые дни и расжигали камин в непогоду; летом катались по озеру в лодках, загорали и плавали наперегонки целыми днями; по вечерам ты обычно шла в дом, а я оставался в саду и при свете керосиновой лампы читал "Три счастья дона Диего". Любитель астрономии, дон Диего считал, что жизнь имеет интуитивное измерение, уходящее бесконечно далеко вверх, что человечество накрепко связано со вселенной и что счастье возможно только очень высоко над землей. "Чем дальше отрываешься от земли, тем глубже погружаешься во вселенную", любил повторять он; впервые прочитав эту фразу, я положил ее в карман и носил с собой несколько дней, изредка притрагиваясь к ней пальцами; карман заметно провис, и друзья спрашивали, что это я ношу с собой все время, не револьвер ли, и не опасаюсь ли я кого-нибудь; на четвертый день,

когда ткань начала расходиться, я спустился на пляж, встал лицом к морю, опустил руку в карман и аккуратно вытащил фразу наружу. Гладкая и тяжелая, она неподвижно лежала на моей ладони, тускло поблескивая на солнце; я крепко зажал ее между большим и указательным пальцами и изо всех сил запустил вверх, стараясь запомнить ощущение, с которым она выскользнет из руки, а потом повернулся и пошел назад к набережной; я не услышал всплеска, а это означало, что дон Диего был прав, и его фраза утонула там, откуда она пришла к нему в его первое счастье.

 Следующее лето выдалось очень жарким. Беспрерывно жужжащий кондиционер, минеральная вода со льдом, необычная тишина в полдень, работа до одиннадцати и после пяти. Я сижу за своим столом; окно распахнуто в горячую южную ночь, еле слышно шумит вентилятор компьютера, на дисплее ползут разноцветные линии последних спектральных данных со спускаемого аппарата "Kuiper". Одна из линий постепенно отклоняется вверх; это не совсем то, что мы ожидали, и я открываю файл с результатами моделирования, чтобы понять, в чем здесь дело; пока я просматриваю таблицы, линия отклоняется еще дальше; звонит телефон, это Аризона, они тоже удивлены; наверное, это атмосферный азот, и я увеличиваю его начальную концентрацию и пересчитываю модель, но это ничего не меняет; я звоню в Лейден и после короткой дискуссии изменяю несколько констант, но расчетные кривые все равно не совпадают с тем, что передает "Kuiper". Тогда я надеваю сандалии, спускаюсь вниз, прохожу к пляжу, складываю на песок рубашку и шорты и ныряю в теплую черную воду; я открываю глаза и вижу, что мои руки светятся слабым серебристым сиянием; я плыву под водой насколько хватает дыхания, не отрывая взгляда от сверкающих огоньков прямо перед глазами, наконец выныриваю в темноту под яркими звездами и внезапно вижу, как, неизвестно когда и где, бесконечно слабый свет струится сквозь дымящиеся углеводородные океаны. В нашей модели свет присутствует только в атмосфере, и я мгновенно выскакиваю на берег, взлетаю к себе по всем лестницам, прыгаю в кресло перед компьютером, добавляю несколько уравнений, сверяю константы со справочниками и снова запускаю модель. Я иду в кухню и завариваю кофе, а когда возвращаюсь, рассчитанные кривые уже лежат поверх передаваемых за миллионы километров; совпадение оказывается поразительным, и я замираю на несколько секунд, всматриваясь в экран, а потом выпрыгиваю вверх так высоко, как только могу, словно это я, а не Хорхе Бурручага только что забил решающий гол в финале чемпионата

мира против Германии. Кофе разливается на пол, но мне уже нет до него никакого дела; я быстро рассчитываю формулу продукта реакции, и у меня получается аминокислота. Которая является основной структурной единицей белков, бормочу я себе под нос, перехожу в гостиную, наливаю полный бокал "Бароло", включаю диск Люсьенн Делиль, которая поет "Mon amant de Saint-Jean"[1], выхожу на балкон и вальсирую с бокалом в руке, то и дело отпивая. Car l'on croit toujours,[2] поет Люсьенн из 1942 года, и оранжевые облака Титана кружатся над ее золотистыми волосами.

Я ложусь спать, когда уже рассветает; я долго не могу заснуть, а когда все же засыпаю, ко мне сразу приходит дон Диего. Он долго смотрит на меня, а потом быстрым жестом вытаскивает из кармана свою утонувшую во вселенной фразу и дает ее мне. Я тут же узнаю ее, она оказывается тяжелой и слегка поблескивает в лунном свете, но когда дон Диего еще раз внимательно смотрит на меня и уходит, так ничего и не сказав, я обнаруживаю, что получил от него что-то совсем другое: "Если благодаря тебе где-то обнаруживается жизнь, это вовсе не значит, что ты ее создаешь. Ты только способствуешь тому, что она перетекает откуда-то куда-то, из неподвижных углеводородных озер в колышущиеся мышечные стенки и обратно".

 Этим же летом Альке исполнилось восемнадцать; он окончил школу и в сентябре уехал изучать современную литературу в Бостон. Наша просторная квартира тут же наполнилась равнодушной космической пустотой, в которой не было ничего, кроме холодного реликтового излучения. Пустота была везде, в щелчке отпирающего дверь ключа, в тишине безукоризненно чистого коридора, в полутьме комнат за закрытыми шторами; пустота заполняла все, она покачивалась бесформенными студенистыми массами в углах, выплескивалась из заварочного чайника во время завтрака, нависала прямо над постелью по ночам; пустота постепенно вытесняла из квартиры воздух, нам было все труднее дышать, и мы не знали, чем можно было ее заполнить. Я попробовал завести собаку, мы долго обсуждали, какую породу предпочесть, и в конце концов остановились на джек-расселе; он был очаровательно-серьезен и сразу очень привязался к нам, но ты уезжала еще чаще, чем раньше, я подолгу засиживался в университете, и в конце концов, нам пришлось его отдать; я навсегда запомнил, какие у него были глаза, когда я обернулся посмотреть на него в последний раз, спускаясь по узкой деревянной лестнице, а его новый хозяин

[1] "Мой возлюбленный из Сен-Жана" (франц.).

[2] Потому что в это веришь всегда (франц.).

держал его на поводке в приоткрытой двери его новой квартиры; древнее микроволновое излучение безразлично пронизывало пространство, детей у тебя уже быть не могло, и нам пришлось с этим смириться; я закрыл Алькину комнату на ключ, и мы почти перестали бывать дома.

Когда ты уезжала, я чаще всего отправлялся вслед за тобой; я сидел напротив тебя в поездах, заглядывая тебе в лицо, когда вагон мягко покачивался на стыках; я шел за тобой по улицам, разглядывая, как твоя талия плавно переходит в бедра; я лежал рядом с тобой на широких постелях, слушая, как ты ровно дышишь во сне. Иногда я оставлял тебя и отправлялся на Титан рассматривать молнии и бродить по окаменевшим льдам; там начиналось лето, столбы горючих газов поднимались из углеводородных океанов, складываясь в облака; азотные ветры гнали облака над равнинами, наполняя электричеством и превращая в тучи; обильные дожди проливались над заледеневшими островами, пронизывая атмосферу мощными токами; замороженная газовая горелка Титана разбрасывала искры, согревая Солнечную систему.

В песочных часах, перевернутых нашими родителями когда-то давно, оставалось все меньше песка. Большинство песчинок неподвижно лежали внизу; в этой сплавленной навсегда массе еще можно было различить беспорядочно перемешанные друг с другом пеленки, качели, детские книжки, четырехколесные велосипеды, футбольные мячи, игры на переменах, записки на уроках, признания в любви, поцелуи в парке, вступительные экзамены, университеты, дипломы, измерения, приборы, расчеты, диссертации, конференции, конгрессы, статьи, поезда, самолеты, вокзалы, аэропорты, встречи, проводы, гостиницы, квартиры, дома, упоение, печаль, отчаяние, грусть, восторг, счастье. Наверху оставалось совсем немного, усталость, прозрачный осенний воздух над морем, неспешные прогулки по набережной, тяжесть отекших ног, книги, больничные палаты, капельницы, уколы, тишина и еще немного счастья.

Прошло еще несколько лет; мы приезжали и опять уезжали; ты полностью сосредоточилась на работе: несмотря на тридцатилетний опыт, ты никак не хотела смириться с тем, насколько легко многие твои пациенты отправлялись в свои последние путешествия по вселенной. Каждому из них было чем дорожить здесь, каждый готов был подождать хотя бы немного, и ты проводила годы в поисках того, как можно было бы их удержать, но у тебя мало что выходило. Лопались различные сосуды, кровоизлияния происходили в каких угодно местах, выходили из строя разные участки мозга, и у тебя опускались руки перед бесконечным разнообразием клини-

ческих картин работы неизвестного художника. Некоторые уплывали недалеко, и тебе удавалось их вернуть; кое-кто оставлял неизвестно где что-то свое, принадлежавшее ему годами, — способность говорить или видеть, или двигать левой рукой; но большинство быстро оказывалось в недоступных тебе областях, и никто не возвращался обратно. Почти у всех тут оставались близкие, и тонкие прочные нити, связывавшие тех, кто исчезал, с теми, кто оставался, растягивались на бесконечные расстояния, не желая обрываться совсем, но в конце концов, все-таки обрывались. Я хорошо помню, что этот новейший по тем временам аппарат для сканирования головного мозга установили в вашем отделении весной; принцип работы аппарата был основан на эффекте Допплера. Был теплый майский день, ты вернулась домой поздно, мы пили "Бардолино" на балконе, обсуждали Умберто Эко и рано пошли спать, но даже когда я лежал на тебе, а ты обнимала меня за плечи, ты все равно была не в постели со мной, а в вашем отделении со своим новейшим аппаратом. Не знаю, когда и где у тебя возникла эта мысль; наверное, она появилась где-то очень глубоко, там, куда я никак не мог заглянуть, и где ты оставалась совершенно одна; наверное, она возникла где-то там и уже потом пробралась туда, где ты наконец смогла ее ощутить; не знаю; многие говорили мне потом, что сначала никто ничего не заметил и только намного позже кто-то, может быть, ты, а может, кто-то другой, обратил внимание, что пациенты, прошедшие сканирование на новой машине, возвращаются назад из своих бесконечных далей значительно чаще, чем все остальные. Те, кто так говорил, должны были проработать с тобой рядом все эти тридцать лет, а потом увидеть тебя в нашей постели тем теплым майским вечером вместе с твоим аппаратом, чтобы понять, что в этой истории не было никого, кроме вас двоих. Как бы то ни было, идею о том, что высокочастотный ультразвук разрушает тромбы и восстанавливает циркуляцию мозгового кровообращения, впервые предложила именно ты; первое сообщение об этом, сделанное на конференции в Колд-Спринг-Харбор, было подписано твоим именем. Ты научилась разворачивать уходящих на полпути с помощью своего аппарата, и движение твоей отдельной жизни наконец совпало с движением жизни всего человечества.

 Прошло еще какое-то время, и мы начали понемногу собираться в путь. Мне пришлось оставить кафедру по настоянию врачей; ты тоже работала не так много, как раньше, и мы гуляли по набережной, читали перед сном и говорили о тех временах, когда из нас двоих в живых останется только Алька; он недавно вернулся в Италию и поселился недалеко от

нас. Мы съездили на Таити, научились играть в бридж и купили дом в пригороде; деньги и документы были готовы, они лежали в светло-сером ящичке на камине.

Тем вечером я вернулся домой рано; сердце заболело, когда я парковал машину у входа; тебя еще не было, и я принял нитростат и сел к столу просмотреть почту; боль не отпускала, я принял еще одну таблетку, вложил в проигрыватель "Entre deux"[1] Патрика Брюэля и прилег на диван; ты улыбалась мне с нашей фотографии на стене, конец девяностых, пляж, июнь, остров в Мраморном море, ты, Алька и я на фоне веселой субтропической зелени; сердце заболело еще сильнее, и когда боль стала невыносимой, я встал с дивана, достал свой старый чемодан, купленный в "Лафайетт" на Монпарнасе много лет назад, прошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Я начал с того, что аккуратно уложил в большое отделение наше знакомство на конференции в Амстердаме, банкет, старинный особняк и тебя, неправдоподобно красивую, идущую через зал с бокалом шампанского в руке; я положил рядом наш первый вечер вдвоем в Антверпене, два стакана виски в гостиничном баре, мягкий свет ламп и нежный вкус твоих губ; я обернул в теплый вязаный шарф резкий ледяной ветер, поднимающийся от реки туман и холод твоего тела; высокий сводчатый подвал с портерным пивом удобно разместился рядом, дрожа огоньками свечей на деревянных столах; я тщательно упаковал день нашей свадьбы в тонкие кружевные занавески, купленные тобой накануне в Брюгге; как и тогда, этот день никак не хотел кончаться, и занавесей едва хватило; я с трудом отыскал запыленную коробку с первой поездкой в Италию, белый миланский вокзал, высокие стены Кастелло и размытые краски "Тайной вечери"; наша ночь в Барселоне едва поместилась в чемодан, все еще удивляя меня бесконечностью моего счастья; сверкающий лед Медео выскользнул из рук и упал на горячий песок пляжа Каваллино; я быстро поднял его и уложил возле медленного фокстрота на пароходике посередине Дуная; наш медленный танец в подвальчике на рю де ля Юшетт уже лежал рядом, завернутый в твое наспех сброшенное вечернее платье; я осторожно положил сверху твою улыбку в окне палаты с только что родившимся Алькой на руках; ночные разговоры на берегу Lago Maggiore мне пришлось доставать из-под стола — Алька тогда постоянно бегал по комнатам, разбрасывая игрушки во все стороны, и наши вещи могли оказаться где угодно; я долго не мог найти поездку в Прагу втроем в конце октября, я почти забыл о ней и помнил только холодный осенний воздух, огни

[1] "Между двумя" (франц.).

фонарей над Карловым мостом и маленькую пивную на углу возле гостиницы; я побоялся положить в чемодан хрупкий елочный шар, который мы купили для Альки в маленьком магазинчике возле Вацлавской площади; в сердце что-то дернулось, и я едва не уронил на пол Северный вокзал, отправляющийся через несколько минут поезд Париж-Гамбург, тебя в открытом окне и меня внизу на перроне; в тот год мы чуть не развелись, и от нас остались бы одни осколки, если бы ты в последнее мгновение не схватила меня за холодные пальцы. В чемодане уже не было места, но мне все-таки удалось разложить по боковым отделениям поцелуи в Сиднее на мосту высоко над портом, прощания на вокзалах Одессы, Кельна и Нарбонны, маленькую гостиницу в Ломмеле рядом с голландской границей, Алькин первый день в школе, несколько счастливых дней на островах. Боль понемногу начинала стихать; я еще раз проверил, что деньги и документы остались на своих местах, присел на край кресла, огляделся в последний раз, взял чемодан и пошел к выходу.

Такси ждало внизу; я поздоровался с водителем, помог ему положить чемодан в багажник и сел на заднее сиденье. Водитель завел мотор; я оглянулся; в наших окнах горел теплый желтый свет — наверное, ты уже вернулась домой после работы; водитель прибавил газу, и я потерял наш дом из виду. Мы доехали быстро; машин было мало, водитель молчал, и я смотрел через стекло на мокрые черные тротуары, нащупывая в кармане нашу парижскую квартиру, которая уже не поместилась в чемодан, широкий коридор, застекленные двери комнат, приглушенный свет настольных ламп, просторная постель, быстрые движения тел, последняя невозможность счастья. Поезд уже стоял у перрона; вагоны были пусты, двери открыты; я был один; тускло горели несколько неоновых ламп; стрелка больших старомодных часов дернулась и застыла на цифре "11"; я поднял чемодан и шагнул в тамбур; дверь бесшумно закрылась за спиной, поезд мягко тронулся и пошел, набирая ход; огоньки, проносящиеся за окном, становились все реже и реже, пока не исчезли совсем; поезд плавно оторвался от земли и, все ускоряясь, помчался в направлении созвездия Водолея; Титан медленно всходил из-за горизонта, подрагивая оранжевыми облаками; я раскрыл "Дона Диего" и сел у окна; Патрик Брюэль и Джонни Холлидэй весело пели "Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?",[1] в груди уже почти не болело, вокруг была чернота, и только далеко внизу, там, где железнодорожная линия начинала забирать к югу, горел маленький огонек.

[1] "Чего мы ждем, чтобы быть счастливыми?" (франц.).

Часть вторая
Рыжая на белом

Поезд вздрогнул в последний раз и остановился у перрона. Я вышел первым и помог спуститься тебе; ты задержалась на последней ступеньке, коротко взглянула на меня и скользнула вниз, опираясь мне на плечи; носильщик подхватил чемоданы, поставил их на тележку, buongiorno signora buongiorno signor, lei è benvenuto a Sestri,[1] и покатил вдоль белоснежных вагонов; поезд снова вздрогнул, бесшумно сдвинулся с места и помчался вдоль моря, сверкая на полуденном солнце; ты еще раз взглянула мне в глаза, взяла меня под руку, и мы пошли к выходу. Точнее, я пошел к выходу вслед за носильщиком, а ты осталась стоять посреди перрона, глядя, как носильщик катит на своей тележке наши чемоданы, как я иду за ним, отставая на несколько шагов и улыбаясь, и как ты идешь рядом со мной, держа меня под руку и улыбаясь мне в ответ. Ты смотрела, как мы с тобой прошли через маленькую площадь, расплатились с носильщиком и сели в такси; как я открыл перед тобой переднюю дверь, сел на заднее сиденье и всю дорогу разговаривал с таксистом о Лигурии, подшучивая над политиками и расспрашивая о новостях, si, lei ha ragione, questo è veramente strano,[2] а потом взял карточку с его телефоном и обещал звонить, если нам понадобится автомобиль; как мы вышли из такси у входа в отель, прошли через вестибюль и взяли ключи у портье. Наверх вела узкая деревянная лестница с искусно вплетенной в решетку буквой "S"; ты видела, как мы поднялись на третий этаж и вошли в номер, как я стянул через голову рубашку, сбросил на ковер брюки и ринулся в душ, а ты распахнула окно и смотрела на красные крыши домов, зеленые верхушки кипарисов и белые очертания облаков, смотрела до тех пор, пока не услышала шаги за спиной и не почувствовала, как я обнимаю тебя за плечи, прикасаясь к твоим волосам. Отсюда, с перрона, тебе был хорошо виден четко очерченный в бледном июльском небе прямоугольник окна с нашими светлыми фигурами посередине, касающиеся друг друга губы, лежащие на плечах руки, полузакрытые от яркого света глаза. Я высунулся наружу по талию, прикрыл створку жалюзи и шагнул к тебе от окна в полумрак над белоснежной постелью; перрон растворился среди прохладных теней, ты влетела в комнату ослепительной рыжей ракетой, и я вернулся к тебе.

[1] Здравствуйте, синьора, здравствуйте, синьор, добро пожаловать в Сестри (итал.).

[2] Да, вы правы, это действительно странно (итал.).

Город взбегал от моря вверх по склонам. Тяжелые старинные здания едва взбирались на набережную, с трудом делали еще несколько шагов и останавливались невдалеке от берега, тяжело дыша и вздрагивая от напряжения; они непрерывно поглощали кислород, выделяя взамен запахи кухни, уборки и свежевыстиранного белья; некоторые из них были готовы растянуться вдоль склона и бессильно осесть серой грудой камней, чтобы только наконец отдохнуть от этих многовековых усилий. Легкие маленькие домики карабкались вверх намного быстрее, они ловко взбегали по кручам, насколько хватало сил, и останавливались среди темной зелени, выглядывая наружу яркими крышами и светлыми стенами. Наша гостиница располагалась в узком четырехэтажном здании семнадцатого века, зажатом со всех сторон в старом квартале рядом с рынком; она уже не могла двигаться и только отчаянно стремилась вверх, к солнцу.

Мы спали до девяти, завтракали в саду за маленьким столиком и шли на пляж до полудня; когда становилось жарко, мы поднимались наверх, немного прогуливались по набережной и обедали в одном из приморских ресторанчиков. После обеда мы обычно уходили гулять; повсюду цвели розы, гвоздики, цикламены; каждая улица имела свой аромат, он кружил нам головы, застилал глаза, прижимал друг к другу. Окраинные улицы были наполнены густым запахом лаванды, он отрывал нас от земли и уносил в горы, которые спускались прямо к порту. Здесь запах был таким сильным, что мы увязали в нем с головой, с трудом взмахивая руками; в конце концов воздух загустевал до такой степени, что мы неподвижно повисали над склонами, не в состоянии шевельнуться и только вдыхая темно-фиолетовый запах, поднимавшийся из полей. К вечеру ветер менялся, и мы начинали медленно скользить вниз к морю, понемногу снижаясь. В конце концов мы снова оказывались на набережной; ветер стихал, запах ослабевал, и мы шли над прибоем в теплой ночной темноте, слегка покачиваясь после долгого пребывания в воздухе.

Ты только начала работать на BBC, твой круг обязанностей был ограничен репортажами из Италии, и ты могла жить где угодно от Бреннеро до Мессины, лишь изредка наведываясь в Лондон. Первое время я часто брал несколько дней отпуска и летал на остров вместе с тобой; мы ходили в Британский музей, сидели в ресторанчиках Ковент Гарден и гуляли в Регентс-парке по солнечным дням. С каждым приездом Лондон затягивал нас все глубже; ты любила его и раньше, а я начал по-настоящему

узнавать только сейчас. Вестминстер непреодолимо тянул к себе, Тауэрбридж звал изо всех сил, Трафальгарская площадь засасывала нас, как омут. Мы погружались и погружались, просачиваясь в отдаленные районы, проскальзывая в места с сомнительной репутацией, пробираясь в пригороды; мы проникали в город все дальше, смешиваясь с ним и соединяясь тысячами разных нитей. Нас уносило вдаль; мы побывали в Лутоне, Рединге и в конце концов добрались до Оксфорда. Вначале ты показала мне дом, в котором жила, потом здание университета и наконец ресторан, где вы отмечали получение дипломов; именно там я впервые увидел университетский герб, белые страницы раскрытой книги в рыжей обложке с отчетливой надписью "Dominus Illuminatio Mea"[1] через разворот. Прошло несколько месяцев, и когда мы приехали в Оксфорд в следующий раз, мне стало ясно, что центр притяжения находится именно здесь.

Первое время наша жизнь состояла из простых предметов. Мы начали с арифметики шоссейных дорог: A12 + A7 = Милан, Дуомо, кастелло, "Ла Скала", галерея Витторио Эммануэле, Санта-Мария-делла-Грацие, "Сан-Сиро"; A12 + A11 = Флоренция, Санта-Мария-дель-Фиоре, колокольня Джотто, капеллы Медичи, дом Данте, Понте Веккио, Уффици; A12 + A21 + A4 = Венеция, Сан-Марко, Дворец дожей, Риальто, Галерея академии, Большой канал, Ка'д'Оро; A12 + A11 + S2 = Сиена, пьяцца дель Кампо, палаццо Публико, Сан-Доменико, палаццо Пикколомини. Я хорошо знал эти места и рассказывал тебе то, что помнил из объяснений отца, а ты внимательно слушала и иногда смеялась в ответ. Отец с мамой жили совсем рядом, в тридцати километрах отсюда; отец все еще преподавал в университете, а мама работала в госпитале. Они часто приезжали к нам в праздники и по выходным, и каждый раз, сидя с ними в гостиной, я обязательно хотя бы на несколько минут попадал в нашу старую квартиру в Квинто. Я ездил в школу на машине по узким улочкам вместе с отцом; он всегда спешил, чтобы успеть к началу уроков, улицы были полны автомобилей, и отец отчаянно ругал всех, кто мешал ему продвигаться вперед; особенно доставалось длинным автобусам двойного сочленения, которые иногда занимали целый квартал и не давали проехать вслед за ними даже на зеленый. Я возвращался из школы один, зимой в это время уже темнело, и я звонил из автобуса отцу на работу, а потом шел пешком от площади к нашему дому; мы жили напротив церкви, и по выходным я просыпался от перезвона ее колоколов, и сразу садился за компьютер, чтобы связаться с друзьями, а когда раздавался звонок в дверь, бежал по лестнице вниз

[1] "Бог есть мой свет" (лат.).

встречать маму. Так продолжалось все время, пока отец с мамой оставались у нас, и когда они наконец уезжали, у меня снова не оставалось никакого времени, кроме настоящего.

Одновременно с арифметикой мы овладевали пением, Карузо, дель Монако, Лоретти, Паваротти, Рамаззотти, а потом занялись рисованием, Леонардо, Рафаэль, Тициан, Боттичелли, Караваджо. После уроков мы обычно уходили гулять и до темноты бродили по узким улицам, заглядывая в окна и разглядывая фасады; мы уходили далеко, улицы превращались в дороги, начинались поля; деревья стояли по сторонам ровными рядами, и мы шли по горячему асфальту, изредка отходя на обочину, чтобы пропустить обгоняющие нас автомобили. Когда мы были в Павии, ты захотела посмотреть чертозу; от автобуса нужно было идти пешком около двух километров; широкая аллея была обсажена тополями, и от нее то и дело отходили в стороны узкие сельские дороги. Ты свернула в одну из них, я окликнул тебя, но ты не ответила, а только обернулась в ответ и исчезла за поворотом. Я быстро догнал тебя, ты вырвалась и побежала по траве к роще, я прижал тебя к дереву, ты поцеловала меня в губы, я стянул с тебя блузку, мы упали в траву, я взлетел над полями, ты промчалась над чертозой, я взмыл в воздух над Ломбардией, ты пронеслась над Лигурией, и мы долго любили друг друга под старыми акациями в широком небе Италии, кувыркаясь над головами прохожих, забавляя детей и распугивая монахов. Мы вернулись в Сестри уже заполночь, ты сразу уснула, а я еще долго читал "Три счастья дона Диего". Это была странная книга о том, что у каждого мужчины в жизни есть множество единственных женщин, что жизнь закономерно складывается из случайностей, и что бесконечное количество вариантов судьбы строго ограничено. К тому моменту я одолел около половины; дон Диего плескался в своем втором счастье где-то высоко над землей, и я прекрасно понимал его, засыпая рядом с твоим расслабленным телом.

Работа над романом продвигалась с трудом, в гостинице писать было неудобно, и через несколько недель мы переехали в просторную квартиру на корсо Монтевидео. Договор с издательством уже был готов, оставалось согласовать некоторые детали сюжета. На протяжении нескольких десятилетий я носил с собой каждый поворот этой истории, мы следили за ней вместе с отцом по телевидению, газетам и интернету из нашей квартиры в Квинто. Пропавших нефтяников искали суда, вертолеты и самолеты, специалисты анализировали фотографии, сделанные со спут-

ников, но все было напрасно. К тому времени нефтяные месторождения Северного моря и Аляски иссякли окончательно, запасы в Баренцевом море приближались к концу, и гонка за околополюсные районы была в самом разгаре. Из-за потепления климата каждая высадка на лед была рискованной, но речь шла о миллиардах, поэтому риск считался оправданным. Установка платформы на такой широте заняла бы несколько лет, в то время как разведка со льда могла дать необходимую информацию в течение двух-трех месяцев. Все данные со льдины непрерывно шли прямо в штаб-квартиру BP, поэтому там сразу забеспокоились, когда связь неожиданно прекратилась, однако репортеры узнали об этом только через сутки. На следующее утро The Sun вышла с заголовком Lost for Oil[1] через всю полосу; редакционная статья в The Guardian была озаглавлена Oil Price.[2] Все необходимое еженедельно доставлялось в лагерь огромными транспортными самолетами, однако когда самолеты появились над нужной точкой вскоре после исчезновения связи, летчики не увидели там ничего, кроме ледяной пустыни. К этому моменту в лагере работали двадцать шесть человек, в основном специалисты-нефтяники, с которыми были врач, радист и океанолог. На ноги были подняты все спасательные службы от Норвегии до Канады; американские, английские, канадские, шведские, норвежские и русские спасатели прочесывали квадрат за квадратом от Шпицбергена до Новой Земли, но все оказалось напрасным. За три месяца поисков не было обнаружено ничего напоминающего о том, что в этом месте когда-то был полярный лагерь. В конце концов поиски было решено прекратить; все компании отказались от планов освоения полярной нефти, газеты перестали писать о пропавших, и никто так и не узнал, что с ними случилось.

Я провожу все лето за письменным столом; начинается осень, и ты впервые улетаешь в Иран. Там почти нет западных журналистов, и тебе не разрешают снимать ничего, кроме короткого репортажа о детях; у тебя уходит не меньше недели на то, чтобы объехать школы, детские сады, ясли и родильные дома, потом ты летишь на монтаж в Лондон и возвращаешься в Италию только в конце февраля. Услышав звонок, я спускаюсь вниз, чтобы помочь тебе с чемоданом; ты стоишь у стеклянной двери, и твои волосы струятся по яркому восточному платку. Как только я вижу тебя, я чувствую, что ты чего-то хочешь, но не могу понять, чего. Мы ужинаем в ресторане над морем; тебе неспокойно, и ты весь вечер пытаешься вывести меня из себя; ты используешь разнообразные приемы, смотришь мне

[1] "Пропавшие из-за нефти" (англ.).

[2] "Цена нефти" (англ.).

прямо в глаза, как будто случайно приподнимаешь край юбки, поправляешь шлейку лифчика, запустив пальцы под платье, но у тебя ничего не получается. Ты добиваешься своего только дома, когда я захожу в гостиную, снимая пиджак и повесив пальто в прихожей, а ты уже стоишь на ковре в красном свете японской лампы, Sade поет "Your love is king"[1] хрипловатым голосом со старого диска, и твоя обнаженная грудь ровно отсвечивает в полутьме. Мы падаем на ковер, совершая множество быстрых движений, остаемся там внизу в течение неизвестно какого времени, и в конце концов ты добиваешься своего, и я выхожу из себя. Выходя из себя, я вхожу в тебя; я вхожу в тебя через небольшое отверстие между ногами, окруженное рыжими волосами; я оказываюсь у тебя внутри; там тесно, тепло и темно, и я растекаюсь в этой темной тесноте, обволакивая мягкие стенки; сжимаясь мне навстречу, ты впитываешь меня в себя, и я начинаю двигаться у тебя внутри, понемногу наполняя твое тело. Ты разносишь меня повсюду; проходит еще какое-то время, и становится невозможно разобрать, где ты и где я; тогда ты собираешь всю эту бесформенную красную массу, которая одновременно является мной и тобой, у себя в низу живота, прямо над соединившим нас узким отверстием, собираешь и наконец звонишь мне теплым весенним днем и говоришь, you know, I am pregnant.[2]

В первые годы после исчезновения нефтяников вышли несколько книг с детальным описанием этой истории, но ни одной из них не удалось объяснить, что именно случилось тогда во льдах. Прошло несколько лет, и одним солнечным зимним утром я, как всегда, спустился на набережную, присел на скамейку над холодным блистающим море, прикрыл глаза от слепящего света и внезапно увидел, как где-то вдали несколько человек в ярко-рыжих комбинезонах идут по сверкающему на солнце льду, обходя полыньи и перебираясь через торосы. Я замер, изумленный четкостью увиденного, потом встал, облокотился на парапет, снова закрыл глаза и несколько минут смотрел, как цепочка людей с трудом движется вперед под тусклым полярным солнцем, смотрел до тех пор, пока сияние северных льдов не растворилось в блеске Средиземного моря. Прошло около месяца, и я снова увидел эту картину, когда сидел на песке у воды теплым мартовским днем; блестящая поверхность уходила далеко к горизонту, люди шли медленно, и было видно, что они очень устали; к тому же мне показалось, что их стало меньше. Я долго не мог понять, что это значит,

[1] "Твоя любовь — король" (англ.).

[2] Знаешь, я беременна (англ.).

но когда люди во льдах появились перед мной в третий раз и я смог разглядеть нашивку "BP" на комбинезоне одного из них, мне стало ясно, что отраженный холодной морской поверхностью солнечный свет имеет отношение к пропавшим нефтяникам.

У тебя ушло больше полугода на то, чтобы снова стать собой. Все это время ты на четверть состояла из меня, и я часто спрашивал себя о том, согласился бы я так долго терпеть то же самое по отношению к тебе; спрашивал, но не находил ответа. Больше полугода ты состояла из двух неравных частей, и та из них, которая являлась тобой лишь наполовину, подчиняла себе твою жизнь все больше и больше. Эта неспокойная часть, она заставляла тебя просыпаться по ночам, постоянно отлучаться в туалет, отказываться от любимых блюд и напитков и в конце концов просто отправила в постель на два месяца, разрешив только кресло-качалку на балконе и прогулки у моря три раза в день. Ты снова стала собой, когда начались холода, улицы покрылись желтыми листьями и над морем повисли туманы; поздним вечером ты появилась в открытой двери кабинета, попросила позвонить в госпиталь и опустилась на диван; я набрал номер, не всегда попадая на нужные клавиши, побежал в спальню за давно подготовленным чемоданчиком, набросил тебе на плечи пальто, свел вниз по лестнице вместе с врачом и потом только все время держал тебя за руку, в машине "скорой помощи", в коридоре и в родильном зале; когда я наконец разжал насквозь промокшие пальцы, ты улыбнулась мне серым больничным лицом, люди в белых халатах засуетились в стороне вокруг маленького красно-рыжего тельца, и ты снова улыбнулась мне и сказала, we'll call him Robert.[1]

 Начиналась зима; ты вернулась на телевидение, Роберт все чаще оставался с няней, и я старался чередовать работу с неспешными прогулками у моря. Был ясный декабрьский день; я спустился на набережную, сел на залитую солнцем скамейку и закрыл глаза. Несколько человек в рыжих комбинезонах шли через бесконечные полярные льды, и тусклое рыжее солнце равнодушно светило им навстречу. Вчера они прошли не больше трех километров; ноги застревали в свежем снегу, ветер бросал в лицо острые иглы льда, и им приходилось держаться за руки, чтобы не потерять друг друга. Наутро пурга улеглась, и они пошли побыстрее, снова растянувшись в длинную цепь. Они шли на юг, оставляя за собой прерывистую линию следов и время от времени поглядывая на небо, их ры-

[1]Мы назовем его Робертом (англ.).

жие комбинезоны четко выделялись среди белизны, и каждый из них по несколько раз в день видел их всех с высоты, проносясь низко надо льдом в кабине поискового самолета. Этот самолет, они слышали его ежедневно, утром, днем, вечером, а некоторые даже ночью, он появлялся на юге, востоке, западе и даже на севере, его долгожданный ровный гул возникал где-то вдали и повисал над торосами, приближаясь, и тогда каждый из них хватал за плечо другого и застывал, указывая рукой в вышину, застывал до тех пор, пока тот, другой, не отворачивался и не уходил вслед за остальными, так ничего и не услышав.

Первая экспедиция высадилась на Марсе, когда Роберту исполнилось пять; он часами не мог оторваться от телевизора, внимательно следя за тем, как белые скафандры бесшумно перемещаются по рыжей поверхности на широком плоском экране в десятках миллионов километров от нас. Когда первые кадры с Марса достигли Земли, отец переехал к нам на несколько дней; он смотрел вместе с Робертом все передачи, не пропускал ни одного пресс-релиза в интернете и был по-настоящему счастлив, когда узнал, что в первых анализах почвы были обнаружены следы аминокислот. Поздравления в его адрес приходили в течение нескольких недель после этого: человек, первым доказавший существование сложных органических молекул за пределами Земли, снова оказался одним из героев дня, и в эти дни я наконец понял, что это такое, в одиночку бродить по чужой холодной планете, потому что впервые делал это вместе с отцом. Мы вдвоем прогуливались по марсианским пустыням, спускались в широкие долины, поднимались по длинным склонам кратеров, и Роберт с трудом поспевал за нами.

 Британия еще не поддержала Соединенные Штаты в их конфликте с Ираном, война еще не началась, и я видел тебя почти каждый день на BBC World, стоящую с микрофоном в руках на одной из площадей Тегерана. Ты смотрела мне прямо в глаза, твои рыжие волосы сверкали из-под светлого платка, и высокие белые здания сияли на солнце за твоей спиной. Чтобы лучше понимать тебя, я выключал звук и слушал, как ты рассказываешь мне о себе, о том, как ты скучаешь, как устаешь, как ждешь вечера, чтобы наконец включить телефон и позвонить в Италию; как ты подходишь к нашей двери, открываешь ее своим ключом и осторожно входишь в полумрак за решетчатыми ставнями, трясясь на сиденье редакционного джипа по узкой горной дороге и не открывая глаз; как тебе бывает страшно по ночам, когда ты лежишь с опущенными веками в тягучей

летней темноте и внезапно отчетливо видишь то, что произойдет здесь всего через несколько месяцев. Ты видишь невысокое здание, окруженное забором со всех сторон, чувствуешь идущий от него запах гари и слышишь детский плач, доносящийся откуда-то сверху.

Каждый вечер я замирал над белой страницей, и твои рыжие волосы мелькали у меня перед глазами среди бесконечных ледовых полей, освещенных низким полярным солнцем. Я прикрывал глаза и подолгу смотрел на красно-оранжевый диск, пока он не расплывался в морозной дымке и не превращался в знакомую рыжую россыпь, из которой выглядывало твое лицо. Я видел, как далеко внизу несколько человек в рыжих комбинезонах медленно шли по льду, растянувшись в длинную цепь, как они иногда останавливались, смотрели на небо, как будто прислушиваясь к чему-то, потом опускали головы и снова шли друг за другом своей усталой походкой, как они тяжело двигались среди льдов, изредка взглядывая на солнце, и как красивые женские лица смотрели на них со слепящего диска, встряхивая разбросанными по плечам волосами. Отсюда, с лигурийского побережья, несколько десятилетий спустя мне было трудно рассмотреть черты этих лиц, но я был уверен, что некоторые из них мне хорошо знакомы. Красивые женские лица появлялись одно за другим в застывшей ледяной вышине, медленно исчезали в облаках и снова появлялись, когда кто-то из идущих на юг людей в очередной раз поднимал глаза к небу. Лицо, которое возникало низко над горизонтом всякий раз, когда на солнце смотрел тот, кто шел последним, странно напоминало мне кого-то из близких, но я никак не мог определить, кого; прищурившись от яркого света, я вглядывался в знакомые изгибы скул, овалы глаз, линии губ, узнавая каждую деталь, но так и не понимая, кто это улыбается мне через мертвый полярный холод.

 В те дни я много работал, стараясь закончить сборник, и дон Диего приходил ко мне, только когда я выключал компьютер, умывался холодной водой и ложился в постель, наполнив бокал малагой. Дон Диего рассказывал мне о том, что наши жизни происходят вдоль тонких и прочных линий, которые находятся одновременно внутри и снаружи каждого из нас; что эти линии могут перекрещиваться, перетекать друг в друга, совпадать на какое-то время и обрываться навсегда; что жизнь может приближаться к своей линии и в точности совпадать с ней, и тогда человек счастлив, но может и удаляться от нее и полностью терять ее из вида, и тогда человек становится несчастным и в конце концов исчезает. Тем ве-

чером я снова застываю над чистой страницей, и знакомое женское лицо тут же возникает передо мной над бескрайними просторами льда. Тот, кто шел последним, стоит по колено в снегу, запрокинув голову к небу и не пытаясь догнать уходящих все дальше товарищей; он пристально смотрит на солнце, прищурив глаза и не отводя взгляд, и я теперь могу рассмотреть красивое лицо, улыбающееся ему сверху. Какое-то время мы вместе смотрим на низко висящий диск; тот, кто шел последним, наконец отводит взгляд, опускается на колени и ложится лицом в снег, а потом поднимается, смотрит туда, куда пошли остальные, и уходит в другую сторону. Улыбающаяся с неба женщина перестает улыбаться, она просто смотрит, как он из последних сил пробирается через льды, падая и вставая, и когда она наконец отворачивается и медленно растворяется в небесном сиянии, встряхнув знакомой россыпью рыжих волос, я понимаю, что это твоя мать, которую я никогда не видел и которая умерла, когда тебе было четыре года; твоя мать задолго до твоего рождения. Пораженный, я какое-то время сижу за столом, пересекая темные пространства и совершенно потеряв из виду рыжий солнечный диск, белые льды и идущих по ним людей, потом с трудом открываю глаза, иду в гостиную, открываю бутылку граппы, возвращаюсь к столу и немного отпиваю из рюмки. Я снова вижу длинную цепочку людей, из последних сил бредущих на юг сквозь полярные льды, передо мной снова возникают красивые женские лица, и когда тот, кто ушел в сторону, вскидывает голову к солнцу и надо льдами появляется сияющее лицо твоей матери, я вздрагиваю и широко открываю глаза, потому что теперь твердо знаю: этот человек — твой отец. Некоторое время я сижу неподвижно, пытаясь понять, что же произошло, потом встаю, снова иду в гостиную, допиваю всю граппу в течение нескольких минут, ложусь на ковер и тут же засыпаю; я сплю до полудня, не слыша уличного шума и телефонных звонков, и когда просыпаюсь, сразу же понимаю: теперь мне известно, что случилось с тем, кто шел последним в длинной цепочке бредущих сквозь полярные льды людей.

Новость о том, что во время бомбардировки была разрушена детская больница, первой передала Al Jazeera; ты услышала об этом, когда проходила через холл, в котором работал телевизор. Слова "children's hospital"[1] заставили тебя остановиться, слова "heap of debris"[2] обожгли лицо, а слова "hundreds of newborns"[3] ударили так, что ты раскаленным снарядным

[1] Детская больница (англ.).

[2] Груда обломков (англ.).

[3] Сотни новорожденных (англ.).

осколком пронеслась через пустынные города, черные горы и залитые тьмой долины, пока в конце концов не уперлась фарами в толпу, не съехала на обочину и не увидела поднимающийся слева от дороги дым. С того момента, как ты замерла перед телевизором, ты не думала ни о чем, но точно знала, что делать. Ты выключила фары, заглушила мотор и вышла из машины, пряча лицо под хиджабом; никто не заметил твоего появления, внимание собравшихся в ночи людей было полностью занято тем, что происходило впереди, там, откуда поднимался дым. Миниатюрная камера, как обычно, была спрятана в складках ткани у тебя на груди, аккуратно фиксируя все, что ты видела, и даже больше, благодаря своей чувствительности к инфракрасному излучению. Ты прошла вперед, смешавшись с множеством таких же женщин, как ты, закутанных в темные ткани, и оказалась перед обломками здания, только что разрушенного сильным взрывом. Женщин здесь было меньше, они или стояли вокруг, молча заламывая руки, или катались по земле, захлебываясь в крике; мужские фигуры стремительно двигались среди обломков, освещаемые языками пламени, они время от времени останавливались, наклонялись над чем-то, подзывали на помощь других, вглядывались и принимались быстро расшвыривать обломки, пытаясь что-то вытащить из-под них; когда это им удавалось, они расстилали на земле простыни, быстро говорили о чем-то и несли тела к темнеющему в стороне забору, уже четко отграниченному белым. Тут и там из-под обломков поднимался дым, выбивалось пламя, торчали балки, трубы, стены; не в состоянии разглядеть, что там происходит, ты то и дело нажимала на Zoom, запустив руку под платье; ты не могла проверить положение камеры, это было слишком опасным, и поэтому ты просто поочередно поворачивалась к мелькающим в дыму мужчинам, распростертым на земле женщинам и белеющим у забора телам. Ты простояла у развалин еще некоторое время после приезда врачей и пожарных, автоматически следя за суетящимися среди огня людьми, потом наконец повернулась, спустилась к машине, села за руль, выключила камеру, развернулась на узкой дороге и оказалась в своей квартире через несколько никак не ощущенных тобой часов; начинало светать. Ты выпила полный стакан виски, подключила камеру к проектору, снова наполнила стакан и нажала на Play. Крупное изображение плачущего бородатого мужчины, держащего на руках ребенка, появилось на экране примерно через десять минут после общего плана сложенных у забора тел; ты остановила камеру, немного прокрутила назад, уменьшила скорость и еще раз просмотрела последнюю минуту, пока снова не увидела мужчину с ребенком и не оста-

новила кадр. Черный силуэт мужчины, освещенное огнем лицо, маленькое тельце на руках и стекающие по щекам слезы. Не отрывая взгляд от экрана, ты допила остаток виски, включила принтер и запустила печать; во сне ты всю ночь бродила по пустому огромному дому, переходя из комнаты в комнату, и в каждой из них висела на стене только что отпечатанная фотография мужчины с ребенком; когда ты открыла глаза следующим утром, эта фотография висела на стене над твоей постелью.

 Твоя жизнь перестала быть моей через несколько дней. Твой репортаж по BBC о разрушенной взрывом больнице повторили CNN, ABC, CBS, три первых канала французского телевидения, немецкие, итальянские, испанские, голландские, датские, шведские телекомпании, и ты стала частью тех нескольких миллионов, которые посмотрели его; конечно, так случалось и раньше, но тогда в твоем компьютере еще не было кадров мужчины с ребенком. Фотография появилась на обложке Time через сутки; прошел еще день, и на тебя заявил права весь мир. Наш телефон звонил без умолку, и нам пришлось отключить его и перейти на другой номер, твой mailbox оказался засыпанным сообщениями со всех концов Земли, твой мобильный вибрировал у тебя на столе каждые несколько минут, сигнализируя о прибытии очередного SMS. Бородатый мужчина стоял с ребенком на руках в зеленоватом свете инфракрасной камеры, и желтые огоньки слез блестели на его темном лице. Каждый хотел что-то узнать о журналистке, из-за репортажа которой пришлось созывать заседание Совета безопасности ООН, и ты перестала быть просто частью этого мира и стала частью каждого из тех, кто в нем был.

В те годы ты редко бывала дома, и Роберт все больше зависел от меня, особенно после того, как отец навсегда исчез из его жизни. Я писал его жизнь набело, стараясь не делать ошибок и тщательно подбирая слова. Дни складывались в предложения, недели абзацами ложились на чистые листы, месяцы превращались в страницы, образуя пока еще тонкую книгу его жизни, основную часть которой ему предстояло написать самому. Тогда я постоянно носил эту книгу с собой; она была аккуратно переплетена и жестко перетянута суровой ниткой, которая принадлежала только ему и ход которой терялся под твердой обложкой. Мы ездили в Геную, бывали во Флоренции, отправлялись на футбол в Милан; ему особенно нравилось, когда приезжали английские команды, он любил смотреть, как красно-рыжий крест медленно поднимается над залитым белым электрическим светом стадионом; я водил его в детский сад, а потом в школу, учил плавать

баттерфляем, работать на компьютере и играть на пианино, почти не вспоминая о тебе и осторожно заполняя страницу за страницей. В один из ноябрьских дней мы вернулись из поездки в Верден; он уже заканчивал последний класс и серьезно занимался музыкой; я разжег камин, сел к огню и достал книгу из портфеля; она заметно потяжелела и увеличилась в объеме, но большинство страниц так и оставались неразрезанными. Я подождал, пока он сядет рядом, включил The Great Gig in the Sky и положил книгу на стол перед ним. Он взял ее, повертел в руках, открыл, внимательно посмотрел, куда уходит нитка, и пошел к себе в комнату. Осенью он уехал учиться в Англию, и я больше никогда не видел у него этой книги.

О том, что одним из нефтяников был твой отец, я узнал только через полгода после нашего знакомства. Вначале ты всячески избегала разговоров о своей семье, и я быстро перестал задавать тебе лишние вопросы. Потом я узнал, что ты выросла без родителей; когда мы в первый раз поехали к тебе в Ливерпуль, я увидел на твоем столе выцветшую фотографию загорелого мужчины и смеющейся женщины, сделанную еще до появления цифровых камер. This is dad and mum,[1] сказала ты со странным изломом в голосе, отвернулась и вышла из комнаты. Прошло еще несколько месяцев, мы сняли нашу первую квартиру на Монпарнасе, и только там ты наконец показала мне вырезки из старых газет, интересовавшихся судьбой экспедиции; я сразу вспомнил некоторые из них, отец тогда выписывал The Guardian, которая регулярно сообщала о ходе поисков. Все фотографии пропавших полярников были сделаны общим планом, и на них нельзя было узнать загорелого мужчину из твоей комнаты, но твоя фамилия то и дело мелькала в тексте; ты оставила мне папку, сказала look over[2] и ушла курить на балкон. Я долго сидел на диване, перебирая пожелтевшие кусочки бумаги, но в тот вечер мне не удалось попасть за полярный круг, потому что я был у нас дома в Квинто вместе с отцом; мы смотрели телевизор, листали газеты и спорили о том, что могло случиться на льдине, а потом обедали в японском ресторане и гуляли по набережной, глядя на море. Зато теперь, сидя за своим рабочим столом над черными от правки листами, я был рядом с твоим отцом, немного сбоку и сверху, я отлично видел, как он прошел еще немного, рухнул в снег, поднялся, сделал несколько шагов, покачнулся и снова упал, а потом последним долгим движением перевернулся на спину и затих, раскинув в стороны руки и оставляя оранжевую букву "T" на белоснежной поверхности океана. Я видел, как он лежал,

[1]Это папа и мама (англ.).

[2]Посмотри (англ.).

не двигаясь и глядя на солнце, как остальные уходили на юг все дальше и дальше, как они обнаружили, что его с ними нет, как повернули назад и как нашли его на третий день после ухода. Кто-то из них заметил что-то яркое с верхушки тороса; они взяли еще западнее и где-то через час увидели прямо по ходу неровное рыжее пятно; прошло не меньше получаса, пока они наконец не поняли, что он лежит у края широкой льдины, повернув лицо к солнцу; они пересекли льдину, встали вокруг него, закрыли засыпанные снегом глаза, завалили тело глыбами льда, постояли несколько минут, глядя на виднеющуюся в просветах между глыбами рыжую ткань, повернулись и снова пошли на юг, не останавливаясь и не смотря друг на друга; они знали, что теперь у них больше нет никаких шансов выжить.

 Льдина раскололась вопреки всем расчетам; наверное, инженеры не полностью учли вибрацию, от которой лед все время дрожал под ногами; буровая установка мгновенно исчезла в разломе, унося с собой всех, кто был рядом, трещины разбежались во все стороны, и через несколько секунд все, что было на льду, оказалось под ним. Спастись удалось только пятерым, тем, кто в этот момент забирал пробы морской воды в полукилометре от лагеря; обернувшись и не увидев буровой, они побросали на лед приборы и побежали назад, но не нашли там ничего, кроме сломанного зеленого флажка с двумя желтыми буквами. У них был запас продуктов всего на один день, и они решили пойти на юг к островам. Некоторое время спустя они уже не могли вспомнить, как оказались в этих безжизненных льдах, и в их памяти не осталось ничего, кроме ощущения, что это было как-то связано с густой черной жидкостью, спрятанной между скалами под слоями земли и воды. Когда-то здесь не было льдов, и миллионы крошечных жизней заполняли теплый океан, чтобы, непрерывно изменяясь, в конце концов превратиться в тебя, меня и всех остальных, включая людей в рыжих комбинезонах. Эти люди, они искали то, что осталось от миллионов крошечных жизней спустя миллионы лет; они хотели с помощью мощных насосов высосать остатки этих жизней наверх, чтобы навсегда превратить в белый дым. Они ошиблись, нарушив неизвестные им взаимосвязи, и в белый дым превратились их собственные жизни. Я поставил точку, выключил компьютер и вышел на балкон; Лигурийский залив сверкал ледяным блеском, отражая холодное зимнее солнце. Книга вышла в Random House через полгода, а еще через год на океанском дне нашли буровую установку и несколько рыжих комбинезонов.

Наше время истекало, оно медленно вытекало из нас, истоньшая мышцы и иссушая кожу; время стекало ручейками по улицам к морю, быстры-

ми потоками неслось по склонам гор, капало с крыш, било струей из садовых шлангов, тонкой струйкой сочилось из плохо закрытых кранов, текло без остановки самыми разными способами, и его оставалось все меньше и меньше. Роберт уже работал в Нью-Йорке, он играл в оркестре, прилетая в отпуск не чаще двух раз в году, и мы старались сами выбираться в Америку. Когда тебя номинировали на Пулитцера, он приехал встречать нас в JFK с огромным букетом роз, а потом отвез в гостиницу и не отпускал целый вечер, расспрашивая об Италии. На следующий день мы тоже засиделись допоздна, разговаривая о музыке; он считал, что она выполняет чрезвычайно важную роль, позволяя почувствовать то, что обычно ускользает от восприятия. Наутро у тебя было несколько деловых встреч, и Роберт потащил меня в Бруклин, он хотел показать мне дом, где когда-то жили отец с мамой, он нашел его по конверту, который обнаружил у нас дома несколько лет назад. Мы проехали по широкому проспекту к самому океану, вышли из машины и немного постояли возле кирпичного шестнадцатиэтажного дома, возвышавшегося над пляжем; мы вернулись в "Ритц", когда уже стемнело, переоделись, спустились вниз и сели в такси. Пятая авеню разбегалась в стороны тысячами огней; таксист несколько раз оборачивался и взглядывал на тебя, желая убедиться, что ты все еще здесь. Ожидавший твоего появления мир постепенно забирал тебя к себе, и здесь, в такси, нам оставалось все меньше и меньше. Премию вручали в Колумбийском университете; хотя все было решено заранее, многим показалось, что когда объявляли номинатов на приз за лучшую фотографию, овация, раздавшаяся после твоего имени, не оставила организаторам никакого выбора. Ты взлетела на залитую белым светом сцену, твои рыжие волосы взметнулись на миллионах телевизионных экранов, и наша с тобой частная жизнь наконец превратилась в частную жизнь всего человечества.

 Течение времени замедлилось после того, как ты ушла с работы; если раньше мы неслись по стремительной, складывающейся в неожиданные потоки и вихри, реке, то теперь оказались на широком неспешно движущемся просторе. Несмотря на это, приближение к точке, где время остановится навсегда, ощущалось все сильнее, и мы наконец решились поехать в Иран. Начиналась зима, в Тегеране было холодно, и торжества по случаю очередной годовщины победы были почти незаметны. Мы выехали из гостиницы ранним утром, чтобы успеть засветло проделать тот путь, который привел тебя на обложки. Больница находилась на окраине, и сразу за ней начинались горы; теперь на месте дымящихся в но-

чи развалин был памятник жертвам оккупации. Четкие тонкие линии расходились по мраморной плите от нескольких детских фигур, пересекаясь с вертикальными линиями, идущими параллельно друг другу; в точках пересечения линии, отходящие от фигур, становились прерывистыми или обрывались совсем. Это едва успевшие начаться линии их жизней пересекаются с лазерными линиями падающих с неба бомб, задумчиво сказала ты, и мы повернулись и пошли назад к машине.

Прошла весна, за ней лето; Роберт вернулся в Италию, ты перестала уезжать на съемки, мы завели кошку, и мне казалось, что я вижу ее каждый раз, когда смотрю на Сатурн, сверкающий в черном августовском небе. В первый раз я оказался в госпитале в один из осенних дней, когда начались затяжные дожди; врачам удалось поставить диагноз только через несколько месяцев; оставшееся во мне время съежилось до незаметности, и я почти не ощущал его. Ты не отходила от меня ни на шаг, но я не всегда замечал это; солнечный зайчик висел на потолке, белоснежные простыни похрустывали под спиной, и я гулял по набережной вместе с отцом, приезжал на каникулы из университета и водил Роберта в школу, только ненадолго возвращаясь в палату. Наверное, тогда была ночь; ты дремала в кресле у стены; я осторожно встал, нашел свою одежду, спустился по лестнице и вышел на улицу, никого не встретив. Было сыро, над берегом висел туман, и сквозь него тускло просвечивали звезды. Я прошел вправо по широкому проспекту и свернул в боковую улицу; я точно не знал, где нахожусь, и поэтому обрадовался, увидев впереди ярко светящуюся вывеску кинотеатра. Перед кассой никого не было; я поздоровался, купил билет и поднялся в зал. Там было пусто, только где-то сзади сидели несколько человек; я выбрал место прямо напротив экрана и стал смотреть; фильм уже начался, и я сначала не мог понять, что происходит, а потом внезапно увидел прямо перед собой лицо отца и узнал пляж, на который мы ходили с ним в Квинто. Отец внимательно посмотрел на меня, а потом развернулся и пошел к набережной; мы поднялись на стоянку, сели в машину и через несколько минут оказались в обсерватории; отец включил компьютер, и круглый потолок над нашими головами раскололся надвое, открыв усыпанное крупными звездами небо. Негромко зажужжали моторы, черный цилиндр телескопа слегка повернулся, на стене засветился широкий дисплей, и я увидел на нем круглые белые шапки над рыжими полушариями Марса. Тебе нужно спешить, мягко сказал отец, я обнял его и быстро пошел к машине по длинной темной аллее, чувствуя, как он смотрит мне вслед. Ты уже ждала меня, сидя на переднем сиденье с тон-

кой сигаретой в руке; мы проехали через Сомервиль и остановились у дома, в котором я жил, когда учился в Бостоне; мы поднялись в мою квартиру на третьем этаже, я включил Шенберга и откупорил бутылку кьянти, а потом долго смотрел, как твои волосы темной грудой лежат на простыне и как ты, вздрогнув во сне, переворачиваешься на спину, открывая свой рыжий треугольник, окруженный белоснежной кожей. Я на несколько секунд закрыл глаза в темной пустоте зала, коротко вздохнул и поцеловал тебя в губы; ты не просыпаясь потянулась мне навстречу, я осторожно выбрался из постели, оделся и позвонил маме, что сейчас приеду. Когда я ехал от мамы, люди в рыжих комбинезонах стояли по обочинам дороги тут и там, и свет моих фар скользил по плакатам с фотографиями женских лиц в их руках. Снова пошел дождь; нефтяник с табличкой Thank you for seeing other's mirage[1] стоял перед последним поворотом, и струйки воды сбегали по его лицу. Я бросил машину у обочины и побежал наискосок через площадь; Роберт кинулся мне наперерез из-под навеса и обхватил изо всех сил, я взлохматил ему волосы и засмеялся, чтобы подбодрить его; он заплакал и разжал руки. На перроне не было ни души, поезд уже был готов отойти, все двери были закрыты; я рванул на себя ближайшую из них, она легко подалась, я впрыгнул в тамбур, и поезд тотчас же пошел, все увеличивая скорость, потом мягко оторвался от земли и помчался в направлении созвездия Весов; за окнами было темно, красный диск Марса, окаймленный белыми шапками, висел высоко на землей; я раскрыл "Дона Диего" и сел у окна; Долорес О'Риордан пела "Will you remember the dress I wore",[2] вокруг была чернота, и только далеко внизу, там, где железнодорожная линия резко уходила на юг, светился едва заметный огонек.

Часть третья
Черная на золотом

Наконец поезд замедлил ход и остановился. Я спрыгнул на перрон и обернулся; ты шагнула ко мне, я подхватил тебя на руки, ты скользнула вниз своим тонким телом, и я поцеловал тебя. Проводник подал носильщику наши чемоданы, двери захлопнулись, поезд легко тронулся с места и быстро исчез в струящемся полуденном воздухе. Ты оторвалась от моих губ, я

[1] "Спасибо за то, что видишь чужой мираж" (англ.).

[2] "Ты будешь помнить, в каком я была платье?" (англ.).

взял тебя за руку, и мы понеслись к выходу, кружась в вышине и взлетая вместе с ласточками над желтыми плоскостями вокзала; носильщик шел впереди, толкая перед собой тележку с нашими вещами, и даже с такой высоты нам было хорошо видно, как мы с трудом успеваем за ним, слишком занятые друг другом. Мы видели, как носильщик пересек привокзальную площадь, поздоровался с таксистом и погрузил чемоданы в багажник, как я сел рядом с тобой на заднее сиденье, назвал адрес и снова взял тебя за руку, как ты повернулась ко мне, внимательно посмотрела в глаза и поцеловала. Отсюда, сверху, мы не могли разобрать, что было дальше, поскольку поднялись еще выше; я различал только прядь твоих черных волос прямо перед своим лицом, а ты не видела ничего, кроме моих закрытых глаз; когда мы наконец снизились и снова начали различать детали, машина уже катилась вдоль пляжей, люди сидели в кафе, и таксист негромко напевал что-то из Паоло Конте. Мы вышли у старинного четырехэтажного здания; таксист открыл тебе дверцу, ero molto contento per vederla, signora, tutto il migliore, signore, spero di vederla ancora in Viareggio,[1] а потом хотел дать свою визитную карточку, но ты не обратила на это внимания; швейцар учтиво поклонился, коридорный подхватил чемоданы, мы прошли через вестибюль с вензелем в виде буквы "V" на потолке, поднялись по широкой мраморной лестнице на второй этаж и вошли в номер. Замок защелкнулся; ты взглянула в зеркало на стене: я обнимал тебя за талию, ты смотрела прямо перед собой, слегка наклонив голову, и аккуратно подстриженные волосы падали тебе на плечи. Я расстегнул пояс на твоей юбке, ты перешагнула через нее, повернулась и стащила с меня рубашку, мы прикоснулись друг к другу, наши изображения в зеркале исчезли, и мы помчались над красными крышами домов, зелеными верхушками кипарисов и белыми очертаниями облаков, помчались до тех пор, пока не услышали, как в ванной бежит вода из незакрытого крана, как автомобили гудят за плотно запахнутыми шторами и как откуда-то издалека грустный голос поет "Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio".[2] Мы пронеслись сквозь вселенную, увидев рождение звезд, гибель планет и столкновения галактик, повисли в темноте, переливаясь друг в друга, и приземлились на широкую постель посреди просторного гостиничного номера, так и не разжав руки.

Мы выбрали гостиницу на одной из улиц, ведущих к морю. Город располагался на плоском участке суши, вытянувшись вдоль автострады и ли-

[1] Был очень рад встретиться с вами, синьора, всего наилучшего, синьор, надеюсь еще раз увидеть вас в Виареджо (итал.).

[2] "Ну, давай же, улети со мной, умчись в эту непонятную любовь" (итал.).

нии железной дороги. Широкие проспекты бежали на юго-восток вдогонку за уходящими в Рим поездами, и идущие параллельно узкие улочки с трудом поспевали следом; город рвался вперед, сжимаемый с двух сторон горами и морем, и только частая сеть поперечных улиц удерживала его на месте. Каждая из этих улиц перетягивала город с северо-востока на юго-запад, обязательно заканчиваясь пляжем, и ветер носил песок по Америго Веспуччи и Леонардо да Винчи, наметая холмики у белых стен. На этих улицах всегда было ветрено, пахло рыбой, йодом и солью, и мы недолго раздумывали. Я только недавно вернулся в Европу, родители жили в Италии, и мне было все равно, откуда летать на концерты. Города мелькали за окнами бесконечными вереницами зданий, отличаясь друг от друга только именами под словом "Departure"[1], названиями отелей и марками ожидающих меня автомобилей, и маршруты моих перелетов черными линиями ложились на золотые поверхности облаков.

Лето было свободным; я отказался от всех приглашений на фестивали, и мы остались вдвоем до сентября. Мы проводили все время вместе; я носил тебя на руках, а ты не замечала никого, кроме меня. Я просыпался первым, осторожно, чтобы не разбудить, поднимал тебя с постели и шел в душ, потом возвращался в спальню, накидывал халат и готовил кофе с тобой на руках; к этому времени ты уже просыпалась и кричала "Tu est là, chéri?"[2] из спальни, не думая ни о ком, кроме меня. Мое лицо возникало перед тобой, когда ты, едва проснувшись, лежала среди белых простынь, и утреннее солнце играло золотом на твоих волосах; когда ты смотрела на себя в зеркало, аккуратно подкрашивая ресницы; когда вглядывалась в синее небо над городом, сидя на балконе с чашкой кофе в руке; когда рассматривала портреты дель Сарто, сделав шаг назад и чуть-чуть откинув голову. Я стоял рядом, держа на весу твое легкое тело, а потом шел за тобой по лестнице, выходил на улицу, щурился от яркого света, возвращался к машине, останавливался рядом с пляжем после часа быстрой езды, бросал на песок одежду и бежал к морю, не опуская тебя на землю, а ты шла сзади, так и не заметив никого, кроме меня. Мы прожили так около двух месяцев; в конце августа позвонил твой агент, тебе пришлось срочно уехать в Париж, и лето закончилось.

Во французском кино был спад, тебя почти не снимали, и ты часто летала вместе со мной. Мы раскладывали вещи, переодевались и отправлялись посмотреть зал, а оттуда шли гулять, если оставалось время.

[1] "Отлет" (англ.).

[2] "Ты здесь, милый?" (франц.).

Еще недавно скучные и плоские, города сразу же оживали, приобретая глубину и объем; Тауэр гордо расправлял плечи над Темзой, Буда ловко взбиралась по придунайским холмам, замок Ив отрешенно замирал перед обрывом, Большой Базар настойчиво тянул за рукав. Живые и яркие, города появлялись перед нами, предлагая знакомство, и мы не могли отказаться. Безраздельные хозяева на своей территории, они делали с нами все, что хотели; Сидней катал на пароходиках через залив, Нью-Йорк кормил на улицах хот-догами, Гамбург заталкивал в привокзальные пивные, Стокгольм гонял по улицам под ледяным дождем, но мы были согласны на все, поскольку другого способа познакомиться с ними у нас не было. Прошло время, и у нас появились знакомые на всех континентах; многие из них стали нашими друзьями, мы всегда могли остановиться у каждого из них, и каждый из них всегда был рад нашему приезду.

После нескольких лет затишья джаз снова вошел в моду. Меня приглашали чаще, залы увеличивались в размерах, рецензии становились лучше; одна из них, в "Le Monde", была озаглавлена "Les temps multiples"[1]. Автор подробно описывал специфику действия на слушателей каждой из композиций, в конце концов приходя к выводу, что присутствовавшие на концерте могли свободно перемещаться между настоящим, прошедшим и будущим временами, находясь одновременно в каждом из них. В самом деле, когда я играл, из всех времен для меня существовало только настоящее, которое одновременно являлось прошедшим и будущим; мой рояль становился дорогим автомобилем с золотыми огнями прожекторов на черных лакированных крыльях, который свободно перемещался во времени. Особенно хорошо мне удавались путешествия в прошлое; вплавляя его в настоящее, я мог отправиться куда угодно. Путем простого варьирования таких несложных вещей, как последовательность клавиш, сила удара по ним и периодичность этой силы, я мог перемещаться между средневековой Италией, древними равнинами Скандинавии, доисторическими холмами Ирландии, экваториальной Африкой тысячелетней давности и побережьем Мексиканского залива эпохи Гражданской войны; я мог остановиться в каждом их этих времен, осторожно взять его пинцетом, расправить на покровном стекле микроскопа и рассмотреть во всех деталях; я мог делать со временем все, что хотел, пока звучала музыка. Играя, я мог забраться куда угодно и увидеть то, чего не мог увидеть никто; разумеется, кроме музыкантов. Концерты Баха, вальсы Шопена, симфонии Моцарта висели в темноте истории, освещая мне дорогу, и я передвигался

[1] "Множественные времена" (франц.).

между ними, аккуратно следуя инструкциям, напечатанными на бумаге в виде нотных знаков. Я возвращался из этих путешествий не раньше полуночи, наполнял бокал вином, ложился в постель и читал "Три счастья дона Диего". Эту странную книгу когда-то подарил мне отец; точно такое же издание я видел на полке у деда. Приверженец точных формулировок, дон Диего считал, что часть судьбы передается по наследству так же, как характер, цвет глаз и склонность к полноте. Эта мысль всегда казалась мне интересной, хотя, пожалуй, больше всего мне нравились его рассуждения о том, что мужчина живет трижды, и что жизнь детей отличается от жизни отцов, как две фотографии одного пейзажа, снятые с небольшим поворотом камеры; я часто перечитывал это место, выключал свет и долго рассматривал эти фотографии в темноте, перед тем как уснуть.

 В ноябре мы купили просторный пентхаус, где я мог играть сколько угодно, не заботясь о соседях. Зимой я разучиваю новую программу; я играю ее тебе по вечерам, пальцы взлетают над клавишами, огонь прыгает по углям в камине, и я твердо знаю, что мы можем все изменить своими руками. Всего-навсего вот этими слабыми тонкими руками, мелькающими передо мной в сложном, не всегда уловимом ритме. Я знаю, что мы можем изменить все, от нашего места в истории до самых границ мироздания; я играю тебе, и мир, еще несколько мгновений назад огромный и цветной, внезапно становится очень маленьким и черно-белым, уменьшаясь до блестящей в ярком свете крышки рояля и длинных тонких клавиш. Мир становится гибким, как пальцы пианиста, и с легкостью меняет свои размеры. То уменьшаясь до блика на клавишах, то расширяясь до видимых границ Вселенной, мир прыгает по комнате ярким надувным мячиком; неожиданное замедление темпа превращает мячик в медленно плывущее облако, которое внезапно становится выпущенным из мортиры ядром, в конце концов снова превращающимся в мячик. В этот момент я знаю, что нет ничего неизменного. И ничего абсолютного. Я знаю, что мы можем без труда менять размеры мироздания, сжимая его до точки стаккато и растягивая до бесконечности арпеджио с любой нужной нам скоростью, ускоряя и замедляя движение исключительно в соответствии с тем, что мы чувствуем. Мы, нескладные, юные до неприличия, с пузырями на коленях концертных брюк, надеваемых два раза в году, в белых рубашках с острыми стрелками на рукавах, — и мы, прожившие свою жизнь до конца, усталые, сгорбленные, в роскошных фраках, бабочках и туфлях от YSL — вы никогда не поверите нам, но мы в са-

мом деле умеем это. И научившись этому в детстве, мы теперь с легкостью можем уменьшать весь мир до размеров лиц своих любимых и тут же разворачивать его от начала и до конца истории, сливаясь с ними на несколько секунд и навсегда. Мы умеем сделать так, чтобы весь мир был для нас только этим и чтобы в этом для нас был весь мир. Я играю тебе и знаю, что жизнь нам уже удалась, независимо от того, что еще с нами будет.

Отсутствие нижнего белья в тот год снова вошло в моду, и уже в мае ты перестала надевать что-либо под платье. Летом особенно популярными стали мини, и когда я поднимался за тобой по лестнице, было хорошо заметно, что ты регулярно читаешь Vogue. Первое время я по привычке пропускал тебя вперед; это имело самые неожиданные последствия, мы кидались друг на друга уже через несколько ступенек, не обращая внимания на остальных, и нам не было нужно ничего, кроме отдельной комнаты, но когда я однажды опоздал на самолет, ты перестала подниматься по лестнице первой. Танцевальные вечеринки были особо пикантными, теплый ветер с моря, Asti Spumante, случайные касания готовых ко всему тел; в один из таких вечеров я начал раздевать тебя еще за столиком, я стягивал с тебя тонкие полоски ткани в такси, на улице, в прихожей; когда мы вошли в спальню, на тебе были только серьги и черные чулки с тонкими кружевными подвязками. Твое тело было идеальным пособием для изучения анатомии французской актрисы, невысокий рост, хрупкая талия, стройные ноги, узкие бедра, черные волосы, небольшие груди, маленькие ступни, изящные лодыжки и чуть выпуклый живот с обязательным темным островком внизу, как на портретах Тулуз-Лотрека. Я был прилежным учеником и вскоре знал все твои самые укромные, самые теплые, самые влажные местечки; я досконально изучил этот увлекательный предмет, который быстро стал моим самым любимым из всех, какие мне встречались когда-то. Через какое-то время ты признала меня настоящим специалистом в этой волнующей области, и я даже подумывал сделать альбом фотографий того, что не могла видеть так отчетливо даже ты — ничего личного, никаких фамилий, только крупные планы — но ты сказала, что тогда действительно превратишься в пособие по анатомии, и я оставил эту идею.

Мы жили высоко над землей, наши окна выходили в летнее итальянское небо. Мы просыпались поздно, когда солнце уже заливало всю спальню, оставляя на стенах колеблющиеся прямоугольники света. Свежий утренний мир вибрировал, дрожал и колыхался; подхваченные его движением, мы осторожно прикасались друг к другу, еще раз, еще раз, по-

том еще и еще; волны света прокатывались над нами, колебания воздуха вливались в нас из распахнутых окон; одеяла волнами стекали на пол; наши движения, убыстряясь, приобретали ритм, созвучный ритмам воздуха и света, и когда эти ритмы в конце концов совпадали, колышущееся в глубине счастье заполняло нас до краев, расплескивалось на простыню, заливало постель, перетекало на ковер, растекалось к стенам, окружало стулья и кресла, подбиралось к столу, затопляло всю комнату, взбиралось на подоконник и в конце концов переливалось через край и выплескивалось наружу. В такие дни прохожие пахли тобой; когда я спускался вниз за газетами и кьябаттой, запах твоих духов висел над улицей, как колокольный звон Сан Паолино; от идущих навстречу мужчин веяло тонким ароматом твоего белья, за торговцем газетами тянулся сложный букет твоих шампуней; я заходил в пекарню и сразу чувствовал, что от булочницы исходит odeur âpre[1] твоего тела, а когда снова подходил к нашему дому, липкая влага счастья обдавала меня с головой, сводила с ума и заставляла лететь вверх по лестнице через две ступеньки, роняя хрустящие пакеты.

Способность музыки переносить информацию всегда была известна философам; первые нейрофизиологические эксперименты, подтвердившие это, были проведены в начале века вскоре после смерти Ксенакиса. Протянувшись через историю, музыка соединяла между собой мелькающие в доисторической темноте пятна света, и экспериментаторы пытались понять, как именно это происходит. О том, что музыка per se сообщает не так много, а главным образом переводит слушателей в состояние необычной реальности, характеризующееся чрезвычайно высокой чувствительностью к тонкому устройству вселенной, стало известно только в последние годы. Лихорадочные поиски оптимальных экспериментальных условий начались сразу после первой публикации в Nature Cognitive Science,[2] в них принимали участие лучшие музыканты планеты. Были изучены все жанры музыки, от примитивных песнопений до постквазигипермодернизма и все сочетания инструментов, от сольных партий до больших симфонических оркестров, ощущения испытуемых фиксировались последними нейрофизиологическими методами, но обнаружить что-то по-настоящему сенсационное пока не удавалось никому.

 Меня впервые пригласили в Принстон, когда возможности джазовой музыки были известны только в общих чертах. Было установлено,

[1] Терпкий запах (франц.).

[2] "Природа. Когнитивные науки" (англ.).

что джаз в значительно большей степени, чем классическая музыка, воздействует на тонкую эмоциональную сферу, резко увеличивая способность к восприятию частностей, подробностей, деталей. Классические произведения, напротив, позволяли лучше ощутить общие закономерности, свойства, архетипы, активируя системное восприятие. Все было очень похоже на обычный концерт — заполненный до отказа зал, тишина и золотые блики на черной крышке рояля — за исключением того, что все зрители были в одинаковых шапочках, под которыми прятались электроды. Сигналы от разных участков мозга передавались на центральный процессор, регистрировались и сравнивались с известными паттернами. Я начал с сонат Кэйджа, и время заструилось вокруг нас с постоянно меняющимися скоростями; оно сжималось в сгустки, собиралось в вихри, взлетало к потолку, разлеталось по сторонам, распадалось на мельчайшие капли, которые взмывали вверх, перемешивались друг с другом в причудливом танце и снова соединялись в знакомую однородную субстанцию, монотонно заполняющую пространство. Постоянно меняющийся ритм давал возможность ощутить неоднородность течения времени и почувствовать его внутреннюю структуру. Надтреснутые звуки шестнадцатой сонаты растворились в темноте; я выпрямился, переждал аплодисменты и заиграл Гершвина. Легчайшая мелодия мгновенно наполнила зал, вытеснив воздух, пространство и все остальное, время остановилось, застыв вокруг нас огромным белым кристаллом, и мы оказались вмороженными в него и неподвижно сидели внутри, не в состоянии пошевелиться и только разглядывая прожилки в его прозрачной глубине и трещинки, остающиеся на гладкой поверхности после каждой ноты, сидели до тех пор, пока последний аккорд не превратился в тишину, разрушив правильную структуру. Результаты принстонского эксперимента были опубликованы примерно через два месяца; авторы отметили необычно высокую активацию участков, ответственных за обработку временно́й информации, описали периодичность чередования нервной активности и предложили гипотезу о существовании субъективного кванта времени.

Отец с мамой в то время бывали у нас нечасто; отец много писал, а мама присматривал за домом. Вскоре отец заболел; потом оказалось, что он завещал передать мне некоторые бумаги, мама привезла их дождливым осенним днем в большой плетеной коробке. Стемнело; я разжег камин и сел к огню. В коробке оказались набросок повести, несколько рассказов и две страницы, исписанные четким почерком деда, я хорошо помнил, как он обьяснял мне принципы межпланетных путешествий, делая рисунки

в блокноте. Сверху рукой отца было написано "Это может тебя заинтересовать", и пририсован смайлик. Обе страницы были заполнены записями о джазовой музыке, сделанными в Голландии задолго до моего рождения. Джаз демократичен, писал дед, сольные партии здесь всегда сменяют друг друга, и каждый имеет возможность высказаться; и еще: это не трубач извлекает музыку из своего инструмента, это труба извлекает музыку из трубача; и в самом конце: если что-то и может остановить насилие, то это музыка; поэтому если вы хотите прекратить войну, то вместо десятка лазерных бомб сбросьте на неприятельские города десяток первоклассных джазистов. Я перечитываю записи еще раз, потом читаю рассказ отца о нашей поездке в Верден много лет назад, оставляю бокал на столе, сажусь за пианино и играю до тех пор, пока не засыпаю прямо за инструментом; я просыпаюсь утром на диване, ты сидишь рядом со пенящимся стаканом "Сан-Пеллегрино" и задумчиво говоришь, je ne t'ai jamais vu si ivre.[1]

 Возможность прожить еще одну жизнь в каждой новой роли интересовала тебя в кино больше, чем признание, известность и слава. Ты говорила, что тобой руководит инстинкт сохранения рода и что твоя жизнь продолжается в твоих героинях. Ты подолгу носила каждую роль в себе, носила до тех пор, пока она не вживалась в тебя, наполняя изнутри твое тело; тогда ты менялась, переставая быть просто самой собой, и превращалась в сложное переплетение себя и своей роли. Ты покупала новые духи, одежду и обувь, меняла прическу, косметику и походку, у тебя появлялось новое выражение лица, ты начинала интонировать по-другому, даже в постели ты вела себя не так, как раньше. Теперь ты могла играть свою роль, и тебя ждал успех, однако проходило время, и роль отделялась от тебя и начинала свое самостоятельное существование; ты еще играла ее, но уже не с тем блеском, и было видно, что каждая из вас уже давно сама по себе. В конце концов, ты бросала ее и снова становилась собой, и твоя жизнь опять текла, как всегда, в ожидании новой роли. Осенью ты заинтересовалась детскими игрушками; было ясно, что ты готовишься играть что-то новое. Ты бродила по магазинам, выписывала каталоги и делала заказы; потом ты перешла к детской одежде, шапочки, кофточки, распашонки, ты обдумывала фасоны, прикидывала размеры и составляла списки. Как всегда при подготовке новой роли, ты занималась этим у всех на виду, но когда я спрашивал тебя, кого ты собираешься играть, ты только пристально смотрела на меня и улыбалась в ответ. Прошло около месяца, и ты начала

[1] Я никогда не видела тебя таким пьяным (франц.).

полнеть; заметив это, я прервал репетицию, спустился в аптеку и вернулся с тонкой пластмассовой палочкой, похожей на термометр. Pourquoi,[1] сказала ты и опять улыбнулась, tu le sais de toute façon, tu as déjà tout compris.[2] Это была твоя лучшая роль, ты блистательно сыграла ее на одном дыхании, и даже когда, уже в монпарнасском госпитале, тебе понадобился кислород, ты все равно ни на секунду не сбилась с ритма, расставляя акценты в самых нужных местах — отброшенной на подушку тонкой белой рукой, изломанными в коленях длинными стройными ногами, лежащим на простыне маленьким детским телом. Ты сыграла эту роль так хорошо, как могла, вложив в нее весь свой талант, умение и силу, и ты добилась своего. Твоя роль отделилась от тебя и превратилась в Майкла.

 С самого рождения жизнь Майкла была насквозь пропитана музыкой. Когда он родился, плэйер у твоей постели играл Кейт Буш, когда ты в первый раз кормила его грудью, в палате звучал Нино Гальярди, когда я забирал вас домой, в машине пел Эрик Клэптон, когда мы вошли в дом, по TSF шел концерт Мишеля Петруччиани. С тех пор звуки пианино, рояля, аккордеона, напевы скрипки, виолончели, контрабаса, голоса тромбона, саксофона, трубы, ритмы барабанов, тарелок, литавр все время окружали его; он засыпал под The Beatles и просыпался под Marvelous Magics, он завтракал с Прокофьевым и ужинал с Тер-Петросяном, Дайана Вашингтон провожала его на прогулку нежным Mad About The Boy, Дин Мартин встречал ласковым Everybody Loves Somebody. Музыка окутывала его со всех сторон, она ласкала его кожу, перебирала волосы, проникала в тело; ноты кружили над ним, то замирая долгим lento, то заходясь неожиданным vivace, и в детстве он играл с ними, как с подброшенными в воздух конфетти, пытаясь поймать их на лету, пока они не умолкли. Я часто брал его с собой на концерты, и он без труда просиживал всю программу в первом ряду, не отводя взгляда от сцены и следя за тем, как ноты отрываются от рояля, взмывают вверх и исчезают за колосниками. Так прошло несколько лет, и когда он наконец вырос и пошел в школу, он хорошо знал то, что в начале своей жизни твердо знают, а потом навсегда забывают все дети: он знал, как устроен мир.

В мае мы, как всегда, поехали в Канны; ты не пропустила фестиваль ни разу за последние десять лет. Когда мы вышли из лимузина и шли по красному ковру к фестивальному залу, ты так неловко подняла руку, при-

[2] Зачем (франц.).

[3] Ты и так это знаешь, ты уже все понял (франц.).

ветствуя кого-то, что бретелька твоего свободного черного платья соскользнула с плеча, обнажив загорелую грудь. На следующий день твои фотографии появились в газетах, вздернутая от удивления бровь, коричневый кружок соска, глубокий черный вырез на золотой коже. Кое-кто посчитал, что ты просто решила повторить старый трюк Софи Марсо — признавая при этом, что у тебя он получился еще лучше; как бы то ни было, через месяц на твоем столе лежало не меньше десятка новых предложений, и из твоей единственной жизни быстро возникло множество других. В течение нескольких лет ты успела побывать настоятельницей монастыря в Бретани, комиссаром полиции в Лотарингии, первой леди Америки, последней королевой Франции, атаманшей разбойников, директрисой банка, возлюбленной Бальзака, любовницей Модильяни, ты превращалась в древнегреческую служанку, средневековую крестьянку, венецианскую принцессу, кастильскую маркизу, ты оказывалась знаменитой художницей, устраивающей инсталляции с голографическими изображениями живших когда-то давно, или телевизионной ведущей, выпускающей первую в истории Афганистана передачу о сексуальном воспитании, твои жизни усложнялись, их становилось все больше, и в каждой из них было многое от тебя, но это все-таки уже не была ты.

 Майкл рос, он уже заканчивал школу; музыка все еще звучала вокруг него, он до сих пор знал, как устроен мир, и его жизнь становилась все шире и шире, она разливалась перед ним привольным весенним паводком, расступалась светлой лесной опушкой, открывалась широким распаханным полем, которому, казалось, не будет конца. Хорошо зная, что это не так, он серьезно отнесся к выбору дороги; вначале он обошел все окрестности, а затем поднялся на холм и осмотрел в бинокль то, что виднелось вдали. Через много лет он рассказал мне, что с вершины холма увидел деда, который смотрел на небо, стоя вполоборота к нему; тогда он тоже посмотрел вверх и увидел, что солнечный диск покрыт черными пятнами и что по ним пробегают оранжевые облака. Майкл блестяще закончил астрономическое отделение в Беркли, проработал несколько лет на Гавайях и поехал строить новую обсерваторию в Одессе.

Тебе предложили эту роль, когда началась весна. Когда-то эта история всколыхнула мир, но прошло время, и о ней забыли. Ты должна была сыграть американскую порнозвезду Эйнджел Мэй, карьера которой успешно складывается до тех пор, пока у ее бой-френда не обнаруживают вирус СПИДа. Тебе везет, как раз в это время ты на несколько месяцев улетаешь

в Нью-Йорк, и с тобой ничего не случается. Несмотря на специфику своей профессии, ты любишь его, и когда через несколько лет он умирает, ты бросаешь работу и уезжаешь из Калифорнии в Южную Африку. Заболеваемость СПИДом к тому времени достигает там невообразимого уровня в пятьдесят процентов, и ты решаешь истратить свою жизнь на то, чтобы его уменьшить. Масштабы эпидемии во многом объясняются непопулярностью среди населения противозачаточных средств; ты предлагаешь использовать свой опыт, для того чтобы убедить местных жителей в их обязательности. На средства Всемирной организации здравоохранения ты разворачиваешь рекламную кампанию по телевидению и в печати, однако опросы показывают, что кампания оказывается неэффективной. Ты организуешь бесплатную раздачу презервативов и распространение информационных листков, но статистика обнаруживает, что и эти меры не дают никакого эффекта. Тогда ты решаешься на крайний шаг и предлагаешь каждому обладателю документально заверенного диагноза "СПИД" лечь с тобой в постель при условии, что он воспользуется презервативом в точном соответствии с инструкцией. Ты объявляешь об этом в прямом эфире во время очередной передачи о борьбе с этой грозной болезнью; передачу тут же прекращают, но многие успевают услышать твои слова. Через несколько часов по названному тобой адресу собираются сотни мужчин; прибывшая полиция получает указание следить за порядком, но ни во что не вмешиваться. Ты появляешься поздно вечером в сопровождении нескольких охранников, молча проходишь через толпу, оборачиваешься перед дверью, берешь за руку того, кто оказывается ближе всех к тебе, и вместе с ним входишь в дом. Там подготовлена профессиональная киностудия, задачей которой является подтверждение факта интимной близости; в обязанности расположенной в соседней комнате лаборатории входит взятие крови у всех участников факта как до него, так и после. К вечеру следующего дня ты успеваешь вступить в близкие отношения со ста четырьмя документально подтвержденными вирусоносителями, после чего теряешь сознание; снаружи начинаются беспорядки, полиция разгоняет собравшихся, и тебя увозят в госпиталь. Первые результаты анализов крови на присутствие вируса появляются на следующий день: как и следует ожидать, они положительны у всех, кроме тебя. Ты исчезаешь на три месяца, которые необходимы для размножения вируса в организме до детектируемых концентраций; ты летишь в Японию и проводишь все это время, путешествуя по Хоккайдо. К этому времени твоя история становится широко известной, и когда ты наконец возвращаешься в Йоханнесбург для повторной сдачи крови, в аэропорту тебя

ждут журналисты. На следующий день пресс-релиз госпиталя об отрицательных результатах повторных анализов перепечатывают все ведущие газеты мира; телеканалы предлагают тебе любые деньги за пленки, отснятые в тот день, но ты отказываешься от всех предложений; проходит пять лет, и заболеваемость СПИДом в Южноафриканской Республике уменьшается на двадцать процентов, сохраняя жизнь шести миллионам.

 Фильм вышел в прокат через два года. Кадры пустынных улиц южноафриканских городов сменялись изображениями уходящих за горизонт кладбищ, застывшие лица терминальных больных мелькали среди тупых физиономий порноактеров, сцены жесткого секса чередовались с картинами полицейского произвола, оставляя после себя только горечь, гнев и отчаяние. Твоя стройная фигурка то и дело появлялась на экране, опоясанная ремнем талия, тщательно выбритая кожа, черное кружевное белье; калифорнийские продюсеры хорошо знали свое дело, постельные сцены были искусно подсвечены в темноте, и твое тело мягко сияло янтарем в желтом свете софитов. Зеленые холмы Калифорнии превращались в золотые пустыни Африки, иссохшие деревья, заметенные песком дороги, черные силуэты у обочин; горе расправляло твое искаженное желанием лицо, энергия наливала его, усталость замораживала в безразличной маске, чтобы в конце концов растопить верой и наполнить уверенностью и надеждой. Фильм прошел по всему миру, о нем писали везде, он получил несколько премий в Европе, вызвал серию скандалов и потряс несколько государств; Всемирная организация здравоохранения отметила тебя специальной наградой, и хотя ты не получила Оскара, золотую пальмовую ветвь или венецианского льва, спасенные шесть миллионов навсегда остались рядом с тобой в бездонном африканском небе глыбами света, сгустками солнца, сияющими шарами.

Опубликованные незадолго до этого сенсационные работы Платонова, придавшие научный характер метафизическому понятию бессмертной души, сделали возможным неожиданную интерпретацию музыки как способа ощутить присутствие тех, кто ушел не так давно. Присутствие понималось как влияние на тонкую структуру вселенной; предложенный алгоритм корреляционного моделирования позволял оценить ее состояние в течение нескольких лет как функцию наличия отдельного индивидуума; музыка выполняла роль усилителя, позволяющего проверить точность оценок. В то время корреляционное моделирование позволяло достигнуть необходимого уровня сложности в предсказании тонкой структуры

на промежуток до десяти лет, что быстро привело к неожиданным результатам. Я в первый раз услышал об этом, вернувшись домой после концертов в Германии; у моря уже было тепло, луна висела низко над берегом, и я долго сидел на балконе, снова и снова вглядываясь в только что увиденные кадры. Незнакомый мне пианист играл пьесу Бриттена, золотые линии бежали по черным экранам, и взволнованный голос объяснял что-то о жертвах недавней войны. Я досмотрел передачу до конца, наполнил бокал фраскати и сел перед камином с "Доном Диего" в руках. Мне оставалось уже совсем немного, я был где-то на середине третьей части; дон Диего прогуливался по красным стенам Альгамбры, объясняя собеседникам, что человек реализует лишь незначительную часть своих возможностей, что жизнь имеет конфигурационный смысл и что поэтому каждый имеет право выбирать себе родину. Я перевернул страницу, и мне внезапно стало жаль дона Диего, который всегда твердо знал, что в его жизни будут три любви, каждая из которых будет последней. Прошло уже много времени с тех пор, как мы приехали в Виареджо, и я уже знал, что не только мы пишем книги, но и что книги тоже пишут нас.

 Я прилетел в Принстон вскоре после Columbus Day; золотые пятна лесов сверкали на черных квадратах полей в прозрачном воздухе под ярко-голубым небом. На этот раз обстановка в зале больше напоминала лабораторию накануне решающего эксперимента. Экраны приборов тускло светились в проходах, разноцветные линии пробегали по ним в полутьме, и техники суетились вокруг, негромко переговариваясь по мобильной связи. Сначала я сыграл скандинавов, Андерсена, Густавсена и EST; прошедшее время возникло из темноты, сгустилось вокруг воспоминаний, наполнилось забытыми подробностями и стало перетекать в настоящее; знакомые лица, истертые десятилетиями в пыль, закружились над рядами, взлетели к потолку и заняли все пространство; я доиграл "The Ground" и перешел к индоджазу. Причудливая мелодия спиралью ввинтилась в воздух и потянулась от кресла к креслу, стягивая прошлое с настоящим; Ларри Портера сменил "Wake up and smell the curry"; то, что произошло когда-то, объединилось с тем, что было сейчас, границы между *тогда* и *теперь* исчезли, и тягучие ноты соединили два времени в одну сложную картину. Со всех сторон нас окружали тысячи линий, они бежали от лиц к предметам и событиям, рядом с которыми висели даты в виде маленьких аккуратных табличек; линии перекрещивались сотни раз, но мы могли различить ход каждой из них, поскольку они отличались друг от друга упругостью,

тонкостью и цветом. Исчезновение времени упростило взаимосвязи и сделало их доступными; я видел, как извилистая линия, идущая от молодого мужчины с фотографией золотисто-оранжевой планеты, несколько раз пересекает Атлантику, вьется вокруг Италии, пронизывает квартиры, гостиницы, лаборатории, проходит сквозь автомобили, самолеты и поезда, пока наконец не останавливается в штате Нью-Джерси; я смотрю на табличку, вижу там сегодняшнюю дату и понимаю: он — здесь; а потом всматриваюсь в его постаревшее лицо и понимаю: он здесь, потому что я его помню. Я сделал паузу и заиграл пьесу для флейты сякухачи в переложении для фортепьяно; темнота превратилась в тьму, в которой постепенно растворились предметы, события и лица; в конце концов вокруг нас остались одни линии, они уплотнились и начали фосфоресцировать; я взял последнюю ноту и встал из-за инструмента; время появилось вновь, распадаясь на прошлое и настоящее, и линии исчезли. Обработка всех нейрофизиологических данных заняла почти полгода; строгая синхронизация активностей в зонах пространственного восприятия и памяти была отмечена у всех находившихся в зале. Одновременно лаборатория Платонова провела свои расчеты присутствия для тех, чьи лица мы видели над собой; их оказалось больше ста. Вычисления показали, что в этот вечер влияние на структуру вселенной со стороны каждого из них было наибольшим на восточном побережье США. Вероятность совпадения была ничтожной; прошло несколько лет, и за эти работы Платонову вручили Нобелевскую премию по математике. На пресс-конференции после торжественной церемонии кто-то из журналистов спросил его, как именно, с математической точки зрения, может выглядеть эффект присутствия. Платонов на секунду задумался и сказал, с математической точки зрения — шорохом листьев, плеском волн, линией облаков.

После этого концерта я перестал выступать; у меня появилась уверенность в том, что все уже сделано. Ты снималась все реже и реже, и мы начали возвращаться туда, куда нам всегда хотелось вернуться. Мы побывали в Японии, Новой Зеландии и Аргентине, остановились в Монреале, Гданьске и Ливерпуле. В Севилье мы сняли номер недалеко от площади Испании; заканчивался апрель, погода была прекрасной, тебе было нужно в Париж только через неделю, и мы могли делать все что угодно. Мы могли отправиться к реке, спуститься по высокому склону, сесть среди травы и смотреть, как маслянистая мутная вода медленно течет к океану. Мы могли пойти в старый город и бродить там до темноты по узеньким улочкам, рассматривая редких прохожих и прислушиваясь к далеким звукам

фламенко. И мы могли пройти два квартала вверх от собора по оживленной обсаженной деревьями улице, свернуть направо в узкий переулок, услышать доносящуюся откуда-то музыку, остановиться перед маленькой таверной, зайти внутрь и остаться там навсегда. Стоять у входа, слушая выплывающие из глубины звуки; заказывать риоху стакан за стаканом; передвинуться вглубь, оказавшись лицом к лицу с тремя музыкантами, сидящими на темных деревянных скамьях; музыканты одеты в испанские костюмы, из всех инструментов у них только гитары и голоса; просидеть до закрытия, хлопая в такт вместе со всеми и осторожно подпевая незнакомым словам; поселиться в маленькой комнате на втором этаже в этом же доме; спускаться вниз каждый вечер, услышав, как они снова поют на три голоса; научиться шутить по-испански; постепенно заменить стареющего хозяина; расставить по деревянным полкам старые радиоприемники, репродукторы и телефоны; здороваться с каждым посетителем, предлагая ему рюмку малаги; приводить сюда своего слепого соседа, помогая ему протиснуться через толпу и подойти к музыкантам, а потом пройти мимо полок с радиоприемниками и осторожно потрогать каждый из них; найти хорошего врача, понимающего в артрите; передать дело сыну, когда зрение совсем ослабеет; заранее договориться о похоронах и оплатить выбранный участок; покачнуться и упасть во время пения "Сеньоры"; увидеть твое лицо, пролетая над маслянистой мутной водой, медленно текущей к океану; увидеть и улететь навсегда. Можно было сделать все это, но тебе было нужно в Париж, и спустя неделю мы сложили вещи и поехали в аэропорт к своему самолету.

 В конце концов мы перестали путешествовать; в какой-то момент мне стало ясно, что многие уже не замечают нашего существования, а некоторые просто проходят через нас, ничего не увидев. Оставшееся у нас время исчезало все быстрее, и мы исчезали вместе с ним; мы пропадали в темноте пустых комнат, терялись в зарослях садовых дорожек, испарялись в духоте летних ночей; мы превращались в пар, поднимались над землей, собирались в облака, сгущались в тучи, проливались дождями, пробегали ручьями, напитывали реки, вливались в моря, смешивались с миллионами таких же, как мы, снова испарялись и в конце концов растворялись во вселенной до такой степени, что наше присутствие могли обнаружить только самые близкие люди.

Зима была холодной, и в феврале я заболел. Наверное, мне нужно было еще побыть дома, но наступили ясные дни, и я решил пойти к морю. Ты

улетела во Францию на неделю, и я в одиночестве прошел около километра вдоль пляжа; с моря дул ледяной ветер, и я очень замерз. К вечеру я почувствовал слабость и лег в постель; я проснулся утром; фотография мужчины с ребенком на руках, сделанная мамой много лет назад, висела на стене, как всегда; в комнате было очень холодно, я с трудом сделал себе кофе и снова уснул. Когда я открыл глаза, было темно; я решил выпить чего-нибудь покрепче, чтобы наконец согреться, нашел только вино и решил пойти вниз и пропустить стаканчик у Луиджи. Мне было трудно дышать, но я все же выбрался из постели, оделся, спустился в кафе и прошел к своему месту; зал был ярко освещен, и на столиках горели свечи. Луиджи поставил передо мной рюмку граппы; дым от свечи метнулся в сторону, описал причудливую фигуру и снова застыл четкой вертикальной линией. Я отпил немного, обвел взглядом зал и снова посмотрел на дым; он изогнулся над столиком и собрался в волну; я отвел взгляд, улыбнулся Луиджи, повернулся к свече и увидел, как волна набегает на берег и разбивается о песок. Мы с тобой сидели на широком пляже недалеко от Марселя, солнце садилось, и Майкл строил замок у самой воды, забыв про игрушки. У выхода в море залив сужался метров до пятидесяти, и Майкл даже самостоятельно переплыл его однажды, не глядя на воду и постоянно посматривая на меня. Там было глубоко, и камни громоздились на дне огромными темными пятнами, слишком большими для начинающего пловца. Солнце исчезло за мысом, и сразу стало холодно; над берегом замелькали снежинки, и мы прыгнули в воду и поплыли вперед, расталкивая маленькие прозрачные льдинки. Волна от катера качнула нас, поднялась к потолку и превратилась в сизое облачко, нависающее над свечой; я глотнул граппы, и облачко расслоилось в ступеньки каменной лестницы, взбегающей по склону холма между двумя рядами зданий. Горели фонари, ты сидела рядом со мной на верхней ступеньке, положив голову на мое плечо, густой воздух июльской ночи неподвижно висел вокруг нас, и золотые звезды тускло светили на черном небе. Мы поднялись на рю Лепик, нашли машину и поехали на юго-запад, оставляя за спиной вокзал Сен-Лазар, мост Согласия и набережные Сены; площадь ворот Сен-Клу промелькнула в темноте, мы промчались по скоростному шоссе, свернули на проселок, въехали в лес и остановились у обочины. Черные деревья стояли по сторонам, закрывая от нас небо; мы прошли по едва заметной тропинке, нашли знакомую поляну и легли на траву лицом к звездам. Мы пролежали в темноте до рассвета, сливаясь друг с другом и вдыхая запахи леса; к утру земля покрылась инеем, и стало морозно; мы вернулись на Монмартр в застывшем ле-

дяном воздухе и пошли к тебе по скрипучим ступенькам, выдыхая клубы белого пара, которые поднимались вверх, повисали над нами, качались, дрожали и сливались в облака. Я посмотрел перед собой; рюмка была пуста, и я поднял ее и махнул рукой Луиджи. Облака постепенно распались на широкие рваные ленты и растворились над головами посетителей; дым от свечи описал петлю, опустился вниз и вытянулся в тонкую линию дороги, идущей через степь к горизонту; кто-то шел по ней, удаляясь; я присмотрелся и узнал знакомую фигуру деда, он шел через степь к горизонту, и поземка плясала за его спиной, засыпая следы и наметая сугробы. Потом я увидел, как у дороги появился чей-то силуэт; поднялась метель, и я долго не мог разобрать, кто это, но потом наконец понял, что это отец; дед ненадолго остановился возле него и снова пошел вперед, все дальше и дальше, его уже почти не было видно за белой стеной снега, когда я скорее почувствовал, чем увидел, что он снова остановился возле кого-то, и тут же понял, что этот кто-то — я. Ледяной ветер обжигал мне лицо, снежные хлопья залепляли глаза, и я повис у деда на шее, чтобы заставить его вернуться назад, но он не взглянул на меня, а только коротко обнял и толкнул в снег, а потом что-то крикнул через пургу и исчез. Свеча догорела; я встал и не оглядываясь пошел к выходу. На улице было холодно, и в воздухе кружились редкие снежинки; я свернул в переулок, пересек площадь, прошел мимо закрытых касс и вышел на перрон. Поезда еще не было; я прочел несколько рекламных афиш, прошел вперед до конца и увидел два желтых огня за белым мельканием снега. Состав медленно протянул мимо и замер, вздрогнув стыками; двери беззвучно раздвинулись, я прошел по коридору, выбрал купе и сел у окна. На перроне не было никого; снег бесшумно падал в белом свете фонарей. Поезд плавно тронул с места и пошел, быстро увеличивая скорость; пятна снега, вьющиеся вокруг случайных огней, попадались все реже, пока не пропали совсем; поезд поднялся в воздух и бесшумно помчался вперед; ниоткуда не доносилось ни звука, "Дон Диего" остался на столике у постели, и я поплотнее запахнул пальто и лег на сиденье, подобрав под себя ноги; меня все еще знобило, отовсюду тянуло холодом, и за окном не было видно ни огонька.



Александр МАРДАНЬ

Меню

Константин Сергеевич не спешил. Спешить он не любил, помня высказывание Сократа: "Самое смешное на свете — вид спешащего". Стеснялся спешить. Да и некуда было. Как в романсе про ямщика, превысившего скорость. Вечер только начинался, а день, похожий на тысячи предшественников, закончился. Логично: если день не закончится, то и вечер не начнется. Логично с точки зрения астрономических наблюдений. А с точки зрения человеческой души — может и "дольше века длиться день". Роман с таким названием Константин Сергеевич читал лет двадцать назад. Содержания не запомнил, название не забыл, поэтому ставил умозрительную точку, отделяющую день от вечера.

Днем Константин Сергеевич работал. Работал не по специальности, как многие. И как многие, работу эту не любил. Впрочем, и специальность свою он выбрал не по любви, а скорее, по расчету родителей. Та, что ему нравилась, казалась им недоступной, а доступная оказалась неинтересной. Так часто бывает с профессиями и женами. Наверно, и с мужьями тоже. Мужем Константин Сергеевич был почти четверть века, а потом, вырастив сына, разошлись. Она вышла замуж за чиновника средней руки (смешное определение: ну где она, средняя рука, расположена?). А Константин Сергеевич остался один. Сын женился и уехал работать за границу. Писем не писал, иногда звонил по телефону. На день рождения присылал деньги, с инструкцией: "Папа, купи что хочешь". Добрый мальчик. То, что Константин Сергеевич хотел, купить за эти деньги было нельзя. Впрочем, это вообще нельзя было купить за деньги. За любые. Например, Константин Сергеевич хотел, чтобы весна в этом году была теплой, а она была холодной. А поскольку лечиться, как и спешить, Константин Сергеевич не любил, то, выходя на улицу, обязательно обматывал шею черным шерстяным шарфом, а под пиджак надевал тонкий кашемировый пуловер, согревающий его организм почти двадцать лет. Сверху — плащ на подстежке, с высоким воротником, который можно поднять при сильном ветре. В кармане плаща лежала вязаная шапочка на случай дождя. Конечно, если приходилось выходить в дождь, Константин Сергеевич брал зонт, хотя зонты не любил. Маленькие — за то, что плохо прячут от дождя, быстро ломаются и еще быстрее теряются. Большие не любил за то, что большие...

У черной, в тон шарфу, шапочки недостатков было меньше. Конечно, под проливным дождем долго сохранять волосы сухими она не могла, за-

то у нее было другое достоинство для вечерних прогулок. Надвинутая на брови, она придавала интеллигентному Константину Сергеевичу вид освободившегося братка из бандитского сериала. Выполняла отпугивающую функцию, как ядовитая окраска у насекомых.

Константин Сергеевич жил в центре большого приморского города, в старом фонде, как называют маклеры дома, построенные до той, настоящей, октябрьской по имени и ноябрьской по сути революции.

Парадная выходила во двор, не знавший ремонта все послереволюционные годы. Константин Сергеевич помнил, как ему и его сверстникам мешали играть в этом дворе художники, приходившие рисовать дворик, — почему-то итальянский! — с висящим посреди него бельем и облупившимися стенами. Фауна двора была представлена, в основном, кошками, существующими не столько за счет охоты на грызунов, сколько на пенсию двух одиноких бабушек, подкармливающих их ежевечерне.

Квартира Константина Сергеевича находилась над полуподвалом. Не первый, но и не второй этаж звался *прекрасным*. "Бельэтаж" напоминал о безвозвратно ушедшем времени, в котором французские, а не английские слова селились в нашем языке.

Как-то зимой, уже в зрелые годы, воскресным утром, наступившим после затянувшегося празднования дня рождения, Константин Сергеевич проснулся и подошел к окну. Выпал долгожданный снег, и по нему радостно бегали кошки, за которыми гонялся сосед с первого этажа. "Странно, зачем они ему?" — подумал Константин Сергеевич, отходя от окна. Когда его взгляд прощался с жанровой картинкой, он отметил, что у кошек, у всех бегающих по двору кошек длинные, как у зайцев, уши. Не веря глазам своим, Константин Сергеевич прижался к стеклу, чтобы лучше рассмотреть мутантов... Рассмотрел. По двору бегали не кошки, а кролики... То есть белой горячки не было. А было тайное разведение четвероногих в дощатом сарайчике, пристроенном к квартире соседа. Наверное, их забыли закрыть, или они что-то перегрызли...

Как давно это было? Лет двадцать, не меньше... Соседа уже десять лет нет. А носители ценного меха, как и все остальные съедобные представители фауны, перестали быть дефицитом. Сам дефицит стал дефицитом, практически исчезнув. Напарник Константина Сергеевича по нелюбимой работе любил повторять, что "сегодня в дефиците — только деньги". На что Константин Сергеевич всегда добавлял: "Нет, не только. Еще совесть". Напарник вздыхал и соглашался. До следующего раза.

Дело было не в том, что Константин Сергеевич не любил деньги, как раз наоборот, а в том, что деньги не любили Константина Сергеевича и всяче-

ски уклонялись от встречи с ним. Совесть, напротив, не хотела его покидать, хотя много раз он на этом настаивал. Наверное, ей с ним было хорошо...

Одевшись, Константин Сергеевич вышел из дома, перешел улицу на зеленый сигнал светофора, прошел квартал и остановился у дверей недавно открывшегося ресторана. Рядом со входом висело меню. Не доставая очки, прищурившись по-ленински, Константин Сергеевич начал внимательно его читать.

"Холодные закуски: килечка малосольная, тюлечка черноморская...". Уменьшительные суффиксы наверно, усиливают выделение желудочного сока. Знал ли об этом физиолог Павлов? Хотя на собак это могло и не действовать, размышлял Константин Сергеевич.

"Ассорти сырное (дор блю, камамбер, сырные "шнурки", фета, голландский, маслины...)". Покойная теща Константина Сергеевича помнила нэп, и названия "рокфор" и "камамбер" часто звучали в семье в те времена, когда в единственном в городе сырном магазине продавался единственный сорт сыра — "костромской". Надо было два часа стоять в очереди. И больше килограмма в одни руки не давали. Жалко, не дожила теща до второго пришествия камамбера. Да еще в такой компании.

"Грибы белые в чесночном маринаде".

Бабушка Константина Сергеевича, которая помнила не только нэп, но и дореволюционное детство, говорила: "Дешевле грибов", — когда хотела подчеркнуть, что дешевле некуда. Это удивляло Костю, потому что связка сухих грибов стоила на базаре безумных денег. Видимо, нагибаться за ними никто не хотел. А больше всего противился пионер Костя бабушкиной поговорке "Простота хуже воровства", объясняя ее заблуждение отсутствием комсомольской организации в гимназии, которую бабушка окончила с отличием в 16-м году.

Сегодня Константин Сергеевич уже не был столь категоричен в том, что чего лучше. "Оба хуже", — заочно примирялся он с бабушкой.

"Рыбная тарелка для гурманов (сельдь малосольная, картофель, скумбрия малосольная, масло слив., лук, зелень)". Оказывается, из слив тоже делают масло. Никогда не пробовал. Всё ты пробовал, отвечал Константин Сергеевич сам себе, — это же сливочное масло. Тогда, конечно, пробовал, — быстро согласился с собой Константин Сергеевич.

Все мы гурманы... Селедка с картошкой — кто же ее не любит? Каждый помнит воскресные семейные завтраки: никто никуда не спешит, все выспались, впереди выходной, настроение хорошее, и на столе, кроме прочего, селедка с картошкой, как правило, "в мундирах". Маленький Костя

говорил: "Хочу картошку в командирах". Эта фраза прижилась, и мама спрашивала: "Тебе пюре или "в командирах"? Но чистить будешь сам".

"В командирах", — всегда отвечал Костя. Он любил обмакивать еще горячую картофелину в так вкусно пахнущее жареное подсолнечное масло и, не в обиду селедке, посыпать крупной солью. Теперь все знают, что жареное масло вредно, а соль... И того хуже.

"Икра красная — 50 гр.". Свободно. И недорого, думал Константин Сергеевич. Чуть дороже селедки. А было время — все застолья делились на две категории: с икрой и без икры. Когда с икрой, то, как правило, по бутерброду на нос, а сейчас — как селедка...

"Салат "Лолита" (ветчина, помидор, яйцо, креветки, курага, майонез, сметана)". Интересное сочетание. Креветки-нимфетки.

Константин Сергеевич читал этот роман еще в самиздате, перепечатанный на машинке и до Константина Сергеевича прошедший сотни рук и глаз. В то время роман считался порнографическим, а теперь это классика. Интересно, почему салат "Лолита" есть, а салата "Гумберт" нет?

Правда, есть "Мужской каприз" (сыр сулугуни, куриное мясо, помидоры, огурцы, сельдерей, зелень). В чем "каприз" — *каприччио* по-итальянски? В сельдерее? Главное — не перепутать каприччио с карпаччо, а их обоих — с гаспаччо. Это все равно, что перепутать Венецию с Винницей — сам себя рассмешил Константин Сергеевич.

"Рапаны в сметане". Рапаны — это содержимое красивых ракушек, которые прикладывают к уху, чтобы услышать шум моря. Летом крымчане набивают ими морозилки, как сибиряки — пельменями, а зимой употребляют.

Рапана — это Крым. Константин Сергеевич вспомнил город-городок с маленькими карабкающимися на вершину холма беленькими домиками и зеленое, пронзительно зеленое, как глаза той женщины, море. Три недели они прожили в одном из таких домиков, не отрывая друг от друга глаз и рук. И казалось, что так будет всегда. Один раз они гуляли, держась за руки, попали под ливень и, не разжимая рук, прибежали домой, промокнув до нитки.

Дальше... Дальше было все... и ничего. Ничего, потому что сын был маленьким, и жену было жалко.

Ничего, потому что казалось, что на вопрос "или... или" можно ответить "и... и". Казалось. Она ждала его семь лет, а потом вышла замуж, как позже выяснилось, за миллионера, и родила ему двух дочерей в Австралии...

Вспоминает ли она тот крымский город-городок или не может забыть, как не могу я?

Хотя теперь у нас даже звезды разные, думал Константин Сергеевич. Надо мной Большая Медведица, над ней Южный Крест.

Креста Константин Сергеевич не носил, а в Бога верил. Чаще бывает наоборот.

В детстве его не крестили, а взрослому казалось, что Бог в сердце, то есть в душе, если в нее верить, а не в купели. Но это дело сугубо личное.

Рапаны в сметане... Сметана. Говорят, что нигде в мире ее не найдешь. Сливки, йогурт — пожалуйста, а сметаны нет. Редкое сочетание жирного, кислого и плотного. Главный признак подлинности продукта — ложка в сметане должна стоять. Вот и "Борщ украинский со сметаной".

Отец Константина Сергеевича любил борщ. Не московский, больше похожий на свекольник с капустой, а именно украинский — с помидорами, сладким, или, как его называют на юге, — болгарским перцем и чесноком.

Константин Сергеевич борща не любил. С детства. Из-за шкварок. В борщ бабушка обязательно добавляла растопленные на сковороде кусочки сала — шкварки, что делало борщ более сытным. Хотя варили его на мясном бульоне, и сытности было — хоть отбавляй. В те годы борщ заправляли шкварками по инерции, по опыту предвоенных, военных и послевоенных голодовок, когда о мясном бульоне мечтать не приходилось. Потом, после бабушки, борщ варили уже без шкварок, но Костя его по-прежнему не любил, тоже по инерции. А отец любил, вернувшись поздно из гостей, после всех угощений съесть на кухне тарелку горячего борща и долго беседовать с Костей о своей неправильно прожитой жизни. Может, потому, что в гостях отец мало ел, но много пил.

А мама? Что она любила есть в молодости? Жаркое. Жаркое из баранины. С картошкой. Горячее, пока бараний жир не успел застыть. Интересно, есть у них в меню жаркое? "Жаркое по-домашнему с лисичками". Нет, мама любила без лисичек. В войну их эвакуировали в Узбекистан, в небольшой городок. Дедушка ушел на фронт, бабушка Константина Сергеевича умерла в эвакуации в сорок втором году, когда маме было двенадцать лет, практически от голода, а мама выжила, будучи полунянькой-полуучительницей детей заведующего городской столовой.

Она как-то рассказывала Косте про спектакль, который показывали в городке приехавшие из Ташкента актеры. Сюжет был незамысловат. Немцы схватили партизанку, и как ни пытали, она не говорила, где скрываются ее товарищи. Тогда фашисты поставили на стол дымящийся казан и сказали: если выдашь, где партизаны, мы дадим тебе жареное мясо с картошкой.

Сидящие в зале зрители партизанами не были, но есть им хотелось не меньше героини. И каждый мог оценить подвиг отказавшейся от мяса с картошкой девушки.

Мама любила жаркое без лисичек. Откуда в Узбекистане лисички? Папа любил борщ со сметаной. Мама, папа. Анкета какая-то! У анкеты много общего с меню. А у меню — с анкетой. Хотя меню — оно; они, наверное, сестрички.

Анкет Константин Сергеевич не любил, как будто кто-то сквозь бумажку с вопросами простреливал его насквозь альфа- или гамма-частицами. Даже, казалось бы, приятный вопрос о дне рождения был дополнительным ориентиром для розыска среди тезок и однофамильцев. А уж вопросы про судимости и родственников за границей, участие и нахождение, исключения и сокрытие казались даже не враждебными, а угрожающими. Хотя скрывать особо было нечего, анкеты Константин Сергеевич не любил. А меню любил. Так бывает с сестрами: одну любишь, а другую ненавидишь. Сестер у Кости не было, как и братьев. Вроде как жилплощадь не позволяла.

У сына Константина Сергеевича тоже братьев и сестер нет. Жилплощадь. Универсальная причина.

Так, что у них на десерт? — еще сильнее прищурился Константин Сергеевич.

"Чернослив со сливками и грецкими орехами". Хорошо, что тут без сметаны обошлось.

"Крем из белого шоколада с фруктовой начинкой".

Начинка — ладно, а белый шоколад? Это почти безалкогольное пиво...

Меню закончилось. Пошли дальше.

Константин Сергеевич направился к перекрестку. Пройдя два квартала, он остановился у входа в ресторан французской кухни со скромным названием "Максим". Меню висело в стеклянном ящике и было подсвечено почему-то голубым фонариком. Его изучение Константин Сергеевич начал с супов.

"Буайябес" (суп из пяти видов рыбы и креветок с сырными гренками и соусом "Айоли"; самое популярное блюдо в Марселе).

На память пришла старая псевдоблатная песенка:

А я теперь имею одну лишь в жизни цель,
Чтоб как-нибудь добраться в тот западный Марсель.
Там девки пляшут голые, там дамы в соболях,
Лакеи носят вина, а воры носят фрак.

Слава Богу. Добрались все. Причем, не выходя из собственных квартир. И девки пляшут. И воры в галстуках и без галстуков... Кого за это благодарить? Бога не хочется...

Салат "Бон Фам" (нежный салат из корня сельдерея, заправленный соусом "Айоли").

"Бон Фам" — в переводе с французского — хорошая женщина. А можно перевести и как добрая. Почему добрая? А наверно, после эффекта, который производит на мужчину корень сельдерея. Ничего другого в голову не приходило.

Вообще, так уж сложилось, что любимым собеседником Константина Сергеевича был он сам, и когда им удавалось прийти к согласию, ему было хорошо и спокойно. Но так случалось редко. "Бон Фам" — а где же ее найти? После развода желающих подать Константину Сергеевичу воды в трудную минуту было достаточно... Но пить из рук ровесниц не хотелось, а из тех, что хотелось... Ну, во-первых, деньги. Да и неинтересно было бы друг с другом. Тут сам с собой договориться не можешь, а с молоденькой дурочкой? Почему с дурочкой? Потому что умные давно замужем. Да и другое поколение, оно же действительно: другое.

Год назад Константин Сергеевич, вспомнив юношеские успехи в эпистолярном жанре, написал повесть. О прожитом времени. Назвал ее "Повесть о ненастоящем человеке" и отправил в Москву, в толстый, любимый с юных лет журнал. Не надеясь на ответ, хотел написать обратный адрес: "ул. Любая, 29", но потом подумал: а вдруг захотят напечатать? Зря. Ответ пришел через месяц. Начинался он так: "Уважаемый Константин Сергеевич. Ваша повесть проникнута желчным разочарованием незаслуженно обиженного жизнью совка...". Откуда ей знать: заслуженно, не заслуженно? Писала ему зам. редактора, судя по слогу — молодая женщина, выросшая в подлинно демократическом обществе. Бог с ней, с молодежью и с демократией, объявить которую намного легче, чем построить. Обойдемся без "Бон Фам".

"Фуа-гра с цукатами (один из самых известных деликатесов французской кухни)". А по-русски — жирная печень. Напарник по работе часто повторял: "Все, что есть в жизни хорошего, или преступно, или аморально, или ведет к ожирению". Хотя это многие повторяют, но они неправы. Разве преступно или аморально читать меню ресторанов, гуляя по вечернему городу? Не в окна же я заглядываю... Константин Сергеевич начал очередной спор с самим собой. Аморально. Потому что ты не собираешься заходить и заказывать. Да, но я же не сажусь за столик, читаю меню

и ухожу. Так я их обижу, а так наоборот, они видят интерес. Не зайду сегодня, зайду завтра.

И завтра ты к ним не зайдешь. На завтра у тебя запланирован китайский, греческий и болгарский, а вчера ты стоял у чешского и ливанского. Ладно, примирительно сказал Константин Сергеевич сам себе. К ожирению это точно не ведет.

Неважно, что ублажать — хрусталик глаза, барабанные перепонки или пупырышки языка. Важно, как это делать...

На сегодня был запланирован еще японский ресторан, находившийся недалеко от входа в порт. Поздно. Может, домой, на йогурт? Хотя сегодня я действительно проголодался и могу сварить вкусный грибной суп из концентрата, думал Константин Сергеевич, но ноги уже шагали по спуску. Сырая рыба, рис, водоросли, — а такая популярность. В городе было уже пять японских ресторанов, и все полны посетителями. Интересно, что у каждого было свое меню с цветными картинками предлагаемых блюд. К портовскому "японцу" Константин Сергеевич приходил раз в две недели. Обычно ресторан и тротуар перед ним были ярко освещены, но сегодня лишь изнутри пробивались блики от стоящих на столах свечей. Наверное, электричество в доме отключили, подумал Константин Сергеевич. Да, при таком освещении креветки на картинках не рассмотришь, и состав коктейля "Камикадзе" не прочитаешь, зря шел. Темно. Поздно. Иду йогурт пить.

Константин Сергеевич развернулся по направлению к дому. Ему навстречу шли трое коротко стриженых мужиков.

"Батя, сотку не разменяешь?" — спросил один из них, преграждая ему дорогу. Рука Константина Сергеевича потянулась в карман, за черной шапочкой, но было поздно. Действительно поздно... Совсем.

.....

Изменилось ли что-то? Для кого? Для случайных прохожих, которые больше не встретят вечером человека в старомодном с приподнятым воротником плаще на подстежке? Для посетителей ресторанов, которые больше не увидят сквозь стекло переминающегося с ноги на ногу человека, долго читающего меню, но так ничего и не выбравшего в этой жизни? Вряд ли.



Александр ГРИНБЛАТТ

Зико

"Бедная, бедная Зико..." — Дайнур запрокидывала голову и воздевала руки к небу... В тесной толпе вокруг нее сохранялось свободное пространство: люди сторонились юродивой, которая, по слухам, наводила порчу.

"Бедные! Бедные мы!" — горестно басил с двухметровой высоты бородатый оборванец Торибал. Он скреб подмышки и отирал руки о майку, пропитанную потом.

"Ах, зачем ты бросила нас?" — поочередно завывали три старые девы в черных платках, и тела их сотрясались от всхлипов.

"Благородный мой... — Дайнур остановилась против бездомного пса, присевшего по нужде на кромке выгоревшей клумбы, — воздай прощальные почести Зико! Ты же друг человечества..."

"Я понимаю, почему молчал я, но почему молчали другие? — возмущался мужчина в черном мундире перед катафалком. — Сначала они отобрали у меня власть, а теперь — мечту! Все, кому дороги..." Он понапрасну вертел головой.

В середине процессии шествовал оркестрик из пяти человек и двух попугаев, которые равномерно вздрагивали на жерди, переброшенной между правым плечом флейтиста и левым старика с литаврами. Дама в матросском костюме виляла контрабасом на колесике и время от времени припадала к струнам верхней частью тела, отчего звуки застревали внутри дамы. По обе стороны контрабаса выдували из меди одинаковые ноты разноякцовые близнецы. А поверх голов кружил шмель, выискивая нужное лицо...

Толпа редела. На подходе к спуску продолжали скорбный путь лишь Дайнур и Торибал. За ними устало тянулись музыканты. Замыкал ход пес. Он плелся с опущенной головой, вынюхивал по дороге невидимые следы и качал хвостом. Иногда задирал морду и щелкал челюстями, пытаясь ухватить жужжащего шмеля. Попугаи после каждого удара медных тарелок шумно били крыльями и вскрикивали разгульное "Опа!".

Навстречу процессии по узкому спуску Милагро шел Студент с томиком Монтеня. Поравнявшись с катафалком, он остановился. Шмель завис над головой студента, облетел его и сел на книгу.

Монтень был подарком Филеты. Ей хотелось оставить себя Студенту, но у него за душой всего-то был университетский заем. Поэтому Филета себя оставила себе. При расставании она сунула Студенту книгу, залежав-

шуюся с прошлого года, когда в "блудоловку" попался университетский профессор.

Тогда Бодин грохнул кулаком по незапертой двери и, сдерживая смех, заорал, что жутко отомстит за "оскорбление постели". Ученый муж, как и предшественники, в страхе вскарабкался на подоконник распахнутого окна и прыгнул в спасительную темноту улицы... Филета притворно заметалась по комнате, подхватила в охапку одежду и выбросила ее вдогонку жертве...

Благодаря накатанному приему к ним переходило все, что снималось с клиентов под пылкий шепот и метания торопливых рук. Верхняя доска тумбочки, на которой ожидали хозяев часы, зажигалки, портмоне, посередине имела разрез; при повороте ручки на задней стенке тумбочки створки опускались вовнутрь, и все предметы на поверхности ссыпались в потайной ящик; затем пружина возвращала створки в первоначальное положение. Идея "блудоловки" принадлежала Бодину, но успех предприятия обеспечивали прелести искусной Филеты.

Монтень среди полезных приобретений был недоразумением, но не выбрасывать же его потому, что он скучен. Вот подвернулся Студент, погрузился в творение француза, и щедрость Филеты получила достойное признание.

Они столкнулись на лестничной площадке парадного, в котором снимала квартиру Филета. Там же проживал хозяин ресторана "Утоленное чрево", нанявший Студента обучать сына латыни.

В тот памятный день Студент съехал по перилам с третьего этажа... На втором пролете в его ягодицу вонзилась заноза от недавно вырезанного "здеся жевут суки". Корчась от боли, он оголил низ, чтобы вытащить щепку. Малейшее прикосновение подвергало волю жуткому испытанию...

Филета, войдя в парадное, нащупала ключ в сумочке и подняла глаза... С верхней площадки на нее испуганно глядел молодой человек со спущенными штанами и скрещенными ладонями... Она обошла его, увидела рану и тут же приложила руку... Заноза была извлечена, но проступила кровь, и Филета настояла на дезинфекции... Со все еще спущенными штанами Студент по-пингвиньи последовал за ней... В спальне она велела ему лечь на живот. Наконец, разрешила перевернуться — и склонилась над ним в распахнутом пеньюаре.

...Знойный день сменился тихим вечером. Над побережьем разносилось завывание койотов, спускавшихся с гор Санта-Ольгасаны. При подходе к порту загорелся танкер, а на другом конце света, в Динозии, прогре-

мел взрыв в ночном клубе... Зико успела предсказать все происходящее в мире, включая собственное исчезновение. И не было ничего нового в том, что армия рокейских студентов, уставших от выпивки и караоке, перешла к национальной забаве — уличному протесту против чего-то риканского, а пластиковые щиты и дубины привычно молотили их ребра. Лучше бы они пили... Но по Зико, им еще предстояли коллективные подвиги...

"Зико, откуда ты взяла, что нас развращают твои услуги? Мы отвернулись от тебя потому, что ты предала нас! Ты отказалась пророчествовать и занялась политикой. Скажи, кому нужна мечта, которая перестала исполняться? Могла бы хоть притвориться... Но ты надумала преобразить нас нравоучениями, забыв, что решать-то нам!

Да, твои откровения вызывали интерес. В одном Уселе, которому ты едва уделила страницу, были проданы 3 миллиона твоих книг. Рокейцы все не могут усвоить, как ты могла предугадать появление антимыслей именно у них, ведь кто как не они должны быть благодарны риканцам за помощь. Но от одного этого неприязнь к риканцам только растет.

Спустя год после похорон риканский посол в Тепигете решил купить древний памятник твоей прапрабабке с такими же сросшимися бровями, как у тебя, и перевезти его в Рику, но тепигтяне всегда играли двойную роль и, кроме того, они боялись продешевить. Если бы наисправедливейшее правительство Дамаксинии не вмешалось, памятник установили бы на твоей могиле, но Дамаскиния на всякий случай организовала несколько взрывов на территории Зиариля в защиту мира. И тогда все мые и немые планеты привычно осудили Зиариль за агрессивные действия в ответ на миролюбивые взрывы. А Рика оказалась в изоляции...

Ты не поверишь, Зико, твою шутку "Прозрение — в слепой вере!" мусуляне сделали своим главным лозунгом. Правда, они отказались переводить твои пророчества на рибабский, объявив их происками Зиариля, подкупившего тебя, твоих издателей и тех, кто читает твои книги..."

— Господин Студент, — Профессор откинулся на спинку кресла и снял очки, — Зико, она кто?

— Мечта, Профессор.

— Мечта? Хм... Зачем же ее похоронили?

— От безысходности, Профессор... Она как бы перестала работать... То есть мечтать продолжали, только ничего из того не получалось...

— Ах, вон оно что... Понятно... Хотя, знаете, дорогой, в ваших размыш-

лениях не улавливается... И потом, ссылки на Монтеня малоубедительны. Также непонятно, почему вы увлеклись чтением, следуя за гробом по спуску вверх? Ведь вы шли вниз! И монолог о том, где нас любят, а где нет... Зачем отправляться так далеко? Послушали бы моих университетских коллег!.. Далее, что общего между Зугрией и Ронвегией?..

Вы о Зугрии почему-то пишете как о многовековом государстве... в то время как о ней следует писать как об историческом курьезе...

И, наконец, не кажется ли вам, что без мечты жизнь нормальнее? Мечта — продукт распада действительности, эдакое ускользание ума в надуманное... А жизнь требует работы и терпимости к рутине. На мой взгляд, вы явно перехватили...

— Мне хотелось осмыслить...

— Ах, милый мой, и вы решили предложить ваши выводы человечеству. Только оно в них не нуждается... Человечество вообще ни в чем не нуждается, кроме профилактического кровопускания... Я бы на вашем месте не бросался под колеса истории. Напишите что-нибудь свое... Про будоражащие плоть мысли... О том, как у вас первый раз было с женщиной... или, может, с мужчиной?

— С женщиной... С удивительной женщиной... Профессор, я знаю, у всех влюбленных происходит одно и то же, но мне кажется, что я счастлив по-особому...

— Насчет счастья позвольте будущему внести ясность... По той же причине монологи лучше сжечь уже сегодня.

— Спасибо, Профессор... Я подумаю... Всего хорошего.

— До свиданья, дорогой... До свиданья...

"Зико, тебя хоронили на Ралитонском кладбище в тот самый момент, когда Президент поднял букет, сиротливо лежащий у мраморного столбика. Камера крупным планом выхватила Президента, слезно закусившего нижнюю губу, и устремилась к цветам, которые, по сценарию, президентская рука деликатно вставила в пластиковый стакан. Страна умилилась. Страна никогда не устает умиляться!

Съемки Президента отвлекли нас от тебя, Зико, но едва отъехал его лимузин, мы вернулись к нашей скорби: "Бедная, бедная Зико!.. То есть тебе уже все равно...

Я всегда отмечал двусмысленность в твоих пророчествах. Ну, почему куцей Ронвегии ты дала так много, а великой Зугрии не досталось ничего, кроме украденных Ягуаров и обещаний избыть обнищание! В Билитиси

нет света и тепла, а в Олсо жизнь течет степенно и сыто даже холодной зимой... Неужели фьорды лучше южных гор? Твои доводы о том, что будущее строится на основе настоящего, нелепы! Ты что же, винишь нас за то, что случится после нас?

В одном из свитков твоей рукой написано, что в Тикае надолго сохранится терминологическая шелуха бродячего Призрака, но ее употребление — дань имперской традиции, потому что тикайцев, прежде всего, интересует капитал. Но в другом твоем утверждении записано, что в Тикае принята незаконная власть. Стало быть, ты сама себе противоречила, а раз так, то цена твоим пророчествам — сама понимаешь!

Зико, тебе остается винить только себя! Для чего ты внушала, что перемены ведут к лучшему? Твои несостоятельные посулы оттолкнули тех, кто верил в тебя. И не притворяйся мертвой оттого, что лежишь в могиле! Тебя похоронили, чтобы не раздражала... Зачем ты спрашивала, куда мы смотрим! Ты ведь знала, что наше мировоззрение косит. Иначе как нам жить с постоянными изломами? "Все в длинной очереди за счастьем, а товару мало..." Это твои слова!"

— Господин Студент, я нашла в мусорной корзине вашу сказку про соловья и розу. Она мне так понравилась, что я не решилась ее выбросить...

— Спасибо, госпожа Смотрительница, но сказка не моя. Я переписал ее у Оскара Уайльда. Думал, смогу набраться стиля и мыслей...

— Чего, вы сказали, набраться?..

— Стиля... Стиля и мыслей... Понимаете?

— Нет. Вы можете объяснить?

— Ах, если бы!

"Зико, ты была права! В Будашпете лучшие пирожные опять пекут в кафе у Оперного театра. Как быстро вернулись из забытья рецепты кондитеров. Только на собственных мерзавцев не хватило памяти... И сооружают монументы жертвам на средства, сбираемые с их ненавистников... Все пострадавшие от Призрака заняты ревизией истории с точки зрения выгоды сегодняшнего рынка. Этого в твоих предсказаниях не было, Зико".

После похорон Дайнур отошла от могилы, у которой по-прежнему рыдал Торибал, и побрела к столбику с президентским букетом. Ее опередил пес. Он подбежал к цветам и поднял лапу. Дайнур кинулась к собаке и попыталась оттянуть ее за хвост. Тогда-то и произошло теперь уже знаменитое со-

бытие, описанное во всех учебниках по психиатрии и обществоведению. Пес зарычал, бросился на Дайнур и вонзил клыки в ее икроножную мышцу.

Дайнур вскрикнула... и полностью пришла в сознание! Она удивленно разглядывала морщинистые руки, грязную блузу и шершавые ступни в босоножках разных моделей. Когда подоспел заплаканный Торибал и оттащил собаку, Дайнур в ужасе отпрянула от великана и побежала прочь. Остановилась она на углу далекой улицы, на которой жил старший брат, но узнать его дом не смогла...

В тот же день в "Старбаке" она подобрала газету и стала искать объявления о найме. Одно привлекло ее внимание: отелю в курортном городке требовалась дама средних лет для демонстрации купальников.

С клочком газеты она отправилась на Океанский бульвар, где по уикендам очередная кинозвезда высаживала десант опеки над бездомными, обеспечивая их горячей едой и мелкой наличностью на наркотики и презервативы.

Ровно в четыре из рук мужчины в комбинезоне Дайнур получила коробку с горячей едой и бутылку содовой. Устроившись на скамье, начала есть... а мгновенье спустя заорала от боли в животе и свалилась на землю. Знаменитость подбежала и приложила ко лбу страждущей тонкую руку в перчатке...

Через двенадцать минут карета скорой помощи доставила бездомную в роскошный госпиталь Санта-Ольгасаны.

На следующий день, так и не установив причину колик, Дайнур выписали. За нею заехала сама дива и повезла ее к себе в поместье, где все уже было готово для съемки фильма о попечительской деятельности хозяйки. Дайнур было отведено четыре минуты на воспоминания о дружбе с опекуншей. Затем ей вручили конверт с наличными, сумку с новой одеждой и водительское удостоверение на имя Исабель дель Прадо Гарсиа. Она подписала бумагу об отсутствии претензий к еде и обязалась увезти собаку, которая бегала вокруг поместья и безостановочно лаяла.

"Пегая борзая"* доставила Дайнур и пса к южной границе штата, где расположился крохотный курорт на триста два дома и одну гостиницу.

Название "Лазурное Вымя" городок получил за голубые рассветы и знаменитую породу коров, копыта которых расходились на сувениры. Последние можно было купить с видами городка, барышень в бикини и бывших президентов... Благодаря копытному промыслу городской бюджет умудрялся держаться на ногах.

* Автобусная компания междугородних маршрутов.

Место купальной модели заняла теща отельного менеджера. Дайнур не пала духом. Городок ей понравился; она решила остаться. В сопровождении пса Дайнур посетила мэрию, где познакомилась с заведующей отделом социального развития меньшинств, которой нагадала скорое замужество и бесплатную стиральную машину. Городской голова, брат заведующей, по ее рекомендации подписал указ о создании муниципального агентства путешествий. Таким образом, Дайнур стала руководить новой службой, а затем и выпускать рекламный журнал "Лазурь и Вымя".

Рассуждая о нуждах города, Дайнур в одной из редакторских колонок предложила согражданам перекрасить дома в разные цвета и разрисовать фасады сценами из жизни, о которой внутри стен мечтали хозяева. Необычный проект должен был привлечь туристов и, таким образом, наполнить городскую казну средствами для возведения нового общественного коровника.

Результаты превзошли ожидания. За пять месяцев город не только сумел построить новый коровник с мемориальной доской на фасаде в честь Исабель дель Прадо Гарсиа, но и увеличил население на девяносто семь человек. Лазурное Вымя стремительно рос благодаря меньшинствам, облюбовавшим городок, в котором до них никому не было дела. К концу первого года цены на недвижимость увеличились на 24%, прирост населения достиг 568 человек. Из них процент этнических меньшинств возрос до 21,9%, из числа которых специфическое меньшинство составило большинство в 51,82%.

С притоком средств в городскую казну мэрия отменила налог на моносекс, введенный на одинокое население в пору экономического спада, разрешила бытовую рекламу на порносайтах и удвоила плату за вывоз мусора.

Местная фабрика игрушек, до недавних пор дышавшая на ладан, успешно освоила массовое производство фарфоровой группы под названием "С любимым на рассвете". Статуэтка представляла собой две мужские фигуры в желтых шортах, сидящие лицом друг к другу в голубом седле на спине коровы розового цвета, стоящей в завитках бирюзовых волн.

Именно такой сувенир Исабель дель Прадо Гарсия преподнесла Президенту и его второй Первой леди в Вушиконе, когда избиратели послали ее в Конгресс представлять разбухшее Лазурное Вымя.

— Я пришел проститься с вами, Профессор, и поблагодарить за совет и поддержку. Примите от меня том Монтеня с иллюстрациями Дали...

— Господин Сту... Виноват! По привычке... Хе-хе... Господин Магистр,

очень тронут. Жаль, что вы решили нас покинуть, но, как говорится, птенцы вырастают и летят прочь из гнезда. Как я понимаю, вы осели в самом привлекательном месте? Позвольте подлить вам ликеру?

— С большим удовольствием, Профессор. Вы правы, народ буквально помешался на Лазурном Вымени. И многим, надо сказать, повезло. После того как я год назад прочел статью в "Лазури и Вымени" о рассветах над городским коровником, меня постоянно одолевала мысль о переезде. Как наваждение, знаете?

— Понимаю вас, дорогой, понимаю... Я в молодости пережил подобное увлечение японской хурмой, но в итоге удержался от риска... Как видите, не прогадал... Хотя, кто его знает... Так вы теперь преподаете в тамошней школе?

— Не совсем, Профессор... Я, видите ли, поменял профессию.

— Поменяли? Вам же нравилось учительствовать? И школьники вас любили, как мне помнится...

— Ах, Профессор, при нынешней системе детям все равно, с кем не учиться...

— Чему же вы отдали предпочтение?

— О-о-о... Вы не поверите... В Лазурном Вымени открывается ресторан под названием "Утоленная страсть", и хозяин предложил мне войти в долю без капитала! Редкой щедрости человек!

— Погодите... погодите... Не ему ли принадлежит другой?..

— Совершенно верно, Профессор. Я как раз приехал по его вызову для отгрузки оборудования... Заодно и вас решил навестить.

— Ах, вот что... А ваши личные дела? У вас, я помню, была особая?..

— Была, Профессор... Теперь уже в прошлом... Филета переехала вслед за мной, но потом бездумно пригласила кузена, который обосновался в нашем доме на правах командира. Более того, он почему-то решил, что я обязан оплачивать его страсть к лотерейным билетам. С них-то и пошли трещины в наших отношениях...

— Стало быть, у вашей Филеты есть кузен?

— Да, Бодин... Странный человек... Нигде не работает... Целыми днями придумывает, что будет делать, когда выиграет... Причем минимальная сумма его фантазии составляет десять миллионов...

— Хм! Поразительно!.. Еще ликеру?

— Нет-нет... Благодарю вас, Профессор. Мне, пожалуй, пора двигаться. На всякий случай, оставлю мой номер телефона — вдруг надумаете посетить наши края. Так сразу ко мне... В городе уйма гостиниц, но снять но-

мер непросто, особенно теперь, когда отменили налог на моносекс. Настоящий бум! Приезжайте, буду искренне рад!

— Благодарю вас, мой дорогой. Может быть, когда-нибудь... Э-э... Кстати... Вам там не попадался на глаза перстень... с двумя изумрудами?

— Где, господин Профессор?

— Ну, там... где был Монтень...

"Зико, тебя забыли даже те, у кого на груди вытатуировано твое имя, а новому поколению ты вообще не ведома. Если бы не война в Арике, о тебе и не вспомнили бы. Старый пройдоха из "Дэйли Кукука" раскопал твое пророчество о сентябрьской трагедии и последующей войне... Мы только не уверены, та ли это война, которую предвидела ты, или же другая, которую списывают под твое предсказание. Политики воспринимают арикскую войну как спортивное состязание, требуя рекордов и вопя о малейших потерях...

Зико, ты однажды предрекла, что восстанешь из небытия, но не для того чтобы вернуться к прежнему, а чтобы уйти от "назойливого вымогательства". Но когда это будет? Мне так хотелось бы встретиться с тобой и обсудить несколько обещающих вариантов... Особенно раздражает, как другие умудряются нажить на тебе капиталец даже в твое отсутствие.

После публикации в "Дэйли Кукука" телепрограмма Кэрри Линга пригласила Торибала на передачу о твоих пророчествах. Линг пожертвовал ему один из своих костюмов, чтобы подать гостя в приличном виде. Честно говоря, мы думали, оборванец опозорится при первом же ответе, но его толкования публике пришлись по душе. Кэри Линга засыпали телефонными звонками, а когда Торибал сказал, что ты не умирала, передачу пришлось остановить...

Сегодня уже никто не помнит, Зико, почему тебя решили закопать. Время остужает пыл. Даже катастрофа сегодня не вызывает прежнего возмущения. Напротив, нам старательно пытаются объяснить мотивы врагов. Оказывается, нас "проучили" за бесчувственность и высокомерие. Так что, Зико, ты была права насчет "бесполезности разума"...

Торибал привел твое пророчество о пастилинцах и риадинцах, в котором ты настаивала на том, что только массовое облучение может остановить их фанатизм. Его тут же обвинили в фашизме, но никто ни в чем не обвиняет пастилинцев, а риадинцев называют "друзьями".

Кстати, после телепередачи Торибал начал сбор денег на создание твоего мемориала. Теперь он ищет место для постройки храма и центра по

изучению твоего наследия. Только ведь, Зико, учения у тебя никакого не было... Разве не так? Скорее всего, он решил построить кормушку с твоим именем... Ну и что, что все эти годы он поливал цветы на твоей могиле? Отсюда вовсе не следует, что он должен стать главным жрецом. Я, между прочим, тоже шел за твоим гробом...

После кэррилинговской передачи Торибала пригласили в Министерство Обороны для секретных консультаций. В голове не укладывается — этот чумазый дает советы Объединенному Штабу! Но самое любопытное произошло на Капитолийском Перевале, где он столкнулся с дель Прадо Гарсиа. Они, оказывается, были вместе еще при тебе, Зико... Одним словом, Торибалу и здесь повезло — конгрессвумен еще не замужем..."

В субботнем выпуске "Вушикон Стоп" публику заинтересовало сообщение о скандале в Конгрессе: "Исабель дель Прадо Гарсиа, представительница Лазурного Вымени, вынуждена была подать в отставку, после того как на встрече латянского кокуса в Конгрессе отказалась поддержать предложение сенатора Зуса Бастатонто о создании зон благоприятствования латянам, переползающим государственную границу в пустыне Мухабунга. Согласно предложению Бастатонто, через каждые две мили в пограничной зоне государство обязано было создать киоски с газировкой и бутербродами для ослабевших ползунов, а через каждые семь миль построить пункты первой легальной помощи, где ползуны могли бы ознакомиться со своими новыми правами и получить защиту от покушений риканского правительства на их свободы.

После того как Исабель дель Прадо Гарсиа назвала предложение сенатора безумством, присутствовавшие единодушно проголосовали за исключение представительницы Лазурного Вымени из кокуса и поддержали законопроект о благоприятствовании ползунам. В ответ Исабель дель Прадо Гарсиа беспомощно обвинила бывших коллег в предательстве национальных интересов".

Когда Исабель паковала чемоданы, по телефону позвонил Торибал и предложил ей выступить в его радиоток-шоу. Она, не задумываясь, отказалась: "Тем, кто меня поддерживает, объяснять нечего, а тем, кто меня обвиняет, — незачем".

Торибал хотел прилететь в Вушикон, чтобы помочь с переездом, но Исабель убедила его ничего не предпринимать. Они договорились свидеться в Лазурном Вымени.

В новом аэропорту Исабель встречали мэр, управляющий поместьем

и пес. Пока управляющий получал ее багаж, мэр рассказал Исабель о лотерейном выигрыше в десять миллионов, доставшемся безработному жителю Лазурного Вымени. Кто-то остановился рядом с ними и поклонился. Мэр приподнял шляпу и простер руку в сторону незнакомцев:

— Исабель, позволь представить тебе совладельца нового ресторана господина Серли Надану. Завтра мы встречаемся в его "Утоленной страсти" на банкете. Простите, не представляю вашего спутника, так как не имею чести...

— Виноват, господа! Мой университетский наставник, профессор Шанторан. Приехал в гости познакомиться, так сказать, с воплощением заветного... Госпожа дель Прадо, для нас будет огромной честью принять вас в "Утоленной страсти". Я надеюсь, что мы сможем доставить...

Серли Надану умолк от растерянности... Исабель и профессор Шанторан медленно, словно зачарованные, двигались навстречу друг другу. Через мгновение они обнялись. Исабель плакала, а профессор без конца целовал ее лицо, плечи и руки.

Когда управляющий подоспел с багажом, Исабель оторвалась от профессора и повернулась к спутникам:

— Господа, это мой брат, с которым я не виделась двенадцать лет...

Мэр поспешно пожал руку профессору. Исабель настояла, чтобы брат ехал к ней. Господин Надану понимающе кивал...

При выходе из здания их ожидала группа латянцев, которые дозировали свой гнев по команде толстого коротышки: латянцы сыпали проклятьями и размахивали плакатиками, на которых Исабель под кактусом жевала риканский флаг.

К счастью, сразу подкатил лимузин, и конфронтации удалось избежать. Ехали молча. Исабель не выпускала руку брата из своей ладони.

Машина неслась вдоль океана. Когда подъехали к Молочному Парку, вынуждены были остановиться из-за толпы, перекрывшей шоссе.

— В чем дело, Чарли? Почему здесь столько народу? — тревожно спросила Исабель мэра.

— Не волнуйся! Люди идут поклониться Зико. Они приписывают лотерейный выигрыш ее покровительству. Торибал не рассказывал тебе о проекте? Странно! Видишь на холме деревянный саркофаг?.. Завтра Торибал прилетит прямо на банкет и объявит о строительстве храма... Слушай, наверно я не должен был говорить об этом? Может быть, он хотел, чтобы это было сюрпризом для тебя?

— Может быть...

Когда доехали до поместья, быстро распрощались, и машина с мэром укатила в город. Исабель не могла объяснить охватившего ее беспокойства... Ей казалось, что с океана доносится тревожный шепот... К тому же, пропал пес. Его искали, но не нашли... За ужином брат увлеченно рассказывал о своих приключениях в Вероне и смеялся собственным шуткам. Она была недовольна собой, слушала рассеянно и отвечала невпопад на его вопросы.

Ночью они проснулись от сильного землетрясения. На втором этаже упали напольные часы. По дому прокатился стон искалеченных струн... Затем еще один толчок. Раздался грохот падающих балок, звон битого стекла... Стены медленно поползли вниз... Здание содрогнулось и рухнуло...

Океан вышвырнул на берег многоэтажную волну, которая объяла сонный город и поволокла за собой в вечную темноту. Утром на зыбкой воде среди резиновых игрушек и обломков мебели качались резные доски саркофага...

На пустынном берегу обнаженная женщина со сросшимися бровями нашла тетрадь "Монологи магистра наук Серли Надану" и положила ее поверх ритуальной одежды, аккуратно сложенной на песке рядом с дремлющим псом. Когда солнце стало припекать, она подхватила "Монологи" и скрылась в тени за высоким валуном. Вслед за ней туда же подался пес.

Лос-Анджелес



Ганна КОСТЕНКО

Не дивись так...

Про автора

Ганна Костенко народилася у 1988 р. в Одесі. Навчається на другому курсі ОНУ ім. І.І. Мечнікова, факультет української філології, відділення видавничої справи та редагування. У 2005 році вийшла перша збірка оповідань "Все ще буде, все...".

Була учасницею Всеукраїнської наради молодих літераторів у Коктебелі (2005 р.), за результатами якої прийнята до Національної спілки письменників України.

Переможець Міжнародного літературного конкурсу "Гранослов-2005" Має диплом переможця Всеукраїнського конкурсу-огляду за програмою "Нові імена України" у номінації "Проза" (2005 р.), а також диплом третього ступеню етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, секція "Літературна творчість" (2005 р).

Дощ нікого не жалів. Нанизував пальцями і клав собі до рота. Смакував. Всіх. І мене. Воїна.

Ми не заспокоювалися. Не зважали на залізну маску крапель. Кидали на землю і стріли, і тіла вбитих. І неважливо було, за кого ти чи проти кого: вбивай, щоб не вбили тебе.

Я відчув гострий біль у плечі. А потім і в спині. Впавши, я зрозумів, що мене поранено. Витягнув стріли саморуч. Разом із кров'ю з тіла виринали сили.

Дощ заклеював мені повіки. Я не бачив перед собою нічого, крім мокрої важкої фіранки. Навкруги темно і глухо. Як на краю світу.

Почав повзти. Куди?! Закусував губи від болю. Треба рухатися: смерть побачить, що я живий.

Далеко від мене з брудом змішалося світло. Це перші галюцінації, подумав я і поклав голову в калюжу. Сили скінчилися. Значить, і кров скінчилася.

Вогник не зникав. Дратував. До мене підійшла смерть. Присіла навпочіпки, легенько попестила мене по голові.

— Не лежи в калюжі! Некрасиво...

Я злякався.

— Доповзу до вогника...

Смерть покачала головою.

— Доповзу до вогника! У будь-якому разі, доповзу. А там — роби зі мною, що хочеш!..

Через вічність опинився на порозі чужої халупи. Чорної. Стукав у двері і не бачив власні пальці. Вони давно у шлунку дощу.

Хідники відчинилися майже одразу. Я примружився й побачив тебе. Точніше, твої очі.

Я знав, що не можна йти до тебе, знав. Відчував. Я б погодився залишитися із смертю, але ти квапливо втягнула мене у хату. Зиркнула на суперницю, взяла каменя і кинула їй у голову.

— А ну, пішла звідси! Проклята! Пішла! — завила, як плачка.

Затулила двері. Знову кудись потягнула моє тіло.

— Почекай, любчику, почекай! Зараз тобі буде легше! Почекай.

Побачила мої рани, скрикнула. Мені не примарилося, ти потім сама зізналася в цьому.

Я погано пам'ятаю, що було далі. Перший раз, коли прокинувся, тебе не було поруч. Ти щось готувала. Відьма, промайнуло в голові.

За спиною приковане вікно, і у нього дивилася смерть. Кістлява дівчина з впалими сумними очима. Як у собаки.

Ти сіла поруч і почала натирати мене травами. Дала щось випити.

— Відьма-а... — подумав знову, — виживу-у...

Я прокинувся вдруге. Було темно. Досі не можу забути свій сон. Снилося, як падав донизу, як ударявся об землю, як болить плече, і як я повзу. А після — твої очі. Погляд. Вії. Я благав тебе не дивитися, мені не хотілося, щоб ти бачила мене слабким. Мене, воїна. Але ти чомусь сміялася. Твій сміх досі блукає у вухах...

Ще у сні я почав тебе ненавидіти...

Я довго спав. Смерть не відходить від вікна і дивиться мені у тім'я. А ти, вперта, не відпускала мене. Тримала за руку. Дозволяв тобі робити зі мною що завгодно, тільки б лишитися живим. Лишитися воїном. Пам'ятав, що десь іде війна, і я їй потрібен. Чи вона — мені.

Інколи відчував, що вмираю. По-справжньому. Твої трави не допомогали, заговори також. Я чув, як смерть гупала у вікно долонею, кричала, як змочувала язиком губи, поправляла від нетерпіння на собі мокру сукню, яка поприлипала до маленьких грудей.

Розплющив очі. Ти запалила вогонь у печі. Роздягнулася. Чорне довге волосся закривало твій сором.

— Ні про що не питай, — почув твій голос над собою, — повір мені! Це єдине, що я можу зробити...

Я нічого не відчував тоді. Мені знову наснилися твої очі. А ще крапля за краплею з'являлася впевненість, що я виживу. І я вижив.

Тепер ти лікувала мене своїм тілом. Твоя сила повертала мені життя. Вранці ти давала мені пити зілля із солоним присмаком крові молодої вовчиці. На десятий день я вперше заговорив з тобою.

— Вона пішла? — це я про смерть.

— Ні, ще стоїть у воріт. Але не бійся, ця проклята скоро піде... Випий це.

Вмить мені здалося, що ти брешеш. Що смерть давно пішла і втратила надію врятувати мене від тебе. Зараз я був безпомічною дитиною. Ні! Лялькою, з якою ти гралася. Я не довіряв тобі, але не міг пояснити, чому. Може, тому, що ти була красивою. Відьмою.

— Ти будеш пити, чи ні?!

Я взяв піалу і зробив ковток.

— Огида, — кажу.

Ти посміхнулася.

Проклята відьма, думав тоді, що у тебе на розумі, тільки диявол знає! Я вб'ю тебе одразу, як видужую!

І я стримав свою обіцянку. Бо я — воїн. От тільки не одразу вбив. Згодом...

Твоє зілля скоро поставило мне на ноги. Я почав ходити, невпевнено, але ходити. Відчувався біль у спині й плечі.

Вночі ти вже не приходила до мене. Вистачало трав.

Я майже не говорив з тобою. Не хотів звикати до твого голосу. І до тебе. Переважно говорила ти. І звикала ти. Я сидів і слухав. А ти говорила. Навіть не пам'ятаю, про що.

— Як тебе звати? — питаю я.

Ти замовкла. А коли повернулася, на твоєму обличчі я побачив щастя. Сльози. Ти давно чекала цього питання.

— Чого ти так дивишся? — питаю. — Не дивись так.

Дивишся.

— Не дивись так! Чого ти так дивишся?!

Дивишся.

А потім тихо-тихо кажеш мені своє ім'я.

Ім'я одразу забув. А от обличчя — ні. Я роздивлявся його довго. Кожну зморшку. Родимку. Нестерпно красиве обличчя. Барбело[1], заздри! Твоя краса вкрадена цією відьмою!

— Не болить плече? — завжди запитувала, коли не знала, що сказати.

Кожен день повторювався до дрібниць. Кожен день ти жовтилася навколо мене. Намагалася, щоб я відчував себе як вдома. За це я тебе не-

[1] Барбело — найкрасивіший занепалий янгол, який вважається рівноправним Люциферу.

навидів ще більше. У мене не було дома. Бо я був воїном, а воїн забуває, де його дім.

— Нащо ти робиш це?! — питаю і дивлюся на твою посмішку, на прозору шкіру, як у медузи.

— Я хочу тобі допомогти.

— Невдячне діло! Я вже казав це своєму другові.

Ти відвела погляд.

— Не болить плече?

Мовчу.

— Пора обідати, — кажеш і посміхаєшся.

Диявол! Як я ненавидів тебе тієї миті, коли ти посміхалася! Зранку, ввечері, завжди ти мені посміхалася. Чорні очі горіли вогниками, тонкі смоляні брови танцювали на лобі, коли ти посміхалася. Диявольська жінка! Я вб'ю тебе одразу, як наберуся сил. Я вб'ю тебе одним ударом, тобі навіть не буде боляче.

Я сидів і дивився, як вигинається твоя спина, твоє тіло. Кожним рухом показувала мені, що не відпустиш мене. Не зможеш.

Ти накладаєш мені їжі. Прислужливо, наче гієна, всміхаєшся. Поряд не сідаєш. Стоїш. Дивишся, як я їм, очей не зводиш.

— Смачно, — кажу.

А хліб іде мені поперек горла. Дияволиця! Я на тебе не погляну, а попрошу іще порцію, тобі на зло! Ти дивишся.

— Не дивись так.

Дивишся.

— Не дивись так, я прошу!

Дивишся.

— Та не дивись так! — сам лякаюся свого голосу.

Я глянув на тебе крадькома, бо тепер не міг не глянути. Ти стояла в сльозах і зовсім не сходила на відьму.

Вибігла. Заплакала. Мені стало прикро. Я підійшов заспокоїти тебе. Нічого не сказала, та в очах прочитав...

Я вже казав, що у неї були красиві очі, про які я можу говорити й згадувати постійно.

Я витер твої сльози долонею. Вони потекли ще швидше. Ти поклала голову мені на плече, і ми стояли так довго. Я навіть забув про те, що тільки-но хотів тебе вбити. За погляд.

— Я не знаю, хто ти і твоє ім'я. Я не вимагаю, щоб ти називав мені його. Але пообіцяй, що ти залишишся зі мною!

— Для тебе я завжди буду пораненим, якого треба лікувати. Багато хто знає мене як воїна. А ти пам'ятатимеш мою слаботу.

— Це неправда! Я забуду! Я обіцяю, я забуду! Але не йди від мене, будь ласка! Я люблю тебе!

І знову цей погляд, тільки благаючий і ніжний.

Моє ім'я було Воїн. І я назвав своє ім'я. Ти заплющила очі й поцілувала мою руку.

Вночі я не спав. Чув, як ти плакала. Хотів піти й заспокоїти тебе. Але встиг прокляти себе за цю думку тисячу разів. Диявольська жінка, вона навмисно так робить! Чортова спокуса! Не вірю тобі!

Вибіг у сад, зірвав кропиву, почав обтирати тіло. І чув, як ти плачеш. Бив спину сухою гілкою. І чув, як ти плачеш. Бив у кров. І чув. До м'яса. Чув...

Вранці майже не розмовляли. Мені здалося, що ти і справді закохалася, але я прогнав здогадки. Ти була відьмою. Ти не могла закохатися.

Три ночі ти плакала. Я виходив на двір і рахував зірки. Диявол! Я ненавиджу тебе! І цю жінку! Вона завжди бачитиме у мені слабкість.

Почув, як ти закашлялась, як дитина, від власних сліз. Не витримав. Побіг.

На мене не відреагувала. Чекала, що я прийшов тебе вбивати.

— Не плач! Заради мене, не плач!

Лягаю поруч у ліжко, цілую тебе у тім'ячко. Спи. Ти обвила мою шию руками, а очі наблизила нестерпно близько. Не дивись так...

— Плече не болить?...

Диявол!

Ти злякалася власних слів і швидко поцілувала мене.

Це був не я. Це була моя ненависть. Тепер ти лялька, з якою грався я. Моя душа, соромлячись, вийшла з кімнати. Я не впізнавав себе, але впізнавав свою лють, яка сумувала за війною. Бідна відьма! Диявол покинув тебе і перейшов на мій бік! Я був дияволом тієї ночі.

Вчепився зубами в твоє вухо. Тобі було боляче, і ти заплакала. Від щастя.

— Відчини мене! Зруйнуй мене!

І я відчиняв усі твої кімнати, руйнував їх без жалю. Деколи мені здавалося, ти помираєш у мене на руках. Я заспокоювався, цілував твоє обличчя. Тільки не відкривай очей! Я від них шаленію!

Відкриваєш. Дивишся. Смієшся. Я пригадую, хто ти, і що я воїн, і в мені прокидається ненависть, жорстокість і ще більше бажання бути твоїм, бути з тобою, бути у тобі. Бути!

Чується дощ. За вікном дощ. А я іду далі блукати по храмовим спорудам твого тіла. Ти — храм. Мені хотілося залишатися у ньому назавжди.

— Не йди від мене! — я розумію, що ти любиш мене, — люблю! Люблю тебе!

Кладу голову на твої груди і плачу. Я, воїн, плачу. Ти не питаєш чому, мовчиш, все розумієш. Воїн не повинен плакати. А ти бачиш мої сльози.

Твоє серце забилося швидше. Я заплющив очі. Я мріяв про тебе. Кімната твого серця поступово відчинялася. Я побачив позолоту твоєї душі.

І тільки зараз я зрозумів усе, що трапилося зі мною. Це був жарт, жарт Диявола. Це він підстрелив мене, звів з тобою. Тільки він прорахувався, ти ж бо справді закохалася у мене. А я?! Я втратив самого себе. Я програв собі. А воїн, який плаче, не воїн.

— Не йди від мене!..

— Я не зможу від тебе піти. Мені легше буде тебе вбити.

Ти поцілувала мене. І я заснув.

...Пройшов іще місяць. Я згадав, що потрібен війні, чи вона мені. І неважливо, за кого я чи проти кого.

Рани загоїлися. Лишились на згадку два поцілунки від стріл. У мене є сили. Кров гаряча.

Ти все відчувала. Останнім часом навіть не благала мене лишитися. Змирилася. Мовчки цілувала мені руки і плакала. Вирішив, що піду у дощ, як і прийшов.

Чекав дощу. І дощ хлянув.

— Я мушу йти.

Ти не відповіла, зробила вигляд, що не почула моїх слів.

— Доки я тут, я не пам'ятаю себе. Але я знаю, що я воїн, а воїну потрібна війна. І сила.

Ти підійшла і торкнулася губами мого обличчя. Я відчував, як необхідно тебе вбити. Щоб піти.

— Ти вб'єш мене?! — прочитала мої думки.

— Так...

— Тому що я відьма?!

Я подивився на тебе. Ти пам'ятала мене слабким, і тому була так впевнена у собі. А ще ти бачила мої сльози. А воїн, який плаче, не воїн.

— Багато хто знає в мені воїна...

— Послухай! — ти перервала мене, впевнена відьма! — можеш залишитися у мене назавжди! Я зроблю так, що ніяка війна не торкнеться тебе!

Ти не розуміла мене! За це я тебе ненавидів. Тримала мене за руки: так благати могла тільки відьма. Відьма!

— По-моєму, ти просто боїшся! — засміялася. — Боїшся мене!

Мої очі налилися кров'ю.

— Не дивись так на мене!

Дивишся.

— Не дивись так!

Дивишся.

Я вдарив тебе. Одним ударом я тебе вбив. Тобі навіть не було боляче.

Ти впала на спину. Я почекав, доки ти встанеш, але ти не вставала. Сів коло тебе і заплакав.

І тільки зараз я зрозумів усе, що трапилося зі мною. Це був жарт, жарт Диявола. Це він підстрелив мене, звів з тобою. Тільки він прорахувався, ти ж бо справді закохалася у мене. А я?! Я втратив самого себе. Я програв собі. А воїн, який плаче, не воїн.

Я подивився на тебе. Мертву. Вродливу. І злякався. Тебе.

У відчинене вікно залізла смерть. Не промовила ані слова. Взяла твою руку і потягнула, як здобич, за собою. По землі. Твої очі дивилися в стелю.

Мені стало неприємно.

— Зачекай! — крикнув я смерті.

Та зупинилася і взяла руку в зуби.

— Зачекай! Так некрасиво...

Я нахилився до тебе і долонею закрив холодні повіки.

— Не дивись так, — прошепотів, — не дивись...



Валерий КУЗНЕЦОВ

Уманское утро

Поезд из Киева в Умань шел полночи. Полночи, пропитанной запахом грязных носок и портянок, храпом и сивухой. Утром интеллигенты чистили в поездном сортире зубы, стараясь не глядеть на заблеванный унитаз. Вентиляция была только в тамбуре вагона, и то при открытой двери, так что на поворотах меня обдавало дымом и сажей. Я ехал в Умань заделывать в местном театре пять цирковых представлений. И хотя я был не администратором, а рядовым акробатом (работал номер "акробаты-эксцентрики"), директор сказал мне: "Хочешь жрать, езжай в Умань и делай концерты". Он сунул мне рулон афиш. Я расписался за пачки билетов, получив несколько рублей. Отбыл на вокзал. Когда я сел в поезд, то обнаружил, что денег хватило только на билет, и то сидячий, так что я простоял в тамбуре всю дорогу.

По-прежнему уважая голодный желудок грушами, я ходил по городу, размышляя, где кинуть уставшие кости.

Неподалеку от знаменитого парка наблюдалось столпотворение, шум и передвижение всяческих агрегатов. Это была киносъемка. И когда я узнал от мальчишек, что киношники из Одессы, сразу двинул к ним, потому что нет двух одесситов, которые не знали бы друг друга, или хотя бы общих знакомств не было бы.

И действительно, в толпе снующих людей — операторов, рабочих и прочей киношной братии — мелькнула знакомая фигура.

С этим парнем я незадолго до описываемых событий кочегарил на одесской киновухе, так называют старые одесситы киностудию. Он был сухопарый, высокого роста, фигурой похож на павиана. Из всей своей сознательной жизни большую часть он провел по тюрьмам и зонам. Это была колоритная фигура: грудь порезана крест-накрест, нога порезана при попытке к бегству, зубы выбиты сержантским сапогом. Когда он валялся раненный, сержант от злости, что не добил зека, двинул его сапогом по лицу, оставив на всю жизнь мучиться протезами. Хотя его лагерная кликуха была Пантера, я прозвал его Бесхвостый Павиан. Потому что у него была какая-то плоская фигура, без задницы.

В кочегарке, где мы сдружились, он учил меня лагерным песням и особому блатному бою на гитаре. Например: вешал на шею кучу ниток с привязанными иголками, иголки касались струн и пронзительно дребезжали, когда он пятаком вместо медиатора отбивал по струнам ритм.

Я, в свою очередь, показывал ему аккорды и корректировал их последовательность.

Звали его Виля.

Мы очень сдружились с ним. Виля намного старше меня, познал всю несправедливость и жестокость, голод и холод лагерных зон, и поэтому особенно ценил радости жизни. К одной из этих радостей он приобщил меня. Однажды Пантера пришел в кочегарку, и когда мы сели пообедать, достал несколько плиток шоколада. Я очень удивился. Обычно он вынимал из кармана чекушку или, в лучшем случае, пол-литра. Иногда к нашей немудреной закуске он приносил котлеты. Потом, когда мы закусывали, признавался, что по старой лагерной привычке не прошел мимо задавленного машиной пса. Ободрав, перемолов на машинке, сделал отменные котлеты.

После этого мы осторожно принимали его приношения, долго обнюхивая и расспрашивая, откуда. Шоколад страшно нас удивил, и я подумал, что неспроста он так разорился. Виля достал из кармана кусочек чего-то, завернутый в грязный газетный лоскут, и, положив его на ладонь, широкую, как лопата, осторожно развернул. На грязной газетной бумаге лежал кусочек чего-то, похожего на грязно-зеленую глину. Он осторожно поднял ладонь к хищным ноздрям и глубоко с наслаждением втянул запах в раздувшиеся ноздри, а затем поднес поочередно к нашим носам. Пахло землей и конским навозом. Потом, вынув папиросу, выдул из нее табак. Отломив кусочек вещества, положив в табак, долго перемешивал и мял смесь, и приставив мундштук к желтому ногтю, припрессовал смесь в папиросу, превратив беломорку в обычную папиросу. Обмочив кончиком языка края спички, зажег ее, поднес к папиросе и с наслаждением затянул. Он затягивался не как обычно, а как пылесос, втягивая дым в самые заветные уголки легких. Зрачки его расширились, он прищурился и протянул мне папиросу. Я сделал то же самое. Он одобрительно кивнул и протянул моему товарищу и напарнику по смене. Тот отрицательно покачал головой.

Потом он разломал плитку шоколада и протянул кусок мне. Моему товарищу он отказал, заявив, что шоколад кушает тот, кто курит. Потом я лежал на нарах, в глазах мелькали желто-красные полотнища, в ушах звучала торжественная музыка, во рту было сладко, внутри что-то приятно. Через некоторое время все прошло. Голова была пуста, тело ощущало легкую слабость. Я пристрастился с Вилькиной легкой руки к этой глине, которую воры называли "план", а обычные фраера — "анаша".

Мы встретились. Виля был мне рад не меньше, чем я ему. Представив меня всей съемочной группе, он отпросился у режиссера и отвел меня на квартиру, где уложил в постель, предварительно скормив 300 грамм водки и кусок сала.

Я проснулся в следующее утро, сияющее желтизной и зеленью.

Мы с Вилей выпили по кружке крутого обрата и отправились на вокзал встречать труппу.

Виля был уже не просто Виля, а главный квартирмейстер киевского цирка. Он галантно встречал на перроне артистов и развозил их по квартирам, снимая с каждого мзду и массу комплиментов. Вечером мы собрались у Вили на квартире. Мы — это мой постоянный партнер по номеру Женя Еремин, лилипут Боря и коллега по программе Рудик Муллер.

О них, о каждом, отдельно.

Начну с Рудика. Знакомство наше началось со звонка в мамину квартиру, где он объявился с таким видом, как будто проживал там всю жизнь и всех знал поименно. Был в зеленых брюках. Брюки были женские. Дело в том, что в те годы женщины только начали носить брюки, и у них был особый покрой. В тазу — широко, в щиколотках — узко. Поэтому вид у Рудика был экзотичный. Плюс великолепная черная шевелюра и сросшиеся у переносицы брови. Он зашел ко мне в комнату, обнял меня, заявив, что только что из Москвы, из ГУЦИ, передал привет от знакомых студентов, и на мой вопрос "Что ты работаешь?", став в стойку на две руки, потихоньку перешел на одну. Мне этой рекомендации было достаточно.

Остановился Рудик у тети Доры, которую знала все Тираспольская площадь. Она торговала пирожками с бутером на трамвайной остановке 15 номера. Ей сначала понравилось, что ее двоюродный племянник — артист из Москвы, как она говорила всем соседям и знакомым. Потом, по прошествии некоторого времени, Дора увидела, что племянник ничего не собирается делать, а только стоит на руках и поедает огромное количество пирожков, приготовленных на продажу. Она переменила тон и стала гнать бедолагу на улицу. Он частенько ночевал у меня. Характера Рудик был благодушного, все невзгоды переносил безропотно. Часто стирал свои зеленые штаны и кофту, которые тетя Дора подарила ему по приезде в Одессу.

За бутылку Рудик сходил на руках по Потемкинской лестнице, собирая толпы любопытных бездельников, которых в Одессе было пруд пруди. Или на перилах балкона, где-нибудь на четвертом или шестом этаже выжимал стойку на руках, вызывая вокруг охи слабонервных дворничек. За ним охотился военкомат, пора было на военную службу, но свободолю-

бивый Рудик говорил: "Я от мамы ушел, я от папы ушел, я от Доры ушел, и от армии уйду".

Обменяв Дорины часы на реквизит у одного незадачливого эквилибриста и пообещав Доре за эти часы золотые горы, он поехал работать в мою программу, номер "эквилибр".

Впоследствии его все-таки военкомат разыскал и отправил служить в пехоту, где свободолюбивый Рудик Муллер повесился.

На следующий день, в зелено-желтое изумительное уманское утро, вся вышеперечисленная компания во главе с длинным сухопарым Вилей топала по направлению к знаменитому парку Софиевке, чтоб выпить, как говорил мой любимый Бабель, рюмку водки и дать кому-нибудь по морде... За Вилькой, с авоськой, полной бутылок и немудреной закуси, весело ухмыляясь, шел Рудик, я с партнером, который нес лилипута Борьку на плечах. Был Борька настолько мал и коротконог, что не мог одолеть несколько кварталов. Одет он был в детский матросский костюм и сидел на плечах у моего партнера Жени Еремина, как на породистой лошади, время от времени прикладываясь к бутылке пива и вызывая недоумение и недовольство прохожих.

Когда мы заходили в магазин, Женя ставил его на прилавок, и Борька громко требовал водки, протягивая деньги. Любимое занятие лилипута было забраться под юбку проходящей молодки и хватать ее за непотребные места. Ошарашенная женщина вытаскивала его из-под юбки, крича: "Мальчик, что тебе надо?!" — на что хам Борька громко заявлял, что ему надо. За это Борька частенько попадал в участок, и когда в продолжительной беседе участковый узнавал, что Борька лишен сексуальных радостей и делает это от обиды и злости, как правило, отпускал его восвояси, предварительно попугав тюрьмой.

...Как-то, приехав в Одессу в очередной ВП (вынужденный простой), я очутился в школе, в восьмом классе. Сестра моего друга, попеняв мне за безделье и неграмотность, предложила пойти учиться. Меня как великовозрастного приняли в восьмой, а потом перевели в девятый класс. Это случилось в тот год, когда объединили женские школы с мужскими. Причем если младшие классы половинились особами обоих полов, то в старших так не получалось. И я оказался в женском классе единственным мужчиной. Девочки таинственно перешептывались и перемалчивались, поглядывая на меня. Учителя охлаждали их пыл, частенько покрикивая

и конфузя их. Я, откровенно, чувствовал себя не в своей тарелке, и поэтому обрадовался, когда появился новый ученик — мальчик, с которым я сразу подружился, хотя он был несколько младше меня.

На новогодние праздники классная руководительница попросила меня принять участие в самодеятельности класса, и Женя впервые увидел акробатику, гимнастику в моем исполнении и увлекся цирком на всю жизнь. Он ходил вместе со мной на репетиции и в скором времени превзошел меня. Маленький, коренастый, ловкий, как кошка, он вскоре превратился в прекрасного акробата и стал моим постоянным партнером. Я получил приглашение на летние гастроли, и мы с ним выехали в Киев.

Там нас присмотрела худкомиссия, и председатель, старый цирковой артист — буффонарный клоун Таити, которого все артисты любовно называли Тин Тиныч, погладил Женю по густой шевелюре, благословив его на всю акробатическую жизнь.

Еремин стал прекраснейшим артистом и долгое время работал со мной. Потом, как бывает в цирке, мы женились и разошлись. Не все у него удачно складывалось. Умер первый ребенок, не везло с партнерами. Он стал прикладываться к бутылке. Потом я узнал, что, бросив все, Женя уехал в Иркутскую область, где работал в лесу смолокуром. Его нашли при очередном обходе с ножом в спине. Борька лилипут, его неизменный соратник по хохмам и подначкам, тоже вскоре спился и уехал в свою деревню, где сгорел от самогона...

А пока мы, чуть пьяненькие и веселые, смеясь, тащили на плечах Борьку и шли в Софиевский парк на пикник.

Вот он, пикник со слезами на глазах. Сначала Вилька вытащил кусок мускатного ореха и с загадочным видом разминал его между пальцами, заряжал в беломорину. Потом мы, выпив прилично, всасывали эту гадость в легкие. В голове немного помутилось, и Вилька взял гитару. "А не кури, голова плановая, а не кури, не кури корешок. А дома плачут, нотации читают, а на кого стал похожий мой сынок", — уныло завывал Вилька, елозя пятаком по струнам. Голова кружилась, Рудик молча глупо улыбался, а лилипут Борька колотил кудлатого Женьку жестяной кружкой по голове. Волшебное место, которое мы выбрали для пирушки, стало напоминать мне выгребную яму. Все вокруг приняло серый дальтонический вид. На душе стало муторно. И только одна мысль крутилась в голове: как я вечером буду работать концерт в таком состоянии? Я оставил компанию и побрел к ближайшему пруду. Раздевшись, вошел в прохладную воду.

Я вырос возле моря и всегда искал душевного, да и физического спокойствия у воды. И хотя это было не море, я все-таки немного пришел в себя и вылез из воды на берег. Оглядываясь и не видя никого, я снял трусы и стал выжимать их. Ветерок ласково обвевал тело прохладной струей, а солнце пригревало мою уставшую душу.

Вдруг я почувствовал чей-то взгляд. Круто обернувшись, я увидел девочку, которая с откровенным любопытством тупо глядела на меня. "Что уставилась? — крикнул я. — Голых мужиков не видела?" — "Видела, — с ухмылкой ответила она. — Только вот такого красавца впервые".

Я быстро натянул одежду и вылез на обрыв, где она стояла. Пьяная муть не совсем улеглась. И я, бесцеремонно обняв ее за плечи, хрипло спросил: "Что ты тут делаешь?" — "А, яблок пришла нарвать бабке", — ответила она, доверчиво не отстраняясь от меня. "Идем, помогу", — вызвался я, и мы пошли вдоль обрыва к яблоням, росшим недалеко от пруда. Я трусил ветки, а она собирала плоды в холщовую торбу. Потом, обнявшись, мы побрели в яблоневую рощу. Мы ни о чем не говорили, просто шли, прижавшись друг к другу. Я ощущал под легким ситцевым платьем упругое доверчивое девичье тело. Краски лета ярко били в глаза. Она не сопротивлялась моим объятиям, поминутно взглядывая в мои глаза. Блаженство охватило меня. Ноги вдруг ослабли, и я присел на траву, увлекая ее за собой. Она положила голову мне на плечо и, вынув большое зеленое яблоко, протянула мне.

Вдруг за спиной раздался сдавленный смешок. Мы обернулись. Сзади стоял Рудик и, похотливо улыбаясь, заявил: "Дашь нам двоим". Мы быстро поднялись и пошли в сторону города. Все очарование случайной встречи, близости, померкло. За нами плелась вся компания, похотливо похохатывая. Мне стало омерзительно, и я, крикнув им, чтобы они оставили ее в покое, повернулся и пошел обратно к пруду, к воде. Она побежала за мной, что-то бормоча и хватая меня за руки.

Мы сели на краю обрыва, а рядом примостился Рудик, глупо ухмыляясь. Он ей говорил: "Дам полтинник, если дашь двоим". Она зажала уши руками. Я опять поднялся и пошел в сторону. И в это время Рудик, разозлившись на несговорчивость девчонки, схватил ее за руку и швырнул с обрыва в реку. Обрыв был невысокий. И она, скатившись боком, плюхнулась, как узел тряпок, в пруд. Там было мелко (вода доходила до пояса), она села на дно и тихо заплакала, вытирая лицо голыми по локоть руками. Волосы распластались и закрыли ей лицо. Она плакала тихо, подвывая и что-то бормоча. А когда лилипут Борька со злобным смешком

подскочил и высыпал сверху яблоки из торбы ей на голову, она сначала оцепенела, а потом вдруг громко зарыдала. Туман застлал мне глаза кровавым маревом, я кинулся на Рудика. Он смотрел на меня с недоуменной улыбкой. Я ударил его кулаком по лицу. Потом еще. Кто-то сзади обхватил меня за руки, и град ударов обрушился на меня. Даже лилипут, подскакивая, пытался пнуть меня ногой.

Когда я очнулся, не было ни девочки, ни компании. Я смыл в пруду кровь с лица, и опять вода успокоила меня. Потом пошел на вокзал, сел в одесский поезд и уехал домой.



ПОЭЗИЯ

Юрий МИХАЙЛИК
"Звезда морей — из серого песчаника..." 155

Ефим ЯРОШЕВСКИЙ
Стансы времени 156

Валерий СУХАРЕВ
Литография 169

* * *

Звезда морей — из серого песчаника
часовенка над горечью морской —
изгнанника укрыть, утешить странника,
скитальцу и страдальцу дать покой.
Но там, вдали, над черными проливами,
над лежбищем погибших кораблей,
над ржавыми, пустыми, молчаливыми,
она еще горит, звезда морей.
Она летит над стылыми фиордами,
над островами ледяных полей,
над временем, когда мы были гордыми,
над беспощадной юностью моей.
И в поздний час прощального безмолвия
она одна проводит нас домой
над темными сомкнувшимися волнами —
уже не за кормой, а над кормой.
Подводные холодные течения,
забвения последняя печать.
Нам никогда не вымолить прощения.
Нас в этом море некому прощать.

Сидней



Стансы времени

Посмертная слава при жизни,
концертный костюм ледяной.
Всем телом прижаться к отчизне
усталой кремлевской стеной.

Узбек ли кричит на молитве,
калмык ли справляет нужду —
холодное лезвие бритвы
остудит былую вражду.

Кого не признает эпоха,
того не заметит патруль.
Везде одинаково плохо —
на солнце стоять, на ветру ль.

Гремит огнедышащий полдень,
зияет глубокая ночь,
и нет ни тригорских, ни болдин,
и гений не сможет помочь.

Не будет ни мира, ни хлеба,
войну напророчит спирит.
Горячее смуглое небо
над городом вечным парит,

и брат ополчится на брата,
и нервы натянут струной.
Холодное небо разврата
висит над великой страной.

Молчит потрясенный оракул,
весталки бормочут во сне.
И сотни проснувшихся дракул
довольными будут вполне.

И наша Россия не наша,
и спят в золоченых гробах
Знакомая Чехова, Маша,
и бедный барон Тузенбах.



Сквозь кружево пауз и реплик
Григорий уходит в туман,
за пулю хватается Треплев,
Шарлотта стучит в барабан.

...Дымится вдали синагога,
и в холоде страшных равнин
еврей уповает на Бога
и верит в судьбу славянин.

Поклонимся вечной отчизне.
Натянуто время струной.
Посмертная слава при жизни,
последний костер ледяной...

Предисловие к путешествию

В царстве теней, в этом обществе строгом...
В. В.

Там тебя ждут не дождутся
толпы друзей.
Только не надо дуться —
просто глазей.

Там увидишь кого-то,
кого здесь потерял.
Их не терзает забота —
не тот матерьял.

Они пролетают сквозь время, —
их не догнать.
(Ножку вдень в серебристое стремя,
небесных коней погладь.)

Холодно там, наверно, и пусто,
там — никого...
Хочешь — читай Марселя Пруста,
хочешь — аббата Прево.

Никто не скажет: "Захлопни книгу.
Лучше иди погуляй..."
Там уже не затеешь интригу —
в ад идти или в рай.

И никакого тебе дизайна,
и вряд ли будет жилье.
У входа надпись "Jedem zeine!" —
каждому свое.

Там тишина, бестелесность, духи
тех, что ушли давно.
Несутся по небу небесные слухи
о том, что нам знать не дано.

...Хорошо, если увижу маму
и если мелькнет отец...
Там разрешится небесная драма
наших душ и сердец.

А коротать придется Вечность
среди млечных путей.
Ангелы... Звезды... Миры... Бесконечность...
Царство детей...

Но это — если ты чист и безгрешен
и порхаешь, как легкий снежок...
А что если скажут: "Ты взвешен —
и найден легким, дружок"?..

Тогда и завертишься на сковородке,
подставляя грудь и бока.

Трое возлюбленных — в одной лодке,
и так — на века.

Впрочем, еще ничего неизвестно,
что там произойдет...
Все будет стерильно, все будет честно
и Суд, как всегда, грядет.

Наступит рассвет, осторожный, хилый,
и скажет последний смерд:
"Господи Боже, дай мне силы,
к грешнику будь милосерд!"

...Сказал мне раввин: "Когда вечность очнется, —
запомните это навек! —
только тогда все и начнется,
молодой человек!"

(Там проплывут знакомые тени —
Иосиф, Блок, Пастернак...
Промчится век, пройдет неврастеник —
гений и просто дурак.)

В царстве теней, в этом обществе строгом,
моя любимая мать.
Господи, только маму не трогай
и дай отца повидать.

В царстве теней блеснет астероид,
идут проливные дожди.
И пока эти ливни твой грех не омоют,
будь терпелив и жди!

Так что не надо заранее дуться,
просто стой и глазей.
И помни: там тебя ждут не дождутся
толпы твоих друзей.

* * *

Страх и трепет у ворот,
снова жизнь кого-то треплет...
Время движется — и вот
наступают страх и трепет.

Входит в гости Киркегор,
жизнь опять кого-то мучит...
Нерадивый Пифагор
неуд свой опять получит.

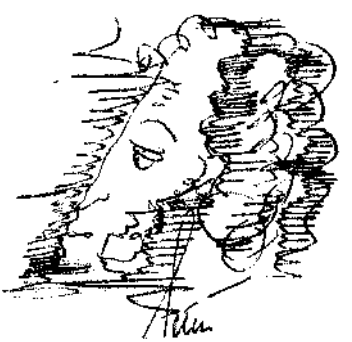
Видно, жизнь не удалась...
Стыдно слушать этот лепет.
Неужели снова в класс,
снова в школу, в страх и в трепет?..

Стансы-2

Анатолию Гланцу

Корнеплоды и заводы,
сизый муравей,
Мы с тобой одной породы,
брат мой, соловей.

Сухофрукты и продукты
тонут вдалеке.
И плывут барахты с бухты
по родной реке.



Гарнитуры и амуры...
Лавры старика...
Белокурые профуры
смотрят свысока.

Пионэры и эсеры,
прадед и кадет —
каждый, кто из СССРа,
празднично раздет.

Огнедышащие волки,
мокрая трава...
Дует в поле ветер колкий,
гнутся дерева.



Дирижабли и скрижабли,
в небе человек...
На одни и те же грабли
наступает век.

На таинственные книги —
Кафка, Элиот —
сквозь тяжелые вериги
смотрит идиот.

Будет жертва, будет клятва,
жатва и жратва...
За базар ответит завтра
глупая братва.

Потому и смотрит косо
неподкупный вождь,
что родные абрикосы
поливает дождь.

Потому и верит ветер
в сонные пруды,
что одни на белом свете
живы — я и ты...

Потому и смотрит грозно
месяц из-за крыш,
что молиться Богу поздно
там, где ты стоишь.

Одесса. Экологический этюд

Это одесское лето, одесское гетто,
толпа озаренных придурков,
это влажная завязь травы и речи,
морской соли и сырого тумана,
косноязычие одесских долгожителей,
подвеянных поэтов, тихих задумчивых сумасшедших,
хитрых шахматистов и расчетливых утренних философов...

Это утренний кефир и полдневное солнце
над горячим от жизни Привозом,
Молдаванка с покосившимися улицами
и древними, подмытыми артезианскими и фекальными
водами, дворами,
где долго не гаснут закаты,
и на бледные лица слепых кариатид
ложится к ночи теплая бессмертная одесская пыль...

Сладкий дым и смог загазованных пляжей,
Златы Пяски еще не загаженной Дофиновки,
свежие жабры бычков-гладиаторов,
борющихся с тяжким воздухом моей отчизны,
моего любимого греческого полиса,
моей старушки Пальмиры...

Восхитительный запах дерьма и отечества!
Где сливочный ампир и классическое барокко,
цветной торт лепных карнизов
и ломкий бисквит известняка,
дворовые сортиры,
дождик на станции Сортировочной,
мокрые рельсы и тоска переездов.

Где по утрам над Отрадой встает высокое свежее море,
которое пахнет степью и неубитой рыбой...
Где не слабеет целебный запашок водорослей и йода,

и в августе на скалах крепчает зловоние мидий,
черной и жирной морской травы...
Это — память о временах, когда под Одессой, как под сердцем,
ходило большое свежее море,
и в турецком чаду кофеен
подымался над Ланжероном
жертвенный шашлычный дым...

К распаду Союза

Но синий декабрьский денек,
но нежность оттуда,
где горем залитый белок
горяч, как Иуда.

Покуда чеканят гроши
над гробом событий,
играют в лапту латыши
в предгорье наитий.

Пока голубеет река
в тазу, как в лазури,
играет поллитрой рука
в предчувствии бури.

Весна

...А утром во дворе так тихо лопнет лед,
и сыростью ночной подует из сортира,
с окрестных гор и ледяных болот,
из плодоовощной квартиры.

Там грезит о тепле холодный зябкий парк,
налитый молоком тумана,
там детское евангелие Марк
читает людям без обмана.

Пускает в небеса свой аленький кораблик
мой грач двоюродный, троюродный мой зяблик.

Не знаю почему, но в сумерках рассвета
таится ослепительное лето.
И тает лед, и ветка голодает,
и месяц тонкий над землей летает...

И город всхлипнет вдруг, и ослабеет холод,
и скажет мне мой друг, что я красив и молод.

Кругом такая ночь!.. Расслабленная речь,
задумчивая дочь, затопленная печь...

И звезды смотрят вниз в предощущенье чуда,
и неземная речь летит оттуда.

На отлете

Мне кажется: на теплых камнях города
лежит моя голова.
Она осталась здесь...
Дышит, смотрит в листву, грезит —
послевоенным летом, детством,
клекотом свежей воды из-под крана,
югом, мокрой галькой моря,
облаками над Хаджибеем,
книгами юности,
нашими надеждами, музыкой, —
отшелушившейся молодостью...

Теперь я вижу себя,
бегущего в лабиринте дворов
отощавшей гончей,
с исхудалым лицом педагога,
уже почти безумным...
Нынче все позади,
но это во мне.

Я долго смотрю на месяц.
Месяц тонкий, слезящийся...
Кругом ночь, крыши, туман.
Блестит мостовая... Никого.
Я не выдерживаю —
и поднимаюсь к звездам...

Россия. Метеосводка (прогноз погоды)

О первый летний дождь!
Шумит, благоухает...
Уж травам невтерпеж,
и небо набухает.

Хлеба уже мокры,
и влажен куст сирени.
О, трепетанье крыл!
О, грозы озарений!

Всем ливнем двор порос.
Гром в подворотни рухнет.
И молния угроз
то вспыхнет, то потухнет.

Как этот шквал рисков!
Там град созрел и вызрел.
Дожди пойдут на Псков
и повернут на Сызрань.

Пожарами грозя,
весь мир кипит от ветра.
Как жалко, что нельзя
перекрестить язя
и отмолить осетра!

За Волгой дождь следит,
вода под ливнем пляшет...
И сельдь во тьме кипит,
и гусь крылами машет.

У ливня есть фантом —
из вод выходят реки.
Под проливным зонтом
гуляют человеки.

Разбух от ливней плот,
трещит небесный кокон...
На нерест рыба прет,
и тяжелеет окунь.

Уже трава горчит,
в восторге утка крячет...
И гром еще ворчит,
и страх свой рыба прячет.

Безмолвствуют леса,
и речка без призора...
Наивно в небеса
уже глядят озера.

Как в закрома, в чердак
засыпан дождик крупный.
На даче Пастернак
окучивает клубни.

Уже восходит зябь,
и дни грозят Мессией...
Уже разверзлась хлябь
над сумрачной Россией.

Но паутинки нить
дрожала осторожно.
Уже нельзя казнить,
лишь миловать возможно.

Весна опять

...Но в доме сумерки, и в окнах тьма и свет,
и ливень топчется в передней,
и кошка ластится, и потускнел паркет,
и вечер тянется, не первый, не последний.

Неосторожные, без глаз, бредут коты
по крышам маленьким и острым.
Серп смотрит пристально на город с высоты:
кто в эту ночь был тайно к нам подослан?

Там хвоей вздернутая лагерная высь
играет в прятки с небесами.
Дни Словом схвачены. Там духи собрались.

Жизнь, не затравленная псами,
течет, безгласная. Где голубеет дол,
и в городах светло и пусто, —
весна торопится, поэты пишут в стол,
и дорожают зелень и капуста.

Время года — апрель

Печальные дети отпетой зимы!..
Страна многолюдна, и люди в истоме.
Там дети Гоморры играют в Содоме...
О, только б спастись от сумы да тюрьмы!

Гоните их в шею! Чеканьте мосты!
Оставьте в покое монеты и флаги...
Сверкнут ятаганы в турецкой отваге,
и в детской молитве раскроются рты.

Прощай, Андалузия! Лето, прощай!
Зима наступает на горло предметам,
и солнце китайское смотрит при этом
так косо, как будто летает праща

по улицам... Статуи стынут в метро,
деревья роняют остатки обедов,
и ветер пирует на кортах соседа,
и мальчики спят, улыбаясь хитро...

Гуляет весна. Городской Капабланка
обыгрывал в шахматы местную власть.
Вороны кричали надсадно и всласть,
и в небе дрожала спортивная планка.

...Крошится апрельский обеденный мел.
Все школы объяты распутством и ленью.
Проклюнулась травка. И маленький Ленин
еще не родился, еще не успел...



Литография (Голландия, 17 век)

Зверь таится, дышит птица,
Привидения растений.
Их немая тень таится.
Смотрит филин-неврастеник;
Вкруг замшелого болота
Колобродит мсутный кто-то.
Утаился кот лесной.
Еле видим за сосной,
Вжался в мох, лежит и слышит
Чьей-то жизни норный трепет,
И душа летит все выше,
И луну за аверс треплет.

Эти шорохи и скрипы
Вчуже страннице в бауте,
Приумолкшей среди кипы
Лиственной до той минуты,
Когда взор она настроит,
Как бинокль, на луну...
С трех сторон сойдутся Трое —
Духи Вечного покоя
И — глаза в глаза — пальнут
Темно-синим и лиловым,
И бордовым... Лес молчит,
Филин не промолвит слова,
К смерти подобрав ключи.

Сочельник

Сочельник. Иноземная поземка,
С газетами и кошками вприпрыжку,
Поет свое, протяжно и негромко,
Что сторож-идиот, хлебнувши лишку.
Лилов отвес фаянсовых небес.

Свяченая вода в водопроводе
Внушает недоверие к природе
Недо-чудес или пере-чудес.
В намоленных потемках храма вы
Все думаете: "Братие-христиане,
Что просите вы вечно, хоть по пьяне,
Хоть по трезвяне, всюду таковы?".
Молва, свиваясь, уползла в молитву.
Там, горнее и дольнее смешав,
Сопит остолбеневшая душа,
Проигрывая вновь за битвой битву.
И поделом. В бездарности своей,
В безадресности этой изначальной,
Она не стоит песенки печальной
(За окнами орудует борей
И бьется головой о шест причальный),
Печальной песенки... А ну, налей!
Попьем-ка менделеевой водицы,
За упокой свершенных нами благ,
Во здравье дней грехущих вскинем флаг,
Да и пойдем в жилкоповке топиться.

Пятерчатка ко сну

Е. Ж.

1

...Запутанность не то чтобы судьбы,
Но и статей бюджета государства,
В котором жить все больше не хочу!

"Я тут хотел немножечко подкрасть", —
Правитель молвил, а народ, народ-то,
Скосивши рот и глаз на справедливость,
Орет ему: "Поймаю — оторву!".
Поймать, положим, не поймал, но — мог.
Просто отвлекся временно на Запад
И, поглощенный Западом, — отвлекся.

А у меня — узлы и кренделя
Судьбы, столь схожие с прической первой
В стране мадам (такая Леди Ди
Для помраченных тем, что есть, старушек
И одиноких бизнесменов тож),
Судьбы, висящей, словно на крючке, —
Многокарманный плащ — на краешке того
Ущербного поделочного месяца:
С такой судьбой ни выпить, ни заснуть.

2

Когда туман сгущается до спазмов
В гортани подворотни, вот тогда
(Вокруг ни зги и множества миазмов
Заразы, что гудят, как провода),
Тогда выходят маги и спириты,
Все угольные вывернув углы...
Я слышу их, как пение юлы,
Как мухи зов во рту твоем открытом...
Убоги хоть, но — маги и спириты!

3

Вернемся-тко к судьбе вне Государства
(Она, как Церковь — вне, как самогуб —
погоста вне: кто — плюнет, кто — заплачет...).
И ежели ее что сгубит, то —
Как кошку — любопытство: варианты,
Возможности сей звонкий чистоган
Коли и разменять, так — подороже.
Не гнить же, право слово, задарма!
По существу, меняться поздновато
И незачем... Дай Бог, чтоб те, кто любят,
Шли рядом, в такт; а то — бегут навстречу,
Из-за чего лишь грохот и таран.
Но, видно, чтоб пойти навстречу, надо
Им забежать вперед и — я-то знаю —
Им это тяжко, ибо сам я — скороход,
И крейсерская скорость велика...

Ну, словом, не нужны нам катастрофы:
Горючее слезливо подтекает
(Сейчас рванет!), фигурные обломки
Намерений благих и там, и сям;
И служба чрезвычайных ситуаций
В лице крылатых, гневных и прозрачных,
Скрестивши крылья, думает — как быть:
Разруха велика, но поправима.

Мезальянс

Трибады, окончив обед, прилегли — настало время сиесты.
Зрачок коньяка загорелся в случайном луче
Осеннего солнца; салфетка — что платье невесты,
И рядом маслина на палочке — что голова на мече.

Гранулы винограда, яблок округлое "я",
Обиженное вино, к которому не прикасались...
Одна размаяно курит, другая, как пария,
Места себе не найдет, от взглядов подруги спасаясь

То бегством в беседу, которой развития нет,
То в робких прикосновеньях, которым нет ходу...
Ступают осенне и тихо часы по стене,
По кругу, понуро, как ослик бредет в непогоду.

Размолвка, которой не было столько лет,
Теперь неизбежна, но и желанна, зане
Это — по сути — был их последний обед:
У одной случилась любовь к футболисту. На стороне.

ДРАМАТУРГИЯ

Юрий БЫЧКОВ
Любить пересмешника 174

Юрий БЫЧКОВ

Любить пересмешника
Из истории личной жизни А.П. Чехова

Действующие лица:

Чехов Антон Павлович.
Суворин Алексей Сергеевич, *друг Чехова.*
Чехова Мария Павловна, *сестра А.П. Чехова.*
Авилова Лидия Алексеевна | *Молодые*
Мизинова Лидия Стахиевна | *интеллигентные*
Книппер Ольга Леонардовна | *женщины,*
Шаврова Елена Михайловна | *поклонницы Чехова.*

ЧЕХОВ. Глухой, неведомой тайгою, Сибирской дальней стороной Бежал бродяга с Сахалина Звериной узкою тропой...

Наконец я опять сижу у себя за столом. У меня такое хорошее чувство, как будто я никуда не уезжал из дома.

СУВОРИН. Сибирь, Сахалин, это вам не Одесса и не Крым. Бескрайняя Сибирь, неведомый Сахалин, великий океан. Могу только позавидовать. С приездом, милый Антон Павлович!

ЧЕХОВ. Здравствуйте, драгоценный мой! Здоров и благополучен до мозга костей! Хорош божий свет!

Был на Цейлоне, видел... девиц в индусских платьях и темных очках. Толпа голожопых мальчишек сзади. Негр в красной куртке. Девственницы поют что-то дикое, барабан — бу-бу! Однако от Цейлона остались впечатления и более приятного свойства. Проехав по железной дороге 100 верст вглубь страны, я по самое горло насладился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами. Не без гордости признаюсь вам: "Я познал черноглазую индуску... и где же? В кокосовом лесу в лунную ночь". А японки! Т-ц-ц, т-ц-ц, т-ц-ц!!!

Появляется Авилова

СУВОРИН. Как говаривал ваш Платонов: "У людей мировые проблемы, а у меня женщины".

ЧЕХОВ. Хорошенькая!.. (*Подходит к девушке.*) Чехов, Антон Павлович.

АВИЛОВА. Авилова Лидия Алексеевна.

ЧЕХОВ. Сергей Николаевич рассказывал мне о вас. Девица Флора! Значит, пишете?

АВИЛОВА. Пишу... Рассказы.

ЧЕХОВ. Это хорошо! Дайте мне всё, что успели сделать. Прочту, и мы встретимся. В Петербурге я остановился у Суворина. Пришлите за мной нарочного. Кстати, вы будете на представлении моего "Иванова"?

АВИЛОВА. Вряд ли. Трудно достать билет.

ЧЕХОВ. Я вам пришлю, именной. Я таких никогда не видел! Девица Флора! Вы живете здесь, в доме Сергея Николаевича Худякова?

АВИЛОВА (*с вызовом*). Знаете, Антон Павлович, я никакая не девица Флора. Меня Сергей Николаевич так называет за яркий цвет лица и обилие волос. Я замужем. У нас с Мишей свой дом, сын-младенец.

ЧЕХОВ. У вас сын? Младенец?!

АВИЛОВА. Мне пора. (*Уходит.*)

СУВОРИН. Где пропадали, голубчик? Ждали вас к обеду — тщетно. Опять. Наверное, познакомились с хорошенькой?

ЧЕХОВ. Не просто с хорошенькой, а с очень хорошенькой.

СУВОРИН. Пишет рассказы?

ЧЕХОВ. Как водится.

СУВОРИН. Играла в вашем "Медведе"?

ЧЕХОВ. Не спросил...

СУВОРИН. Зря. Если это свояченица издателя "Петербургской газеты" Худякова, то играла.

АВИЛОВА. "Мужчина! Мужчина верен и постоянен в любви! Скажите, какая новость! Да какое вы имеете право говорить мне это? Мужчины верны и постоянны! Коли на то пошло, то я вам скажу, что из всех мужчин, каких только я знала и знаю, самым лучшим был мой покойный муж..."

СУВОРИН (*насмешливо*). Я тому свидетель.

Чехов и Суворин смеются.

МАША. Лика, послушай. Вдруг я получаю от него письмо: "Минуя всякие красивые фразы, я прямо делаю вам предложение быть моей женой. Если и руководит мною в этом деле расчет, то только единственный, иметь жену — близкого мне по духу человека".

ЛИКА. Я действительно прекрасная девушка и по внешности, и по содержанию. Все на меня заглядываются, а природа кроме красоты наградила умом и веселым характером.

ЧЕХОВ (*Суворину*). Опять хорошенькая!

ЛИКА. Я остроумна, ловко умею парировать удары, со мной всегда приятно поговорить, и во мне нет ни тени тщеславия.

ЧЕХОВ. Вы к кому?

ЛИКА. К Маше... Простите, к Марии Павловне...

ЧЕХОВ. Маша! К тебе пришли.

МАША. Антоша, это Лика — моя подруга. Я тебе о ней говорила.

ЛИКА. "Мужчина! Мужчина верен и постоянен в любви! Скажите, какая новость! Да какое вы имеете право говорить мне это? Мужчины верны и постоянны! Коли на то пошло, то я вам скажу, что из всех мужчин, каких только я знала и знаю, самым лучшим был мой покойный муж..."

ЧЕХОВ. Ну да. Маша грозилась: "Вот подождите, приведу хорошенькую девицу!"

Лика запела: "Не пробуждай воспоминаний ушедших дней, ушедших дней..."

ГОЛОС МАШИ. Лика, поднимайся ко мне на второй этаж.

Лика допела и "уплыла" наверх.

ЧЕХОВ. Да это же пава, царь-девица!

ШАВРОВА. Я все время видела его одного, следила за тем, что он делает, где сидит, с кем разговаривает. Мучительно завидовала взрослым людям, которые были возле него. О чем это он разговаривает с ними? Интересно послушать.

ЧЕХОВ. Здравствуйте, барышня! Вы сюда тоже кофе пить. Что же вы на самом солнце? Пожалуйте в тень, здесь прохладнее и ближе к морю. Обеды дрянные: ленивые щи, антрекот, как подошва, компот — цена один рубль.

ШАВРОВА. У него удивительно добрые, немного насмешливые глаза и прелестная улыбка. Мадам Яхненко в его честь устроила грандиозный праздник в Массандре. Приглашены все, все, все! Боже! Как хорошо, как тепло, как радостно от чего-то... Знаете, а я играла в вашем "Медведе"!

ЧЕХОВ. Очень рад! Таким образом знакомство со мной начинает почти каждая барышня.

ШАВРОВА. Но я... я правда... правда играла!.. "Мужчина! Мужчина верен и постоянен в любви! Скажите, какая новость! Да какое вы имеете право говорить мне это? Мужчины верны и постоянны! Коли на то пошло, то я вам скажу, что из всех мужчин, каких только я знала и знаю, самым лучшим был мой покойный муж..."

ЧЕХОВ. Да я верю. К тому же, мы с вами старые знакомые...

ШАВРОВА. Вы шутите?

ЧЕХОВ. Ничуть. Никогда не был таким серьезным, как теперь!

ШАВРОВА. Я ведь тоже...

ЧЕХОВ. Что тоже? Пишете?!

ШАВРОВА. Пишу... Антон Павлович, не сочтите за труд...

ЧЕХОВ. Сочту.

ШАВРОВА. Но об этом никто не должен знать!

ЧЕХОВ. Мы сделаем так... Вы положите рассказ в конверт и завтра рано утром отнесете его в магазин Синани, что на набережной. В полдень я получу ваш рассказ и тотчас прочитаю. Договорились?

СУВОРИН. Антон Павлович, верные люди донесли мне, что видели вас в Одессе, теперь вы сидите в Ялте, а ведь собирались вместе в Тироль, и билет у нас был взят до Вены. Не так ли?

ЧЕХОВ. Так-то оно так, милейший Алексей Сергеич, но от станции Жмеринка я взял несколько в сторону и... попал в Одессу...

СУВОРИН. Что же вас туда потянуло?

ЧЕХОВ. Малый театр... Они гастролировали в Одессе, ну и позвали раба божьего Антония к себе.

СУВОРИН. Вот оно что!

ЧЕХОВ. Там я отдал себя в услужение Глафирочке Пановой.

СУВОРИН. Бывшей балерине Большого, ныне актрисе Малого театра... Очень хорошенькой!

ЧЕХОВ. Скажу по секрету, едва не женился... Проел половину состояния на мороженом (было очень жарко), вследствие чего вынужден был отложить насчет заграницы всякое попечение и отправился в Ялту...

СУВОРИН. Итак, вы удалились в Ялту и, по слухам, много работаете.

ЧЕХОВ. Если бы... У меня тьма знакомых, и оттого я редко остаюсь один. Шляются ко мне студенты, приносят увесистые рукописи. Стихи одолели. Все претенциозно, умно, благородно и... бездарно.

ШАВРОВА. Бездарно?!.

ЧЕХОВ. Ваш рассказ, уважаемая коллега, мне понравился. Надо продолжать. Кое-что я почеркал карандашом, немного изменил конец. Вот ваша рукопись.

ШАВРОВА. Зачем вы ее возвращаете?

ЧЕХОВ. Нарежьте четвертух бумаги, перепишите рассказ заново и опять принесите в магазин Синани.

ШАВРОВА. А потом?

ЧЕХОВ. Потом — все сначала.

ШАВРОВА. Что сначала?

ЧЕХОВ. Все!.. Надо писать и вычеркивать, вычеркивать и снова писать.

ШАВРОВА. Э-э, нет! Я лучше отправлю рассказ "на кладбища".

ЧЕХОВ. Барышня, милая! Вы писать уже не бросите. Это — как волны: одна идет за другой, и остановиться они не могут...

ШАВРОВА. Я понимаю... А вы, Антон Павлович?.. Пишете?.. Сейчас?

ЧЕХОВ. Пишу... "Скучную историю"... Так называется мой новый рассказ.

Шаврова с газетой в руках.

ШАВРОВА. Нет, этого не может быть!.. "Новое время" № 4846 от 26 августа за 1889 год... Рассказ "Софка"...

ЧЕХОВ. Поздравляю.

ШАВРОВА. Спасибо, спасибо, спасибо, Антон Павлович!.. (*Целует Чехова.*) Этим я обязана исключительно вам!.. И хотя я рискую попасть в число современных Татьян, ужасно рада этому! Не смейтесь, пожалуйста. Это, должно быть, глупо и смешно. Но я ужасно рада...

СУВОРИН (*Чехову*). Вы влюблены?

ЧЕХОВ. Есть отчасти. Не жениться ли мне? Нет, уеду врачом на пароходе Добровольческого флота...

Шаврова и Лика, перебивая друг друга, атакуют Чехова.

ШАВРОВА. Многоуважаемый Антон Павлович, что мои рассказы?

ЛИКА. Программа, которую я вам посылаю, годится только для начальной школы.

ШАВРОВА. Что мне про них скажете?

ЛИКА. Достала все, что в настоящее время есть.

ШАВРОВА. Как поживаете и как ваше здоровье? Надеюсь, теперь лучше?

ЛИКА. Как-то вы добрались до Петербурга? Вероятно, уже успели пять раз пообедать, и вообще, отлично проводите время.

ШАВРОВА. А что, если назвать мой "некрещеный" рассказ просто — "Невесты"? Как вы думаете?

ЛИКА. Хандру свою вы для меня оставили в Москве?!

ШАВРОВА. Я все-таки не дерзаю подписываться своей фамилией — заклюют дома. Согласна на псевдоним "Е. Шастунов".

ЛИКА. И если не совсем еще дубина, напишите.

ШАВРОВА. И похоже на настоящее имя, и никто знать не будет.

ЛИКА. Если бы я могла уехать хоть на Алеутские острова, то я тоже была бы "щислива"...

ШАВРОВА. Вообще-то, дела мои плохи, и я не шутя думаю уехать куда-нибудь в Австралию... например.

ЧЕХОВ. Одна на Алеутские острова, другая в Австралию... Куда же мне деваться? Этак вы лучшую часть земли захватите.

ЛИКА. Ответа от вас я, конечно, не жду, потому что я ведь только "думский писец", а вы — известный писатель Чехов.

ШАВРОВА. Благодарю вас за все! Елена Шаврова...

ЧЕХОВ (*Шавровой*). Только что прочел рассказ в корректуре, Елена Михайловна, и паки нахожу, что он очень хорош. Еще год-два, и я не буду сметь прикасаться к вашим рассказам и давать вам советы.

(*Лике.*) Насчет того, что я успел пообедать пять раз, вы ошибаетесь: я пообедал четырнадцать раз. Хандры же, вопреки вашему желанию, в Москве не оставил, а увез с собой в Петербург.

(*Шавровой.*) Побойтесь бога! Что это еще за Шастунов? Помнится, где-то около Триумфальных ворот я видел бакалейную лавочку Шастунова. Впрочем, подписывайтесь, как хотите, но лучше придумать что-нибудь не столь бакалейное.

(*Лике.*) Вам хочется на Алеутские острова? Что же, поезжайте, я достану бесплатные билеты вам и вашему Барцалу или Буцефалу. Да, кстати, как его фамилия?

ЛИКА. Евгений Николаевич Баллас — мой жених. Как не стыдно!

ЧЕХОВ. Я и говорю — Буцефал! Прощайте, злодейка души моей! Неужели вам улыбается актерство?

ЛИКА. Да, улыбается.

ЧЕХОВ. Да если бы у семи из десяти актрис был такой литературный талант...

ЛИКА. Что?

ЧЕХОВ (*к Шавровой*). Как у вас, то они бы побросали сцену и молебен отслужили. Будьте здоровы и благополучны!

ШАВРОВА. Спасибо, Антон Павлович, за добрые слова. Но, право, вы ошибаетесь: какой там талант! Фантазии нет у меня. Иначе я бы давно придумала себе псевдоним. Прошу вас, придумайте мне "литературную кличку". А если нет, то поставьте просто "Е. Ш." Шастунова не надо!

ЛИКА. А меня провожал Левитан. Не обращайте внимания на неровный почерк: пишу в темноте, и притом после того, как меня проводил Левитан! А вас кто провожает? Буцефал велит вам кланяться и сказать, что он вас нисколько не боится, потому что уверен во мне.

ЧЕХОВ. Спешу порадовать вас, милая Ликуся: я купил для вас на 15 копеек бумаги и конвертов. Думаю, эта бумага вполне удовлетворит изысканным вкусам высшего света, к которому принадлежит Левитан и кондуктора конно-железной дороги. Остаюсь преданный вам А. Кислота. Скажите Буцефалу, что я чихаю на его поклон. И если вы назло, с досады выйдете за него замуж, то я тоже назло увезу вас от мужа. Я человек наглый!

СУВОРИН. Голубчик, со мной опять беда.

ЧЕХОВ. Все та же? Бессонница?

СУВОРИН. Совсем не сплю. В голову лезет всякая чушь. Ворочаюсь, до утра не могу заснуть. Хоть бы какая-нибудь Венеция или Аббация приснились — пусть даже Везувий...

ЧЕХОВ. Где мы с вами стояли у самого жерла вулкана и философствовали. Так пусть вместо Везувия вам приснится голая испанка с гитарой!

СУВОРИН. Куда поедем? В Италию? В Париж?

ШАВРОВА. Если бы я была свободна, знаете, куда бы я поехала?

ЧЕХОВ. Куда?

ШАВРОВА. В Африку. В Сахару.

ЧЕХОВ. В пустыню? Должно быть, в этой самой Сахаре жарища — страшное дело!

ШАВРОВА. Да, в Сахару. Там мне будет хорошо — в пустыне...

ЧЕХОВ. Отчего бы вместо Африки в Италию не поехать? Я еду туда с Сувориным.

ШАВРОВА. Ой, если встретите Суворина, порадейте за меня: ужасно нужны деньги. С мамой я поссорилась из-за театральной школы. Она, как и вы, против моей актерской судьбы.

В ресторане, куда Чехов пригласил Шаврову.

ЧЕХОВ. Многоуважаемая Елена Михайловна, начинающим писателям полезно посещать рестораны. Во-первых, их здесь иногда кормят, а во-вторых, только в ресторанах встречаются типы, коих вы никогда не найдете в другом месте. Одинокие люди ходят в бани и рестораны, чтобы разговаривать.

СУВОРИН. Знаете ли вы, отчего закашлялся вон тот молодой человек?

ШАВРОВА. Простудился!

СУВОРИН. Ничего подобного. Увидел хорошенькую и поперхнулся. Потом еще одну — и опять поперхнулся. Так и не ужинал.

ЧЕХОВ. А знаете ли, чем замечательна вон та семья?

ШАВРОВА. Чем же?

ЧЕХОВ. Муж приглашает приятелей к себе на дачу отдохнуть, а жена ночью тайно от него подает им счет и берет плату за квартиру и стол. Жаль, у меня нет жены.

ШАВРОВА. А тот суровый господин, что сидит под пальмой?

ЧЕХОВ. Всю жизнь писал известным людям письма, которые все начинались так: "Ты думаешь, подлец...". Никогда своих писем не подписывал, вот и сидит теперь один. Под пальмой!..

ШАВРОВА. А что вы скажете о той коротко остриженной даме?

ЧЕХОВ. Радикалка.

СУВОРИН. В самом деле?

ЧЕХОВ. Отпетая радикалка, но... Но по ночам тайком крестится, до верху набита предрассудками: услышала как-то, что для того чтобы быть счастливой, надо сварить черного кота...

ШАВРОВА. Какой ужас!..

ЧЕХОВ. Украла кота у дворника и попыталась сварить...

СУВОРИН. И что же? Удалось?..

ЧЕХОВ. Судя по физиономии — нет!

ШАВРОВА. Чем интересен вот этот высокий молодой господин с улыбающимися глазами?

СУВОРИН. Судя по наружности и моим наблюдениям, он не любит седобородых стариков, а любит молоденьких хорошеньких.

ШАВРОВА. А вот та очень серьезная пара?

ЧЕХОВ. Супруги. Как-то ночью, когда не спалось, разговаривали о том, как плоха стала литература и что хорошо бы издать журнал вроде "Нового времени"...

ШАВРОВА. Алексей Сергеевич, а это камень в ваш огород...

ЧЕХОВ. Идея увлекла обоих. "Чехова пригласим?" — спросил он. "Конечно, пригласим! Как можно без него?!"

ШАВРОВА. А еще кого?

ЧЕХОВ. Долго не могли решить. "А Суворина пригласим?"

СУВОРИН. Ни за что!

ШАВРОВА. Почему?

СУВОРИН. Очень скучно пишет!

АВИЛОВА. Я не ожидала вас увидеть здесь.

ЧЕХОВ. А я предвидел встречу: вы — близкая родня Худяковых и литератор, я же приглашен на юбилей как автор "Петербургской газеты". Едва ли не половина моих ранних рассказов напечатаны в ней.

АВИЛОВА. Давайте выберем место. Впрочем, бесполезно. Вас посадят по чину, к сонму светил.

ЧЕХОВ. Хорошо бы устроиться здесь.

ГОЛОС ХУДЯКОВА. А где же Антон Павлович? Антон Павлович, позвольте вас просить.

ЧЕХОВ. Не могу. Дама не позволяет покинуть ее.

АВИЛОВА (*поет*). "Когда порой тебя не вижу, грустна, задумчива сижу".

ЧЕХОВ. А не кажется вам... не кажется вам, что тогда, три года назад, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки? Мы были молоды. И мы погибли... при кораблекрушении. Мы долго боролись с волнами. Вы держались рукой за мою шею.

АВИЛОВА. Это я от растерянности. Я плавать не умею.

ЧЕХОВ. Я тоже плавать не мастер. По всей вероятности, пошел на дно и увлек вас с собой.

ГОЛОС ХУДЯКОВА. Антон Павлович, ну идите же сюда!

ШАВРОВА. Уважаемый Антон Павлович! Некто Е. Шастунов — из начинающих — решил навестить вас, и вы его не приняли! Ужасно обидное слово "не принимать". За что?..

ЧЕХОВ. Елена Михайловна, я принимаю всех начинающих, продолжающих и даже кончающих авторов. Это мое правило, а ваш визит я почитал за величайшую честь для себя. Но в ту минуту, когда мне подали вашу карточку, я, больной и раздетый, простите бытовые подробности, сидел у себя в спальне. Принять физически было не возможно. Вы обиделись?! Ну, и бог с вами. Неужели до сих пор вы написали только пятнадцать рассказов? Этак вы к пятидесяти годам писать не научитесь. Напишите еще двадцать.

ШАВРОВА. Посылаю рассказ — один из двадцати...

ЧЕХОВ. Вы послушная ученица...

ШАВРОВА. Мама, как и вы, против моей актерской судьбы; ужасно нужны деньги.

ЧЕХОВ. Значит, вы — бедная писательница? Вы можете теперь свое писательство называть "тернистый путь"! Я тоже бедствую. У меня был способ вынырнуть из пучины грошовых забот — жениться на богатой. Увы и ах! Ваше признание опрокинуло мои надежды.

ШАВРОВА. Вы опять шутите!..

ЛИКА. Три года у меня не болело горло, а теперь разболелось так, что ни глотать, ни дышать не могу. При этом и головная боль. В подлой Москве дождь, снег — отвратительно. Я сижу дома и мучаюсь. Вы тронуты тем, что я все-таки пишу вам?

ЧЕХОВ. Лика, лютый мороз на дворе и в моем сердце, а потому и не пишу длинного письма, которое вы хотели получить... Когда же весна? Лика, когда весна? Последний вопрос понимайте буквально и не ищите в нем скрытого смысла. Увы! Я уже старый молодой человек. Любовь моя не солнце и не делает весны ни для меня, ни для той птицы, которую я люблю... Лика. "Нет, не тебя так пылко я люблю!"

ЛИКА (*поет*). "Нет, не тебя так пылко я люблю! Люблю в тебе я прошлые страданья И молодость погибшую мою..."

ЧЕХОВ. Лика! Приезжайте в Мелихово на Страстной.

ЛИКА. Постараюсь на Святой.

ЧЕХОВ. Есть у нас превосходная липовая аллея — Аллея любви, по ней можно гулять. Мы сняли с нее снег и выбросили в пруд. Денег нет. Форточек нет. Отец накурил ладаном. Я навонял скипидаром. Болит голова. Уединения нет. Клопов и тараканов у нас множество. Делаем из них бутерброды и едим.

ЛИКА. И как?

ЧЕХОВ. Вкусно! Снится ли вам Левитан с черными глазами, полными африканской страсти? Обманывайте нас, Лика. Обманывайте. Обман лучше, чем равнодушие... Левитану поклон.

Лика уходит.

ШАВРОВА. Шер мэтр! Я прочла "Попрыгунью"! Москва буквально погрязла в пересудах о том, кого и как вы продернули в этой повести. Во-первых, говорят, что Попрыгунья — Софья Петровна Кувшинникова! Во-вторых, что художник Рябовский — это ваш друг Левитан! В-третьих, что именно таким образом вы отомстили Левитану за его роман с Лидией Стахиевной Мизиновой. Поздравляю!

ЧЕХОВ. Был в Москве и едва не задохнулся там от скуки и гнусных домыслов. Сорокадвухлетняя дама узнала себя в двадцатилетней героине "Попрыгуньи". Меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником.

ШАВРОВА. Согласитесь, совпадение налицо. У Кувшинниковой муж доктор...

ЧЕХОВ. Но ведь мой Дымов погиб, а ее муж жив! И что общего может быть у молодого талантливого ученого с заурядным полицейским врачом?

ШАВРОВА. Злые языки говорят: Софья Петровна живет или жила до недавнего времени с художником... с вашим другом Левитаном.

ЧЕХОВ. Левитан хочет вызвать меня на дуэль... Знаменитый артист Ленский написал убийственное письмо. Вообразил, будто бритый толстый актер на даче — это он. Даже Лика Мизинова рассердилась... А у меня и в мыслях не было сказать про нее что-нибудь обидное!

ЛИКА. Какой же вы дикий человек, Антон Павлович! На что я могла обидеться? Не знаю. Я не обижалась и вообще никогда не обижаюсь. Будем жить мирно и, главное, не будем воображать того, чего нет.

АВИЛОВА. За мою доверчивость так обдать грязью!.. Куда это я готова была бежать с вами от мужа и троих детей?!

ЧЕХОВ. Письмо ваше огорчило меня и поставило в тупик. Что сей сон значит? Мое достоинство не позволяет оправдываться. Убедительно прошу вас, если вы доверяете мне меньше, чем сплетникам, не верьте тому дурному, что говорят о людях у вас в Петербурге. Если нельзя не верить, то уж верьте всему и оптом и в розницу: и моей женитьбе на миллионах, и моим романам с женами моих лучших друзей, и моему намерению выкрасть вас. Живу в деревне. Бросаю снег в пруд и с удовольствием помышляю о своем решении никогда не бывать в Петербурге.

АВИЛОВА. Меня ужасно огорчило ваше решение никогда больше не приезжать в Петербург! Значит, мы никогда не увидимся?!

ЧЕХОВ. Матушка, вы опять надолго исчезли из поля моего зрения...

АВИЛОВА. Почему он называет меня "матушка"? Ах да, — у меня трое детей.

ЛИКА. Мне очень грустно и очень хочется вас увидеть. Пишите мне, голубчик, побольше. Право, это ни к чему не обяжет вас.

ЧЕХОВ. Благородная Лика! Как только вы написали мне, что мои письма ни к чему меня не обязывают, я легко вздохнул, а то боялся, что какая-нибудь тетушка женит меня на таком чудовище, как вы. В вас, Лика, сидит большой крокодил и, в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое вы... укусили. Дальше, дальше отменяя!.. или нет! Нет, Лика, куда ни шло, позвольте моей голове закружиться от ваших духов и помогите мне покрепче затянуть аркан, который вы уже набросили мне на шею!..

ЛИКА. Ах, как бы я хотела, если бы могла, затянуть аркан покрепче!.. Да не по Сеньке шапка!.. Первый раз в жизни мне так не везет... Я очень, очень несчастна. (*Поет.*) "Не шей ты мне, матушка..."

ЧЕХОВ. Милая Лика, жизнь до такой степени пуста, что только чувствуешь, как кусаются мухи, — и больше ничего.

ЛИКА. Вы кому отдали мою фотографию?

ЧЕХОВ. Виноват, виноват. Показал ее крюковскому учителю, он выпросил у меня на время. Время прошло, спрашиваю — он объясняет: "А я отдал ее фабриканту Кочеткову — тот вывесил карточку у себя в гостиной и подписал: "Пава". Какие скоты. Они положительно не имеют уважения к чистоте и невинности.

ЛИКА. Мой портрет можете навсегда оставить у фабриканта, там его место. Крюковский учитель, кстати сказать, совершенно справедливо не видит невинности там, где ее нет.

ЧЕХОВ. Знаете, завтра ко мне приедет Потапенко — сама скука. По Волге ходит пароход "Антон Чехов" — это сказал мне редактор "Русской мысли" Гольцев. Когда я построю пароход — назову его "Лика".

ЛИКА. Гольцева знаю не хуже вас. Только вчера была с ним в ресторане. Виктор Александрович настоящий кавалер. Не мешало бы некоторым поучиться у него обращению с дамами.

ЧЕХОВ. Вы несправедливы, Лика! В доме Чеховых первый тост поднимают за родителей, а второй? Вспомните, Лика!

ЛИКА. За дамские прелести, воркуша. А Потапенко мило поет... со мной дуэты...

ЧЕХОВ. У нас поспели огурцы. Водку мы уже не пьем и не курим, но почему-то все же после ужина всякий раз сильно хочется спать и в комнате пахнет сигарой. Что поделаешь! Я — старик и живу по-стариковски.

ЛИКА. Легко, сидя в Мелихове на диване, спя по 17 часов в сутки, сокрушаться 30 лет о старости. Прятаться за старость, чтобы иметь возможность только спать, есть и писать в свое удовольствие!

ЧЕХОВ. Я ем, сплю и пишу в свое удовольствие? Я ем и сплю, потому что все едят и спят. Даже вы не чужды этой слабости. Несмотря на вашу воздушность. Что же касается писания в свое удовольствие, то вы очаровательная. Прочирикали это только потому, что не знакомы на опыте со всею тяжестью и угнетающей силой этого червя.

ЛИКА. Вы не можете понять, что значит желать чего-нибудь и не мочь. Мне хочется вас видеть постоянно, быть рядом с вами. Страшно хочется этого... Вот и только. Знаю, это неисполнимым желанием так и пребудет! Мне осталось только три-четыре месяца видеть вас...

ЧЕХОВ. Что за мерлихлюндия, Лика? Мы будем видеться не три и четыре месяца, а 44 года, так как я поеду за вами или, проще, не пущу вас. Будем видеться, пока не прогоните. Скажите всем вашим поклонникам и тому, который стянул у вас 20 рублей, что им недолго еще осталось блаженствовать. Знаете, Лика, у нас поспел крыжовник.

ЛИКА. В декабре?! Оказывается, он знает про Потапенко. Я окончательно влюблена в Потапенко. Что же делать, папочка? Да очнитесь же, Антон Павлович!

ЧЕХОВ. Вскоре они уехали в Париж. И молчок. За дверью каждого счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком и непрерывно стучать, напоминая о том, что есть несчастные, и что после непродолжительного счастья непременно наступит несчастье.

СУВОРИН. Где вы пропадали?

ЧЕХОВ. В Мелиховском скиту. Хотите новость — моя литературная крестница Е. Шастунов...

МАША. Она вышло замуж... Да, да, Алексей Сергеевич, за петербуржца, тайного советника Максимилиана Юста.

ЧЕХОВ. ...И в огорчении...

СУВОРИН. Не расслышал. Вы в огорчении, Антон Павлович?

ЧЕХОВ. Пишет мне: "Муж — картежник, мистик, и от него пахнет серой".

СУВОРИН. Елена Михайловна тоже в переписке со мной. О запахе серы осведомлен.

ЧЕХОВ. Коли так — передайте мне письма Е. Шастунова. Я из них сделаю рассказчик... строк в четыреста... О мистицизме.

СУВОРИН. Стоит ли повторяться? У вас есть рассказ об этом.

ЧЕХОВ. "Ведьма"? Разве там от дамы дьявольщиной попахивает?

СУВОРИН. Кому вы это сомнение внушаете, неподражаемый пересмешник?

ЧЕХОВ. Да в рассказе дьячиха — жертва, несчастная женщина.

СУВОРИН. Жизнь с ненавистным мужем — явление, впрочем, распространенное — источник душевных болезней.

ЧЕХОВ. Я напишу рассказ про то, как голова действительного статского Юста, на сон грядущий трактующего о смерти, мало-помалу стала походить на голый череп. И как жена с ужасом ощутила прикосновение скелета. Теперь Елена Михайловна помешана на том, что у нее родится скелетик...

СУВОРИН. Психология в чистом виде. Спаси и помилуй...

ШАВРОВА. Не откажите прочесть новый рассказ...

ЧЕХОВ. Рад служить.

ШАВРОВА. Я в сомнении. Тема кажется мне слишком смелой и, пожалуй, неудобной для печати.

ЧЕХОВ. Вы правы. Сюжет рискованный. Тенденция так прет, подробности расползаются, словно пролитое масло, лица едва намечены...

ШАВРОВА. Какой ужас! Не по себе клонила дерево.

ЧЕХОВ. Женщину надо воспитывать так, чтобы она умела сознавать свои ошибки, а то, по ее мнению, она всегда права.

ЛИКА. Где вы, дядя? Я в Россию раньше Рождества не приеду, приезжайте вы к нам. Хандрю страшно, каштаны давно распустились, но меня ничто не радует. Пишите мне в Париж: рю Эмелан, 30.

ЧЕХОВ (*молчит*)**.**

ЛИКА. До свидания! Слышите, непременно до свидания в Париже. Ваш портрет показала хозяйке как портрет мужа. Она пристала показать, ну и пришлось. Поэтому пишите мне "мадам", а не "мадемуазель". И не сердитесь, что окажете мне такую услугу.

Здесь Потапенко вместе со свой женой.

ЧЕХОВ. Ехать с женой в Париж все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром.

ЛИКА. Я Потапенко почти не вижу. Он заходит иногда утром и, должно быть, потихоньку от жены. А та угощает его сценами, причем истерики и слезы — каждые полчаса.

Неужели я вас увижу? Напишите поскорее, когда думаете приехать. Но предупреждаю, не удивляться ничему. Да, какие-нибудь шесть месяцев перевернули всю жизнь, не оставили, как говорится, камня на камне. Впрочем, я не думаю, что вы бросите в меня камнем... Я беременна... Но все это пусть останется между нами, дядя! Никому, даже Маше вы не скажете ничего! Я нахожусь в том состоянии, когда не чувствуешь под собой почвы. И рядом никого.

ЧЕХОВ. К сожалению, я не могу ехать в Париж, так как я с Сувориным и не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель и, очевидно, здоровье я прозевал, так же, как вас. Будьте бодры и берегите свое здоровье. Крепко жму руку.

ЛИКА. Кажется, отдала бы полжизни за то, чтобы очутиться в Мелихове, посидеть на вашем диване, поговорить с вами десять минут, поужинать и вообще представить, что этого всего не существовало... Вообще!

СУВОРИН. Восьмого ноября 1894 года Лидия Стахиевна Мизинова родила дочь. Девочке дали имя Христина. Вот так-то, Антон Павлович! Христина Игнатьевна, что бы там ни говорили.

ЧЕХОВ. Если бы у меня были густые эполеты, как у того полковника, что мы встретили у Лейкина! Как бы меня женщины любили! Влюблялись бы без числа!

АВИЛОВА. Будто не влюбляются!

ЧЕХОВ. Влюбляются. Но я хочу проводить вас.

АВИЛОВА. Что эполеты?! За вами — шлейф славы от Москвы до Петербурга. И на каждой версте — романы, романы, романы...

ЧЕХОВ. Когда же вы, писательница, наконец, начнете писать романы? Пишите! Женщина должна писать так, точно она вышивает по канве. Напишите роман про то, как влюбились в офицера в густых эполетах...

АВИЛОВА. В высокого красавца со смеющимися глазами. Знаете что? Приезжайте завтра вечером ко мне...

ЧЕХОВ. Если только меня не увлекут в другое место.

АВИЛОВА. Муж Миша на Кавказе. Нам ничто не помешает поговорить по душам.

ЧЕХОВ. До завтра.

АВИЛОВА. Что я сделала? Миша с ума сойдет. И мне нечем защищаться. Но какое счастье ждет меня завтра?

СУВОРИН. Мария Павловна, куда исчез ваш брат? Ни в Большой Московской, ни в "Славянском базаре" о нем ничего не знают.

МАША. Он в Петербурге... Инкогнито. А вы знакомы с Лидией Алексеевной Авиловой?

СУВОРИН. Знаком, и весьма близко... Бледная, с белыми волосами, алыми розами на щеках... Нежный голос, стройная фигура, взгляд чудесных серо-голубых глаз. Можно увлечься. И серьезно.

МАША. Боже! Мать троих детей. "Матушка"...

ШАВРОВА. Антон Павлович, давно не имею о вас известий.

ЧЕХОВ. Спасибо, что вспомнили. И впредь не забывайте стариков... а мой адрес тот же — станция Лопасня Московско-Курской железной дороги.

ШАВРОВА. Очень прошу, пришлите мне рассказы, которые находятся у вас... Помните, из тех двадцати?

ЧЕХОВ. Зарежьте меня, повесьте, но рассказов ваших у меня нет...

ШАВРОВА. В наказание за рассеянность, Шер мэтр, жду вашу карточку, фотопортрет.

ЧЕХОВ. Исполняю ваше желание: посылаю фотографию. Лучшей у меня нет.

ШАВРОВА. А я рада, что вы прислали именно этот портрет, потому что напоминает он того Чехова, который в 89-м году жил в Ялте, и которого я больше всего знаю и люблю. Прошло столько лет. Теперешний Чехов кажется мне ужасно большим и далеким, правда! Вы не смейтесь...

ЧЕХОВ. Я не смеюсь... Я строю баню.

ШАВРОВА. Вы на меня за что-то сердитесь? За что?

ЧЕХОВ. К сведению всех, кто со мной дружит, — сердиться я не умею. Поручаю себя вашим святым молитвам.

ШАВРОВА. Упокойте меня... Скажите, что еще не вполне забыли "уважаемую коллегу"...

ЧЕХОВ. Отвечаю как помещик и литератор. Как помещик: меняю

кусок своего поля на усадьбу соседа. Как литератор: пишу пьесу. Пьеса моя растет, но медленно. Мешают писать.

МАША. Найдены на чердаке рукописи.

ЧЕХОВ. Сестра нашла. Когда я был за границей, прислуга все, что казалось лишним, отправила вместе с пустыми бутылками на чердак... Извиняюсь, извиняюсь, снисхождения не заслуживаю. Но... Рукописи ваши были ближе к небу — единственное утешение для людей и вещей, находящихся непосредственно под крышей.

ШАВРОВА. Отправьте их туда обратно!.. Или бросьте в печку! Или нет — привезите в Москву! Это вам в наказание. Во всяком случае, набивайте ими ваш чемодан!..

ЧЕХОВ. Слушаюсь!

ШАВРОВА. Как называется ваша пьеса?.. Или это секрет?

ЧЕХОВ. Секрет, но пьеса называется "Чайка"... Комедия. Три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пять пудов любви... В Москве буду 28-го. Я остановлюсь в Большой Московской гостинице, 5-й номер. Мы повидаемся, я попрошу у вас прощения...

ШАВРОВА. Антон Павлович, не смейтесь, прошу вас...

ЧЕХОВ. Не буду...

СУВОРИН. Отчего вы не женитесь? Хорошенькие, богатенькие и умненькие роятся вокруг вас. Погодите 5-6 лет, голубчик, и женитесь на моей дочери Насте. Какого вам еще рожна нужно? И я отдаю вам половину дохода с "Нового времени".

ЧЕХОВ. Извольте, я женюсь, если вы хотите этого. Но вот мои условия: все должно быть, как было до этого, то есть моя "она" должна жить в Москве или Петербурге, а я в деревне, и я буду к ней ездить. Счастье же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, — я не выдержу. Дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день!

СУВОРИН. Как же вы найдете такую "луну"? Мудрено...

ЧЕХОВ. Тоска! Не пойму, на том я или на этом свете. Уеду в Австралию — иначе сдохну...

ШАВРОВА. Возьмите меня с собой... Эх, силы бы мне побольше, смелости начать жить как-нибудь по-новому! Написала рассказ, опять вышло не так, как я хотела. Конца нет, сюжет не сложился...

ЧЕХОВ. Никаких сюжетов не нужно. В жизни нет сюжетов, в ней все перемешано...

ШАВРОВА. Едем вместе в Австралию, на Северный полюс, в преисподнюю, куда хотите... Душно мне...

ЧЕХОВ. В одном заштатном городе полицейский надзиратель сказал мне: "Хорош наш город, только любить здесь нечего!". Так и я скажу: "Хорошо в деревне жить, только в дурную погоду пить нечего!".

ШАВРОВА. Разве это справедливо, по-божески, когда ошибка в выборе мужа или жены должна испортить всю жизнь?

ЛИКА. Справедливость здесь ни при чем. Раз церковь благословила союз, он должен быть крепок и нерушим.

ЧЕХОВ. А ваше мнение, Лидия Алексеевна?

АВИЛОВА. Надо знать, стоит ли он?

ЧЕХОВ. Не понимаю. Как стоит ли?

АВИЛОВА. Стоит ли новое чувство тех жертв... ведь непременно должны быть жертвы. Прежде всего — дети. Надо думать о жертвах, а не о себе. К себе не надо жалости. Тогда ясно: стоит или не стоит.

ЧЕХОВ. У вас истинно христианская нравственность, Лидия Алексеевна...

СУВОРИН. Антон Павлович, ау! Скучаю-ю-ю!

ЧЕХОВ. Я дома в Мелихове. Завтра еду в Москву — проживу там три дня, а потом уж в Северную Пальмиру, прямо, стало быть, от расстегаев к славе и музам. В октябре там пойдет моя "Чайка" (*Пауза.*) Пьеса шлепнулась и провалилась.

СУВОРИН. Подумайте, что пишут, подлецы. "Пьеса провалилась так, как проваливаются пьесы вообще", — это "Сын Отечества". А вот "Биржевые ведомости": "Это не "Чайка", это дичь". "Петербургский листок": "Чайка" погибла. Ее убило единогласное шиканье публики...".

ЧЕХОВ. А ваше "Новое время" еще не высказалось?

СУВОРИН. Вы знаете, я был уверен в успехе и заранее написал заметку, где сказал о пьесе все то хорошее, что думал о ней, когда читал... Теперь придется кое-что переделывать, приноравливаясь к обстоятельствам.

ЧЕХОВ. Иероним Ясинский, за кого я ломал копья, с кем приятельски откровенничал, беспечно обедал, бегал по театру и шипел, как раздразненный индюк.

СУВОРИН. Да забудьте вы их всех. Они мизинца вашего не стоят.

ЧЕХОВ. Забыть?! Ну, нет! Самолюбие мое уязвлено. Больше пьес писать не буду. Не моего ума дело.

СУВОРИН. В театральной атмосфере есть что-то ядовитое, затягивающее. Как в алкоголе или никотине. И вы уже вкусили этой отравы. Она в вас.

ЧЕХОВ. Не шутя говорю, если проживу еще семьсот лет, то и тогда не дам в театр ни одной пьесы. Баста!

СУВОРИН. Не зарекайтесь. Поживете с мое, не так еще заговорите...

ЧЕХОВ. Послушайте... Рецензент живет с актрисой. Бенефис. Пьеса бездарная, игра дрянная, но рецензент обязан хвалить. Он пишет: "И пьеса, и бенефициантка имели большой успех. Подробности завтра". На другой день рецензент идет к актрисе. Та отворяет дверь, дает поцеловать себя и со словами: "Подробности завтра", — выпроваживает рецензента-любовника... Чтобы не знать новых подробностей, с утренним поездом уезжаю домой, в Мелихово.

МАША. Антон, где ты? На станцию Лопасня доставлен твой багаж. Что это значит?

ЧЕХОВ. А то, что я забыл вещи в вагоне. Маша, когда поедешь в Мелихово, привези с собой Лику.

ЛИКА. Маша звала меня побывать в Мелихове, а я застряла здесь, в Тверской глуши, дольше, чем хотела. Я и вам писала, что собираюсь через неделю быть в Москве... И не смогла... Девочка моя заболела воспалением легких... В очень тяжелой форме... 14 ноября доченьки моей не стало... В "Чайке" вы пишете про Нину: "Был у нее ребенок. Ребенок умер". И если правда, что Нина Заречная — это я, то ваше пророчество так жестоко!.. Зачем вы не предсказали Христине иной судьбы!

ШАВРОВА. Мысли непокорны, не укладываются гладко, и я не нахожу слов. Это было удивление, восторг и порою сладкое и жуткое страдание. "Чайка" так хороша, так трогательна, так правдива и жизненна, так нова по форме, что я не могу не выразить вам своего восторга и глубокой благодарности. Ах, боже мой! Отчего у меня нет настоящих слов?! Простите! Непрошеная экспансивность бывает смешна. В таком случае, вообразите, что все это пишет вам — одна из публики.

ЧЕХОВ. Если вы, почтенная, "одна из публики", говорите мне о первом представлении, о, позвольте мне — о, позвольте! — усомниться в вашей искренности.

ШАВРОВА. Нет, нет, нет...

ЧЕХОВ. Вы спешите пролить целительный бальзам на авторские раны, полагая, что это, по обстоятельствам времени, лучше и нужнее искренности.

ШАВРОВА. Нет, нет, нет...

ЧЕХОВ. Вы добры, вы очень добры, и это делает честь вашему сердцу. Во всяком случае, я благодарен и тронут очень, очень, очень... Пожа-

луйста, не молчите — говорите, а то у меня, право, такое чувство, точно ничего нет и ничего не было.

ШАВРОВА. Вы страшно несправедливы, упрекая меня в неискренности. Да, актеры, декорации, репетиции — все очень важно, но вы сами говорили — Шекспир, разыгрываемый даже бездарными лицедеями в деревянном сарае, все равно остается Шекспиром!

ЧЕХОВ. Почтенная коллега! Вы как-то признались, что хотите славы гораздо больше, чем любви. А я наоборот — хочу любви гораздо больше, чем славы.

ШАВРОВА. Верю! Верю! Верю!

ЧЕХОВ. Возвращаю с нарочным святочный рассказ. Дочитал его утром. Произошло что-то загадочное: нам не хватило долгого зимнего вечера, чтобы прочитать рассказ в пять страниц. Часы мои остановились.

ШАВРОВА. Кучер Василий, ожидавший меня у подъезда Большой Московской, превратился в Деда Мороза!..

ЧЕХОВ. Я ходил со своими часами к Буре, хотел отдать их в починку. Буре часы взял, повертел в руках, заглянул внутрь, улыбнулся и казал: "Мсье, вы забыли их завести!".

ШАВРОВА. Когда вы опять будете в Москве? Если не инкогнито, то дайте знать. Я приеду с верными часами. Мне, право, ужасно совестно — пробыла у вас с семи часов почти до двенадцати! Это вызывающе длинный визит.

ЧЕХОВ. Увы! Виноваты мы оба...

ШАВРОВА. Вы должны были соскучиться.

ЧЕХОВ. Мне вдвоем с литераторшей не бывает скучно.

АВИЛОВА. Алексей Сергеевич, вы только из Москвы. Как Чехов? Этот страшный скандал с "Чайкой"...

СУВОРИН. Москва добрее и умнее Петербурга. Чехов на деликатный пассаж Немировича: "Слышал, что "Чайка" не имела успеха", — ответствовал приятелю...

ЧЕХОВ. Да, моя "Чайка" имела в Петербурге громадный неуспех, и во всем этом виноваты ты и Сумбатов — вы подбили меня писать пьесу...

СУВОРИН. Немирович, однако, не каялся, а принялся уговаривать Антона Павловича разрешить ему взяться за постановку "Чайки" на новых принципах. На самом деле сцена с ее условностями на сто лет отстала от литературы, от Чехова. Полагаю, Владимир Иванович даст "Чайке" крылья...

АВИЛОВА. Спасибо. Вы сняли камень с моей души. Завтра я буду у него, пусть этот вечер все решит.

СУВОРИН. Третьего дня у Чехова пошла горлом кровь, когда мы сидели за обедом в "Эрмитаже". Он спросил себе льду, и мы, не начиная обеда, уехали. Два дня он пролежал у меня в номере.

ЧЕХОВ. У меня из правого легкого кровь идет, как у брата Николая...

СУВОРИН. Он смеялся и шутил по своему обыкновению, но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице.

ЧЕХОВ. Разве река тронулась?

СУВОРИН. А что в этом особенного?

ЧЕХОВ. Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: "Не поможет. С вешней водой уйду...".

ЛИКА. Как вы меня напугали!.. Вы и представить себе не можете, какие хорошие, нежные чувства я к вам питаю.

ШАВРОВА. И все же, дорогой Шер мэтр, вы интриган. Назначить свидание и не прийти.

ЧЕХОВ. Увы и ах! С моими легкими случился скандал. Пишите мне, а то я подохну с тоски...

ШАВРОВА. Милый, дорогой, я предчувствовала что-то неладное... Господи, как же это могло случиться: вы не береглись, наверное, и слишком утомлялись? В течение этих двух недель я каждый день ожидала вас сюда, и когда сегодня позвонили в дверь, я подумала, это вы, но это было ваше письмо... из больницы.

СУВОРИН. От Чехова, который лежит в клинике Остроумова, телеграмма: "Крови меньше, но положение неопределенное. Неизвестно, когда выпустят...". Приходил Толстой.

ЧЕХОВ. Маша, матери о том, что я попал сюда в клинику, ни слова...

МАША. Антон, бога ради, береги себя, не переутомляйся!

ЧЕХОВ. Всё, иди, Маша.

С цветами входит Авилова. Подает цветы Чехову.

ЧЕХОВ. Все мои любимые. Ко мне не пускают, но я попросил доктора сделать для вас исключение.

АВИЛОВА. У нас три минуты.

ЧЕХОВ. Как вы добры...

АВИЛОВА. Всего три минуты...

ЧЕХОВ. Скажите: вы пришли бы?

АВИЛОВА. Но я была в Большой Московской...

ЧЕХОВ. Как же не везет нам! Да, да — не везет!

АВИЛОВА. Не говорите так много и горячо. Вам нельзя. И это неважно...

ЧЕХОВ. Неважно?

АВИЛОВА. Все на свете неважно, лишь бы вы скорей поправились.

ЧЕХОВ. Когда вы едете?

АВИЛОВА. Сегодня.

ЧЕХОВ. Нет, останьтесь еще на день, прошу вас.

АВИЛОВА. Антон Павлович, не могу. Миша в течение суток прислал три телеграммы.

ЧЕХОВ. Значит, нельзя... Простите.

АВИЛОВА. Выздоравливайте.

ЧЕХОВ. Лидия Алексеевна, вы похожи на гастролершу.

ЧЕХОВ (*один*)**.** Поле. Даль. Одинокая березка. Подпись под картиной — одиночество. (*Суворину.*) Алексей Сергеевич, я телеграфировал вам, что женюсь на богатой вдове. Увы! Теперь за меня ни одна дура не пойдет: я сильно скомпрометировал себя тем, что лежал в больнице.

СУВОРИН (*в зал*)**.** Антон Павлович сильно изменился. Лицо желтое, изможденное. Постоянный кашель и озноб.

ЧЕХОВ. Здоровье мое ни то ни се и порядочно-таки мне надоело. Стараюсь о нем не думать и злюсь, когда о нем говорят. Вы знаете, я зол, как тигра лютая. Будут приставать с этим, послушаюсь того хохла, который сказал: "Колы б я був царем, то украв бы сто рублив и утик". Похоже, я так и сделаю — до будущей весны сбегу в Ниццу...

ЛИКА. Где вы, дядя?

ЧЕХОВ. Мой адрес: Ницца, Русский пансион.

ЛИКА. Я тут недавно размышляла о вашем романе с писательницей Шавровой-Юст...

ЧЕХОВ. Ликуся, не сообщай тайных мыслей — не сбудется самое заветное желание.

ЛИКА. Ел, ел человек вкусные и тонкие блюда — и надоело ему, захотелось редьки!

ШАВРОВА. Я так горячо люблю его и сознаюсь в этом потому только, что это так же естественно, как если бы я сказала, что люблю солнце.

ЛИКА. В Мелихово не ездила, потому что и из Машиной души я вытиснута так же, как и вашего... Что испугались?! Думали, осмелюсь сказать "из вашего сердца"?... нет, флигеля.

ЧЕХОВ. Да, чуть не забыл. Я завел тут девицу, француженку. Для упражнений на французском языке. Девятнадцать лет, зовут Марго. Извините меня за это, пожалуйста, и верьте, я ценю в женщине не только чистоту, но и доброту.

ЛИКА. Я всегда рада, когда моим друзьям хорошо. Вот и за вас я порадовалась, что наконец-то вы взялись за ум и завели себе француженку. Для практики.

МАША. Так случилось, что все до единой пьесы ты, Антон, отдал Художественному общедоступному, Немировичу.

ЧЕХОВ. Как было не отдать. Режиссер-реформатор прислал мне душеспасительное письмо: "Сегодня было две считки "Чайки". Если бы ты незримо присутствовал, ты немедленно начал бы писать новую пьесу". Не знаю, не знаю, милый Владимир Иванович... Пока что дописываю рассказ. Рассказ называется "О любви".

АВИЛОВА. Как хочется знать, что в нем!

ЧЕХОВ. "Когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе". Прав тот, кто искренен.

АВИЛОВА. Неженатому мужчине легко рассуждать о любви. А мне с мужем и тремя детьми из какого такого "высшего" следует исходить? Жизнь защемила меня, и освободиться от этих тисков невозможно. Что ж, разорвать душу пополам?

ЧЕХОВ. "Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может привести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею..."

АВИЛОВА. В этих рассуждениях — ваши собственные опасения и сомнения.

ЧЕХОВ. Короче говоря, позвольте вам выйти вон, Антон Павлович. Мне грустно, что рассказом "О любви" я опечалил, раздосадовал вас.

ШАВРОВА. Что я сделала? Чем провинилась? Неужели нам не суждено увидеться? Я прочла недавно, что выдающихся писателей не следует беспокоить перепиской. Как часто я была грешна этим... в отношении вас. И все же скажите, как вам живется в парикмахерской Ялте?

ЧЕХОВ. Недурно. Гуляю по городскому саду и ялтинской набережной. Однако... Пришлите мне что-нибудь почитать. У меня ничего нет. Книготорговец Синани подарил "Таможенный тариф". Делать нечего, читаю.

МАША. Антон, у меня в гостях была писательница Юст. Сама пришла. Она премилая. Очень мне понравилась. Лицо у нее стало гораздо красивее и даже показалось мне прекрасным. Она готовится стать матерью. Может, от этого и похорошела.

ЧЕХОВ. Вы были у сестры, уважаемая коллега? Вы очень, очень добры.

ШАВРОВА. Мария Павловна прелесть и похожа на вас. Но это было так давно.

ЧЕХОВ. Вас не видно, не слышно. В Ялте без вас, без музыки скучно...

ШАВРОВА. Я была очень больна, и мой маленький умер. Вообще, я неудачница.

ЧЕХОВ. Мне грустно, что вам живется невесело, и что вы называете себя неудачницей. Крепко жму руку и желаю всего хорошего.

ЛИКА. Вы хорошо знаете, что я вас люблю гораздо больше того, чего вы стоите, и отношусь к вам лучше, чем вы ко мне! Я знаю отлично, что не могла представить для вас никакого интереса! Вы покупаете землю в Крыму и переселяетесь туда! Значит, прощай, Мелихово! Если бы я уже была великой певицей, купила бы у вас Мелихово. Ну, прощайте, если напишете, буду рада, а не хотите — не пишите!

ЧЕХОВ. Лика, ваше сердитое письмо, как вулкан, извергло на меня лаву и огонь, но тем не менее, все-таки я держал его в руках. И читал с большим удовольствием. Лика, я был на репетиции "Федора Иоанновича". У Немировича-Данченко и Станиславского интересный театр. Прекрасные актрисочки. Если бы я задержался в Москве, то потерял бы голову. Между прочим, ставится моя злополучная "Чайка". Клянусь, Лика, что без вас мне скучно.

ЛИКА. Когда-то я писала вам часто и много, и в ответ получала открытки о том, что поспел крыжовник.

ЧЕХОВ. Всякий раз, как вы нечаянно влюблялись то в одного, то в другого моего приятеля.

ЛИКА. В январе я в Россию не приеду — буду ждать вас в Париже. Слышите, дядя? Я приеду вас встретить, если бы у вас было даже десять невест, и все они собрались бы меня бить... Как мне скучно здесь, и как мне все надоело.

ЧЕХОВ. Не будьте кислы, как клюква, будьте рахат-лукумом.

МАША. Антоша, у тебя с лица не сходит улыбка, как будто ты вновь вкушаешь свой излюбленный рахат-лукум.

СУВОРИН. Антон Павлович, вы были на репетиции в Художественном общедоступном?

ЧЕХОВ. Они репетируют в "Эрмитаже". Ремонт сцены еще не закончен. Не налажено освещение. Помещение не отапливается. Актеры репетируют в пальто при зыбком свете свечей. Со сцены на меня повеяло настоящим искусством. Меня тронула интеллигентность тона в игре акте-

ров, а Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность — так хорошо, что даже в горле чешется. Если бы остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину.

МАША. А имя актрисы ты узнал? Настоящее имя?

ЧЕХОВ. Ольга Книппер. Я упросил Немировича поручить ей роль Аркадиной в моей "Чайке".

МАША. Надо же, влюбился в загримированную актрису. Впрочем, не в первый раз.

ЧЕХОВ. Ах, как обидно, что приходится уезжать.

АВИЛОВА. В апреле он жил в Москве. Я ему написала, что скоро буду в древней столице проездом.

ЧЕХОВ. Не приедете ли вы ко мне с вокзала пить кофе? Если будете с детьми, то заберите и детей. Кофе с булками, со сливками; дам и ветчины.

АВИЛОВА. Но приехать к вам никак невозможно. От поезда до поезда всего два часа.

ЧЕХОВ. Как знаете. Я повидаюсь с вами на вокзале. Я вот что хочу предложить вам: сегодня, первого мая, играют "Чайку" только для меня. Посторонней публики не будет. Останьтесь до завтра.

АВИЛОВА. У меня на руках дети, француженка, горничная. Надо телеграфировать сестре в деревню, мужу в Петербург. Все чрезвычайно сложно и трудно.

ЧЕХОВ. Вы никогда со мной ни в чем не согласны. Мне очень хотелось, чтобы вы видели "Чайку" вместе со мной. Неужели нельзя это как-нибудь устроить?

АВИЛОВА. Нельзя. Ничего не получается.

ЧЕХОВ. Поймите же, вечером пойдет "Чайка". Без публики, только для меня. Ах, какие артисты, какие артисты!.. Я сердит на вас, что вы не хотите остаться. Ну, прощайте...

АВИЛОВА. Но мы прощаемся не навсегда.

ЧЕХОВ. Навсегда... Даже если заболеете — не приеду. Я потребовал бы высокую плату... Вам не по средствам.

КНИППЕР. Мария Павловна, как хорошо, что он побывал на репетиции...

МАША. После знакомства с артистами Художественного театра я писала Антону Павловичу, что советую ему поухаживать за Книппер. В эту среду у меня назначен вечер с Книппер. Она тянется ко мне.

КНИППЕР. Это случилось в первый день Пасхи. К нам в московскую квартиру пришел с визитом Чехов. Как полагается, познакомился

с родителями, пригласил меня побывать в его подмосковной усадьбе. Три майских дня провела я в Мелихове. Все решительно пленило меня там: и дом, и флигель, где была написана "Чайка", и сад, и фруктовые деревья, и утки, и сельская учительница, гулявшая с учителем по дорожке. Казалось, шла Маша с Медведенко. Три дня, полные чудесного предчувствия... Мужчина! Мужчина верен и постоянен в любви! Скажите, какая новость! Имеете право говорить мне это? Мужчины верны и постоянны?

ЧЕХОВ. Здравствуйте, последняя страница моей жизни, великая актриса земли русской. Я завидую горам Кавказа и черкесам, которые вас видят каждый день. Когда вернетесь в Москву?

КНИППЕР. А я-то думала, что писатель Чехов забыл об актрисе Книппер. Так, значит, изредка вспоминаете?

ЧЕХОВ. Постоянно думаю о ней. Милая, необыкновенная актриса! Замечательная женщина!

ШАВРОВА (*потерянным голосом*). Шер мэтр, где вы? Я вас не вижу, не слышу...

КНИППЕР. На днях танцевала до пяти с половиной утра на балу в золотом платье на "Большую декольту"... Слава богу, что сезон кончается. Он мне надоел. Измучил меня. Хочется удрать из Москвы и театра.

ЧЕХОВ. Ваш начальник Владимир Иванович Немирович сообщает мне, что труппа будет в Ялте в начале мая: пять спектаклей, потом вечерние репетиции. Для репетиций останутся только ценные представители труппы. Надеюсь, вы ценная?

КНИППЕР. А вы еще сомневаетесь?

ЧЕХОВ. Милая актрисуля, я привез тебе из-за границы духов, очень хороших. Приезжай, милая, добрая, славная.

КНИППЕР. По-твоему, как? Лучше молчать о том, что хочется высказать, или наоборот?

ЧЕХОВ. Вы хотите есть? Нет, наоборот.

КНИППЕР. Я знаю — ты враг всяких "серьезных" объяснений, но мне не объясниться надо с тобой, а поговорить как с близким человеком. Я так ждала весны, ждала, что мы будем вместе, поживем хоть несколько месяцев друг для друга, станем ближе. И вот опять погостила в Ялте и опять уехала. Тебе все это не кажется странным? Тебе самому?

ЧЕХОВ. Теперешние женщины годятся только в прислугу, лучшие из них идут в актрисы.

МАША. Оля, я не думала, что так сильно буду тосковать по тебе!

Спрашиваешь, какое у меня настроение? Меня страшно беспокоит неизвестность. Как ты себя чувствуешь, и как порешили?

КНИППЕР. На чем порешили с братом твоим? Разве с ним можно порешить? Я ничего не понимаю и страдаю от этого.

МАША. Оля, я рада за вас...

КНИППЕР. Радоваться нечему! Он успел разлюбить меня.

МАША. Нет, нет. У Антона это серьезно... Мы жили на даче в Бабкине, на Истре. Иду однажды по лесной дороге и встречаю Левитана. Остановились. Заговорили. Вдруг он бух передо мною на колени и объясняется в любви. Левитан забавно картавил — не произносил звука "р", а вместо "ш" у него получалось "ф". Слышу: "Милая Мафа, каждая че-тока твоего лица мне до-ага"... Я расхохоталась и убежала...

КНИППЕР. Чем дело кончилось?

ЧЕХОВ. Я сказал ей тогда: "Все это несерьезно, конечно, можешь выйти за Левитана, но его интересуют женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты".

КНИППЕР. Маша, что, Антон тоже любит бальзаковских женщин?! Ну и что? Мне уже... В общем, у меня бальзаковский возраст...

МАША. Помнится, я советовала Антону поухаживать за актрисой Книппер. Теперь жалею об этом. Могу потерять и ближайшую подругу, и брата.

КНИППЕР. Не надо, Маша! Этого не случится!

МАША. Кто знает...

КНИППЕР. Левитану, конечно, было отказано. А дальше? Были женихи?

МАША. Были. Полтавский помещик Александр Иванович Смагин сделал мне предложение. Он нравился мне. Прежде, чем дать ответ, решила поговорить с братом. Я объяснилась — Антон молчал... Не смогла я причинить ему неприятность, уйти из семьи, расстроить привычный образ жизни. Вот так, Оля! (*Поет.*) "Утро туманное, утро седое..."

КНИППЕР. Доброе утро, дорогой мой! Ялта промелькнула, как сон. Какое счастье любить, быть близкими.

ЧЕХОВ. Мне все кажется, что откроется дверь и войдешь ты.

КНИППЕР. Как хочется посидеть у тебя в кабинете, чтобы было тихо-тихо — отдохнуть около тебя, глупостей наговорить, подурачиться... Вот сейчас, скрестив руки и глядя на твою фотографию, думала, думала и о тебе, и о себе, и о будущем. А ты думаешь?

ЧЕХОВ. Вчера и третьего дня был в Гурзуфе, теперь опять сижу в Ялте, в своей тюрьме. И злюсь, злюсь, злюсь...

ШАВРОВА. Кто поет для вас, Шер мэтр? У меня много новых вещей. С каким удовольствием я спела бы вам их.

ЧЕХОВ. Это было бы прекрасно. Приезжайте. Что нового в Петербурге, о чем говорят, кто будет министром, и кто за кем ухаживает? Кстати, я ни за кем не ухаживаю: нет ни одной живой души! Чтобы развлечь себя немножко, завел мышеловку новой конструкции и ловлю мышей. Так что вы, уважаемая коллега, не можете сказать: "Шер мэтр мышей не ловит".

ЛИКА. Когда же ваша свадьба? И где ваша невеста? А все-таки гадко с вашей стороны не сообщать об этом такому старому приятелю, как я.

ЧЕХОВ. Вы же знаете, Лика, что я никогда не женюсь без вашего позволения.

ЛИКА. Смотрела на днях "Чайку". Книппер...

ЧЕХОВ. Великолепна...

ЛИКА. Была я в понедельник, а сегодня суббота, и до сих пор я еще под впечатлением.

ЧЕХОВ. Лика, мне в Ялте очень скучно. Жизнь моя не идет и не течет, а влачится. Не забывайте обо мне, пишите хоть изредка. В письмах, как и в жизни, вы очень интересная женщина.

КНИППЕР. Когда я сказала, что уезжаю с Машей в Москву, ты ни одним словом не обмолвился, чтобы я осталась, или что тебе не хочется расставаться со мной. Ты промолчал.

ЧЕХОВ. Милая, славная Книпшиц, я не удерживал тебя, потому что в Ялте противно...

КНИППЕР. В Москве все поражены, узрев меня, не могут понять причины моего приезда. Я всем говорю, что вызвала мать для решения квартирного вопроса. Ты не выходишь у меня из головы. Вдруг мне кажется, что ты уже охладел ко мне, что не любишь меня, как прежде, что тебе просто нравится, чтобы я приезжала к тебе, вертелась бы около тебя и больше ничего...

ЧЕХОВ. Напрасно ты сердишься, моя Дуся. Никаких у меня тайных мыслей нет, я говорю тебе все, что думаю. В начале мая я приеду в Москву, мы, если можно будет, повенчаемся и поедем по Волге, или прежде поедем по Волге, а потом повенчаемся. Это как ты найдешь более удобным...

КНИППЕР. Пожить бы с тобой подольше полной, хорошей жизнью. Милый мой. Родной мой. Хороший мой. Просто хочется ласкательные слова говорить. Привези свои бумаги, чтобы мы скорее могли повенчаться. Надоели мне кусочки, хочу полноты.

ЧЕХОВ. Маша. Хочу жениться. На актрисе Книппер из Художественного театра. Лучше жениться на немке, чем на русской: Немка аккуратнее, и ребенок не будет по дому ползать и бить в медный таз.

МАША. Позволь мне высказать свое мнение насчет твоей женитьбы... Окрутиться всегда успеешь. Так и передай твоей Книпшиц... Прежде всего, нужно думать о том, чтобы ты был здоров. Здоров и счастлив.

ЧЕХОВ. Ну-с, мое здоровье. Был я у доктора Шуровского. Он нашел притупление и слева и справа, велел немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губернию. На кумысе придется пробыть два месяца. Уж не знаю, что мне делать, как быть. Ехать одному скучно, жить на кумысе скучно. Женился бы, да нет при мне документов, все в Ялте, в столе.

МАША. Если бы ты позволил навестить тебя на кумысе, хотя бы одну недельку. Почему ты молчишь, Антон?

КНИППЕР. Маша! Антон милый-размилый, я люблю его и любуюсь им, и ухаживаю за ним. Чувствует он себя лучше гораздо. Ему хорошо. Ты не волнуйся, родная, будь умницей, будь милая, чтобы нам всегда хорошо жилось. Ведь мы любим друг друга — правда? Ты ведь меня не разлюбишь оттого, что я стану женой Антона?

МАША. Милая моя, Олечка, тебе только одной удалось окрутить моего брата. Уж как он крепился, не поддавался, но в твоем лице судьба пришла, фатум. Кончено.

КНИППЕР. Но мы любим друг друга сильно.

МАША. Венчание это такой ужас, такая трепка нервов Антона, больного, очень больного человека. Зачем тебе все это нужно?

КНИППЕР. Не хочу незаконной любви.

МАША. Изменятся ли наши отношения к худшему — это теперь только от тебя зависит. А вдруг ты будешь Наташей из "Трех сестер", я ведь тебя тогда задушу. Горло перекусывать я тебе не стану, я тебя просто задушу.

КНИППЕР. Маша, мне надо много, много с тобою говорить. Милая, дорогая, родная моя.

МАША. За два года я успела к тебе сильно привязаться. Да не будет это мне во вред.

ЧЕХОВ. Женился. Женился я, главным образом, из того соображения, что, во-первых, мне теперь более 40 лет, во-вторых, у Ольги добродетельная родня и, в-третьих, если понадобится развестись с ней, то я разойдусь ничтоже сумняшеся, как будто и не женился. Ведь она самостоятельный человек и живет на свои средства. Затем важно соображе-

ние, что эта женитьба нисколько не изменила образа жизни моего и тех, кто жил и живет около меня. Все, решительно все останется так, как было, и я в Ялте по-прежнему буду проживать один. Один! Не знаю, как долго... Не знаю...

КНИППЕР. Свершилось. Я жена Чехова. Ольга Книппер-Чехова. Моя радость, моя гордость, мое блаженство.

ЧЕХОВ. Я влюблен в себя по самые уши.

КНИППЕР (АРКАДИНА). Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Не хотите ли сыграть партию... Ставка — гривенник. Поставьте за меня, доктор.

СУВОРИН (ДОРН). Слушаю-с.

АВИЛОВА (МАША). Все поставили? Я начинаю... Двадцать два!

КНИППЕР (АРКАДИНА). Есть.

АВИЛОВА (МАША). Три!...

СУВОРИН (ДОРН). Так-с.

АВИЛОВА (МАША). Поставили три? Восемь! Восемьдесят один! Десять.

ЛИКА. Не спеши.

КНИППЕР (АРКАДИНА). Как меня в Харькове принимали, батюшки мои, до сих пор голова кружится!

АВИЛОВА (МАША). Тридцать четыре!

КНИППЕР (АРКАДИНА). Студенты овацию устроили... Три корзины, два венка...

АВИЛОВА (МАША). Пятьдесят!..

ШАВРОВА. Ровно пятьдесят?

КНИППЕР (АРКАДИНА). На мне удивительный туалет... Что-что, а уже одеться я не дура.

АВИЛОВА (МАША). Восемьдесят восемь!

ЧЕХОВ (ТРИГОРИН). У меня партия, господа.

КНИППЕР. Браво! Этому человеку всегда и везде везет!

Чехов уходит.

СУВОРИН. Я забыл поздравить вас...

МАША. Антон, как мне жутко, что ты вдруг женат...

АВИЛОВА. Узнав о вашей женитьбе, я горячо, от всего сердца желаю вам счастья. Была ли наша любовь настоящей? Но какая бы она ни была, я вам благодарна за нее. Из-за нее вся моя молодость точно обрызгана сверкающей, душистой росой.

Я люблю...

ШАВРОВА. Я люблю его. Люблю страстно, до отчаянья люблю. Хорошо было прежде! Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства, чувства, похожие на нежные, изящные цветы! Помните!..

ЛИКА. Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил...

Я — чайка, чайка...

Крик чаек.

Конец.



ЖИЗНЬ — ИСКУССТВО — ЖИЗНЬ

Михаил ОБУХОВСКИЙ
Французский художник — сын Одессы 205

Валентин МАКСИМЕНКО
Новый поэтический сборник и вся жизнь 213

Ласло САБО
Книга об Одессе — в Венгрии 218

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Портреты одесских художников 224

Инна КАМИНА
Интересные люди: кто они? 225

Эвелина ШАЦ
Горе от ума,
или Сатурн пожирает своих сыновей 233

Кира САПГИР
Ночь Спинозы 241

Ольга БАРКОВСКАЯ
Журнальная графика Л. Пастернака 245

Виталий АМУРСКИЙ
Мучительное право — любить 250

Михаил ОБУХОВСКИЙ

Французский художник — сын Одессы

Собираясь на ежегодную семейную новогоднюю встречу, я и не предполагал, что в последние часы уходящего года получу привет из XIX века, от одного из ростков того питомника талантов, с которым уже прочно ассоциируется во всем мире наш Город.

...На этот раз была очередь принимать нашей младшей, которая живет под Версалем. Аккуратный городок, не нарушающий первозданность окружающих лесов Рамбуйе. Три-четыре двухэтажных домика вокруг крошечного сквера, — вот и модуль, образующий городок. Перед праздниками, как говорят французы, "Конца года", эти домики, соревнуясь друг с другом, засверкали симфонией электронных гирлянд, фигурками дедов морозов, карабкающихся к дымовым трубам, чтобы успеть всем разложить рождественские подарки в выставленные у камина туфельки... Многие уехали "на лыжи" или к друзьям, — места для парковки наших машин было достаточно, что стало наградой за сделанные 500 километров перегруженных дорог... На бывших королевских охотничьих землях возникли десятки комплексов новой королевы — информатики. Этот полюс новейших технологий вытеснил даже знаменитые военные школы Сен-Сира... До Версаля меньше 20 минут, и мы поехали туда 31-го после полудня. Дворец был в осаде, черные издали отряды туристов скапливались перед позолоченными порталами ограды с символами Короля-Солнца и, взяв штурмом ворота, растекались затем по булыжникам мостовой у подножия бронзового Людовика XIV. Мы решили пройтись старым городом, сохранившимся за левым крылом Версальского дворца: Пассаж де ля Жеоль, Импасс (тупик) Дюплесси... Останки Средневековья, зажатые между улочками Паруа и Баяж... Низкие массивные, выделяющиеся из сплошной застройки крепостные стены с арками для проезда экипажа, не шире. Дорогие витрины антиквариата, ювелирных изделий, часто отмеченных королевской лилией или стилизованным изображением солнца, конечно, — Короля-Солнца. Несколько почти пустых, если не считать нас, художественных лавок — картины не покупают в суете 31-го декабря.

И вдруг — странные в этом средневековом каменном королевстве красные паруса рыбацкой лодки. Выставленная на мольберте картина привлекала меня отражением косого цветного паруса в сине-зеленой воде. Внук, державший меня за руку (все другие уже ушли вперед), сказал: "Дед, смотри, здесь пишется: Одесса", — и показал на табличку у заинте-

ресовавшей меня картины... Фамилия художника, даты и места рождения и смерти: Emil Benediktoff Hirschfeld. 1867 (Odessa) — 1922 (Concarneau); и дата аукциона, где будет выставлена картина.

Фамилия художника была мне не знакома. Одесса в конце XIX века не имела связей с маленьким рыбацким портом Конкарно, защищенным крепостной стеной с толстыми угловыми башнями и дикими скалами бретонского берега (не сразу представляешь, что Бретань — нос Франции, высунутый в Атлантический океан, — находится западнее большей части Великобритании...).

— Вы не могли бы рассказать мне о художнике? — попросил я галериста.

— Это очень хорошая картина, — улыбнувшись, потому что вместо автора он говорит о работе, начал он. — Видите, какое море? Настоящая Бретань! Да еще славянская душа художника, он-то из России...

Я сразу понял, что заболел, — французский художник, родившийся в Одессе!

Начало года застало меня за каталогами выставок Финистера (самый морской департамент Бретани), на сайтах с описанием творчества художников западного побережья Франции. Ведь знал я о них очень мало, разве что Понт-Авенскую школу живописи, таинство картины "Добрый день, господин Гоген"...

Интересно, что никаких упоминаний об одесском периоде Эмиля Гиршфельда (наверное, так пишется фамилия художника в обратном переводе)* я так и не смог найти, а французский — собирал по крохам: галереи, аукционы и, как награда, — музеи Конкарно и Кемпэр.

Эмиль Гиршфельд появился в Бретани в последнем десятилетии XIX века, когда неоклассицизм был еще в апогее, но уже начал распространяться реализм пейзажей, портретов и жанровых сцен. На холстах и акварелях приезжавших в Бретань художников, очарованных пейзажами стиснутого океаном с трех сторон скалистого полуострова, природа занимала больше места, чем в работах, выполненных в других провинциях. Художники и писатели приезжали сюда, чтобы открыть для себя свирепые волны, атакующие отвесные скалы, задохнуться йодистым ветром, наклонившим почти горизонтально могучие корявые сосны на берегу.**

Своей конфигурацией полуостров был защищен от наступления индустриальной революции, и французских художников привлекла почти нетронутая природа во всей первозданной красоте, да плюс еще экзотика океана, запах холщовых просоленных парусов. Многие мастера живописи были сражены очарованием Корнуая.*** Здесь были отмечены вдохнове-

нием Коро, Добиньи, Эжен Будэн... (чтобы вспомнить только знаменитых). В парижских галереях и в Ежегодных салонах все чаще звучали бретонские мотивы, в то время как в самой Бретани образовывались артистические колонии. Наверное, самые известные и плодотворные в Понт-Авен и в Дуарнэз. Здесь в 1888-м Гоген и Эмиль Бернар выдумали синтетизм — первый этап современного искусства, как казалось мне много лет назад при первых встречах с еще черно-белыми репродукциями и монографиями Гогена...

Ранняя живопись Гиршфельда отмечена влиянием Курбэ. Как и многие из эмигрировавших художников России, Гиршфельд сделал остановки в Мюнхене и в Париже, прежде чем поселиться в Бретани. Он принес с собой социальную тематику передвижников, их внимание к народной добродетели и к народному горю.

В 1891 году по совету своего парижского учителя Кормона (Cormon) Гиршфельд впервые посещает маленький живописный порт французского "крайнего Запада" — Конкарно (Concarneau), и уже через два года вместе с Гиё (Alfred Guillau), он создает Группу Конкарно. Это содружество артистов не было художественной революцией, как в соседнем Понт-Авене, но подарило Бретани признание любви к ее вечно переменчивому океану, к отражению рыбацких парусов и неба, зажженного закатом.

В первый бретонский период, еще по следам русской тематики, печальные сюжеты стали определяющими в живописи Гиршфельда ("Останки кораблей", "Старые лодки под луной"...) Он уже имел солидный художественный багаж, когда предложил в 1893 году "Осень бравых" Национальному салону изящных искусств. Картина была отмечена жюри Салона. Постепенно пейзажи заменяют мелодрамы, как будто бы магия и красота океана лечили драмы. Его палитра становится более теплой и нюансированной, сменив монохромию начального французского периода. Он пишет море при рождении и при закате дня, зыбкий переход от одного состояния к другому, многочисленные рыбацкие суденышки — ловцы тунца. Гиршфельд позволил себе увлечься светом Бретани. Появляются "Эффект луны при отливе" (1998), "Парусники в бурю" (1905), "Закат солнца на неспокойном море"...

На самой значительной выставке бретонской живописи прошлого века — "Конкарно и его художники", проходившей в 1985 году, — одно из почетных мест занимал Эмиль Гиршфельд, работавший в Конкарно последние 30 лет своей жизни. Восемь картин представляли все периоды творчества художника: "Парусные лодки для ловли тунца у набережной", "Закат

при отливе", "Восход солнца на Руз"... Постоянная экспозиция музея содержит несколько работ художника: "Возвращение с рыбной ловли", "Полнолуние на море", "Парусник в лунную ночь", "Рыбаки. Выход в море утром"... — шедевры Мастера. Выставка подтверждает, что Гиршфельд нашел свою тематику: луна и море, закаты в заливах, многочисленных "рукавах" моря, изрезавших бретонское побережье.

В одном из редких документов, посвященных творчеству Гиршфельда, Огюст Дюпуи (Auguste Dupouy, сборник "Бретань туристская", 1924), художественный критик и друг художника, выражает свое восхищение игрой лунного света на белых корпусах двухмачтовых фелюг, утренним солнцем, расцветившим мачты, веревки такелажа и орудия лова. Он пишет о создании атмосферы таинственности в работах автора: "Когда я любуюсь картинами Гиршфельда, я чувствую себя унесенным эмоциональным порывом, как будто я слушаю одну из тех симфоний, которые вызывают мистические слезы".

В начале прошлого века, когда между французскими художниками и Бретанью установились уже привилегированные отношения, на бретонском берегу от флибустьерской крепости Сен-Мало и до рыбацкого порта Порник стали появляться художники из стран Восточной Европы, из России, в частности. Они привнесли мистику и полутона в работы художников Бретани. Это русское влияние еще не исследовано достаточно.

Честь объединить для одновременного показа творчество мастеров бретонских и эмигрировавших из России, исследовать их взаимное влияние, выпала выставке "Русские художники в Бретани" (1987 год) в Национальном музее Бретани, в городе Кемпэр (Quimper). Собранные вместе работы свидетельствовали счастливую "историю взаимной любви" между Бретанью и работавшими здесь русскими художниками. В каталоге выставки я нашел портреты женщин Корнуайа работы Зинаиды Серебряковой, картины Марии Васильевой, автора русско-бретонской "иконы"... Творчество Гиршфельда представляли восемь работ: "Бретонский продавец цветов", "Сушка сетей", "Выход парусников на ловлю тунца", "Заход солнца в заливе" — свидетельства очарования Бретанью.

Больше других меня привлекла картина "Пятидесятилетие свадьбы" (1893 год). На скамейке перед домом, сложенном из местного гранита, способном противостоять ураганному ветру, рядом с незавидным огородом сидят два старика; на столе бутылка сидра, которой они скромно празднуют юбилей их союза; мысли их далеко, в воспоминаниях о дне молодости, который сблизил их... А в вечернем воздухе уходящего дня растворяет-

ся образ молодой невесты, призрак, сквозь который просвечивается сад, залитый вечерним дрожащим светом... Для художника эта картина отмечала этап в поисках света, заполняющего все его картины; для меня — поэзию пройденного совместно пути... В этот полупрозрачный свет завернута портовая реальность и мистика всех его морских картин. Этот прозрачно-опаловидный блеск художник прибавил к конкарнуайской живописи как свою отличительную ноту.

В постоянной экспозиции музея в Кемпэр картины Константина Кузнецова, Андрея Ланского, акварели Александра Бенуа соседствуют с картинами Ива Танги, Алена Бретона... Таков уровень сокровищ Музея Бретани, которому выпала привилегия начертить соединительный союз между двумя мирами, созданными в Бретани местными мастерами и эмигрировавшими из России и ставшими французскими художниками.

Жена Гиршфельда, Emmy Leuze Hirschfeld (1884, Вена — 1973, Кемпэр), была также художником. Они соединили свои судьбы в 1906 году и поселились в вилле-мастерской, на нависшем над морем утесе ("на карнизе", как говорят в Бретани). До этого Эмиль жил в отеле Бориваж (Beaurivage) или снимал мастерскую. Красавица Эмма вдохновила не только мужа (прекрасный ее портрет 1903 года в музее Конкарно) — известен ее портрет работы Сиднея Томсона (Sydney Lough Thompson, 1917 год), которому, по-моему, не хватает чувственности (да и мастерства!) портрета Гиршфельда. После смерти мужа Эмма подарила несколько его работ музею в Кемпэр, среди них — весь пронизанный колышущимся светом "Вечерний отдых в Конкарно". Что касается творчества самой Эммы, то она известна колоритными портретами. Я нашел "Портрет Бретона" на последнем аукционе ArtPrice (проданный за 3700 евро), портрет "Жительница Генолэ в традиционном головном уборе", и единственную ее гуашь в упоминании о продаже на аукционе в столице Бретани городе Ренн, в 1957 году.****

Наиболее представительная за последние годы персональная выставка работ Гиршфельда проходила в 1989 году в галерее Депуа (Depoid) в Кемпэр. Были выставлены "Выход рыбаков в море", "Море в лунную ночь при отливе"... Журналист Ивон Ле Флош (Yvon Le Floch) писал в газете "Запад Франции": "Живописная морская жизнь Бретани напоминала Гиршфельду город его рождения (Одессу. — **М. О.**)"

Умер Эмиль Гиршфельд скоропостижно, в возрасте 54 лет.

Он остался в памяти бретонцев артистом с загадочной "славянской" душой, сумевшим полюбить и выразить красоту Бретани.

Примечания

* Во французской литературе закрепилась составляющая "Benediktoff", которую ассоциируют то с именем "Emil-Benediktoff", то с двойной фамилией "Hirschfeld-Benediktoff". Но картина "Пятидесятилетие свадьбы", например, подписана "E.B. Hirschfeld", некоторые другие: "Emile B. Hirschfeld", что для меня стало подтверждением того, что речь идет об отчестве — "Бенедиктович" (которое, кстати, не существует во французском языке).

** Пятнадцать лет назад, впервые после отъезда из Одессы встретившись с морем в Бретани, я подумал, входя в, казалось бы, небольшие волны: "Ну вот, наконец, здравствуй, океан!.." — и тут же был схвачен, закручен, брошен вниз взбесившейся горько-соленой водой, захлебнулся... Не-ет, это не идиллия одесского берега, не Аркадия, не Бугаз. Одним словом — Нефонтан. Это просто Другая Красота.

*** Корнуай (Cornouaille) — северный район Финистер, кристаллическое плато, полого спускающееся к океану, эталон штормовых ветров — мыс Ра (pointe du Raz), каменистые пляжи, прорезанные утесами, цитадель бретонских сепаратистов.

**** Если говорить о продажах на аукционах, основном инструменте оценки художественных произведений сегодня, то возможно, будет интересно узнать, что я насчитал 7 работ Гиршфельда, которые были проданы с мая по декабрь 2006 года на аукционах Франции от 400 до 6000 евро. Например, мэрия Дижона в Бургундии приобрела "Останки кораблей" за 3500 евро.

Лион

Несколько слов в дополнение

Гиршфельд Емельян (Эмилий-Бенедикт) Борисович родился в 1867 г. в Одессе, умер в 1922 г. во Франции, в Конкарно.

В начале 1880-х учился в Одесской рисовальной школе. Его этюд значится в "Каталоге работ учеников школы рисования Общества изящных искусств, находящихся на выставке в малой Биржевой зале, открытой с 23-го февраля по 11 марта 1884 года". Известно, что после Одессы он уехал в Мюнхен, где занимался в Академии художеств, затем продолжил образование в Париже – работал в ателье В.-А. Бугро, у Ж. Лефевра и Т. Робера-Флери, известных салонных живописцев и педагогов.

С 1892 г. Гиршфельд – постоянный и успешный участник парижских салонов. Уже в год дебюта в салоне Национального общества изящных искусств была премирована его работа, а в 1894 г. за картину "Старый флаг" он получил медаль салона Общества французских художников. И в последующие годы участие Гиршфельда в салонах отмечалось официальными наградами и благосклонными отзывами критики, а в 1910 г. он был удостоен ордена Почетного Легиона. Весной 1914 г. в Париже прошла персональная выставка художника.

Гиршфельд поселился в Бретани, в приморском городке Конкарно, где провел большую часть жизни. И почти все его картины – как пейзажи, так и жанры – сюжетно связаны с морем.

Не прерывались и контакты с Одессой. Зиму и весну 1897 г. он провел в родном городе, о чем сохранились свидетельства в подробной хронике одесских газет тех лет. Принял участие в весенней выставке, организованной местными художниками С. Кишинев-



Эмиль Гиршфельд. Старый флаг. Иллюстрация из каталога салона 1894 г.

ским, Я. Бродским и И. Паолини. Из рецензии "Художника" (Николай Вучетич): "Большою выразительностью, продуманностью, чувством и настроением отличается одна из лучших на выставке жанровых картин "Разлука" г. Гиршфельда. Она была уже выставлена в Париже в Салоне Елисейских полей и удостоилась самых лестных отзывов парижской печати /…/ Художнику вздумалось передать на полотно одну из самых обыденных житейских сцен: молодой матрос трогательно прощается и, как видно, надолго, со своей возлюбленной. Расстающихся окружает деревенская обстановка какого-то приморского хутора; на дворе стоит теплый летний вечер; воздух наполнен туманною мглою вечерних испарений моря. /…/ По технике и мастерству, с каким написано это большое полотно, г. Гиршфельда следует считать не только талантливым, но и весьма серьезным, добросовестным художником" (Театр. 10.03.1897).

Несколько позже на выставку поступили еще три работы Гиршфельда – "Охота на вальдшнепов", "Охота на рябчика" и уже упоминавшийся "Старый флаг". "…О многочисленных картинах, появившихся на выставке за все это время и не вошедших в каталог. Самая лучшая и значительная из них – "Старый флаг" г. Гиршфельда. /…/ …так много выражения, жизни и непринужденности, что нам долго не хочется отойти от прекрасной картины, удо-

стоенной в Париже на выставке Салона Елисейских полей медали и делающей большую честь ее даровитому автору. В картине этой есть, по нашему мнению, только один недостаток – вялость красок, какая-то туманность, напоминающая туманность воздуха в "Разлуке" /…/ Недостаток этот, как теперь ясно видно, присущ художнику и относится к области современных увлечений особою манерой и немалых заблуждений в воздухе, составившем *idee fixe* пленеристов" (Н. Вучетич. – Театр. 28.03.1897).

Столь же благожелательно отзывалась одесская критика и на участие Гиршфельда в выставках Товарищества южнорусских художников в 1901-1902 гг. Кстати, в 1901 г. он стал членом товарищества.

В последний раз одесская публика увидела две картины Гиршфельда в I салоне В. Издебского 1909/10 гг. – они значатся во всех вариантах каталога и, соответственно, были показаны в Одессе, Киеве, Санкт-Петербурге и Риге. Газета "Киевлянин" отмечала: "Платит дань импрессионизму и г. Гиршфельд в картине "Летний вечер", очень хорошо выдержанной в тоне сумеречного мечтательного настроения. Другая его картина, "На мосту", тоже хорошо написана, но уже в стиле самого здорового реализма" (1910. № 56).

Начавшаяся мировая война, а затем события революционных лет не дали художнику возможности участвовать в более поздних одесских выставках. На родине его практически забыли. А во Франции его работы – в музейных и частных собраниях, его творчество изучают. Подтверждение этому – присланный в прошлом году из Парижа Кириллом Махровым альбом-каталог выставки "Peintres Russes en Bretagne" (выставка состоялась в Бретани в июне-сентябре 2006). В одном ряду с А. Бенуа, И. Билибиным, З. Серебряковой и другими славными именами – одессит Эмилий Гиршфельд.

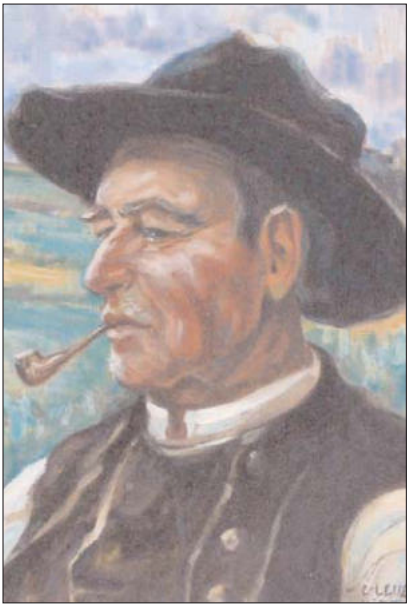
Ольга БАРКОВСКАЯ



Парусные лодки для ловли тунца у набережной
Золотая свадьба (1893)









Валентин МАКСИМЕНКО

Новый поэтический сборник и вся жизнь

Опыт не рецензии, а рассказа о жизни хорошего человека

Передо мною один из первых прибывших в Одессу экземпляров книги "Пейзажи Нью-Йорка". Эта книга вышла, как теперь говорят, в "дальнем (очень дальнем) зарубежье" и принадлежит перу моей в недавнем прошлом коллеги по ОНПУ Евгении Львовне Кричевской.

В своем новом сборнике стихотворений Е. Л., по сути, рассказала об узловых моментах своей жизни, которая не баловала ее, но не смогла лишить оптимизма, любви к науке, искусству. На обложке обозначено "Нью-Йорк — Одесса". Мне кажется, что точнее было бы написать "Одесса — Нью-Йорк — Одесса". Дело в том, что в "Милом политехе", как она назвала свой цикл, посвященный родному вузу, Е. Л. проработала... 52 года. Она автор более 100 научных работ, кандидат химических наук, доцент. К слову, Е. Л. окончила этот институт, когда он назывался Индустриальным. Долгие годы сотрудничала с Новосибирским институтом катализа, куда летала не один десяток раз.

Может быть, вы, уважаемый читатель, решите, что все в прошлом, если узнаете, что этому человеку 93-й год? (Она никогда не скрывала свой возраст и гордится им, об отношении со старостью — чуть позднее.) Судите сами, прочитав отрывки из недавно полученного ею письма.

"Рады, что Вы сохраняете творческую активность и интерес к истории нашего института (это Новосибирский институт катализа имени Г.К. Борескова, первого научного руководителя Е.Л. Кричевской. — **В. М.**) и его основателю... Намечена дата Международной конференции — 4-8 июля 2007 года... Присылайте материалы, мы будем Вам очень признательны и обязательно поместим их в сборник, который планируем выпустить до начала конференции, т. е. в мае-июне 2007 года..." Вы обратили внимание на год?

С 1998 года Е.Л. Кричевская живет в США. Первый раздел ее книги называется "Предотъездное". В нем трогательный и честный рассказ о трудном для человека ее возраста решении о перемене места не жительства — жизни... Ее телефон, главное средство связи с внешним миром для больного и почти полностью слепого человека, на новом месте практически замолкнет...

...Слезы прощанья льются,
Сильные уезжают,
Тихие остаются...
...Я забывать не вправе,
Что мы живем на вулкане,
Что есть в этом мире "Память"...

Она понимает диалектику жизни и далее неожиданно меняет оценку:

...Самолет взлетает,
Слезы разлуки льются.
Смелые уезжают,
Стойкие остаются.... (курсив мой. — **В. М.**)

...И сердцу хочется верить,
Мы еще будем вместе,
Тот, кто навек уехал,
И кто остался на месте...
Не знаю, как это будет,
Но хочется верить — будет!

Ее тревожит естественный вопрос: "Что ожидает нас? Утонем или выживем?".

... Какой бы ты ни была, Америка,
Приют для беженцев из самых дальних стран,
Здесь отделит нас от родного берега
Не море теплое, а грозный океан!

Сегодня мы знаем, что семья нашей героини, к счастью, "выжила". И телефон ее не замолчал! И сама она часто звонит нам, в родную Одессу.

Чего греха таить, многие, уезжая, вынужденно бросали на произвол судьбы домашних животных, стараясь поскорее забыть об этом. Мне кажется, что одно из самых значительных стихотворений Е. Л. — посвященное коту Кузе.

Милый кот, тебя мы предали...

Рассказав о жизни кота в семье, радости общения с ним, Е. Л. так кончает свое стихотворение:

В нашем горестном изгнании
Станешь ты воспоминанием,
Что, как всякое предательство,
Не простится никогда.

Такое признание мог сделать только душевно чистый человек. Такой, как Евгения Львовна...

Второй раздел книги собственно и дал название сборнику. Это рассказ о новой жизни, о поиске путей общения, о Манхеттене и "Оркестре сеньоров", давно не работающих музыкантов, которые раз в году собираются, чтобы дать концерт и почувствовать себя нужными людям, это рассказ о новом друге, эмигрантке из Одессы 70-х годов Розе Бунчик, матери поэта Юрия, издавшего уже несколько книг. Светлому человеку Розе, помогающей бескорыстно всем новым иммигрантам, которым одиноко и трудно вне привычного круга общения, посвящено стихотворение "Ирисы". Е. Л. пишет, что для нее в американских ирисах "запах Родины таится...".

Но есть особенность в их цвете,
На чувство горькое намек,
Ирисы русские — в соцветье,
Цветок Нью-Йорка — одинок

(в американских магазинах ирисы продаются с одним цветком на стебле).

Е. Л. пишет о неизбежной для чувствующего, думающего человека ностальгии.

...Прихожу я на берег песчаный,
Где шумит неумолчный прибой,
Сквозь безбрежную даль океана
Я лечу к тебе, город родной!

В своих письмах она тревожится о судьбе нашего Театра оперы и балета, интересуется сроками окончания ремонта, его качеством, она, которая никогда не увидит театр, где когда-то бывала с мужем, друзьями...

На пороге нового тысячелетия Е. Л. вспоминает всех, кто дорог ей в Одессе. И снова:

Пусть же светятся в веках
Театр наш и наш маяк.

Она изучает шрифт Брайля и обучает ему других людей, посвящает благодарный стих ныне живущему в Америке одесскому артисту Александру Краснопольскому, озвучившему книги для незрячих, называя его Волонтером:

В глазах слепого свет мерцает,
Он не погаснет до тех пор,
Пока нам Бабеля читает
Незримый миру волонтер.

Сама Е. Л. пишет статьи о новой жизни, присылает в Одессу, и мы стараемся их публиковать. Она печатается в американских изданиях, где опуб-

ликовала уже более двух десятков материалов. Е. Л. активный член Нью-йоркского клуба любителей книги, где выступает с интересными сообщениями, пользующимися успехом у членов клуба. Просит присылать ей книги, но непременно — сперва для клуба, потом для нее, что я и делаю...

Трогательное стихотворение посвящено "новому одесситу" американцу Хобарту Эрлу и нашему филармоническому оркестру. Мне очень хочется подарить Хобарту сборник Е. Л., и я просил прислать экземпляр для него.

Неожиданное стихотворение она посвящает своему одесскому знакомому, ныне бизнесмену Б.

Его империя огромна,
В ней реки красного вина
Текут на Запад. Пышут домны.
Струится нефть с морского дна...
Он как король сидит на троне,
Но под дамокловым мечом...
...Вдруг вспомнит он былые годы,
Иную жизнь и мир иной,
Когда счастливый и желанный,
Благословенным майским днем
Без кошелька и без охраны
Он шел по улице пешком.

(Фрагменты.)

Она уважает этого человека и, беспокоясь о нас, рекомендует обращаться к нему как к спонсору. Признаюсь честно, что ни разу ее советом воспользоваться не смог...

Е. Л. вспоминает об эвакуации, о радостном, но нелегком возвращении домой, о муже Борисе Аганине, с которым прожила 42 счастливых года, о дочери Наташе, внуках и правнуках, об ушедших друзьях ("ведь рядом с Вами мы стали лучше и добрей..."), о дорогих сердцу походах (Нью-Йорк для нее 103-й и, наверное, последний город), о "рецепте", "как прожить до 90" ("С наслаждением трудиться, не искать перо Жар-птицы и глядеть на мир людской с юмором и теплотой")...

Сама она это умеет. Чего стоит ее самокритичный поэтический автопортрет, в котором Е. Л. явно преувеличивает свои несовершенства... А уж трудится, как немногие. Е. Л. — сгусток энергии Добра. Она заботится о нас, ее младших и теперь далеких коллегах, помогая преодолевать неприятности, беды... В одном из писем в Одессу Е. Л. говорит о жизненной энергии своей матери, по сравнению с которой ее собственная — "ничто"...

Трудно, невозможно представить себе, каким вулканом должна была быть ее мать, воспитавшая такую без преувеличения поразительную дочь...

Е. Л. не может не размышлять о старости. Обращаясь к сверстнице, двоюродной сестре Вере, она пишет:

Если в дождливый вечер,
В часы своего досуга,
Ты не выйдешь на улицу,
Чтоб повидать подругу...
Если ты больше не плачешь
Там, где вчера рыдала,
Значит, старость явилась, —
Вот где ее начало,
Безразличие к жизни,
Равнодушие к людям...
Милая, дорогая,
Мы такими не будем!

В своем сборнике Е. Л. рассказала не только о себе и близких, она рассказала о нашей жизни, о "судьбах людских". Своим примером она помогает жить другим.



Ласло САБО

Книга об Одессе — в Венгрии

В конце 2006 года в издательстве "Баба эш Тарша" (г. Сегед) вышла книга доцента местного университета литературоведа-слависта Иштвана Феньвеши. Мы обратились по Интернету к автору с просьбой познакомить наших читателей с монографией "Нас покорила Одесса. Город в истории венгерской культуры".

— Такого рода книги о культурных контактах заграницы с Одессой сколь дороги для нас, столь и, к сожалению, нечасты. Иштван, не расскажете ли коротко о ней?

— Да, насколько мне известно, это первая работа в этом роде. В ней я представил сумму тех сведений, которые накапливались у "среднего венгра" об Одессе в 19-20 вв., собрал основные моменты творческих контактов в сфере науки, литературы и искусства, и через все это пытался выявить главные направления творческой энергии, излучавшейся ее носителями.

Здесь дана, в первую очередь, Одесса глазами венгров. Первые приведенные данные о городе датируются 1805, последние — 2005 гг.

— В объемистой синей книге 428 страниц. Расскажите о ее структуре.

— Во введении описаны параллельные моменты развития Будапешта и Одессы в 19-20 вв., специфика социально-культурно-психологической среды в Одессе, факторы, определившие ментальностъ ее жителей. Главный среди них — это "неизгоняемый дух суверенности" (Л. Зорин), именно он выступает определяющей чертой типа *homo odessicus*.

— Надо полагать, книга, в основном, обращена в прошлое? Не боялись ли вы, что получится некая "лавка древностей"?

— При объекте исследования, которому исполнилось всего двести с хвостиком лет, даже вопрос такой вызывает улыбку. Если серьезно — лишь пять глав посвящены 19 веку, все остальное — это наше вчера, век двадцатый. А самая последняя — отчасти вовсе о 21-м.

В первой половине 19 в. там жил венгр, входивший в круг друзей Пушкина. Другой наш соотечественник, будучи в Одессе, перевел "Кавказского пленника". В местном альманахе печатались произведения венгерских классиков. Наш путешественник оставил колоритнейшее описание города 40-х годов. В художественной жизни города участвовали трое венгров. Концерт Ф. Листа 1847 г. — вершина музыкальной хроники тех лет.

Немало одесских следов и в истории венгерской революции 1848-49 гг. Взять хотя бы судьбу рядового Одесского полка, перешедшего на сторону венгров. Нет уже смысла лицемерно игнорировать и факт гибели

Шандора Петефи от пик одесских уланов в битве под Шегешваром 31 июля 1849 года. Дается подробный обзор материалов о восприятии стихов поэта в Одессе в 19 — начале 20 вв.

В отдельной главе собраны материалы об одесских ученых, побывавших в Венгрии. И. Мечников был на будапештском конгрессе по гигиене и демографии в 1894 г., а Д.Л. Рубинштейн — участник всемирного конгресса зоологов в венгерской столице в 1927 г. Минералог Шандор Кох вспоминает о влиянии на него учения А. Ферсмана. Широко известна у нас деятельность офтальмолога академика В.П. Филатова, психолога академика С.Л. Рубинштейна. Четыре ученых-одессита избраны почетными докторами венгерских университетов. Вузы города стали *alma mater* для многих венгерских студентов.

В "зеркальной" по отношению к предыдущей главе приводятся материалы о командировках крупных наших ученых в Одессу (геолога, историка, лингвиста, археолога и др.) в 19 в. Подробно излагается история исследований Кавказа жившим в Одессе три десятилетия Мором Дечи. В 20 веке трое венгров стали почетными докторами ОГУ.

В разнообразном материале конца 19 — начала 20 вв. прослеживается возможность изучения русского языка для деловых контактов с Россией, в т. ч. и в Одессе. Два журналиста — одессит и будапештец — дают зарисовки жизни и быта городов друг друга. Деятельность венгерского дирижера Артура Никиша в России, в частности, в Одессе, а также выступление скрипача Миши Эльмана у нас служат началом нового периода музыкальных контактов. Подробно освещается восприятие в начале 20 в. русских писателей Одессы — А. Куприна и В. Дорошевича, еврейских авторов Л. Кармена, С. Юшкевича, Бялика и Шолом-Алехема.

— После столь обильного урожая по первому веку связей — чем мог превзойти его следующий?

— Прежде всего, расширением социального охвата. Оно начинается "потемкинским" годом. Восстание броненосца вызвало в Венгрии острейшую реакцию, причем не только в публицистике (один из лучших журналистов освещал события с места), но и в литературе: стихи наших классиков — Эндре Ади и Йожефа Киша — можно отнести к художественным вершинам освещения темы.

— Судя по двум главам, вы не уклонились и от изучения выразителей "негативной энергии".

— В главе "Из реального училища Св. Павла в мировую историю" я прикоснулся к тому, что было неприкасаемым в течение 70 лет: как венг-

ры воспринимали самого известного выходца из Одессы — Льва Троцкого. Здесь использованы свидетельства свыше полусотни писателей, журналистов, общественных деятелей, ученых различных идейных направлений и жанров (1907-2002). Из них вырисовываются не только личные воззрения авторов, как правило, независимые, неподцензурные, но и воспринимаемый с самого начала в его противоречивости характер политика.

Не обойден и уроженец Одессы главный обвинитель на московских процессах и автор книги "Теория судебного доказательства в советском праве" А.Я. Вышинский. Его "практическая деятельность" и разработанная им теория "признание обвиняемых как королева доказательств" (нонсенс для юриста в любой стране мира!) послужили образцом для проведения подобных процессов на основе ложных обвинений и в Венгрии, начиная с 1948 года.

— В этот общественно-политический круг входят и главы, сухо обозначенные лишь годами, например, 1914-1918?

— О первой такой уже была речь выше, в связи с Петефи. Таких еще три. В главе о 1914-1918 гг. речь идет о военнопленных (в т. ч. о художнике Л. Мохой-Надь), рассматриваются: солдатская песня "Стоит в одесском порту военный корабль..." (лето 1918 г.), а также "Маленький негодяй" И. Ильфа и "Спящий" В. Катаева — о венгерских оккупантах.

В первом разделе главы о 1941-1945 гг. помещены эпизоды, связанные с обороной Одессы (воспоминания этнических венгров из румынской армии, данные современного венгерского историка о неслыханной по масштабам расправе над евреями после взрыва 22 октября здания румынского командования, отрывок из воспоминаний генерала Ковтуна о майоре Красной Армии венгре Шандоре Петраше — защитнике Одессы и др.).

В раздел "Освободители" включены имена свыше сотни одесситов, участвовавших в боях на территории Венгрии. В качестве их представителей предстают пятеро уроженцев Одессы, от маршала Советского Союза Малиновского до старшего сержанта Лысенко.

В разделе "Венгры ГУЛАГа" публикуется отрывок из книги воспоминаний Яноша Рожаша "Горькая молодость" (предисловие к ней написано его товарищем по Экибастузскому лагерю А.И. Солженицыным) об одесской тюрьме, служившей пересыльной для увозимых на советскую каторгу.

В главе о 1956 г. документально повествуется о двух очень разных одесситах. А в разделе "Искажающее зеркало" рассматривается роман Дм. Сергиевича "Гроза на рассвете" (1973).

— Однако, как я понимаю, не эти главы определяют основной облик одесского XX века?

— Совершенно верно, главное внимание и здесь уделяется литературе, искусству и музыке. Например, там, где содержатся материалы о венграх, проживавших или пребывавших в Одессе в период 1920-1940 гг., речь идет об общественном самочувствии писателей-эмигрантов А. Гидаша и Э. Шика, о приездах в город М. Золка, о людях искусства, работавших в Одессе (приехавших, например, на гастроли, как Бела Барток и скрипач Йожеф Сигети, для съемки картин — как кинооператор Миклош Фаркаш). Подробно освещается написанное об Одессе побывавшими здесь для знакомства с городом писателями — Лайошем Надем и Реже Бехтом из Венгрии, Марцеллом Янковичем из Чехословакии и Эрвином Шинко из Югославии, интерес которых ко всему увиденному искренен и непредвзят. Но, как заметил Бабель в свой приезд в Марсель, он там увидел, какой могла бы быть Одесса... А эти наши писатели увидели, какой она стала: "Одесса была великолепным городом в царские времена. Теперь она выглядит потрепанной, заброшенной, производит удручающее впечатление" (из очерков Лайоша Надя 1934 г.).

К этому смысловому блоку, "Одесса в венгерском зеркале", примыкают еще две главы. В одной ("Венгерские писатели о городе") печатаются отрывки 1830-2005 гг. из произведений писателей, не бывавших в Одессе. Это упоминания названия города в определенной связи с сюжетной линией, с ходом мысли авторов. В другой рассматриваются наиболее интересные произведения, написанные после 1945 года на основе личных впечатлений.

Процесс восприятия творчества большой одесской литературной плеяды дан в двух временных планах. В межвоенные десятилетия (1920-1941) доминируют цикл рассказов Бабеля "Конармия" (перевод 1927 г.) и сатирическая дилогия Ильфа и Петрова (1934). С 1929 года переводят рассказы В. Инбер о детях, "Растратчиков" В. Катаева и его же "Время, вперед!" (1935). Они вместе с Олешей и Паустовским выступают и в антологии малой прозы "Современный русский декамерон" (1936). "Квадратура круга" Катаева ставится в 1931 г. в двух городах. Приводятся оценки высокого художественного уровня написанного ими.

В послевоенные полвека, когда значительно расширяется число переводимых их произведений и круг их читателей, одесским автором, более всех затребованным в Венгрии, оказался Бабель. Его произведения изданы в Венгрии полностью, включая переписку и дневники. Отклики критики на них обнаруживают как широту исследовательских подходов, так и глубину теоретического проникновения.

Багрицкий удостоился перевода двух сборников стихов. Отмечаются его контакты с венгерскими писателями-эмигрантами.

Произведения Ильфа и Петрова разошлись среди читателей в двух десятках изданий, их романы воспринимались как остросовременные. Они зажили и на театральной сцене, и на радио, и на телеэкране.

В творчестве Веры Инбер критика отмечает тихий культурный голос и стремление к естественным формам.

Наряду с Бабелем В. Катаев — самый известный у нас писатель-одессит. Все его произведения переведены на венгерский. Его новая, "мовистская", проза признавалась чрезвычайно созвучной современной венгерской. Чрезвычайно популярен он и в театре. В "Квадратуре круга", не сходящей со сцены вот уже свыше 70 лет, зритель сменяющих друг друга общественных режимов продолжает находить вечно человеческое.

Широко известен в стране Паустовский, все его главные произведения переведены. Некоторые выдержали ряд изданий. Наиболее живой отклик вызвали книги его воспоминаний.

В главе отмечена известность в стране произведений М. Алигер, Б. Житкова, Ю. Либединского, Л. Славина и К. Чуковского.

— Заинтересовали ли венгров одесситы — представители других видов искусства?

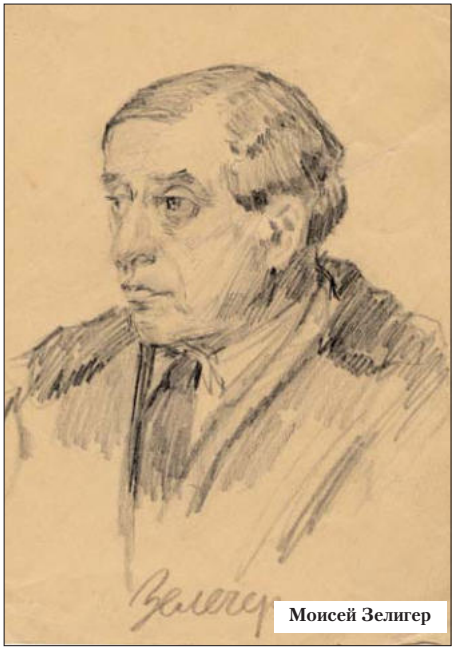
— Хоть совсем не много, но есть в венгерских собраниях и произведения одесских художников, это в 18 главе: рисунок мелом жившей во Франции художницы Сони Делоне (до замужества — Терк) в Будапештском музее изобразительных искусств, два горельефа работы Н.В. Блажкова (Л. Заменгоф и эсперантист Василий Ерошенко), хранящиеся в сегедской библиотеке им. Шомод, и не в последнюю очередь — два десятка офортов Давида Беккера в коллекции автора книги.

А главное, разве возможно забыть о великих музыкантах-исполнителях из Одессы, из школы "папы Столярского"? Второй, главный раздел главы посвящен триумфальным выступлениям Э. Гилелъса, Д. Ойстраха и С. Рихтера в течение полувека, с 1947 по 1995 гг. Поскольку многообразные отзывы музыкальной критики о творчестве этих гениев исполнительского искусства невозможно передать в виде сжатых до максимума фраз жанра резюме, приводим названия посвященных им разделов и подразделов. Они состоят, как правило, из наиболее выразительных цитат об их выступлениях.

Виртуоз Гигельс. "Премьера: высшая школа игры на фортепиано". "Решающая межа". "Концерт-прощание".



Александр Чемисов
Автопортрет



Моисей Зелигер



Леонид Мучник



Николай Павлюк



Николай Шелюто



Петр Пархет

Папка, бережно сохраненная любителем искусств Е.О. Лукашевым, дала возможность увидеть работы А.Д. Чемисова – послевоенные портреты художников Одессы, как "левых", так и "правых" – от Теофила Фраермана до Леонида Мучника, Николая Шелюто, Николая Павлюка, Петра Пархета.



Теофил Фраерман

Царь Давид. "Штурм билетных касс ради звука скрипки". "Паганини наших дней". "Дирижер хотел только музыки, ничего иного". "Лебединая песнь". "Ваш народ столь музыкален..."

Мы все выросли на Рихтере. "Начало". "Легенды, или К нам поселился Олимп". "Только внешность?" "Лист нашего времени". "По правде говоря, о нем невозможно писать". "Среди венгров". "Его сила заключалась в свободе".

— А почти уже полувековые связи городов-побратимов Одессы и Сегеда (многие одесситы помнят острый вкус сегедской ухи — халасле) — нашли ли место в книге?

— А как же без этого? Десятки тысяч людей ездили друг к другу. У нас пили токайское. У вас купались в море... В 19 главе делаю попытку объективно подытожить эти связи, по сферам общественно-социальной жизни, уделяя особое внимание приобретенному конкретному опыту в отдельных сферах.

Наиболее долговечные результаты дали контакты между высшими учебными заведениями. В систему подготовки специалистов органически вошел регулярный обмен студентами ряда специальностей (историков, географов, медиков, пищевиков и др.). Подлинное творческое сотрудничество установилось между многими учеными на самых различных кафедрах сегедских и одесских вузов.

В вышедшей в 1984 г. совместной антологии "Веселка над берегами", в одесском издании 9 украинских и 6 русских поэтов печатались каждый на родном языке, а 11 сегедских — на украинском; в сегедском же, естественно, — все на венгерском.

Одесса оценила мастерство оперных певцов Сегеда. Искусство же певцов с берегов Черного моря и мастеров одесского балета, начиная с 1975 г., предстало во всей полноте не только перед зрителями сегедского оперного театра, но и Сегедских летних игр 1986 года. Ряду их спектаклей в том же году от души аплодировали также и зрители венгерской столицы.

— В 80-е годы вы бывали в Одессе, и делились с земляками увиденным. Вошли ли в книгу эти заметки?

— Я включил в последнюю главу все три путевых очерка, они, оказывается, не устарели. А вот с тех пор, увы, не довелось побывать на Дерибасовской. Как-то все же хотелось закруглить их. Соорудил этакий "виртуальный" репортаж, в основном, по уже доступному, к счастью, Интернету.

— Спасибо за интервью.

— Это вам и читателям спасибо — за терпение. Авторы же все одинаковы, им все важно.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Портреты одесских художников

Одесская художественная школа всегда славилась, прежде всего, своей живописью. Еще бы, почти сами открыли импрессионизм, ну, пусть не импрессионизм, так пленэрную живопись.

И все-таки рисовальщиков, превосходных мастеров рисунка, в нашем городе было немало. Жаль, что имена их меньше известны, подчас почти забыты.

Недавно у одного искусствоведа я увидел папку с рисунками-портретами одесских живописцев. Первым в ней был автопортрет художника, неистового рисовальщика, который не расставался с карандашом, тушью, пером всю сознательную жизнь. К сожалению, имя его почти забыто, а необходимо, чтобы воспринимать художественный мир Одессы целостно, вспомнить и его — Александра Дмитриевича Чемисова.

Он родился в 1885 году в Дмитровске Орловской губернии, прожил долгую жизнь, закончив ее в Одессе в 1969 году. Учился живописи в Петербурге с 1909 по 1913 год, перед революцией переехал в Одессу, где продолжил образование, занимаясь в 1921-1927 годах в Одесском художественном институте у П. Волокидина, Т. Дворникова, В. Заузе. Затем многие годы преподавал рисование в средних учебных заведениях.

Думаю, что судьба была неблагосклонна к Чемисову, так как он остался в оккупации, принимал участие в выставке 1942 года. Забылось даже то, что в 1928 году он показывал в Одессе свою персональную выставку. И все же и после войны Чемисов пришел в Худфонд, по мере возможностей участвовал в одесских художественных выставках.

Папка, увиденная мной, бережно сохраненная любителем искусств Е.О. Лукашевым, дала возможность увидеть работы А.Д. Чемисова — послевоенные портреты художников Одессы, как "левых", так и "правых" — от Теофила Фраермана до Леонида Мучника, Николая Шелюто, Николая Павлюка, Петра Пархета.

Нужно напомнить, что рисунки А. Чемисова опубликовал М. Пойзнер в альбоме-монографии "Одесса. Оккупация". Так из XX века возвращается в век нынешний более полное представление о городе, лицах людей, о творчестве незаслуженно забытых мастеров.

Инна КАМИНА

Интересные люди: кто они?

На фотовыставке про одесских кошек и собак он был со своей давней знакомой, которую я тоже знала. Мы одновременно вышли на улицу и решили прогуляться по городу. Оказавшись возле дома моего знакомого художника, поднялись по узенькой деревянной лестнице в квартиру-мастерскую, чтобы продолжить разговор. Оттуда протянулась ниточка к этому интервью. Оно было готово к печати в марте 2004 года, но...

В 2005 пришлось чуть-чуть изменить врез и уточнить кое-какие детали, чтобы не отстать от жизни. Другой правки не вносилось.

— **Вопрос первый: интересные люди, кто они?**

— Их не так много в природе. Или мне не слишком часто везло. Так или иначе, если говорить об интеллектуалах, то выделяю Миру Кесаду (в именительном падеже — Миру Кесада). Он перуанец, доктор философии и математических наук, логик, один из создателей "философии освобождения", был профессором Национального университета Лимы, президентом Перуанского философского общества, членом Королевской испанской лингвистической академии, членом Руководящего комитета Международной федерации философских обществ и т. д. Вряд ли сейчас жив. Много воды утекло...

Он пришел в редакцию журнала "Латинская Америка", где я вел тогда отдел социально-политических проблем. Я знал, кто он. И чтобы не влезать в очень уж специальные вопросы, спросил: "Что такое философия? Что такое наука? Что такое искусство, этика? Как они связаны между собой?". И получил интересные ответы. Вот небольшой фрагмент из того интервью: "...не будучи наукой, философия находится с ней в очень сложных отношениях. У них общее начало. С какого-то момента человек начинает рационально решать стоящие перед ним проблемы... Из этого подхода рождается философия. Но вот тот, кто опирается на разум в познании мира, добивается успеха, находит метод, позволяющий быстро продвигаться вперед, — рождается наука... Но когда тот же самый научный метод подводит к проблемам, которые с его помощью не могут быть решены, тогда... возвращается философия. Поэтому немного в шутку, немного всерьез, не знаю, больше в шутку или больше всерьез, я скажу так: наука — это философия, которая одержала победу; философия — это наука, которая потерпела поражение".

Мне и сегодня это определение науки и философии нравится. А кроме

того, материал был опубликован в те времена, когда философия марксизма-ленинизма все еще была "непобедима" именно потому, что опиралась на "работающий" научный метод, была абсолютной наукой. "Философские тетради" были наукой. А иностранец, в конце концов, мог сказать все, что ему вздумается...

Из наших выделяю троих: Владимира Орлова, Александра Меня и Мераба Мамардашвили.

Владимир Орлов — автор романа "Альтист Данилов". Этот роман сделал его известным как писателя. Но я знал его как человека, интересовавшегося латиноамериканской литературой. И когда понял, как должна выглядеть по стилю книга, готовившаяся к 500-летию открытия Америки, и потребовался кто-то, кто смог бы написать в нее свой раздел "по-писательски", лучшей кандидатуры, чем Орлов, мне просто и в голову не могло прийти.

Имеется в виду книга "Три каравеллы на горизонте", изданная в "Международных отношениях" в 1991 году. Я обдумал ее как целиком свою. Но не хватало времени, и пришлось предложить издательству выпустить сборник. План книги при этом утвердили. Каждому из авторов предлагалась определенная тема. И с людьми нужно было разговаривать, чтобы избежать повторов. Такой разговор был и с Орловым. Позже только он показал мне свой заход — несколько страниц, написанных от руки. Это — профессионально. Ты — составитель, редактор. Вот и смотри. Если все так — пойдем дальше. А если нет, можно и по-другому, но в таком случае скажи: чего не хватает, что не так?

Все было так и о том. В сданном материале ничего нельзя было поправить — так плотно слова были пригнаны друг к другу...

Бесцельно включив телевизор, я открыл для себя Мераба Константиновича Мамардашвили. Несколько слов, сказанных им как-то не по-философски просто, и оппонент, выглядевший на телеэкране вроде бы убедительно и по-философски глубокомысленно, вдруг оказывался в необычной для себя ситуации, лишенным возможности опереться на заготовленный заранее ответ. Вся убедительность мгновенно испарялась. А Мамардашвили готовыми ответами не пользовался, легко извлекая их из контекста.

Просмотрев несколько старых книг, я обнаружил, что читал его. Кое-кто из моих знакомых слушал его лекции о Декарте, а кто-то даже работал с ним раньше. Но это было раньше. А в 1989 году он бывал в Москве наездами. Так что нужна была командировка в Тбилиси...

Меня впустили в его квартиру на проспекте Чавчавадзе около 11 часов

утра, за несколько минут до назначенного времени. Хозяин отсутствовал. Поэтому я видел, как он вошел с улицы — в шерстяном сером пуловере и клетчатой рубашке, в обуви, удобной не только для прогулок, но и для игры в теннис. Думаю, что он не любил пиджаков. Мы поздоровались. Начали проверять диктофон, не хотевший включаться. Он рассказал мне, что летом болел, а кроме того, ездил на конференцию в США. Показал привезенный оттуда компьютер, на который потратил весь свой гонорар. У меня была тогда всего лишь портативная пишущая машинка. В редакции, в машбюро, стояли две электрические — для двух машинисток. Постепенно разговор перешел на определенную заранее тему — открытие Америки.

Интервью опубликовано. Его можно прочитать. Здесь я хочу сказать о другом. Он заметил, что мне действительно интересно его слушать и что я понимаю, о чем он говорит. И ему тоже стало интересно. И я оказался внутри "платоновского диалога". На целый день. В конце разговора он сказал, что когда-то зарабатывал на жизнь не тем, чем ему на самом деле хотелось заниматься. Но неправильно откладывать главные дела на потом или заниматься ими после работы — специально, чтобы это было не за деньги. Так не получится. По крайне мере, у него не получилось. Сказано это было значительно более красиво...

Он немного ошибся. Я откладывал на будущее не философию, а стихи, поэзию. Но в целом совет, данный в скрытой форме, был правильным. Нужно превращать то, что тебе интересно, в свое основное дело, в профессию. По существу ошибки не было. Особенно, если Хайдеггер прав, утверждая, что мышление — это и есть поэзия. Случай, когда уместно процитировать Хайдеггера дословно: "...язык хранит изначальную сущность поэзии". Поэтому порядок слов в распечатке диктофонной записи был оставлен без каких-либо изменений. Хотелось сохранить интонацию, естественную "невылизанность" речи. И мне кажется, что голос Мамардашвили пробивается сквозь печатный текст и немного "шуршит" — как на пленке. И я слышу, как он чиркает спичкой и раскуривает трубку...

Когда он, провожая меня, открыл дверь на лестницу, нельзя было разглядеть даже самой верхней ступеньки. За дверью стояла по-южному черная поздняя ночь...

С Менем было по-другому. В редакции, а точнее, прямо на входной двери, повесили объявление: Вечер памяти Н. Бердяева, состоится там-то и тогда-то. Ведет Александр Мень.

Это был первый вечер, посвященный Бердяеву, анонсированный в Москве при советской власти после его высылки. Состоялся он в нояб-

ре 1988 года. Очень может быть, что в ЦДЛ. По крайней мере, вспоминается помещение, похожее на большой зал Центрального Дома литераторов. А сам Мень тогда был очень похож на свою фотографию с плакатов, сопровождавших его выступления позже. Имидж потом не менялся: черная ряса, на груди тяжелый серебряный крест, седые вьющиеся волосы, довольно длинные и жесткие, образующие самую настоящую гриву... Сгусток энергии.

Он хорошо чувствовал аудиторию и, чтобы остаться понятным всем, почти не коснулся философии Бердяева. Тем не менее, несложно было угадать, что человек на сцене — крупный. Он только выбирался из подполья. Я видел его впервые. И все же в перерыве подошел к нему и предложил написать эссе о Лас Касасе для "Трех каравелл", сказав примерно следующее: Вы — миссионер. Напишите о миссионере XVI века — о Лас Касасе. Перед испанцами и автохтонными цивилизациями — индейцами — после открытия Америки встала проблема интеграции в мир, в неожиданно увеличившийся мир. Перед нами стоит сейчас та же задача — интеграции в мир. Напишите об этом.

Слова "интеграция в мир" оказались паролем. Но... через полгода текст еще не был готов. Он прислал открытку к Рождеству и подтвердил в ней свое намерение написать статью. Мы были в контакте. И... топтались на месте.

Поэтому я решил встретиться с ним в одном из московских клубов. Спрашивать дорогу не пришлось. От метро пошел туда же, куда и все. Мень стал необычно популярен. Его наперебой начали публиковать гораздо более тиражные издания, чем журнал "Латинская Америка". И все же еще через полгода мне из рук в руки передали обещанный материал.

К тому времени к людям в рясах и с крестами на груди привыкли.

Александр Мень был частью оппозиции тоталитарному режиму. Мог стать философом, но стал теологом, протоиереем, таким образом (даже формально, внешне), резче подчеркнув свою оппозиционность. Трудно сказать, как сложилась бы его судьба, останься он жив. Его-то интересовал не обряд. Возможно, что в России появилась бы современная христианско-демократическая партия...

Не раскрыто убийство. Но его творчество открыто всем. Есть в нем и небольшое эссе о Лас Касасе — доминиканце, поставившем вопрос о праве индейцев на права человека в Средние века.

Сегодня, в условиях шабаша приблатненной массовой культуры, почти невозможно выжить таланту. Утверждающим, что так было и есть всегда и повсюду, я бы ответил: верно, если речь идет о постсоветском гео-

политическом пространстве. Здесь считается, что "можно раскрутить каждого". Принцип логичный, поскольку он связан с генезисом всей этой "географии".

Однако... приведу пример, свидетельствующий о том, что так дело обстоит не всюду. Разумеется, хорошо там, где нас нет, и Афродита небесная может соседствовать (и с начала времен соседствует) с Афродитой пошлой. Тем не менее, когда мегазвезда российского шоу-бизнеса, научившаяся работать локтями и когтями еще в СССР, решила поучаствовать в конкурсе эстрадной песни на Интервидении, ей вежливо поаплодировали (за смелость?), однако с Пиаф не перепутали. Внутри же она до сих пор остается "солнцем", возглавляя "фабрику звезд". Вдумайтесь: фабрику... Не так давно на том же конкурсе (по-моему, он ежегодный) уверенно провалилась очередная российская претендентка. И это обнадеживает.

Но вот еще один пример на ту же тему. Это пример наоборот. В августе 2002 года, переведя ровно половину книги Октавио Паса ("Двойное пламя"), я вынужденно остановился. Издательство готово было выпустить его эссеистику лишь при условии, что мексиканцы возьмут на себя расходы на краску, смазку, бумагу и т. д. Сейчас перевод все-таки издан. А книга, мягко говоря, не раскупается. Симптоматично, что в одном из центральных московских магазинов ее поставили в отдел научно-популярной медицинской литературы. Видимо, прочитав в подзаголовке слова "секс, эротика и любовь", решили, что ее место рядом со справочником по контрацепции. Речь о книге, переведенной на все основные языки мира. Русский оказался последним. Пас написал ее, после того как получил Нобелевскую премию. Логично предположить, что если бы он родился "здесь и сейчас" и попробовал издать свой самый первый сборник эссеистики, то с ним и разговаривать бы никто не стал. Следовательно, и Нобелевской премии у него не было бы.

Редактор (не главный) газеты "Коммерсант" сказал: "Сейчас не модно быть интеллигентом, модно быть интеллектуалом". Если эту фразу расшифровать, получится следующее: "Сейчас не модно быть интеллигентом, модно быть обслуживающим персоналом с высшим образованием". Отсюда следует, что люди, о которых я вам рассказываю, "вышли из моды". Как интеллектуалы они, конечно, состоялись, добившись в профессиональном отношении максимально возможного. Но, кроме того, каждый из них — личность, интеллигент до мозга костей. Вот что говорит Миру Кесада: "С этикой проще. Я думаю, что интеллигент — тот, кто занимается наукой, философией, заключает договор с самим собой и с обществом. Опираться на разум, посвятить себя поиску рационального решения проблем — то же самое,

что стремиться к истине, к правде. А тот, кто стремится к правде, должен изобличать ложь, говорить правду. Это иногда нелегко. Иногда чревато неприятностями, опасно... Но нужно иметь мужество и необходимо проявить его настолько, насколько его достает".

Мамардашвили имеет в виду то же самое, напоминая, что человек рождается вторым рождением: сначала рождается животное, а лишь потом — человек. Твое рождение (человеческое) — это твое собственное деяние! А родившись, ты должен быть подобным луку с натянутой тетивой. Ведь только напряженный лук посылает стрелу. Стрелу истины.

Здесь я переадресую вам вопрос Мераба Мамардашвили из интервью с ним, которое, по сути, начал пересказывать: "Как посолить соль, если она несоленая?". Вопрос старый и всегда новый... Я не знаю на него полного ответа. Но мне точно известно, что когда Елена Дунская поет, кристаллики соли возникают. Речь об эстетике трудного. Это та соль, без которой нет человеческого измерения. Речь о символически обозначенном. О ценностях. Их нельзя "пощупать" и материализовать. Слишком хрупко и нематериально. Но уберите этот срез абсолютного или лишь потенциально возможного, и (как гениально просто сказал Мераб Константинович) реальный мир расплющится, станет плоским, мертвым... Иногда мир именно таким и кажется. К счастью, это всего лишь кажимость, потому что "воздушные замки", обозначаемые такими категориями, как "свобода" или "моральная ответственность", — тоже реальность.

Я вспомнил случаи, когда отношения с людьми складывались удивительно легко. Но так происходит не всегда...

— Вопрос второй: Бывает, что сначала человек что-то напишет или скажет, а потом событие случается. У вас были такого рода случаи мистики — чудесных совпадений или угадываний?

— Осенью 1989 года, то есть задолго до "Беловежской пущи", участвуя в "круглом столе", за которым обсуждались возможные модели развития и в этой связи возможности тоталитаризма, авторитаризма и демократии, я сказал буквально следующее: "...в связи с вопросом "легко ли стать Европой" хочу спросить: не реальнее ли выглядит превращение СССР в Латинскую Америку? В регион из пятнадцати де-факто не зависимых от Москвы республик, но с "латиноамериканской" зависимостью от Запада, со своими Перу, Аргентиной, Сальвадором, где демократию то и дело приходится подпирать авторитаризмом. Но сначала-то нужна демократия...". Цитату можно проверить — "Латинская Америка", 1990, № 2, с. 57.

Не уверены, что здесь присутствует мистика? Тем не менее, угадывание состоялось. А вопрос можно чуть-чуть повернуть. Угадывание состоялось благодаря интуиции, чудесному качеству сознания, которое само по себе — чудо. Это чудо, в свою очередь, связано с другим — с жизнью. Я имею в виду не поэтическую метафору. Посмотрите, что говорит ученый, физик, астрофизик и биолог — нобелевский лауреат 1903 года — о происхождении жизни, о том, как она возникла на Земле. Он считает, что облака бактерий, как бы взвесь, состоящую из спор, занесло на Землю из космоса. Споры осели на Землю, оказались в благоприятной среде, а дальше начался естественно-эволюционный процесс.

Фамилия этого ученого — Аррениус. Он высказал свою гипотезу на заре прошлого века. Он не знал, что даже споры микроорганизмов, оказавшись в открытом космосе, были бы убиты жестким космическим излучением. Но другой нобелевский лауреат, наш современник (Френсис Крик, открывший двойную спираль ДНК), знал о космосе больше. И в результате предложил еще более фантастическую теорию, поместив бактерии в оболочку, неуязвимую для метеоритных дождей и космических лучей. Такой оболочкой мог быть космический корабль. Гипотеза покажется вам еще более невероятной, если вспомнить, что она замешана на этике: корабль на Землю отправила гибнущая цивилизация, чтобы спасти не себя, а саму жизнь.

На эти сюжеты написан не один десяток киносценариев. Отснятые фильмы мы смотрим как развлекательный жанр — фантастику. Но ведь выдающиеся ученые не ставили перед собой цели прославиться в качестве фантастов. Наоборот, они стремились объяснить происхождение жизни на Земле так, чтобы их объяснения как можно меньше напоминали фантастику, чудеса и мистику.

Я не против такого рода мистики. Я против ее вульгаризации, против современных мифов и невежества. Что такое в чистом виде рациональный метод познания, если рацио чувствует?

Вернемся к нашим конкретным жизням. Скорее всего, вы знаете Евгения Голубовского. В 1976 году он опубликовал в "Вечерней Одессе" (в моем переводе) подборку стихотворений одного чилийского поэта. Это была не первая моя публикация. Но она была для меня первой, явно связанной с литературой. А через 25 лет он же первым опубликовал в вашем альманахе отклик на мой сборник стихов*. Если учесть, что я лично с Голубовским не знаком и 25 лет в Одессе не был, то чисто рациональным спо-

* См.: Галина Маркелова. Заглянув в "Окно". Дерибасовская — Ришельевская, 2001, № 7.

собом объяснить такую последовательность событий трудно. Можно, конечно, сказать, что случай всегда выглядит как чудо...

Раз уж мы говорим о чудесах и мистике, то нужно сказать и о судьбе. Ведь впервые я приехал в Одессу не по своей воле. Призвали после университета в армию. Армией оказалось бюро переводов в военном училище для иностранцев на четвертой станции Фонтана. Здание, кстати, сохранилось. Оно сложено из красного кирпича. Думаю, сохранились и двуглавые орлы — барельеф из того же кирпича, что и вся кладка, — пережившие серп и молот под карнизом.

Не стерлись и самые первые впечатления от вашего города. Удивило отсутствие курортности, столичность фасадов. Я историк по образованию, и поэтому, когда посмотрел и вспомнил, кем и зачем была основана Одесса, понял, в чем дело, — Южный Петербург.

Внешний облик вовсе не обманчив. Он всегда что-то выражает. За одесскими фасадами скрывается онтология. В чем ее особенность? Вам видней. Вы здесь живете. Но если попытаться в названиях одесских улиц увековечить память всех писателей, оставивших на них следы, то очень может быть, что улиц не хватит. Согласитесь, случай тоже интересный, имеющий отношение к теме нашего разговора.

Осталось представить моего собеседника: Алексей Гришин. В прошлом году в его переводе вышло большое литературное эссе Октавио Паса ("Двойное пламя") о любви, сексе и эротизме, охватывающее всю историю человечества — от начала времен "до живой повседневности". Совсем недавно выпустил обновленный сборник своих стихов (Окно. М.: Дон Кихот, 2005). Сейчас заканчивает перевод романа Клаудиу Агиара — бразильского писателя, ранее на русском языке никогда не издававшегося, и готовит к печати книгу эссе. О более далеких планах предпочитает не говорить. Но может быть, это и хорошо? Как только они исполнятся, мы снова его проинтервьюируем.

P. S. Роман Клаудиу Агиара только что вышел в свет в издательстве "Вагриус". Стихи из сборника "Окно" появились на литературном канале интернет-библиотеки "КМ онлайн", а также на сайте "Поэзия Московского университета от Ломоносова и до...". Сайт начал превращаться в "бумажную" антологию-восьмитомник. Работа над книгой эссе продолжается.

Эвелина ШАЦ

Горе от ума, или Сатурн пожирает своих сыновей*

"И все-таки она вертится"

Великий насмешник, как называли великого Эразма, говорил: "Счастлив лишь тот, кто лишен разума". Великий разум — великая боль.

Если бы весь человек сводился к рассудку, то его можно бы было заменить компьютером, любого — любым, а все многообразие жизни — двоичной логикой. Люди так верят в разум, что иногда не видят и не слышат, что разум способен тиранить, убивать, угнетать. Чтобы заряжаться, ему приходится порой обращаться в то, против чего разум восстал.

Разве не было Просвещение, из которого мы вышли, догматическим, односторонним, примитивным, нетерпимым описанием бесконечно сложного бытия (редукционизм).

Разве Гельвеций не преклонялся перед Спартой и не ратовал за введение в культуру лагерных порядков, униформы и ранжира? Разве не требовал Вольтер раздавить гадину, то есть религию — мать Просвещения? Разве с Дидро на смену средневековому плюрализму, единству знаний и веры, еретизму не пришла однозначность? Не закончилось ли все это 100-мегатонной водородной бомбой, которую Сахаров предлагал направить на северный мирный порт для испытания ее разрушительной силы, для эксперимента (по опубликованным воспоминаниям его коллег)?

Личностное мышление интеллигента несет в себе одновременно возможность Христа и Антихриста. Интеллектуальная свобода — что-то вроде атомной энергии. Она может служить и добру, и злу, может спасти мир и погубить его.

Опасен не разум, опасно сокрытие неразумного. Опасен не рассудок, опасна рационализация бессознательного. Опасно не знание, опасна безграничная вера в рационализацию не рационализируемого. Опасно одно знание на всех, превращающее человечность в тоталитарность. В то время как давно исчез народ (архаичный, носитель фольклора) = *folk*, и нетрудно представить себе, что *people* тоже исчезает. Все растворяется в массе. Однако масса — это полуфабрикат.

* Статья была прочитана на философском факультете Московского государственного университета.

Давно замечено, что изнанкой рационального знания является сильная власть. Фуко идет дальше: сильная власть неизбежно требует тотальной рационализации. Причем эта взаимность силы и знания значительно глубже, чем предполагал Бэкон. Она капиллярно пронизывает общество: тюрьма и казарма, семья и школа, и не только, все виды официального превосходства человека над человеком, логика всех видов власти. Власть вездесуща благодаря рацио. Тоталитаризм начинается не с вождизма, а с узаконенной историей человечества власти каждого из людей: над женой, ребенком, учеником, солдатом, подчиненным, пациентом, собакой. С некоторым социальным высвобождением женщины и подростка растет педофилия и количество домашних собак в городах.

Знание часто бывало слугой насилия, порой многократно усиливая его: так просвещение стало всесторонним идеологическим обоснованием робеспьеровского террора. Позже Ницше доказывал необходимость насилия, Маркс логически выводил неизбежность пролетарской революции. Сначала они верят, потом они перестают думать, потом они неспособны думать. От Робеспьера до камикадзе. Насаждая бесконечную веру в разум, просветители превращали веру в разум — в религию. Потребовалась интуиция Киркьегора и Фрейда, чтобы за словесными бурями распознать не только темное бытие, но и омассовляющую опасность тотальной рационализации рассудка.

"И все-таки она вертится", то есть вся надежда — на разум. Ибо только потеснив неразумие, можно все-таки выдавить из человека раба и из человечества орду.

"Радость моя была радостью интеллектуальной, как и горе. Даже самую красоту я пытался когда-то долго и мучительно уложить в категорию разума. Если хочешь, у меня была одна религия, религия интеллекта. К этому присоединялась идея общественного служения..." (из письма Н.Д. Кондратьева жене из тюрьмы, 1922).

Как стать интеллигентом в 12 лет?

Пишет Евгений Рейн, русский поэт, из Москвы матери Евгения Алберти, поэта итало-русского, в Милан. "А теперь, когда Жене исполняется 4 года, читай ему на ночь глядя Достоевского, тогда к 12 годам он станет настоящим русским интеллигентом".

В 4 года замечательный лингвист Роман Якобсон начал читать. Начиная с четырех лет, в жизни русского интеллигента Жюль Верн занимает

очень важное место. Так я недавно, четыре года исполнилось давно, совершила паломничество в город Нант, Франция, где находится небольшой музей Жюля Верна. Много школьников, но ни одного четырехлетнего интеллектуала. Якобсон же к шести годам становится заядлым читателем. По-русски, по-французски и по-немецки. В 12 лет он редактирует журнал "Студенческая мысль". Всю последующую жизнь он ищет порядок в кажущемся хаосе.

Хотя у России есть и иной опыт. Так, когда русскому царю доложили о научных результатах выдающегося математика Лобачевского и назвали его гением, царь заметил: "России не нужны гении, России нужны верноподданные".

Генеалогия

Когда мы говорим об интеллектуалах, мы рассуждаем об отношениях знания и власти, мысли и действия, теории и практики, утопии и реальности. Фигура интеллектуала и само слово в последние десятилетия стали ускользать, стали неопределенными. Интересно проследить роль интеллектуалов в различные эпохи, хотя бы для того чтобы попытаться понять резкий упадок интереса к ним сегодня. Теме истории интеллектуалов было посвящено много текстов: Вебер (1926 год), Ортега-и-Гассет (1940), Грамши (1949), Шумпетер (1942), Боббио (1955), Арон (1955), Лукач (1962), Адорно (1963), Аренд (1965), Сартр (1972), Хабермас (1985) — вот некоторые из них. Это относится к интеллигенции в контексте западных стран. В истории русской мысли это вечная тема. Слово *интеллектуал* в Европе распространяется в конце 19 века, в частности, во Франции, вызванное к жизни яростной политической и культурной дискуссией по делу Дрейфуса. Хотя само слово встречается уже в середине 15 века в Англии. В 1813 году оно встречается у Байрона, в 1847 году у Раскина, а затем переселяется на континент.

Историю этого слова можно синтезировать следующим образом. 13 января 1898 года Эмиль Золя публикует письмо президенту республики, в котором открывает полемику по делу Дрейфуса. В этом письме Золя еще не использовал слово *интеллектуал*. Знаменитое "Я обвиняю" (название письма) не принадлежит Золя, а принадлежит Жоржу Клемансо редактору журнала, который опубликовал его. На следующий день появляется декларация за подписями писателей, ученых, профессоров университетов с протестом против нарушения юридических норм по делу Дрей-

фуса. Этот документ печатается под названием "Протест", а не, как принято считать, "Манифест интеллектуалов". Так он выходит три дня, а затем, с 17 января по 2 февраля, — "Les protestataires", и там тоже не появляется слово *intellectuel*. И тогда 23 января Клемансо, выражая хвалу всем подписавшим декларации, пишет: "N'est-ce pas un signe, tous ces intellectuels venus de tous les coins de l'horizon, qui se groupent sur une idée?". Не правда ли, что это особый знак: все эти интеллектуалы, пришедшие с разных концов горизонта, сплотились вокруг одной идеи? Слово подчеркнуто самим Клемансо. Таким образом, можно считать, что тем самым неологизм вошел в официальную жизнь. Первым в литературе его применил писатель Морис Барре. Интересно отметить, что этот термин соединил как положительное социальное явление (объединение людей против социальной несправедливости), так и отрицательное в виде претензии на сакральность позиции.

Интеллигенция — русское слово. Оно возникло в 19 веке и вошло в словари всего мира. Сам же феномен, со всеми его историческими, вплоть до революционных, последствиями, представляет собой наиболее значительный и своеобразный вклад России в социальную динамику. Разумеется, следовало бы уточнить разницу между интеллигенцией и интеллектуалами, но мне она сегодня кажется не такой значительной.

Динамику истории идей невозможно представить себе без истории интеллектуалов, которые сделали возможной эту динамику. Это невозможно, не связывая ее с теми интеллектуалами, которые своим стойким мышлением, порою подрывным, способствовали кризису ценностей, основанных на догме, на идеологических слонах. И хотя призванием этих людей было все то же призвание диссидентства, инакомыслия, но идеальный стандарт, который они поднимали, не всегда был одинаковым. Достаточно вспомнить, как их именовали в историческом времени: циники, стоики, еретики, мистики, гностики, протестанты, утописты, анархисты, социалисты и, наконец, интеллигенты. Что общего, например, между циником Диогеном, мистиком Сузо, еретиком Бруно, утопистом Моро или социалистом Марксом? Беспокойство миром, беспокойство будущим, самостоятельность мышления. Протест, антагонизм, трансгрессия, короче говоря, диссидентство как призвание и в некоторых случаях открытый саботаж — революционный жест. Таковы судьбы интеллигенции.

Когда Каутский пишет о различии умственного и физического труда (1894-1895 гг.), он применяет термин *интеллигент*. В каком-то смысле он предвосхищает идею Грамши *intellettuale organico* (*партийный работник*).

Тема различения интеллектуала-ученого и интеллектуала-эксперта, то есть придворного советника, традиционно занимает западную философию. Так, например, софисты настаивали на этом разделении, а Сократ, наоборот, считал его ошибкой, для него "Вся власть находится в горизонте знаний". Сартори считает (1979), что не столь важно соотношение знаний и компетенции, сколько соотношение знаний и власти. При этом он различает четыре варианта: 1) власть без знаний, 2) знание без власти, 3) обладатели знания обладают и властью, 4) обладатели власти обладают и знанием.

Под сенью современности это касается не только интеллектуала-ученого как социального индивидуума, но и как сотрудника крупной корпорации, которая, по сути, представляет собой особую единицу интеллекта. Другими словами, эта особая единица интеллекта выступает как коллективный индивидуум, а в случае Интернета — как коллективный интеллект. С этой точки зрения можно признать их интеллектуальной фигурой, интеллектуал-коллективным ученым, который подчас может выполнять функцию экспертного совета.

И здесь мы встречаемся с новой проблемой — проблемой авторского права и этической ответственности. Например, кого бы Сталин стал преследовать? Впрочем, масштабы его никогда не останавливали. И не его одного. Вспомним, что писал Розанов о родителе русской литературы и наук Ломоносове: "Тут дело не в Ломоносове и не в Шумахере (тайном советнике), а в чем-то третьем: это третье — просто форма, чин, должность, ранг, о который разбивается живой человек. Так разве один Ломоносов тут погиб или одному Ломоносову не удалось: тут не удалось и погибло целое кладбище... Ломоносов только самый яркий, самый большой... оттого-то к нему так и привязаны русские люди, и чтут его, что он символ и эмблема вообще русской судьбы в самой России, горе-горевальница русского человека в своей же земле".

"Совершилось и по днесь совершается что-то дикое и ни в одной земле не бывалое, ни в чьей истории не слыханное: забивание, заколачивание русского человека и русского дара в русском же своем отечестве. Этого — ни у негров, ни у турок, ни у китайцев нет, это только в одной России, у одних русских", — так рассуждал Розанов.

Впрочем, Тредиаковского ведь не сожгли, как Джордано Бруно, правда, морду расквасили, да в маске оду заставили читать в Ледяном доме, и спать там же уложили. А вот отречение Галилея перед патерами инквизиции — это уже настоящее театральное шоу.

Де Помбал — культовое слово Лиссабона. Для Португалии он — что Петр для России. Страстный сторонник просвещенной монархии — сеял доброе, разумное, вечное, но без картечи. Тюрьмы петровские под завязку были забиты дворянской знатью, которая не хотела брить бороды.

А сколько раз шел на риск Платон за свое желание, не намерение, изменить нелегальный режим сиракузанских тиранов на королевский режим, основанный на законах, определяющих права и обязанности правителей и управляемых! Именно поэтому он не один раз рисковал жизнью.

Если Платон занимался "государевым делом", то Сократ говорил нечто противоположное — зачем же идти так далеко: познай самого себя, то есть вглядись в собственное положение, тогда будет понятно, что оно также подлежит закону незнания: "Я знаю, что я ничего не знаю". Сократ рассуждал о предметах, которые близки каждому, о которых часто говаривали на рынке в античном городе: о мужестве, о военном искусстве, о добродетели, о морали, о том, что такое красота. И он задавал в диалогах вопросы, направленные на то, чтобы выявить, о чем в действительности говорит человек, имея в виду, что, может быть, есть разница между тем, что говорится, и тем, что высказано. Он шел по пути неэмпирического обоснования этических понятий. Музиль назвал бы его *schmollender Intellektuelle* (*ворчащий интеллектуал*).

Горе от ума

Дестабилизирующая речь Сократа привела его, в конце концов, к вынужденному самоубийству. Язык его — враг его. Нет в этом ли — вечная социальная трагедия разума? К счастью, не всегда трагедия принимает экстремальные формы. Нострадамус, Спиноза, Гейне обошлись только сменой религии.

...Рим. Продолжительное судебное разбирательство закончилось 22 июня 1633 г. Последнее заседание проходило в Санта-Мария-сопрала-Минерва Доминиканского монастыря в самом центре Рима. Подсудимый стоял на руинах древнего храма богини мудрости. Он дрожал в белом балахоне грешника. Это стоял на коленях перед судом истории автор шедевра научной литературы, Галилео Галилей.

А вот в России — все менее театрально, но более драматично. Воплощение западной рациональности, начатое Петром, приспосабливается к культуре, в которой доминирует не собственный тип рациональности, а иррациональность. В 19 веке увлечение наукой породило нигилистиче-

скую интеллигенцию и воплотилось в революцию. После революции во имя науки пришлось пожертвовать православной культурой. А заодно косили головы и судьбы и самих ученых, участников этого действа: среди них — Флоренский, Лосев, Вавилов, Гастев, Гумилев, — и русских философов, гуртом высланных на Запад и тем спасшихся от дальнейшего насилия, не говоря уже о трагедии звездной плеяды поэтов и творческой интеллигенции.

"Не кажется ли тебе, — писал Кондратьев жене из тюрьмы в 1922 году, — что интеллигенция 20-40-х годов прошлого века, люди типа Герцена, Огарева, Хомякова, умели жить более глубокой, полной и содержательной жизнью? Мне кажется — да. ...Вот почему они оставили так много дневников и писем — этих удивительных памятников из истории человеческой личности". Трудно было представить сидящему в тюрьме Кондратьеву, что он сам принадлежал поколению колоссального интеллектуального взрыва, которого никогда еще не знала Россия, а то и мир, по которому проехала тяжелая колесница истории (Кондратьев).

Проблемы 18 века, поднятые на суде инквизиции, актуальны и сегодня, после процессов XX века, когда речь идет о противоречиях между наукой и властью. Россия, как Сатурн, пожирала своих сыновей, и чтобы они снова появились, потребуются десятилетия. Кондратьева я читала поитальянски в шестидесятые годы в Италии. Студенты миланского экономического университета Бокони спокойно склоняют его имя в связи с большими циклами природы экономики. А судьба Кондратьева попала под то самое колесо истории, которое заставило его молчать вместе с лучшими умами России.

И если тираны Сиракузы

Исайя Берлин, гость из будущего, которому Анна Ахматова, из плеяды великих молчальников русской культуры, посвятила "Поэму без героя", пишет в недавно опубликованном 2-м томе "Истории свободы" о тонком механизме управления сталинской разработки, о том физическом и нервном напряжении на износ, которому люди подвергаются в этой системе, об ужасающих масштабах режима. Он призывает к пристальному изучению этого изобретения. Хотя бы потому, что это такой сильный и эффективный инструмент управления людьми — инструмент, позволяющий сломить человеческую волю и все же одновременно заставить людей работать на максимуме своих возможностей, о каком самые

жестокие и беспринципные эксплуататоры капиталистического мира даже мечтать не могли. "Ибо лишь душа, презирающая свободу и человеческие идеалы больше, чем сам Великий Инквизитор Достоевского, могла изобрести этот инструмент; и этот инструмент, держащий в подчинении и страхе восемьсот миллионов* человек, остается... самым важным и самым малоизученным феноменом нашего времени".

И если тираны Сиракуз или папская инквизиция нам сегодня далеки, то совершенно иначе — в домашней географии и в новой истории — воспринимаются тюремные письма Кондратьева. Их трудно и больно читать. Вот уж действительно горе от ума!

Милан



* Вероятно, автор имеет в виду население всех социалистических стран, вместе взятых.

Кира САПГИР

Ночь Спинозы

"Сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь" (Исаия XXI, 11) — красовалась надпись на транспаранте над резным порталом Зала собраний города Экс-ан-Прованса в ночь с 18 на 19 марта. Здесь, в трапезной бывшего монастыря братьев-миноритов (XIII в.), был дан старт международной "Философской ночи" в честь Баруха Спинозы (1632-1677), скончавшегося 21 марта ровно 330 лет тому назад. Чествование великого еврейского искателя истины проходило во Франции под эгидой министерства культуры, министерства народного образования и в партнерстве с государственным Институтом политологии (Sciences Po). Руководило чтениями Общество по изучению философского наследия Спинозы, организованное в 2002 г. в Лионе. В эту ночь на университетские кафедры Сорбонны, Лиона, Лилля поднимались ученые мужи, поминавшие влияние философа-рационалиста и пантеиста из Нидерландов на развитие мировой философской мысли.

Бенедикт (Барух) Спиноза родился 24 ноября 1632 года в семье зажиточного торговца в Амстердаме, где нашел пристанище его дед после изгнания евреев из Испании. Богословское образование Спиноза получил в еврейской школе. Там он изучал Библию, Талмуд, великолепно овладел древнееврейским. Изучал он также каббалу, знатоком которой был раввин Мортейра. Мортейра превозносил Спинозу, говорил о нем как о будущем великом светоче иудейского вероучения. Однако могущественную поддержку в поисках познания Бога и природы всего сущего Спиноза нашел для себя в трудах Рене Декарта, для изучения которых блистательно освоил латынь. Спиноза, подобно Декарту, уверовал в спасительную силу и могущество Разума. "Люди, управляемые разумом, не чувствуют влечения ни к чему, чего бы не желали другим людям, а потому они справедливы, верны и честны", — это рассуждение Спинозы есть, по сути дела, предвосхищение категорического императива Канта.

Когда стало известно, что Спиноза мыслит вне всякого вероучения, его потребовали в синагогу на суд. Раввин Мортейра постарался вразумить Спинозу. Он предложил ему годовое содержание в тысячу гульденов, лишь бы тот иногда посещал синагогу и оставался иудеем. Но философ отказался променять свободную мысль на житейское благополучие. И еврейская община, ужаснувшись, решила отлучить отступника. В конце июля 1656 г. было произнесено в амстердамской синагоге: "Да будет он

проклят днем и да будет он проклят ночью! Да будет он проклят, когда спит, и да будет проклят, когда восстает от сна! Да будет он проклят при выходе и да будет он проклят при входе! Господь да не простит ему никогда!..". Так Спиноза стал отверженным.

В Талмуде есть предписание, которое обязывает ученого помимо умственной деятельности знать какое-то ремесло. Следуя мудрой заповеди, Спиноза овладел искусством шлифовки линз — в этом, как и во всем остальном, подражая своему кумиру — Декарту.

В Амстердаме в кругу последователей Спинозы был Альберт Бург, который безуспешно пытался убедить друга принять католичество и избавиться от гордыни — прекратить числить себя провозвестником "высших" истин. Ответ Спинозы был достойным и кратким: "Я вовсе не претендую на то, что открыл наилучшую философию, но я знаю, что постигаю истинную". Именно необходимость такого различия подчеркивает Спиноза в своей "Этике" — главном труде жизни.

Во второй части "Этики" говорится о природе и происхождении души, в третьей — о происхождении и природе аффектов. Эти части подготавливают основу "Богословско-политического трактата", написанного позднее.

Спиноза всегда хотел быть свободным и жить независимо от внешних обстоятельств. Он говорил, что корыстолюбие и суетные блага определяют основные человеческие влечения. Сам он, по свидетельству как своих друзей, так и врагов, был совершенно непритязателен. Его жизнь была настолько образцовой, что напоминает великие примеры жизни мудрецов классической древности. Он предпочитал тишину и уединение. У него было любимое занятие: он ловил пауков, бросал их в стеклянную банку, запускал туда мух и наблюдал за борьбой насекомых, говоря, что в этом он видит суть человеческого общества. Свои труды он писал, в основном, ночами, а днем отдыхал. Он никогда ни на что не жаловался, хотя более двадцати лет страдал чахоткой, так как постоянно дышал стеклянной пылью, шлифуя стекла. В близость смерти он не верил до конца своих дней.

21 февраля 1677 г. к Спинозе в Амстердам приехал его друг и врач Людвиг Мейер. Он осмотрел Спинозу и распорядился, чтобы хозяева приготовили ему куриный суп. Спиноза ел с аппетитом, потом прилег и в 3 часа дня умер. В двухсотлетнюю годовщину его смерти вблизи его последнего жилища установили бронзовый памятник. При жизни Спинозы были опубликованы лишь два его произведения: "Основы философии Декарта" (1663 г.) и "Богословско-политический трактат" (1670 г.).

"В чем главный постулат "Этики" Спинозы? Прежде всего, в том, что именно там впервые была продемонстрирована возможность метафизики как системы. Притом системы, возможной только на пантеистической основе", — говорилось во вступительном слове Альфонса Риво, президента Лионского общества друзей Спинозы; вслед за этим вступлением последовал любопытный доклад "Спинозизм и судьбы еврейских анархистов" профессора-историка М. Гочарока, автора сборника исторических очерков "Пепел наших костров", посвященных идиш-анархизму.

Прибыли на философские чтения и гости из России. В Сорбонне с докладом "Спиноза и Рерих" выступил доктор философских наук профессор МГУ Л.М. Робинсон. Рассказывая об ассоциации "Живая Этика" при "Рериховском центре", докладчик процитировал слова Н.К. Рериха из его эссе "Спиноза":

"Случайно ли само время напоминает о славных достижениях мысли? Суровый лик Испании, родины семьи Спинозы, тяжкая судьба соотчичей Марранов, легенда Сабаттая Цеви, вспышка Уриэля да Косты, знакомство с Бэконом, Декартом, Джордано Бруно, понесшими на себе тяготу окружающего невежества — среди ночи сознания человеческого, освещаемого до зари задолго сполохами истины, бодрствует на плотинах Голландии неусыпное мыслетворчество Спинозы. В темноту вопрошает оно: "Почему материя не достойна природы божественной?".

"Тогда"

Спинозе посвящается

Ошибаешься, ученик! Зла — нет.
Зло сотворить Великий не мог.
Есть лишь несовершенство.
Но оно так же опасно, как то,
что ты злом называешь.
Князя тьмы и демонов нет.
Но каждым поступком
лжи, гнева и глупости
создаем бесчисленных тварей,
безобразных и страшных по виду,
кровожадных и гнусных.
Они стремятся за нами, наши творенья!
Размеры и вид их созданы нами.

Берегися рой их умножить.
Твои порожденья тобою
питаться начнут. Осторожно
к толпе прикасайся. Жить трудно,
но все же помни наказ:
жить, не бояться и верить.
Остаться свободным и сильным.
А после удастся и полюбить.
Темные твари очень все это не любят.
Сохнут и гибнут
тогда.

Париж



Ольга БАРКОВСКАЯ

Журнальная графика Л. Пастернака



Среди многих талантов, подаренных миру Одессой, — прекрасный живописец и график Леонид Осипович Пастернак (1862-1945). Он учился в Одесской рисовальной школе, затем в Мюнхенской академии художеств. После женитьбы на пианистке Розе Кауфман переехал в Москву и в родном городе бывал только наездами. Большой период его жизни связан с Львом Толстым, художник неоднократно гостил в Ясной Поляне, много рисовал Толстого и его близких, был одним из первых иллюстраторов "Воскресения" и "Войны и мира". В 1920-21 годах Пастернак выполнил







официальный заказ на создание портретов деятелей революции, сделал большое количество зарисовок на заседаниях ВЦИК, на съездах Советов, на конгрессе Коминтерна. А в 1921-м с семьей уехал в Германию (в России остался сын Борис). После прихода к власти нацистов ему как еврею запретили заниматься живописью, и семья Пастернака перебралась в Англию. Последние годы жизни художник провел в Оксфорде, где ныне существует музей его имени.

Но начался его долгий и славный творческий путь в 1880-е годы здесь, в Одессе, рисунками для юмористических журналов "Маяк" и "Пчелка". Их выпускал популярный одесский фельетонист Михаил Федорович Фрейденберг, подписывавший свою постоянную колонку в "Одесском вестнике" и тексты и рисунки в журналах псевдонимом Оса. Об этом начале своей карьеры Пастернак не без юмора вспоминал впоследствии в автобиографической книге "Записи разных лет". Фрейденбергу, затеявшему издание "Маяка", требовался рисунок для обложки, и он обратился

к юному художнику, а для достижения цели воспользовался не слишком корректным, но зато эффективным приемом:

"...Попробуйте! Авось удастся!.. Мне надо на некоторое время уйти, а Вы вот сядьте здесь — вот бумага, карандаши и... до свиданья! Я даже запру Вас на ключ, чтобы Вы, чего доброго, не сбежали до моего прихода..." Как умный и решительный человек, он сразу понял, что только таким насильственным путем он добьется чего-нибудь. Когда же он возвратился — и позже, конечно, чем обещал, — он пришел в такой восторг, что только повторял: "Ну, я спасен, слава Богу! Молодчина!.. Я знал! ...у нас с Вами дело пойдет!"

И действительно, "дело у нас пошло"! Еще будучи гимназистом-восьмиклассником, я стал заправским художественным сотрудником журнала "Маяк", а потом "Пчелка".

Из воспоминаний Пастернака трудно понять, что солидному издателю и "решительному человеку" не намного больше лет, чем художнику — в 1880 году, когда Фрейденберг начал выпускать журнал "Маяк", ему был всего 21 год. В следующем году он взял







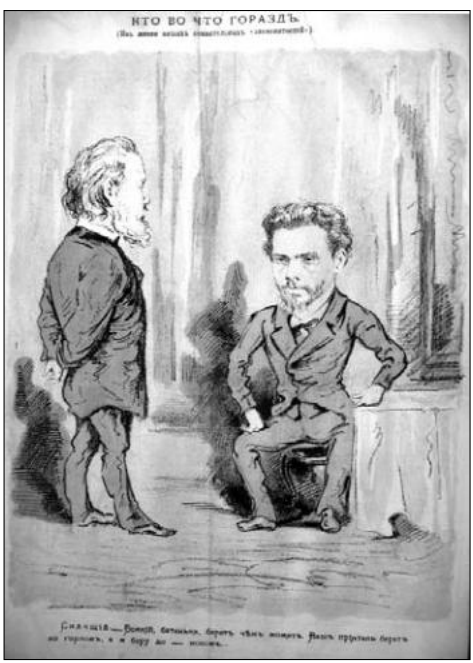


в аренду газету "Пчелка" и превратил ее в насыщенный иллюстрациями юмористический журнал — с цветными обложками, что было для Одессы новшеством. Кстати, именно в период сотрудничества с "Пчелкой" Пастернак познакомился со своей будущей женой, молодой, но уже завоевавшей известность пианисткой Розой Кауфман, портрет которой (правда, работы другого художника) украсил одну из обложек журнала. Пастернак работал в "Маяке" и "Пчелке", скорее, из дружеских чувств к издателю, чем по другим причинам. "Душа его не лежала к карикатурам, которые он находил низшим родом искусства", — писал впоследствии Фрейденберг. Да и назвать карикатурами большую часть рисунков, сделанных художником для обоих журналов, трудно. В основном, это — бытовые

зарисовки, достаточно реалистичные, и лишь кое-где можно увидеть некоторую шаржированность, свойственную карикатуре. В любом случае, для начинающего художника работа в журналах была полезной школой. А мы благодаря сохранившимся старым подшивкам имеем неоценимую возможность проследить первые шаги мастера и попытаться увидеть в них то зерно, из которого выросла великолепная графика зрелого Леонида Пастернака.







Виталий АМУРСКИЙ

Мучительное право — любить...

О своем труде — "Антологии еврейско-русской литературы" — в беседе с Виталием Амурским рассказывает Максим Шраер.



Максим Шраер
Фото Гери Гилберта

В нью-йоркском издательстве *M. E. Sharpe* весной 2007 года вышла в свет двухтомная "Антология еврейско-русской литературы", которая охватывает период от 1801 до 2001 года. Читателю предлагается знакомство со 132 авторами, многие из которых получили мировую известность, но имена некоторых, вероятно, известны, в основном, лишь любителям словесности, специалистам. Огромный труд по сбору материалов для этой антологии проделал замечательный литературовед, писатель и переводчик, профессор русистики и англистики, заведующий кафедрой славянских и восточных языков, содиректор программы по еврейским исследованиям Бостонского колледжа Максим Шраер.

Шраер — автор ряда литературоведческих книг, изданных по-английски и по-русски, среди которых "Мир рассказов Набокова" (1999), "Русский поэт / советский еврей: Наследие Эдуарда Багрицкого" (2000), "Генрих Сапгир: Классик авангарда" (2004, совместно с Давидом Шраером-Петровым), а также сборников стихов и множества литературных публикаций. В составленной им антологии перу Шраера принадлежит общее монографическое введение, обзоры периодов еврейско-русской литературной истории, вступительные статьи о каждом из представленных авторов, все комментарии, а также переводы произведений более сорока писателей. По этому случаю журналист Международного французского радио, прозаик и поэт, член редакционного совета альманаха "Дерибасовская — Ришельевская" Виталий Амурский попросил М.Д. Шраера ответить на несколько вопросов, которые мы и предлагаем вашему вниманию.

— Вы родились в Москве в 1967 году, в двадцатилетнем возрасте эмигрировали с родителями в Соединенные Штаты, где смогли добиться больших успехов в разных областях творчества. Разумеется, литературоведение — это творчество особое, тесно связанное с наукой. Анто-

логии, о которой сейчас идет речь, вы предпослали подзаголовок: "Два века двойного самосознания в прозе и поэзии". Понятие "двойного самосознания" в данном случае, вероятно, оказалось тем, что вы испытали сами. Так что, первым делом, если позволите, — об этом, а следовательно — о том, как и когда сформировался у вас замысел антологии. Как много времени у вас ушло на реализацию этого проекта?

— Вы совершенно правы, что предмет и направленность литературоведческих исследований в существенной мере определяется биографическими, экзистенциальными обстоятельствами, под воздействием которых я формировался как литературовед. В этом смысле, наверное, не случаен тот факт, что начиная свой путь в литературоведении, я идентифицировал себя с судьбой и творчеством Владимира Набокова и исследовал культуру русской эмиграции. Я полагаю, что на подсознательном уровне мое обращение к вопросам еврейско-русского литературного творчества — сначала в книге о великолепном, все еще не полностью оцененном литературным истэблишментом одессите Багрицком, а потом уже в самой антологии, — началось еще в детстве в России.

И тут дело не только и не столько в персональной дозе ксенофобии и антисемитизма, испытанной конкретным еврейским мальчиком, потом юношей из семьи отказников. Из одних лишь воспоминаний о травме преследуемых евреев — как и из воспоминаний о противоречивой любви евреев к России — серьезной науки не сделаешь. Тут дело, главным образом, в том пародоксальном состоянии двойственности (и раздвоенности), которое присуще евреям вообще, а особенно евреям в России (как наиболее экстремальном варианте еврейской ашкеназской диаспоры (всего 200 лет — сравните с еврейской историей в Италии, Германии или Польше).

Это двойное самосознание дает еврейско-русским писателям колоссальный созидательный импульс, черпаемый как из глубин религиозного, историко-культурного и энтолингвистического наследия еврейства, так и из переполненных кладовых русского слова. Я стал обо всем этом задумываться еще восемнадцатилентим московским юношей, начинавшим писать стихи и мечтавшем одновременно о жизни в медицине (не довелось!) и литературе (эмиграция открыла для меня этот путь). И конечно же, мои представления отчасти складывались под влиянием моего отца и учителя в поэзии Давида Шраера-Петрова, творчество которого обращено к проблематике отношений евреев и русских.

Замысел же самой "Антологии еврейско-русской литературы" явился мне примерно в 1999 году, когда я заканчивал книгу о Багрицком — о ев-

рейском самосознании в ранние советские годы и демонизации Багрицкого русскими ультранационалистами. В общей сложности я работал над антологией почти восемь лет. За эти годы годы многое изменилось в моей жизни, и прежде всего, я стал мужем и отцом. (И даже побывал в Рио-де-Жанейро, воплотив месту Остапа Бендера.)

В процессе подготовки и отбора материалов я прочитал множество произведений, написанных по-русски 300 авторами, и отобрал прозу и стихи 132 авторов. Порой отбор был чрезвычайно труден, мучителен. Я люблю все вошедшие в антологию тексты — в разной степени, но люблю. В антологии два тома (1801-1953; 1953-2001) и следующие разделы: "Начало", "Приобретая голос: 1840-1881"; "Первое цветение: 1881-1902"; "Накануне: 1902-1917"; "Революция и поражение: 1917-1939"; "Эмиграции: 1917-1967"; "Война и террор: 1939-1953"; "Оттепель: 1953-1964"; "Поздняя советская империя: 1964-1991"; "Еврейский исход: 1967-2001"; "В постсоветское время: 1991-2001".

Как специалист в области еврейской культуры я начинал этот многолетний проект в надежде проследить поведение множества разнообразных текстов и сформулировать "еврейскую поэтику". Но при этом как литературовед-компаративист общего профиля я испытывал определенную долю скепсиса по отношению к возможности того, что вселенские, универсальные законы творчества по-разному проявляются у представителей различных этнических, национальных и религиозных групп.

Моя рабочая гипотеза основывалась на трех посылках. Во-первых, на разных стадиях еврейско-русские писатели проявляли разные типы двойственности. Во-вторых, еврейско-русские писатели по свой природе двукультурны. В-третьих, любой неинклюзивный и редуктивный подход может привести в двойному насилию над культурой.

Именно поэтому в ходе работы над антологией я избегал предварительных и скороспелых заключений о каноне еврейско-русской литературы. Отбираемые материалы сами постепенно подсказывали критический подход к авторам. Результаты — в предлагаемой вниманию читателя антологии, выход которой — самое важное событие моей профессиональной судьбы.

— Перед тем как задать следующий вопрос по этой работе, я хотел бы спросить: в чем именно повлиял на вас как на литератора ваш отец, которого я очень люблю и уважаю как прекрасного писателя и человека?.. Впрочем, наверное, непросто провести грань между влиянием творческим и человеческим, тем более, когда были пережиты страшные времена "отказа"…

— Коль скоро речь зашла о моей семье, позвольте несколько слов сказать сначала о моей маме Эмилии Шраер (Поляк). Она талантливый филолог-англист и переводчик, человек безукоризненного вкуса, и именно маме я обязан раннему погружению в английскую речь. Под влиянием мамы, которая у нас в семье была и остается "западницей", я еще в детстве стал задумываться о возможности одновременного, параллельного существования в двух языковых измерениях. Уроки английского, усвоенные в детстве, помогли мне стать билингвой, а значит, и самым прямым образом повлияли на качество переводов в "Антологии еврейско-русской литературы".

Теперь об отце. Мой отец, писатель и ученый-медик Давид Шраер-Петров, был для меня в детстве и отрочестве главным источником еврейской духовности. Он в детстве — еще до войны и эвакуации и сразу после войны — застал живую еврейскую жизнь наших предков, которые вывезли из бывшей черты оседлости (из Подолии и Литвы) в ленинградскую эмиграцию иудейские традиции, идиш и память о прошлом. Отец еще до войны застал своего деда со стороны матери, благословенной памяти раввина Вульфа Брейдо, который происходил из династии раввинов-литваков Брейдо (Бройде), — он погиб в Шоа, отказавшись покинуть дом и священные книги.

Я подчеркиваю тот факт, что в 1970-е и ранние 1980-е мой отец был для меня связующим звеном между тысячетилетиями еврейского прошлого и нашим акультурированным московским еврейским настоящим. Именно из неподцензурных стихов и прозы моего отца о еврействе — а мне не раз посчастливилось быть их первым слушателем и читателем — я, наверное, впервые извлек вот эту самую двойственность и раздвоенность. Отец выразил эту трагедию еврейско-русского творческого сознания в известном стихотворении "Моя славянская душа в еврейской упаковке...", за которое в СССР он подвергся остракизму. Потом уже, в годы отказа, я прочитал в рукописи эпический роман-дилогию отца "Герберт и Нэлли" о судьбе еврейского исхода из СССР, которая уже два раза переиздавалась в постсоветской России.

Родители воспитали меня как еврея и как русского, и даже в тяжелейшие годы отказа, годы преследований, угроз, запретов и изоляции, я никогда не слышал дома коллективных проклятий в адрес преследователей моих родителей и страны, которая породила этих преследователей.

Я уже упомянул, что отец был моим учителем в поэзии. Но уроки в литературе — это еще и уроки общения с живыми литераторами. Мне очень повезло, что до того как мы попали в отказ и до исключения моего отца из Союза писателей, в 1970-е, отец часто водил меня в Дом литераторов, ЦДЛ, где я на-

блюдал со стороны, как набоковский мальчик в берлинском пивном зале, московскую писательскую тусовку. То, что видишь в детстве, часто запоминается на всю жизнь — и я запомнил лица, портреты, ремарки многих писателей.

Из друзей отца на меня, несомненно, повлияло общение в Евгением Рейном и Генрихом Сапгиром, которые тогда уже были знамениты, но все еще ходили в официально непризнанных "взрослых" поэтах. Замечательного Сапгира уже нет с нами, а Рейн сильно изменился с тех пор, как стал лауреатом и официальным поэтом. Но ведь самое главное для еврея — память. Поэтому мне очень приятно, что в антологию вошли стихи этих поэтов — "В последний раз" Рейна и большая подборка иудейских постмодернистских псалмов Сапгира.

— Спасибо за этот рассказ, который приоткрывает важные моменты в вашей судьбе. Вернемся, впрочем, к центральной теме. Среди тех, кто фигурирует в антологии, далеко не все показывали, проявляли свое еврейство. Я имею в виду — в творчестве. Насколько я понимаю, для вас важно было все-таки происхождение того или иного автора?

— Два главных критерия, достаточный и необходимый, определяли выбор вошедших в антологию текстов. Прежде всего, что касается происхождения и самоидентификации автора, достаточно того, чтобы данный автор был евреем или согласно Халахическим представлениям (т. е. согласно иудейским законам), или в соответствии с теми представлениями или принципами, согласно которым еврейство было юридически определено или понималось в Российской империи, СССР и республиках бывшего СССР, а также в других странах проживания автора, как при жизни, так и после смерти.

Факт перехода автора из иудаизма в другие религии сам по себе не дисквалифицировал этого автора от включения в антологию и в канон еврейско-русской литературы. В то же время, факт еврейского рождения и происхождения сам по себе не гарантировал включения данного автора в антологию и в канон еврейско-русской литературы, каким бы важным ни было место автора в русской литературной традиции. Здесь начинал действовать необходимый критерий: ангажированность еврейских предметов, тем, вопросов, проблем и так далее в творчестве. Для авторов, в произведениях которых нет существенного, значительного проявления критерия еврейской ангажированности, врата еврейского-русского литературного рая, пожалуй, закрыты.

Добавлю только в качестве пояснения, что в литературных текстах проявление еврейскости бывает разное, и вовсе не только на уровне тематики и повествования. Разумеется, когда поэт-имажинист Марк Ройзман пишет по-

русски в Москве в ранние 1920-е яркие экспериментальные иудейские стихи (см. его замечательный цикл "Кол Нидре" — на иврите это означает "Все обеты", начало вечерней службы Судного дня) и печатает его в сборнике "Хевронское вино" (1923), то всем читателям, а не только причастным к еврейской цивилизации, очевидна тематика и словесная ориентация этих стихов.

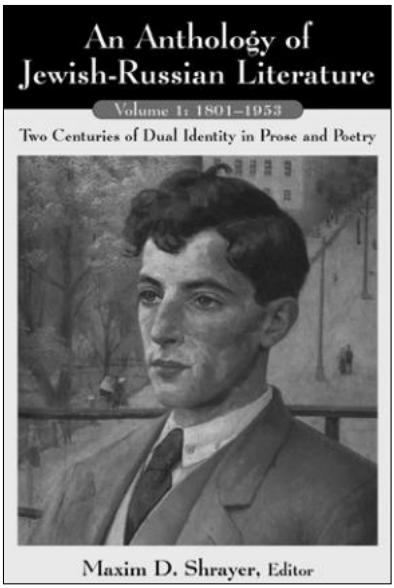
Сложнее дело обстоит с текстами, где еврейскость зашифрована, закодирована, проявлена не впрямую. В антологии я оперирую термином "текстура еврейства". Мы еще не научились измерять все показатели, все параметры литературных текстов точными научными методами. Важно понимать, что "еврейскость" стихотворения, поэмы, рассказа, романа или эссе не только в тематике, риторике или идеологической направленности, а в еврейских интонациях, полутонах, модуляциях, которые зачастую воспринимаются лишь еврейскими читателями. Тут чистейший эксперимент — хороший перевод на иностранный язык, а в моей антологии почти 90% текстов публикуются в новых, специально заказанных и тщательно выверенных английских переводах. Трудно переоценить вклад переводчиков в популяризацию еврейско-русской литературы на Западе.

— Вероятно, работая над своим двухтомником, который в целом составил 1278 страниц, вы могли отметить некие общие черты, знаки, приметы, которые могли бы дать более отчетливое представление о специфике еврейской прозы и поэзии?

— Очень трудно вкратце ответить на этот вопрос, а большинство ответов не в умозрительных построениях критика и историка литературы, а в самих еврейско-русских текстах, в их формальном и смысловом многообразии. Но нельзя не отметить, вслед за покойным Шимоном Маркишем, столько сделавшим для изучения еврейско-русской литературы, ее принадлежность одновременно двум культурам или цивилизациям.

Кроме того, неотъемлемой чертой этих текстов мне кажется память о многовековой библейской и талмудической культуре, нередко выраженная в завуалированной форме, но, тем не менее, присущая страницам еврейско-русской литературы. Кроме того, отметим взгляд авторов, который направлен извне и изнутри одновременно, а также интерес авторов и их героев-представителей к острейшим, нередко запретным вопросам истории и идеологии (векторы еврейского патриотизма, смешанный брак, религиозное отступничество, евреи и радикализм и многие другие вопросы).

И наконец, нельзя не коснуться двойственной модели прочтения этих текстов. Возьмем пример из Исаака Бабеля, классический по своей ясности и простоте. Американский исследователь Морис Фридберг в свое время за-



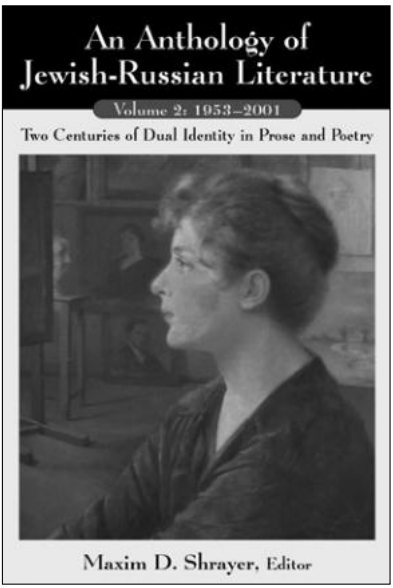
метил, что в имени "Арье-Лейб" читатель, знакомый с элементами еврейской цивилизации, обнаружит намеренную тавтологию. "Арье" — "лев" на иврите, а "Лейб" — "лев" на идиш. Бабелевского колоритного персонажа в позднем рассказе "Конец богадельни", по сути, зовут Лев-Лев, т. е. вдвойне "лев". Этот пример иллюстрирует двойное и раздвоенное прочтение этого еврейского-русского рассказа, действие которого происходит в Одессе. Читательская аудитория, которую можно условно назвать "русской", вряд ли обратит внимание на эту деталь, хотя по-своему сможет оценить художественный замысел рассказа Бабеля. Представители же "еврейской" читательской аудитории, скорее всего, поймут, что имя "Арье-Лейб" — имя администратора богадельни — отмечено двойной бабелевской иронией. Ведь, по сути, это рассказ об исчезновении еврейской дореволюционной Одессы в водовороте советского времени.

— Нельзя не обратить внимание на то, что из 132 авторов антологии более двадцати из Одессы. Удивительно, как щедро одарила судьба этот южный город таким числом мастеров слова! Интересно, среди них есть ли у вас любимые?

— Если хотя бы отчасти правомерен афоризм, что русская литература вышла из гоголевской шинели, то не самым большим преувеличением будет наблюдение, что еврейско-русская литература вышла из Одессы. В 1860-е годы Одесса была центром Хаскалы в России, и именно в Одессе был основано первое еврейское периодическое издание на русском языке, "Рассвет", просуществовавшее один год. За ним последовали еще два кратко-срочных, но колоссально важных для истории еврейско-русской культуры одесских периодических издания, "Сион" (1861) и "День" (1869-1871).

Я счастлив, что в антологию вошли произведения еврейско-русских писателей, родившихся или выросших в Одессе, или живших в Одессе в течение длительных и плодотворных периодов своего творчества. В первом томе антологии это (в хронологическом порядке): Осип Рабинович,

Бен-Ами, Давид Айзман, Семен Юшкевич, Владимир Жаботинский, Саша Черный, Исаак Бабель, Вера Инбер, Марк Тарловский, Виктор Финк, Семен Кирсанов, Эдуард Багрицкий, Илья Ильф (и Евгений Петров), Аркадий Штейнберг, София Прегель и Маргарита Алигер. Во втором томе одесситов меньше, но это прекрасные писатели: Семен Липкин, Лев Мак, Аркадий Львов, Руфь Зернова и Михаил Жванецкий.



Кроме "Происхождения" и "Февраля" Багрицкого и двух рассказов Бабеля ("Пробуждение" и "Сын рабби") из вошедших в антологию текстов писателей-одесситов мне особенно дороги "Земляки" Айзмана, "Памяти Герцля" Жаботинского, "Соловей и Роза" Инбер, "Буква "Р" Кирсанова и "Я видел море Черное во сне..." Штейнберга.

Без Одессы просто невозможно представить себе карту еврейско-русского литературного мира.

— Кстати, в Одессе вам приходилось бывать?

— Нет, пока не довелось, к большому сожалению. Хотя мне иногда кажется, что я сам из Одессы, — прежде всего, из-за многолетнего вчитывания в тексты Бабеля и Багрицкого (особенно в поэму "Февраль", которую я перевел на английский, и очень важные для меня лично "автобиографические" рассказы Бабеля, среди которых "Пробуждение" — в нем почти каждый еврейско-русский писатель узнает те или иные треволнения своей литературной юности).

Сколько раз я показывал своим студентам фотографии Одессы и знаменитую эйзенштейновскую сцену с Потемкинской лестницей! Я не раз слышал от одесситов, от писателей из Одессы (например, от Аркадия Львова, рассказ которого "Последний раввин" представлен в антологии), об их не уходящей ностальгии по родному городу. В Одессе, кстати сказать, у нас (Шраеров) до войны были родные. Из Одессы в 1924 году уплыл на пароходе в Яффу брат моего деда, Моисей Шраер (Шарир). Все пути ведут меня в Одессу. Некоторое время назад, после выхода моей кни-

ги о Багрицком (первой на Западе), у меня завязались контакты с коллегами из Одесского литературного музея. Надеюсь, что в ближайшие годы наконец-то осуществится мечта увидеть Одессу, постоять в Практической гавани вместе с моими женой и дочкой — там, где когда-то стояли Бабель, Багрицкий и другие неповторимые одесские таланты и всматривались в черноморские дали.

— Нередко приходится слышать, что в творческом отношении евреи особо талантливы как музыканты и художники. Собранная вами антология в известном смысле доказывает и то, что в литературе дело обстояло и обстоит не хуже. Но нужно ли вообще выделять это? Важно ли для читателя знать, скажем, что Мандельштам и Пастернак были евреи? Они изначально — кровная часть литературы русской…

— Я думаю, что в выражении "кровная" заключена горькая ирония. И часто, слишком часто, отводя еврейско-русским писателям то или иное место в пантеоне великой русской литературы, критики и читатели с готовностью забывают о формообразующих аспектах происхождения этих писателей и об их двойном самосознании. В руссоцентристкой презентации фактов литературной истории писатели вступают в сельский ландшафт или городской пейзаж русской литературы евреями, так сказать, по случайности, но становятся и остаются русскими писателями.

На самом деле, перестать быть евреем (а в творческом сознании такого рода психоэстетические процессы гипертрофированы!) — евреем в культуре — невозможно, даже если этого страстно желать, как желал этого Борис Пастернак. Поэтому в работе над антологией я исходил из убеждения, что читателю важно знать правду — как о читаемых и любимых им произведениях, так и об их авторах. Только узнав правду и попытавшись разобраться в перипетиях еврейско-русского творчества, каждый читатель для себя по-своему решит, что принимать во внимание, а от чего отмахнуться. В советское время по отношению к проявлениям еврейства бытовало выражение "не выпячивайте пятый пункт". Но как можно умалчивать ключевые факты происхождения писателей и их текстов? Особенно в наше, постсоветское время?

Владислав Ходасевич, сын воспитанной в католичестве еврейки и поляка, писал в программном стихотворении "Не матерью, но тульскою крестьянкой...", вошедшем в первый том антологии наряду с "Вечером", "Слезами Рахили" и "Я родился в Москве. Я дымы...": "И вот Россия, "громкая держава", / Ее сосцы губами теребя, / Я высосал мучительное право / Тебя любить и проклинать тебя". Здесь речь идет о многом, прежде всего,

о месте инородцев по происхождению в русской культуре и об их праве держать дистанцию чужака между собой и русским большинством. Так вот, мне кажется, что и я как составитель этой антологии "высосал" право не оставлять за кормой еврейскость писателей, прославивших русскую литературу далеко за пределами российских земель.

Вырвать Мандельштама из "хаоса иудейского", как этого желал ультранационалист Станистав Куняев, так же невозможно, как невозможно просто читать Мандельштама, забывая о том (или закрывая глаза на то), что Мандельштам пытался своими текстами и своей литературной судьбой примирить иудейство и эллинство, а также стыд за своих местечковых евреев и гордость за своих библейских предков. И при этом стремился все это исторически осмыслить в контексте освобождения российского еврейства и еврейского (временного) опьянения революцией.

В случае Пастернака исключать еврейство не менее бессмысленно. Тема еврейского апостатства и невозможности полной ассимиляции красной лентой пронизывает творчество Пастернака. Вспомним "Апеллесову черту", "Повесть" и "Спекторского". Кстати, в "Антологию" включены два малоизвестные стихотворения 1944 года, в которых фигурирует Одесса — город предков Пастернака, в котором он бывал в детстве и юности. Эти два стихотворения, "В низовьях" и "Одесса", были опубликованы в газете "Красный флот", причем "Одесса" — 12 апреля 1944 года, через два дня после освобождения города.

"В низовьях" — реквием по погибшей и уничтоженной довоенной одесской культуре, по юго-западной школе; в этом стихотворении Пастернака слышны отголоски "Юго-Запада" Багрицкого. "Одесса" — вымученное и потому особенно трагическое обещание Пастернака построить "вечный памятник" жертвам нацистской и румынской оккупации, десяткам тысяч убиенных евреев Одессы и Транснистрии. "Памятником" Пастернака, в его собственных глазах и в глазах миллионов читателей, стал написанный уже после Шоа (еврейской Катастрофы) роман "Доктор Живаго", с его чудовищным призывом к евреям: "Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми".

Можно ли после этого игнорировать иудейство и еврейство этих и других писателей, пусть даже не творивших на еврейских языках?

— В то время когда вы работали над антологией, охватывающей два века еврейско-русской литературы, в России вышла книга о двух веках еврейско-русского "соседства", написанная Солженицыным. Разумеется, у каждого труда — свой вектор. Но все-таки странно, горько, что

в России, где, казалось бы, должны были научиться извлекать уроки из истории, отказаться от подлых антисемитских догм, многое остается по-прежнему... Что вы об этом думаете?

— Антология вышла в свет относительно недавно. За это время я услышал много разных отзывов, среди которых отмечу два. Несколько американских евреев употребили термин "мацева" (еврейский надгробный камень) по отношению к антологии. Это примечательно. С другой стороны, не только вы, Виталий, но и другие литераторы-эмигранты называют мою антологию "ответ Солженицыну".

Я, честно говоря, не думал ни о еврейских надгробиях, ни об ответах Солженицыну, когда работал над антологией. А думал я о том, что трудно, невозможно представить русскую литературу без евреев. Но представить будущее еврейско-русской литературы тоже нелегко. Пожалуй, в республиках бывшего СССР отсутствует критическая масса населения, необходимая для продолжения этой литературы.

Конечно же, не только в России и Украине, но и в Израиле, Германии, США и Канаде плодотворно работают еврейско-русские писатели. Но я говорю о будущем, скажем, о том, что будет через 50 лет. Следующий шаг (и это уже происходит) — творчество выходцев из СССР на иврите, английском, немецком. Я и сам, признаться вам, как прозаик перешел на английский. Осенью выходит моя мемуарно-беллетристическая книга "В ожидании Америки: История эмиграции", о трех месяцах в жизни еврейской семьи, проведенных в Австрии и Италии летом 1987 года. Книга написана по-английски, но в ней, как мне кажется, запечатлено наследие еврейско-русской литературы, и прежде всего, дорогого мне Бабеля.

Тем не менее, несмотря на не самые радужные прогнозы будущего еврейско-русской литературы, мне бы очень не хотелось, чтобы с годами моя антология все больше и больше походила на некрополь. Именно поэтому я очень надеюсь, что "Антология еврейско-русской литературы" выйдет по-русски и станет доступна русскоязычным читателям во всем мире.

Париж — Бостон

В оформлении 1-го тома антологии использована работа Иегуды Пэна (1854-1937) "Портрет неизвестного", 1917 г., хранящаяся в Национальном художественном музее Белоруссии в Минске, а на обложке тома 2-го воспроизведен его же холст "Портрет Елены Кабишер-Якерсон" из коллекции Витебского областного музея.

ПУБЛИКАЦИИ

Алена ЯВОРСКАЯ
"На перекрестке Степовой
мы нынче дружно заседаем..." 262
Семен КИРСАНОВ
Новый быт 266

Пародии о ГУЛАГе 268
Публикация Аркадия ВАЙНЕРА,
Эдуарда КУЗНЕЦОВА

Алена ЯВОРСКАЯ

"На перекрестке Степовой мы нынче дружно заседаем..."

Литераторы – народ веселый и любящий жизнь (ну, встречаются иногда пессимисты и мизантропы, но их меньшинство). А так – все веселы (и, возможно, немного пьяны). Особенно на юге. Особенно в Одессе. И тем более, если литераторы эти – начинающие.

Ну и что ж, что начало двадцатых, время голодное, холодное и мрачноватое. Главное, чтобы компания была хороша, – собраться, почитать написанное, поговорить... А еще лучше, если их, компаний этих, несколько.

В 1922 году появляется в Одессе литературный кружок "Потоки Октября". Серьезный, профессиональный, существовал более четырех лет, даже одноименный альманах выпустил. Одним из организаторов кружка был Илья Чернов, а душой – Эдуард Багрицкий. Именно он прививал вкус к хорошим стихам вчерашним наборщикам и рабочим, а ныне начинающим поэтам. Впрочем, далеко не все потоковцы были "от станка". ("От сохи" был только один Иван Микитенко, будущий классик украинской драматургии.) Среди приходивших на заседания были и Лев Славин, и Сергей Бондарин, и Татьяна Тэсс, будущая звезда советской журналистики.

Собирались потоковцы в железнодорожном клубе на Степовой улице "в комнате со шкурой белого медведя на полу и небольшим, круглым, словно для игры в карты, столом посередине". Заседания проходили два раза в неделю – в среду и субботу. По средам знакомились с произведениями классиков и новинками литературы, а в субботу проводились литературные вечера, на которых члены кружка читали свои новые произведения. По воспоминаниям, заглядывал к ним и Исаак Бабель. Один (или одна) из участников застенографировал такое заседание в стихах. Вот какая картина получилась:

Мария ТАРАСЕНКО

Потоки

(дружеские укоры)

На перекрестке Степовой
Мы нынче дружно заседаем,
Единый рокот огневой
Связует нас – и мы сияем!
Тяжелый Беклин на стене,
В углу у входа ангел юркий.

Вода в граненом кувшине,
Бычки, цыгарки и окурки.
Струится дым, течет вода,
Потоки патоки и пота.
Еще не выдохлась "среда",
Как надвигается "суббота".
Да будет! Зачинаем бой
и вот, глазищами моргая,
Встает Чернов "как таковой",
За ним жена "как таковая".
Зачем же, дорогой Чернов,
Питать такую злость на Гехта?
О Баршт! О Тэсс! О Резников!
Необходимо высечь всех-то.
Страшитесь! Встанет Эдуард,
Сверкая впадиной зубною,
Гехт Соломон войдет в азарт,
Тряся еврейской головою.
Сергей Бондарин — всякий слышит
О яблоке, о наливном.
Смотрите: он прекрасно дышит
То самогоном, то вином.
И ты, Борисов Алексей,
Скажи, брат хитрый, сколько суток
В далекой юности своей
Описывал ты проституток?
Вступая в лоно поэтесс
Мы мыслим: лоно есть ли лужа?
О истерическая Тэсс,
Скорее обретайте мужа.
Чье слово мед и каждый слог
Симптоматичен и размерен
Он древле — ассирийский бог,
А ныне только доктор Верин.
Захаров, экс-имажинист,
В ближайшем — яркий коммунист.
Пусть спереди невзрачен он,
Зато он сзади превосходен,

И пусть на Пильняке взращен,
Но все же в интернат пригоден.
Довольно, суетный, остынь.
Да будет мир меж вами, дети,
Заканчиваем строки эти
Атеистическим "аминь".

Журнал "Силуэты", 1923, № 6-7

"Беклин" — по воспоминаниям, в комнате висела репродукция модной в начале века картины А. Беклина "Остров мертвых".

"Потоки патоки и пота" — авторство фразы в воспоминаниях приписывается Э. Багрицкому.

Чернов Илья, один из основателей кружка. Его жена постоянно присутствовала на заседаниях. Семен Гехт вспоминал: "За столом прочно усаживался Илья Чернов с женой, в супружестве тоже полюбившей поэзию".

Гехт Семен Григорьевич (1900/1903? — 1964) писатель, автор воспоминаний о "Потоках Октября".

Баршт Аркадий — по словам Гехта, "рабочий с табачной фабрики, признающий Гейне за то, что его признал Карл Маркс".

Тэсс Татьяна Николаевна

Резников Анатолий, один из основателей кружка, поэт, прозаик, считался одним из самых талантливых в "Потоках". Кирсанов, негативно отзываясь о потоковцах, делал для него исключение: "есть один талантливый парень — Резников".

Эдуард — Багрицкий Эдуард Георгиевич (1895-1934) — поэт, автор сборника стихов "Юго-Запад".

Бондарин Сергей Александрович (1903-1978) — писатель, автор воспоминаний о "Потоках Октября".

"Наливное яблоко" — поэма Сергея Бондарина, которую он с успехом читал на всех литературных вечерах.

Борисов Алексей Михайлович (1887-1973) — писатель, журналист.

Захаров Георгий Яковлевич (1898-1964) — писатель.

Пильняк Борис (18-19) писатель. Дискуссии о его творчестве были постоянной приметой литературной жизни 1920-х годов.

Бурные перепалки случались часто. Гехт вспоминал об одном из подобных споров о стихах Киплинга:

"Баршт ворчал, что в поэме действуют офицеришки, а мы офицеров загнали и так далее. У Багрицкого потом этот вечер был описан в лихой пародии, где обо мне сказано:

Он выступил раз и выступил два, и слова его были просты.
— На Киплинга лаешь, — он сказал, — покажи мне, как пишешь ты".

К сожалению, пародия Багрицкого не сохранилась.

В том же 1923 году молодой и, скажем честно, нахальный поэт Семен Кирсанов так описывает литературную жизнь города: "В Одессе существуют кружки: 1) "Потоки". Это

пролетарские поэты и писатели – порядочная пакость...". И вскоре при активном участии Кирсанова появляется "Юголеф". То есть Южный Леф. Левое искусство, одним словом.

По одной версии, деньги на затею давал модный дамский портной Исаак Корчик, имевший "счастье" быть отцом юного дарования. По другой – служебное положение и казенные деньги использовал в литературных целях поэт-коммунист Леонид Недоля-Гончаренко. Он был заведующим одесским отделением Госиздата и при первой же встрече с левыми поэтами и художниками Одессы "дал нам понять, что его положение в Госиздате открывает широкие возможности для пропаганды наших художественных взглядов и издания произведений лефовцев, вплоть до выпуска лефовского журнала", – вспоминал театральный художник Николай Данилов.

При такой материальной поддержке юголефы вполне могли выпускать журнал, редактором которого, естественно, стал Недоля. В отличие от других литературных организаций Одессы, кроме журнала у них была своя печать, настоящие членские билеты, книжный ларек, действовали театральная мастерская "Этмас" и изосекция Юголефа. Даже кафе. "РОЖ" называется – Работа, Отдых, Жратва. Сергей Бондарин вспоминал: "В целях эпатирования буржуазии мы в ресторанчике, который должен был служить, по нашему замыслу, материальной базой для идеологической надстройки, время от времени устраивали незамысловатые инсценировки ... с улицы вдруг раздавалось как бы церковное пение: открывалась дверь, группа молодых людей и девушек вносили просмоленный, как лодка, черный плоский гроб. В гробу лежал человек и курил. Случалось, ложился в гроб и я". Такую картину увидели однажды столичные гости. "Миша Голодный поперхнулся. Светлов молча проводил глазами процессию ... оглядел онемевших за столиками посетителей и, улыбаясь, спокойно сказал:

– Интересно, тот парень, что лежит в гробу, он и олицетворяет собой левое искусство? ... Если так, то едва ли стоит ему так беспечно покуривать: есть над чем подумать".

И реклама у юголефов соответственная. Вот как прививали они любовь к чтению народным массам: "Книгу жуя, жми буржуя", "Только животное и идиот не нуждаются в книге".

Коллег по перу (то есть потоковцев) недолюбливают. Риторический вопрос "Как пишут потОкоВЦЫ?". Тут тебе и вопрос, и ответ. Правда, вышеупомянутый Сергей Бондарин состоит членом и "Потоков", и "Юголефа".

О выступлениях юголефов много пишут газеты. Вот такая, например, заметка:

"Состоявшееся 19 мая ... собрание... привлекло большую аудиторию. У входа плакат: "Пьяным и крашеным не входить". ... Читают свои стихи Л. Недоля, С. Кирсанов и С. Бондарин. ... Работы т. Недоли отличаются стремлением к освобождению от образа, который заменяется конденсацией фразы. Шумные и разнообразные отзывы встречают стихи т. Кирсанова с "сомнительным выражением". Критикой Юголефа установлен принципиальный взгляд на этот вопрос. В стихах т. Бондарина критика отмечает выдержанную марксистскую мысль". Неизвестно, что за стихи читал Кирсанов. Возможно, описывающие заседание Юголефа.

Новый быт

После дневной напряженной работы
К черту отбросив дружно заботы, —
В час, когда нужно ложиться в кровать, —
Секция быта идет заседать.
Вот она — кузница нового быта.
Стойте, буржуи, окаменев,
В царство коммуны дорога пробита,
Твердо на страже стоит Юголеф.
Первый вопрос: "комсомольцы и кольца"
— Эй, комсомольцы, рубахи-развольцы.
Для изученья вопроса — алле —
Три "комсомольца" стоят на столе.
Вот она — кузница нового быта,
Слушай, Маруся еще не пробита
Как? Не пробита? Постановить —
Надо Марусю сегодня ж пробить.
Думает молча предисполкома —
— Эх, не дошло бы лишь все до Губкома.
Впрочем, налей полстаканчика, Сема,
Я о Губкоме подумаю дома.
Очень прельщенный лефовской "спайкой",
Некий юнец егозит попрошайкой —
Дайте хотя бы полкапли винца.
— Сема, порадуй винищем юнца.
Некий поэт оглашается воем:
— Нет, мы на это глаза не закроем
И не медля ни минуты — уже
К Женечке лезет за — П— и за — Ж-.
Вот она — кузница нового быта,
Выпита четверть — водкой запита,
Две юголефовки тихо твердят:
— Шура умеет три раза подряд —
Некий поэт осемнадцати лет

Томно выделывал — "па",
И фокстротируя, думал поэт —
— Эх, не узнал бы папа.
Впрочем, подробность проведал о танце я —
Танец кончался в гостинице "Франция".
Предисполкома кричал в упоении:
— Братья, да здравствует жизнестроение,
Покончим, товарищи, с пушкинским хлипом,
Ну, а по этому поводу — выпьем.
Три "комсомольца" стояли пустые,
Тихо икали бойцы бытовые,
И заключив воспитание масс,
Каждый по девочке взял на Этмасс.

Против старья до конца озверев,
С бытом сражался герой-Юголеф.

Можно окончить словечком Чернова
(тоже сказал одно умное слово):
В это болотище пьянства и лени
Смотрит с портрета запыленный Ленин.
Думает, верно, сощурясь на донышко:

— Вас бы, друзья, за ушко, да на солнышко.

Стройте, товарищи, наше искусство,
Лишь бы в бутылках не было пусто.
Смело решайте культуры задачи,
Только, смотрите, получите сдачи
Пробками бейте старье навылет —
Пока вам затылки друзья не намылят.

1924-25. Печатается по рукописи, ранее не публиковалось.

Комсомольцы и кольца — популярные в начале двадцатых годов дискуссии об отношении к браку и свободной любви.

Три комсомольца — в данном контексте обозначение бутылок со спиртным.

Чернов — украинский поэт Леонид Чернов.

Вот такие литературные нравы были в Одессе в начале двадцатых годов двадцатого века.

Пародии о ГУЛАГе

Тема не очень располагает к юмору. Однако таковы особенности пародии — она не знает границ и не укладывается в канонические рамки. Пародия везде, где есть жизнь. Гулаговская тема обширна и серьезна, и здесь будут обозначены подступы к ней на примере двух пародийных циклов: Л. Кассиля и В. Лапина "Разговор костистых с мастистыми" о знаменитой экспедиции писателей по Беломоро-Балтийскому каналу и неизвестного автора-заключенного "Что кто из поэтов написал бы по прибытии на Соловки". Оба цикла написаны примерно в одно время — конец 20-х — начало 30-х годов — и посвящены одному вопросу: ГУЛАГу. Ну, а подход к теме, естественно, различен, как различно было положение авторов, создавших циклы.

Известна нынешняя болезненная реакция общественности на поездку М. Горького в Соловки в 1929 году и экспедицию писателей на Беломоро-Балтийский, канал. Конечно, это были беспримерные по цинизму мероприятия. Сейчас трудно судить, какие впечатления вынесли писатели из этих поездок: то ли они ничего не видели, то ли не хотели видеть, то ли видели и понимали все... Однозначно можно сказать, что идеологи стих мероприятий не просчитались: экскурсанты вели себя так, как и предполагали организаторы.

О чем говорят в пародиях писатели, только что столкнувшиеся с зоной, с подневольным рабским трудом? О чем угодно, как будто они едут на курорт, на первом месте у них собственное "я", прихотливо переплетающееся с изящными фантазиями не по существу. За каждым персонажем цикла видится этакая пресыщенность, равнодушие, бравирование возможностью говорить о чем попало. Практически сама тема Беломоро-Балтийского канала и людских судеб, связанных с ним, всерьез и не возникает, оставаясь вынесенной за скобки: она не затронула души писателей.

Наоборот, в пародиях из Соловков чувства сконцентрированы. С точки зрения классического пародийного цикла он является как бы циклом наоборот. Обычно в таких пародиях взятая за основу тема дробится, и каждый из осколочков представляет собой как бы отдельное мнение конкретного персонажа. В творениях неизвестного автора все происходит иначе. Постепенно из осколочного мнения каждого персонажа вырастает общая картина, ужасающая в своей сути, ибо суть эта — стон человека, бездна отчаяния и беспросветности. За полуанекдотическим приемом — высказывания классиков о концлагере — во весь рост встает проблема ответственности литературы как средства понимания и осмысления человеческого бытия, происходящей в стране трагедии. И в этом свете бытовая трескотня "инженеров человеческих душ" резко контрастирует с мнениями персонажей гулаговского цикла, рассматривающих трагедию заключенных изнутри, а не снаружи, как у Кассиля и Лапина.

Аркадий ВАЙНЕР, Эдуард КУЗНЕЦОВ

Л. КАССИЛЬ и Б. ЛАПИН

Разговор костистых с мастистыми

(из стенгазеты "За душевное слово" экспедиции писателей по Беломоро-Балтийскому каналу на теплоходе)

Катаев (не Иван)

Кончив на 45-м километре Мурм. ж-д. 250-й лист своего нового колхозно-трюкового романа "Без метафор" (так как во Франции все кондуктриссы говорят метафорами) и водевиль "Площадь треугольника" из жизни политотдельцев, я занят сейчас обработкой богатейшего материала, собранного мной во время 10-минутной остановки на станции Петропавловск. Это будет широкое полотно, охватывающее 100.000 биографий ударников, 378 километро-листов, 150.000 кубометров лесоводы.

Я пишу свой роман свободной реалистической кистью в манере основоположников реаволюнтаризма (Золя, Флобера, Стендаля, Авербаха, Эврипида, Стенича), свойственной мне. Пора ударить по дешевой образности деклассированных бульварьдье: во Франции все сапожники говорят метафорами.

Л. Леонов

Еще на даче в Барвихе я замыслил создать на материале нашей беспримерной поездки психологический роман "Перековчуки" из жизни молодых перековавшихся иноков монастыря святого Иегупия на Ходульцах, получивших крепкую трудовую заверть в стылой остеклянелости замшелой береговизны северных рек. Этот роман станет настольной книгой для молодых поколений в грядущих веках.

Е. Габрилович

дал нам отрывок из рассказа "Август" из книги "Дожди, банкеты, вагоны".

"...Сын был юн. Он думал. Он курил. Он чесался. Он кашлял. Он перековывался. Он вышел на улицу. Мороз крепчал. Светила луна. Пел петух. Кричала собака. Дымился снег. Шли гулаговцы. Он сделал шаг вперед. Он думал. Он почесывался. Сосна. Небо. Солома. Сено. Овес..."

М. Зощенко

Еду я, братцы мои гражданочки, на Беломорстрой. Оргкомитет меня в эту поездку втравил. А сели ночью. Не видать ни хрена. Не то взад едем, не то

вперед. А тут еще купец Иринин подсел, маленько окосевши. Теперь утром смотрю в окно. Посветлело. Констатирую я при етой сетуации, что прем мы, братцы, на север. Пальмы тут не растут. Бананы населению не выдаются. Молодость проходит. Вот уж и женщины чевой-то не так на мою морду интересуются. А вы говорите — искусство, актуальность. Знаем. Писали.

Что кто из поэтов написал бы по прибытии на Соловки

А. Блок

По вечерам над соловчанами
Весенний воздух мглист и сыр,
И правит окриками пьяными
Суровый ротный командир.
А там, за далью принудительной,
Над пылью повседневных скук
СЛОН* серебрится упоительный
И раздается чей-то "стук".
А дальше, за постами самыми, —
Касаясь трепетной руки,
Среди канав гуляют с дамами
Рискующие остряки.
И каждый вечер омрачающим
Туманом полон небосклон,
И я опять неубывающим
Остатком срока оглушен.
А рядом, у дневальных столиков,
Проверок записи торчат,
И ротные противней кроликов,
"Сдавайте сведенья", — кричат.
И каждый вечер в час назначенный,
Иль это только снится мне,
Девичий стан, бушлатом схваченный,
В казенном движется окне.
И медленно пройдя меж ротами,
Без надзирателя — одна,
Томима общими заботами,
Она садится у бревна.

*СЛОН — Соловецкие лагеря особого назначения.

И веет тягостным поверьем
Метелка в узенькой руке,
Полна Особым Назначением,
Нога в болотном сапоге.
Сибирь и минусы склоненные
В моем качаются мозгу,
И сроки длинные, бездонные
Цветут на синем берегу.
Глухие тайны мне поручены,
Мне чьи-то сроки вручены,
И все души моей излучины
Осенней скукою полны.

С. Есенин

Недошедшее "Письмо к матери"

Ты еще жива, моя старушка,
Жив и я. Привет тебе, привет...
Получил в посылке я подушку
И цилиндр с парою штиблет.
Слышал я, тая тоску во взоре,
Ты взгрустнула шибко обо мне.
Ты так часто ходишь к прокурору
В старомодном ветхом шушуне.
Ничего, родная, успокойся...
Не грусти на дальнем берегу.
Я хотя отчаянный пропойца,
Но без водки — спиться не могу.
Я по-прежнему такой же нежный,
И мечта одна лишь в сердце есть:
Чтоб скорей от этой вьюги снежной
Возвратиться к нам — на минус шесть.
Я приду, когда раскинет ветви
Сад, купаясь в розовости вод,
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как в роте на развод.
Не томи ж меня прощальным взором,
Не грусти так шибко обо мне,
Не ходи так часто к прокурору
В старомодном ветхом шушуне.

Козьма Прутков

Из мыслей и афоризмов на Соловках

Никто не отсидит неотсидимого.

Избегай числа 58, даже не будучи суеверным.

Петух пробуждается рано, а нарядчик еще раньше.

Козыряй!

Продолжать сидеть легче, чем окончить.

И уборщица имеет врагов.

Если у тебя есть блат — заткни его. Дать отдых нужно и блату.

Сиди!

Если на воротах Пункта прочтешь надпись "Загородный сад Ливадия" — не верь глазам своим.

Цикл Л. Кассиля и Р. Лапина опубликован в "Литературной газете" за 1933 год, № 40
Пародии о Соловках перепечатаны "Литературной Россией" в 1989 году, № 2



НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна ЩУРОВА
"...И красный гимн поют свирели" 274

"...И красный гимн поют свирели"





Журнал революционной сатиры "Бомба" (1917-1918), выходивший под редакцией Незнакомца, до сих пор остается для нас образцом профессионального периодического издания одного из самых сложных жанров и направлений. Опытнейший редактор Борис Давыдович Флит (Незнакомец) сумел со времен издания журнала "Крокодил" (1911-1912) сохранить творческие связи со многими журналистами, поэтами и художниками, а также привлечь молодых Ю. Олешу, В. Катаева, Б. Бобовича, художников Скифа (Самуил Фикс), Алеко (А. Костюкевич) и многих других, чтобы талантливо и разнообразно отразить сложнейшее время в истории империи, города, отдельно взятого человека.

От эйфории после февральской революции и наивной надежды на светлое и вольное:

СОНЕТ СВОБОДЕ

Я помню день. На шумных площадях,
Над солнечной толпой — пылающие флаги.
В весенних улицах — нестройные ватаги.
Штыки. Гром музыки. Улыбки на губах.

Как хорошо. Прошел недавний страх,
Гнетущий и тупой. И грудь полна отваги,
И весело идти в отчетливых рядах
По таящему льду и по весенней влаге.

Идти — и чувствовать, что за тобой народ,
Что каждый — друг и преданный товарищ,
Что мы идем сквозь чад и дым пожарищ.

К чему-то тихому и светлому вперед.
Идем вперед, вперед. И марсельеза
Гремит в ушах, как вольный лязг железа.

Вал. КАТАЕВ

приходило отрезвление, недоумение, сарказм ("...Нет подъема, нет больше экстаза, / Страстных песен, бурлящих рекой... / Вместо яркого счастья — тревога. / Вместо радости — злобный отбой...").

Сначала многие известные авторы, среди которых были, например, Эмиль Кроткий, Дон-Аминадо, сам Незнакомец, увлеклись сатирой на царя и его окружение, после чего в "Бомбе" появились стихи талантливого журналиста, подписывающегося "Жак Нуар":

Коллегамъ.

Съ давнихъ поръ мы и доселѣ,
Съ каждымъ часомъ все сильнѣй,
Мчимся въ пестрой каруселИ
Нашихъ нервныхъ шумныхъ дней.

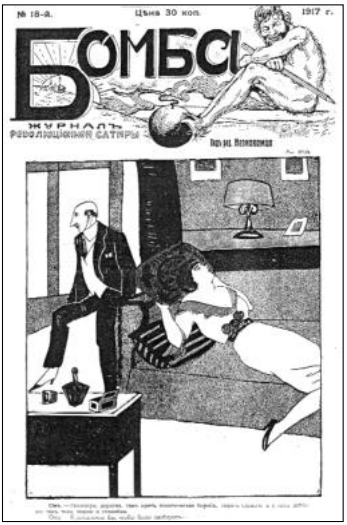
И довольны урожаемъ,
Фактъ смакуя словно ромъ,
Мы мгновенно отражаемъ
Всеобъемлющимъ перомъ.

Нами пущенныя смѣло,
Попадаютъ каждый день
Сатирическія стрѣлы
Въ слишкомъ юркую мишень.

И натянуты тетивы
Отъ утра и до утра.
И звучатъ, звучатъ мотивы
Яркой кисти и пера.

Но порою смыслъ ихъ мутенъ.
Какъ другого ни желай:
Вновь Алиса и Распутинъ,
Вновь безвольный Николай.





И прилежные въ наукахъ,
Затвердили, какъ урокъ,
Въ риѳмахъ, въ прозѣ, въ шаржахъ, въ звукахъ
Надоѣдливый лубокъ.

Вы имъ должное воздали,
Вызвавъ сильную мигрень.
Но глядите — свѣтлы дали,
И цвѣтетъ уже сирень.

Ну ихъ! Сбросьте это бремя:
Надоѣли, право, всѣмъ.
Неужели въ наше время
Нѣтъ гораздо лучшихъ темъ?

Жакъ Нуаръ.

Помимо политической сатиры в журнале отражались сложности бытовой жизни одесситов, и вы сможете не раз улыбнуться, прочитав анекдоты с неповторимой одесской интонацией. В одном из номеров напечатана блестящая миниатюра "Час, проведенный с Уайльдом", в которой здорово сочетаются известные парадоксы писателя с парадоксами обыденной жизни того времени. Тут же душевное смятение юноши, переживающего катаклизмы в окружающем мире (рассыпанные во многих номерах журнала стихи молодого Юрия Олеши), а рядом милые салонные стихи Георгия Долинова...

Очередная волна украинизации Одессы, искусственность этой ситуации тут же рождала комическую реакцию художников и авторов миниатюр. Смешно до сих пор.

Вас ждет также настоящий пир графики, наслаждение от рисунков, карикатур и шаржей Михаила Линского, Сандро Фазини, Сигизмунда Олесевича, Mad, Федора Сегаля, Израиля Мексина и других мастеров.

Талантливой сатире суждена долгая жизнь. Наверное, поэтому эмоционально откликаешься, читая "Песню о большевике" О. Томского:

"...Стреляют и грабят и тащат вокруг,
И нет от поганых спасенья...
...Несут за собою страданья, испуг,
Насилья, позор, разрушенья..."

Пѣсня о большевикѣ.



Какъ нынѣ сбирается "типъ" большевикъ
Отомстить ненавистнымъ эсъ-эрамъ,
Ихъ жизни, безмѣрною злобой великъ,
Обрекъ онъ различнымъ холерамъ.
А съ ними буржуевъ рѣшилъ за одно
Отправить хоть въ пекло, на самое дно...

Собрались Нахамкесъ и онъ же Стекловъ,
Не бывшій лишь въ вѣрѣ татарской,
И Ленинъ, надежный оплотъ босяковъ,
Самъ Троцкій и самъ Луначарскій...
А съ ними матросы съ Кронштадтскихъ твердынь,
И полкъ пулеметчиковъ, — словомъ, аминь!..

Собрались, пошли на столицу въ походъ,
Наносятъ побои и раны,
Трещатъ пулеметы, — стрѣляютъ въ народъ.
Буржуй! Берегите карманы.
Вотъ юной свободы "цвѣты и красы"
Стащили тотчасъ въ магазинѣ часы.

Стрѣляютъ и грабятъ и тащатъ вокругъ,
И нѣтъ отъ поганыхъ спасенья,
Несутъ за собою страданья, испугъ,
Насилья, позоръ, разрушенья.
Ну, словомъ, гуляетъ, отъ радости дикъ,
Товарищъ германца, шпіонъ, — большевикъ.

— Держитесь, эсъ-эры! Буржуямъ конецъ!...
Свои наведемъ мы порядки!..
И вдругъ задрожалъ и бѣжитъ молодецъ,
Сверкаютъ стремительно пятки.
Да, какъ не летѣть, не дрожать, не бѣжать —
Идетъ на подмогу Правительству рать...

Нахамкесъ отъ страха залѣзъ подъ кровать, —
Отрекся отъ партіи разомъ,
И Троцкій и Ленинъ рѣшили бѣжать,
Конецъ положивъ всѣмъ проказамъ.
И въ спальню къ супругамъ залѣзъ большевикъ,
Пріятель германцевъ, испытанный шпикъ...

Залѣзъ, чтобъ спасенье найти и пріютъ.
Забыты буржуямъ угрозы.
Быть можетъ, супруги бѣднягу спасутъ,
Утрутъ его горькія слезы!..
И шепчетъ несчастный и жалкій герой:
— Ахъ, Ленинъ, зачѣмъ я пошелъ за тобой?..

Теперь не сбирается "типъ" большевикъ
Отмстить ненавистнымъ буржуямъ,
Сидитъ за рѣшеткой, печаленъ и дикъ,
Безсильною злобой волнуемъ.
Давно ль на Правительство шелъ молодецъ! —
А нынѣ — ужасный и жалкій конецъ...

О. Томскій ("Жизнь и Судъ")



Вильгельм: Доннерветтеръ! Я перепуталъ, гдѣ у меня какой фронтъ! Съ Запада – марсельеза, съ Востока – марсельеза!

Революціонный разсказъ.

Подарокъ молодымъ беллетристамъ.

Экспромтъ.

Въ 140 строчекъ "баррикадъ"
Влить строчекъ 10 "марсельезы".
Взболтать. Прибавить "грустный взглядъ",
По вкусу "грохотъ ми ральезы",
15 строчекъ про "нее": –
Курсистку, 8 – про студента,
13 строчекъ – про "него",
"Свободнаго интеллигента".
Затѣмъ "толпу", "плакаты", "мглу",
Въ "побѣду надъ врагомъ" вмѣшайте,
На керосинку!.. – И къ столу
Въ горячемъ видѣ подавайте!

Валентинъ Катаевъ.

О любознательномъ иностранцѣ.

(Поучительная исторія).

Во времена совсѣмъ еще недавнія, пріѣхалъ въ Москву одинъ иностранецъ и услышавъ гдѣ-то слово "царь", очень заинтересовался этимъ словомъ и пожелалъ узнать, что оно означаетъ.

Въ глубокомъ раздумьи пришелъ онъ на нѣкую площадь и увидѣлъ тамъ огромную пушку, а возлѣ нея сложенную кучу большихъ ядеръ.

– Скажите, пожалуйста, – обратился иностранецъ къ стоявшему на посту городовому, – что это за пушка?

– Это царь-пушка!

– Ага! вотъ какъ! Должно быть хорошо стрѣляетъ?

– Не, куды ей стрѣлять! Такъ только для блезиру стоитъ.

Сокрушенно вздохнулъ иностранецъ и пошелъ дальше. Вдругъ видитъ огромный колоколъ, нижній край его отбитъ и отверстіе получилось такое, что хоть трамваемъ въѣзжай туда.

– Это что такое? – спросилъ иностранецъ.

– Царь-колоколъ, – отвѣтили ему.

– А когда въ него звонятъ?

– Да никогда!

– Для чего-же его тутъ поставили?

– А такъ, для красоты.

Прояснилось при этихъ словахъ лицо иностранца, вынулъ онъ изъ бокового кармана записную книжку и сдѣлалъ тамъ такую отмѣтку: "съ большимъ трудомъ удалось мнѣ выяснить, что приставляя къ названіямъ предметовъ частицу "царь" русскіе хотятъ этимъ показать, что такой предметъ ни на что не годенъ и служитъ только для декораціи; напримѣръ, царь-пушка, царь-колоколъ".

Маноля.

Студенческая весна.

У него сутулая фигура
И въ глазахъ какой-то тусклый свѣтъ.
По утрамъ задумчиво и хмуро
Онъ шагаетъ въ университетъ.
Сидя тамъ на лекціяхъ по "праву",
Въ продолженьи нѣсколькихъ часовъ,
Онъ глотаетъ мутную отраву
Скучныхъ стѣнъ и сѣрыхъ потолковъ.
Въ два часа въ дешевенькой столовкѣ
Скудно ѣстъ, попрежнему угрюмъ,
А затѣмъ въ домашней обстановкѣ
Погружаетъ молча въ книги умъ.
Такъ скучна убогая "квартира",
Обстановка: стулъ, кровать и столъ.
Здѣсь всегда накурено и сыро
И немытый мѣсяцами полъ.
Дни бѣгутъ, бѣгутъ неутомимо.
Все, слабѣе съ внѣшнимъ міромъ связь.
Жизнь идетъ волной кипучей мимо,
Надъ аскетомъ бѣшено смѣясь.
Отъ сомнѣній нѣтъ ему покою,
Каждый мигъ встаетъ другой вопросъ...
Подойти бъ и приласкать рукою
Мягкій шелкъ нечесанныхъ волосъ.
"Другъ и братъ, скажи мнѣ, неужели
Ты не вѣришь въ свѣтлую мечту?
Посмотри: поля зазеленѣли
И въ садахъ сирень стоитъ въ цвѣту.
Къ намъ весна явилась съ новой пѣсней
И дарить улыбки каждый мигъ.
Жизнь, пойми, гораздо интереснѣй
И мудрѣе самыхъ умныхъ книгъ.
Сбрось съ души налетъ тоски суровой
И въ каморку солнце позови.
Нужно жить во имя жизни новой!
Стоитъ жить для счастья и любви!.."

Н. Топузъ.



Три акта.

– Не можете-ли вы въ общихъ чертахъ разсказать мнѣ историческую схему каждой революціи?

– Извольте. Это пьеса въ 3-хъ актахъ. Актъ первый: Всѣ идутъ на одного. Актъ 2-й: Всѣ идутъ другъ на друга. Актъ 3-й: Одинъ идетъ на всѣхъ. Конецъ.

А. С-къ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Редакція „ВЛАСТИ НАРОДА"
проситъ лицъ,
еще не обруганныхъ въ этой газетѣ, сообщить свои имена и фамиліи секретарю редакціи.
Въ виду большого скопленія срочной ругани, лица, подавшія заявленія позже 20 апрѣля,
будутъ обруганы не ранѣе 15-го мая.

* * *

Если жизнь для насъ цѣль,
То зачѣмъ на пути
Столько въ розахъ шиповъ,
Столько слезъ и безсонныхъ ночей.

Если жъ смерть для насъ цѣль,
То зачѣмъ на пути
Столько пышныхъ цвѣтовъ
И сіяющихъ страстью очей.

Изъ "Золотой книги"
Черноморскаго Корпуса.

Товарищъ.

Товарищъ-извозчикъ,
Товарищъ-разносчикъ,
Товарищъ-кухарка, товарищъ-курьеръ.
Товарищъ-конторщикъ,
Товарищъ-наборщикъ,
Товарищъ-эс-дэ и товарищъ-эс-эр.

Товаришъ-читатель,
Товарищъ-писатель,
Товарищъ-художникъ, товарищъ поэтъ.

Товарищъ-сапожникъ,
Товарищъ-картежникъ,
Товарищъ-блондинъ и товарищъ-брюнетъ.

Какъ звуки набата на фонѣ пожарищъ,
Несется сей возгласъ – повсюду одинъ:
– Товарищъ! товарищъ! товарищъ! товарищъ!

– Товарищъ, спасите, – оглохъ гражданинъ!

Жакъ Нуаръ.



— Что это за шумъ на улицѣ?
— Противъ насъ сейчасъ разстрѣляли двухъ прохожихъ.
— А-а... А я думала что нибудь случилось!..



Обыватель: Направо убьють; налѣво – боюсь! Хоть бы ноги у меня отнялись, все же легче было бы: никуда бы не двигался!

* * *

Но все же мнѣ мила Одесса,
Гдѣ такъ сиренева сирень,
И отъ зеленаго навѣса
Листвы не жарокъ лѣтній день,
Гдѣ въ шумѣ греческихъ кофеенъ
Сидишь экзотикой овѣянъ,
Гдѣ на концертахъ, и въ кино,
И въ ресторанахъ – все полно;
Гдѣ у брекватора несмѣнно,
Направивъ жерла въ дальній лобъ,
Стоитъ рѣшительный "Синопъ",
И гдѣ горятъ попеременно
(Беру для риѳмы "падекатръ")
Сибиряковъ или театръ.

———

Гдѣ слышитъ запоздалый путникъ
Кондукторское "нѣтъ мѣстов",
Гдѣ биржевой ораторъ Гутникъ,
Когда свободы путь готовъ,
Свободы требуетъ народной,
И тамъ, гдѣ Финкель благородный
Собралъ въ потокѣ нѣжныхъ слезъ
Окурки царскихъ папиросъ;
Гдѣ съ одинаковымъ подъемомъ
Готовы всѣмъ ура кричать
И съ поклоненіемъ бѣжать
Ко всѣмъ прославленнымъ хоромамъ:
Лишь кто-нибудь воздвигъ алтарь –
Керенскій, Линдеръ или царь!

———

Пора кончать... Въ моемъ разсказѣ
(О, непростительный пробѣлъ!) ...
Я о Хари и Ашкинази
Сказать ни слова не успѣлъ...
Но, впрочемъ, лишняя услуга:
Они вѣдь съ сѣвера до юга
Извѣстны каждому (увы!),
Отъ Аргентины до Москвы,
Отъ Гонолулу и до Марса...
Ахъ, что жъ объ Анатра сказать?
Умѣетъ кой-куда летать,
Пилотъ, любимецъ Каульбарса...
Я умолкаю и на томъ
Поздравлю васъ, друзья, съ концомъ.

Юрій Олеша.

Въ скверѣ.

Изъ цикла "Стиховъ объ Одессѣ".
(Сонетъ).

Вчера надъ моремъ тосковало лѣто,
Іюльскій полдень былъ печально сѣръ, –
А я бродилъ, пришелъ въ зеленый скверъ...
Вокругъ листва и небо безъ просвѣта...

Кругомъ театра изъ тумана флеръ.
Все ждетъ дождя – весенняго привѣта...
Въ душѣ печаль, какъ будто пѣснь пропѣта;
Іюль груститъ и говоритъ: не вѣрь...

И я не вѣрю. Нудная "разлука"
За зеленью звучитъ издалека.
И тишина. И нѣтъ живого звука...
Но почему? – Вѣдь осень не близка!

А надъ цвѣтами, надъ театромъ скука
И тишина. А на душѣ тоска.

Юрій Олеша.

Сиреневое рондо.

По полямъ скитался цѣлый день –
Все вокругъ такъ солнечно, такъ молодо,
А вдали надъ дымомъ деревень
Разлилось негаснущее золото...
По садамъ кудрявится сирень,
И сирень къ груди моей приколота, –
Хорошо, и сладостно, и лѣнь,
И горитъ сиреневое золото...

Юрій Олеша.



Апрѣль.

Изъ цикла "Стиховъ объ Одессѣ"

Сегодня воздухъ чисть и свѣтелъ
И пахнетъ моремъ... А вдали,
Надъ городомъ, какъ будто вѣтеръ
По небу гонитъ корабли...

И улицы сегодня громки,
Отъ словъ, трамваевъ и каретъ,
И въ быстромъ взглядѣ незнакомки
Встрѣчаешь ласковый привѣтъ...

А вечеромъ, когда такъ ярки
Въ зеленомъ небѣ фонари,
Все золотится въ голомъ паркѣ,
Отъ угасающей зари...

Юрій Олеша.

О одесском языке

"Человек – это слог" (по Бюффону). Речь одессита ярка, красочна, неглубока по содержанию, но эластична, остроумием не блещет, но иногда ослепляет или же ударяет в нос, подобно хорошей одесской сельтерской воде. Ощущение получается не то, чтобы уж очень неприятное, но с непривычки не всякий переносит.

Прежде всего, заметим, что одессит – это особая разновидность людей, с национальностью нисколько не связанная; это русский, еврей, грек, армянин и т. д. Это всякий человек, не обязательно родившийся в Одессе, но, во всяком случае, настолько любящий этот город, что, находясь на Монблане или в лазуревом гроте острова Капри, вдруг иногда вздохнет и скажет: ах, Одесса-мама!

Вот у детей этой мамы и существуют особые выражения; назовем их "одессизмами" в pendant к галлицизмам и т. п., словам и выражениям, свойственным определенным народностям и непереводимым на другие языки.

Многие одессизмы распространяются за пределы родного города и их можно услышать в Маяках, Слободке-Романовке, Аккермане и даже Балте.

Приведу некоторые примеры.

Одессит говорит: "Я нечаянно лопнул стакан". Конечно, не нужно быть специалистом-филологом, чтобы заметить, что выражение это, с точки зрения русского языка, неправильно: глагол "лопнуть" не действительного залога, а потому после него не может быть прямого дополнения (стакан). Однако такая фраза имеет право на существование, ибо ее нельзя заменить другой, такой же краткой и имеющей тот же смысл.

Еще говорят в Одессе: "Я видел тетю вашу идти по Ришельевской улице". Здесь, очевидно, влияние французского языка. Сравните, например: Je vois vous chanter, что значит буквально: "я вижу вас петь". Укажу еще на некоторые одесские фразы.

"Сема, не дрожи диван: ты лопнешь все пружины".

"Ходить пешком или ехать на трамвае – это две большие разницы".

"Вчера на улице была страшная мокрота".

Недавно, сидя в "Иллюзионе", я слышал, как один одессит обратился к громко разговаривающему соседу с замечанием: "Товарищ, вы мне мешаете впечатляться!". И это выражение мне очень понравилось, как новое, оригинальное и очень соответствующее.

Почему одесситу-южанину нельзя того, что можно Игорю Северянину, в особенности теперь, когда у нас равноправие?

Есть у нас один очень известный писатель. Русские писатели считают его еврейским, а еврейские писатели считают его русским. Так и не знали, куда его причислить, пока не открыли, что он пишет на чистейшем одесском языке. Среди его произведений есть "Распад", "Король", "Приключения Леона Дрея", "Комедия брака" и другие. Желающих поближе ознакомиться с одесским языком мы прямо отсылаем к этим произведениям (Семена Юшкевича. – **Сост.**). Это мы считаем тем более необходимым, что в Лазаревском институте восточных языков кафедры одесского языка пока еще не существует.

Маноля



Поэтъ и художникъ.
При чемъ художники говорятъ, что онъ лучше пишетъ, чѣмъ рисуетъ, а поэты считаютъ, что наоборотъ. Но публика рѣшила иначе.
— И рисуетъ и пишетъ хорошо.
Самымъ лучшимъ своимъ произведеніемъ считаетъ любимаго сына.
Милая, простая русская душа.
Поэтъ въ жизни, несмотря на то, что одесситъ.



Человѣкъ который даже въ молодости былъ "старымъ театраломъ".
Редактируетъ два изданія:
— "Одесскія Новости" и Литературно-Артистическій Клубъ.
И оба одинаково талантливо.
Отказался отъ приглашенія стать редакторомъ "Биржевки", потому что не могъ перенести въ Петроградъ Одесскую "литературку".
Президентъ республики "ОдессклЯ Новости", хотя самъ — ярый "монархистъ":
— Играетъ только въ "короля".



Потомокъ Богдана Хмѣльницкаго.
И отецъ талантливаго сына.
Самъ же — членъ Правленія Литературно-Артистическаго Клуба.
Человѣкъ, у котораго самолюбіе больше его носа.
Обиженъ, почему министръ юстиціи Керенскій, а не Хмѣльницкій.



Каршонъ аккомпанируетъ "Тишину".



Начинающій, молодой, подающій надежды врачъ.



Одесскій фруктъ.
Сталъ великъ и славенъ въ Одессѣ.
Изъ монастыря попалъ въ оперетту.
Теперь обратно нехочетъ.
Оченъ хочетъ пѣть Евгенія Онѣгина, но Онѣгинъ у него выходитъ, а Евгеній ни за что...
Попупяренъ, какъ кувака.

АХ, ОДЕССА

Борис БОРУКАЕВ
Общее Солнце... 286

Михаил ЧАБАН
Фразы моего отца 291

Олег ГУБАРЬ
Бабушка Пастернака 298

Михаил ЛАНДЕР
Старая трубка 301

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК
"Городок" – пятый угол! 305

Борис БОРУКАЕВ

Общее Солнце...

— Если замучает ностальгия, иди на Брайтон. Полегчает.

Так в один голос заявляли мне родственники и друзья сразу же после моего прибытия в Новый Свет. Вы, наверное, помните, как это происходит. Встреча в аэропорту, головокружение от впечатлений, неиссякаемый поток информации в виде рассказов "бывалых", добрые напутствия, ободряющие похлопывания по плечу и тому подобное.

Сначала экскурсии в сопровождении, затем осторожные самостоятельные вылазки в окрестности и, наконец, независимость.

Ностальгия меня не мучила. Распирало любопытство. В Одессе я много слышал об этом живописном районе Нью-Йорка на берегу Атлантического океана, где наши соотечественники ведут тяжелую, изнурительную борьбу за выживание в невыносимых для них условиях демократии и изобилия.

И вот при первой же возможности я иду на Брайтон, чтобы собственными глазами все увидеть и описать в письме, которое с нетерпением ожидают мои друзья. Дело происходит летом. Пекло невообразимое. Влажность невероятная. Горячий и мокрый, шагаю, зная только направление, руководствуясь описанными мне заранее ориентирами. По мере приближения к цели замечаю, как прямо на глазах меняется окружающая среда. Все чаще звучит родная речь. Больше мелькает родных лиц.

"Наши" лица распознаются мгновенно. В отличие от "не наших", на них написано все: настроение, семейное положение, достаток, отношение к окружающим. Они честнее.

Если владелец данного лица кого-то невзлюбил, ему не надо открывать рот, чтобы выразить свои эмоции словесно. Лицо само говорит: "Убью!". К счастью, во время моего первого посещения Брайтона таких лиц было немного. В общем, используя безошибочный для поисков принцип "холодно-теплее-горячо", следую верным курсом и, пройдя еще одну короткую неширокую улочку, попадаю в самое сердце русскоязычной эмиграции. Извините за высокий стиль.

Я тут же окунаюсь в могучий людской поток. Он увлекает меня, захлестывает, кружит. Вот это да! Кто сказал: "Маленькая Одесса"?. Это же Одесса в натуральную величину! Разношерстная, колоритная, шустрая, мудрая и язвительная, толкающая и не извиняющаяся! Здесь те же запахи, такие же цвета, собственный климат. Все настолько близко и привычно. Если бы не грохот поезда почему-то над головой...

Первое, что бросается в глаза, — вывески. "Одесса", "Золотой ключик", "Украина". В витринах шокирующие надписи типа "В продаже имеется балык". Помните, как в старые добрые времена там: "Есть пиво"? Эту вывеску, правда, мало кто читал. Есть ли пиво, определялось за версту. Когда я уезжал, Одесса уже о нем не вспоминала, и можно было увидеть надписи "Есть молоко", "Есть колбаса". Я, конечно, имею в виду госторговлю. В частной было все. Но не для всех.

Почти на каждом углу расположены лотки с книгами. За лотками — мужики, которые точно так же торговали книгами на специально отведенном для них городскими властями месте между Дерибасовской и Греческой в разрешающие времена перестройки. До нее они делали то же самое, на том же месте, но без разрешения. Немало их, несших культуру в массы, прошло через инквизиторские конфисковывающие руки милиционеров, тщательно пытавшихся уберечь массы от культуры по заданию горисполкома. Будучи книголюбом и проводя все свободное время здесь, я неоднократно присутствовал при конфликтах "книжников" с властями и как сторона заинтересованная, естественно, сочувствовал первым. Но единственный, непререкаемый аргумент — "не положено" — всегда решал спор в пользу последних. Переполненный чувствами от нахлынувших воспоминаний, подхожу к хозяину одного из лотков, как к старому знакомому.

— Ну как?

— Все так же. А ты?

— Ничего.

— Как там?

— Без особых изменений.

— В гости или как?

— Или как.

— Значит, будем часто видеться. Привет.

— Пока.

Диалог в стиле Хемингуэя. Следую дальше довольный. Ожидания пока оправдываются.

— Советские лекарства. Духи — Франция. Икра, — слышу приглушенные голоса.

Оборачиваюсь... О боже! Этого не может быть! Кто-нибудь, ущипните меня! Вдоль края тротуара стройной цепочкой выстроились женщины и мужчины, предлагающие товары "с рук"! Нет, я никуда не уезжал. Хлопотные сборы, многочисленные посылки, "дружелюбные" лица киевских таможенников, длительный перелет с пересадкой в Париже — все это бы-

ло сном, результатом работы перевозбужденного от навязчивой идеи мозга. Возможно ли? В Нью-Йорке — самом, можно сказать, центре развитого капитализма, разбухшего от изобилия, — продажа с рук! Это уже превосходит мои ожидания. Позже мне объясняли, что нашим людям на пользу идут только наши лекарства. Организм, мол, привык и только их и слушается. С этим я мог согласиться. Но вот доводы на тему всего остального меня не убедили. Наверное, все-таки для бывшего советского человека такая покупка является психологической потребностью, душевным порывом, ритуалом, а может... проявлением ностальгии?

Для подтверждения собственных выводов захожу в ближайший магазин. Вернее, втискиваюсь. Думаю, что в Центральном гастрономе в Одессе народу поменьше, правда, справедливости ради, и продуктов не больше. Я уже успел повидать очереди в Waldbaums, я был их частью в Edwards и, проводя параллель, могу смело утверждать, что очереди на Брайтоне, бесконечно сжимающиеся, спиралевидные, как галактики, — это стиль, образ жизни. Бывшие граждане страны Советов не могут жить без очередей. Никакая покупка без очереди им не будет в радость. Они должны потолкаться, поругаться и заодно чего-нибудь купить. В общем, несомненно: не там хорошо, где нас нет, а там плохо, где мы есть.

В неимоверной толкотне слышу знакомый акцент: "Фира, если вы будете все время лезть без очереди, вам будет нехорошо". "Нехорошо, — тут же отвечает Фира, — мне будет, если я встану в очередь. Какой же нормальный человек может всех вас переждать и остаться здоровым?!" Как любит повторять мой знаменитый земляк Роман Карцев, "Я ничего не придумываю. Просто хожу и слушаю".

Выбравшись из магазина, подхожу к газетному киоску. Количество наименований печатных органов на русском языке создает впечатление, что у каждой семьи на Брайтоне есть своя, специально для нее издающаяся газета или журнал.

Мимо проходит пара, замедляя шаг и пристально всматриваясь в меня. Мы улыбаемся друг другу. Откуда я их знаю?

— Это ты? — спрашивают осторожно.

— Гм... я, — отвечаю, замявшись.

— Узнал?

— Почти, — глупо, но нейтрально.

— 2-ая спортшкола?

— Не-а.

— Французский бульвар?

— Не-а.

— Еврейская больница?

— Упаси бог!

Теперь моя очередь.

— Университет? РГФ?

Сразу попадаю в точку. Мы радостно пожимаем друг другу руки и с чувством облегчения расходимся. За время моего первого пребывания на Брайтоне таких забавных встреч было несколько. "Шапочные" приветствия не в счет.

Бросив взгляд напротив, сквозь маленький переулок, замечаю синюю полоску океана. Там знаменитый бордвок. Спешу к новым впечатлениям. Предвкушаю что-нибудь не менее удивительное, но с детства родное.

В одной из популярных передач о Соединенных Штатах, с успехом шедшей и, возможно, продолжающей идти на тамошнем телевидении, в серии, посвященной жизни на Брайтоне, мне заполнился такой эпизод. Набережная. Прекрасный яркий день. На скамейках сидят беззаботные старички, о чем-то оживленно беседуя. Камера приближается. Крупный план. Голос за кадром произносит: "Скажите, пожалуйста, есть же все-таки нечто общее в вашей жизни здесь и там?" — " Есть", — отвечает один из стариков. "Что?" — радостно спрашивает интервьюер. — "Солнце".

Бордвок предстал передо мной именно таким, каким я его увидел в телевизионной передаче. Но кроме солнца очень многое кажется схожим. Ведь главное — люди. А они те же. И ничто их не изменит.

Вот стоит женщина с согнутой в колене ногой и поднятой вертикально вверх рукой, подставляя солнышку места, которые, по ее мнению, еще недостаточно загорели.

На скамейках пузатые дяденьки самозабвенно "забивают козла". Вокруг с визгом и топаньем босыми ножками по деревянным доскам бегают внучата. Они кричат друг другу что-то на двух языках одновременно... Стоп! Вот что портит общую картину. Невероятный симбиоз, режущий слух: резкие, отрывистые с выхлопом звуки английского вперемежку с мягкими шипящими русского в устах маленького Майкла, или Мишеньки (в зависимости от того, на каком языке он в данную минуту говорит) — сразу отрезвляет, нарушает гармонию, заставляет, встряхнув головой, очнуться и вспомнить, где ты все-таки находишься. Кстати, старики стараются не отставать. У них получается менее академично, но забавно.

— Скажи Семе, чтоб достал из транка фуд, а то испарится.

Или:

— Вчера пришел билл с таким балансом, будто я открывал рот в прошлом месяце, только чтобы болтать по телефону. Надо хорошо прочекать.

Спустившись с деревянного настила, ступаю в мягкий горячий песок. Я не переношу жары, а спрятаться негде. Ни намека на тень. Да, это не Аркадия или Ланжерон с топчанами, раздевалками и вбитыми глубоко в песок зонтами. Сжигающее солнце и раскаленные тела. Но где же то, что должно поражать не отличием, а сходством? А вот. Как говорится, далеко ходить не надо.

На песочке расстелено широкое покрывало, на котором восседает дружное семейство. Он, она и двое детишек. Он и детишки, застыв в позе по-турецки, устремляют нетерпеливые взоры в одну точку. Точкой является двухлитровая стеклянная баночка, из которой заботливая мамаша с умиленным выражением лица вынимает очищенную заранее вареную картошечку, густо посыпанную укропом. В центре круга уже разложены хлеб, помидоры, огурчики, лучок и соль. Никаких излишеств. После того как картошка расходится по протянутым рукам, начинается второй, основной этап — поглощение. Челюсти каждого работают четко, бесперебойно, ритмично, как хорошо налаженный механизм. Картошку аккуратно опускают в соль, холмиком возвышающуюся на салфетке. Нарезанный толстыми ломтиками хлеб складывается пополам, чтобы быть еще толще. Особое внимание вызывает целый помидор, который не режется ножиком и не прокалывается вилочкой, а просто лопается от первого укуса, обдавая всех участников трапезы алым соком.

Знакомо до боли! До восторга! Вся сцена пышет таким энтузиазмом и наслаждением, что кажется, именно за этим они сюда пришли. А солнце, воздух и вода — лишь атрибуты для соответствующего настроя. Долго наблюдать за ними неловко, и я удаляюсь. Пожелание приятного аппетита этому квартету могло быть воспринято как издевка.

Осторожно огибая загорающих, подхожу к воде. Теплая и мягкая, как в Черном море, она ласково обволакивает. Маленькие покатые волны, чередуясь, ложатся на песок, не пересекая на нем определенной черты. Я глубоко вдыхаю влажный воздух и поворачиваю назад. Поднявшись вновь на бордвок, пересекаю его в обратном направлении. Сегодня вечером я снова приду сюда. Говорят, ночные гуляния здесь — захватывающее зрелище.

Нью-Йорк

Михаил ЧАБАН

Фразы моего отца

Так уж получилось, что я (как, возможно, и многие другие) понял, кем был для меня отец, только после его смерти. И это несмотря на то, что последние годы его жизни (более 20) я со своей семьей жил в другом городе. Теперь я сам трижды отец и трижды дед, и хотя прошло уже больше 20 лет с его смерти, я часто вспоминаю его, и его место у меня остается пустым, видимо, уже навсегда. Заполнить его просто нечем.

Официальное, по паспорту, имя отца было Осип, в метрической книге в Одессе он записан как Иосиф, но мать и все знакомые, кроме работы, звали его Юзя, как я понимаю, это был уменьшительный еврейский аналог его официального имени. Это еще ничего, моего деда при рождении назвали Шалом, в метрической книге его записали как Шулим, на русский это перевели как Соломон, а в Канаде он стал Сэмом.

Отец обладал большими математическими способностями. Он редко играл в домино, но когда садился – никто не мог у него выиграть. Он помнил все перемещения камней у всех участников и хорошо запоминал все ситуации игры. Я сам не раз проводил с ним эксперимент. Мы открывали несколько, даже более десятка камней домино, и он мгновенно называл общее число очков на них. Потом мы долго и нудно проверяли, и они всегда совпадали.

Кроме того, он обладал хорошим логическим и аналитическим мышлением, мог очень точно подметить характерное в человеке или его действиях и часто его прозвища или меткие шутливые выражения становились крылатыми в нашей семье и запоминались надолго. Я до сих пор помню многие из них и даже применяю их время от времени. Может быть, в другие времена он бы стал профессором математики, но это было не его время, и он всю жизнь проработал мастером кабельной сети Одесского трамвайно-троллейбусного управления.

1. Восемь газет

Мой дедушка по линии матери – Лева (Лев Годев Граник) – очень любил читать газеты. Напомню, что тогда телевизоров еще не было, а радио было только по "точке", и только одна станция. Поэтому почти единственным источником новостей, кроме друзей и знакомых, была газета – коллективный организатор и пропагандист. Дедушка всегда покупал ровно восемь газет. У него был "свой" газетный киоск, где продавец его знал, и он там "отмечался" ежедневно. Почему именно восемь газет, а не шесть и не десять, – никто не знал, думаю, что и он сам. Восемь газет – и все. Тем более что во всех газетах было одно и то же. Ну, какая разница была

между "Правдой" и "Известиями", да и другими газетами? Дедушка тогда был уже на пенсии, особенно заниматься было нечем, и он покупал газеты, садился на скамейку на воздухе в садике возле дома и читал. Я иногда заставал его там, и мы немного разговаривали. Мой отец тоже интересовался политикой, и мы, как и положено (добровольно-принудительно), что-то выписывали — одну-две газеты, центральную и местную. Отец всегда удивлялся: что можно прочитать в восьми газетах, если они все одинаковы, только названия разные? И выражение "восемь газет" для него (как и для нас, как я вижу сейчас) стало характеристикой чего-то неинтересного, скучного, повторяющегося, рутинного. В этих случаях он говорил по-одесски: "Маем дило, восемь газет".

2. Когда кушаешь, хочется еще

У моего дедушки было четыре дочери, в том числе моя мама. Как и было тогда положено в добрых еврейских семьях, все они очень хорошо готовили. Никогда не ленились приготовить такие трудоемкие блюда, как фаршированную рыбу, холодец, салаты, "наполеон". Они очень переживали, когда что-то не получалось, это была целая трагедия с последующими обсуждениями и воспоминаниями. Тем не менее, все, что они готовили, было достойно самых высоких похвал и опробовалось на совместных празднованиях разных событий. Не помню точно, кто первым, желая похвалить блюдо, сказал эту фразу за столом, но, кажется, это был дедушка. Похвала прозвучала немного по-одесски: на вопрос, как ему понравилось блюдо, он сказал: "Когда кушаешь, хочется еще". Эту фразу ухватил мой отец, и с его благословения она стала потом крылатой в нашей семье. При любом одобрении, и не только пищи, но и многого другого, мы говорили: "Когда кушаешь, хочется еще".

3. Ми вас будем обеспечаивать

В старые времена, когда еще иностранного туризма и в помине не было, а санатории и дома отдыха были для простых людей недоступны, и даже выехать за пределы города была проблема, в Одессе обычным был отдых на даче. Но дачи были у очень немногих, и люди обычно снимали комнату на даче или в домах пригорода. Особенным успехом пользовались районы так называемого Большого Фонтана. Воздух, море. Я помню, как мы регулярно снимали дачу на 16 станции Фонтана. Поскольку чем

ближе к морю комнаты, тем они стоили дороже, а возле самого моря были вообще не по карману, то приходилось снимать места подальше.

Несколько лет подряд мы снимали комнату у пары, фамилию которой я даже запомнил, — Гейзер. Когда мы приходили на предварительные переговоры, я там тоже был, несмотря на малолетство, и шел обычный одесский торг. Покупатель расхваливал свой товар, а продавец искал недостатки и сбивал цену. Дом, в котором мы собирались снимать комнату, находился далековато от моря, где-то в часе ходьбы, станция трамвая и магазины — полчаса. Это и приводила в качестве доводов моя мать, особенно это касалось продуктового магазина. Хозяин с естественным одесским акцентом и соответствующим знанием "великого и могучего" ответил: "Ми вас будем обеспечаивать". Он хотел сказать, что они нас будут снабжать продуктами, обеспечивать. Это было, конечно, обычным и полным трепом, и все это понимали, и он сам тоже. Он был уже в возрасте, и его самого надо было "обеспечаивать". Но в разговорах-уговорах это был как бы довод.

Отец запомнил эту фразу и потом, всегда и очень к месту, когда речь шла о заведомо невыполнимых обещаниях и напрасных надеждах, он говорил: "Ми вас будем обеспечаивать".

4. А зачем ты тогда сюда пришла?

У нас были хорошие знакомые, почти родственники, которые приходили к нам в гости, как и мы к ним. У них было двое детей — девочки. Поскольку всегда к встречам всего наготавливалось, то обычно столы были полны всевозможных яств. Ну, а дети есть дети, они капризничали и не хотели есть самое вкусное. Родители, конечно, переживали по этому поводу. Помню, один раз у нас в гостях отец этих девочек, его звали Борис, терпел-терпел капризы своих дочек с отказом от разных блюд и в итоге откровенно так им сказал: "А зачем вы тогда сюда пришли?". Поскольку фраза имела подтекст, то присутствующие стали улыбаться, а потом и сам Борис его понял. Фраза очень понравилась моему отцу, и он стал ее применять каждый раз, когда речь шла о каком-нибудь нарушении логики, смысловых нестыковках. Понравилась и запомнилась она и мне, и я ее опробовал уже на своих детях. В компании, когда они, на мой взгляд, недостаточно активничали за столом, я громко на всю комнату говорил: "А зачем вы тогда сюда пришли?". Для собравшихся это получалась шутка, ну а дети, естественно, стеснялись папиной "откровенности", не нахо-

дя что ответить. И на самом деле, что можно ответить на такой вопрос за столом: "А зачем ты тогда сюда пришел?".

5. Не может быть!

Это выражение, "Не может быть!", моя мама и ее сестры часто применяли в разговорах. Смысл был не в недоверии или, тем более, не в уличении во лжи, а воспринимался просто как междометие, проявление интереса, удивления и желания услышать детали, ну, если перевести с русско-одесского на простой русский, вроде как: "Это же надо!" или же "Вы только посмотрите!". Моему отцу это выражение понравилось, и он его стал часто применять, но он вкладывал в него более ироничный смысл. Ну, например, мать работала недалеко от Нового рынка и в свой обед еще и успевала "делать базар". Дома она выкладывала все на стол и показывала отцу, и рассказывала, как выгодно она купила, например, хорошее мясо, как выторговала цену. И отец в ответ говорил: "Не может быть!" — хотя это мясо лежало на столе прямо перед ним, всем своим видом доказывая противоположное. Мать хорошо знала отца и совершенно не обижалась, воспринимая это как форму одобрения ее покупки, но выраженной "по-папиному". По-видимому, это настолько въелось в мое сознание, что с течением времени я и за собой заметил, что применяю это выражение, "Не может быть!", в разговорах уже со своей женой, и она после некоторой тренировки с выражениями типа: "Ну, тогда я тебе вообще ничего рассказывать не буду!" — привыкла и тоже понимает это как одобрение. Не может быть.

6. Маем дило

Выражение "Маем дило", по существу, украинское, приблизительно его можно перевести как "Имеем занятие", хотя оно и гораздо богаче, и национально колоритнее. В одесском исполнении оно выражает некоторый диапазон значений от принятия соглашения, в смысле — "по рукам", что, возможно, и было его первоначальным смыслом, до одесского иронического, типа: "Ну вот, опять эти проблемы на мою голову", — с задумчивым почесыванием "потылицы". Вообще, украинский язык богато вкраплен в "одесский диалект", и эта проблема еще ждет своего исследователя-лингвиста. Наиболее употребительный одесский смысл выражения "Маем дило" — иронический, и он в том, что человек от нечего делать или

от "большого" ума сам создает себе проблемы. То есть на пустом месте, из ничего, создается "конфетка". Или же человек занимается совершенно бесполезной деятельностью, но он зато "Мает дило". Естественно, такой подход очень свойственен женщинам, и особенно одесским женщинам. Из ничего сделать скандал. В этом ироническом ключе мой отец и произносил это выражение.

7. Ви днем спите?

Одна из наших знакомых была замужем за ювелиром, у них был один ребенок, но она всю свою жизнь не работала, что для тех времен представить себе трудно, так как тогда в семье все взрослые работали, зарплаты одного совершенно не хватало на жизнь семье, да и двоих тоже. Но ювелиры во все времена зарабатывали неплохо, хотя в те годы за малейшие "левые" дела или металл их карали страшно. Эта знакомая иногда встречалась с нами в городе, и как всегда, женщины разговаривали о том о сем. Она была простой и откровенной женщиной и однажды спросила мою мать (с одесским акцентом): "Ви днем спите?". Большей несуразицы придумать было нельзя. Но это был ее стиль мышления и жизни. Мне это немного напоминает сцену из кинофильма "Гусарская баллада", когда главный герой, в данном случае девушка, спрашивает красавца гусара, которого играл Яковлев: "Вы любите вышивать?" — а он ошалело хохочет. Гусар — и вышивать! Вы ж понимаете. Мать всю жизнь работала, и как она могла "спать днем"? Отец это выражение заметил и стал применять его в ироническом смысле. Когда он слышал явную глупость, он говорил (повторяя "одесский" акцент): "А ви днем спите?". Вот и я хочу у вас поинтересоваться: "А ви днем спите?".

8. Я так и знал!

Это выражение мой отец употреблял часто и, как это ни странно, в его прямом смысле — как подтверждение его предположений, предвидения. Но, естественно, делал он это акцентированно и несколько перегибал палку в сторону иронии, и часто получалось, в итоге, — к месту и смешно. Как и у всех нас, у него были свои жизненные понятия и правила, которым он следовал и, естественно, хотел, чтобы следовали другие. И любые отклонения от них и их отрицательные последствия вызывали его реакцию: "Я так и знал". Я также думаю, что это было его дежурной защитной про-

тиворечивой реакцией на многие явно не предвиденные беды и невзгоды. Но в жизни это приобретало более широкий смысл. Стоило, например, уронить стакан, как он тут же возмущался: "Я так и знал!". "Папа, как ты мог знать, что я уроню стакан?" — "Потому что ты так живешь!" — и далее следовал небольшой курс о философии жизни, смешанный с поучениями по поводу недавних событий и поступков, которые ему не понравились. В чем была связь между ними и нечаянно уроненным стаканом, трудно установить с помощью формальной логики, но с помощью диалектической — можно. Отца почему-то любой беспорядок, нарушения, нестандартные положения очень раздражали. Когда они завершались неудачей, следовало: "Я так и знал!". И теперь, когда у меня свои дети и внуки, и я думаю о них, об их жизни, анализирую их успехи и неудачи, у меня тоже возникает та же иллюзия, что многие ошибки на их месте я мог бы предусмотреть, и о получаемых в итоге негативных результатах "я так и знал". Все мы умные задним числом и местом.

9. Скажи "да"

Смысл, который вкладывал мой отец в это выражение, не в подтверждении какого-либо факта, обстоятельства, действия или обещания, а формально-условный с ироническим подтекстом. Мол, скажи "да", чтобы просто отцепились, а там видно будет. Тебя это ни к чему не обяжет. Просто подтверди на словах — и все. Свободен. Происхождение этого выражения я точно не помню, но думаю, отец его тоже взял "из жизни", из характерных высказываний одного из родственников или знакомых. И связано это было с невыполнением данных обещаний, откровенным обманом. Человек в важном деле сказал определенное "да" и так же определенно сделал "нет" — и вот это было метко подмечено отцом и запомнилось нами и нашими детьми на поколения, хотя самого обманщика давно уже нет, да и никто его не помнит. А клеймо осталось. Юмористическая условность выражения заключалась в его универсальности, обобщении на многие случаи жизни. Это могло касаться любого предмета обсуждения, например, между мамой и ее сестрами, в которое в определенный момент "врезался" отец со своим ироническим "Скажи "да", тем самым придавая предмету разговора смысл абсурда. Обычно момент выбирался очень удачно, и все смеялись, понимая нереальность, невыполнимость обсуждаемого. Так что, "скажи "да", и я скажу тебе — кто ты.

10. Врожденный идиёт

Это было ругательство отца, определяющее беспробудную человеческую глупость, ну просто дальше некуда. Но, тем не менее, в жизни такое встречается чаще, чем хотелось бы. Вот почему именно "врожденный" идиот, а не простой или благоприобретенный, например, с возрастом и жизненным опытом, — не спрашивайте, видимо, логика здесь в усилении понятия, его беспросветности. Причем произносилось слово "идиот" с одесским акцентом, как "идиёт". Вообще, нелогичными, на наш взгляд, могут быть различные действия, но чтобы заслужить от моего отца это "почетное" звание "врожденного идиота" нужно было на этом поприще довольно хорошо потрудиться или же привести отца в нестабильное состояние духа. Но мы с сестрой старались, и при достаточно глупых поступках или намерениях нам от отца доставалось, хотя по логике вещей — что значит "врожденный", от кого мы произошли, кто же нас, в конце концов, "вродил", если не он сам? Ну, с некоторым участием мамы, конечно. Помню, попозже, когда я защитил кандидатскую диссертацию и прислал ему копию моего диплома, которым он очень гордился, я спросил его при встрече: "Папа, видишь, а ты говорил, что я врожденный идиот". Но он нашелся и ответил: "Если бы я тебе не говорил, ты, может быть, и был бы". Так вот, может быть, он и был прав, имея в виду мой образ жизни: я всегда брал на себя повышенные "социалистические" обязательства, старался что-то доказать себе и другим, и может быть, это и было моим внутренним, но к сожалению, не вечным двигателем.

Врожденный идиот. Я уже не говорю про сестру. Да и вообще, человеку от рождения свойственно ошибаться. Кто из нас не делал ошибок — крупных, мелких, не говоря уже о средних? Так, может быть, мы все немного это самое... ну, и немного другое. А результат зависит от соотношения.



Олег ГУБАРЬ

Бабушка Пастернака

Из цикла зарисовок о Вениамине Абрамовиче, искусствоведе и человеке

В момент моего явления заместитель директора по научной работе Вениамин Абрамович в полемическом задоре размахивал растопыренной пятерней перед нежно розовеющим носом несколько осоловевшего, однако неизменно склонного к активному оппонированию художника Паши Митриева. Последний, в свою очередь, потрясал на виду Абрамыча тусклым осыпающимся холстом на обшарпанном подрамнике. Сюжет дополняла недопитая бутылка коньяка стоматологического "Десна", нашинкованный толстыми колбасными ломтями мятый лимон и груда припорошенных табачным пеплом высоконаучных бумаг на обширной столешнице. Прибывшие со мною девственницы — бутылка водки "Хортица" и банка арахиса — кратковременно облагородили интерьер.

"Нет, ты мне скажи, — агрессивно вопрошал Вениамин Абрамович, оскалившись немногочисленными потертыми зубами, — сколько ниток у нас приходится на сантиметр холста?!" — "Веня, — уныло отбояривался Митриев, — разве количество ниток тут может служить определяющим фактором в вопросах датировки?!" По всему было видно, что витающему в изрядно сгустившихся коньячных эмпиреях Паше едва ли удалось бы сосчитать нитки даже под дулом имени предпринимателя Калашникова.

"А рука, — горячился искусствовед, и мефистофельский профиль его обретал все более ощутимую рельефность и завершенность, — рука! Гляди! Ты в жизни своей надоедливо нескончаемой видал ли такую руку?! А?! Как смело, как безоглядно решительно выписан мизинец! Только Пастернак мог себе такое позволить! Только он! А не те, что и мизинца его не стоят! И обрати свое померкшее внимание: натурщица водит пальцем по книге справа налево, — голос искусствоведа предательски дрогнул, срываясь на фальцет, — ты понял меня, знаток хренов?! Это же наша интеллигентная бабушка одесской национальности!" Абрамыч многозначительно погрозил Митриеву пальцем. Почему-то указательным.

Пользуясь сумятицей, я наполнил вместительный стаканчик, но не тут-то было. Паша сквозь очки блеснул в мою сторону негодующим взором: "Беру тебя в свидетели, Кубарь. Смотри сам: свинцовые белила пробуравили холст навылет, а наш записной эксперт Веня утверждает, что сие есть банальнейший грибок. Как это на ядовитом свинце могла столь буй-

но, по-весеннему взрасти плесень?! Это ж не мухомор какой-нибудь образцовый! Возмутительное шулерство!" — "Очки, — надменно откликнулся Вениамин Абрамович, презрительно махнув костлявыми фалангами, шарнирно притороченными к пергаментной ладони, — оправа, эти блики, этот грациозно бликующий металл! Прописано не линией, а точками! Точками!" — "Морзянкой", — отзываюсь ехидно. "Именно так, как прописано пенсне жены Льва Николаевича, — убедительно жестикулирует Абрамыч, — ты, Кубарь, сам видел пастернаковское "Под лампой", сделанное в имении Толстых. Здесь то же самое, один к одному! Двести процентов!"

Обстоятельно выпиваю в два приема, поочередно и со значением заглядывая в глаза истцу и ответчику. "Двадцатые годы!" — с невозмутимо мягким сарказмом высюсюкивает Митриев. "Восьмидесятые, голову на отрез!" — тавтологически отрезает искусствовед. "Смутное время... Магазины затоварены, — неспешно, с достоинством гнет свое Паша (*вгемя, затовагены* — его более чем легкое грассирование от искреннего негодования посягает на картавость!), — цинковые белила дороги (*догоги*!)..." — "Сам ты фальсификатор!.. Нет, я насмерть буду стоять, что бы ты там ни доказывал! Это Леонид Осипович!" — картинно меняет интонацию Абрамыч, демонстрируя симптоматичные навыки голосистых лекторов общества "Знание". "Утесов?" — уточняю вполголоса.

"Бабушку Пастернака" среди разнообразного хлама откопал на развалках Староконного базара (легендарного блошиного рынка) наш находчивый добрый приятель, везунчик Гурген Агдамян, которому еще воздастся по заслугам. Вениамин Абрамович увидал бабушку и обомлел. Он в бабушках толк знает, ибо сам свежеиспеченный дедушка. Старушка с молдаванской барахолки и в самом деле представляется неправдоподобно по нынешним меркам интеллигентной. Трогательно склонившись над оправленным в белую накрахмаленную скатерть столом, непреклонно доброжелательная, в темно-синем, чуть ни панбархатном, платье, с седеющим "кубликом", она (похоже, и точно справа налево) с заметным аппетитом читает толстенную книжищу.

"Я ее атрибутировал, — подводит черту Абрамыч категорически, — и останусь на своем!" — "Он атрибутировал бабушку... Ты слышишь, художник, что он с нею сделал..." — я нахально ухмыляюсь. Осоловевший было Паша моментально реанимируется и хрипло хохочет: "Ага, так это, выходит, заместитель директора по науке атрибутировал безропотную старушку на Дерибасовской угол Ришельевской?!" Безропотную или безотказную?..

Не к ночи будет сказано, мы с энтузиазмом выпили, тогда как атрибутированная бабушка оскорблено уткнулась в недочитанный талмуд.

"Какие люди", — резюмировал Вениамин Абрамович весомо. "Нет, вы только подумайте, — снова встрепенулся Митриев, — и все отсюда, все наши!" — "Все пастернаки? — уточняю в сторону. — А, нет, есть еще один Кандинский". (Вениамин Абрамович помешан на Кандинском, а Пастернак так, с боку припеку, со стороны бабушки.) Паша сделал эффектную паузу, после чего изрек проникновенно, с неким привычно священным трепетом: "Давайте выпьем за Одессу!". Вениамин поддержал с ироническим пониманием: "Давайте". Как нечто сакраментальное. Взъерепенившись, вступаюсь за "Бабушку Пастернака": "За Одессу пить не стану. За одесситок — пожалуйста". "Ты что, не патриот?" — спрашивает Паша с интонацией кинематографического провокатора. "Нет, не патриот. То есть не местечковый патриот". "А мы, — художничек даже как бы трезвеет, — по-твоему, местечковые?!" Я: "Ну, как тебе сказать... Знай наших, да? Одесса — родина слонов, кинематографа, бычков в томате и языка суахили... Водку будете?" Паша, с той же интонацией: "А что?" — "Ну, вы же, вроде, по коньячку..." Паша: "Так одна ж мама". Я: "Ты снова за Одессу?" Вениамин Абрамович, примирительно: "Допиваем непатриотическую "Хортицу", и я бегу за коньяком местного производства". Блаженны миротворцы... И точно, порысачил.

Сидим. Жуем споли. И тут меня осеняет: "Знаешь, Митрич, а что если это и есть та самая бабушка?!" Паша подозрительно, но со все более пробуждающимся пиететом взирает на портрет. Продолжаю проникновенно: "И ее сначала написал один Леонид Осипович, а впоследствии воспел другой Леонид Осипович?!" Явившись минутой позже, Абрамыч застает нас торжественно-молчаливыми, исполненными некоего тайного знания и бережно передающими осыпающуюся бабушку из рук в руки, но истолковывает ситуацию по-своему: "Ну что, убедились, наконец, олухи царя небесного?! Моя правота! Ведь он же, он! Его рука и бабушка!" Я, как бы уступчиво: "Ладно, наливай свой стоматологический". Художничек Паша, снисходительно поглядывая на искусствоведа: "Давай уже, черт с тобой". "За это таки стоит выпить", — воспаряет Вениамин Абрамович победительно. "Согласен, — Митрич на манер Иоанна-Павла Второго степенно помавает рукой, — за бабушку Пастернака!" "И Утесова, — прибавляю истово, — короче, за многострадальных старорежимных бабушек!"

Звонит Агдамян: они с бутылкой уже на подходе, но еще не знают развязки. Кто-кто, а уж Гурген точно оценит. Это ж его отец, узнавши о рождении внука, отреагировал философически: "Стать дедушкой не стыдно. Стыдно спать с бабушкой".

Михаил ЛАНДЕР

Старая трубка

"В благословенный наш и просвещенный век
всего сумел дойти курящий человек".
Михайло Ломоносов

"Сколько великих людей сохраняли спокойствие, чувство ответственности
и стремление к цели, такие важные для человека... с помощью табака".
Джон В. Кемпбелл

"Нет ничего проще, чем бросить курить, — я это сто раз делал".
Марк Твен

Не подумайте, что я проповедую курение. С этим общество, и не безуспешно, борется. Особенно сейчас в Америке — родине табака и курения.

Лично я уже давно не курю — с момента вступления на землю Нового Света, да и запах табачного дыма мне уже неприятен. А ведь курил. У меня было 18 трубок. Все они хранятся у моей дочери. На трубку я перешел уже в зрелом возрасте, до этого курил сигареты. Да и курить я стал поздно, после войны. Дело в том, что на кораблях курение разрешалось в специально оборудованных местах — обычно на корме, на открытом воздухе, — и нарушение этого правила строжайше наказывалось. Исключение составляла "боеготовность один", и то только для тех, чьи боевые посты были на открытой палубе и в светлое время, — комендоров, торпедистов и сигнальщиков.

Как только звонки громкого боя извещали о боевой тревоге, я взлетал через четыре трапа в боевую рубку управления кораблем, на ходу надевая каску и засовывая бескозырку за ремень, закрывал иллюминаторы броняшками и становился на руль. В рубке вообще никто никогда не курил. Видимо, поэтому я впервые закурил в День Победы. Согласно флотской традиции, некурящие получали шоколад, а так как я был "пацаном", меня это вполне устраивало. Согласно этой же традиции, на кораблях выдавали только сигареты. Махорку давали только в береговых частях и в армии. В целях безопасности никакие "самокрутки" не разрешались, тем более из махорки, извергавшей при малейшем дуновении снопы искр.

После демобилизации я не стал заядлым курильщиком, как некоторые мои сослуживцы. Благодаря профессии мне были доступны хорошие сигареты, но о трубке я и не помышлял.

Почему-то у окружающих образ моряка неразрывно связан с трубкой в зубах, особенно образ капитана. Смею вас заверить, что это не так. Как свидетельствуют историки, даже пираты табак не курили, а жевали или нюхали. Из моих друзей-капитанов трубку курили только двое. Я же перешел на трубку на Севере. Многие капитаны-поморы курили трубку — это связано со спецификой профессии: всегда теплые руки, и ветер не превращает сигарету в летящие искры. В этом я убедился сам. Вот так и привык.

Но курение трубки — это ритуал, о котором я узнал позднее. Первую трубку мне подарил капитан Сапогов. Выходец из знатной стариной семьи архангельских рыбопромышленников, Александр Иванович был всесторонне образованным человеком, изумительным гитаристом и знатоком русского романса.

Я пришел к нему на пароход "Аскольд" старшим помощником. В первом же рейсе он пригласил меня в свою каюту, налил крохотные рюмочки коньяка и такие же крохотные чашечки густого кофе и, изящно держа их, отставив мизинец, произнес поморским говором: "Ты, Михайло, вот что: или не кури во время вахты свои сигареты, или переходи на "сопелку", а то вон сколько пепла разбросал, — и положил предо мною коробочку с трубкой — чуть изогнутой, с ажурной крышечкой. — Бери, бери, настоящий "бриэр", только поначалу обкури ее хорошим табаком, иначе загубишь вкус. Трубка — как собака: как наречешь, такая и будет. Ее уже потом ни одалживать, ни дарить нельзя. А выбрасывать — тем более плохая примета, болеть будешь". Так появилась моя первая трубка, давно уже прогоревшая, которую я храню до сих пор.

Ну, а потом пошло-поехало. Я узнал, что курить одну и ту же трубку нельзя, она устает. Что в день надо менять несколько трубок. Поскольку я курил не более трех-четырех раз в день, то остановился на английском варианте — три трубки: утренняя, дневная и вечерняя. Так и вошел во вкус. Хранил трубки в специальном футляре, к каждой свой ершик, табак в специальном кисете. Трубочный табак годится только для трубки, ни в какие скрутки его не свернешь и ни в какие папиросные гильзы его не засунешь, он специальной выделки и с особым густым ароматом.

В силу своего природного любопытства я стал интересоваться историей курения и узнал очень много любопытных фактов. История курения насчитывает более трех тысячелетий, от древних индейских племен. Обнаруженные в курганах и захоронениях глиняные и каменные трубки очень высоко ценятся как музейные реликвии. Особенно дороги частные коллекции. В Средней и Северной Америке трубки делали из мягкого

красного камня — катлинита. В Южной Америке трубки изготавливали, как правило, из древесины. Вообще, все трубки изготавливались в форме фигурок людей и животных, очень тщательно и детально проработанных. У древних майя трубки почему-то делались в виде мужского детородного органа. Известная всем "трубка мира" индейцев представляла собой томагавк с чубуком для курения.

В Европе курение прижилось после открытия Нового Света и довольно долго считалось "бесовским" занятием, за которое можно было угодить в тюрьму. Поэтому и появились трубки с головой Мефистофеля. Широкое признание курения табака началось с XVI века в Англии — оно превратилось в выгодную статью дохода. Вскоре и Голландия догнала англичан.

В течение ста лет после открытия Америки курение распространилось по всему свету. Началось изготовление глиняных трубок по специальной лицензии. В Дании изготовлением трубок занимался королевский фарфоровый завод.

Первым россиянином, закурившим трубку, был царь Петр Первый, обучавшийся у голландцев кораблестроению. Он вернулся в Россию с мешком табака и дюжиной голландских трубок. Вторым курильщиком стал светлейший князь Меньшиков. Ну, а потом последовал высочайший указ "трубки курить, бороды брить". И Россия задымила.

Далее на очереди был Восток — ему помогли Португалия и Испания. Там уже стали делать трубки с мундштуками из янтаря. Там появился новый способ курения — пропускать дым через ароматную воду. Так появился кальян. Для знати трубки для кальяна мастера инкрустировали драгоценностями. В богатых дворцах появилась должность "чибукши" — мастера по кальянам, умевшего приготовлять ароматизированную воду путем добавления разных эссенций. В Стамбуле во дворце-музее Топкапы можно увидеть такую коллекцию трубок-кальянов, которые не уступят известным ювелирным изделиям.

В Китае кальян превратился в длиннющий мундштук с крохотной чашечкой на конце для шарика опия. Японцы делали трубки в виде фигурок из кости — "нэцке". Они очень дорогие и являются предметом коллекционирования. В Африке трубки делали из костей, бивней, бамбука и колебаса — высушенной тыквы. Африканские трубки очень разнообразны.

Обычно трубки делаются из дерева ореха, груши или вишни, но только не из дуба — из-за горьковатого привкуса. Первые американские фермеры делали трубки из кукурузных кочерыжек после годовой высушки.

Но все деревянные трубки страдали одним недостатком — быстро прогорали, а фарфоровые — весьма хрупкие и обжигают руки.

Появились пенковые трубки из мягкого минерала. Он называется "морская пена". Это вековая смесь мертвых моллюсков с песком. Еще его называют *афродит* или *сениолит* и добывают на большой глубине у берегов Турции и Восточной Африки. Материал хорошо обрабатывается и полируется.

Сейчас же основная масса курительных трубок изготавливается из древовидного вереска бриэр — это разновидность черного дерева. В ход идут только корни растения в возрасте 80-100 лет. Хорошие курительные трубки очень дороги. Это не значит, что и сейчас не делают трубки из разного материала, но настоящие хорошие трубки имеют клеймо и паспорт. Кстати, трубки с крышечкой изготовляют, как правило, для моряков. Когда я в Гамбурге купил очередной бриэр, в коробочке лежало напутствие: "Пепел от вашей сигареты может стать вашим пеплом". Лучше не скажешь.

Ни одной трубки я не потерял и не выбросил. Их хранит моя дочь в огромной кружке в форме одноглазого пирата — типичного стивенсонского Джона Сильвера. Незабываемый аромат сохранился и сейчас. Понюхал я свои трубки, и показалось, что старик Сильвер мне подмигнул. Но я не закурил — и вам не советую.



Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол!

Евгений и Татьяна

Лирическая мини-трагедия в 10 действиях и без единого акта

Действующие лица:

Мужчина — Правильный холостой мужчина лет 55. Мечта любой женщины. Старше 50.

Женщина — Самая симпатичная в доме из всех незамужних женщин. Старше 50.

Действие 1

Лестничная клетка. Мужчина ковыряется в замке, чертыхается. Из соседней двери выходит Женщина, подозрительно смотрит на мужчину.

Ж. Вы что тут делаете? Это квартира Курдюкина!

М. Где-то у меня был нож... (*Достает нож, раскрывает, пробует лезвие.*)

Ж. (*с испугом*). Не надо нож! Вообще-то, этот Курдюкин мне никогда не нравился...

М. (*ковыряя ножом в замке*). Это теперь моя квартира. Я не вор, я ваш новый сосед.

Ж. Да? Тогда давайте знакомиться. Как вас зовут?

М. Меня?.. Только не смейтесь... Евгений Онегин.

Ж. А я Татьяна Ларина.

М. Вот всегда так! (*Сует ей паспорт.*) Приходится всегда носить с собой. Читайте: Онегин Евгений... Сидорович.

Ж. (*достает из сумочки паспорт, дает ему*). Ларина Татьяна Ивановна.

М. Вот так встреча! (*Смотрит на Ж.*) Вы это... Вы сегодня вечером что делаете?

Ж. Ну... Вообще-то, я не замужем... И сегодняшний вечер у меня не занят...

М. Вот хорошо! Я вечером вещи буду возить — посторожите? (*Дверь, наконец, открывается.*) До вечера!

Действие 2

Она тихонько выглядывает из-за своей двери на лестничную клетку, потом на цыпочках подкрадывается к его двери, прислушивается. Вдруг она вздрагивает, оглядывается и видит непонятно откуда взявшегося соседа.

Ж. Ай!

М. Я же вам сказал, я не вор, я — ваш новый сосед.

Ж. Как будто нельзя быть и тем, и другим... Мой старый сосед как раз был вором, да еще и женатым.

М. Ну, если это так важно, то я, во-первых, не вор, а во-вторых, не женат.

Ж. (*поднимает пальчик, поправляя*). Во-первых, не женат. А не вор — это... во-вторых.

Действие 3

Женщина идет с полным мусорным ведром, навстречу Мужчина с пустым мусорным ведром. Женщина пытается избежать встречи, но он ее догоняет.

М. Что с вами? Это же я, Онегин!

Ж. Я вижу! Но у вас же пустое ведро! Это плохая примета!

М. Я лично в приметы не верю.

Ж. Это естественно. Вы такой сильный мужчина! А я всего лишь слабая женщина. Неужели вы совсем-совсем не верите?

М. Ни грамма! Вот высыпайте ваше ведро — увидите.

Ж. Благодарю вас! (*Высыпает свое ведро в его пустое.*) Вот что значит настоящий мужчина! Я подожду вас у парадного.

Действие 4

Женщина стоит у своей приоткрытой двери на лестничной клетке и несколько секунд мнется, поглядывая на дверь соседа, в зеркальце и на часы. Наконец, соседская дверь открывается, и выходит Мужчина. Женщина дергает своей дверью, имитируя, что она тоже вышла в этот же момент.

М. О! Здравствуйте! Мы с вами одновременно, как будто договаривались.

Ж. (*машет пальчиком*). Ну-ну... Мы с вами еще не договаривались. Хотя одна моя знакомая нашла свое счастье как раз на лестничной площадке.

М. Неужели?

Ж. Да. Оно лежало там пьяное, грязное и вонючее... Такое у нее счастье!

Действие 5

Женщина стоит у выхода из парадного, посматривает наверх и прислушивается, обильно припудривается — поджидает соседа сверху.

Ж. (*пудрясь, себе*). Опять кончается... Вот мерзавцы! Негодяи! Подонки!

Он спускается по лестнице, а она, увлекшись, его не замечает.

М. Кого это вы так?

Ж. Представляете, пудру с каждым годом все хуже выпускают. Раньше мне ее на месяц хватало, а теперь максимум на два дня.

Действие 6

Женщина звонит в дверь к Мужчине. У нее в руке полная ложка. Он открывает.

Ж. Я прошу прощения. Попробуйте суп, пожалуйста. У меня сегодня что-то со вкусом.

М. Хм... Ну, давайте. (*Пробует и застывает, с трудом сдерживаясь...*)

Ж. Ну как? Что вы молчите?

М. (*с трудом выдавливая из себя*). Вкусно... Сказочно...

Ж. Да?! А мне почему-то показалось, что протухло... (*Уходя.*) Точно! Что-то у меня сегодня со вкусом...

Действие 7

Женщина выходит из своих дверей, поправляет волосы, смотрит в зеркальце пудреницы, звонит в дверь мужчины. Он открывает. Слышно, как громко у него орет телевизор — идут новости.

Ж. Извините, Евгений Сидорович, но у нас в доме такие тонкие стены, все слышно... Вы смотрите сейчас новости, да?

М. Да. А что, громко очень?

Ж. Нет-нет. Просто у меня что-то с телевизором, изображение хоть какое-то есть, а звука вообще нет. А я очень хотела послушать новости. Если я вам не помешаю...

М. Да ради бога, что мне, жалко? Идите себе спокойно домой, а я сейчас сделаю еще громче, чтоб у вас тоже было слышно! Я мигом!

Закрывает дверь, Женщина вздыхает, идет к себе.

Действие 8

Женщина быстро поднимается по лестнице, испуганно оглядываясь назад, ее догоняет Мужчина.

М. Татьяна Ивановна! Как дела?

Ж. (*хватается за сердце*). Как вы меня напугали! Ужас! Я думала, за мной идет какой-то незнакомый мужчина.

М. Жаль, что в доме лифта нет. Ехали бы мы с вами в лифте — вы бы не пугались.

Ж. Ну, с вами да. А если я в лифте с незнакомым мужчиной?! Вы это себе представляете?

М. Нет...

Ж. Нет? (*Вздохнув.*) А я себе часто представляю: я в лифте, с незнакомым мужчиной... Фантазии, фантазии... (*Идет дальше.*) Так жизнь и прошла...

Действие 9

Ночь. Женщина в халатике звонит соседу. Он открывает дверь, зевая.

Ж. Извините, Евгений Сидорович, я понимаю, уже час ночи, но для меня это крайне важно. Вы разбираетесь в электричестве?

М. Да. А что случилось?

Ж. У меня сломался ночник. Прямо над моей постелью. Идемте скорей!

М. (*возмущенно*). И вы хотите, чтобы я среди ночи пошел, залез к вам в постель и чинил ночник?

Ж. Зачем вы так нервничаете? Ну, хорошо, идемте — ночник можно не чинить... (*Он захлопывает дверь.*)

Действие 10

У почтового ящика встречаются Мужчина и Женщина.

Он достает из ящика письмо, смотрит на адрес. Подходит Женщина.

Ж. Здравствуйте, Евгений Сидорович.

М. Вы написали мне письмо? (*Показывает письмо.*) Вот, тут даже адреса нет. Только "от Татьяны Лариной" и все.

Ж. (*вздохнув*). Да, я вам пишу! Чего же боле? Что я могу еще сказать... Женя! Вы такой холостой... то есть я хотела сказать — такой симпатичный! Совсем не то, что этот Селедкин из 5-й квартиры. (*Стучит пальчиком по ящику с номером 5.*)

М. Вы думаете?

Ж. Конечно. Даже наша соседка Светка вчера сказала, что вы очень симпатичный.

М. Правда? Если бы вы знали, как я ждал этих слов! (*Берет ее за руку.*) Вы дали мне надежду на счастье! Спасибо вам! Я же из-за нее сюда и переехал! Побегу к ней! (*Сует ей письмо и бежит вверх.*)

Ж. Женя! Куда же вы?... (*Смотрит ему вслед.*) Прощай, Евгений...

Смотрит на письмо, на письменные ящики, вздыхает, сует письмо в ящик № 5 и идет вверх по лестнице.

Конец

ИЗДАНО В ОДЕССЕ

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Возвращение Одессы
Возвращение в Одессу 310

Феликс КОХРИХТ
От тюрьмы, от сумы и от "Букера"... 312

Виктория ФРОЛОВА
Другие берега 314

Возвращение Одессы
Возвращение в Одессу



Анатолий ГОРБАТЮК
Дитя Европы
Одесса, Optimum, 2006

Мы постепенно освобождаемся от исторической, навязанной нам летаргии, и возвращаемся в свой город, тот, давний, воспетый пушкинскими строками, прославленный знаменитыми именами его первостроителей.

Словно Феникс из пепла забытья, возрождается наша память о чуде Одессы, о дерзновенном и блистательном расцвете города, возникшего на границе двух безбрежных миров — Моря и Степи, впитавшего воздух и вольность двух этих пространств, старательно и мудро освоившего наследие великой средиземноморской цивилизации — от финикийцев до греков и римлян, явившего изумленной России и ее соседям свой благородный европейский облик.

Мы до сих пор удивляемся тому, что какую историческую, генеалогическую нить не потяни, она, как нить Ариадны, приведет тебя в Одессу, щедро развеявшую свои благодатные семена по всему миру. Еще бы! Потомки того многоязыкого племени, той неповторимой общности, получившей звучное имя — одесситы, впитавшие от рождения вольный дух города, любовь к простору, наделенные дерзкой отвагой (сказано же было "Жизнь требует уменья и отваги!"), рассеялись по всему свету, оставив последующим поколениям свой драгоценный опыт. Некоторые из них, подобно Одиссею, вернувшемуся в Итаку (помните, у Мандельштама — "Одиссей возвратился пространством и временем полный"?), возвращались в Одессу. Вот и автор, или Автор, как говорит он о себе на страницах книги, предлагаемой вниманию читателя, Анатолий Исаакович Горбатюк, изведав дух пространства и времени, вернулся из благополучного Лос-Анджелеса в родную Одессу (да еще и в свою бывшую квартиру, чему он особенно радуется!). И там, в Лос-Анджелесе, одесская закваска бродила в нем. Он собрал там одесское землячество, ре-

дактировал газету "Одесский маяк", словно стараясь держать руку на аритмичном одесском пульсе...

Одесса не отпускала, тянула к себе. И он вернулся в "родные палестины".

И написал книгу, уже не первую, книгу, полную нежности и любви к родному городу, благодарного восхищения, преклонения перед всеми, кто основал и создавал наш город, — от Екатерины Великой до де Рибаса, де Волана, дюка де Ришелье, графа Ланжерона, графа, потом светлейшего князя М.С. Воронцова...

Автор и радуется, и печалится со своими героями, страдает от несправедливостей и горестных поворотов в их судьбах. И в этой палитре авторских чувств и переживаний, скорее сопереживаний, непременно присутствует одесский юмор — легкий, искрящийся, не натужный, как у многих, пытающихся поэксплуатировать это подлинно одесское достояние.

Чего стоят страницы, повествующие о поисках Автором усыпальницы нашего (!) "одесского Дюка" в Париже! Забыли его французы, а мы помним, и будем помнить — таков был его вклад в развитие и процветание Одессы.

А нестерпимая боль по поводу противостояния "Воронцов — Пушкин, Пушкин — Воронцов"! Автор не стесняется своих чувств в попытке развести эту "дуэль", длящуюся почти два века в памяти потомков...

Благодарная память Автора с волнением подмечает счастливый, я бы сказал, судьбоносный для Одессы, день — 10 апреля. Еще бы! В 1854 году, во время Крымской кампании, на Платоновском молу (дорогое для Автора, много лет проработавшего в одесском порту, место) "небольшая (4 орудия) батарея под командованием юного прапорщика Александра Щеголева... в течение почти семи часов вела неравную артиллерийскую дуэль с батареями девяти вражеских судов". Англо-французский десант не смог высадиться и оккупировать Одессу.

Ровно через девяносто лет, 10 апреля 1944 года, Одесса была освобождена от немецких оккупантов. Знамение судьбы!

В руках у читателя книга, где искренне и взволнованно описаны не просто биографии, а судьбы людей, подвижнически служивших нашему городу, а вместе с ними и прекрасная судьба Лучшего-в-мире-Города! Великие люди построили Великий город, давший миру бесчисленное множество своих талантливых детей.

Как когда-то за книгу об одесском джазе, написанную тем же автором, я благодарен ему за то, что так страстно, так живо, так по-одесски он написал новую книгу о "Южной Пальмире". Вслед за очерками Андрея Доб-

ролюбского и Евгения Новицкого о предыстории Одессы она может стать учебным пособием — и в старших классах школы, и в колледжах, и в университетах.

Продолжу еще одну мысль. Думаю, как во Франции — Ришелье и Ланжерона, так в Испании и Италии забыли де Рибаса. А это значит, что книгу следует перевести на европейские языки, и это будет вкладом Одессы в осознание европейцами не только истории Одессы, но и своей роли в создании нашего города.

Так что предвижу, что у этой книги может сложиться долгая и интересная судьба.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

От тюрьмы, от сумы и от "Букера"...



Владимир КАТКЕВИЧ
Европейская шабашка
Одесса, Optimum, 2006

В дарственной надписи на титульном листе своей новой книги Владимир Каткевич назвал меня "первым читателем "Шарашки". Действительно, я имел причастность к публикации глав будущего романа на страницах одной из газет. Не скрою — испытываю к его творчеству особый интерес, и вот почему. Мы — коренные одесситы, наше детство пришлось на послевоенные годы, мы учились плавать на одних и тех же "скалках", читать — в одних и тех же библиотеках... Нас объединяет и "охота к перемене мест", на многие города и страны мы смотрели с Володей, как бабелевские герои на цветущий луг, но вот угол зрения у нас был разный.

В морских путешествиях я был пассажиром и вел не вахтенный журнал, а журналистский дневник, Каткевич — членом экипажей черноморских судов, на которых совершил кругосветку. С распадом СССР и гибелью ЧМП (дело идет к тому, что дети, того и гляди, не смогут расшифровать эти аббревиатуры) кадровый мореман был вынужден, как и многие

наши земляки, стать шабашником. Увиденное и пережитое на рынке дешевой рабочей силы стран ЕС Владимир Каткевич описал в романе-дилогии "Европейская шабашка", недавно вышедшем в издательстве "Оптимум".

На обложке — фотография, сделанная в баварской столице Мюнхене, на главной его площади Мариенплатц. Несколько раз в день — в любое время года — сюда собираются гости города, чтобы поглазеть на действо, длящееся уже много лет: под перезвон курантов на самой верхотуре оживают фигурки, изображающие рыцарей, королевскую чету, наблюдающую за турниром, и, наконец, Смерть, завершающую представление, увы, традиционным концом...

В начале 90-х в этой толпе зевак я вполне мог оказаться рядом с Володей. Мы бы перебросились парой слов, и он побежал бы на вокзал, чтоб продолжить "Почтовый путь на Галле" (так называется первая часть дилогии) — в старинный саксонский город, где вкалывал на вчерашних гедеэровцев, еще не подзабывших русский язык...

Во второй части дилогии герой пытается интегрироваться, а если проще — заработать пару евро в Греции. И на северном, и на южном флангах НАТО ему приходится одинаково кисло...

Можете себе представить, что пережил за эти годы тонко чувствующий, воспитанный на русской классике, склонный к рефлексии (хотя и рефмеханик) человек, которого если что спасло от беса уныния, то самоирония и писательский дар.

Внимательный читатель, даже многое на Земле повидавший (всласть, а не в нужде), на примере автора еще раз убедится, что от сумы и от тюрьмы не отрекаются любя...

Выход книги В. Каткевича в родной Одессе оживляет наш литературный пейзаж. Она читается легко, и смех в ней перемежается с задумчивостью. В последнее время нашего земляка охотно печатают толстые журналы — российские и украинские. В том числе и наш альманах "Дерибасовская — Ришельевская", публикующий в нынешнем номере его рассказ о путешественниках. Сам Сергей Юрский, как правило, не отличающийся комплиментарностью, еще в 1999 году сетовал: "Вызывает сожаление, что в шорт-лист премии "Букер" не вошли многие достойные книги. Обидно, что номинантом не стал Владимир Каткевич с "Германской шабашкой".

С выходом в 2007-м еще и "Шабашки греческой", уверен, шансов на "Букер" у нашего земляка прибавилось.

Феликс КОХРИХТ

Другие берега



Николай ЩЕРБАНЬ
Белые грозы
Одесса, Печатный дом, 2006

В Одесской государственной научной библиотеке имени М. Горького состоялась презентация нового поэтического сборника Николая Щербаня "Белые грозы", выпущенного издательством "Печатный дом". В адрес автора прозвучало немало добрых, искренних слов из уст университетских преподавателей, литературоведов, писателей, журналистов, студентов. Стихи Щербаня чисты, мудры, исповедальны, лиричны.

"От рощи светлой синью веет,
Пришел на исповедь к березам.
Они одни понять сумеют
Скупые искренние слезы".

Открывается сборник подборкой стихотворений, написанных автором на украинском языке, и это — не конъюнктурный ход, а органичный способ поэтического самовыражения, ведь, как признался сам Николай Щербань в обращении к читателям, — "українська мова — мова моєї рідної Матері. І перед російською мовою з вдячністю схиляю голову, бо саме вона відкрила переді мною двері в неосяжний світ планетраної культури". Автор включил в сборник стихотворения и на украинском, и на русском языках, поскольку они равноправные помощники в осмыслении событий его долгой и беспокойной жизни. Или, как он сам определил, два языка для него — как два берега у одной реки.

"...Біліє в травні цвітом старість,
І сумом повняться роки".

"Душу очистят и сердце омоют
Белые грозы — и станет светлей".

Характерная, яркая черта поэзии Николая Щербаня — обращение автора к явлениям и образам природы (качество, кстати, многими современными поэтами невостребованное, если не сказать — утраченное напрочь). Читая стихотворения из сборника "Белые грозы", волей-неволей проникаешься восхищением — почти детским, — вызванным у автора скромной красотой полевых цветов, буйным цветом сирени или легким дуновением ветерка. Именно они помогают ему ощутить полноту вечного и прекрасного человеческого чувства — любви, и не столь важно, взаимной или неразделенной, главное — искренней и чистой.

"Косят травы вдоль лесных посадок,
В подвечерье липы золотятся.
Аромат их непривычно сладок —
Время жить и солнечно влюбляться".

Полноправным соавтором сборника является одесский фотохудожник Леонид Сидорский: его выразительные пейзажи и этюды не просто иллюстрируют, а органично дополняют поэтическое слово, помогая читателю открыть и полюбить красоту причерноморской природы.

Виктория ФРОЛОВА

Содержание

От редакции 3

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

Елена ПОЛЕВЩИКОВА
Французские волонтеры в Измаиле: неопубликованная записка графа Ланжерона 6

Олег ГУБАРЬ
Дом Никифорова: Успенская, № 21 (Маразлиевская, № 1) 12

А.В. ГЛУШКО
Взаимоотношения академика В.П. Глушко со своими руководителями 15

Владимир КАТКЕВИЧ
Внучка Сталина и Кленов на фоне Эвереста 32

ПРОЗА

Аркадий ЛЬВОВ
Двор 45

Анатолий КОНТУШ
Прерывистые линии 69

Александр МАРДАНЬ
Меню 120

Александр ГРИНБЛАТТ
Зико 128

Ганна КОСТЕНКО
Не дивись так… 140

Валерий КУЗНЕЦОВ
Уманское утро 147

ПОЭЗИЯ

Юрий МИХАЙЛИК
"Звезда морей — из серого песчаника..." 155

Ефим ЯРОШЕВСКИЙ
Стансы времени 156

Валерий СУХАРЕВ
Литография 169

ДРАМАТУРГИЯ

Юрий БЫЧКОВ
Любить пересмешника 174

ЖИЗНЬ — ИСКУССТВО — ЖИЗНЬ

Михаил ОБУХОВСКИЙ
Французский художник — сын Одессы 205

Валентин МАКСИМЕНКО
Новый поэтический сборник и вся жизнь 213

Ласло САБО
Книга об Одессе — в Венгрии 218

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Портреты одесских художников 224

Инна КАМИНА
Интересные люди: кто они? 225

Эвелина ШАЦ
Горе от ума, или Сатурн пожирает своих сыновей.....233

Кира САПГИР
Ночь Спинозы.....241

Ольга БАРКОВСКАЯ
Журнальная графика Л. Пастернака.....245

Виталий АМУРСКИЙ
Мучительное право — любить.....250

ПУБЛИКАЦИИ

Алена ЯВОРСКАЯ
"На перекрестке Степовой мы нынче дружно заседаем…".....262

Семен КИРСАНОВ
Новый быт.....266

Пародии о ГУЛАГе.....268

Публикация Аркадия ВАЙНЕРА, Эдуарда КУЗНЕЦОВА

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна ЩУРОВА
"…И красный гимн поют свирели".....274

АХ, ОДЕССА

Борис БОРУКАЕВ
Общее Солнце….....286

Михаил ЧАБАН
Фразы моего отца.....291

Олег ГУБАРЬ
Бабушка Пастернака.....298

Михаил ЛАНДЕР
Старая трубка 301

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК
"Городок" — пятый угол! 305

ИЗДАНО В ОДЕССЕ

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Возвращение Одессы. Возвращение в Одессу 310

Феликс КОХРИХТ
От тюрьмы, от сумы и от "Букера"... 312

Виктория ФРОЛОВА
Другие берега 314

Литературно-художественное издание

ДЕРИБАСОВСКАЯ — РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Одесский альманах

Книга 29

DERIBASOVSKAYA — RISHELIEVSKAYA

Odessa almanac

Book 29

Издается с 2000 года

Технический редактор Андрей Вишненко
Корректор Татьяна Коциевская

Оригинал-макет, верстка
ТИА "Вікна-Одеса"
Тел. 77-33-705

Подписано в печать 16.06.2007.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Формат 60x84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Зак. № 2. Тираж 500 экз.

www.odessitclub.org

Отпечатано в типографии издательства "Печатный дом"

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

АЛЬМАНАХ

ОДЕССКИЙ

29

ОДЕССА, 2007

ББК 84(4Укр-4Оде-2Од)63-47я430+63.3,014(4Укр-4Оде-2Од)63я430
Д 362
УДК 821.161.2'06=161.1(477.74-21)-92(082.1)+908(477.74-21)(09)"452.2"

Д 362 Дерибасовская — Ришельевская: Одесский альманах (сб.) / кн. 29 Всемирн. клуб одесситов: Сост.: Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский, О.И. Губарь. — Одесса: "Печатный дом", 2007. — 320 с.

ISBN 966-8099-99-0

Д $\frac{4702640204}{2004}$ $\frac{0503020902}{2004}$

Редактор Феликс Кохрихт
Редколлегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора)
Олег Губарь

Редакционный совет:
Виталий Амурский (Париж), Андрей Добролюбский, Игорь Коваль, Татьяна Липтуга, Игорь Померанцев (Прага), Аркадий Львов (Нью-Йорк), Александр Мардань, Юрий Стоянов (Санкт-Петербург), Михаил Рашковецкий, Нелли Харченко (Берлин), Кармелла Цепколенко.
Фото:
Вячеслав Теняков, Иван Череватенко, Олег Владимирский.

Editor Felix Kokhrikht
Editorial board: Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
Oleg Gubar

Editorial council:
Vitaliy Amoursky (Paris), Andrey Dobrolyubskiy, Igor Koval, Tatyana Liptuga, Igor Pomerantsev (Prague), Arkadiy Lvov (New York), Alexander Mardan, Yuriy Stoyanov (St. Petersburg), Mikhail Rashkovetsky, Nelly Kharchenko (Berlin), Karmella Tsepkolenko.
Photos by:
Viacheslav Teniakov, Ivan Cherevatenko, Oleg Vladimirskiy

ISBN 966-8099-99-0
© Авторство художественных текстов, 2007

От редакции

В нынешнем году исполнилось 180 лет со дня выхода в свет романа "Евгений Онегин", начатого Пушкиным в дни одесской ссылки. Кроме прочих великих достоинств книга эта – еще и первый путеводитель по нашему городу, причем не только поэтический, но и исторический, по которому нынешние историки и краеведы изучают и топографию, и топонимику Южной Пальмиры.

Посланцы Пальмиры Северной сыграли заметную роль в становлении молодого города на берегу Черного моря. Жизнь многих петербуржцев-петроградцев-ленинградцев так или иначе связана с Одессой. Перечисление славных фамилий заняло бы несколько страниц нашего альманаха.

Недавно, в дни, когда отмечалось 100-летие великого ученого и гуманиста Дмитрия Сергеевича Лихачева, впервые были опубликованы воспоминания академика о своем одесском детстве.

Оказывается, его отец перед первой мировой войной был назначен на одну из руководящих должностей в Одесском почтово-телеграфном округе. По инициативе инженера Лихачева здесь, чуть ли не впервые в России, стали развозить почту не на лошадях, а на автомобилях, для чего был построен гараж.

Как вспоминает Дмитрий Сергеевич, "матери в Одессе сначала не понравилось, но затем она уезжала с плачем". Каким же виделся ему наш город спустя такую долгую и многотрудную жизнь? "Жизнь в Одессе, – пишет он, – была очень веселая. Ездили на яхте компаниями в Аркадию, в Малый Фонтан, в Большой Фонтан. В Одессе – замечательный оперный театр с итальянскими певцами, которым удобно было приехать на пароходе"...

"Одесса – та же Италия!" – и спустя почти век Дмитрий Сергеевич верен своим детским впечатлениям и продолжает: "Поэтому опера в Одессе была замечательная, очень хорошая. Ну и народ веселый был. Это вообще была средиземноморская культура".

Удивительно, как точно и образно замечательный мыслитель, истинный демократ, пострадавший за свои убеждения во времена сталинского террора, определил важнейшую составляющую самобытности и самодостаточности нашего многонационального и мультикультурного города.

Лихачев вспоминает свой диалог со знаменитым ученым сэром Исайей Берлиным – другом Анны Ахматовой, родившейся на Большом Фонтане. Дмитрий Сергеевич подчеркнул, что "одесская культура располагает к уличной жизни с многочисленными кафе, к общению, к легкости знакомств".

Завершим эти заметки выводом, который делает академик Лихачев, исходя из воспоминаний одесского детства и опыта огромной жизни, протекавшей в Санкт-Петербурге: "Юмор и игра позволяют народам сблизиться, лучше понимать друг друга".

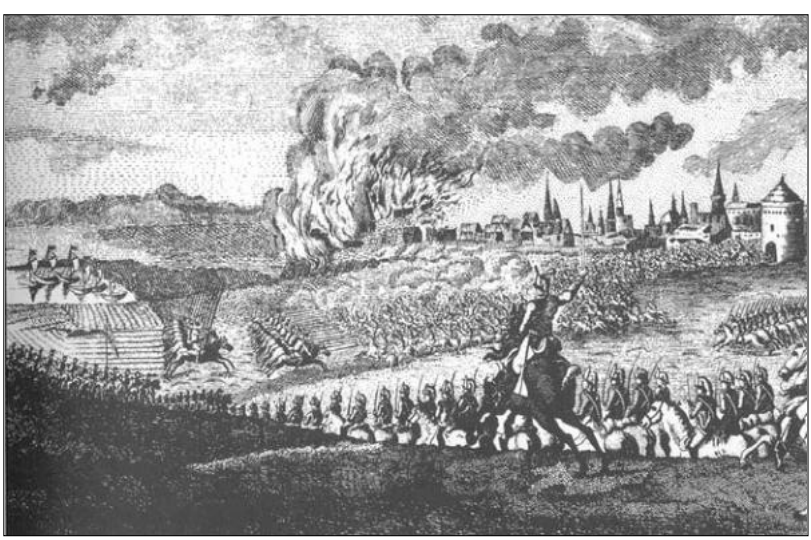
Мы уверены, что с Дмитрием Сергеевичем согласны и читатели нашего альманаха, и все граждане Пальмир, как Южной, так и Северной.

Елена ПОЛЕВЩИКОВА

Французские волонтеры в Измаиле: неопубликованная записка графа Ланжерона

Описывая в поэме "Дон Жуан" события, происходившие в конце 1790 года под Измаилом, лорд Байрон сначала демонстративно не желал называть французов среди иностранцев – участников штурма турецкой крепости, хотя и не отрицал факт их присутствия как таковой: "Там были и веселые французы, / Но я – неукротимый патриот: / В столь славный день моя британка-муза / Зазорных их имен не назовет!". (Зато он с удовольствием перечислил "Джеки, Билли, Вилли, Джили..." – "пятнадцать Томсонов и двадцать Смитов!".) Об этом ярком эпизоде русско-турецкой войны английскому поэту было известно из "Истории Новороссии" Г. Кастельно, чему были посвящены следующие строфы, не лишенные сарказма: "Когда бы нам (историк говорит) / Деянья русских описать досталось бы, / Тома б наполнить мог любой пиит – / И многое несказанным осталось бы!" / А потому о русских он молчит / И воздает хвалы (смешно, казалось бы!) / Десятку чужеземцев: Ланжерон, / Дама, де Линь – вот русской славы звон!". Вот об этом "десятке чужеземцев" и пойдет речь.

В конце XVIII века участие в военных действиях против Порты стало для европейцев делом чести. Тон задавали такие блестящие представители эпохи, как принц де Линь, адмирал Нассау-Зиген. Приключение графа Роже де Дама, буквально помчавшегося в Рос-



сию воевать с турками в русской армии в очаковскую кампанию, было вдохновляющим примером для молодых французских дворян.

При этом подобное поведение совершенно не соответствовало официальным установкам французской дипломатии: в ходе русско-турецкого противоборства за господство в Северном Причерноморье Франция поддерживала Османскую империю. Строительством и укреплением ряда турецких крепостей руководили находившиеся на службе Порты французские инженеры. Самым известным из них был Лафитт-Клаве (автор одного из планов Хаджибея), возглавивший работу инженерной миссии по перестройке турецких крепостей Очаков и Измаил.

Одновременно с этим в русскую армию поступают французские офицеры и, как точно подметил исследователь, "мы присутствуем при странном зрелище, как французские инженеры, посланные правительством, помогают туркам укреплять и вооружать их крепости в то самое время, как французские добровольцы в русских войсках готовятся эти же крепости штурмовать".[1]

Начавшаяся революция во Франции усилила приток в русскую армию волонтеров, движимых не только благородными порывами. По признанию Ланжерона, поступившего на русскую службу весной 1790 года, среди них было немало "жалких авантюристов", приехавших в Россию в поисках чинов и высоких покровителей, которых можно одурачить. Неудивительно, что и в армии, и при дворе с таким недоверием отнеслись к Роже де Дама, Ришелье и самому Ланжерону, готовых рисковать жизнью "ради одного лишь страстного желания отличиться".[2] Едва узнав о предстоящем штурме крепости Измаил, Ланжерон и Ришелье (тогда еще герцог Фронсак) вместе с сыном принца де Линя Шарлем немедленно отправились в армию Потемкина. Эта история хорошо известна. Покинув Вену, они "пустились в путь в плохих открытых почтовых каретах и мчались днем и ночью в пасмурную, холодную и дождливую осеннюю погоду, за 9 дней они добрались до Бендер, где тогда находился князь Потемкин".

Впечатления Ришелье от первой встречи со "светлейшим" отражены в его "Дневнике путешествия в Германию, начатом 2 сентября 1790 года". Арман Эммануэль был поражен увиденным: "Князь Потемкин занимал в Бендерах дом паши. Мы вошли через портик и зал, заполненный офицерами всех званий, которые допускались к нему лишь в определенные часы. Нас тотчас же представили. Десять дней и десять ночей путешествия, страшная усталость, пустынная и непросвещенная страна, — [все это] не подготовило меня к зрелищу, которое бросилось мне в глаза, когда я вошел в салон князя: диван из золотистой ткани под роскошным балдахином, пять прелестных женщин, убранных со всем вкусом и изысканностью, какие только возможны; шестая, одетая со всем великолепием греческо-

[1] Миллер К. Французская эмиграция и Россия в царствование Екатерины II. Париж, 1931, с. 281.

[2] Архив министерства иностранных дел Франции (AMAE). Mémoires et documents. Russie. Vol. 20. F. 235.

го костюма, возлегала на диванных подушках на восточный манер. Князь Потемкин сидел один подле нее. Он был одет в разновидность весьма длинной шубы, довольно похожей на халат; это его излюбленная одежда, и зачастую кроме нее на нем ничего нет, и в таком случае он может быть почти обнаженным. Пятьдесят офицеров всех званий стояли в глубине зала, освещенного огромным количеством свечей. Таково было зрелище, подробности которого я заметил, когда мои глаза, ослепленные всем, что их поразило, смогли постепенно распознать все, что окружало меня".[3]

10 и 11 ноября, находясь в Яссах, Ришелье и Ланжерон написали письма князю с просьбой позволить им присоединиться к русской армии, расположившейся под Измаилом.[4]

Среди участников знаменитого штурма в декабре 1790 г. они нашли как своих соотечественников, так и выходцев из других стран (самые громкие имена напрямую связаны с основанием Одессы – де Рибас, де Волан; назовем здесь и кавалера де Россе (Росетти?), впоследствии – инспектора карантина одесского порта, близкого друга Ришелье). В рапортах князя Потемкина и адмирала де Рибаса о взятии Измаила несколько раз упоминаются граф Дама, принц де Линь, герцог Фронсак, "который сражался с отличною храбростию, устремляясь повсюду, где только предстояла опасность". Выделяют и "королевской французской службы полковника графа Ланжерона, оказавшего отменную неустрашимость в атаке неприятеля".

Награждая Ришелье орденом св. Георгия 4-й степени и шпагой с надписью "За доблесть", императрица писала в собственноручном черновом рескрипте на имя герцога: "Вы разделили опасности и усилия столь храбрых и выдающихся воинов".

Французские волонтеры покинули Измаил с ощущением исключительности приобретенного ими опыта – и военного, и человеческого. Они были свидетелями настоящей бойни (приказ Суворова был "взять Измаил любой ценой"), героизма солдат и офицеров, но и мелочной зависти генералов русской армии к успехам друг друга, и интриг при "дворе" Потемкина.

Мемуары Дама, Ришелье, Ланжерона содержат как хорошо известные сведения о самом штурме (эта кампания давно и подробно изучена), так и любопытные "живые" детали о настроениях и поведении его участников. Накануне они вместе ужинали, играли в карты и проболтали всю ночь, наговорив немало глупостей. Сотрапезников было 11 человек; было хладнокровно подсчитано, что каждый третий из них погибнет, и даже бросили жребий, чтобы узнать имена четверых несчастных. Однако все участники застолья остались живыми и почти не пострадали (лишь трое были легко ранены). Впрочем, повезло далеко не всем: французскому волонтеру некоему Буамилону, очевидно, не приглашенному на ужин, оторвало ядром голову. "Прискорбно, что этот триумф стоил такой крови и что он был осквернен беспримерной в истории резней..." – сокрушался Ришелье в своем

[3]Сборник русского исторического общества. СПб., 1887, т. 54, с. 147-148.

[4]См. Записки Одесского Общества истории и древностей. Т. 9, с. 237-238.

"Дневнике". Детали, врезавшиеся в память и приведенные в воспоминаниях, куда красноречивей статистики потерь. Вспоминая, как после штурма они шли по щиколотку в кровавой грязи, Ланжерон уверял, что эта жутковатая краска навсегда осталась на его шелковых чулках, безукоризненно белых еще утром того памятного дня.[5]

Штурм Измаила занимает особое место в послужном списке Ланжерона, принявшего участие, по его собственным подсчетам, в девяти войнах, двадцати двух битвах, тридцати пяти боях, двадцати шести стычках, двух штурмах, пятнадцати осадах и восьми вылазках. На протяжении жизни он неоднократно обращался к памятным событиям конца 1790 года. Воспоминания эти опубликованы лишь частично.

Ланжерон сначала присоединился к своим товарищам в Вене, затем, навестив родственников в Экс-ла-Шапель, направился в Петербург. Очевидно, что как раз тогда, спустя два с половиной месяца после описываемых событий, и была написана приведенная ниже записка. К сожалению, нам неизвестно, кому именно предназначался этот документ, хранящийся в Национальном архиве Франции в бумагах семьи графа. Можно предположить, что это фрагмент письма Ланжерона к их общему с Ришелье другу и корреспонденту – графу А.К. Разумовскому, с которым они могли познакомиться в Вене в том же 1790 году, кем-то переписанный специально для рассказа об измаильских событиях.

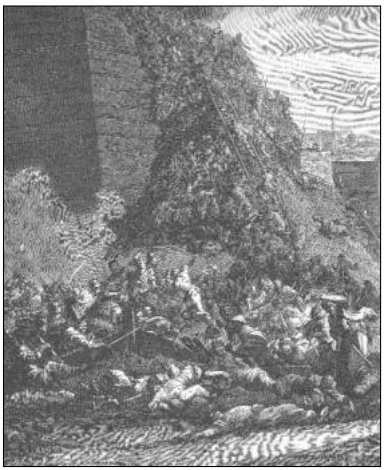
Записка о штурме и взятии Измаила русскими 21 декабря 1790 года г-на Ланжерона, французского офицера, волонтера русской армии

Я обещал вам [сообщить] детали ужасного события, недавно произошедшего здесь, хотя мне вовсе не хочется описывать его; однако сведения, которые я вам передам, представляют такой интерес и значение для государства, которому я служу, что с удовольствием отправляю их вам, вовсе не считая, что поступаю нескромно.

Штурм, предпринятый в Измаиле, — кровавое событие, превосходящее даже штурм Очакова.

Измаил находится на левом берегу Дуная, в тридцати лье от Черного моря. Весьма высокий (и) крутой берег [этот] лишь слегка покрыт глиной, но чрезвычайно прочен, он обнесен частоколом; перед ним вырыт глубокий ров. Со стороны реки он (берег) оставался совершенно незащищен-

[5] См. Damas, comte Roger de, Mémoires. 2 vol. Paris, 1912-1914; AMAE Mémoires et documents. Russie. Vol. 20; Сборник русского исторического общества, т. 54. См. также Pingaud L. Les Français en Russie et les Russes en France, 1700-1900, Paris, 1886.



ным; сознавая важность этой крепости, турки послали сюда сераскера[1], трех пашей, трех султанов из Крымских ханов, семнадцать тысяч янычар, от двенадцати до тринадцати тысяч турок и триста восемьдесят орудий.

1 декабря 1790 года флотилия приблизилась к городу и обстреляла его со стороны реки, три корпуса наземных войск собрались и окружили город; в целом они составляли двадцать пять тысяч регулярных войск и от десяти до двенадцати тысяч козаков: 10-го принять командование армией прибыл генерал Суворов. На другой стороне реки на расстоянии ста и ста двадцати туазов[2] от крепости было построено восемь батарей и в ста туазах от суши — еще четыре. Эти работы закончились лишь 20-го, а турки соорудили вдоль реки укрепление, оснащенное пятьюдесятью четырьмя орудиями. Батареи флотилии начали обстрел 20-го в восемь часов утра: канонада продолжалась двадцать один час, а штурм начался 21-го в шесть часов утра. С помощью лестниц и фашин со стороны суши поднялись четыре колонны, каждая из пяти батальонов и одна колонна из четырех тысяч козаков. Со стороны реки мы высадили десять батальонов и три тысячи козаков. Турки ждали нас, и каждая колонна была обстреляна картечью, ружьями, гранатами, пистолетами и т. д. Несмотря на эти препятствия, штурм состоялся, и с появлением [русских войск] на крепостной стене огонь прекратился. Наши солдаты пиками и штыками атаковали турок, которые были вооружены саблями и кинжалами. Этот бой продолжался пять часов: турки были изгнаны с крепостных стен; они забаррикадировались на улицах, и каждый дом был осажден. Наконец в полдень четыреста турок (оставшихся из тридцати тысяч, защищавших город) сложили оружие, и бой прекратился. Последовавший страшный грабеж закончился лишь на следующий день. Почти во всех колоннах мы потеряли треть убитыми и ранеными, а в одной — две трети. На двадцать три тысячи участников штурма приходилось от шести до семи тысяч жертв, в том числе [погибли] три

[1]Сераскер — заместитель великого везира, руководивший войсками в Османской империи.

[2]Старинная французская мера длины, равная шести футам (около двух метров).

генерал-майора, один бригадир, шесть полковников, более сорока подполковников или майоров и двести-триста [младших] офицеров.



Я был занят в корпусе генерала Арсеньева, взобравшегося на кавальер[3], на более чем сорок футов возвышавшийся над водой, на котором было установлено двадцать две пушки. Пять батальонов, которые составляли эту колонну, предприняли пять атак (приступов) и один самостоятельный маневр. Я попросился следовать за графом Роже де Дама, командовавшим пятьюстами сорока стрелками и десятью офицерами: из них мы потеряли семерых и [кроме того] сто восемьдесят семь солдат. Добравшись до вершины парапета с большим трудом, потому что было очень сыро и скользко (что вынудило нас опираться на штыки солдат, увязших в земле), я имел несчастие быть сброшенным вниз на более чем тридцать футов находившимся впереди меня поскользнувшимся стрелком. Я отделался легким вывихом, от которого страдал совсем недолго. Во Франции граф Дама младше меня по званию, а в России старше. Однако я был рад служить под началом столь достойного младшего (по званию). Фронсак (граф де Шинон, внук покойного г-на маршала Ришелье) продемонстрировал чудеса храбрости в колонне под началом принца Шарля де Линя. Последний ранен в бедро. Князь Гессенский, волонтер, получил сквозное ранение, а одежда г-на де Фронсака дважды задета пулей. Обеспечив русским столько преимуществ для последующей кампании, взятие Измаила вынудит турок заключить мир. Потребовалось несколько дней, чтобы убрать трупы, которыми были заполнены рвы, земляные валы, улицы и большие площади. Не могло быть и речи о том, чтобы спасать раненых, почти все были безжалостно добиты. Были пленные, которые при виде этой жуткой бойни умерли от страха. Quo usque tandem?..[4]

Принц де Линь и г-н де Фронсак отправились сообщить эту новость в Вену.

Филиппвилль, 7 марта 1791 года в 9 часов вечера

[3] Земляная насыпь для установки орудия.

[4] До каких же пор, наконец? (пер. с лат. яз.). Слова Цицерона из речей против Катилины, выражающие гневное нетерпение.

Олег ГУБАРЬ

Дом Никифорова: Успенская, № 21 (Маразлиевская, № 1)

Продолжаем серию публикаций, посвященных традициям градостроительства, архитектуры, риэлторства Одессы и связанным с ним общественным бытом. Неизменный спонсор этой рубрики, агентство недвижимости "Капитал", уже 11-й год плодотворно работает на отечественном рынке недвижимости. Настоящее публикация посвящена удачно реставрированному старому зданию, находящемуся поблизости от Всемирного клуба одесситов.



Сверяясь с реестром объектов культурного наследия Одессы, порой не можешь удержаться от вопроса, по каким принципам он составлялся. Во всяком случае, то и дело удивляешься, почему одним произведениям известных зодчих отдано предпочтение перед другими — вполне равноценными, а то и превосходящими охраняемые памятники по ряду характеристик. Полагаю, многие здания и сооружения остались вне поля зрения составителей означенного перечня по двум простым причинам. Во-первых, они пребывали в довольно-таки сером, убогом, неприглядном виде на момент формирования этого документа, а во-вторых, об этих объектах просто-напросто не нашлось нужной сопроводительной информации, требовавшей дополнительных изысканий. Теперь, когда отдельные из этих неприметных доселе домов превосходно отреставрированы нынешними владельцами, когда они обрели достойный вид, рельефно демонстрирующий их значимость, вероятно, должен быть пересмотрен и их статус, и они должны быть взяты под охрану. Такова, в частности, и судьба далеко не масштабного, однако камерно изысканного, поистине пряничного одноэтажного особняка по улице Успенской, № 21.

Удаленное от раннего исторического центра, это место продолжительное время застраивалось менее плотно. Так, на плане архитектора Г.И. Торичелли 1828 года этот угол Успенской и будущей Новой (Маразлиевской) улицы вообще не застроен. Лишь на месте дома № 23 мы видим небольшой флигель по красной линии Успенской. В принципе, улица Новая фигурирует на планах города, по крайней мере, со второй четверти позапрошлого столетия, однако активная ее застройка началась только



в 1860-е годы, и особенно с 1875-го, после официального основания Александровского парка. Постепенно здесь складывался район элитарных особняков. Одним из них и стал дом Никифорова, возведенный в том же 1875 году на углу Успенской и Новой улиц. Спроектирован и построен он не каким-нибудь второстепенным архитектором, а знаменитым Леоном Леоновичем Влодеком — строителем "Большой Московской", "Пассажа", дома Фальц-Фейнов, цирка Санценбахера и многих других выдающихся памятников градостроительства. О нем я уже рассказывал в предыдущих очерках, опубликованных в нашем альманахе, а вот о домовладельце Никифорове, его соседях и преемниках сказать, конечно, надо.

Антон Константинович Никифоров — один из видных и заслуженных юристов Одессы третьей четверти XIX века. Получив университетское образование, он много лет служил участковым мировым судьей, каковая служба требовала огромной самоотдачи, была связана с тяжелыми нравственными страданиями. Начинал он секретарем Одесского окружного суда в чине губернского секретаря. В конце 1870-х был уже мировым судьей в 15-м участке, на Тираспольской улице, где его клиентами зачастую становились "погибшие, но милые создания", содержательницы близлежащих домов терпимости, разного рода мазурики и маклаки. В конце 1870-х — первой половине 1880-х он имел скромный (пушкинский!) чин коллежского секретаря, в 1883-м возглавил 12-й мировой участок, "камеру" которого и разместил в собственном особняке, носившем в ту пору № 17. Там он жил и там принимал "клиентов".

Соседями его были лица весьма интересные, хорошо представляющие пестрый и пряный лик города: наследники генерала Гофмана, греческие негоцианты Парпутти, итальянец Мокко (о родоначальнике этого семейства, карантинном боцмане Луиджи Мокко, напишу как-нибудь отдельно), крупнейшие предприниматели итальянского же происхождения Анатра, еврейское семейство Двойрих и русское — Ивановых. Много лет добросовестно служа городу, А.К. Никифоров заработал авторитет, сделался статским советником, казначеем и членом комитета (директором) Одесского городского кредитного общества. В самом конце 1890-х он был уже почет-

ным мировым судьей, оставаясь казначеем означенного общества. В это самое время дом его перешел во владение представительницы известной фамилии одесских купцов-старожилов Посилиных (Посылиных), много лет владевших угловым домом на пересечении Ришельевской и Дерибасовской, где ныне Государственный банк.



До середины 1900-х дом, носивший нумерацию сначала 17, затем 17Б (1897 г.), далее 19 (1898 г.) и, наконец, 21 (1904 г.), числится уже (1905 г.) за некими Жибурт-Жибуртовичами. Знакомясь с данными об этих последних, поначалу никак не мог взять в толк, откуда у них могли появиться средства на покупку столь престижной недвижимости в элитарном районе. В самом деле, "не имеющий чина Юлиан Каэтанович (Константинович) Жибуртович (Жабуртович)" служил в это время скромным секретарем Херсонского губернского акцизного управления. Даже заподозрил его в мздоимстве, но на поверку все оказалось куда проще и как бы законнее.

Суть дела открылась мне, когда нашел в списке одного из местных комитетов (Монастырского) Общества для помощи бедным города Одессы, состоящего под высочайшим покровительством ее императорского величества государыни императрицы Марии Федоровны, соседствующие фамилии товарища (заместителя) председательницы — Елены Николаевны Посылиной и секретаря того же подразделения — Юлиана Константиновича Жабуртовича. Короче говоря, бедный дворянин выгодно женился. Правда, и после женитьбы дом все-таки числился за его дальновидной купеческой половиной Еленой Николаевной, сменившей суконную девичью фамилию на громогласную Жибурт-Жибуртович. Как ныне говорят, круто.

Так или иначе, а недавно отреставрированный особняк, несмотря на отсутствие помпезного декора, простоту и камерность, украшает собой как Успенскую, так и Маразлиевскую улицы. Лишний раз можем убедиться в том, что у талантливого и добросовестного Л.Л. Влодека "проходных работ", "халтурок" не бывало. И еще: при должном отношении практически любое старое здание исторического центра может засверкать прежними красками, формируя присущую только Одессе градостроительную гармонию. Гармонию, каковая нынче безвозвратно улетучивается.

Специалист по истории советской пилотируемой космонавтики, биограф авторов "катюши" И.Т. Клейменова и Г.Э. Лангемака полковник ФСК А.В. ГЛУШКО

Взаимоотношения академика В.П. Глушко со своими руководителями*

...5 мая 1955 г. его вызвали в МГБ для дачи показаний по делу И.Т. Клейменова и Г.Э. Лангемака. В этот момент у В.П. Глушко появилась возможность сделать что-то уже лично для своих товарищей, и он охотно дает показания, направленные в защиту их добрых имен... Понимая это, Валентин Петрович рассказывает следователю прокуратуры Расторгуеву все, что было необходимо для опровержения вымыслов, подписанных и И.Т. Клейменовым и Г.Э. Лангемаком на следствии...

"*...К приходу в лабораторию Клейменова в ней было три отделения: одно отделение возглавлял я, второе Лангемак и третье — Дудаков...*

Нужно отметить, что до прихода Клейменова лаборатория была очень бедной организацией. Средств нам отпускалось очень мало...

Когда к нам на должность начальника Ленинградской гидродинамической[34] *лаборатории прибыл Клейменов, он в нашу работу внес новую, как говорится, струю. Кроме того, что он был инженером и понимал дело, он еще имел хорошие организаторские способности. Сразу же он добился выделения для нашей лаборатории помещения и мастерских, а также увеличения средств на конструкторскую работу.*

...Я хочу подчеркнуть, что благодаря инициативе Клейменова научно-исследовательская работа в области реактивного дела была поставлена на хорошую производственную основу, и у нас собственно организация стала настоящей...

Теперь по существу показаний Лангемака о его, как написано в обзорной справке, вредительской деятельности.

Лангемак — это талантливый инженер...

...88 мм и 132 мм реактивные снаряды разрабатывались Лангемаком вместе с подчиненными ему работниками. Автором этих снарядов являлся по существу Лангемак... ...Какое применение эти снаряды нашли в Отечественной войне и какие показали результаты, мы об этом знаем из истории Отечественной войны, и мне кажется, Лангемак за это должен быть помянут хорошим словом — это его заслуга, что он своим трудом обогатил артиллерийскую науку...

Клейменов как руководитель института не тормозил разработку

* Окончание. Начало в кн. 28.

этих снарядов, а наоборот, способствовал успешной работе по их созданию. Так что, показания Лангемака в этой части от начала до конца являются вымышленными...

...Не соответствуют действительности показания Лангемака и в отношении меня. Я никогда не занимался разработкой кислородных двигателей, а работал всегда над азотными двигателями. Так что, эти показания Лангемака были, видимо, вынужденными. Он, конечно, прекрасно знал, чем я занимался, и перепутать он никак не мог. Он у нас был научным руководителем института в целом...

...Я хочу сказать, что ни Клейменов, ни Лангемак, ни кто другой не занимался затягиванием лабораторных и полигонных работ во вредительских целях...

Клейменова я знаю как инициативного и энергичного руководителя, как ценного работника и преданного советской родине человека..."[35]

29 сентября 1956 г. В.П. Глушко был реабилитирован. Понимая, что у него есть возможность помочь семьям расстрелянных товарищей, он помогает им вернуться в Москву и получить сначала комнаты, а затем и квартиры. В этих квартирах их вдовы и дочери жили до конца своих дней... Л.Е. Стернину М.К. Левицкая рассказывала о получении дочерью Ириной квартиры на Бауманской улице — благодаря многократным ходатайствам В.П. Глушко.

В начале 1960-х гг. начался бум... Прошла реабилитация, в космос слетал Ю.А. Гагарин, и средства массовой информации обратились к именам тех, кто стоял у истоков советской космонавтики. Правда, имена академиков В.П. Глушко и С.П. Королева были тогда засекречены, но "общественность требовала" назвать имена! И тогда пришел час для умерших и безвинно расстрелянных...

Следом за статьями профессиональных журналистов и историков, рассказывающих об истории ГДЛ и РНИИ, появились статьи профессора Г.В. Петровича (псевдоним академика В.П. Глушко), в которых ученый рассказывал о тех, с кем он работал в 1930-х гг. Он начал возвращать их имена... Кроме этих публикаций ученым был выпущен научно-популярный труд "Развитие ракетостроения и космонавтики в СССР", а также энциклопедия "Космонавтика", в которых приводилась информация о вкладе этих людей в создание первых образцов ракетной техники.

В середине 1960-х гг., когда начали давать имена кратерам на обратной стороне Луны, Валентин Петрович смог добиться, чтобы двум кратерным цепочкам были присвоены наименования ГДЛ и РНИИ, а четырем крате-

рам — имена их четырех руководителей: Н.И. Тихомирова, Б.С. Петропавловского, И.Т. Клейменова и Г.Э. Лангемака. Имя Н.Я. Ильина еще одному кратеру было присвоено несколько позже.

В своей организации — ОКБ-456 — В.П. Глушко создал целую группу, которая работала в разных архивах и занималась поисками документов о деятельности Газодинамической лаборатории и Реактивного НИИ. Сотрудниками этой группы, ставшей впоследствии отделом, было найдено большое количество документов, но далеко не все...

Предпринимались попытки и по увековечению их памяти на планете Земля. Так, 13 ноября 1968 г. академиком В.П. Глушко было подписано два письма.

Первое — в адрес председателя исполкома Мосгорсовета В.Ф. Промыслова: "*...Наше предприятие полностью поддерживает решение торжественного заседания Института истории естествознания и техники АН СССР и присоединяется к изложенной просьбе: "Просить исполком Мосгорсовета (тов. Промыслова В.Ф.) назвать именами ЛАНГЕМАКА и КЛЕЙМЕНОВА новые улицы в г. Москве и установить мемориальные доски на Донской ул. на доме № 14, где в кв. 19 с 1933*[36] *по 1937 гг. проживал Г.Э. ЛАНГЕМАК, и на ул. Серафимовича на доме № 2, где в кв. 475 с 1932*[36] *по 1937 гг. проживал И.Т .КЛЕЙМЕНОВ*".[37]

Второе — председателю исполкома Ленгорсовета А.А. Сизову: "*...Наше предприятие полностью поддерживает решение торжественного заседания Института истории естествознания и техники АН СССР и присоединяется к изложенной просьбе: "Просить исполком Ленгорсовета (тов. Силова А.А.) назвать именами ПЕТРОПАВЛОВСКОГО, ЛАНГЕМАКА и КЛЕЙМЕНОВА новые улицы в г. Ленинграде и установить мемориальные доски на ул. Миллионной (Халтурина) на доме № 19, где с 1930 по 1933 гг. проживал Б.С. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, а в 1932-1933 гг. проживал И.Т. КЛЕЙМЕНОВ, и на улице Кирочной на доме № 5, где в кв. 12 с 1930*[38] *по 1933 гг. проживал Г.Э. ЛАНГЕМАК*".[39]

Ответов на эти ходатайства в архиве не обнаружено. Вероятнее всего, московские и ленинградские власти не посчитали важными эти предложения ветеранов-ракетчиков, подкрепленные письмами академика В.П. Глушко. Эти предложения, к сожалению, до сих пор не реализованы.

К 40-летию ГДЛ по инициативе В.П. Глушко было решено привести в порядок могилу Н.И. Тихомирова, захороненного в 1930 г. на Ваганьковском кладбище г. Москвы. Однако в процессе поисков выяснилось, что книга, в которой была сделана запись о месте нахождения могилы, сгоре-

ла вместе с конторой, когда во время Великой Отечественной войны в нее попала немецкая бомба. Найти же могилу путем прочесывания территории кладбища не представлялось возможным из-за огромной территории.

Поэтому решили установить символический памятник конструктору. В связи с этим 19 декабря 1968 г. В.П. Глушко направил письмо в адрес управляющего Московским городским трестом похоронного обслуживания Д.И. Попова: "*В апреле 1930 года на Ваганьковском кладбище в гор. Москве похоронен видный ученый в области ракетной техники ТИХОМИРОВ Николай Иванович. В данное время установить местонахождение его могилы не представилось возможным за давностью времени и отсутствием архивных учетных книг.*

Прошу Вас дать указание подобрать наиболее удобный участок на Ваганьковском кладбище для сооружения символического памятника видному ученому в области ракетостроения ТИХОМИРОВУ Н.И..."[40]

Была получена положительная резолюция, изготовлен памятник, и в 1971 г. на Ваганьковском кладбище состоялось его открытие. А затем, через год, памятник был осквернен: от него отломали латунную ракету...



Памятник Н.И. Тихомирову, установленный академиком В.П. Глушко на Ваганьковском кладбище (после кражи ракеты) Фото А.В. Глушко

17 июня 1972 г. В.П. Глушко пишет письмо в адрес начальника 11 отделения милиции Москвы подполковника милиции М.А. Сафонова: "*В конце 1971 года на участке № 5 Ваганьковского кладбища установлен памятник из черного гранита бывшему начальнику Газодинамической лаборатории, основоположнику разработки советских ракетных снарядов "катюш" ТИХОМИРОВУ Н.И. К стеле памятника на металлических штырях была прикреплена ракета из латуни (см. фотографию), которая в мае-июне 1972 года была оборвана и похищена.*

Прошу Вас принять необходимые меры розыска преступника, совершившего облом ракеты на памятнике ТИХОМИРОВА Н.И., для привлечения его к ответственности.

О принятых Вами мерах прошу уведомить меня..."[41]

Продолжение переписки отсутствует, как и украденная ракета. Видимо, милиция и не думала искать человека, оторвавшего ракету и сдавшего ее в приемный пункт металлолома.

В январе 1983 г. старшая дочь Г.Э. Лангемака Анна Георгиевна очень тяжело заболела и захотела переехать в Павлодар, к своей младшей сестре Майе. За помощью она обратилась, опять же, к академику В.П. Глушко, который написал следующее письмо:

"*Секретарю Павлодарского горкома*
Коммунистической партии Казахстана
тов. НИКИФОРОВУ Г.А.
Председателю исполкома
Павлодарского городского совета
народных депутатов
тов. ДЖАЗИНУ А.Н.

Прошу Вас оказать содействие в решении жилищного вопроса А.Г. Лангемак — дочери известного советского ученого, одного из пионеров советской ракетной техники Г.Э. Лангемака...

В настоящее время дочь ученого Анна Георгиевна Лангемак нуждается по заключению врачей в постоянном уходе после перенесенной тяжелой операции. В связи с этим она договорилась об обмене двухкомнатной квартиры в г. Москве на двухкомнатную[42] *квартиру в г. Павлодаре (по ул. 1 Мая, д. 32, кв. 23), в котором живут ее близкие родственники (сестра и племянник с семьями). Прошу Вас оказать содействие А.Г. Лангемак в обмене двухкомнатной квартиры на трехкомнатную*[42] *в г. Павлодаре, с тем чтобы вместе с ней могла поселиться семья племянника, которая возьмет на себя заботу о А.Г. Лангемак...*"[43]

Обмен удалось провести, А.Г. Лангемак в тяжелом состоянии была доставлена самолетом в Павлодар, где ее встретил муж ее младшей сестры Г.И. Белянин и доставил в больницу. Через несколько дней она умерла...

В 1982 г. в один из осенних вечеров, отвечая на мои многочисленные просьбы рассказать что-нибудь о своем прошлом, В.П. Глушко рассказывает о Б.С. Петропавловском, И.Т. Клейменове и Г.Э. Лангемаке... В общем, ничего особенного в этом рассказе не было... Жили такие люди, делали снаряды... Но что-то не то творилось с ученым, когда он произносил фамилию "ЛАНГЕМАК"... Его голос, он как-то очень сильно дрожал... срывался... ему было трудно о нем говорить... больно...

Десятилетний мальчик не обратит на это внимание, но эти имена запали мне в душу. Я тут же попросил его познакомить меня с ними. На что

ученый ответил: "Познакомлю я тебя с ними... Они спросят о том, как ты учишься, а я что, краснеть из-за тебя буду?".

Через полгода из троечника я превратился в отличника и снова подошел к нему с этой просьбой. В этот момент он понял, что зря так поступил, и признался, что Б.С. Петропавловский давно умер, а И.Т. Клейменов и Г.Э. Лангемак были расстреляны по приказу И.В. Сталина... С тех пор и на всю жизнь определилось мое негативное отношение к И.В. Сталину (то, что мой отец тоже сидел, я узнал на несколько лет позже), а И.Т. Клейменов, Г.Э. Лангемак и остальные стали частью моей жизни...

Но что мог сделать десятилетний мальчишка, каждый раз требовавший все новых и новых рассказов о Г.Э. Лангемаке?.. Мальчишка, для которого существовало только три бога: его собственный отец, М.Н. Тухачевский и Г.Э. Лангемак. Со временем Г.Э. Лангемак превратился во второго после собственного отца близкого человека. Однако уважение к М.Н. Тухачевскому (опять же, благодаря рассказам отца) осталось. Все же остальные рассматривались мною как ближайшее окружение Г.Э. Лангемака, без которого не было бы этого "бога"...

В этот же период времени, т. е. в 1980-х гг., была проведена обширная переписка по установке доски на доме № 90/92 по Невскому проспекту в г. Ленинграде, где в 1924-1930 гг. жил Н.И. Тихомиров, а также сделана попытка установить доску в Москве.

13 октября 1983 г. В.П. Глушко пишет письмо Председателю Государственного комитета по делам строительства УССР Г.К. Злобину:

"*Прошу Вас в виде исключения рассмотреть и положительно решить вопрос изготовления двух мемориальных досок из белого мрамора размером 500 мм х 1000 мм при толщине 50 мм, которые будут установлены на домах в Москве и Ленинграде, где жил и работал Николай Иванович Тихомиров, основоположник разработки ракетных снарядов, широко и с огромным эффектом использованных в 1941-45 гг. на фронтах Отечественной войны в мобильной ракетной установке, прозванной "катюшей".*

На мемориальных досках выполнить надпись с покрытием букв сусальным золотом.

Оплату гарантируем, наш расчетный счет № 263608 в Калининградском отделении Госбанка..."[44]

Первоначально текст на доске для Ленинграда должен был быть следующим: "*В этом доме в 1926-1930 гг.*[45] *жил и работал Николай Иванович Тихомиров — выдающийся ученый, основатель Газодинамической лаборатории — первой в СССР организации по разработке ракетной техники.*

В период 1941-1945 гг. на фронтах Отечественной войны его снаряды широко использованы в мобильной ракетной установке, прозванной в народе "катюшей".

5 декабря 1983 г. председатель Комитета советского национального объединения истории и философии естествознания и техники АН СССР академик Б.М. Кедров и председатель комиссии АН СССР по разработке научного наследия пионеров освоения космического пространства член-корреспондент АН СССР Б.В. Раушенбах подписали письмо в адрес того же Г.К. Злобина (копия — В.П. Глушко), в котором приводятся несколько иные тексты для мемориальных досок: "*В этом доме в 1909-1925*[46] *гг.* (для Ленинграда — *в 1926-1930*[46] *гг.*) *жил и работал Николай Иванович Тихомиров — основоположник разработки ракетных снарядов, широко применявшихся в годы Великой Отечественной войны в гвардейских минометах "катюша", основатель Газодинамической лаборатории — первой в СССР научно-исследовательской и опытно-конструкторской организации по ракетной технике...*"[47]

11 марта 1984 г. В.П. Глушко отправляет письмо в адрес вице-президента АН СССР академика П.Н. Федосеева:

"*Согласно нашей договоренности мною пересмотрен текст на мемориальных досках видного советского ученого в области ракетной техники Тихомирова Николая Ивановича для г. Москвы и Ленинграда и сокращен: "В этом доме в 1909-1925*[48] *гг. жил и работал Николай Иванович Тихомиров — выдающийся ученый, основатель Газодинамической лаборатории — первой в СССР организации по разработке ракетной техники".*

Прошу Вас рассмотреть новый вариант сокращенного мною текста и утвердить..."[49]

Таким образом, этот текст стал окончательным. Что касается Ленинграда, то там были другие даты: вместо 1909-1925, было написано "1926-1930", в остальном текст был тот же.

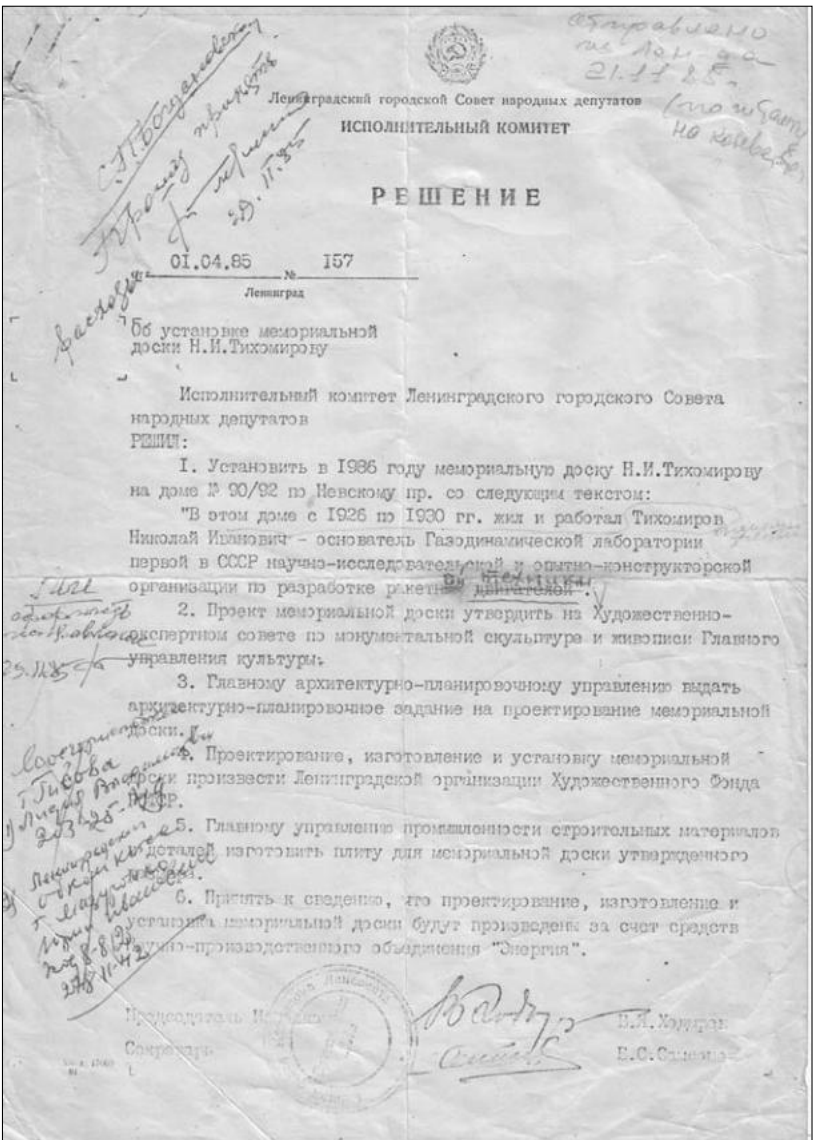
1 апреля 1985 г. вышло Решение исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов "Об установке мемориальной доски Н.И. Тихомирову":

"*Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета народных депутатов*

РЕШИЛ:

1. Установить в 1986 году мемориальную доску Н.И. Тихомирову на доме № 90/92 по Невскому пр...

2. Проект мемориальной доски утвердить на Художественно-экс-



Ленинградский городской Совет народных депутатов

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

01.04.85 № 157

Ленинград

Об установке мемориальной доски Н.И.Тихомирову

Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Установить в 1986 году мемориальную доску Н.И.Тихомирову на доме № 90/92 по Невскому пр. со следующим текстом:

"В этом доме с 1926 по 1930 гг. жил и работал Тихомиров Николай Иванович - основатель Газодинамической лаборатории первой в СССР научно-исследовательской и опытно-конструкторской организации по разработке ракетных двигателей".

2. Проект мемориальной доски утвердить на Художественно-экспертном совете по монументальной скульптуре и живописи Главного управления культуры.

3. Главному архитектурно-планировочному управлению выдать архитектурно-планировочное задание на проектирование мемориальной доски.

4. Проектирование, изготовление и установку мемориальной доски произвести Ленинградской организации Художественного Фонда РСФСР.

5. Главному управлению промышленности строительных материалов и деталей изготовить плиту для мемориальной доски утвержденного образца.

6. Принять к сведению, что проектирование, изготовление и установка мемориальной доски будут произведены за счет средств научно-производственного объединения "Энергия".

Председатель Исполкома В.А.Хомутов

Секретарь Е.С.Соломина

Решение исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов об установке мемориальной доски Н.И. Тихомирову.

пертном совете по монументальной скульптуре и живописи Главного управления культуры.

3. Главному архитектурно-планировочному управлению выдать архитектурно-планировочное задание на проектирование мемориальной доски.

4. Проектирование, изготовление и установку мемориальной доски произвести Ленинградской организации Художественного фонда РСФСР.

5. Главному управлению промышленности строительных материалов и деталей изготовить плиту для мемориальной доски утвержденного размера.

6. Принять к сведению, что проектирование, изготовление и установка мемориальной доски будут произведены за счет средств Научно-производственного объединения "Энергия"..."

На Решении стоит резолюция, написанная В.П. Глушко 29 ноября 1985 г.: "*С.П. Богдановскому. Прошу принять расходы*".[50]

13 мая 1985 г. в газете "Вечерний Ленинград" была опубликована заметка под рубрикой "Исполком Ленсовета решил", в которой было написано следующее: "*С Ленинградом связана деятельность советского ученого в области ракетной техники Н.И. Тихомирова. В память об этом на доме № 90/92 по Невскому проспекту будет установлена мемориальная доска...*".[51]

Итак, с Ленинградом все было в порядке. Доска будет установлена. А что же с Москвой? В Москве все было иначе. В.П. Глушко получил от-



Академик В.П. Глушко возлагает цветы к мемориальной доске Н.И. Тихомирова Ленинград, сентябрь 1987 г.
Фото из архива "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко", публикуется впервые

каз на установку доски. В результате этого отказа было написано письмо следующего содержания:

"Председателю Мосгорисполкома
Товарищу ПРОМЫСЛОВУ В.Ф.

Вашим аппаратом (тов. Покаржевский Б.В.) была отклонена просьба АН СССР (исх. № 10120-1520 от 5.06.84) об установке мемориальной доски в память видного отечественного ученого Н.И. Тихомирова (1860-1930),[52] *основателя первой в Советском Союзе организации по ракетной технике (ГДЛ в 1921 г.), разработавшей реактивные снаряды прославленной "катюши" и другие важные объекты. Просьба отклонена на том основании, что в Москве уже установлена мемориальная доска в честь организации ГИРД на доме № 19 по Садово-Спасской улице. Это недоразумение, т. к. ГИРД никакого отношения к ГДЛ не имеет.*

Кроме того, по сообщению сотрудницы Мосгорисполкома Л.В. Гибовой, Постановлением ЦК и СМ от 12.04.83 № 218 запрещено строительство в 1983-1985 гг. мемориальных сооружений. Однако мемориальные доски не упомянуты в этом Постановлении в перечне памятных сооружений, кроме того, срок запрета кончается в конце текущего года.

По моей просьбе первый заместитель председателя СМ СССР тов. Архипов И.В. обратился к Вам с просьбой рассмотреть этот вопрос (исх. СМ № ПП16582 от 20.08.1984 г.).

Исходя из вышеизложенного и учитывая выдающийся вклад Н.И. Тихомирова в развитие советской ракетной техники, прошу положительно решить вопрос об установке мемориальной доски на доме № 11 по Новослободской ул., где жил и работал Н.И. Тихомиров..."[53]

По просьбе В.П. Глушко письмо такого же плана было направлено в адрес В.Ф. Промыслова и от член-корреспондента АН СССР С.Р. Микулинского. Разница в содержании этих писем была в том, что С.Р. Микулинский расписал все различия между ГДЛ и ГИРД.

Что же касается Ленинграда, то доска была открыта осенью 1987 г. На ее открытии присутствовал В.П. Глушко (это была его последняя командировка в Ленинград) и ветеран ГДЛ В.С. Соколов. После открытия доски В.П. Глушко дал свое последнее телевизионное интервью в залах Музея ГДЛ, созданного по его инициативе и ныне носящего имя своего создателя...

Даже последнее выступление В.П. Глушко в Колонном зале Дома Союзов на пленарном заседании Январских чтений по космонавтике было посвящено памяти И.Т. Клейменова, Г.Э. Лангемака и Б.С. Петропавловского — их 90-летию...



Академик В.П. Глушко дает интервью ведущему программы "Человек, Земля, Вселенная" летчику-космонавту СССР В.И. Севастьянову в помещении Музея ГДЛ
Ленинград, сентябрь 1987 г.
Фото из архива "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко", публикуется впервые

К 80-летию со дня его рождения журнал "Авиация и космонавтика" должен был опубликовать полный текст этого выступления, но вместо него вышла биографическая статья. И только в середине 1990-х гг., уже после смерти ученого, полный текст этого выступления был опубликован в одной из московских газет В.А. Белоконем, присутствовавшим на этом заседании и записавшем выступление академика В.П. Глушко на магнитофон.

В декабре 1988 г. уже тяжело больной академик В.П. Глушко в последний раз заводит разговор о своих товарищах по работе в ГДЛ и РНИИ. Он просит меня, чтобы я разыскал И.И. Кулагина и передал ему, что ученый его простил... (Я выполнил его просьбу, только уже после смерти И.И. Кулагина, поставив об этом в известность его семью...) И еще об одном...

"*— Ты должен дать мне слово... наш Лангемак... Я не смог выпустить о нем книгу... о нем, о Клейменове, Ильине... Петропавловском... Я не нашел могил погибших... доведи это до конца! Они авторы "катюши", и никто другой... Обещаешь?*

— Да, папа..."[4]

Этого было достаточно, чтобы академик В.П. Глушко и после смерти (моими усилиями) продолжал восстановление их добрых имен...



Памятная доска Г.Э. Лангемака, открытая 15 ноября 2003 г. на Донском кладбище Фото А.В. Глушко

В 1994 г. я впервые попал в Центральный архив ФСБ (как он сейчас называется) для ознакомления со следственным делом академика В.П. Глушко. С этого момента и начались мои серьезные занятия по сбору документов и подготовке публикаций...

За это время я еще несколько раз побывал в этом архиве, где познакомился со следственными делами И.Т. Клейменова, Г.Э. Лангемака, Н.Я. Ильина, а также членов их семей; а также в ЦГВА, где обнаружил ряд документов, касающихся их деятельности; ЦГАВМФ (г. Санкт-Петербург), где нашел материалы, имеющие отношение к молодости Г.Э. Лангемака; в архивах Одессы, Киева, Москвы, Кировограда, Санкт-Петербурга... В этих архивах мне удалось собрать большое количество не известных ранее документов. На основании этих материалов было опубликовано около 20 статей (три из них стали первыми публикациями в мире (о Б.С. Петропавловском и Н.Я. Ильине) и первой публикацией на английском языке (о И.Т. Клейменове), целиком основанных на архивных документах.

В 1995 г. при помощи комиссии, которую возглавлял М.Б. Миндлин, мне удалось разыскать место захоронения И.Т. Клейменова и Г.Э. Лангемака (где похоронен Н.Я. Ильин, мне неизвестно до сих пор).

А год 105-летия со дня рождения Г.Э. Лангемака был ознаменован официальным объявлением о месте его захоронения и открытием мемориальной доски на могиле...

После обнаружения места захоронения у меня появилась идея установки памятной доски на Донском кладбище. Но не в первой могиле невостребованных прахов (как цинично называется это место), а на месте захоронения его вдовы, похороненной на том же кладбище в 1972 г., в 100 метрах от места захоронения мужа. Несколько месяцев ушло на то, чтобы получить официальное разрешение дочери конструктора М.Г. Беляниной (Лангемак). Я даже летал в Павлоград и провел у Майи Георгиевны две недели, оговаривая с ней условия этого мероприятия.



Ветеран "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко" Л.Е. Стернин выступает на открытии доски Г.Э. Лангемака на Донском кладбище Москва, 15 ноября 2003 г. Фото А.В. Глушко, публикуется впервые

В августе началась работа по воплощению проекта в жизнь. В ней принимали непосредственное участие: генеральный конструктор НПО "Энергомаш" имени академика В.П. Глушко Б.И. Каторгин, давший согласие на проведение этих работ под своей эгидой, автор проекта А.Б. Прошляков (независимый историк и член редколлегии военно-исторического журнала "Цейхгауз"), а также автор доски художник-гравер Т.М. Белялов, непосредственно выполнивший работу.

15 ноября 2003 г., в день 15-летия старта системы "Энергия" — "Буран", в 11 часов на Донском кладбище состоялось открытие доски. Приехали только те, кого приглашали лично, и те, кто имел к работам непосредственное отношение. Открывая встречу, специально приглашенный мною для этой цели пресс-секретарь НПО "Энергомаш" Ю.Г. Коротков сказал о том, какую роль Г.Э. Лангемак сыграл в жизни двигателистов и какое влияние он оказал на дальнейшее развитие ракетно-космической науки и техники в СССР, а потом и в России.

Следующим выступил летчик-космонавт Российской Федерации А.И. Лазуткин. Космонавт рассказал о том, как работы конструктора повлияли на деятельность его товарищей, и подчеркнул, что сохранение памяти о тех, кто стоял у истоков советского ракетостроения, является обязанностью для тех, кто идет следом...

В своем выступлении ветеран НПО "Энергомаш" доктор физико-математических наук профессор Л.Е. Стернин остановился на основных моментах из жизни ученого и перечислил основные работы, выполненные под его руководством.



Лидер команды "Несчастный случай" А.А. Кортнев выступает на открытии доски Г.Э. Лангемака на Донском кладбище Москва, 15 ноября 2003 г. Фото А.В. Глушко, публикуются впервые

Лидер эстрадной группы "Несчастный случай" А.А. Кортнев рассказал о телевизионном проекте, посвященном памяти конструкторов реактивной техники, в котором он должен был играть роль Лангемака, и выразил надежду на воплощение проекта в реальность, считая, что жизненный пример Г.Э. Лангемака необходим для воспитания подрастающего поколения.

После возложение цветов присутствующие в сопровождении представителей телевизионного канала ОРТ проследовали к первой могиле невостребованных прахов, где почтили память всех похороненных в ней жертв политических репрессий.[54]

В 2004 г. к моим работам подключилась Ирина Анатольевна Полякова (Лангемак), внучатая племянница Г.Э. Лангемака. Она разыскала в домашнем архиве некоторое количество очень интересных документов и фотографий, которые помогли мне при работе в других городах.

В июле — августе 2006 г. я ездил в Кировоград, в город, где в течение 17 лет жил Г.Э. Лангемак. За время командировки были обнаружены обширные материалы, посвященные его детству, а также деятельности его родителей, старшей сестры Марии, брата Виктора и братьев его будущей жены — Алексея, Николая и Виктора Петерсов — сыновей начальника Елисаветградского кавалерийского училища генерала В.Н. Петерса. В связи со 110-летием со дня рождения, празднование которого планируется на вторую половину апреля 2008 г., Управление культуры областной администрации дало предварительное согласие на предложенный мною план мероприятий по увековечению имени ученого: установку доски на новом здании Педагогического университета имени Винниченко (оно стоит на месте дома, в котором семья Г.Э. Лангемака жила до октябрьско-

го переворота), сооружение памятника и присвоение его имени одной из улиц города. Со своей стороны, они предложили повести выставку в краеведческом музее и научно-практическую конференцию, а также детский конкурс, и присвоить Научно-воспитательному комплексу "Кировоградский коллегиум" имя Г.Э. Лангемака...

В заключение я бы хотел привести слова академика В.П. Глушко, сказанные им о Г.Э. Лангемаке...

"*Мы были близкими друзьями. Георгий Эрихович был на голову выше меня как ученый и конструктор. Я всегда тянулся за ним, стараясь не выглядеть на его фоне каким-то серым и незначительным. Мне всегда хотелось быть похожим на него. Он был для меня образцом во всем... И я бы очень хотел, чтобы и ты, сын, пронес через свою жизнь уважение к этому Человеку с большой буквы... ...Если бы его не расстреляли, то я уверен, что Георгий Эрихович стал бы маршалом артиллерии и членом Советского Правительства... Я всегда считал его членом своей семьи и очень хочу, чтобы и ты относился к нему так же... Он член нашей семьи...*"[4]

Автор выражает благодарность за помощь в работе по поиску архивных документов и фотографий:

Моей сестре Евгении Саркисовой, лидеру команды "Несчастный случай" Алексею Кортневу, дочерям И.Т. Клейменова Ирине Ивановне (посмертно) и Ларисе Ивановне, вдове И.Т. Клейменова М.К. Левицкой (посмертно), дочери Г.Э. Лангемака Майе Георгиевне (посмертно), внучатой племяннице Г.Э. Лангемака И.А.Поляковой, дочери Б.С. Петропавловского Валерии Борисовне.

Летчикам-космонавтам СССР и России, а также космонавтам-испытателям: М.Н. Бурдаеву, В.Г. Корзуну, А.Ю. Калери, С.В. Кричевскому, А.И. Лазуткину, Г.И. Падалке, В.П. Савиных, А.А. Сереброву.

Сотрудникам ОАО "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко": генеральному конструктору, академику РАН Б.И. Каторгину; генеральному директору Н.А. Пирогову, В.К. Чванову, А.Г. Пызину, В.Ф. Рахманину, Ю.Г. Короткову, В.С. Судакову, Л.Е. Стернину, А.А. Машевскому, У.А. Якубовой и О.А. Шестопаловой.

Сотрудникам архивов: заведующему архивом МГУ Н.П. Фролову; сотрудникам РГВА, ГАООиСС ЛО, ЦА МО РФ — Н.И. Шестопалу; ЦА ФСБ РФ — В.С. Христофорову, Н.Н. Воякиной, В.А. Гончарову; ГАКО (г. Кировоград), начальнику отдела ГАОО (г. Одесса) В.В. Харковенко, сотрудникам Артиллерийского музея (г. Санкт-Петербург).

А также: Н.И. Бабанской, Е.Т. Белоглазовой, В.А. Белоконю, В.Н. Босько, Т.А. Головкиной, Л.Б. Кизнер, П.К. Корнакову, И.А. Маринину, М.Б. Миндлину (посмертно) и С.Х. Шамсутдинову.

Источники, литература и комментарии

4. Глушко А.В. Воспоминания об отце. В 3-х ч. Ч. 2: Отец и пионеры ракетно-космической техники. Рукопись. Архив автора.

34. Так в документе.

35. Протокол допроса свидетеля Глушко Валентина Петровича от 05.05.1955, ЦА ФСБ РФ, Архивно-следственное дело № Р-2020 Клейменова Ивана Терентьевича, лл. 26, 26 об, 27, 27 об, 28, 28 об, 29.

36. Здесь были допущены ошибки. Дело в том, что Г.Э. Лангемак переехал из Ленинграда в Москву в начале января 1934 г., а И.Т. Клейменов получил эту квартиру (24 подъезд) только в 1934 г., до этого его семья жила в другой квартире, находившейся внутри двора. Получил же квартиру в этом доме в 1933 г.

37. Письмо главного конструктора КБЭМ В.П. Глушко на имя председателя исполкома Мосгорсовета В.Ф. Промыслова от 13.11.1968. Копия. Архив автора.

38. Здесь тоже допущена ошибка. По имеющимся у меня данным, по этому адресу семья Г.Э. Лангемака поселилась в 1923 г., сразу после поступления Г.Э. Лангемака в Артиллерийскую академию РККА.

39. Письмо главного конструктора КБЭМ В.П. Глушко на имя председателя исполкома Ленгорсовета А.А. Сизова. Копия. Архив автора.

40. Письмо главного конструктора КБЭМ В.П. Глушко на имя управляющего Московским городским трестом похоронного обслуживания Д.И. Попова № 098 от 19.12.1968, архив ГДЛ-ОКБ, оп. 5, ед. хр. 16.

41. Письмо главного конструктора КБЭМ В.П. Глушко на имя начальника 11 отделения милиции г. Москвы подполковника милиции М.А. Сафонова № Р-331 от 17.06.1972, Архив ГДЛ-ОКБ, оп. 5, ед. хр. 16.

42. Так в документе.

43. Письмо генерального конструктора НПО "Энергия" В.П. Глушко на имя секретаря Павлодарского горкома Коммунистической партии Казахстана Г.А. Никифорова и председателя исполкома Павлодарского городского совета народных депутатов А.Н. Джазина от 01.1983. Копия. Архив автора.

44. Письмо генерального конструктора НПО "Энергия" В.П. Глушко на имя председателя Государственного Комитета по делам строительства УССР Г.К. Злобина № П-063 от 13.10.1983, архив ГДЛ-ОКБ, оп. 5, ед. хр. 16.

45. На самом деле Н.И. Тихомиров переехал в Ленинград в 1924 г.

46. Н.И. Тихомиров жил в Москве до 1924 г.

47. Письмо председателя Комитета советского национального объединения истории и философии естествознания и техники АН СССР академика Б.М. Кедрова и председателя комиссии АН СССР по разработке научного наследия пионеров освоения космического пространства член-корреспондента АН СССР Б.В. Раушенбаха на имя председателя Государственного комитета УССР по делам строительства Г.К. Злобина (копия академику В.П. Глушко) от 05.12.1983, Архив ГДЛ-ОКБ, оп. 5, ед. хр. 16.

48. Н.И. Тихомиров жил в Москве до 1924 г. Кроме того, в этом письме был приведен текст только одной доски — для г. Москвы. Текст доски для Ленинграда в письме не приведен.

49. Письмо генерального конструктора НПО "Энергия" В.П. Глушко на имя Вице-прези-

дента АН СССР академика П.Н. Федосеева № П-086 от 11.03.1984, Архив ГДЛ-ОКБ, оп. 5, ед. хр. 16.

50. Решение исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов "Об установке мемориальной доски Н.И. Тихомирову" № 157 от 01.04.1985, Архив ГДЛ-ОКБ, оп. 5, ед. хр. 16.

51. "Отмечены памятные места". "Вечерний Ленинград", 13.05.1985.

52. Так в тексте. На самом деле Н.И. Тихомиров родился в 1859 г.

53. Письмо генерального конструктора НПО "Энергия" В.П. Глушко в адрес председателя Мосгорисполкома В.Ф. Промыслова № П-0171 от 20.11.1985, Архив ГДЛ-ОКБ, оп. 5, ед. хр. 16.

54. Глушко А.В., "Открытие памятной доски Г.Э. Лангемака". "Новости космонавтики", № 1 (252), 2004, стр. 72.

Владимир КАТКЕВИЧ

Внучка Сталина и Кленов на фоне Эвереста

Визбор в ночлежке "Голодный глаз"

Анекдоты о Йети, снежном человеке, гуляют по Тамелу, "туристскому гетто" Катманду, как у нас в Великую Эпоху об армянском радио.

Сидят два Йети.

— Недавно видел Витю Кленова, — невнятно говорит один, обгладывая чьи-то косточки и запивая пивом "Амстел" из ржавой банки.

— А что, разве он существует?

Вместо Кленова в устном фольклоре может присутствовать Рейнхольд Месснер, топтавший вершины четырнадцати восьмитысячников, или Верн Теджес, 20 раз осиливший Эверест. Все зависит от того, в какой компании интерпретируют анекдот. Если в дешевой гостинице "Голодный глаз", то непременно вспомнят одессита Витю Кленова. В "Глазе" находят приют соотечественники, зачастившие в последнюю гавань последних романтиков. Попадаются среди сорванных с якорей ровесников Кленова и бродяги со степенями, нынче профессура косяком прет в заоблачное королевство. Знание языка на уровне кандидатского минимума и манеры позволят в сезон устроиться лазающим переводчиком к состоятельным непоседам. Проникшие же в Катманду через агентство Кука леди на излете, люди свободного времени, по достоинству оценят образованного проводника, галантно помогающего осилить скальные и языковые барьеры или перетащить инвалидную коляску через осыпь на подходе к священной горе Кайлас. Или, если уж очень повезет, то кандидат в мастера спорта и наук наймется шерпом в свиту махараджи Кашмира.

Настоящий легендарный шерп Тенцинг, "распечатавший" Эверест, позже, в 60-е, пробовал для комплекта еще покорить и Эльбрус, да погода подгуляла. Аккурат в это время с вершины спустилась группа, в составе которой был Витя Кленов. Кленов извлек из рюкзака советский бестселлер "Тигр снегов" в мягкой обложке, удобно трамбующийся в рюкзак, и Тенцинг написал на обложке: "Будущему снежному барсу Кленову от тигра снегов". Вите Кленову было пятнадцать, но он прибавил год, чтобы приняли в альплагерь. Так когда-то рвались на фронт.

Когда в видовом альбоме "Nepal Parbat" очерку Кленова отвели три полосы, а Месснеру всего две, Месснер притворно обижался.

— Конечно, Виктор, — говорил, — король тебе благоволит.

Король Непала — член редколлегии журнала, с ним Кленов не то чтобы накоротке, но знаком, здоровается, как и с наследными принцами, они здесь доступнее, чем, скажем, у нас члены Политбюро. Выпускник Кембриджа, король Непала сказал, что у Кленова язык образнее. Король знает, что Кленов в своих публикациях не позволит "бульб", не напутает. Достоверность фактов не вызывает сомнений и у редакции газеты "Himalayan Times", издающейся в двух странах: Индии и Непале. Кленов трудится в "Гималайских временах" собственным корреспондентом в Катманду, он — *feature writer*, разумеется, англоязычный, его гвоздевые материалы не подлежат правке.

— По писаному дурь виднее, — говорит.

Кленов еще и фотохудожник. Его персональная выставка откроется в июне во Флоренции.

Виктор с тем же потешным, похожим на детский, рюкзачком, с которым шлепает по Одессе, и в тех же кроссовках, удобно принявших форму его ломаных-переломаных ног, отправляется в Катманду. Когда летел в последний раз, забыл в Дели заполнить две графы: *Status* и *Date of expire*. Проницательный офицер "стэйт-контроля", видимо, неплохой психолог, написал в анкете: *Temporary person passing throuth*, то есть буквально "*временная персона, следующая насквозь*". Как в Шамбалу. Дата же окончания "следования насквозь" *unknown*, неизвестна. Он и сейчас не загадывает, когда вернется. Может быть, пригласят участвовать в турнире по *elephant polo*, потом срочно писать репортаж о неспешном слоновьем футболе. В последний раз в составе его элефантской команды был кумир публики Стивен Сигал, в другой команде манипулировал клюшкой, похожей на швабру, солист группы "Роулинг Стоунс". Если женская команда соревнуется с мужской, то Кленов назначает для разгону гандикап, сразу 6:0 в пользу отважных дам. Уважающий Кленова таиландский драйвер выдал ему лицензию на вождение слона за три дня, хотя в Непале курс обучения — два года.

Кончина и воскресение Горбенко

В 2007 Кленов будет участвовать в составе украинской экспедиции на Хилмачули высотой 7900 метров и загадочный Пик-2. Экспедицию пестует Валентин Симоненко, президент Федерации альпинизма Украины, сделавший очень много для сохранения позиций и развития отечествен-

ного альпинизма. Кленов включен в состав команды и трековой группы. В Катманду ву него будет возможность не спеша пройтись по Тамелу. Услышит из окна, распахнутого настежь в горную весну, струнные перебоpы и визборовское: "Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой". Наверняка знакомых встретит.

— Привет, *crazy vagabond*! — окликнут, обнимутся — пивом, возможно, угостят или чем-то покрепче. Закусят диким плодом, сорванным с придорожной пальмы.

Сезон еще только столбится, потому проводят до площади Дарбар, к Патану, ступе Боудаданатх. Как водится, вспомнят общих знакомых, живых и павших.

— То место, близ Покхары, где умер Слава Горбенко, — спросит Кленов, — туристам еще показывают?

— Как Слава поживает? — справятся. — Не собирается на Амадаблам?

Слава, Мстислав Горбенко, одессит, заслуженный мастер спорта, действительно умирал у подножья Аннапурны в 96-м.

Победное восхождения на Аннапурну далось с трудом. Обмороженный и похудевший на 20 килограммов Горбенко на спуске еле тащил ноги. Его поддерживали товарищи, пока он не упал замертво. Сердце остановилось, дыхание не фиксировалось. Местные жители привели шамана и сказали:

— Он попробует оживить вашего товарища.

— Это суеверия, средневековье, — буркнули восходители.

— Все необычное, что происходит в Гималаях, для вас суеверия, — парировал шаман.

Ничего не обещая, он развел костер, бил в барабан, дудел в дудочку. Зарезал двух цыплят, черного и белого, перемешал кровь, сдобрил известными ему мазями и стал ворожить. Отлетевшая же душа Мстислава Горбенко в это время наблюдала с высоты птичьего полета собственное тело и возникший вокруг него переполох. Через два часа усопший открыл глаза и сам поднялся.

К помощи шаманов альпинисты прибегали и ранее, скажем, в 1990, когда состоялась международная экспедиция "великих врагов" — СССР, США и КНР — на Эверест. Горбенко тоже в ней участвовал. Погода не баловала, две недели валил снег, ветром разорвало палатку. Понимая, что штурм, приуроченный к Играм доброй воли в Сиэтле, под угрозой, начальник экспедиции Джим Уиттакер позвонил по спутниковому телефону жене и попросил ее связаться с Мэри Потлач, главной шаманкой резервации индейцев племени навахо. На другой день он получил в базовом лагере электронное письмо.

"Джим, я, конечно, могу отправить запрос по e-mail в федеральную службу погоды, но я всегда тебя считала интеллигентным человеком, — отвечала Мэри из резервации. — Мы, шаманы, не можем останавливать ветер, но можем менять его направление".

Тем не менее, перед восхождением тучи разошлись, экспедиция была спасена, на вершине водрузили три флага. Джим позвонил жене, передал приветы.

— Как дела дома? — спросил.

— Крыши нет, — сообщила жена, — ее снесло ветром. Ураган переворачивает трейлеры. Затоплено полгорода. Такого урагана Сиэтл не помнил со дня основания.

Слышимость на высоте была идеальной, как будто говорили из соседней палатки.

"Окно" продержалось всего час, на спуске снова повалил снег.

Знакомство Кленова и Горбенко имеет куда более глубокие корни и не ограничивается Гималаями. Много лет назад оба на равных штурмовали Эльбрус, где, кстати, в прошлом году регулярно погибали в лавинах группы. Причем одну связку вел Горбенко, вторую — Кленов. Всего же в активе Кленова 17 восхождений на Эльбрус, мало кто из альпинистов может похвастаться таким достижением.

Кленов угостит сосиской узнавшую его бродячую собаку, и ему посигналят из проезжающей машины. Машина с желанием и нетерпением тормознет, оттуда выпорхнет весенним ветерком в розовом сари "Мисс Непал — 99", по-простецки расцелуются. Для победительницы конкурса красоты у него припасена недорогая безделушка — фигурка Будды, сделанная из уральской яшмы и купленная на Дерибасовской. "Мисс Непал", между прочим, двоюродная внучка Сталина, Светлана Сингх, ее батюшка — родной брат одного из мужей Светланы Аллилуевой. У братьев была большая разница в возрасте, что не редкость в индийских семьях. Светлана Иосифовна, как известно, познакомилась с первым секретарем компартии Индии товарищем Сингхом в ЦКБ, кремлевской больнице. Растрогавшись самоцветами с Дерибасовской, племянница партийного лидера Светлана Сингх поделится с Кленовым сердечными тайнами, он к этому особо располагает. Пообещает позвонить и полетит ветерком дальше, а он продолжит путь по дорогим сердцу местам, где богов больше, чем людей.

— Намасте! — ответит на приветствие местного жителя, сам и не упомнит, откуда знакомы.

— Виктор! — окликнут иноземцы с ударением на последнем слоге. Непременно затащат в "Rum Dubble", где возле стойки бара доска с факсимиле всех покорителей Пика Планеты. Здесь и росчерк самого бесшабашного альпиниста-одиночки словенца Томаша Хумара, и лучшего британского альпиниста Криса Бонингтона. Кто-то совершил ночное восхождение, как Миша Туркевич в 1982-м, кто-то покорил без кислородного аппарата. Японец Миура спустился с вершины мира на лыжах с тормозным парашютом. Недавно Миура в 70 лет поднялся на Эверест, чтоб навсегда проститься с вершиной. Верн Теджас прихватил на Эверест гитарку, сымпровизировал что-то на космической высоте, а через год поднялся со скрипкой. А почему бы и нет? Какой же это *climb* без куража?

На столбах истрепанные рекламки:

"Ключи от Нирваны — 500$"

"Путеводитель по Шамбале — от 55$"

Почему "от"? Предложат еще ключ с секретом? Грань между реальностью и вымыслом преодолена. Слизана грань и между чудесным советским прошлым и шерповским настоящим у кандидата наук, который будет сопровождать в Шамбалу.

Там же на столбе расценки на отстрел йети. Лицензия стоит 400 долларов.

Охота на йети даже с помощью винтовки "Alka Seltzer", стреляющей пулями со снотворным, запрещена, так что рекламка устарела. Кленов сорвет ее со столба, откроет ключом скромную дверь и шагнет в микромузей, вернется к постоянной выставке Лисаневича, проникнет в свою Шамбалу. Выставка, его, Кленова, стараниями созданная в 2001-м, была торжественно открыта премьер-министром из династии Рана.

Человек из Шарлатанского переулка

Друзья нарисовали Бориса Лисаневича прямо на банкноте достоинством в 10 рупий, с одной стороны король Махендра, с другой — демонического вида мужчина, Борис. А почему бы и нет? Изображен же на банковских билетах Новой Зеландии Эдмунд Хиллари.

Журнал "Лайф" еще в 55-м году писал: "Лисаневич — вторая по счету достопримечательность Непала после Эвереста".

Борис Лисаневич родился в Одессе на 4-й станции Большого Фонтана в родовой усадьбе, жалованной прапрадедушке за взятие крепости Хаджибей еще градоначальником Иосифом-Хосе Дерибасом.

Революция рассеет семейство, один из братьев погибнет при подавле-

нии Кронштадтского мятежа, разумеется, он будет на стороне мятежников-эсеров, второй утонет на броненосце, след третьего оборвется во Франции. Бывшего же кадета Бориса Лисаневича, стройного, сильного и музыкально одаренного, примет в свою студию балерина Гамсахурдия, кстати, дальняя родственница Лисаневичей, в Одессе почти все друг с другом в родстве.

В 1924-м году в финальном акте оперы "Пророк" Мейербеера пиротехник передозирует калиевую селитру, нарушит пропорцию, и одесский театр, символ города, весело загорится, как пионерский костер. С пепелища Лисаневич уезжает в Париж, тогда еще выпускали, получает "паспорт Нансена", промежуточный документ, выдаваемый беженцам, и заключает контракт с театром "Альгамбра". На просмотре в театре Сары Бернар Борис сделал двойной пируэт, взлетел и был принят в труппу Дягилева *Ballet Russe*. Он танцует на лучших сценах мира в балетах "Петрушка", "Парад", "Карнавал", "Жар-птица", "Треуголка".

В кармане лежит аргентинская виза, билет на пароход до Буэнос-Айреса, где продолжатся гастроли. Лисаневич входит в ресторан в Монте-Карло проститься с друзьями из шаляпинской труппы, знакомится с солисткой балета Кирой Щербачевой, рвет билет и уезжает на гастроли в Индокитай. В промежутках между гастролями охотится на леопардов, буффало и носорогов. Жизнь напоминает феерию с буффонадой, каждый день как праздник, на который приглашаются все желающие. Что за актер без импровизаций?

"Я был очарован Востоком, — напишет. — Не мог поверить, что чувство гармонии и красоты, которое я испытывал только на сцене, могло существовать в реальном мире".

Индия манила и перспективой получения британского паспорта. Он обзаводится влиятельными друзьями и покровителями и с их помощью, в том числе финансовой, отрывает в Калькутте аристократический "Клуб-300".

В "Клубе-300" организует тайные переговоры Джавахарлала Неру с отлученным от престола королем Непала в изгнании Трибхуваном.

В 52-м вместе со второй женой юной датчанкой Ингер Пфейфер и двумя сыновьями прибывает в средневековый Непал, где не знали керосина, электричества и унитазов. Приобщая возвращенного на престол короля к цивилизации, Лисаневич учит доверчивых, как детей, непальцев выращивать шпинат, капусту и клубнику. Для привлечения туристов открывает отель, сам поселяется на крыше, где все звезды его. В разное время на кры-

ше побывали король Испании Хуан Карлос, Агата Кристи, Франсуаза Саган, Жан-Поль Бельмондо. С начинающим еще актером Бельмондо Лисаневич снялся в эпизоде фильма "Человек из Гонконга". Когда в этом году Кленов позвонил Бернадетте Вассо, подруге Бориса и Жана-Поля, она соединила его по телефону с Парижем.

— Наконец-то кто-то заинтересовался Борисом и моим фильмом с его участием, — сказал Бельмондо. — Я очень хочу, чтоб одесситы увидели его, и при первой возможности передам в Одессу.

Уже передал, Кленов демонстрировал автору фрагменты из кинокомедии.

Гостил у Лисаневича и Климент Ворошилов. Первого красного офицера очаровали пагоды на фоне снежных пиков, но был и другой, приглушенный обстоятельствами государственный интерес. Еще в 24-м проживавший в Индии русский живописец Николай Рерих затеял масштабную экспедицию в Тибет. Политкомиссаром у Рериха был агент ВЧК Яков Блюмкин, советский Лоуренс Аравийский. За караваном Блюмкина двигался арьергард с вооруженными большевиками бурятами, задачей отряда поддержки было поднятие красного флага над Лхассой. Ни много ни мало. Климент Ефремович настойчиво приглашал в Москву.

— Только в том случае, если будет куплен билет в оба конца, — отшучивался Лисаневич.

После смерти короля Трибухвана, его друга и покровителя, Лисаневич недолго сидит под арестом по сфабрикованному обвинению. Его выпускают, потому что новому королю Борис с его связями тоже необходим.

Подверженный горной романтике президент Всемирного банка Роберт Макнамара предоставляет Лисаневичу баснословно выгодный кредит для постройки отеля "Yak and Yeti". В результате интриг недобросовестного партнера по бизнесу, а может, и благодаря собственному хлебосольству Лисаневич разоряется и умирает в больнице для бедных в 1985-м году. Он похоронен на кладбище британского посольства.

Кленов заглянет на кладбище, пожмет руку пожилому сторожу, положит на скромную плиту гиацинт.

На улице "32 бабочки", где находится ресторан "Boris", с Кленовым поздороваются по-русски.

— Как там Одесса? — спросит морщинистый местный гражданин, выпускник Одесского объединенного командного училища.

— Одесса помнит своих героев, — ответит Кленов.

Институт сухопутных войск Кленов посещал в прошлом году. Начальник института генерал-лейтенант Троц, несмотря на занятость, вы-

кроил время принять посетителя. Троц в своем вполне почтенном генеральском возрасте до сих пор садится на шпагат, так что лампасы сливаются в одну линию, и является кумиром юных курсантов и лицеистов. Отрадно, что на протяженном и по времени, и по расстояниям пути передачи культурной эстафеты встречаются такие яркие личности. А может быть, закономерно.

Генерал-лейтенант поднял архивы кадетского корпуса, в кирпичных стенах которого располагается военное учебное заведение, чтобы удовлетворить интерес Кленова к личности кадета Бориса Лисаневича. Усадьба Лисаневичей вместе с конезаводом находилась через дорогу от кадетского корпуса в Шарлатанском переулке (ныне улица Пионерская). Начальник кадетского корпуса генерал от инфантерии Михаил Евгеньевич Дерюгин частенько заезжал сюда на самовар, заодно и любовался ахалтекинскими племенными скакунами, бравшими призы на ипподроме, он тоже через дорогу.

Скитания как сознательный выбор

Одесские корни Кленова примерно с того же самого суворовско-дерибасовского периода, как и у Лисаневича. После перемирия 1791 года между Турцией и Россией русская агентура активно работает по разложению задунайского казачества и возвращению беглых казаков в Россию. В письме к генерал-поручику Волконскому Кутузов рекомендовал купца Евтея Кленова как "весьма верного человека". Кутузов выписал купцу подряд на подъем пушек, затонувших при форсировании Дуная, а также позволил брать десятину с рыбных промыслов. Евтею Кленову удалось уговорить 550 казаков вернуться под предлогом встречи с родственниками, после чего он получил звание почетного гражданина Одессы.

Прабабушка Елена Кленова жаловала в 1829 году 6 тысяч рублей на строительство богадельни при Старом кладбище. Богадельня эта именовалась Кленовой или Еленовой, в этом торжественном здании размещался районный отдел милиции.

Семейные обстоятельства сложились так, что детство Виктора Кленова прошло в Алчевске, том самом скандально замерзшем Алчевске (Ворошиловске), где "одновременно учились ходить, пить и курить". На местный металлургический комбинат со всей страны свозили для переплавки оружие в ассортименте, малолетки, естественно, активно пополняли личные арсеналы годными револьверами и обрезами, и перестрелки не были редкостью. Для наведения порядка в Алчевск дважды вводили войска, о карательных

рейдах в печати не сообщалось. В 11 лет Витя поменял наган на "Дон Кихота". Когда книга была проглочена залпом, он закрыл ее и сказал:

— Я буду путешествовать до пенсии!

Бросил курить и записался сразу в шесть спортивных секций. К спорту приобщали энтузиасты-фронтовики, среди которых попадались калеки. Поскольку Кленов был неформальным лидером в квартале, ему откат не простили.

— Мне устроили остракизм, — вспоминает.

Пару раз пришлось жестоко драться. Потом отстали.

В 7-м классе убежал в Крым, миниатюрность позволила без труда поместиться в угольном ящике под вагоном. Вернулся через два месяца. С твердым убеждением, что бродяжничать будет продолжать и дальше. Домовой явно не любил его, следующие скитания затянулись на 8 месяцев и закончились в уфимском СИЗО.

В 8-м классе он уже играл за юношескую сборную УССР по футболу.

— Мунтян играл в Киеве, — говорит, — а я в Луганске.

Защитник умышленно подсек девятого номера Кленова и сломал ему сразу две кости. Напрочь. Поскольку доктор Илизаров со спицами тогда еще не практиковал, лечили вытягиванием, к веревкам подвешивались гири. Перемучился девять месяцев, перелом усугубился костным туберкулезом, и врач написал в истории болезни: "Больной Кленов ходить не будет". Всего он в разное время и в разных географических точках провел в больничных палатах три с половиной года, залечивая переломы голеней, ключиц, ребер, гематомы и растяжения связок.

Он нырял с железнодорожных мостов по заказу луганского телевидения. Для самоутверждения прыгал с крыш движущихся вагонов в обводной канал Днепрогэса. Один раз не угадал, ударился о берег плечом, насилу вытащили. Рука с тех пор имеет ограниченную подвижность, из-за чего едва не утонул, гоняясь на виндсерфинге. На регате при перемене курса яхты-четвертьтонника его оглушило гиком.

— Не болят ли с возрастом переломы? — спросил у него.

— Я на восхождении просыпаюсь часа на полтора раньше, чтобы привести себя в порядок, — сказал.

И не только для трековой группы. Лазающий переводчик нарасхват у иностранных "матрасников"! Месснеру даже за кратковременное присутствие на таких мероприятиях каждый участник доплачивает сверх тарифа по две тысячи долларов. Месснер может рассказать анекдот или расписаться на рюкзаке. Остается пожелать и Кленову коммерческих успехов, правда, сам он не очень к ним стремится.

Костный туберкулез бабушка лечила традиционными снадобьями, изготовленными смешением меда, желтков яиц, орехов. Ноги болели долго и невыносимо. Хромая и морщась, шлепал на завод. Взяли лекальщиком, изготовлял штампы. Работе отдавался с жаром, как и всему, что увлекало. Досрочно присвоили шестой разряд, зарабатывал по тем временам серьезные деньги, "закрывали" по 300-400 рублей. Оставаясь нигилистом, не принимая издержек Великой Эпохи, он не воспользовался обычной схемой, не пошел истопником в котельную, не отвергал систему "взагали". Даже жесткий распорядок желанных альплагерей с подъемами, построениями и отбоями вызывал в нем яростный протест. Отправлялся на Эльбрус в сентябре, чтобы всласть побродить в одиночку. Он и сейчас не воспринимает многие странности затяжного межвременья.

Одесский университет выбрал не только потому, что тянуло к могилам пращуров, не заживала нога.

— В Одессе солнце, грязи, — посоветовала бабушка.

К вступительным экзаменам едва не опоздал, спустился откуда-то с гор пыльный, уставший, волосы до плеч.

На первом экзамене с ним беседовали час. Поставили "отлично". Экзаменатор настаивала, чтобы Виктора обязательно зачислили независимо от результатов трех оставшихся экзаменов. Он показал отличное знание остальных предметов и был принят. Через неделю студент исторического факультета Витя Кленов был на раскопках Ольвии и ловил в лимане камбалу. Местное вино, "шмурдяк" с табаком, разливали из античных амфор.

Он никогда не состоял в комсомоле, правда, в профком факультета выбирали каждый год. Несколько раз дрался... с преподавателями, добиваясь справедливости. Не к себе, конечно. У сокурсника умер отец, через неделю похоронили матушку. На сессии отлучки во внимание не приняли. Бедняга собрался было уезжать домой совсем, но тут восстал Кленов.

Свидетели дали показания, что Кленов к замдекана не прикладывался.

— Ты его все-таки приварил? — спросил после "амнистии" знакомый методист. — Вот молодец!

Завещание Блещунова

В Непал его благословил известный одесский альпинист и коллекционер Алексей Блещунов. В его квартире-музее Виктор Кленов пропадал месяцами, помогал систематизировать коллекции, иногда ночевал.

— К сожалению, я Непал Рериха не увижу никогда, — говорил Блещунов. — Ты должен туда попасть. Тем более, там уже ступал одессит, Лисаневич.

Кем был Лисаневич? Альтруистом с душой нараспашку? Чудаком? Плейбоем, для которого каждый прожитый день в удовольствие? Еще художником, коллекционером, администратором, неважным предпринимателем. Мечтательный хозяин — часто приговор бизнесу, особенно в сфере сезонного сервиса.

Для коренного же населения, безусловно, белым пришельцем, им неважно откуда. Важно, что добрый и не высокомерный. А раз добрый, значит, из благополучной страны, где растет вкусная клубника и готовят на примусах.

Для англичан и европейцев, безусловно, прежде всего, выходцем из государства с культурными традициями, пусть человеком без паспорта, но не из ряда паниковских.

По большому счету, Лисаневич открыл для западного туриста Непал. Фаддей Беллинсгаузен Антарктиду, а он Непал. А непальцы, в свою очередь, открыли Одессу.

Все-таки Лисаневича, наверное, нужно было воспринимать живьем, как балет, в движении. И благородные хлопоты Кленова, человека тоже беззаветно восторженного, как раз и направлены на то, чтобы забвение не случилось. Сначала на Кленова с его самодельными лекциями о земляке, ставшем частью Непалианы, ходили робко. Сейчас во Всемирном клубе одесситов аншлаги. Открыли знаменитого земляка с опозданием на сорок лет, но отношение трепетное и немного истеричное. Даже обращались к мэру города, чтобы улицу Зоопарковую, что соседствует с Шарлатанским переулком, переименовать в улицу Лисаневича. Тем более что в Катманду обещали увековечить имя легендарного одессита в названии одной из площадей.

Профессионально настороженные британские и американские офицеры считали Лисаневича международным агентом, двойным, тройным, перекрестным, каким угодно. Будучи человеком проницательным, Лисаневич, не опровергая догадки, многозначительно улыбался. Кстати, дипломатично улыбается и Кленов, не разрушая предположения в свой адрес первых секретарей посольств в Катманду. Дипломатам известно еще, что особым расположением Кленов пользуется у чрезвычайного и полномочного посла США в Непале Майкла Малиновски. Дело в том, что дедушка Михаила Малиновского сто с лишним лет назад эмигрировал... из Одессы.

Такие мечтатели, как Кленов и Лисаневич, не умещаются в привычный ряд.

Лисаневич незадолго до смерти сказал:

— Все это — игра. Только одно может стоить в этой жизни — как много людей вы сделаете счастливыми.

Когда в 80-е соцреалии особенно допекли бессребреника Кленова, он спасался от перестроечных безобразий в детской среде. Обратился в Дом пионеров Приморского района Одессы, и ему доверили шесть десятков подростков для приобщения к высокому в топографическом и образном смысле и внеклассного воспитания. Трудных мальчиков и трудных девочек Кленов водил в Крым, на Кавказ, учил языкам, боксировать, управлять парусами. Подросткам, особенно из неполных семей, нужны одержимые преподаватели, и желательно мужчины. По большому счету, историк и археолог Кленов учил, как жить и как воспринимать далекий от совершенства мир. Некоторые из его воспитанников уже топтали в триконях и без Гималаи. Непал тоже "упал на сердце", так что задачу по обеспечению "паблик рилэйшн", завещанную Алексееем Блещуновым, Кленов перевыполнил.



Аркадий ЛЬВОВ

Двор

От редакции:

Наш земляк, член редакционного совета альманах Аркадий Львов работает над IV книгой эпопеи "Двор", судьбы героев которой – жильцов одного из домов по переулку Нечипуренко – прослеживаются с 1927 года на протяжении десятилетий.

Публикуем отрывок из главы книги III, вышедшей в московском издательстве "Захаров".

Время действия – весна 1953 года, когда вскоре после смерти Сталина уцелевшие жертвы террора начали возвращаться домой – в Одессу...

Спозаранку, ни свет ни заря, Иона Чеперуха стучал кулаком в двери и требовал, чтобы Зиновий немедленно отворил. Едва ступив через порог, Иона закричал:

— Зюня, я тебе говорил, что Ланда вернется домой! Только что передавали по радио, что доктор Ланда не виноват и может вернуться домой.

— Ланда? Так и сказали по радио: доктор Ланда? — Зиновий стоял на одной ноге, держался рукой за дверь. — Батя, а ну дохни.

Иона дохнул, постоял секунду молча, чтобы сын мог разобраться, и громко воскликнул:

— Ну, теперь ты мне веришь! Сын, я тебе скажу больше: не только один доктор Ланда, а все другие доктора, которых взяли, тоже. Берия приказал, чтобы проверили, как идет следствие, и оказалось все наоборот: врачи не виноваты, а виноваты те, кто вел следствие. И теперь Берия приказал врачей выпустить, а тех, наоборот, посадить.

— Подожди, — остановил Зиновий, — ты говорил, что по радио называли доктора Ланду. Называли или не называли?

— Называли, не называли, — замахал руками Иона. — Какое это имеет значение? Я тебе повторяю: сказали, что врачи не виноваты и всех отпустят домой. И я тебе даю гарантию: через день-два Ланда будет дома.

Из-за стены раздался стук, чтобы не шумели так громко, не дают людям спать. Иона, вместо того чтобы понизить голос, как просили, расшумелся еще больше:

— Пушкарь, ты слышал своими ушами, повторять не надо: доктор Ланда возвращается домой.

Федя Пушкарь опять постучал, в этот раз громче. Иона понизил голос,

можно было думать, этим ограничится, но Пушкарь воспользовался тишиной, чтобы вставить свое слово:

— Не кричи гоп, пока не перескочишь!

— Колхозник, — закричал весело в ответ Иона, — вертайся до своих коров и свиней, там будешь давать свои советы! А сегодня заходи вечером, позови Степу, выпьем за доктора Ланду и за Дегтяря, который не дожил!

Пушкарь ответил, хорошо, он зайдет, вчера он достал две большие тараньки и рыбца, привезли из Николаева, а горилку пусть обеспечит Иона.

Зиновий хотел усадить отца за стол, чтобы вместе позавтракать, а то до вечера, пока Пушкарь принесет свою тараньку, еще далеко, но Иона в ответ замахал руками, нету ни одной свободной минуты, надо бежать к Бирюку и напомнить этому фрицу, как он кричал на Чеперуху, что пойдет в энкавэдэ, и пусть там выведут биндюжника Чеперуху на чистую воду.

— Батя, не дури, — Зиновий пытался остановить отца, но тот уже захлопнул дверь, через открытую форточку можно было только услышать слова: этот берлинец еще попляшет на коленях, и весь двор будет свидетель, как он просит, чтобы биндюжник Чеперуха простил его.

Слышно было, как в парадной цокают по чугунной лестнице тяжелые сапоги, и через минуту в утренней тишине на весь двор раздался голос Чеперухи:

— Эй, майор, открывай свои двери: телеграмма от полковника Ланды, чтобы майор Бирюк подготовил встречу!

Зиновий, когда услышал, набросил на себя макинтош, хотел немедленно подняться наверх, увести отца, иначе наверняка разразится скандал, и майор Бирюк будет прав на все сто процентов. Но вопреки ожиданиям никаких голосов — ни громких, ни тихих — больше не было, видно, хозяин открыл двери, впустил непрошеного гостя, и теперь разговор шел в квартире. Квартира есть квартира, и врываться, как его отец, спозаранку к соседу Зиновий не мог позволить себе, тем более по делу, которое к нему лично не имело отношения.

Слышно было, как Федя Пушкарь открыл свои двери, видимо, тоже стоял и прислушивался, но поскольку шум прекратился, через пару минут захлопнул.

Катерина, нечесаная, в ночной рубахе, вышла из другой комнаты, уставилась на Зиновия:

— Ты чего караулишь? Слышала во сне папашин голос: своего друга Ланду звал. А тот, — Катерина засмеялась, — в ответ звал к себе: "Давай, Иона, сюда, здесь для тебя на нарах свободное место рядом, вдвоем весе-

лее!". Дурень, — Катерина подошла, прижалась, — говорила тебе: Гизеллу все равно выселят, не спи, дергай в исполкоме за все ручки, пусть передадут квартиру офицеру-инвалиду Зиновию Чеперухе, семья четыре человека. Ну не можешь сам, скажи: не могу. Вдвоем будем теребить. Не хочешь вдвоем — сама пойду, одна.

Катерина взяла руками голову Зиновия, сказала, пусть не отворачивается, пусть смотрит в глаза, Зиновий сбросил руки, посмотрел внимательно в глаза, как будто испытывает, и произнес:

— Готовь, Катерина батьковна, хлеб-соль: полковник Ланда возвращается домой.

— Шутишь! — воскликнула Катерина.

— Шучу, — сказал Зиновий, включил радио, комната наполнилась звонкими пионерскими голосами: "И все мы в бой пойдем за власть Советов, все, как один, умрем в борьбе за это!".

Катерина затрясла кулаками, пусть немедленно выключит свое радио, а то дети проснутся.

Но дети уже сами проснулись, выскочили оба из своей спальни и просили папу, чтобы не выключал радио, эту песню как раз вчера учили в детском саду, и воспитательница велела, чтобы все выучили наизусть, а кто не выучит, того поставят в угол, и будет стоять, пока не выучит.

Когда песня кончилась, диктор сказал, с первых дней апреля в нынешнем году по всей стране началась всенародная подготовка к празднованию годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В Ульяновске, бывшем Симбирске, где Ильич провел свои детские и юные годы, организована выставка: "Ленин — вождь и создатель Коммунистической партии и Советского государства". На выставке широко представлены подлинники и копии документов, написанных лично Лениным.

Зиновий внимательно слушал, Катерина сказала, эти новости она уже слышала у себя в Улан-Удэ, когда принимали в пионеры, Зиновий не откликался, прослушал сообщения по стране до конца, Катерина насмешливо спросила, ну, где та байка, что Ланда возвращается домой, надо готовить хлеб-соль, Зиновий пропустил мимо ушей, на лице росло удивление, и громко произнес:

— Катерина, ты слышала, ни разу не назвали Сталина.

Катерина пожала плечами: а чего называть? Кто именинник, того назвали. Зиновий посмотрел внимательно, как раньше, как будто хотел прочитать в глазах, Катерина вдруг вспыхнула:

— Брось ты, Зиновий Ионыч, свои одесские штучки: есть чего сказать,

говори, а читать в глазах, как покойный ваш Дегтярь, ты забудь это. Свято место пустовать не будет: ты не спеши занимать.

Катерина вся напряглась, дети смотрели испуганно, прижались один к другому, Зиновий неожиданно подмигнул, засмеялся, крикнул мальчикам весело:

— А ну-ка, дети, скажите своей маме медведице, что на дворе уже апрель, пора вылезать из берлоги!

— Мама, — закричали хором Гриша и Миша, — вылезай из своей берлоги: на дворе уже апрель!

Катерина схватила одного и другого за уши, мальчики, хотя лица скривились от боли, в один голос завопили, а нам не больно, в это время распахнулась дверь, влетел дед Чеперуха, вырвал внуков из рук Катерины, подставил свою седую голову и сказал, если так сильно неймется, пусть дерет за уши его, только раз-два, а то пора на работу, он не успеет рассказать про Бирюка и Бирючку, как те его кормили завтраком у себя дома.

Катерина, вместо того чтобы ответить свекру как надо за то, что подрывает авторитет матери перед детьми, вдруг сама развеселилась, как будто в самом деле смешно, и предложила Ионе, пусть еще расскажет, как хозяева уложили его между собой и поднесли в постель пол-литра.

Старый Чеперуха ответил, пол-литра не поднесли, а стопку таки поставили, и не одну, а две.

— Можете сказать, и три, — насмешливо повела плечами Катерина.

Чеперуха наморщил лоб, будто припоминает, загнул один палец, другой, третий и громко топнул ногой:

— Катерина, чтоб я так был здоров, ты права: таки не две, а три!

Зиновий нахмурился, видно, не нравилась вся сцена, Иона опять топнул ногой:

— Зюня, ты можешь быть гордый за своего папу. Твоя чалдонка угадала на все сто процентов: не две стопки, а три. Майор как раз успел сказать тост, что Бог любит троицу, но Бирючка выхватила прямо из рук, до вечера еще далеко, день только начинается, а с Чеперухой немного опоздала, так что получилось ровно три.

— Ровно три, — топнул ногой Гриша, за ним топнул Миша, — ровно три!

Мальчики прижались к деду, Иона поднял обоих на руки, как будто Первое мая или Седьмое ноября, и торжественно произнес:

— Внуки, запомните навсегда этот день! Сегодня майор Бирюк, Герой Советского Союза, которому дали пост в самом Берлине, чтобы охранял нашу советскую власть, сказал вашему деду: "Иона Чеперуха, ты был прав

насчет доктора Ланды, а я был неправ, и прошу тебя как солдат солдата, не поминай меня лихом и прости!".

— Дед, — закричали Гриша и Миша, — он плохой, он на тебя кричал, пусть просит, пусть станет на колени, а ты скажи ему: не хочу простить!

— Внуки мои, — старый Чеперуха поцеловал одного и другого в щеки, громко крякнул, оба заложили пальцами уши, — внуки мои, человек не должен быть злой, не должен злиться. Человек может рассердиться, — Иона задумался, качнул головой, — да, рассердиться может, но злиться, держать злобу в душе не надо. Кто держит внутри злобу, тот себе портит жизнь и другим портит.

— Папаша, — сказала Катерина, — кончайте свою философию, здесь не хедер и не Красный уголок.

— Катерина, — Иона подошел вплотную, положил руку на плечо, — откуда у молодой женщины столько желчи на людей? Пойди к доктору, проверься на камни, может быть, надо сделать операцию, пока не поздно.

— Не ваша забота, — Катерина наклонила голову, сбросила руку. — Не я садила вашего Ланду, но раз посадили, значит, было за что. Так просто, ни с того ни с сего, не садят.

— Дурочка, — сказал Иона, хотел опять положить руку на плечо, но Катерина уклонилась, — дурочка, вместо того чтобы вылеживаться по утрам и гадать на кофейной гуще, лучше вставай спозаранку, как встает Иона, и включи свой репродуктор.

— Тьфу, — сплюнула Катерина, — а горел бы он огнем, ваш репродуктор!

— Дед, — закричали хором Миша и Гриша, — а горел бы огнем твой репродуктор!

Катерина завела руку кверху, вроде собирается шлепнуть, но в это время постучал за стеной Федя Пушкарь:

— Эй, прекратите свой гармидер и слушайте, что говорит радио.

— О! — Иона поднял свой палец к потолку, все машинально посмотрели вслед, как будто ожидали голоса сверху, но голос шел сбоку из-за стены: Федя Пушкарь сделал как можно громче, чтобы соседи могли послушать вместе с ним.

Начало уже пропустили, но по смыслу легко можно было догадаться, что диктор — все узнали голос Левитана — говорит про врачей:

— ...были арестованы неправильно, без каких-либо законных оснований... — в комнате у Пушкаря радио сильно затрещало, Зиновий быстро включил свой приемник и сразу нашел станцию. — Показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получе-

ны работниками следственной части бывшего Министерства госбезопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия...

— Да где же здесь про вашего Ланду? — развела руками Катерина.

Старый Чеперуха, хотя никто не просил, подскочил к приемнику, сделал на полную громкость, так что теперь глухонемой мог услышать. Левитан говорил торжественным голосом, как во время войны, когда передавали приказы Верховного Главнокомандующего про победы наших войск над немцами и наступление на Берлин:

— Привлеченные по этому делу полностью реабилитированы, из-под стражи освобождены, а лица, виновные в неправильном ведении следствия, арестованы и привлечены к уголовной ответственности.

— Ах, сукины дети! — Иона хлопнул в ладони, Гриша и Миша тоже хлопнули и повторили вслед за дедом: — Ах, сукины дети!

Катерина схватила Гришу и Мишу, в один прием обоих, за уши, закричала, чтоб не повторяли уличные слова, старый Чеперуха наклонил голову, подставил прямо под руку, пусть хватает его, а на детей пусть руку не поднимает.

Катерина вдруг заплакала, набросилась на Зиновия:

— Что, христарадник, доигрался, дождемся, теперь молчишь, как истукан! Господи, за что, — Катерина затрясла руками, — за что, Господи!

— Чалдонка, — весело закричал Иона, — перестань свои кулацкие штуки, а то допросишься у Бога, что будешь опять, как та старуха в сказке про золотую рыбку, сидеть у разбитого корыта!

— Зиновий, — Катерина вытерла кулаком слезы, видно было, что уже взяла себя в руки, — ты скажи своему Ионе Аврумовичу, кто привык всю жизнь жить в нужнике, того в нужнике и похоронят, а я сама у отца-матери жила по-людски, и мои дети будут жить по-людски, а не только ваши Ланды да Гизеллы.

— Наши Ланды да Гизеллы? — переспросил Зиновий. — Что ты имеешь в виду?

— А то имею в виду, — скривилась Катерина, — что все люди имеют в виду, и нечего пялить зеньки, как солдат на вошь.

— Как солдат на вошь, как солдат на вошь! — обрадовались Гриша и Миша, подбежали к деду и спрятались за спиной.

— А ну, байстрюки, марш одеваться! — скомандовала Катерина.

— Подожди, — остановил Зиновий. — Я просил тебя объяснить, что ты имела в виду: какие наши Ланды да Гизеллы?

— Зюня, — встрял старый Чеперуха, — не придирайся к человеку: ничего она не имела в виду. Она просто повторяет то, что говорят другие: наши евреи умеют устраиваться. Да, — сказал Иона, — умеют. Но я хочу у тебя спросить, Катерина батьковна: ты говоришь, что живешь в нужнике, а по-моему, твой Зюнчик тоже сумел неплохо устроиться, и покойный Дегтярь был тысячу раз прав. А что касается нашего доктора Ланды, так пусть Иона Чеперуха не доживет до того дня, когда его внуки будут жить в квартире доктора Ланды, потому что доктора Ланду посадили в тюрьму. Кому нравится, пусть въезжает, а Иона Чеперуха, его сын и внуки на чужих костях в рай въезжать не будут.

— Только на своих биндюгах, — засмеялась Катерина. — У вас в Одессе, как послушать, так каждый биндюжник — Дюк Ришелье.

— Ерусалимские дворяне, — крикнул из-за стены Федя Пушкарь, — чумакам не свояки: ездют верхом на чужом горбу!

— Вот, — Катерина указала рукой на стену и поддела носком плинтус, чтоб сосед мог лучше услышать, — так и жить будем: пусть всякий Федя ухом приложится — да еще дырку в декорации просверлит.

За стеной послышался смех, но тут же оборвался: человек зашелся в сильном кашле и никак не мог унять.

— Федя, — постучал кулаком Иона, — а ты не затыкай себе рот: не дай Бог, навсегда поперхнуться можно.

— А вы, Иона Аврумович, не волнуйтесь, — нарочно громко, чтоб хорошо было слышно за стеной, сказала Катерина. — Федя хоть подавится, а слово свое, где надо, скажет. За ним не пропадет. Раньше до Дегтяря да Малой бегал, а теперь на повышение пошел — прямо на Бебеля половичок сладили.

— Ну, чалдонка, ну, баба, — Иона развел руки, захватил Катерину в охапку, — вот за это я тебя люблю! Не то, что наши одесситки: только на мужа гаркают и своими ляжками трясут!

Катерина сделала вид, что увертывается, и закричала, вроде зовет на помощь:

— Мадам Малая! Мадам Малая!

Гриша и Миша схватили деда за штаны, как будто оттаскивают, чтобы помочь маме, и хором тоже закричали:

— Бабушка Малая! Бабушка Малая!

Самое удивительное, что тут же постучали в дверь, Зиновий едва успел отворить, и на пороге встала сама Клава Ивановна.

— Чтоб я так была здорова, — поклялась Клава Ивановна, — сердце

подсказало мне, что Чеперухи меня ждут. Я сказала себе: Малая, хватит вылеживать свои боки — не надо ждать, пока позовут, а надо нагрянуть к людям как гром среди ясного неба, чтоб было настоящее чудо.

Клава Ивановна была в своем домашнем халате из добротной серой байки, немного похоже на балахон, пояс впопыхах забыла завязать, одним концом волочился по полу, Зиновий подобрал, быстро свернул в клубок, положил в карман халата. Клава Ивановна машинально схватилась рукой, как будто поймала воришку, но оказалось, это был только хитрый маневр, чтобы отвлечь внимание хозяев: засунув руку в другой карман, Клава Ивановна немного нахмурилась, будто не может найти то, что ищет, но тут же, как фокусник в цирке, выдернула руку из кармана, подняла высоко над головой, в руке была бутылка, на дне лежал зубец чеснока и стручок красного перца.

— Иона, — сказала Клава Ивановна, — это тебе персонально, чтоб мы все могли сегодня выпить за нашего доктора Ланду, которому ты собирал подписи от жильцов дома, когда никому другому не приходило в голову.

— Мадам Малая, — Иона смотрел как завороженный, смахнул большим пальцем с глаза слезу, — в старое время люди привыкли говорить: до царя далеко, а до Бога высоко. А я отвечаю: смотря какой царь, смотря какой Бог. Сегодня утром я зашел до Бирюка, и в присутствии жены и всей семьи он вслух признал: "Иона, то, что ты делал, тогда было ошибкой и неправильно. Но пришло время, наши органы разобрались, и оказалось, рабочая совесть тебя не подвела". Прямо в подштанниках, он даже не успел завязать штрипки, майор взял из буфета графин и сказал тост: "Иона, цыплят по осени считают. К народу, Иона Аврумович, надо прислушиваться: отмахиваться нельзя".

— Чеперуха, — мадам Малая велела поставить бутылку в шифоньер, пусть постоит, она скажет, когда пора откупорить, — я всегда знала и всегда говорила: снаружи, по манерам, Иона Чеперуха бывает грубый, как биндюжник с Молдаванки, но внутри у него доброе сердце, которое болит за правду.

— О, — воскликнул Иона, — теперь, когда сам товарищ Берия за меня и заявил, что Чеперуха таки был прав, все подхалимничают и хотят со мной дружить!

— Чеперуха, — мадам Малая зажмурила глаза, седые брови высоко поднялись над переносицей, — теперь, когда в нашем доме уже нет товарища Дегтяря, который поправлял нас на каждом шагу, надо помнить и нельзя забывать ни на минуту: каждый должен требовать от себя, как

требовал покойный Дегтярь, который всегда верил и знал, что если кого-то взяли по ошибке, как взяли нашего Ланду, обязательно придет день, партия разберется, и человек вернется домой.

Иона задумался, на лбу собрались морщины, сделал рукой движение, видно было, хочет задать мадам Малой вопрос, но Зиновий, который до этого момента внимательно слушал и молчал, опередил и спросил первый: почему сообщение, что врачей арестовали незаконно и подвергали пыткам, идет от имени Министерства внутренних дел, которым руководит Берия, а не от имени ЦК партии или Генеральной прокуратуры, которая подотчетна Верховному Совету?

— Зюня, — воскликнул старый Чеперуха, — это с твоей стороны некрасиво перебегать дорогу отцу. Пусть мадам Малая пока подумает, а я тебе отвечу. Все знают, Сталин был грузин, и Берия — грузин. Можно было рассчитывать, что после Сталина будет Берия. Но в Кремле решили по-своему: главным назначили Маленкова, а заместителем Берию. Но все равно, люди помнят: Берия есть Берия, Сталин любил его и доверял больше всех. И если Берия говорит, что врачей взяли даром, врачи не виноваты, все люди верят и говорят: товарищ Берия, вам спасибо, а виновных надо поставить к стенке и расстрелять. А расстреливать — это всегда была работа ГПУ и НКВД, а партия расстрелами не занимается. Партия руководит и учит — это ее работа. А расстреливать, — повторил Иона, — это всегда была работа НКВД, и для этого партия их поставила.

— Чеперуха, — замахала руками мадам Малая, — остановись! Я тебе говорю, остановись, а то у тебя в голове такой гармидер, что даже у покойного Фимы Граника был больше порядок!

За стеной, у Феди Пушкаря, загремело, как в мастерской у жестянщика, как будто кот, который неудачно прыгнул с полки на верстак, сбросил на пол все кастрюли, миски и листы жести.

Катерина подошла к стене, громко постучала и окликнула:

— Федя! Пушкарь! Ты еще живой там, невредимый, или пробило дырку в голове, надо срочно карету вызывать?

Все замолкли, стали машинально прислушиваться, но никто не отвечал. Иона вдруг сорвался с места, сказал, он постучит Феде в дверь, просто так, ему интересно знать, дома Пушкарь или уже ушел на работу, мадам Малая хотела загородить выход, но пока дошла до дверей, Иона был уже с той стороны и тарабанил к Пушкарю так, что в комнате у Зиновия все дрожало, и люстра качалась под потолком, как будто землетрясение.

— Зиновий, — сказала Клава Ивановна, — если ты хочешь, чтобы

у твоих сыновей был рядом дед, который в выходной день может взять их, чтобы пойти с ними погулять на Дерибасовскую или поехать в Аркадию, объясни ему по-хорошему, пока есть время и еще не поздно: Дегтярь лежит на кладбище, но советская власть у нас не кончилась. Объясни ему, этому старому биндюжнику: советская власть не кончилась.

— И никогда не кончится, — добавила Катерина.

— Правильно, Катерина, — похвалила Клава Ивановна, — и никогда не кончится, хотя я слышу в твоем голосе нотки, которые чужой человек, если не знает тебя, может услышать по-своему.

Зиновий вдруг, как будто какой-то веселый спектакль или клоун показывает в цирке свои трюки, зашелся в смехе, схватился за живот, Гриша и Миша тоже схватились за животы, Клава Ивановна сама не выдержала, стала смеяться, одна Катерина стояла неподвижно, будто нашел столбняк. Старый Чеперуха отворил дверь, остановился в проходе, по глазам видно было, не понимает, откуда такое веселье, но тут же, чтобы не отставать и не портить людям праздник, открыл шифоньер, вынул бутылку, отпил немного прямо из горла, произнес тост за доктора Ланду, за весь двор и всех соседей, чтобы жили всегда дружно и не знали горя, сделал еще пару глотков, слышно было, как булькает в горле, поставил бутылку обратно в шифоньер и сказал, пусть стоит до вечера, Федя Пушкарь вернется с работы и можно будет вместе отпраздновать.

Когда успокоились, Клава Ивановна напомнила Зиновию, пусть поговорит с отцом, а со своей стороны дала старому Чеперухе совет, сначала думать, а потом говорить, чтобы не приходилось гадать, слышно у соседа за стеной или не слышно.

— Гадать? — удивился Иона. — Почему гадать? Если сосед дома, так он слышит. А если его нет дома, так он не слышит. Но иногда сидят так тихо, что неизвестно, дома или не дома, и тогда приходится постучать в двери или позвонить, чтобы сосед ответил, дома он или не дома.

— Чеперуха, — покачала головой Клава Ивановна, — я вижу, лавры покойного Ефима Граника не дают тебе покоя: ты хочешь притворяться идиотом, чтобы смешить людей и говорить все, что тебе ударит в голову. Иона, — опять покачала головой Клава Ивановна, — но ты не Ефим Граник: он потерял все на свете — детей, жену, семью. А у тебя все есть: дети, жена, семья. И вдобавок, внуки. Иона, я повторяю тебе: ты не Ефим Граник.

Иона, хотя до этой минуты был настроен миролюбиво и мог радоваться вместе со всеми, что все складывается так хорошо и удачно, вдруг, когда никто не ожидал, набросился, словно укусила какая-то муха, на мадам

Малую с такими словами, что Катерина немедленно схватила Гришу и Мишу, вытолкала в другую комнату, только бы не слышали, какие выражения сыплются изо рта у деда. Зиновий, вместо того чтобы немедленно вмешаться и остановить, пока еще не поздно, сидел, как будто заколдованный на своем стуле, только хлопал глазами, вроде перед ним не родной отец, а незнакомый, посторонний человек ворвался неизвестно откуда и устроил настоящий погром.

Старуха Малая раскрыла рот, голова заметно тряслась, Иона обозвал неприличным словом, вынул из шифоньера бутылку, которую подарила ему персонально мадам Малая, бросил на пол, растоптал своими сапогами, комната сразу наполнилась запахом спирта, немного отдавало сивухой, и тут только Зиновий пришел в себя, схватил отца за плечи, усадил на диван, велел сидеть и не двигаться. Иона сделал попытку встать, Зиновий усадил вторично, подошел к мадам Малой, у старухи текли по щекам слезы, голова тряслась еще сильнее, Зиновий осторожно взял под руку, повел к дверям, гостья не сопротивлялась, шла покорно, Зиновий обнял за плечи, слегка прижал к себе, мадам Малая тихонько бормотала:

— Дети мои, дети. Мои дети.

— Мадам Малая, — сказал Зиновий, — вы же знаете моего папу, особенно когда выпьет. Это моя вина. Я виноват.

Зиновий предложил проводить домой, Клава Ивановна махнула рукой, не надо, сама притворила за собой дверь, потопталась немного на одном месте, как будто забыла, в какую сторону идти, отворилась Федина дверь, у порога стоял хозяин.

— Пушкарь? Ты дома. А, — покачала головой Клава Ивановна, — Иона так и думал, что ты дома.

— Дома, — подтвердил Пушкарь.

— Дома, — повторила Клава Ивановна, проходя мимо. — Я вижу, ты дома. Ты, наверно, слышал...

— Слышал, — кивнул Федя.

— ...нашего Ланду... — Клава Ивановна вдруг качнулась, протянула руку, будто хочет ухватиться за стенку, и свалилась как подкошенная.

Федя подбежал, стал поднимать, но тут же воротился, захлопнул двери, чтоб люди видели, только что пришел с улицы, застал Клаву Ивановну без памяти, в двух шагах от порога Чеперухи, откуда минуту назад старуха вышла, и громко стал звать на помощь.

Выскочила Катерина, за ней Зиновий, выглянули из окон соседи, Катерина наклонилась, взяла за руку, пыталась нащупать пульс, хлопнула

несколько раз по щекам, голова качнулась влево, вправо, глаза оставались закрытыми, Федя спросил: кончилась? Катерина не ответила, с третьего этажа на весь двор закричали:

— Мадам Малая скончалась! Лежит возле форпоста, где Чеперухи.

Через две минуты вокруг собралась толпа, Катерина требовала, чтобы освободили пространство, а то нарочно создают условия для асфиксии, люди соглашались, что надо расступиться, освободить пространство, но получалось наоборот, еще теснее обступали, пока, наконец, не вмешался старый Чеперуха, который один, как будто у себя в конюшне, не растолкал, раскидал людей, поднял с земли мадам Малую и понес на второй этаж, чтобы могла отлежаться на своей постели.

Катерина велела всем выйти, пришлось буквально выставлять, осталась одна у постели, взяла пузырек с нашатырем, аптечка стояла на тумбочке, прямо у изголовья, поднесла больной к носу, слегка смочила ноздри, послышался слабый стон, Клава Ивановна открыла глаза, во взгляде было недоумение, тихо спросила:

— Где я? Что со мной? — Чуть скривились губы, похоже было на горькую усмешку. — Я живая?

— Живая! — Катерина засмеялась, поцеловала в лоб.— Сто двадцать лет жить будете.

— А где этот... — Клава Ивановна напряглась, видно, пыталась вспомнить имя и не могла, — ну, этот, который растоптал своими ногами бутылку, я принесла ему подарок?

Катерина нахмурилась, в глазах мелькнула тревога:

— Мой тесть?

— Да, да, — обрадовалась мадам Малая, — твой тесть, ну, как его зовут? Я вижу, ты забыла, как его зовут. Ну, возьми себя в руки, ты должна вспомнить.

— Чеперуха, — Катерина наклонила голову. — Иона.

— Чеперуха, — повторила Клава Ивановна, — правильно: Иона Чеперуха. Он схватил топор и бегал за своим Зюнчиком по двору, а Степа Хомицкий и Фима Граник его останавливали. Я давно не видела Фиму. Ты не знаешь: где Фима? Раньше он жил на третьем этаже, а теперь с тобой рядом. Ты не любишь его, ты плохо к нему относишься.

Катерина взяла Клаву Ивановну за руку, пальцы были холодные, слегка помассировала и сказала:

— Лежите спокойно, не надо думать и вспоминать о плохом. Надо думать только о хорошем. Вам нельзя волноваться. Думайте только о хорошем.

— Катерина, — сказала Клава Ивановна, — здесь под кроватью горшок. Дай горшок: мне надо вырвать.

Катерина наклонилась, достала горшок, но пока поднесла, больную вырвало, все попало на халат, Катерина собрала в ладонь, стряхнула в горшок, взяла полотенце, смочила, тщательно вытерла, осталось только влажное пятно и немножко неприятный запах.

Клава Ивановна сказала, она хочет встать, пусть Катерина поможет ей, а то кружится голова, как будто долго качалась на качелях.

Катерина объяснила, вставать нельзя, только что был сильный обморок, наверно, спазм сосудов мозга, полагается лежать и сохранять абсолютный покой, пока не наступит полное восстановление сил.

Клава Ивановна сказала, она не хочет абсолютного покоя, пусть у наших врагов на том свете будет абсолютный покой, а у нее есть работа и, если она сама не сделает, никто другой за нее не сделает.

Катерина терпеливо выслушала, согласилась, да, Клава Ивановна сама должна сделать свою работу, никто другой не сделает, но если человек заболел и надо полежать, значит, надо полежать, а капризы ни к чему.

— Сволочи, — заплакала Клава Ивановна, — пока Малая на ногах, она за всеми ухаживает и подносит горшки, чтобы не делали под себя, а когда Малая говорит, помогите мне подняться, вы находите всякие отговорки, чтоб уложить ее навсегда, и тогда каждый сможет делать, как хочет!

— Очень хорошо, — сказала Катерина, — я вижу, вы уже при полной памяти, но все равно придется полежать. А хотите по-своему, сами и управляйтесь, я пособлять не стану.

Клава Ивановна привстала, оперлась на локоть, на шее от напряжения вздулись жилы, темно-синие, с лиловым отливом, Катерина молча смотрела, машинально сделала движение, чтобы помочь, но сдержала себя, Клава Ивановна сама продолжала подниматься, наконец выпрямилась, прислонилась спиной к стене, ноги опустила на пол, но, видно, потратила слишком много сил и опять свалилась.

— Мадам Малая, — сказала Катерина, — теперь вы сами видите: пока надо лежать.

— Помоги мне, — опять заплакала больная, — помогите! Я прошу: помогите!

Это была уже не просьба, это был крик о помощи, как будто кто-то навязывает свою волю или прямо насилует, Катерина грубо осадила, сказала, у нее тоже терпение не железное, всему есть предел, но Клава Ивановна, вместо того чтобы взять себя в руки, как можно было ожидать в ее положении, наоборот, собрала все свои силы и опять стала выкликать:

— Помогите! Ратуйте!

Катерина закрыла уши ладонями, чтобы не слышать этих воплей, но вдруг задергалась ручка, дверь затряслась от стука и грохота, словно высаживают тараном.

Катерина крикнула, чтоб прекратили бесчинства, а то придется вызвать милицию, но стук тут же повторился, Катерина побежала отворять и, едва отомкнула, увидела, что на пороге стоит майор Бирюк, в мундире, при всех своих регалиях.

Не говоря ни слова, майор отодвинул Катерину в сторону, как будто не живой человек, а какая-то кукла или манекен, подошел к мадам Малой, с ходу спросил, почему она лежит, почему не встает, Клава Ивановна смотрела испуганными глазами, Андрей Петрович протянул руку, чтоб больная могла ухватиться, и громко приказал:

— Вставай, Малая!

Катерина, наконец, опамятовалась, подошла к Андрею Петровичу, хотела оттолкнуть, как он давеча, едва ступив через порог, оттолкнул ее, но майор даже не качнулся, как будто ноги магнитом притянуло к полу, только посмотрел нехорошими глазами и, кивнув в сторону Малой, то ли спрашивал, то ли сам ставил диагноз:

— У старухи удар? Я в курсе дела. Разберемся. Пока вызывай скорую помощь, надо отправить в больницу.

Катерина сказала, это не удар, просто сильный спазм сосудов головного мозга. Майор махнул рукой и обратился к больной:

— Малая, у тебя шалят сосуды. Надо вызвать скорую помощь, чтобы отвезли в больницу. Малая, приготовься. Оставь, кому хочешь, ключи, чтобы могли присмотреть за домом. Можешь оставить мне, я сам организую.

— Бирюк, — больная протянула обе руки, кожа была морщинистая, с коричневыми пятнами от запястья до локтя, — зачем тебе надо, чтобы меня забрали в больницу? Я не хочу в больницу, прошу тебя, я хочу остаться у себя дома. Я обещаю тебе: завтра я буду уже на ногах, и никому не надо будет возиться со мной.

— Малая, — перебил майор, — давай не будем разводить канитель. Сказано: у тебя шалят сосуды, надо принимать меры. Я позвоню, чтобы прислали карету. Когда в больнице обследуют, будем решать, — Андрей Петрович кивнул в сторону Катерины, — что делать дальше. Пока задание номер один: госпитализация.

Андрей Петрович вышел, тут же заглянул старый Чеперуха, Катерина сделала знак, чтоб не заходил, но все равно зашел, кулаками сжал с обеих

сторон голову, Клава Ивановна повернулась, увидела, поманила пальцем, пусть подойдет к ней.

Иона топтался на одном месте, видно, не решался или не понял, что зовут. Малая опять поманила пальцем и сказала:

— Подойди, я зову тебя.

Иона стоял растерянный, было впечатление, что ждет сигнала от невестки, Катерина процедила:

— Чего теперь галантерейничать: подходите, Иона Аврумович, коли зовут.

Иона подошел, правый глаз немного слезился, вытер кулаком, мадам Малая ласково улыбнулась:

— Чеперуха, ты знаешь: нашего доктора Ланду выпустили.

Иона улыбнулся в ответ: он знает. Из-за этого все получилось: если бы радио не объявило про врачей и про доктора Ланду, которые ни в чем не виноваты и могут вернуться домой, он бы не выпил сначала с Бирюком, потом немножко у Зиновия, когда мадам Малая принесла ему персональный подарок. Все были бы живы и здоровы, мадам Малая не лежала бы теперь с головой и сосудами, так что приходится думать черт знает что.

— Малая, — правый глаз опять стал слезиться, Иона провел кулаком, чтобы вытереть, — ты таки права: я еще больше идиот и дурак, чем покойный Фима Граник, пусть земля ему будет пухом. И как ни тяжело, что Дегтярь умер, но не дай Бог ему все это видеть и слышать. Жалко только, что он не дожил и так уже никогда не узнает, что Берия освободил нашего Ланду и вместе с ним всех остальных докторов и врачей.

— Иона, — нахмурилась Клава Ивановна, — почему ты сказал про Фиму, пусть земля ему будет пухом? Он опять набедокурил и прячется неизвестно где?

— Малая, — Иона улыбнулся, развел руками, — ты из чистого золота: только что ты имела обморок, а теперь шутишь, как ни в чем не бывало. Малая, я хочу поцеловать твои золотые руки, которые делали нам столько добра, что все вместе разом мы не стоим твоего мизинца.

Иона наклонился, взял руку мадам Малой, немного приподнял, прижался губами, Клава Ивановна зажмурила от удовольствия глаза:

— Ах ты, старый супник, тебе дай волю — ты всех женщин перепортишь!

— Ой, Малая, — запричитал Иона, как будто над покойником, — я сволочь, я последняя сволочь, и меня надо стегать батогом, как я своих коней, когда не хотят идти вперед и тянут в разные стороны!

Свободной рукой Клава Ивановна провела у Ионы по волосам, сказала, стал совсем седой, а в голове все равно ветер, как в двадцать пятом го-

ду, бедная Оля была беременная, должен был родиться Зюнчик, а Иона бегал к Циле из тринадцатого номера, и весь переулок видел, так что стыдно было смотреть людям в глаза.

— Малая, — Иона опустил голову еще ниже, — здесь рядом стоит Катерина и все слышит своими ушами, а ты выводишь Чеперуху на чистую воду, чтобы через тридцать лет краснел и раскаивался, как будто только вчера, и все должны помнить.

— Чеперуха, — сказала мадам Малая, — люди все помнят. Как говорил покойный Дегтярь: у нас хорошая память — мы ничего не забываем. А теперь немножко отодвинься: что-то мне не по себе, опять тошнит. Катерина, подай сюда горшок, чтоб стоял рядом.

Катерина, которая смотрела на Клаву Ивановну и своего тестя во все глаза, так что не могла оторваться, откликнулась не сразу, Иона не стал ждать, сам полез под кровать, достал горшок, поставил прямо у изголовья, но Клава Ивановна сделала знак рукой, пусть уберет, пока не надо.

Внезапно из коридора задергали ручку, послышался сильный стук в двери, Катерина была уверена, что вернулся майор Бирюк, пошла отворять, но оказалось, дергает и стучит Ляля Орлова, которая тут же влетела в комнату с криком, с воплями, как будто тайный притон, вершат черные дела, а она поспела в последнюю минуту, чтобы прийти на помощь.

Оттолкнув старого Чеперуху, Ляля опустилась на колени, обеими руками схватила больную за голову, Катерина сказала, это издевательство и насилие над больным, которому, прежде всего, нужен покой, Клава Ивановна тоже просила отпустить, но Ляля, вместо того чтобы послушаться, закричала:

— Убийцы! Палачи! Я все знаю: Малая пришла к вам, чтоб поделиться радостью, а вы устроили у себя в доме дебош и довели старуху до инсульта, до мозгового удара, чтоб хватил паралич и не могла двигаться! Думаете, пробил час для реванша: ваш Чеперуха терзал Дегтяря, Дегтяря похоронили — теперь на вашей улице праздник! Будет вам праздник на Люстдорфской дороге, давно приготовили для вас место, — Ляля выпрямила два пальца, положила поверх два других, получилось, как у детей, когда показывают теремок, а в нем окошко, — для всего кагала вашего!

Катерина пожала плечами: при чем здесь кагал — она вообще из Сибири. Ляля возмутилась: пусть не перекручивает, она совсем не то имела в виду!

Вернулся Андрей Петрович, остановился в дверях, Иона хотел обратиться, чтоб был ему за свидетеля, как эта женщина оскорбляла всю семью

Чеперухи и грозила тюрьмой, как будто она советская власть и прокуратура в одном лице, но майор тут же перебил и сам обратился к Орловой:

— Слушай, Орлова, ты здесь самозванством не занимайся — в тюрьму людей не загоняй. Потребуется следствие — организуем следствие. Потребуется суд — дойдем до суда. Есть для этого закон, а самозванством не занимайся.

— Бирюк, — Иона развел руки, двинулся навстречу, — я всегда говорил, покойный Дегтярь, если б он был живой и с нами, мог бы тебе подтвердить и повторить мои слова: майор Бирюк, если его посадить на кони, так гикнет, аж ветер в ушах засвистит. Бирюк, дай я обниму тебя.

Андрей Петрович выставил вперед руку, Иона невольно наткнулся, в другое время можно было бы обидеться, но сейчас был неподходящий момент: Клаву Ивановну вдруг сильно вырвало, лицо сделалось серое, под глазами тяжелые мешки, с синевой по краям, видно было, состояние значительно ухудшилось, майор, пока женщины убирали рвоту и смывали пятно, слегка потрепал больную по руке и сказал:

— Малая, потерпи немного: скорая помощь уже едет, сейчас тебя отвезут в больницу, там доктора сделают укол и все что надо.

Первую минуту Клава Ивановна громко ойкала и стонала, но понемногу пришла в себя, опять стала возражать и доказывать, что ей не нужна скорая помощь, не нужна больница, она отлежится у себя дома, все пройдет, а свои хлопоты и заботы пусть оставят для другой цели.

Ляля сплела пальцы, прижала к груди, громко воскликнула:

— Какая другая цель! Какая может быть сейчас цель, кроме одной: чтоб вы опять стали здоровы и были с нами!

Бирюк сказал Чеперухе, чтобы вышел на улицу и ждал у ворот, пока не приедет скорая помощь, а то станут даром тратить время на поиски. Иона ответил, у ворот всегда кто-нибудь стоит, тем более сейчас, так что он будет только пятое колесо в телеге, а здесь он может пригодиться.

Андрей Петрович, чтобы не тревожить больную громкими разговорами, взял Чеперуху под локоть, повел к дверям и сам отворил:

— Повторяю: стой у ворот и жди, пока не приедут.

Первое желание у Ионы было ответить как надо этому солдафону, который забыл, что он не в армии, среди фрицев в Берлине, но за дверью стояли соседи, внимательно наблюдали, Иона вдруг, хотя в мыслях не было ничего похожего, взял под козырек, как будто наполовину шутка, наполовину всерьез, и повторил приказ:

— Есть, товарищ майор: стоять у ворот и ждать, пока не приедут!

Иона успел спуститься на один пролет, в парадную зашла Дина Варгафтик и стала подниматься по лестнице прямо навстречу. Иона вежливо поздоровался первый, можно было ожидать, сейчас начнутся расспросы, но Дина даже не поздоровалась в ответ, не повернула головы, как будто впереди пустое место. Иона машинально замедлил шаг, на какой-то миг приостановился, стал смотреть вслед, а Дина продолжала подниматься по лестнице вверх, ступенька за ступенькой, захотелось догнать ее, плюнуть в физиономию, как плюнула в лицо ему, но Дина уже закончила свой подъем, слышно было, как цокают каблуки по паркету в коридоре, Иона махнул рукой и вышел из парадной во двор.

На черном дворе у крана над сливом стоял со своим разводным ключом Степа Хомицкий. По выражению лица видно было, дело не ладится, Иона спросил Степана, не нужно ли подсобить, тот ответил, тут никакая человеческая сила не поможет, надо просить Джавахарлала Неру, чтобы слонов из Индии прислал, столько наложили. Да, подтвердил Иона, наложили, придется поднимать решетку, делать ревизию всего узла, тем более что возвращается доктор Ланда и глазами медицинского работника посмотрит, до чего довели санитарное состояние двора.

Эге, махнул ключом Степан, пока вернется доктор Ланда, еще двадцать раз успеем обверзаться с ног до головы.

Надо сделать, сказал Иона, как предлагала Малая: поставить у крана круглосуточное дежурство.

— Слушай, Иона, — вдруг перевел на другое Степан, — ты, говорят, старуху Малую трахнул так, что упала без сознания и теперь одной ногой там.

Степан указал ключом в землю. Иона от удивления мог только рот раскрыть.

— Степан, — Иона развернул свою пятерню, ладонь была вся покрыта бурыми мозолями, — как ты можешь повторять эти грязные слухи и сплетни! Ты же сам своими глазами столько раз видел, как Чеперуха держал одной рукой Мальчика за копыто, такого мерина Одесса больше не будет иметь, а Мальчик мог только еле-еле ногой подрыгать. Боже мой, — Иона схватился обеими руками за голову, — какая короткая память у людей из двора, где Чеперуха прожил всю свою жизнь, и каждый камень знает его как облупленного!

Память у людей, сказал Степан, как этот слив: хорошее уходит под землю, а дерьмо забивает трубы и остается на виду.

— Степан, — Иона положил руку Степе на плечо, — я тебе скажу, как брату: Дегтярь, если б он был живой, вызвал бы Чеперуху к себе, дал, как

положено, но закрыл бы рот кому надо, чтоб не поливали незаслуженной грязью старейших жильцов двора.

— Такие Дегтяри, — Степан поднял решетку, из-под земли ударил тяжелый воздух, — рождаются один на тысячу, и надо думать, как жить своей головой, а не ждать, пока придет новый Дегтярь, а то будем строить коммунизм еще сто лет, пока не доведем жилой фонд и сантехнику до такого состояния, что никакой золотарь со своей американской бочкой не выгребет.

Иона удивился: американский золотарь? При чем здесь американский золотарь со своей бочкой? Во-первых, у нас есть свои бочки и свои золотари, и не надо звать на помощь американцев. А во-вторых, Иона задумался, видно, не мог сразу найти подходящее слово, а во-вторых, из этого сравнения можно подумать, Степа не верит, что мы можем построить коммунизм. Тогда, сказал Иона, он задаст другой вопрос: если мы не можем построить коммунизм, так что же мы строим?

Степан сказал Ионе, чтобы не перекручивал слова, никто не может ответить точно, в каком году, тем более какого числа, но коммунизм будет не только у нас, будет во всем мире, это факт, взял кусок толстой проволоки, загнул один конец, чтоб получился крючок, запустил в глубь жижи, пришлось заталкивать с силой, потому что скопилась очень плотной массой, и стал шурудить. Иона внимательно наблюдал, со своей стороны предложил Степану помощь, пусть сделает второй крючок, он тоже пошурудит, вдвоем будет быстрее. Степан не откликался, так погружен был в дело, Иона сам взял кусок проволоки, наступил ногой, чтобы согнуть, затолкал крючок в массу, завертел с такой силой, что образовалась воронка, сразу видно было, дело пошло на лад.

— Степан, — весело воскликнул Иона, — недаром наши пионеры поют: кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется!

Степан, хотя налицо имелись явные признаки успеха и были все основания радоваться, наоборот, нахмурился. Всматриваясь в воронку, которая, в зависимости от скорости вращения, то увеличивалась, то уменьшалась, Степан велел Ионе прекратить движение, сам тоже прекратил, воронка быстро сходила на нет, наконец, совсем не стало, только подымались пузыри, которые тут же, едва вздувшись, лопались. Иона смотрел с недоумением, как будто не верит своим глазам, настолько разительный был контраст: пока крутили проволокой, воронка в какие-то моменты делалась такой глубокой, что, казалось, сейчас хлынет все в канализацию, и останется только промыть чистой водой.

Степан сказал, придется идти в погреб, снимать колено, делать генеральную ревизию, а то жильцы со второго, третьего этажа добавят — весь двор затопим так, что никакие скафандры не помогут.

— Степан, — обратился Иона, — я пойду с тобой, но сначала надо привести Бирюка, чтобы пошел вместе с нами и увидел своими глазами, что так оставлять дальше нельзя и надо принимать меры.

Степан махнул рукой, незачем звать. Иона сказал, вот так и получается: один махнул рукой, другой махнул — а потом всем двором будем кивать на Ивана, на Петра, на Сидора.

— А кто они: Иван, Петр, Сидор? — разошелся Иона.— Ты, Хомицкий, ты, Чеперуха, ты, Бирюк — мы все Иван, Петр, Сидор, и нечего кивать, а надо прямо сказать: ты хозяин — ты в ответе и призови каждого, чтобы все знали: ты хозяин — ты отвечай!

Степан спустился в погреб. Иона готов был побежать вслед, но на улице завыла сирена "скорой помощи". Иона вспомнил, что должен встретить у ворот, чтобы проводить к мадам Малой, которая, пока он помогал Степану с чисткой канализации, совсем вылетела у него из головы.

Хорошее настроение, которое было, пока работали со Степаном и рассуждали про коммунизм, вмиг улетучилось, на сердце опять легла тревога, как будто должно произойти что-то нехорошее, Иона ускорил шаг, чуть-чуть не опоздал, доктор со своим санитаром уже стояли в подъезде, прямо навстречу вышла Оля, Иона только успел подумать, сейчас начнется истерика и вопли, Оля схватилась за голову, не своим голосом закричала:

— Ой, я предчувствовала! Иона, что с нашими детьми?

Иона невольно засмеялся, так далеко было от истины, ответил, с детьми все в порядке, они сидят дома и пьют чай перед детским садом, а "скорая помощь" — к мадам Малой, майор Бирюк поручил ему встретить у ворот, чтобы даром не тратили время на поиски.

Оля сразу успокоилась и тут же, хотя никто не обращался и не спрашивал, объяснила доктору, что мадам Малая, вместо того чтобы в ее годы сидеть где-нибудь в Александровском садике на скамейке и отдыхать, всегда находит что-нибудь, чтобы крутить мозги себе и другим, можно только удивляться, откуда у старухи берутся такие силы, и, она дает голову наотрез, "скорая помощь" с чем приехала к мадам Малой, с тем и уедет.

В действительности не все оказалось так благополучно, как предвидела Оля. Доктор, старый еврей, вынул из кармана свой фонендоскоп, видно, достался еще от отца или деда, такой был потертый, выслушал мадам Малую со всех сторон, велел приподняться, постукал по спине костяшка-

ми пальцев, Андрей Петрович придержал за плечи, больная сначала терпела молча, но через минуту стала жаловаться на головокружение, доктор разрешил лечь, измерил давление на левой руке, на правой, была небольшая разница, но, в общем, ничего страшного.

Иона, ни к селу ни к городу, поднял сжатый кулак, сделал рот фронт и громко произнес:

— Наша старая гвардия!

Больная улыбнулась, подняла ко лбу правую руку, получилось вроде пионерского салюта, доктор похлопал по плечу, да, старая гвардия это старая гвардия, майор Бирюк сказал, тем более надо беречь и обеспечить медицинскую помощь в первую очередь. Доктор на миг задумался, взял больную за руку, непонятно было, щупает пульс или просто держит, чтоб подбодрить, и объявил решение: стационар.

Ляля Орлова сразу состроила гримасу, как будто предлагают отвезти не в стационар, а неизвестно куда, чуть не на кладбище, мадам Малая категорически заявила, что никуда не поедет, она отлежится дома, во дворе всегда найдется кто-нибудь, чтоб мог присмотреть, если понадобится. Катерина Чеперуха откликнулась первая, она готова хоть сейчас, но майор Бирюк приказал женщинам, пусть соберут минимум вещей, необходимых пациенту для больницы, велел санитару принести носилки, через пять минут все было готово, мадам Малая, когда принесли носилки, опять заартачилась, пришлось укладывать чуть не силой.

Санитар встал у носилок сзади, майор Бирюк велел Ионе, пусть возьмет с головы, а сам расположился сбоку, чтобы в случае надобности подхватить.

Больную отвезли в Сталинскую райбольницу, на углу Троицкой и Карла Маркса, по-старому Екатерининской. В приемном покое дежурный врач, молодая блондинка, большие серые глаза, на голове крахмальная шапочка, внимательно осмотрела, спросила, на что больная жалуется, мадам Малая ответила, у нее одна жалоба, она хотела, чтобы оставили дома, а ее насильно уложили и привезли сюда.

Доктор велела закрыть глаза, нажала пальцами на веки, больная невольно застонала, доктор удивилась, неужели так больно, вынула из халата булавку, сделала несколько уколов в лоб, подбородок, потом в пальцы рук и ног, всякий раз, укалывая, задавала вопрос, чувствует ли больная укол и есть ли разница, Клава Ивановна отвечала, что укол чувствует, а есть ли разница, сказать не может: то кажется, что есть, то кажется, что нет.

Хорошо, сказала доктор, пусть больная полежит, она сейчас вернется.

Сейчас, как рассчитывала доктор, не получилось, прошло хороших

полчаса, пока вернулась и привела с собой еще одного доктора, по лицу чем-то напоминал Ланду. Доктор держал в руках никелированный молоточек, внимательно посмотрел в глаза, поднес молоточек больной к носу, провел несколько раз направо, налево и велел следить взглядом. Клава Ивановна просила, не так быстро, она не успевает поворачивать глаза. Доктор сказал, наоборот, это он поворачивается так, что в Древнем Риме его назвали бы Кунктатор-Медлитель, как ихнего генерала Фабия, который прославился своей медлительностью, когда один семит, по имени Ганнибал, из африканского города Карфагена, стоял у ворот Рима и кричал своим гортанным голосом: "Эй, римляне, посмотрите налево, посмотрите направо: везде я, Ганнибал, со своими слонами!".

Повторяя команду, какую Ганнибал давал римлянам, чтобы смотрели налево и направо, доктор убыстрял движение молоточка, и Клава Ивановна невольно следила, как будто команда относилась к ней. Доктор похвалил, назвал молодцом и сказал, если бы у всех наших людей были такие рефлексы, можно было бы закрыть все больницы. Общество с такими рефлексами, сказал доктор, не нуждается в больницах.

— О, — обрадовалась Клава Ивановна, — когда приехала "скорая помощь", я говорила то же самое: я не хочу в больницу, я полежу у себя дома — и все пройдет.

Доктор велел Клаве Ивановне присесть, опустить ноги на пол, взял за руку, слегка ударил молоточком по локтю, потом ударил по коленкам, руки и ноги дергались в ответ, было немного смешно и забавно, Клава Ивановна засмеялась, доктор сказал, рефлексы, как у молодой девушки, пока не успела еще истрепать себе нервы, и дал свое заключение: прямых показаний к госпитализации нет, щадящий режим в домашних условиях.

Клава Ивановна, когда услышала, первым делом потребовала книгу жалоб и предложений. Доктор спросил, что больная хочет написать: жалобу или предложение? Больная ответила, она не хочет писать ни то ни другое — она хочет написать благодарность. Доктор указал пальцем вверх:

— Благодарить надо его, а доктору достаточно сказать спасибо.

— Ах, доктор, — зажмурилась Клава Ивановна, в уголках выступили слезы, — вы так похожи на нашего доктора Ланду, что просто душа болит. Но, слава Богу, мы ждем его уже не сегодня-завтра домой. Вы, наверно, слышали радио: Берия дал приказ всех докторов освободить и вернуть домой.

— Да, — сказал доктор, веселое выражение вдруг сошло с лица, как будто совсем другой человек, — всех, за исключением тех, которые уже вернулись домой.

Клава Ивановна сначала не поняла, кого доктор имеет в виду, потому что приказ товарища Берии первый раз передавали сегодня утром, а приказ есть приказ: без приказа из тюрьмы не выпускают и не освобождают. Но тут же мелькнула догадка, что доктор имел в виду не дом, где люди живут, а совсем другой дом, про какой уместно было бы слышать от покойной Сони Граник или Тоси Хомицкой, которые готовы были день и ночь торчать в синагоге и церкви, но не от интеллигентного человека, которому советская власть дала высшее образование.

— Доктор, — улыбнулась мадам Малая, — спасибо за внимание и заботу, но перед уходом я хотела бы, чтобы вы мне ответили на один вопрос. Первый раз вы сказали, кого надо благодарить, и показали пальцем в небо. Нетрудно было догадаться, кого. Но можно было подумать: это просто так, шутка. А второй раз, когда вы сказали про арестованных докторов, что некоторые из них уже навсегда вернулись домой, то есть на тот свет, это тоже была шутка? А если не шутка, так объясните, доктор, чтобы мы вас поняли, какой смысл вы имели в виду.

Доктор покачал головой:

— Я не сказал, навсегда вернулись домой. Я сказал: вернулись домой. Но вы поняли как надо. Именно этот смысл я имел в виду.

— У профессора Вациса, — сказала доктор, которая до этой минуты стояла молча и не вмешивалась в разговор, — арестовали двоюродного брата, профессора Шмульяна, уролога. Он не дождался приказа товарища Берии. Семья получила извещение.

— Вы сами видели, своими глазами? — Клава Ивановна рывком поднялась, забыла, что доктор предписал ей покой и щадящий режим, схватилась обеими руками за голову. — Боже мой, если это правда, значит, с нашим Ландой тоже могло случиться...

Клава Ивановна не договорила, внезапно закружилась голова, упала на подушку, и тут же ее вырвало.

Няня принесла влажную тряпку, стряхнула рвоту в урильник, немного попало на края, няня смела ребром ладони, сложила тряпку, чтоб снаружи была чистая сторона, вытерла руки, сказала, она помнит больную, зимой приходила в терапию, к одному пациенту, говорили, партийная шишка, лежал в отдельной палате, помер. А теперь сама...

— Няня, — перебил профессор Вацис, — спасибо, можете идти.

Клава Ивановна лежала с закрытыми глазами, лицо было бледное, веки как будто припорошены землей, профессор Вацис сказал, нет худа без добра, кажется, готовы были поторопиться, придется повременить. Надо отвезти в палату.

Доктор покачала головой: в палатах ни одной свободной койки.

— Пусть поставят койку у меня в кабинете, — сказал профессор Вацис.

Клава Ивановна открыла глаза:

— Где я? Я хочу домой. Отпустите меня домой. Доктор, — Клава Ивановна обратилась к профессору Вацису, поманила пальцем, — наклонитесь ко мне: я хочу сказать вам что-то на ухо.

— Голубушка, — профессор Вацис похлопал больную по плечу, — лежите спокойно. Вы слишком близко принимаете все к сердцу. Поберегите себя.

— Доктор, — опять поманила пальцем Клава Ивановна, — я хочу вам сказать по секрету: когда вернется наш Ланда, я познакомлю вас, и вы будете первые друзья. Хорошие люди должны дружить между собой.



Анатолий КОНТУШ

Прерывистые линии

Часть первая
Золотистая на оранжевом

Наконец поезд замедлил ход и остановился. Я спрыгнул на перрон; ты положила мне руки на плечи и шагнула вниз с высокой ступеньки; я подхватил тебя, ты оправила юбку, проводник подал чемоданы, arrivederci signora arrivederci signor, la desidero tempo piacevole in Quinto,[1] поезд медленно тронулся и покатил вдоль перрона, открывая пустынный раскаленный солнцем вокзал; носильщик положил чемоданы на тележку, вытер пот, и мы пошли за ним к выходу. Точнее, ты пошла к выходу, чуть-чуть покачиваясь на высоких каблуках, а я остался стоять на перроне возле большого щита с крупной надписью "Orario"[2] и хорошо видел, как носильщик, то и дело оглядываясь на тебя, катит на своей синей тележке наши чемоданы, как ты идешь вслед за ним, отставая на несколько шагов и улыбаясь, и как я иду рядом с тобой, улыбаясь тебе в ответ и обняв тебя за плечи. Я видел, как мы с тобой прошли через маленькую площадь, расплатились с носильщиком и взяли такси; как ты села на переднее сиденье рядом с таксистом, сдвинув наверх темные очки и закинув ногу на ногу; как таксист без перерыва рассказывал о Лигурии, отворачиваясь от дороги и заглядывая тебе в глаза, а потом заставил тебя взять карточку с его телефоном, signora non esitare per chiamarme qualunque tempo, avere una sera piacevole signor;[3] как мы вышли из такси перед отелем, прошли через сад и вошли в вестибюль. Номер был готов; я видел, как мы поднялись по широкой деревянной лестнице на четвертый этаж, как я открыл дверь тяжелым старым ключом с искусно вплетенной в рукоять буквой "Q", как ты сбросила на ковер туфли и юбку, стянула через голову блузку и кинулась в душ, а я распахнул окно и смотрел на красные крыши домов, зеленые верхушки кипарисов и белые очертания облаков, смотрел до тех пор, пока не услышал шаги за спиной и не почувствовал, как ты обнимаешь меня

[1] До свидания, синьора, до свидания, синьор, желаю вам приятного времяпрепровождения в Квинто (итал.).

[2] Расписание (итал.).

[3] Синьора, не стесняйтесь звонить в любое время; желаю вам приятного вечера, синьор (итал.).

за плечи, прикасаясь ко мне грудью. Отсюда, с перрона, мне был хорошо виден темный, дрожащий в жарком полуденном небе прямоугольник окна с твоей светлой фигурой посередине, мокрые блестящие на солнце волосы, закинутые за голову руки, закрытые от яркого света глаза. Ты высунулась наружу по талию, подтянула к себе створку жалюзи и шагнула от окна в полумрак комнаты, оставляя два мокрых пятна на подоконнике и разворачивая затянутое вокруг бедер полотенце; твое лицо приблизилось, заслонив собой окно; перрон завертелся и унесся неизвестно куда, и ты вернулась ко мне.

Наша гостиница стояла на склоне недалеко от пляжа. Город сбегал к морю с отлогих заросших лесом гор; крошечные, едва различимые снизу, домики робко появлялись тут и там, высоко среди зелени; ниже по склону к ним присоединялись другие; потом домов становилось больше, они весело бежали вниз, сверкая светлыми стенами и образуя ручьи; еще ниже появлялись улицы, все больше и больше, они сливались в реки и стремительно неслись дальше; потом склон становился положе, движение замедлялось, дома начинали тесниться, громоздясь друг на друга, и сходились в один неспешно текущий поток; увеличиваясь в размерах и обрастая деталями, двух-, трех-, четырехэтажные строения медленно скользили к морю по еле заметному склону, соединялись в кварталы, рассыпались на улицы и площади; колокольня возвышалась над изломанной поверхностью крыш, обозначая центр; рядом поднималась островерхая башенка вокзала с надписью "Quinto al Mare" под ней; ставшие огромными дома высились над головами, закрывая небо, они с трудом ползли по неожиданно плоской поверхности, пока в конце концов не упирались в четкую линию набережной; движение прекращалось, остановленное цепью скал, о которые разбивались волны.

Держались теплые ясные дни; начинался июль; по утрам я открывал окно, и ворвавшийся в комнату свежий ветер подхватывал меня и уносил к морю. Я пролетал над верхушками пальм, изгибами крыш, изломами стен; утренний экспресс Ливорно — Генуя с шумом проносился внизу, и я несколько минут раскачивался на расходившихся от него волнах; узкие ущелья улиц были заставлены лотками, и солнце сверкало на мокрых мостовых; я видел торопящихся куда-то покупателей, до меня доносились громкие крики продавцов; над площадью летали голуби, и мне приходилось следить за движениями, чтобы не столкнуться с кем-нибудь из них; еще один ряд домов, серая линия скал, и море оказывалось прямо подо мной, переливаясь на солнце и темнея пятнами водорослей; я делал плав-

ный поворот, проносился над водой, постепенно снижаясь, и мягко приземлялся на песок посередине маленького пляжа. Какое-то время я лежал с закрытыми глазами, привыкая к неподвижности, затем переворачивался на спину, доставал из рюкзака полотенце, стягивал шорты и майку и шел к воде, а потом долго лежал на горячем песке, дожидаясь тебя. Я замечал тебя еще на набережной; ты шла вдоль парапета, высоко подняв голову, и золотистые волосы рассыпались по твоим округлым плечам. Ты спускалась на пляж, снимала туфельки, проходила несколько метров по песку, наклонялась, чтобы поцеловать меня в губы, и мы шли купаться. Мы переходили границу берега с морем и возвращались на родину. Теория о выходе животных из океана на сушу превращалась в расхожую истину; вынесшие нас на берег волны ласкали наши тела, соленая вода обволакивала со всех сторон, границы кожных покровов исчезали, и мир становился частью нас самих, каким он был когда-то; так прошло лето.

 В сентябре я начал читать в университете курс астробиологии. После биохимических основ жизнедеятельности мы перешли к строению небесных тел; звезды, галактики, межзвездный газ, происхождение химических элементов, зарождение Солнечной системы, планеты, атмосферы, условия возникновения жизни. По вторникам занятия проходили в планетарии; тихо играла музыка, небесные тела загадочно серебрились над головой; примерно в это же время ты приезжала в госпиталь и переодевалась в своем кабинете, напевая "Italiano vero"[1] и аккуратно развешивая одежду по плечикам; тускло светящаяся Вселенная медленно поворачивалась в вышине, и я видел, как твое тело небесно серебрится над головой недалеко от Большой Медведицы. Жара никак не спадала; ты надевала белый халат прямо на тонкие трусики, взглядывала на себя в зеркале, брала со стола несколько приготовленных накануне папок и выходила в коридор строгой походкой врача с международной известностью. Из всех цветов ты больше всего любила свой родной оранжевый, и сидящие на стульях в ожидании приема мужчины иногда замечали, как твой яркий стринг слегка просвечивает сквозь плотную белую ткань прямо у них перед глазами. Обычно это происходило, когда я молча стоял в темноте, ожидая, пока студенты сделают записи, но если ты заставала меня на середине предложения, мне приходилось запнуться на полуслове, налить стакан воды и медленно выпить его долгими глотками, чтобы вернуться из длинного белого коридора в высокий темный зал и взять себя в руки.

[1] "Настоящий итальянец" (итал.)

Пожалуй, этой осенью я впервые по-настоящему заинтересовался Титаном. Спектральные данные удивили не только меня, а фотографии просто ошеломили. Сверкающие золотом пятна, рассыпанные по красно-оранжевой поверхности, свидетельствовали в пользу высоких концентраций углеводородов; укутанные в многокилометровую толщу азота и пронизанные электрическими разрядами, они удивительно походили на ту странную смесь, откуда, согласно Миллеру и Юри, и появились мы с тобой. Что-то неясное, еще не умеющее думать, но уже живое, возникало где-то глубоко под оранжевым слоем облаков и стремилось быть замеченным с расстояния в тринадцать миллионов километров. Еще было тепло, шли дожди, и мы лежали в постели под звуки падающих на асфальт капель, глубоко погрузившись друг в друга; капли стекали и падали, растворяясь в наших телах, и что-то живое возникало в красно-оранжевой глубине.

В октябре погода наконец испортилась, в гостинице стало неуютно, и мы сняли просторную квартиру на виа Джанелли. Окна комнат выходили на юг; солнце светило через стекла, рассекая пространство пыльными лучами. Багаж привезли через несколько дней; грузчики вносили мебель, расставляя ее по местам, и гулкая пустота чужих комнат постепенно принимала знакомые формы. Большая комната прямо от входа наполнялась стульями, столиками и креслами, превращаясь в нашу гостиную; в проходной комнате справа рядами выстраивались книжные шкафы; заполняясь книгами, они превращали бесформенное пространство в прочитанную вдоль и поперек библиотеку; широкая постель и высокий шкаф со шторами вместо дверей занимали маленькую комнатку рядом с ванной почти целиком, делая ее нашей спальней. Разложенный по ящикам, заклеенный и надписанный, наш дом неспешно возникал вокруг нас, и мы возвращались домой.

Мы были заняты обустройством еще какое-то время, а потом поехали к тебе на родину по случаю рождественских каникул. В Бреде было холодно, шли дожди, и мы гуляли вокруг крепости под большим зонтом, а потом обедали в дешевом ресторанчике недалеко от собора. Еда была простой и вкусной; ты заказывала фасоль и жареную макрель, а я брал бифштекс и вареный картофель. Мы запивали обед "Хайнекеном" в больших запотевших кружках, а в конце заказывали pannekoeken[1] и кофе. Вечерами мы чаще всего бродили по старому городу, Grote Markt, Kasteelplein, Cingelstraat, Veemarktstraat, висящий в воздухе дождь, жел-

[1] Блинчик (голл.).

тые пятна фонарей, блестящие камни мостовой, Ballantines, Jack Daniels или Johnny Walker в каком-нибудь баре, а потом шли танцевать или просто слушать музыку в джаз-кафе, Fats Domino, Count Basie, Nat King Cole, высокие стаканы для коктейлей, брошенные на столик трубочки, изнурительный ритм рок-н-ролла, моя рука, постоянно ищущая твою руку, и твоя рука, постоянно оказывающаяся в моей руке. В кафе сразу за стойкой была маленькая комнатка с надписью "Privé",[1] которая никогда не запиралась; ключ был вставлен в дверь изнутри. Ты сказала мне об этом, когда мы пришли сюда в первый раз, и потом каждый вечер, осторожно, предварительно убедившись, что там никого нет, мы проскальзывали внутрь, запирали дверь и любили друг друга в узком пространстве между пустыми пивными ящиками; было заметно, что ты хорошо знаешь это место и прекрасно ориентируешься в темноте, уверенно раскладывая вещи по невидимым мне полочкам, было заметно, что ты хорошо знаешь его, но я не хотел знать, почему.

Когда мы вернулись, в Квинто уже вовсю шли дожди; так продолжалось всю зиму. Выходные тянулись долго, и я наконец—то собрался посмотреть, как ты устроилась в госпитале. Ты была постоянно занята с больными; инсульты превратились в одну из основных причин смертности в Европе, и у тебя хватало работы. Стенки артерий утолщались постепенно, на доли миллиметра в год; спустя десятилетия обеспечивающий движение крови просвет уменьшался до такой степени, что его закупорка оказывалась неизбежной. С инженерной точки зрения, артерии, вены и капилляры представляли собой обычный водопровод, а человеческое тело было той редкой системой, в которой его отказ мог иметь фатальные последствия. Ты занималась ремонтом водопровода на ходу; как и подобает профессиональному сантехнику, ты удаляла отложения с внутренней поверхности труб, меняла клапана, прочищала засорившиеся участки. Странным образом едва заметные невооруженным глазом изменения в толщине артериальных стенок обладали способностью перемещать больных в пространстве и времени, отправляя их в недоступные тебе миры и навсегда оставляя в прошлом. Твоя работа состояла в том, чтобы задержать их здесь и дать им будущее.

 Гипотеза о наличии на Титане условий, пригодных для возникновения жизни, была достаточно безумной, чтобы оказаться верной. Мы сделали расчеты, которые многое объясняли, но их нельзя было прове-

[1]Частная собственность (голл.).

рить даже с десятиметровым телескопом Кека; "Kuiper" существовал еще только в чертежах, и мне приходилось путешествовать в одиночку. Я надевал скафандр — температура в минус 181 градус по Цельсию плохо подходила для прогулок в обычной одежде, вешал на спину баллон с кислородом — азотно-метановая атмосфера не вполне годилась для дыхания, прикреплял к поясу фонарик — даже днем на поверхности Титана света было в тысячу раз меньше, чем на Земле, хотя и в триста пятьдесят раз больше, чем на Земле ночью, — и оправлялся в путь. Я шел по ровной покрытой льдом поверхности; составленная Колриджем подробная карта Ксанаду похрустывала в заднем кармане. "Where Alph, the sacred river, ran Through caverns measureless to man Down to a sunless sea".[1] Над застывшим континентом висел тонкий пурпурный туман, блестели языки ледников, далеко на юге дрожали над горизонтом метановые облака. Я пересек небольшую возвышенность; сверху была хорошо видна темная гладь широкой углеводородной реки; я прошел мимо озер с этаном, пропаном и ацетиленом и направился к гряде невысоких холмов, которые виднелись неподалеку в метановой дымке; меня заинтересовало то, что холмы образовывали странную фигуру, похожую на кошку; шел стылый дождь, и затянутое низкими тучами небо слабо светилось над головой.

Вернувшись обратно, я делал записи, обдумывал то, что увидел, и время от времени звонил отцу, чтобы лучше представить себе физику образования облаков и туманов. Мы часами обсуждали свойства Титана на семинарах, вечерами я подолгу сидел за компьютером, просчитывая разные варианты строения атмосферы, а когда ты засыпала, часто разговаривал с Гюйгенсом и Кассини. Мы долго спорили о жизни в других мирах; Гюйгенс настойчиво убеждал нас в существовании обитаемых планет, цитируя свой "Космотеорос"; я внимательно следил за ходом его рассуждений, иногда делая пометки в блокноте, а Кассини только иронически улыбался в ответ. Еще бы, ведь именно его, а не Гюйгенса, Людовик XIV пригласил руководить новенькой обсерваторией, только что построенной на окраине Парижа за Люксембургским садом; к тому же Кассини был на четыре года старше. Иногда Гюйгенс приходил прямо с заседаний Королевского общества; облаченный в роскошную мантию, он расхаживал по моему кабинету, слушая доводы Кассини о геоцентрическом строении Солнечной системы. Мне было любопытно наблюдать с расстояния в триста лет, как блистательный первооткрыватель Красного пятна упорствует в своих пред-

[1] "Где Альф, священная река, бежал сквозь тьму пещер издалека, вниз к темному морю". Сэмюэль Колридж, "Кубла Хан" (англ.).

ставлениях о Земле как центре мироздания. Гюйгенс приходил в необычайное возбуждение и приводил довод за доводом, ссылаясь на Коперника и Галилея, но Кассини не желал соглашаться с аргументами своего подчиненного: ведь Гюйгенс работал под началом Кассини в течение многих лет. Титан был единственным, что не вызывало у них расхождений: и математик из Гааги, и астролог из Ниццы были твердо уверены в том, что жизнь там невозможна. Гюйгенс, первым увидевший Титан с Земли, не мог допустить существования жизни в Солнечной системе на таком удалении от Солнца, а Кассини, добавивший Сатурну еще четыре спутника и щель между кольцами, просто не верил в другие миры, кроме земного.

В начале лета я уехал на Гавайи; на Мауна Кеа только что установили новый спектрограф; качество фотографий было необычно высоким, и мы подолгу просиживали в обсерватории, обсуждая последние результаты. Под оранжевыми облаками проступал метановый океан, углеводородные дожди падали на золотистые континенты, и я неделями вдыхал этот странный воздух, почти не выходя наружу. Белые башенки телескопов стояли на самом гребне, застывшая лава спускалась вниз черными кругами, и облака висели над океаном у самого горизонта. Оттуда, сверху, мне хорошо было видно тебя; я видел, как ты просыпаешься в нашей постели на виа Джанелли, откидываешь одеяло, обнажая свое загорелое тело; солнце уже бьет прямо в окна, и в спальне жарко; ты встаешь, распахиваешь окно и несколько секунд смотришь вниз на город, прикрывая грудь руками, а потом разворачиваешься и идешь в душ, чуть-чуть подрагивая бедрами; у тебя крепкая стройная фигура уроженки Северной Европы, сильные руки, плотная талия, немного тяжелые бедра; я вижу, как ты открываешь краны, с наслаждением забираешься под теплую воду, аккуратно намыливаешься, снимаешь со стены душ, смываешь пену, тщательно моешь внизу живота, немного расставив ноги; короткие жесткие струи касаются тебя там, и тебе это приятно; ты возвращаешь душ на место, закрываешь краны и оказываешься на мохнатом коврике перед большим зеркалом; ты потрясающе выглядишь в зеркале, бронзовое лицо, круглые плечи, крупные белые груди, капли падают на пол с золотистых волос; ты понимаешь это, и тебе это нравится; какое-то время ты внимательно смотришь себе в глаза, потом осторожно касаешься сосков обеими руками, захватываешь их пальцами, чуть-чуть оттягиваешь и тут же отпускаешь; я вижу, как ты повторяешь это несколько раз, потом проходишь в комнату, падаешь на спину поперек постели, не отпуская сосков, и кладешь руку туда, где к тебе только что прикасались короткие жесткие струи; ты

остаешься в таком положении несколько долгих минут; я не могу оторвать взгляд от того, как вибрирует твое тело; наконец ты вздрагиваешь, резко изгибаешься мне навстречу, замираешь над простыней на несколько секунд с громким стоном и обессилено падаешь на спину, успевая увидеть меня над собой и не отнимая руку от тела.

 Я вернулся в Квинто в конце июня. Стояли лучшие летние дни; в густом вечернем воздухе было все, что нужно для счастья, — запахи магнолий, акаций и крокусов, шум невидимых волн, пение цикад, аромат крепкого кофе, далекие аккорды фортепиано, звуки песен на чужом языке; в некоторых магазинчиках на набережной можно было купить заполненные этим воздухом консервные банки, которые запаивали прямо при вас; утреннее небо было безоблачным, море — безупречно гладким, и мир достигал совершенства. В такие минуты время превращалось в пространство. Впитывая в себя проходящие дни, высокое небо Италии становилось бесконечным; квазары, пульсары и диски горячего газа, стремительно вращающегося вокруг черных дыр, можно было увидеть невооруженным глазом; бесконечно далекие нейтронные звезды оказывались рядом с медленно перемещающимися над головой метеорологическими спутниками. Утекающее в пространство время почти останавливалось; секунды оказывались часами, минуты превращались в дни, и солнце подолгу висело прямо над нами, не давая уснуть по ночам.

Наверное, мы начали ссориться именно из-за солнца. Мы никогда не ссорились так бурно, как тем летом; я хорошо помню, когда после очередной нашей ссоры ты хлопнула дверью и вышла в город в этих облегающих джинсах с двумя широкими вырезами на месте задних карманов, которые ты до того одевала только для меня, когда мы оставались дома вдвоем; твои круглые белые ягодицы подрагивали в такт шагам, выдавливаемые наружу плотно прилегающей тканью, и у всех останавливающихся проводить тебя взглядом мужчин перехватывало дыхание и становилось тесно в брюках, потому что никто из них в своей жизни никогда не видел ничего подобного. Ты шла по середине улицы, гордо подняв голову, как будто ничего не случилось, твои распущенные волосы неслись за тобой, развеваемые западным ветром, твои прелести колыхались над мостовой, и у тебя в глазах было такое, что самые отчаянные повесы не решались заговорить с тобой. Ты спустилась на пляж, прошла к воде, стянула с себя рубашку и брюки, швырнула на песок лифчик, прыгнула в воду и поплыла к горизонту. Когда ты вышла из воды, уже было темно, но на пляже тебя

ждали несколько человек с фотокамерами; назавтра в местных газетах появились несколько возмущенных статей о нарушении общественной нравственности дерзкими иностранцами; правда, статьи не были проиллюстрированы фотографиями; этим дело и обошлось, но я еще долго замечал, что мужчины как-то особенно смотрят на тебя во время наших вечерних прогулок.

 Очевидно, Алька появился у тебя внутри в Лидо ди Венеция вскоре после этой истории; мы остановились в уютной гостинице на морской стороне и занимались любовью по три раза в день, не особенно предохраняясь; октябрь только начинался, на солнце было тепло, и я плавал недалеко от берега в прохладной осенней воде, а ты лежала на песке с закрытыми глазами, а потом задумчиво любила меня в еще не закрытых на зиму домиках прямо на пляже. Плотно сбитые деревянные стены хорошо защищали от ветра, на закрытой с трех сторон веранде было жарко, и я лежал на теплом деревянном полу, щурясь от солнца, а ты ритмично поднималась и опускалась надо мной, постанывая от удовольствия и притягивая любопытные взгляды пожилых пар, неспешно прогуливающихся по песку возле воды. Невидимый Титан сиял прямо над нами в соединении с Солнцем, и холодные молнии пронизывали его оранжевые облака, ударяя в ледяные вулканы.

Целый месяц о появлении Альки не знал никто, кроме него самого; он регулярно отправлялся с тобой в госпиталь по утрам и так же регулярно по вечерам возвращался обратно, а по выходным ходил с нами за покупками, валялся на пляже и купался у самого берега; потом об этом узнала ты, забежав на несколько минут к своему врачу по дороге домой с работы, а еще через несколько минут и я, подняв трубку телефона в своем кабинете. Ты носила Альку с собой всю зиму, весну и половину лета; он участвовал в совещаниях по обсуждению состояния особо тяжелых больных, вникал в детали новых методов борьбы с последствиями инсультов, прогуливался по набережной в солнечные дни, прислушивался к шуму прибоя, ходил в кино по выходным, ездил на выставки в Милан, Рим и Флоренцию, танцевал на джазовых концертах, сидел в приморских кафе, раскачивался на балконе в плетеном кресле, а последние два месяца неподвижно лежал на широкой постели, осторожно спускался по лестнице и долго отдыхал на скамейке в саду. Первое время он вел себя тихо; наверное, ему еще нечего было сказать, но по мере того как он рос, у него постепенно складывались свои мнения, которые он проявлял, постукивая по тебе изнутри. К августу он

стал настолько независим, что перестал нуждаться в тебе; машина скорой помощи повезла тебя через спящий город, бесшумно сверкая синими лампами, и его самостоятельная жизнь началась. Тогда он еще не знал, что это произойдет с ним еще раз примерно через восемнадцать лет.

Мы расписались, когда Альке исполнилось четыре года. Ты непременно хотела венчаться в церкви; роскошное белое платье, шляпка, вуаль, гости в строгих костюмах, низкий голос священника, звуки органа, блики солнца в витражах. Мы выбрали Hochzeitskirche[1] на берегу Альстера в Гамбурге; когда-то там венчались твои бабушка с дедушкой. Собрались друзья, твои родители приехали из Голландии, отец с мамой прилетели поздравить нас из Одессы. Когда мы вошли в церковь, орган уже звучал, заполняя собой все пространство. Тяжелые низкие звуки медленно поднимались вверх, собираясь в массивные колонны; плавные арпеджио висели над ними, складываясь в потолок; замысловатые соло расписывали купол причудливыми узорами красок; вибрирующие аккорды вставали по бокам гулкими выемками капелл; быстрые всплески стаккато дрожали горящими в полутьме свечами; высокие ноты поднимались вверх невидимыми в темноте стенами; звучащий в вечернем воздухе собор возвышался перед нами, поражая идеальными пропорциями и удивляя слух; одетый в темное органист кланялся, привстав со своего места, и когда гости наконец вставали и, зашумев, начинали идти к выходу, немыслимо расписанный потолок внезапно тускнел, свечи гасли в апсидах и казавшиеся незыблемыми стены неслышно обрушивались по краям, оставляя нас наедине друг с другом, тебя со мной и меня с тобой.

 Вскоре после того, как Алька пошел в школу, тебя назначили руководителем исследований; в твоем подчинении оказались три лаборатории, и ты часто работала допоздна. Ваши работы по активатору плазминогена привлекли внимание; постинсультное восстановление улучшилось почти вдвое, тебя начали приглашать с докладами на конференции и конгрессы, ты часто уезжала, и мы с Алькой подолгу оставались вдвоем. В такие дни наши с ним жизни вращались вокруг общего центра тяжести; мы вставали рано, я отвозил его в школу и ехал в университет; днем мы встречались дома, чтобы пообедать, он возвращался из школы на автобусе, а я приезжал на полчаса из университета; обычно я работал до шести, а потом бежал за покупками, готовил ужин, делал с Алькой уроки и, когда он уже засыпал, писал при неярком свете настольной лампы или читал Павича, Уэльбека

[1]Свадебная церковь (нем.).

или Мураками. В выходные мы ходили на пляж, гуляли, играли в настольный теннис, смотрели телевизор, иногда выбирались в кино; я покупал газеты в киоске на углу, Die Zeit, Le Monde, The Guardian, иногда Corriere della sera и просматривал их за завтраком, Алька разглядывал заинтересовавшие его фотографии, и мы обсуждали последние новости — войну в Ираке, расширение EU, землетрясение в Калифорнии, исчезновение английских нефтяников. В нашей системе двойной звезды моя жизнь, все еще быстро вращающаяся, но уже начинающая стареть, уравновешивалась его жизнью, пока еще медленно поворачивающейся и очень молодой, но уже начинающей неуклонно ускорять свое вращение. Соблюдение этого равновесия требовало аккуратности от нас обоих, иначе излучаемый нами свет превращался в беспорядочный поток не зависящих друг от друга квантов; такая несогласованность вызывала дискомфорт у окружающих, и нам приходилось сосредоточиваться друг на друге, чтобы вернуть нашу жизнь в устойчивое состояние. Все менялось, когда ты возвращалась домой; нас становилось трое, и равновесие нужно было искать заново. На это требовалось время, с каждым разом все больше, поскольку твои отлучки становились все длиннее; наши жизни вращались без остановок, и мы отлаживали систему на ходу, постоянно ощущая взаимные притяжения и отталкивания; мы не были стары, у нас хватало времени и сил, и в конце концов, нам удавалось добиться своего; наша система тройной звезды начинала испускать сильный ритмично меняющийся золотисто-оранжевый свет, хорошо заметный издалека и привлекающий знакомых и незнакомых.

Пожалуй, это были наши самые счастливые дни. Мы жили втроем на виа Джанелли, а когда становилось жарко, уезжали на дачу в Стрезу. Осенью и весной мы гуляли по набережной, иногда купались и играли в футбол на песке; зимой открывали окна в теплые дни и расжигали камин в непогоду; летом катались по озеру в лодках, загорали и плавали наперегонки целыми днями; по вечерам ты обычно шла в дом, а я оставался в саду и при свете керосиновой лампы читал "Три счастья дона Диего". Любитель астрономии, дон Диего считал, что жизнь имеет интуитивное измерение, уходящее бесконечно далеко вверх, что человечество накрепко связано со вселенной и что счастье возможно только очень высоко над землей. "Чем дальше отрываешься от земли, тем глубже погружаешься во вселенную", любил повторять он; впервые прочитав эту фразу, я положил ее в карман и носил с собой несколько дней, изредка притрагиваясь к ней пальцами; карман заметно провис, и друзья спрашивали, что это я ношу с собой все время, не револьвер ли, и не опасаюсь ли я кого-нибудь; на четвертый день,

когда ткань начала расходиться, я спустился на пляж, встал лицом к морю, опустил руку в карман и аккуратно вытащил фразу наружу. Гладкая и тяжелая, она неподвижно лежала на моей ладони, тускло поблескивая на солнце; я крепко зажал ее между большим и указательным пальцами и изо всех сил запустил вверх, стараясь запомнить ощущение, с которым она выскользнет из руки, а потом повернулся и пошел назад к набережной; я не услышал всплеска, а это означало, что дон Диего был прав, и его фраза утонула там, откуда она пришла к нему в его первое счастье.

 Следующее лето выдалось очень жарким. Беспрерывно жужжащий кондиционер, минеральная вода со льдом, необычная тишина в полдень, работа до одиннадцати и после пяти. Я сижу за своим столом; окно распахнуто в горячую южную ночь, еле слышно шумит вентилятор компьютера, на дисплее ползут разноцветные линии последних спектральных данных со спускаемого аппарата "Kuiper". Одна из линий постепенно отклоняется вверх; это не совсем то, что мы ожидали, и я открываю файл с результатами моделирования, чтобы понять, в чем здесь дело; пока я просматриваю таблицы, линия отклоняется еще дальше; звонит телефон, это Аризона, они тоже удивлены; наверное, это атмосферный азот, и я увеличиваю его начальную концентрацию и пересчитываю модель, но это ничего не меняет; я звоню в Лейден и после короткой дискуссии изменяю несколько констант, но расчетные кривые все равно не совпадают с тем, что передает "Kuiper". Тогда я надеваю сандалии, спускаюсь вниз, прохожу к пляжу, складываю на песок рубашку и шорты и ныряю в теплую черную воду; я открываю глаза и вижу, что мои руки светятся слабым серебристым сиянием; я плыву под водой насколько хватает дыхания, не отрывая взгляда от сверкающих огоньков прямо перед глазами, наконец выныриваю в темноту под яркими звездами и внезапно вижу, как, неизвестно когда и где, бесконечно слабый свет струится сквозь дымящиеся углеводородные океаны. В нашей модели свет присутствует только в атмосфере, и я мгновенно выскакиваю на берег, взлетаю к себе по всем лестницам, прыгаю в кресло перед компьютером, добавляю несколько уравнений, сверяю константы со справочниками и снова запускаю модель. Я иду в кухню и завариваю кофе, а когда возвращаюсь, рассчитанные кривые уже лежат поверх передаваемых за миллионы километров; совпадение оказывается поразительным, и я замираю на несколько секунд, всматриваясь в экран, а потом выпрыгиваю вверх так высоко, как только могу, словно это я, а не Хорхе Бурручага только что забил решающий гол в финале чемпионата

мира против Германии. Кофе разливается на пол, но мне уже нет до него никакого дела; я быстро рассчитываю формулу продукта реакции, и у меня получается аминокислота. Которая является основной структурной единицей белков, бормочу я себе под нос, перехожу в гостиную, наливаю полный бокал "Бароло", включаю диск Люсьенн Делиль, которая поет "Mon amant de Saint-Jean"[1], выхожу на балкон и вальсирую с бокалом в руке, то и дело отпивая. Car l'on croit toujours,[2] поет Люсьенн из 1942 года, и оранжевые облака Титана кружатся над ее золотистыми волосами.

Я ложусь спать, когда уже рассветает; я долго не могу заснуть, а когда все же засыпаю, ко мне сразу приходит дон Диего. Он долго смотрит на меня, а потом быстрым жестом вытаскивает из кармана свою утонувшую во вселенной фразу и дает ее мне. Я тут же узнаю ее, она оказывается тяжелой и слегка поблескивает в лунном свете, но когда дон Диего еще раз внимательно смотрит на меня и уходит, так ничего и не сказав, я обнаруживаю, что получил от него что-то совсем другое: "Если благодаря тебе где-то обнаруживается жизнь, это вовсе не значит, что ты ее создаешь. Ты только способствуешь тому, что она перетекает откуда-то куда-то, из неподвижных углеводородных озер в колышущиеся мышечные стенки и обратно".

 Этим же летом Альке исполнилось восемнадцать; он окончил школу и в сентябре уехал изучать современную литературу в Бостон. Наша просторная квартира тут же наполнилась равнодушной космической пустотой, в которой не было ничего, кроме холодного реликтового излучения. Пустота была везде, в щелчке отпирающего дверь ключа, в тишине безукоризненно чистого коридора, в полутьме комнат за закрытыми шторами; пустота заполняла все, она покачивалась бесформенными студенистыми массами в углах, выплескивалась из заварочного чайника во время завтрака, нависала прямо над постелью по ночам; пустота постепенно вытесняла из квартиры воздух, нам было все труднее дышать, и мы не знали, чем можно было ее заполнить. Я попробовал завести собаку, мы долго обсуждали, какую породу предпочесть, и в конце концов остановились на джек-расселе; он был очаровательно-серьезен и сразу очень привязался к нам, но ты уезжала еще чаще, чем раньше, я подолгу засиживался в университете, и в конце концов, нам пришлось его отдать; я навсегда запомнил, какие у него были глаза, когда я обернулся посмотреть на него в последний раз, спускаясь по узкой деревянной лестнице, а его новый хозяин

[1] "Мой возлюбленный из Сен-Жана" (франц.).

[2] Потому что в это веришь всегда (франц.).

держал его на поводке в приоткрытой двери его новой квартиры; древнее микроволновое излучение безразлично пронизывало пространство, детей у тебя уже быть не могло, и нам пришлось с этим смириться; я закрыл Алькину комнату на ключ, и мы почти перестали бывать дома.

Когда ты уезжала, я чаще всего отправлялся вслед за тобой; я сидел напротив тебя в поездах, заглядывая тебе в лицо, когда вагон мягко покачивался на стыках; я шел за тобой по улицам, разглядывая, как твоя талия плавно переходит в бедра; я лежал рядом с тобой на широких постелях, слушая, как ты ровно дышишь во сне. Иногда я оставлял тебя и отправлялся на Титан рассматривать молнии и бродить по окаменевшим льдам; там начиналось лето, столбы горючих газов поднимались из углеводородных океанов, складываясь в облака; азотные ветры гнали облака над равнинами, наполняя электричеством и превращая в тучи; обильные дожди проливались над заледеневшими островами, пронизывая атмосферу мощными токами; замороженная газовая горелка Титана разбрасывала искры, согревая Солнечную систему.

В песочных часах, перевернутых нашими родителями когда-то давно, оставалось все меньше песка. Большинство песчинок неподвижно лежали внизу; в этой сплавленной навсегда массе еще можно было различить беспорядочно перемешанные друг с другом пеленки, качели, детские книжки, четырехколесные велосипеды, футбольные мячи, игры на переменах, записки на уроках, признания в любви, поцелуи в парке, вступительные экзамены, университеты, дипломы, измерения, приборы, расчеты, диссертации, конференции, конгрессы, статьи, поезда, самолеты, вокзалы, аэропорты, встречи, проводы, гостиницы, квартиры, дома, упоение, печаль, отчаяние, грусть, восторг, счастье. Наверху оставалось совсем немного, усталость, прозрачный осенний воздух над морем, неспешные прогулки по набережной, тяжесть отекших ног, книги, больничные палаты, капельницы, уколы, тишина и еще немного счастья.

Прошло еще несколько лет; мы приезжали и опять уезжали; ты полностью сосредоточилась на работе: несмотря на тридцатилетний опыт, ты никак не хотела смириться с тем, насколько легко многие твои пациенты отправлялись в свои последние путешествия по вселенной. Каждому из них было чем дорожить здесь, каждый готов был подождать хотя бы немного, и ты проводила годы в поисках того, как можно было бы их удержать, но у тебя мало что выходило. Лопались различные сосуды, кровоизлияния происходили в каких угодно местах, выходили из строя разные участки мозга, и у тебя опускались руки перед бесконечным разнообразием клини-

ческих картин работы неизвестного художника. Некоторые уплывали недалеко, и тебе удавалось их вернуть; кое-кто оставлял неизвестно где что-то свое, принадлежавшее ему годами, — способность говорить или видеть, или двигать левой рукой; но большинство быстро оказывалось в недоступных тебе областях, и никто не возвращался обратно. Почти у всех тут оставались близкие, и тонкие прочные нити, связывавшие тех, кто исчезал, с теми, кто оставался, растягивались на бесконечные расстояния, не желая обрываться совсем, но в конце концов, все-таки обрывались. Я хорошо помню, что этот новейший по тем временам аппарат для сканирования головного мозга установили в вашем отделении весной; принцип работы аппарата был основан на эффекте Допплера. Был теплый майский день, ты вернулась домой поздно, мы пили "Бардолино" на балконе, обсуждали Умберто Эко и рано пошли спать, но даже когда я лежал на тебе, а ты обнимала меня за плечи, ты все равно была не в постели со мной, а в вашем отделении со своим новейшим аппаратом. Не знаю, когда и где у тебя возникла эта мысль; наверное, она появилась где-то очень глубоко, там, куда я никак не мог заглянуть, и где ты оставалась совершенно одна; наверное, она возникла где-то там и уже потом пробралась туда, где ты наконец смогла ее ощутить; не знаю; многие говорили мне потом, что сначала никто ничего не заметил и только намного позже кто-то, может быть, ты, а может, кто-то другой, обратил внимание, что пациенты, прошедшие сканирование на новой машине, возвращаются назад из своих бесконечных далей значительно чаще, чем все остальные. Те, кто так говорил, должны были проработать с тобой рядом все эти тридцать лет, а потом увидеть тебя в нашей постели тем теплым майским вечером вместе с твоим аппаратом, чтобы понять, что в этой истории не было никого, кроме вас двоих. Как бы то ни было, идею о том, что высокочастотный ультразвук разрушает тромбы и восстанавливает циркуляцию мозгового кровообращения, впервые предложила именно ты; первое сообщение об этом, сделанное на конференции в Колд-Спринг-Харбор, было подписано твоим именем. Ты научилась разворачивать уходящих на полпути с помощью своего аппарата, и движение твоей отдельной жизни наконец совпало с движением жизни всего человечества.

 Прошло еще какое-то время, и мы начали понемногу собираться в путь. Мне пришлось оставить кафедру по настоянию врачей; ты тоже работала не так много, как раньше, и мы гуляли по набережной, читали перед сном и говорили о тех временах, когда из нас двоих в живых останется только Алька; он недавно вернулся в Италию и поселился недалеко от

нас. Мы съездили на Таити, научились играть в бридж и купили дом в пригороде; деньги и документы были готовы, они лежали в светло-сером ящичке на камине.

Тем вечером я вернулся домой рано; сердце заболело, когда я парковал машину у входа; тебя еще не было, и я принял нитростат и сел к столу просмотреть почту; боль не отпускала, я принял еще одну таблетку, вложил в проигрыватель "Entre deux"[1] Патрика Брюэля и прилег на диван; ты улыбалась мне с нашей фотографии на стене, конец девяностых, пляж, июнь, остров в Мраморном море, ты, Алька и я на фоне веселой субтропической зелени; сердце заболело еще сильнее, и когда боль стала невыносимой, я встал с дивана, достал свой старый чемодан, купленный в "Лафайетт" на Монпарнасе много лет назад, прошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Я начал с того, что аккуратно уложил в большое отделение наше знакомство на конференции в Амстердаме, банкет, старинный особняк и тебя, неправдоподобно красивую, идущую через зал с бокалом шампанского в руке; я положил рядом наш первый вечер вдвоем в Антверпене, два стакана виски в гостиничном баре, мягкий свет ламп и нежный вкус твоих губ; я обернул в теплый вязаный шарф резкий ледяной ветер, поднимающийся от реки туман и холод твоего тела; высокий сводчатый подвал с портерным пивом удобно разместился рядом, дрожа огоньками свечей на деревянных столах; я тщательно упаковал день нашей свадьбы в тонкие кружевные занавески, купленные тобой накануне в Брюгге; как и тогда, этот день никак не хотел кончаться, и занавесей едва хватило; я с трудом отыскал запыленную коробку с первой поездкой в Италию, белый миланский вокзал, высокие стены Кастелло и размытые краски "Тайной вечери"; наша ночь в Барселоне едва поместилась в чемодан, все еще удивляя меня бесконечностью моего счастья; сверкающий лед Медео выскользнул из рук и упал на горячий песок пляжа Каваллино; я быстро поднял его и уложил возле медленного фокстрота на пароходике посередине Дуная; наш медленный танец в подвальчике на рю де ля Юшетт уже лежал рядом, завернутый в твое наспех сброшенное вечернее платье; я осторожно положил сверху твою улыбку в окне палаты с только что родившимся Алькой на руках; ночные разговоры на берегу Lago Maggiore мне пришлось доставать из-под стола — Алька тогда постоянно бегал по комнатам, разбрасывая игрушки во все стороны, и наши вещи могли оказаться где угодно; я долго не мог найти поездку в Прагу втроем в конце октября, я почти забыл о ней и помнил только холодный осенний воздух, огни

[1] "Между двумя" (франц.).

фонарей над Карловым мостом и маленькую пивную на углу возле гостиницы; я побоялся положить в чемодан хрупкий елочный шар, который мы купили для Альки в маленьком магазинчике возле Вацлавской площади; в сердце что-то дернулось, и я едва не уронил на пол Северный вокзал, отправляющийся через несколько минут поезд Париж-Гамбург, тебя в открытом окне и меня внизу на перроне; в тот год мы чуть не развелись, и от нас остались бы одни осколки, если бы ты в последнее мгновение не схватила меня за холодные пальцы. В чемодане уже не было места, но мне все-таки удалось разложить по боковым отделениям поцелуи в Сиднее на мосту высоко над портом, прощания на вокзалах Одессы, Кельна и Нарбонны, маленькую гостиницу в Ломмеле рядом с голландской границей, Алькин первый день в школе, несколько счастливых дней на островах. Боль понемногу начинала стихать; я еще раз проверил, что деньги и документы остались на своих местах, присел на край кресла, огляделся в последний раз, взял чемодан и пошел к выходу.

Такси ждало внизу; я поздоровался с водителем, помог ему положить чемодан в багажник и сел на заднее сиденье. Водитель завел мотор; я оглянулся; в наших окнах горел теплый желтый свет — наверное, ты уже вернулась домой после работы; водитель прибавил газу, и я потерял наш дом из виду. Мы доехали быстро; машин было мало, водитель молчал, и я смотрел через стекло на мокрые черные тротуары, нащупывая в кармане нашу парижскую квартиру, которая уже не поместилась в чемодан, широкий коридор, застекленные двери комнат, приглушенный свет настольных ламп, просторная постель, быстрые движения тел, последняя невозможность счастья. Поезд уже стоял у перрона; вагоны были пусты, двери открыты; я был один; тускло горели несколько неоновых ламп; стрелка больших старомодных часов дернулась и застыла на цифре "11"; я поднял чемодан и шагнул в тамбур; дверь бесшумно закрылась за спиной, поезд мягко тронулся и пошел, набирая ход; огоньки, проносящиеся за окном, становились все реже и реже, пока не исчезли совсем; поезд плавно оторвался от земли и, все ускоряясь, помчался в направлении созвездия Водолея; Титан медленно всходил из-за горизонта, подрагивая оранжевыми облаками; я раскрыл "Дона Диего" и сел у окна; Патрик Брюэль и Джонни Холлидэй весело пели "Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?",[1] в груди уже почти не болело, вокруг была чернота, и только далеко внизу, там, где железнодорожная линия начинала забирать к югу, горел маленький огонек.

[1] "Чего мы ждем, чтобы быть счастливыми?" (франц.).

Часть вторая
Рыжая на белом

Поезд вздрогнул в последний раз и остановился у перрона. Я вышел первым и помог спуститься тебе; ты задержалась на последней ступеньке, коротко взглянула на меня и скользнула вниз, опираясь мне на плечи; носильщик подхватил чемоданы, поставил их на тележку, buongiorno signora buongiorno signor, lei è benvenuto a Sestri,[1] и покатил вдоль белоснежных вагонов; поезд снова вздрогнул, бесшумно сдвинулся с места и помчался вдоль моря, сверкая на полуденном солнце; ты еще раз взглянула мне в глаза, взяла меня под руку, и мы пошли к выходу. Точнее, я пошел к выходу вслед за носильщиком, а ты осталась стоять посреди перрона, глядя, как носильщик катит на своей тележке наши чемоданы, как я иду за ним, отставая на несколько шагов и улыбаясь, и как ты идешь рядом со мной, держа меня под руку и улыбаясь мне в ответ. Ты смотрела, как мы с тобой прошли через маленькую площадь, расплатились с носильщиком и сели в такси; как я открыл перед тобой переднюю дверь, сел на заднее сиденье и всю дорогу разговаривал с таксистом о Лигурии, подшучивая над политиками и расспрашивая о новостях, si, lei ha ragione, questo è veramente strano,[2] а потом взял карточку с его телефоном и обещал звонить, если нам понадобится автомобиль; как мы вышли из такси у входа в отель, прошли через вестибюль и взяли ключи у портье. Наверх вела узкая деревянная лестница с искусно вплетенной в решетку буквой "S"; ты видела, как мы поднялись на третий этаж и вошли в номер, как я стянул через голову рубашку, сбросил на ковер брюки и ринулся в душ, а ты распахнула окно и смотрела на красные крыши домов, зеленые верхушки кипарисов и белые очертания облаков, смотрела до тех пор, пока не услышала шаги за спиной и не почувствовала, как я обнимаю тебя за плечи, прикасаясь к твоим волосам. Отсюда, с перрона, тебе был хорошо виден четко очерченный в бледном июльском небе прямоугольник окна с нашими светлыми фигурами посередине, касающиеся друг друга губы, лежащие на плечах руки, полузакрытые от яркого света глаза. Я высунулся наружу по талию, прикрыл створку жалюзи и шагнул к тебе от окна в полумрак над белоснежной постелью; перрон растворился среди прохладных теней, ты влетела в комнату ослепительной рыжей ракетой, и я вернулся к тебе.

[1] Здравствуйте, синьора, здравствуйте, синьор, добро пожаловать в Сестри (итал.).

[2] Да, вы правы, это действительно странно (итал.).

Город взбегал от моря вверх по склонам. Тяжелые старинные здания едва взбирались на набережную, с трудом делали еще несколько шагов и останавливались невдалеке от берега, тяжело дыша и вздрагивая от напряжения; они непрерывно поглощали кислород, выделяя взамен запахи кухни, уборки и свежевыстиранного белья; некоторые из них были готовы растянуться вдоль склона и бессильно осесть серой грудой камней, чтобы только наконец отдохнуть от этих многовековых усилий. Легкие маленькие домики карабкались вверх намного быстрее, они ловко взбегали по кручам, насколько хватало сил, и останавливались среди темной зелени, выглядывая наружу яркими крышами и светлыми стенами. Наша гостиница располагалась в узком четырехэтажном здании семнадцатого века, зажатом со всех сторон в старом квартале рядом с рынком; она уже не могла двигаться и только отчаянно стремилась вверх, к солнцу.

Мы спали до девяти, завтракали в саду за маленьким столиком и шли на пляж до полудня; когда становилось жарко, мы поднимались наверх, немного прогуливались по набережной и обедали в одном из приморских ресторанчиков. После обеда мы обычно уходили гулять; повсюду цвели розы, гвоздики, цикламены; каждая улица имела свой аромат, он кружил нам головы, застилал глаза, прижимал друг к другу. Окраинные улицы были наполнены густым запахом лаванды, он отрывал нас от земли и уносил в горы, которые спускались прямо к порту. Здесь запах был таким сильным, что мы увязали в нем с головой, с трудом взмахивая руками; в конце концов воздух загустевал до такой степени, что мы неподвижно повисали над склонами, не в состоянии шевельнуться и только вдыхая темно-фиолетовый запах, поднимавшийся из полей. К вечеру ветер менялся, и мы начинали медленно скользить вниз к морю, понемногу снижаясь. В конце концов мы снова оказывались на набережной; ветер стихал, запах ослабевал, и мы шли над прибоем в теплой ночной темноте, слегка покачиваясь после долгого пребывания в воздухе.

Ты только начала работать на BBC, твой круг обязанностей был ограничен репортажами из Италии, и ты могла жить где угодно от Бреннеро до Мессины, лишь изредка наведываясь в Лондон. Первое время я часто брал несколько дней отпуска и летал на остров вместе с тобой; мы ходили в Британский музей, сидели в ресторанчиках Ковент Гарден и гуляли в Регентс-парке по солнечным дням. С каждым приездом Лондон затягивал нас все глубже; ты любила его и раньше, а я начал по-настоящему

узнавать только сейчас. Вестминстер непреодолимо тянул к себе, Тауэрбридж звал изо всех сил, Трафальгарская площадь засасывала нас, как омут. Мы погружались и погружались, просачиваясь в отдаленные районы, проскальзывая в места с сомнительной репутацией, пробираясь в пригороды; мы проникали в город все дальше, смешиваясь с ним и соединяясь тысячами разных нитей. Нас уносило вдаль; мы побывали в Лутоне, Рединге и в конце концов добрались до Оксфорда. Вначале ты показала мне дом, в котором жила, потом здание университета и наконец ресторан, где вы отмечали получение дипломов; именно там я впервые увидел университетский герб, белые страницы раскрытой книги в рыжей обложке с отчетливой надписью "Dominus Illuminatio Mea"[1] через разворот. Прошло несколько месяцев, и когда мы приехали в Оксфорд в следующий раз, мне стало ясно, что центр притяжения находится именно здесь.

Первое время наша жизнь состояла из простых предметов. Мы начали с арифметики шоссейных дорог: A12 + A7 = Милан, Дуомо, кастелло, "Ла Скала", галерея Витторио Эммануэле, Санта-Мария-делла-Грацие, "Сан-Сиро"; A12 + A11 = Флоренция, Санта-Мария-дель-Фиоре, колокольня Джотто, капеллы Медичи, дом Данте, Понте Веккио, Уффици; A12 + A21 + A4 = Венеция, Сан-Марко, Дворец дожей, Риальто, Галерея академии, Большой канал, Ка'д'Оро; A12 + A11 + S2 = Сиена, пьяцца дель Кампо, палаццо Публико, Сан-Доменико, палаццо Пикколомини. Я хорошо знал эти места и рассказывал тебе то, что помнил из объяснений отца, а ты внимательно слушала и иногда смеялась в ответ. Отец с мамой жили совсем рядом, в тридцати километрах отсюда; отец все еще преподавал в университете, а мама работала в госпитале. Они часто приезжали к нам в праздники и по выходным, и каждый раз, сидя с ними в гостиной, я обязательно хотя бы на несколько минут попадал в нашу старую квартиру в Квинто. Я ездил в школу на машине по узким улочкам вместе с отцом; он всегда спешил, чтобы успеть к началу уроков, улицы были полны автомобилей, и отец отчаянно ругал всех, кто мешал ему продвигаться вперед; особенно доставалось длинным автобусам двойного сочленения, которые иногда занимали целый квартал и не давали проехать вслед за ними даже на зеленый. Я возвращался из школы один, зимой в это время уже темнело, и я звонил из автобуса отцу на работу, а потом шел пешком от площади к нашему дому; мы жили напротив церкви, и по выходным я просыпался от перезвона ее колоколов, и сразу садился за компьютер, чтобы связаться с друзьями, а когда раздавался звонок в дверь, бежал по лестнице вниз

[1] "Бог есть мой свет" (лат.).

встречать маму. Так продолжалось все время, пока отец с мамой оставались у нас, и когда они наконец уезжали, у меня снова не оставалось никакого времени, кроме настоящего.

Одновременно с арифметикой мы овладевали пением, Карузо, дель Монако, Лоретти, Паваротти, Рамаззотти, а потом занялись рисованием, Леонардо, Рафаэль, Тициан, Боттичелли, Караваджо. После уроков мы обычно уходили гулять и до темноты бродили по узким улицам, заглядывая в окна и разглядывая фасады; мы уходили далеко, улицы превращались в дороги, начинались поля; деревья стояли по сторонам ровными рядами, и мы шли по горячему асфальту, изредка отходя на обочину, чтобы пропустить обгоняющие нас автомобили. Когда мы были в Павии, ты захотела посмотреть чертозу; от автобуса нужно было идти пешком около двух километров; широкая аллея была обсажена тополями, и от нее то и дело отходили в стороны узкие сельские дороги. Ты свернула в одну из них, я окликнул тебя, но ты не ответила, а только обернулась в ответ и исчезла за поворотом. Я быстро догнал тебя, ты вырвалась и побежала по траве к роще, я прижал тебя к дереву, ты поцеловала меня в губы, я стянул с тебя блузку, мы упали в траву, я взлетел над полями, ты промчалась над чертозой, я взмыл в воздух над Ломбардией, ты пронеслась над Лигурией, и мы долго любили друг друга под старыми акациями в широком небе Италии, кувыркаясь над головами прохожих, забавляя детей и распугивая монахов. Мы вернулись в Сестри уже заполночь, ты сразу уснула, а я еще долго читал "Три счастья дона Диего". Это была странная книга о том, что у каждого мужчины в жизни есть множество единственных женщин, что жизнь закономерно складывается из случайностей, и что бесконечное количество вариантов судьбы строго ограничено. К тому моменту я одолел около половины; дон Диего плескался в своем втором счастье где-то высоко над землей, и я прекрасно понимал его, засыпая рядом с твоим расслабленным телом.

Работа над романом продвигалась с трудом, в гостинице писать было неудобно, и через несколько недель мы переехали в просторную квартиру на корсо Монтевидео. Договор с издательством уже был готов, оставалось согласовать некоторые детали сюжета. На протяжении нескольких десятилетий я носил с собой каждый поворот этой истории, мы следили за ней вместе с отцом по телевидению, газетам и интернету из нашей квартиры в Квинто. Пропавших нефтяников искали суда, вертолеты и самолеты, специалисты анализировали фотографии, сделанные со спут-

ников, но все было напрасно. К тому времени нефтяные месторождения Северного моря и Аляски иссякли окончательно, запасы в Баренцевом море приближались к концу, и гонка за околополюсные районы была в самом разгаре. Из-за потепления климата каждая высадка на лед была рискованной, но речь шла о миллиардах, поэтому риск считался оправданным. Установка платформы на такой широте заняла бы несколько лет, в то время как разведка со льда могла дать необходимую информацию в течение двух-трех месяцев. Все данные со льдины непрерывно шли прямо в штаб-квартиру BP, поэтому там сразу забеспокоились, когда связь неожиданно прекратилась, однако репортеры узнали об этом только через сутки. На следующее утро The Sun вышла с заголовком Lost for Oil[1] через всю полосу; редакционная статья в The Guardian была озаглавлена Oil Price.[2] Все необходимое еженедельно доставлялось в лагерь огромными транспортными самолетами, однако когда самолеты появились над нужной точкой вскоре после исчезновения связи, летчики не увидели там ничего, кроме ледяной пустыни. К этому моменту в лагере работали двадцать шесть человек, в основном специалисты-нефтяники, с которыми были врач, радист и океанолог. На ноги были подняты все спасательные службы от Норвегии до Канады; американские, английские, канадские, шведские, норвежские и русские спасатели прочесывали квадрат за квадратом от Шпицбергена до Новой Земли, но все оказалось напрасным. За три месяца поисков не было обнаружено ничего напоминающего о том, что в этом месте когда-то был полярный лагерь. В конце концов поиски было решено прекратить; все компании отказались от планов освоения полярной нефти, газеты перестали писать о пропавших, и никто так и не узнал, что с ними случилось.

Я провожу все лето за письменным столом; начинается осень, и ты впервые улетаешь в Иран. Там почти нет западных журналистов, и тебе не разрешают снимать ничего, кроме короткого репортажа о детях; у тебя уходит не меньше недели на то, чтобы объехать школы, детские сады, ясли и родильные дома, потом ты летишь на монтаж в Лондон и возвращаешься в Италию только в конце февраля. Услышав звонок, я спускаюсь вниз, чтобы помочь тебе с чемоданом; ты стоишь у стеклянной двери, и твои волосы струятся по яркому восточному платку. Как только я вижу тебя, я чувствую, что ты чего-то хочешь, но не могу понять, чего. Мы ужинаем в ресторане над морем; тебе неспокойно, и ты весь вечер пытаешься вывести меня из себя; ты используешь разнообразные приемы, смотришь мне

[1] "Пропавшие из-за нефти" (англ.).

[2] "Цена нефти" (англ.).

прямо в глаза, как будто случайно приподнимаешь край юбки, поправляешь шлейку лифчика, запустив пальцы под платье, но у тебя ничего не получается. Ты добиваешься своего только дома, когда я захожу в гостиную, снимая пиджак и повесив пальто в прихожей, а ты уже стоишь на ковре в красном свете японской лампы, Sade поет "Your love is king"[1] хрипловатым голосом со старого диска, и твоя обнаженная грудь ровно отсвечивает в полутьме. Мы падаем на ковер, совершая множество быстрых движений, остаемся там внизу в течение неизвестно какого времени, и в конце концов ты добиваешься своего, и я выхожу из себя. Выходя из себя, я вхожу в тебя; я вхожу в тебя через небольшое отверстие между ногами, окруженное рыжими волосами; я оказываюсь у тебя внутри; там тесно, тепло и темно, и я растекаюсь в этой темной тесноте, обволакивая мягкие стенки; сжимаясь мне навстречу, ты впитываешь меня в себя, и я начинаю двигаться у тебя внутри, понемногу наполняя твое тело. Ты разносишь меня повсюду; проходит еще какое-то время, и становится невозможно разобрать, где ты и где я; тогда ты собираешь всю эту бесформенную красную массу, которая одновременно является мной и тобой, у себя в низу живота, прямо над соединившим нас узким отверстием, собираешь и наконец звонишь мне теплым весенним днем и говоришь, you know, I am pregnant.[2]

В первые годы после исчезновения нефтяников вышли несколько книг с детальным описанием этой истории, но ни одной из них не удалось объяснить, что именно случилось тогда во льдах. Прошло несколько лет, и одним солнечным зимним утром я, как всегда, спустился на набережную, присел на скамейку над холодным блистающим море, прикрыл глаза от слепящего света и внезапно увидел, как где-то вдали несколько человек в ярко-рыжих комбинезонах идут по сверкающему на солнце льду, обходя полыньи и перебираясь через торосы. Я замер, изумленный четкостью увиденного, потом встал, облокотился на парапет, снова закрыл глаза и несколько минут смотрел, как цепочка людей с трудом движется вперед под тусклым полярным солнцем, смотрел до тех пор, пока сияние северных льдов не растворилось в блеске Средиземного моря. Прошло около месяца, и я снова увидел эту картину, когда сидел на песке у воды теплым мартовским днем; блестящая поверхность уходила далеко к горизонту, люди шли медленно, и было видно, что они очень устали; к тому же мне показалось, что их стало меньше. Я долго не мог понять, что это значит,

[1] "Твоя любовь — король" (англ.).

[2] Знаешь, я беременна (англ.).

но когда люди во льдах появились перед мной в третий раз и я смог разглядеть нашивку "BP" на комбинезоне одного из них, мне стало ясно, что отраженный холодной морской поверхностью солнечный свет имеет отношение к пропавшим нефтяникам.

У тебя ушло больше полугода на то, чтобы снова стать собой. Все это время ты на четверть состояла из меня, и я часто спрашивал себя о том, согласился бы я так долго терпеть то же самое по отношению к тебе; спрашивал, но не находил ответа. Больше полугода ты состояла из двух неравных частей, и та из них, которая являлась тобой лишь наполовину, подчиняла себе твою жизнь все больше и больше. Эта неспокойная часть, она заставляла тебя просыпаться по ночам, постоянно отлучаться в туалет, отказываться от любимых блюд и напитков и в конце концов просто отправила в постель на два месяца, разрешив только кресло-качалку на балконе и прогулки у моря три раза в день. Ты снова стала собой, когда начались холода, улицы покрылись желтыми листьями и над морем повисли туманы; поздним вечером ты появилась в открытой двери кабинета, попросила позвонить в госпиталь и опустилась на диван; я набрал номер, не всегда попадая на нужные клавиши, побежал в спальню за давно подготовленным чемоданчиком, набросил тебе на плечи пальто, свел вниз по лестнице вместе с врачом и потом только все время держал тебя за руку, в машине "скорой помощи", в коридоре и в родильном зале; когда я наконец разжал насквозь промокшие пальцы, ты улыбнулась мне серым больничным лицом, люди в белых халатах засуетились в стороне вокруг маленького красно-рыжего тельца, и ты снова улыбнулась мне и сказала, we'll call him Robert.[1]

 Начиналась зима; ты вернулась на телевидение, Роберт все чаще оставался с няней, и я старался чередовать работу с неспешными прогулками у моря. Был ясный декабрьский день; я спустился на набережную, сел на залитую солнцем скамейку и закрыл глаза. Несколько человек в рыжих комбинезонах шли через бесконечные полярные льды, и тусклое рыжее солнце равнодушно светило им навстречу. Вчера они прошли не больше трех километров; ноги застревали в свежем снегу, ветер бросал в лицо острые иглы льда, и им приходилось держаться за руки, чтобы не потерять друг друга. Наутро пурга улеглась, и они пошли побыстрее, снова растянувшись в длинную цепь. Они шли на юг, оставляя за собой прерывистую линию следов и время от времени поглядывая на небо, их ры-

[1]Мы назовем его Робертом (англ.).

жие комбинезоны четко выделялись среди белизны, и каждый из них по несколько раз в день видел их всех с высоты, проносясь низко надо льдом в кабине поискового самолета. Этот самолет, они слышали его ежедневно, утром, днем, вечером, а некоторые даже ночью, он появлялся на юге, востоке, западе и даже на севере, его долгожданный ровный гул возникал где-то вдали и повисал над торосами, приближаясь, и тогда каждый из них хватал за плечо другого и застывал, указывая рукой в вышину, застывал до тех пор, пока тот, другой, не отворачивался и не уходил вслед за остальными, так ничего и не услышав.

Первая экспедиция высадилась на Марсе, когда Роберту исполнилось пять; он часами не мог оторваться от телевизора, внимательно следя за тем, как белые скафандры бесшумно перемещаются по рыжей поверхности на широком плоском экране в десятках миллионов километров от нас. Когда первые кадры с Марса достигли Земли, отец переехал к нам на несколько дней; он смотрел вместе с Робертом все передачи, не пропускал ни одного пресс-релиза в интернете и был по-настоящему счастлив, когда узнал, что в первых анализах почвы были обнаружены следы аминокислот. Поздравления в его адрес приходили в течение нескольких недель после этого: человек, первым доказавший существование сложных органических молекул за пределами Земли, снова оказался одним из героев дня, и в эти дни я наконец понял, что это такое, в одиночку бродить по чужой холодной планете, потому что впервые делал это вместе с отцом. Мы вдвоем прогуливались по марсианским пустыням, спускались в широкие долины, поднимались по длинным склонам кратеров, и Роберт с трудом поспевал за нами.

 Британия еще не поддержала Соединенные Штаты в их конфликте с Ираном, война еще не началась, и я видел тебя почти каждый день на BBC World, стоящую с микрофоном в руках на одной из площадей Тегерана. Ты смотрела мне прямо в глаза, твои рыжие волосы сверкали из-под светлого платка, и высокие белые здания сияли на солнце за твоей спиной. Чтобы лучше понимать тебя, я выключал звук и слушал, как ты рассказываешь мне о себе, о том, как ты скучаешь, как устаешь, как ждешь вечера, чтобы наконец включить телефон и позвонить в Италию; как ты подходишь к нашей двери, открываешь ее своим ключом и осторожно входишь в полумрак за решетчатыми ставнями, трясясь на сиденье редакционного джипа по узкой горной дороге и не открывая глаз; как тебе бывает страшно по ночам, когда ты лежишь с опущенными веками в тягучей

летней темноте и внезапно отчетливо видишь то, что произойдет здесь всего через несколько месяцев. Ты видишь невысокое здание, окруженное забором со всех сторон, чувствуешь идущий от него запах гари и слышишь детский плач, доносящийся откуда-то сверху.

Каждый вечер я замирал над белой страницей, и твои рыжие волосы мелькали у меня перед глазами среди бесконечных ледовых полей, освещенных низким полярным солнцем. Я прикрывал глаза и подолгу смотрел на красно-оранжевый диск, пока он не расплывался в морозной дымке и не превращался в знакомую рыжую россыпь, из которой выглядывало твое лицо. Я видел, как далеко внизу несколько человек в рыжих комбинезонах медленно шли по льду, растянувшись в длинную цепь, как они иногда останавливались, смотрели на небо, как будто прислушиваясь к чему-то, потом опускали головы и снова шли друг за другом своей усталой походкой, как они тяжело двигались среди льдов, изредка взглядывая на солнце, и как красивые женские лица смотрели на них со слепящего диска, встряхивая разбросанными по плечам волосами. Отсюда, с лигурийского побережья, несколько десятилетий спустя мне было трудно рассмотреть черты этих лиц, но я был уверен, что некоторые из них мне хорошо знакомы. Красивые женские лица появлялись одно за другим в застывшей ледяной вышине, медленно исчезали в облаках и снова появлялись, когда кто-то из идущих на юг людей в очередной раз поднимал глаза к небу. Лицо, которое возникало низко над горизонтом всякий раз, когда на солнце смотрел тот, кто шел последним, странно напоминало мне кого-то из близких, но я никак не мог определить, кого; прищурившись от яркого света, я вглядывался в знакомые изгибы скул, овалы глаз, линии губ, узнавая каждую деталь, но так и не понимая, кто это улыбается мне через мертвый полярный холод.

 В те дни я много работал, стараясь закончить сборник, и дон Диего приходил ко мне, только когда я выключал компьютер, умывался холодной водой и ложился в постель, наполнив бокал малагой. Дон Диего рассказывал мне о том, что наши жизни происходят вдоль тонких и прочных линий, которые находятся одновременно внутри и снаружи каждого из нас; что эти линии могут перекрещиваться, перетекать друг в друга, совпадать на какое-то время и обрываться навсегда; что жизнь может приближаться к своей линии и в точности совпадать с ней, и тогда человек счастлив, но может и удаляться от нее и полностью терять ее из вида, и тогда человек становится несчастным и в конце концов исчезает. Тем ве-

чером я снова застываю над чистой страницей, и знакомое женское лицо тут же возникает передо мной над бескрайними просторами льда. Тот, кто шел последним, стоит по колено в снегу, запрокинув голову к небу и не пытаясь догнать уходящих все дальше товарищей; он пристально смотрит на солнце, прищурив глаза и не отводя взгляд, и я теперь могу рассмотреть красивое лицо, улыбающееся ему сверху. Какое-то время мы вместе смотрим на низко висящий диск; тот, кто шел последним, наконец отводит взгляд, опускается на колени и ложится лицом в снег, а потом поднимается, смотрит туда, куда пошли остальные, и уходит в другую сторону. Улыбающаяся с неба женщина перестает улыбаться, она просто смотрит, как он из последних сил пробирается через льды, падая и вставая, и когда она наконец отворачивается и медленно растворяется в небесном сиянии, встряхнув знакомой россыпью рыжих волос, я понимаю, что это твоя мать, которую я никогда не видел и которая умерла, когда тебе было четыре года; твоя мать задолго до твоего рождения. Пораженный, я какое-то время сижу за столом, пересекая темные пространства и совершенно потеряв из виду рыжий солнечный диск, белые льды и идущих по ним людей, потом с трудом открываю глаза, иду в гостиную, открываю бутылку граппы, возвращаюсь к столу и немного отпиваю из рюмки. Я снова вижу длинную цепочку людей, из последних сил бредущих на юг сквозь полярные льды, передо мной снова возникают красивые женские лица, и когда тот, кто ушел в сторону, вскидывает голову к солнцу и надо льдами появляется сияющее лицо твоей матери, я вздрагиваю и широко открываю глаза, потому что теперь твердо знаю: этот человек — твой отец. Некоторое время я сижу неподвижно, пытаясь понять, что же произошло, потом встаю, снова иду в гостиную, допиваю всю граппу в течение нескольких минут, ложусь на ковер и тут же засыпаю; я сплю до полудня, не слыша уличного шума и телефонных звонков, и когда просыпаюсь, сразу же понимаю: теперь мне известно, что случилось с тем, кто шел последним в длинной цепочке бредущих сквозь полярные льды людей.

Новость о том, что во время бомбардировки была разрушена детская больница, первой передала Al Jazeera; ты услышала об этом, когда проходила через холл, в котором работал телевизор. Слова "children's hospital"[1] заставили тебя остановиться, слова "heap of debris"[2] обожгли лицо, а слова "hundreds of newborns"[3] ударили так, что ты раскаленным снарядным

[1] Детская больница (англ.).

[2] Груда обломков (англ.).

[3] Сотни новорожденных (англ.).

осколком пронеслась через пустынные города, черные горы и залитые тьмой долины, пока в конце концов не уперлась фарами в толпу, не съехала на обочину и не увидела поднимающийся слева от дороги дым. С того момента, как ты замерла перед телевизором, ты не думала ни о чем, но точно знала, что делать. Ты выключила фары, заглушила мотор и вышла из машины, пряча лицо под хиджабом; никто не заметил твоего появления, внимание собравшихся в ночи людей было полностью занято тем, что происходило впереди, там, откуда поднимался дым. Миниатюрная камера, как обычно, была спрятана в складках ткани у тебя на груди, аккуратно фиксируя все, что ты видела, и даже больше, благодаря своей чувствительности к инфракрасному излучению. Ты прошла вперед, смешавшись с множеством таких же женщин, как ты, закутанных в темные ткани, и оказалась перед обломками здания, только что разрушенного сильным взрывом. Женщин здесь было меньше, они или стояли вокруг, молча заламывая руки, или катались по земле, захлебываясь в крике; мужские фигуры стремительно двигались среди обломков, освещаемые языками пламени, они время от времени останавливались, наклонялись над чем-то, подзывали на помощь других, вглядывались и принимались быстро расшвыривать обломки, пытаясь что-то вытащить из-под них; когда это им удавалось, они расстилали на земле простыни, быстро говорили о чем-то и несли тела к темнеющему в стороне забору, уже четко отграниченному белым. Тут и там из-под обломков поднимался дым, выбивалось пламя, торчали балки, трубы, стены; не в состоянии разглядеть, что там происходит, ты то и дело нажимала на Zoom, запустив руку под платье; ты не могла проверить положение камеры, это было слишком опасным, и поэтому ты просто поочередно поворачивалась к мелькающим в дыму мужчинам, распростертым на земле женщинам и белеющим у забора телам. Ты простояла у развалин еще некоторое время после приезда врачей и пожарных, автоматически следя за суетящимися среди огня людьми, потом наконец повернулась, спустилась к машине, села за руль, выключила камеру, развернулась на узкой дороге и оказалась в своей квартире через несколько никак не ощущенных тобой часов; начинало светать. Ты выпила полный стакан виски, подключила камеру к проектору, снова наполнила стакан и нажала на Play. Крупное изображение плачущего бородатого мужчины, держащего на руках ребенка, появилось на экране примерно через десять минут после общего плана сложенных у забора тел; ты остановила камеру, немного прокрутила назад, уменьшила скорость и еще раз просмотрела последнюю минуту, пока снова не увидела мужчину с ребенком и не оста-

новила кадр. Черный силуэт мужчины, освещенное огнем лицо, маленькое тельце на руках и стекающие по щекам слезы. Не отрывая взгляд от экрана, ты допила остаток виски, включила принтер и запустила печать; во сне ты всю ночь бродила по пустому огромному дому, переходя из комнаты в комнату, и в каждой из них висела на стене только что отпечатанная фотография мужчины с ребенком; когда ты открыла глаза следующим утром, эта фотография висела на стене над твоей постелью.

 Твоя жизнь перестала быть моей через несколько дней. Твой репортаж по BBC о разрушенной взрывом больнице повторили CNN, ABC, CBS, три первых канала французского телевидения, немецкие, итальянские, испанские, голландские, датские, шведские телекомпании, и ты стала частью тех нескольких миллионов, которые посмотрели его; конечно, так случалось и раньше, но тогда в твоем компьютере еще не было кадров мужчины с ребенком. Фотография появилась на обложке Time через сутки; прошел еще день, и на тебя заявил права весь мир. Наш телефон звонил без умолку, и нам пришлось отключить его и перейти на другой номер, твой mailbox оказался засыпанным сообщениями со всех концов Земли, твой мобильный вибрировал у тебя на столе каждые несколько минут, сигнализируя о прибытии очередного SMS. Бородатый мужчина стоял с ребенком на руках в зеленоватом свете инфракрасной камеры, и желтые огоньки слез блестели на его темном лице. Каждый хотел что-то узнать о журналистке, из-за репортажа которой пришлось созывать заседание Совета безопасности ООН, и ты перестала быть просто частью этого мира и стала частью каждого из тех, кто в нем был.

В те годы ты редко бывала дома, и Роберт все больше зависел от меня, особенно после того, как отец навсегда исчез из его жизни. Я писал его жизнь набело, стараясь не делать ошибок и тщательно подбирая слова. Дни складывались в предложения, недели абзацами ложились на чистые листы, месяцы превращались в страницы, образуя пока еще тонкую книгу его жизни, основную часть которой ему предстояло написать самому. Тогда я постоянно носил эту книгу с собой; она была аккуратно переплетена и жестко перетянута суровой ниткой, которая принадлежала только ему и ход которой терялся под твердой обложкой. Мы ездили в Геную, бывали во Флоренции, отправлялись на футбол в Милан; ему особенно нравилось, когда приезжали английские команды, он любил смотреть, как красно-рыжий крест медленно поднимается над залитым белым электрическим светом стадионом; я водил его в детский сад, а потом в школу, учил плавать

баттерфляем, работать на компьютере и играть на пианино, почти не вспоминая о тебе и осторожно заполняя страницу за страницей. В один из ноябрьских дней мы вернулись из поездки в Верден; он уже заканчивал последний класс и серьезно занимался музыкой; я разжег камин, сел к огню и достал книгу из портфеля; она заметно потяжелела и увеличилась в объеме, но большинство страниц так и оставались неразрезанными. Я подождал, пока он сядет рядом, включил The Great Gig in the Sky и положил книгу на стол перед ним. Он взял ее, повертел в руках, открыл, внимательно посмотрел, куда уходит нитка, и пошел к себе в комнату. Осенью он уехал учиться в Англию, и я больше никогда не видел у него этой книги.

О том, что одним из нефтяников был твой отец, я узнал только через полгода после нашего знакомства. Вначале ты всячески избегала разговоров о своей семье, и я быстро перестал задавать тебе лишние вопросы. Потом я узнал, что ты выросла без родителей; когда мы в первый раз поехали к тебе в Ливерпуль, я увидел на твоем столе выцветшую фотографию загорелого мужчины и смеющейся женщины, сделанную еще до появления цифровых камер. This is dad and mum,[1] сказала ты со странным изломом в голосе, отвернулась и вышла из комнаты. Прошло еще несколько месяцев, мы сняли нашу первую квартиру на Монпарнасе, и только там ты наконец показала мне вырезки из старых газет, интересовавшихся судьбой экспедиции; я сразу вспомнил некоторые из них, отец тогда выписывал The Guardian, которая регулярно сообщала о ходе поисков. Все фотографии пропавших полярников были сделаны общим планом, и на них нельзя было узнать загорелого мужчину из твоей комнаты, но твоя фамилия то и дело мелькала в тексте; ты оставила мне папку, сказала look over[2] и ушла курить на балкон. Я долго сидел на диване, перебирая пожелтевшие кусочки бумаги, но в тот вечер мне не удалось попасть за полярный круг, потому что я был у нас дома в Квинто вместе с отцом; мы смотрели телевизор, листали газеты и спорили о том, что могло случиться на льдине, а потом обедали в японском ресторане и гуляли по набережной, глядя на море. Зато теперь, сидя за своим рабочим столом над черными от правки листами, я был рядом с твоим отцом, немного сбоку и сверху, я отлично видел, как он прошел еще немного, рухнул в снег, поднялся, сделал несколько шагов, покачнулся и снова упал, а потом последним долгим движением перевернулся на спину и затих, раскинув в стороны руки и оставляя оранжевую букву "T" на белоснежной поверхности океана. Я видел, как он лежал,

[1]Это папа и мама (англ.).

[2]Посмотри (англ.).

не двигаясь и глядя на солнце, как остальные уходили на юг все дальше и дальше, как они обнаружили, что его с ними нет, как повернули назад и как нашли его на третий день после ухода. Кто-то из них заметил что-то яркое с верхушки тороса; они взяли еще западнее и где-то через час увидели прямо по ходу неровное рыжее пятно; прошло не меньше получаса, пока они наконец не поняли, что он лежит у края широкой льдины, повернув лицо к солнцу; они пересекли льдину, встали вокруг него, закрыли засыпанные снегом глаза, завалили тело глыбами льда, постояли несколько минут, глядя на виднеющуюся в просветах между глыбами рыжую ткань, повернулись и снова пошли на юг, не останавливаясь и не смотря друг на друга; они знали, что теперь у них больше нет никаких шансов выжить.

 Льдина раскололась вопреки всем расчетам; наверное, инженеры не полностью учли вибрацию, от которой лед все время дрожал под ногами; буровая установка мгновенно исчезла в разломе, унося с собой всех, кто был рядом, трещины разбежались во все стороны, и через несколько секунд все, что было на льду, оказалось под ним. Спастись удалось только пятерым, тем, кто в этот момент забирал пробы морской воды в полукилометре от лагеря; обернувшись и не увидев буровой, они побросали на лед приборы и побежали назад, но не нашли там ничего, кроме сломанного зеленого флажка с двумя желтыми буквами. У них был запас продуктов всего на один день, и они решили пойти на юг к островам. Некоторое время спустя они уже не могли вспомнить, как оказались в этих безжизненных льдах, и в их памяти не осталось ничего, кроме ощущения, что это было как-то связано с густой черной жидкостью, спрятанной между скалами под слоями земли и воды. Когда-то здесь не было льдов, и миллионы крошечных жизней заполняли теплый океан, чтобы, непрерывно изменяясь, в конце концов превратиться в тебя, меня и всех остальных, включая людей в рыжих комбинезонах. Эти люди, они искали то, что осталось от миллионов крошечных жизней спустя миллионы лет; они хотели с помощью мощных насосов высосать остатки этих жизней наверх, чтобы навсегда превратить в белый дым. Они ошиблись, нарушив неизвестные им взаимосвязи, и в белый дым превратились их собственные жизни. Я поставил точку, выключил компьютер и вышел на балкон; Лигурийский залив сверкал ледяным блеском, отражая холодное зимнее солнце. Книга вышла в Random House через полгода, а еще через год на океанском дне нашли буровую установку и несколько рыжих комбинезонов.

Наше время истекало, оно медленно вытекало из нас, истоньшая мышцы и иссушая кожу; время стекало ручейками по улицам к морю, быстры-

ми потоками неслось по склонам гор, капало с крыш, било струей из садовых шлангов, тонкой струйкой сочилось из плохо закрытых кранов, текло без остановки самыми разными способами, и его оставалось все меньше и меньше. Роберт уже работал в Нью-Йорке, он играл в оркестре, прилетая в отпуск не чаще двух раз в году, и мы старались сами выбираться в Америку. Когда тебя номинировали на Пулитцера, он приехал встречать нас в JFK с огромным букетом роз, а потом отвез в гостиницу и не отпускал целый вечер, расспрашивая об Италии. На следующий день мы тоже засиделись допоздна, разговаривая о музыке; он считал, что она выполняет чрезвычайно важную роль, позволяя почувствовать то, что обычно ускользает от восприятия. Наутро у тебя было несколько деловых встреч, и Роберт потащил меня в Бруклин, он хотел показать мне дом, где когда-то жили отец с мамой, он нашел его по конверту, который обнаружил у нас дома несколько лет назад. Мы проехали по широкому проспекту к самому океану, вышли из машины и немного постояли возле кирпичного шестнадцатиэтажного дома, возвышавшегося над пляжем; мы вернулись в "Ритц", когда уже стемнело, переоделись, спустились вниз и сели в такси. Пятая авеню разбегалась в стороны тысячами огней; таксист несколько раз оборачивался и взглядывал на тебя, желая убедиться, что ты все еще здесь. Ожидавший твоего появления мир постепенно забирал тебя к себе, и здесь, в такси, нам оставалось все меньше и меньше. Премию вручали в Колумбийском университете; хотя все было решено заранее, многим показалось, что когда объявляли номинатов на приз за лучшую фотографию, овация, раздавшаяся после твоего имени, не оставила организаторам никакого выбора. Ты взлетела на залитую белым светом сцену, твои рыжие волосы взметнулись на миллионах телевизионных экранов, и наша с тобой частная жизнь наконец превратилась в частную жизнь всего человечества.

 Течение времени замедлилось после того, как ты ушла с работы; если раньше мы неслись по стремительной, складывающейся в неожиданные потоки и вихри, реке, то теперь оказались на широком неспешно движущемся просторе. Несмотря на это, приближение к точке, где время остановится навсегда, ощущалось все сильнее, и мы наконец решились поехать в Иран. Начиналась зима, в Тегеране было холодно, и торжества по случаю очередной годовщины победы были почти незаметны. Мы выехали из гостиницы ранним утром, чтобы успеть засветло проделать тот путь, который привел тебя на обложки. Больница находилась на окраине, и сразу за ней начинались горы; теперь на месте дымящихся в но-

чи развалин был памятник жертвам оккупации. Четкие тонкие линии расходились по мраморной плите от нескольких детских фигур, пересекаясь с вертикальными линиями, идущими параллельно друг другу; в точках пересечения линии, отходящие от фигур, становились прерывистыми или обрывались совсем. Это едва успевшие начаться линии их жизней пересекаются с лазерными линиями падающих с неба бомб, задумчиво сказала ты, и мы повернулись и пошли назад к машине.

Прошла весна, за ней лето; Роберт вернулся в Италию, ты перестала уезжать на съемки, мы завели кошку, и мне казалось, что я вижу ее каждый раз, когда смотрю на Сатурн, сверкающий в черном августовском небе. В первый раз я оказался в госпитале в один из осенних дней, когда начались затяжные дожди; врачам удалось поставить диагноз только через несколько месяцев; оставшееся во мне время съежилось до незаметности, и я почти не ощущал его. Ты не отходила от меня ни на шаг, но я не всегда замечал это; солнечный зайчик висел на потолке, белоснежные простыни похрустывали под спиной, и я гулял по набережной вместе с отцом, приезжал на каникулы из университета и водил Роберта в школу, только ненадолго возвращаясь в палату. Наверное, тогда была ночь; ты дремала в кресле у стены; я осторожно встал, нашел свою одежду, спустился по лестнице и вышел на улицу, никого не встретив. Было сыро, над берегом висел туман, и сквозь него тускло просвечивали звезды. Я прошел вправо по широкому проспекту и свернул в боковую улицу; я точно не знал, где нахожусь, и поэтому обрадовался, увидев впереди ярко светящуюся вывеску кинотеатра. Перед кассой никого не было; я поздоровался, купил билет и поднялся в зал. Там было пусто, только где-то сзади сидели несколько человек; я выбрал место прямо напротив экрана и стал смотреть; фильм уже начался, и я сначала не мог понять, что происходит, а потом внезапно увидел прямо перед собой лицо отца и узнал пляж, на который мы ходили с ним в Квинто. Отец внимательно посмотрел на меня, а потом развернулся и пошел к набережной; мы поднялись на стоянку, сели в машину и через несколько минут оказались в обсерватории; отец включил компьютер, и круглый потолок над нашими головами раскололся надвое, открыв усыпанное крупными звездами небо. Негромко зажужжали моторы, черный цилиндр телескопа слегка повернулся, на стене засветился широкий дисплей, и я увидел на нем круглые белые шапки над рыжими полушариями Марса. Тебе нужно спешить, мягко сказал отец, я обнял его и быстро пошел к машине по длинной темной аллее, чувствуя, как он смотрит мне вслед. Ты уже ждала меня, сидя на переднем сиденье с тон-

кой сигаретой в руке; мы проехали через Сомервиль и остановились у дома, в котором я жил, когда учился в Бостоне; мы поднялись в мою квартиру на третьем этаже, я включил Шенберга и откупорил бутылку кьянти, а потом долго смотрел, как твои волосы темной грудой лежат на простыне и как ты, вздрогнув во сне, переворачиваешься на спину, открывая свой рыжий треугольник, окруженный белоснежной кожей. Я на несколько секунд закрыл глаза в темной пустоте зала, коротко вздохнул и поцеловал тебя в губы; ты не просыпаясь потянулась мне навстречу, я осторожно выбрался из постели, оделся и позвонил маме, что сейчас приеду. Когда я ехал от мамы, люди в рыжих комбинезонах стояли по обочинам дороги тут и там, и свет моих фар скользил по плакатам с фотографиями женских лиц в их руках. Снова пошел дождь; нефтяник с табличкой Thank you for seeing other's mirage[1] стоял перед последним поворотом, и струйки воды сбегали по его лицу. Я бросил машину у обочины и побежал наискосок через площадь; Роберт кинулся мне наперерез из-под навеса и обхватил изо всех сил, я взлохматил ему волосы и засмеялся, чтобы подбодрить его; он заплакал и разжал руки. На перроне не было ни души, поезд уже был готов отойти, все двери были закрыты; я рванул на себя ближайшую из них, она легко подалась, я впрыгнул в тамбур, и поезд тотчас же пошел, все увеличивая скорость, потом мягко оторвался от земли и помчался в направлении созвездия Весов; за окнами было темно, красный диск Марса, окаймленный белыми шапками, висел высоко на землей; я раскрыл "Дона Диего" и сел у окна; Долорес О'Риордан пела "Will you remember the dress I wore",[2] вокруг была чернота, и только далеко внизу, там, где железнодорожная линия резко уходила на юг, светился едва заметный огонек.

Часть третья
Черная на золотом

Наконец поезд замедлил ход и остановился. Я спрыгнул на перрон и обернулся; ты шагнула ко мне, я подхватил тебя на руки, ты скользнула вниз своим тонким телом, и я поцеловал тебя. Проводник подал носильщику наши чемоданы, двери захлопнулись, поезд легко тронулся с места и быстро исчез в струящемся полуденном воздухе. Ты оторвалась от моих губ, я

[1] "Спасибо за то, что видишь чужой мираж" (англ.).

[2] "Ты будешь помнить, в каком я была платье?" (англ.).

взял тебя за руку, и мы понеслись к выходу, кружась в вышине и взлетая вместе с ласточками над желтыми плоскостями вокзала; носильщик шел впереди, толкая перед собой тележку с нашими вещами, и даже с такой высоты нам было хорошо видно, как мы с трудом успеваем за ним, слишком занятые друг другом. Мы видели, как носильщик пересек привокзальную площадь, поздоровался с таксистом и погрузил чемоданы в багажник, как я сел рядом с тобой на заднее сиденье, назвал адрес и снова взял тебя за руку, как ты повернулась ко мне, внимательно посмотрела в глаза и поцеловала. Отсюда, сверху, мы не могли разобрать, что было дальше, поскольку поднялись еще выше; я различал только прядь твоих черных волос прямо перед своим лицом, а ты не видела ничего, кроме моих закрытых глаз; когда мы наконец снизились и снова начали различать детали, машина уже катилась вдоль пляжей, люди сидели в кафе, и таксист негромко напевал что-то из Паоло Конте. Мы вышли у старинного четырехэтажного здания; таксист открыл тебе дверцу, ero molto contento per vederla, signora, tutto il migliore, signore, spero di vederla ancora in Viareggio,[1] а потом хотел дать свою визитную карточку, но ты не обратила на это внимания; швейцар учтиво поклонился, коридорный подхватил чемоданы, мы прошли через вестибюль с вензелем в виде буквы "V" на потолке, поднялись по широкой мраморной лестнице на второй этаж и вошли в номер. Замок защелкнулся; ты взглянула в зеркало на стене: я обнимал тебя за талию, ты смотрела прямо перед собой, слегка наклонив голову, и аккуратно подстриженные волосы падали тебе на плечи. Я расстегнул пояс на твоей юбке, ты перешагнула через нее, повернулась и стащила с меня рубашку, мы прикоснулись друг к другу, наши изображения в зеркале исчезли, и мы помчались над красными крышами домов, зелеными верхушками кипарисов и белыми очертаниями облаков, помчались до тех пор, пока не услышали, как в ванной бежит вода из незакрытого крана, как автомобили гудят за плотно запахнутыми шторами и как откуда-то издалека грустный голос поет "Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio".[2] Мы пронеслись сквозь вселенную, увидев рождение звезд, гибель планет и столкновения галактик, повисли в темноте, переливаясь друг в друга, и приземлились на широкую постель посреди просторного гостиничного номера, так и не разжав руки.

Мы выбрали гостиницу на одной из улиц, ведущих к морю. Город располагался на плоском участке суши, вытянувшись вдоль автострады и ли-

[1] Был очень рад встретиться с вами, синьора, всего наилучшего, синьор, надеюсь еще раз увидеть вас в Виареджо (итал.).

[2] "Ну, давай же, улети со мной, умчись в эту непонятную любовь" (итал.).

нии железной дороги. Широкие проспекты бежали на юго-восток вдогонку за уходящими в Рим поездами, и идущие параллельно узкие улочки с трудом поспевали следом; город рвался вперед, сжимаемый с двух сторон горами и морем, и только частая сеть поперечных улиц удерживала его на месте. Каждая из этих улиц перетягивала город с северо-востока на юго-запад, обязательно заканчиваясь пляжем, и ветер носил песок по Америго Веспуччи и Леонардо да Винчи, наметая холмики у белых стен. На этих улицах всегда было ветрено, пахло рыбой, йодом и солью, и мы недолго раздумывали. Я только недавно вернулся в Европу, родители жили в Италии, и мне было все равно, откуда летать на концерты. Города мелькали за окнами бесконечными вереницами зданий, отличаясь друг от друга только именами под словом "Departure"[1], названиями отелей и марками ожидающих меня автомобилей, и маршруты моих перелетов черными линиями ложились на золотые поверхности облаков.

Лето было свободным; я отказался от всех приглашений на фестивали, и мы остались вдвоем до сентября. Мы проводили все время вместе; я носил тебя на руках, а ты не замечала никого, кроме меня. Я просыпался первым, осторожно, чтобы не разбудить, поднимал тебя с постели и шел в душ, потом возвращался в спальню, накидывал халат и готовил кофе с тобой на руках; к этому времени ты уже просыпалась и кричала "Tu est là, chéri?"[2] из спальни, не думая ни о ком, кроме меня. Мое лицо возникало перед тобой, когда ты, едва проснувшись, лежала среди белых простынь, и утреннее солнце играло золотом на твоих волосах; когда ты смотрела на себя в зеркало, аккуратно подкрашивая ресницы; когда вглядывалась в синее небо над городом, сидя на балконе с чашкой кофе в руке; когда рассматривала портреты дель Сарто, сделав шаг назад и чуть-чуть откинув голову. Я стоял рядом, держа на весу твое легкое тело, а потом шел за тобой по лестнице, выходил на улицу, щурился от яркого света, возвращался к машине, останавливался рядом с пляжем после часа быстрой езды, бросал на песок одежду и бежал к морю, не опуская тебя на землю, а ты шла сзади, так и не заметив никого, кроме меня. Мы прожили так около двух месяцев; в конце августа позвонил твой агент, тебе пришлось срочно уехать в Париж, и лето закончилось.

Во французском кино был спад, тебя почти не снимали, и ты часто летала вместе со мной. Мы раскладывали вещи, переодевались и отправлялись посмотреть зал, а оттуда шли гулять, если оставалось время.

[1] "Отлет" (англ.).

[2] "Ты здесь, милый?" (франц.).

Еще недавно скучные и плоские, города сразу же оживали, приобретая глубину и объем; Тауэр гордо расправлял плечи над Темзой, Буда ловко взбиралась по придунайским холмам, замок Ив отрешенно замирал перед обрывом, Большой Базар настойчиво тянул за рукав. Живые и яркие, города появлялись перед нами, предлагая знакомство, и мы не могли отказаться. Безраздельные хозяева на своей территории, они делали с нами все, что хотели; Сидней катал на пароходиках через залив, Нью-Йорк кормил на улицах хот-догами, Гамбург заталкивал в привокзальные пивные, Стокгольм гонял по улицам под ледяным дождем, но мы были согласны на все, поскольку другого способа познакомиться с ними у нас не было. Прошло время, и у нас появились знакомые на всех континентах; многие из них стали нашими друзьями, мы всегда могли остановиться у каждого из них, и каждый из них всегда был рад нашему приезду.

После нескольких лет затишья джаз снова вошел в моду. Меня приглашали чаще, залы увеличивались в размерах, рецензии становились лучше; одна из них, в "Le Monde", была озаглавлена "Les temps multiples"[1]. Автор подробно описывал специфику действия на слушателей каждой из композиций, в конце концов приходя к выводу, что присутствовавшие на концерте могли свободно перемещаться между настоящим, прошедшим и будущим временами, находясь одновременно в каждом из них. В самом деле, когда я играл, из всех времен для меня существовало только настоящее, которое одновременно являлось прошедшим и будущим; мой рояль становился дорогим автомобилем с золотыми огнями прожекторов на черных лакированных крыльях, который свободно перемещался во времени. Особенно хорошо мне удавались путешествия в прошлое; вплавляя его в настоящее, я мог отправиться куда угодно. Путем простого варьирования таких несложных вещей, как последовательность клавиш, сила удара по ним и периодичность этой силы, я мог перемещаться между средневековой Италией, древними равнинами Скандинавии, доисторическими холмами Ирландии, экваториальной Африкой тысячелетней давности и побережьем Мексиканского залива эпохи Гражданской войны; я мог остановиться в каждом их этих времен, осторожно взять его пинцетом, расправить на покровном стекле микроскопа и рассмотреть во всех деталях; я мог делать со временем все, что хотел, пока звучала музыка. Играя, я мог забраться куда угодно и увидеть то, чего не мог увидеть никто; разумеется, кроме музыкантов. Концерты Баха, вальсы Шопена, симфонии Моцарта висели в темноте истории, освещая мне дорогу, и я передвигался

[1] "Множественные времена" (франц.).

между ними, аккуратно следуя инструкциям, напечатанными на бумаге в виде нотных знаков. Я возвращался из этих путешествий не раньше полуночи, наполнял бокал вином, ложился в постель и читал "Три счастья дона Диего". Эту странную книгу когда-то подарил мне отец; точно такое же издание я видел на полке у деда. Приверженец точных формулировок, дон Диего считал, что часть судьбы передается по наследству так же, как характер, цвет глаз и склонность к полноте. Эта мысль всегда казалась мне интересной, хотя, пожалуй, больше всего мне нравились его рассуждения о том, что мужчина живет трижды, и что жизнь детей отличается от жизни отцов, как две фотографии одного пейзажа, снятые с небольшим поворотом камеры; я часто перечитывал это место, выключал свет и долго рассматривал эти фотографии в темноте, перед тем как уснуть.

 В ноябре мы купили просторный пентхаус, где я мог играть сколько угодно, не заботясь о соседях. Зимой я разучиваю новую программу; я играю ее тебе по вечерам, пальцы взлетают над клавишами, огонь прыгает по углям в камине, и я твердо знаю, что мы можем все изменить своими руками. Всего-навсего вот этими слабыми тонкими руками, мелькающими передо мной в сложном, не всегда уловимом ритме. Я знаю, что мы можем изменить все, от нашего места в истории до самых границ мироздания; я играю тебе, и мир, еще несколько мгновений назад огромный и цветной, внезапно становится очень маленьким и черно-белым, уменьшаясь до блестящей в ярком свете крышки рояля и длинных тонких клавиш. Мир становится гибким, как пальцы пианиста, и с легкостью меняет свои размеры. То уменьшаясь до блика на клавишах, то расширяясь до видимых границ Вселенной, мир прыгает по комнате ярким надувным мячиком; неожиданное замедление темпа превращает мячик в медленно плывущее облако, которое внезапно становится выпущенным из мортиры ядром, в конце концов снова превращающимся в мячик. В этот момент я знаю, что нет ничего неизменного. И ничего абсолютного. Я знаю, что мы можем без труда менять размеры мироздания, сжимая его до точки стаккато и растягивая до бесконечности арпеджио с любой нужной нам скоростью, ускоряя и замедляя движение исключительно в соответствии с тем, что мы чувствуем. Мы, нескладные, юные до неприличия, с пузырями на коленях концертных брюк, надеваемых два раза в году, в белых рубашках с острыми стрелками на рукавах, — и мы, прожившие свою жизнь до конца, усталые, сгорбленные, в роскошных фраках, бабочках и туфлях от YSL — вы никогда не поверите нам, но мы в са-

мом деле умеем это. И научившись этому в детстве, мы теперь с легкостью можем уменьшать весь мир до размеров лиц своих любимых и тут же разворачивать его от начала и до конца истории, сливаясь с ними на несколько секунд и навсегда. Мы умеем сделать так, чтобы весь мир был для нас только этим и чтобы в этом для нас был весь мир. Я играю тебе и знаю, что жизнь нам уже удалась, независимо от того, что еще с нами будет.

Отсутствие нижнего белья в тот год снова вошло в моду, и уже в мае ты перестала надевать что-либо под платье. Летом особенно популярными стали мини, и когда я поднимался за тобой по лестнице, было хорошо заметно, что ты регулярно читаешь Vogue. Первое время я по привычке пропускал тебя вперед; это имело самые неожиданные последствия, мы кидались друг на друга уже через несколько ступенек, не обращая внимания на остальных, и нам не было нужно ничего, кроме отдельной комнаты, но когда я однажды опоздал на самолет, ты перестала подниматься по лестнице первой. Танцевальные вечеринки были особо пикантными, теплый ветер с моря, Asti Spumante, случайные касания готовых ко всему тел; в один из таких вечеров я начал раздевать тебя еще за столиком, я стягивал с тебя тонкие полоски ткани в такси, на улице, в прихожей; когда мы вошли в спальню, на тебе были только серьги и черные чулки с тонкими кружевными подвязками. Твое тело было идеальным пособием для изучения анатомии французской актрисы, невысокий рост, хрупкая талия, стройные ноги, узкие бедра, черные волосы, небольшие груди, маленькие ступни, изящные лодыжки и чуть выпуклый живот с обязательным темным островком внизу, как на портретах Тулуз-Лотрека. Я был прилежным учеником и вскоре знал все твои самые укромные, самые теплые, самые влажные местечки; я досконально изучил этот увлекательный предмет, который быстро стал моим самым любимым из всех, какие мне встречались когда-то. Через какое-то время ты признала меня настоящим специалистом в этой волнующей области, и я даже подумывал сделать альбом фотографий того, что не могла видеть так отчетливо даже ты — ничего личного, никаких фамилий, только крупные планы — но ты сказала, что тогда действительно превратишься в пособие по анатомии, и я оставил эту идею.

Мы жили высоко над землей, наши окна выходили в летнее итальянское небо. Мы просыпались поздно, когда солнце уже заливало всю спальню, оставляя на стенах колеблющиеся прямоугольники света. Свежий утренний мир вибрировал, дрожал и колыхался; подхваченные его движением, мы осторожно прикасались друг к другу, еще раз, еще раз, по-

том еще и еще; волны света прокатывались над нами, колебания воздуха вливались в нас из распахнутых окон; одеяла волнами стекали на пол; наши движения, убыстряясь, приобретали ритм, созвучный ритмам воздуха и света, и когда эти ритмы в конце концов совпадали, колышущееся в глубине счастье заполняло нас до краев, расплескивалось на простыню, заливало постель, перетекало на ковер, растекалось к стенам, окружало стулья и кресла, подбиралось к столу, затопляло всю комнату, взбиралось на подоконник и в конце концов переливалось через край и выплескивалось наружу. В такие дни прохожие пахли тобой; когда я спускался вниз за газетами и кьябаттой, запах твоих духов висел над улицей, как колокольный звон Сан Паолино; от идущих навстречу мужчин веяло тонким ароматом твоего белья, за торговцем газетами тянулся сложный букет твоих шампуней; я заходил в пекарню и сразу чувствовал, что от булочницы исходит odeur âpre[1] твоего тела, а когда снова подходил к нашему дому, липкая влага счастья обдавала меня с головой, сводила с ума и заставляла лететь вверх по лестнице через две ступеньки, роняя хрустящие пакеты.

Способность музыки переносить информацию всегда была известна философам; первые нейрофизиологические эксперименты, подтвердившие это, были проведены в начале века вскоре после смерти Ксенакиса. Протянувшись через историю, музыка соединяла между собой мелькающие в доисторической темноте пятна света, и экспериментаторы пытались понять, как именно это происходит. О том, что музыка per se сообщает не так много, а главным образом переводит слушателей в состояние необычной реальности, характеризующееся чрезвычайно высокой чувствительностью к тонкому устройству вселенной, стало известно только в последние годы. Лихорадочные поиски оптимальных экспериментальных условий начались сразу после первой публикации в Nature Cognitive Science,[2] в них принимали участие лучшие музыканты планеты. Были изучены все жанры музыки, от примитивных песнопений до постквазигипермодернизма и все сочетания инструментов, от сольных партий до больших симфонических оркестров, ощущения испытуемых фиксировались последними нейрофизиологическими методами, но обнаружить что-то по-настоящему сенсационное пока не удавалось никому.

 Меня впервые пригласили в Принстон, когда возможности джазовой музыки были известны только в общих чертах. Было установлено,

[1] Терпкий запах (франц.).

[2] "Природа. Когнитивные науки" (англ.).

что джаз в значительно большей степени, чем классическая музыка, воздействует на тонкую эмоциональную сферу, резко увеличивая способность к восприятию частностей, подробностей, деталей. Классические произведения, напротив, позволяли лучше ощутить общие закономерности, свойства, архетипы, активируя системное восприятие. Все было очень похоже на обычный концерт — заполненный до отказа зал, тишина и золотые блики на черной крышке рояля — за исключением того, что все зрители были в одинаковых шапочках, под которыми прятались электроды. Сигналы от разных участков мозга передавались на центральный процессор, регистрировались и сравнивались с известными паттернами. Я начал с сонат Кэйджа, и время заструилось вокруг нас с постоянно меняющимися скоростями; оно сжималось в сгустки, собиралось в вихри, взлетало к потолку, разлеталось по сторонам, распадалось на мельчайшие капли, которые взмывали вверх, перемешивались друг с другом в причудливом танце и снова соединялись в знакомую однородную субстанцию, монотонно заполняющую пространство. Постоянно меняющийся ритм давал возможность ощутить неоднородность течения времени и почувствовать его внутреннюю структуру. Надтреснутые звуки шестнадцатой сонаты растворились в темноте; я выпрямился, переждал аплодисменты и заиграл Гершвина. Легчайшая мелодия мгновенно наполнила зал, вытеснив воздух, пространство и все остальное, время остановилось, застыв вокруг нас огромным белым кристаллом, и мы оказались вмороженными в него и неподвижно сидели внутри, не в состоянии пошевелиться и только разглядывая прожилки в его прозрачной глубине и трещинки, остающиеся на гладкой поверхности после каждой ноты, сидели до тех пор, пока последний аккорд не превратился в тишину, разрушив правильную структуру. Результаты принстонского эксперимента были опубликованы примерно через два месяца; авторы отметили необычно высокую активацию участков, ответственных за обработку временно́й информации, описали периодичность чередования нервной активности и предложили гипотезу о существовании субъективного кванта времени.

Отец с мамой в то время бывали у нас нечасто; отец много писал, а мама присматривал за домом. Вскоре отец заболел; потом оказалось, что он завещал передать мне некоторые бумаги, мама привезла их дождливым осенним днем в большой плетеной коробке. Стемнело; я разжег камин и сел к огню. В коробке оказались набросок повести, несколько рассказов и две страницы, исписанные четким почерком деда, я хорошо помнил, как он обьяснял мне принципы межпланетных путешествий, делая рисунки

в блокноте. Сверху рукой отца было написано "Это может тебя заинтересовать", и пририсован смайлик. Обе страницы были заполнены записями о джазовой музыке, сделанными в Голландии задолго до моего рождения. Джаз демократичен, писал дед, сольные партии здесь всегда сменяют друг друга, и каждый имеет возможность высказаться; и еще: это не трубач извлекает музыку из своего инструмента, это труба извлекает музыку из трубача; и в самом конце: если что-то и может остановить насилие, то это музыка; поэтому если вы хотите прекратить войну, то вместо десятка лазерных бомб сбросьте на неприятельские города десяток первоклассных джазистов. Я перечитываю записи еще раз, потом читаю рассказ отца о нашей поездке в Верден много лет назад, оставляю бокал на столе, сажусь за пианино и играю до тех пор, пока не засыпаю прямо за инструментом; я просыпаюсь утром на диване, ты сидишь рядом со пенящимся стаканом "Сан-Пеллегрино" и задумчиво говоришь, je ne t'ai jamais vu si ivre.[1]

 Возможность прожить еще одну жизнь в каждой новой роли интересовала тебя в кино больше, чем признание, известность и слава. Ты говорила, что тобой руководит инстинкт сохранения рода и что твоя жизнь продолжается в твоих героинях. Ты подолгу носила каждую роль в себе, носила до тех пор, пока она не вживалась в тебя, наполняя изнутри твое тело; тогда ты менялась, переставая быть просто самой собой, и превращалась в сложное переплетение себя и своей роли. Ты покупала новые духи, одежду и обувь, меняла прическу, косметику и походку, у тебя появлялось новое выражение лица, ты начинала интонировать по-другому, даже в постели ты вела себя не так, как раньше. Теперь ты могла играть свою роль, и тебя ждал успех, однако проходило время, и роль отделялась от тебя и начинала свое самостоятельное существование; ты еще играла ее, но уже не с тем блеском, и было видно, что каждая из вас уже давно сама по себе. В конце концов, ты бросала ее и снова становилась собой, и твоя жизнь опять текла, как всегда, в ожидании новой роли. Осенью ты заинтересовалась детскими игрушками; было ясно, что ты готовишься играть что-то новое. Ты бродила по магазинам, выписывала каталоги и делала заказы; потом ты перешла к детской одежде, шапочки, кофточки, распашонки, ты обдумывала фасоны, прикидывала размеры и составляла списки. Как всегда при подготовке новой роли, ты занималась этим у всех на виду, но когда я спрашивал тебя, кого ты собираешься играть, ты только пристально смотрела на меня и улыбалась в ответ. Прошло около месяца, и ты начала

[1] Я никогда не видела тебя таким пьяным (франц.).

полнеть; заметив это, я прервал репетицию, спустился в аптеку и вернулся с тонкой пластмассовой палочкой, похожей на термометр. Pourquoi,[1] сказала ты и опять улыбнулась, tu le sais de toute façon, tu as déjà tout compris.[2] Это была твоя лучшая роль, ты блистательно сыграла ее на одном дыхании, и даже когда, уже в монпарнасском госпитале, тебе понадобился кислород, ты все равно ни на секунду не сбилась с ритма, расставляя акценты в самых нужных местах — отброшенной на подушку тонкой белой рукой, изломанными в коленях длинными стройными ногами, лежащим на простыне маленьким детским телом. Ты сыграла эту роль так хорошо, как могла, вложив в нее весь свой талант, умение и силу, и ты добилась своего. Твоя роль отделилась от тебя и превратилась в Майкла.

 С самого рождения жизнь Майкла была насквозь пропитана музыкой. Когда он родился, плэйер у твоей постели играл Кейт Буш, когда ты в первый раз кормила его грудью, в палате звучал Нино Гальярди, когда я забирал вас домой, в машине пел Эрик Клэптон, когда мы вошли в дом, по TSF шел концерт Мишеля Петруччиани. С тех пор звуки пианино, рояля, аккордеона, напевы скрипки, виолончели, контрабаса, голоса тромбона, саксофона, трубы, ритмы барабанов, тарелок, литавр все время окружали его; он засыпал под The Beatles и просыпался под Marvelous Magics, он завтракал с Прокофьевым и ужинал с Тер-Петросяном, Дайана Вашингтон провожала его на прогулку нежным Mad About The Boy, Дин Мартин встречал ласковым Everybody Loves Somebody. Музыка окутывала его со всех сторон, она ласкала его кожу, перебирала волосы, проникала в тело; ноты кружили над ним, то замирая долгим lento, то заходясь неожиданным vivace, и в детстве он играл с ними, как с подброшенными в воздух конфетти, пытаясь поймать их на лету, пока они не умолкли. Я часто брал его с собой на концерты, и он без труда просиживал всю программу в первом ряду, не отводя взгляда от сцены и следя за тем, как ноты отрываются от рояля, взмывают вверх и исчезают за колосниками. Так прошло несколько лет, и когда он наконец вырос и пошел в школу, он хорошо знал то, что в начале своей жизни твердо знают, а потом навсегда забывают все дети: он знал, как устроен мир.

В мае мы, как всегда, поехали в Канны; ты не пропустила фестиваль ни разу за последние десять лет. Когда мы вышли из лимузина и шли по красному ковру к фестивальному залу, ты так неловко подняла руку, при-

[2] Зачем (франц.).

[3] Ты и так это знаешь, ты уже все понял (франц.).

ветствуя кого-то, что бретелька твоего свободного черного платья соскользнула с плеча, обнажив загорелую грудь. На следующий день твои фотографии появились в газетах, вздернутая от удивления бровь, коричневый кружок соска, глубокий черный вырез на золотой коже. Кое-кто посчитал, что ты просто решила повторить старый трюк Софи Марсо — признавая при этом, что у тебя он получился еще лучше; как бы то ни было, через месяц на твоем столе лежало не меньше десятка новых предложений, и из твоей единственной жизни быстро возникло множество других. В течение нескольких лет ты успела побывать настоятельницей монастыря в Бретани, комиссаром полиции в Лотарингии, первой леди Америки, последней королевой Франции, атаманшей разбойников, директрисой банка, возлюбленной Бальзака, любовницей Модильяни, ты превращалась в древнегреческую служанку, средневековую крестьянку, венецианскую принцессу, кастильскую маркизу, ты оказывалась знаменитой художницей, устраивающей инсталляции с голографическими изображениями живших когда-то давно, или телевизионной ведущей, выпускающей первую в истории Афганистана передачу о сексуальном воспитании, твои жизни усложнялись, их становилось все больше, и в каждой из них было многое от тебя, но это все-таки уже не была ты.

 Майкл рос, он уже заканчивал школу; музыка все еще звучала вокруг него, он до сих пор знал, как устроен мир, и его жизнь становилась все шире и шире, она разливалась перед ним привольным весенним паводком, расступалась светлой лесной опушкой, открывалась широким распаханным полем, которому, казалось, не будет конца. Хорошо зная, что это не так, он серьезно отнесся к выбору дороги; вначале он обошел все окрестности, а затем поднялся на холм и осмотрел в бинокль то, что виднелось вдали. Через много лет он рассказал мне, что с вершины холма увидел деда, который смотрел на небо, стоя вполоборота к нему; тогда он тоже посмотрел вверх и увидел, что солнечный диск покрыт черными пятнами и что по ним пробегают оранжевые облака. Майкл блестяще закончил астрономическое отделение в Беркли, проработал несколько лет на Гавайях и поехал строить новую обсерваторию в Одессе.

Тебе предложили эту роль, когда началась весна. Когда-то эта история всколыхнула мир, но прошло время, и о ней забыли. Ты должна была сыграть американскую порнозвезду Эйнджел Мэй, карьера которой успешно складывается до тех пор, пока у ее бой-френда не обнаруживают вирус СПИДа. Тебе везет, как раз в это время ты на несколько месяцев улетаешь

в Нью-Йорк, и с тобой ничего не случается. Несмотря на специфику своей профессии, ты любишь его, и когда через несколько лет он умирает, ты бросаешь работу и уезжаешь из Калифорнии в Южную Африку. Заболеваемость СПИДом к тому времени достигает там невообразимого уровня в пятьдесят процентов, и ты решаешь истратить свою жизнь на то, чтобы его уменьшить. Масштабы эпидемии во многом объясняются непопулярностью среди населения противозачаточных средств; ты предлагаешь использовать свой опыт, для того чтобы убедить местных жителей в их обязательности. На средства Всемирной организации здравоохранения ты разворачиваешь рекламную кампанию по телевидению и в печати, однако опросы показывают, что кампания оказывается неэффективной. Ты организуешь бесплатную раздачу презервативов и распространение информационных листков, но статистика обнаруживает, что и эти меры не дают никакого эффекта. Тогда ты решаешься на крайний шаг и предлагаешь каждому обладателю документально заверенного диагноза "СПИД" лечь с тобой в постель при условии, что он воспользуется презервативом в точном соответствии с инструкцией. Ты объявляешь об этом в прямом эфире во время очередной передачи о борьбе с этой грозной болезнью; передачу тут же прекращают, но многие успевают услышать твои слова. Через несколько часов по названному тобой адресу собираются сотни мужчин; прибывшая полиция получает указание следить за порядком, но ни во что не вмешиваться. Ты появляешься поздно вечером в сопровождении нескольких охранников, молча проходишь через толпу, оборачиваешься перед дверью, берешь за руку того, кто оказывается ближе всех к тебе, и вместе с ним входишь в дом. Там подготовлена профессиональная киностудия, задачей которой является подтверждение факта интимной близости; в обязанности расположенной в соседней комнате лаборатории входит взятие крови у всех участников факта как до него, так и после. К вечеру следующего дня ты успеваешь вступить в близкие отношения со ста четырьмя документально подтвержденными вирусоносителями, после чего теряешь сознание; снаружи начинаются беспорядки, полиция разгоняет собравшихся, и тебя увозят в госпиталь. Первые результаты анализов крови на присутствие вируса появляются на следующий день: как и следует ожидать, они положительны у всех, кроме тебя. Ты исчезаешь на три месяца, которые необходимы для размножения вируса в организме до детектируемых концентраций; ты летишь в Японию и проводишь все это время, путешествуя по Хоккайдо. К этому времени твоя история становится широко известной, и когда ты наконец возвращаешься в Йоханнесбург для повторной сдачи крови, в аэропорту тебя

ждут журналисты. На следующий день пресс-релиз госпиталя об отрицательных результатах повторных анализов перепечатывают все ведущие газеты мира; телеканалы предлагают тебе любые деньги за пленки, отснятые в тот день, но ты отказываешься от всех предложений; проходит пять лет, и заболеваемость СПИДом в Южноафриканской Республике уменьшается на двадцать процентов, сохраняя жизнь шести миллионам.

 Фильм вышел в прокат через два года. Кадры пустынных улиц южноафриканских городов сменялись изображениями уходящих за горизонт кладбищ, застывшие лица терминальных больных мелькали среди тупых физиономий порноактеров, сцены жесткого секса чередовались с картинами полицейского произвола, оставляя после себя только горечь, гнев и отчаяние. Твоя стройная фигурка то и дело появлялась на экране, опоясанная ремнем талия, тщательно выбритая кожа, черное кружевное белье; калифорнийские продюсеры хорошо знали свое дело, постельные сцены были искусно подсвечены в темноте, и твое тело мягко сияло янтарем в желтом свете софитов. Зеленые холмы Калифорнии превращались в золотые пустыни Африки, иссохшие деревья, заметенные песком дороги, черные силуэты у обочин; горе расправляло твое искаженное желанием лицо, энергия наливала его, усталость замораживала в безразличной маске, чтобы в конце концов растопить верой и наполнить уверенностью и надеждой. Фильм прошел по всему миру, о нем писали везде, он получил несколько премий в Европе, вызвал серию скандалов и потряс несколько государств; Всемирная организация здравоохранения отметила тебя специальной наградой, и хотя ты не получила Оскара, золотую пальмовую ветвь или венецианского льва, спасенные шесть миллионов навсегда остались рядом с тобой в бездонном африканском небе глыбами света, сгустками солнца, сияющими шарами.

Опубликованные незадолго до этого сенсационные работы Платонова, придавшие научный характер метафизическому понятию бессмертной души, сделали возможным неожиданную интерпретацию музыки как способа ощутить присутствие тех, кто ушел не так давно. Присутствие понималось как влияние на тонкую структуру вселенной; предложенный алгоритм корреляционного моделирования позволял оценить ее состояние в течение нескольких лет как функцию наличия отдельного индивидуума; музыка выполняла роль усилителя, позволяющего проверить точность оценок. В то время корреляционное моделирование позволяло достигнуть необходимого уровня сложности в предсказании тонкой структуры

на промежуток до десяти лет, что быстро привело к неожиданным результатам. Я в первый раз услышал об этом, вернувшись домой после концертов в Германии; у моря уже было тепло, луна висела низко над берегом, и я долго сидел на балконе, снова и снова вглядываясь в только что увиденные кадры. Незнакомый мне пианист играл пьесу Бриттена, золотые линии бежали по черным экранам, и взволнованный голос объяснял что-то о жертвах недавней войны. Я досмотрел передачу до конца, наполнил бокал фраскати и сел перед камином с "Доном Диего" в руках. Мне оставалось уже совсем немного, я был где-то на середине третьей части; дон Диего прогуливался по красным стенам Альгамбры, объясняя собеседникам, что человек реализует лишь незначительную часть своих возможностей, что жизнь имеет конфигурационный смысл и что поэтому каждый имеет право выбирать себе родину. Я перевернул страницу, и мне внезапно стало жаль дона Диего, который всегда твердо знал, что в его жизни будут три любви, каждая из которых будет последней. Прошло уже много времени с тех пор, как мы приехали в Виареджо, и я уже знал, что не только мы пишем книги, но и что книги тоже пишут нас.

 Я прилетел в Принстон вскоре после Columbus Day; золотые пятна лесов сверкали на черных квадратах полей в прозрачном воздухе под ярко-голубым небом. На этот раз обстановка в зале больше напоминала лабораторию накануне решающего эксперимента. Экраны приборов тускло светились в проходах, разноцветные линии пробегали по ним в полутьме, и техники суетились вокруг, негромко переговариваясь по мобильной связи. Сначала я сыграл скандинавов, Андерсена, Густавсена и EST; прошедшее время возникло из темноты, сгустилось вокруг воспоминаний, наполнилось забытыми подробностями и стало перетекать в настоящее; знакомые лица, истертые десятилетиями в пыль, закружились над рядами, взлетели к потолку и заняли все пространство; я доиграл "The Ground" и перешел к индоджазу. Причудливая мелодия спиралью ввинтилась в воздух и потянулась от кресла к креслу, стягивая прошлое с настоящим; Ларри Портера сменил "Wake up and smell the curry"; то, что произошло когда-то, объединилось с тем, что было сейчас, границы между *тогда* и *теперь* исчезли, и тягучие ноты соединили два времени в одну сложную картину. Со всех сторон нас окружали тысячи линий, они бежали от лиц к предметам и событиям, рядом с которыми висели даты в виде маленьких аккуратных табличек; линии перекрещивались сотни раз, но мы могли различить ход каждой из них, поскольку они отличались друг от друга упругостью,

тонкостью и цветом. Исчезновение времени упростило взаимосвязи и сделало их доступными; я видел, как извилистая линия, идущая от молодого мужчины с фотографией золотисто-оранжевой планеты, несколько раз пересекает Атлантику, вьется вокруг Италии, пронизывает квартиры, гостиницы, лаборатории, проходит сквозь автомобили, самолеты и поезда, пока наконец не останавливается в штате Нью-Джерси; я смотрю на табличку, вижу там сегодняшнюю дату и понимаю: он — здесь; а потом всматриваюсь в его постаревшее лицо и понимаю: он здесь, потому что я его помню. Я сделал паузу и заиграл пьесу для флейты сякухачи в переложении для фортепьяно; темнота превратилась в тьму, в которой постепенно растворились предметы, события и лица; в конце концов вокруг нас остались одни линии, они уплотнились и начали фосфоресцировать; я взял последнюю ноту и встал из-за инструмента; время появилось вновь, распадаясь на прошлое и настоящее, и линии исчезли. Обработка всех нейрофизиологических данных заняла почти полгода; строгая синхронизация активностей в зонах пространственного восприятия и памяти была отмечена у всех находившихся в зале. Одновременно лаборатория Платонова провела свои расчеты присутствия для тех, чьи лица мы видели над собой; их оказалось больше ста. Вычисления показали, что в этот вечер влияние на структуру вселенной со стороны каждого из них было наибольшим на восточном побережье США. Вероятность совпадения была ничтожной; прошло несколько лет, и за эти работы Платонову вручили Нобелевскую премию по математике. На пресс-конференции после торжественной церемонии кто-то из журналистов спросил его, как именно, с математической точки зрения, может выглядеть эффект присутствия. Платонов на секунду задумался и сказал, с математической точки зрения — шорохом листьев, плеском волн, линией облаков.

После этого концерта я перестал выступать; у меня появилась уверенность в том, что все уже сделано. Ты снималась все реже и реже, и мы начали возвращаться туда, куда нам всегда хотелось вернуться. Мы побывали в Японии, Новой Зеландии и Аргентине, остановились в Монреале, Гданьске и Ливерпуле. В Севилье мы сняли номер недалеко от площади Испании; заканчивался апрель, погода была прекрасной, тебе было нужно в Париж только через неделю, и мы могли делать все что угодно. Мы могли отправиться к реке, спуститься по высокому склону, сесть среди травы и смотреть, как маслянистая мутная вода медленно течет к океану. Мы могли пойти в старый город и бродить там до темноты по узеньким улочкам, рассматривая редких прохожих и прислушиваясь к далеким звукам

фламенко. И мы могли пройти два квартала вверх от собора по оживленной обсаженной деревьями улице, свернуть направо в узкий переулок, услышать доносящуюся откуда-то музыку, остановиться перед маленькой таверной, зайти внутрь и остаться там навсегда. Стоять у входа, слушая выплывающие из глубины звуки; заказывать риоху стакан за стаканом; передвинуться вглубь, оказавшись лицом к лицу с тремя музыкантами, сидящими на темных деревянных скамьях; музыканты одеты в испанские костюмы, из всех инструментов у них только гитары и голоса; просидеть до закрытия, хлопая в такт вместе со всеми и осторожно подпевая незнакомым словам; поселиться в маленькой комнате на втором этаже в этом же доме; спускаться вниз каждый вечер, услышав, как они снова поют на три голоса; научиться шутить по-испански; постепенно заменить стареющего хозяина; расставить по деревянным полкам старые радиоприемники, репродукторы и телефоны; здороваться с каждым посетителем, предлагая ему рюмку малаги; приводить сюда своего слепого соседа, помогая ему протиснуться через толпу и подойти к музыкантам, а потом пройти мимо полок с радиоприемниками и осторожно потрогать каждый из них; найти хорошего врача, понимающего в артрите; передать дело сыну, когда зрение совсем ослабеет; заранее договориться о похоронах и оплатить выбранный участок; покачнуться и упасть во время пения "Сеньоры"; увидеть твое лицо, пролетая над маслянистой мутной водой, медленно текущей к океану; увидеть и улететь навсегда. Можно было сделать все это, но тебе было нужно в Париж, и спустя неделю мы сложили вещи и поехали в аэропорт к своему самолету.

 В конце концов мы перестали путешествовать; в какой-то момент мне стало ясно, что многие уже не замечают нашего существования, а некоторые просто проходят через нас, ничего не увидев. Оставшееся у нас время исчезало все быстрее, и мы исчезали вместе с ним; мы пропадали в темноте пустых комнат, терялись в зарослях садовых дорожек, испарялись в духоте летних ночей; мы превращались в пар, поднимались над землей, собирались в облака, сгущались в тучи, проливались дождями, пробегали ручьями, напитывали реки, вливались в моря, смешивались с миллионами таких же, как мы, снова испарялись и в конце концов растворялись во вселенной до такой степени, что наше присутствие могли обнаружить только самые близкие люди.

Зима была холодной, и в феврале я заболел. Наверное, мне нужно было еще побыть дома, но наступили ясные дни, и я решил пойти к морю. Ты

улетела во Францию на неделю, и я в одиночестве прошел около километра вдоль пляжа; с моря дул ледяной ветер, и я очень замерз. К вечеру я почувствовал слабость и лег в постель; я проснулся утром; фотография мужчины с ребенком на руках, сделанная мамой много лет назад, висела на стене, как всегда; в комнате было очень холодно, я с трудом сделал себе кофе и снова уснул. Когда я открыл глаза, было темно; я решил выпить чего-нибудь покрепче, чтобы наконец согреться, нашел только вино и решил пойти вниз и пропустить стаканчик у Луиджи. Мне было трудно дышать, но я все же выбрался из постели, оделся, спустился в кафе и прошел к своему месту; зал был ярко освещен, и на столиках горели свечи. Луиджи поставил передо мной рюмку граппы; дым от свечи метнулся в сторону, описал причудливую фигуру и снова застыл четкой вертикальной линией. Я отпил немного, обвел взглядом зал и снова посмотрел на дым; он изогнулся над столиком и собрался в волну; я отвел взгляд, улыбнулся Луиджи, повернулся к свече и увидел, как волна набегает на берег и разбивается о песок. Мы с тобой сидели на широком пляже недалеко от Марселя, солнце садилось, и Майкл строил замок у самой воды, забыв про игрушки. У выхода в море залив сужался метров до пятидесяти, и Майкл даже самостоятельно переплыл его однажды, не глядя на воду и постоянно посматривая на меня. Там было глубоко, и камни громоздились на дне огромными темными пятнами, слишком большими для начинающего пловца. Солнце исчезло за мысом, и сразу стало холодно; над берегом замелькали снежинки, и мы прыгнули в воду и поплыли вперед, расталкивая маленькие прозрачные льдинки. Волна от катера качнула нас, поднялась к потолку и превратилась в сизое облачко, нависающее над свечой; я глотнул граппы, и облачко расслоилось в ступеньки каменной лестницы, взбегающей по склону холма между двумя рядами зданий. Горели фонари, ты сидела рядом со мной на верхней ступеньке, положив голову на мое плечо, густой воздух июльской ночи неподвижно висел вокруг нас, и золотые звезды тускло светили на черном небе. Мы поднялись на рю Лепик, нашли машину и поехали на юго-запад, оставляя за спиной вокзал Сен-Лазар, мост Согласия и набережные Сены; площадь ворот Сен-Клу промелькнула в темноте, мы промчались по скоростному шоссе, свернули на проселок, въехали в лес и остановились у обочины. Черные деревья стояли по сторонам, закрывая от нас небо; мы прошли по едва заметной тропинке, нашли знакомую поляну и легли на траву лицом к звездам. Мы пролежали в темноте до рассвета, сливаясь друг с другом и вдыхая запахи леса; к утру земля покрылась инеем, и стало морозно; мы вернулись на Монмартр в застывшем ле-

дяном воздухе и пошли к тебе по скрипучим ступенькам, выдыхая клубы белого пара, которые поднимались вверх, повисали над нами, качались, дрожали и сливались в облака. Я посмотрел перед собой; рюмка была пуста, и я поднял ее и махнул рукой Луиджи. Облака постепенно распались на широкие рваные ленты и растворились над головами посетителей; дым от свечи описал петлю, опустился вниз и вытянулся в тонкую линию дороги, идущей через степь к горизонту; кто-то шел по ней, удаляясь; я присмотрелся и узнал знакомую фигуру деда, он шел через степь к горизонту, и поземка плясала за его спиной, засыпая следы и наметая сугробы. Потом я увидел, как у дороги появился чей-то силуэт; поднялась метель, и я долго не мог разобрать, кто это, но потом наконец понял, что это отец; дед ненадолго остановился возле него и снова пошел вперед, все дальше и дальше, его уже почти не было видно за белой стеной снега, когда я скорее почувствовал, чем увидел, что он снова остановился возле кого-то, и тут же понял, что этот кто-то — я. Ледяной ветер обжигал мне лицо, снежные хлопья залепляли глаза, и я повис у деда на шее, чтобы заставить его вернуться назад, но он не взглянул на меня, а только коротко обнял и толкнул в снег, а потом что-то крикнул через пургу и исчез. Свеча догорела; я встал и не оглядываясь пошел к выходу. На улице было холодно, и в воздухе кружились редкие снежинки; я свернул в переулок, пересек площадь, прошел мимо закрытых касс и вышел на перрон. Поезда еще не было; я прочел несколько рекламных афиш, прошел вперед до конца и увидел два желтых огня за белым мельканием снега. Состав медленно протянул мимо и замер, вздрогнув стыками; двери беззвучно раздвинулись, я прошел по коридору, выбрал купе и сел у окна. На перроне не было никого; снег бесшумно падал в белом свете фонарей. Поезд плавно тронул с места и пошел, быстро увеличивая скорость; пятна снега, вьющиеся вокруг случайных огней, попадались все реже, пока не пропали совсем; поезд поднялся в воздух и бесшумно помчался вперед; ниоткуда не доносилось ни звука, "Дон Диего" остался на столике у постели, и я поплотнее запахнул пальто и лег на сиденье, подобрав под себя ноги; меня все еще знобило, отовсюду тянуло холодом, и за окном не было видно ни огонька.



Александр МАРДАНЬ

Меню

Константин Сергеевич не спешил. Спешить он не любил, помня высказывание Сократа: "Самое смешное на свете — вид спешащего". Стеснялся спешить. Да и некуда было. Как в романсе про ямщика, превысившего скорость. Вечер только начинался, а день, похожий на тысячи предшественников, закончился. Логично: если день не закончится, то и вечер не начнется. Логично с точки зрения астрономических наблюдений. А с точки зрения человеческой души — может и "дольше века длиться день". Роман с таким названием Константин Сергеевич читал лет двадцать назад. Содержания не запомнил, название не забыл, поэтому ставил умозрительную точку, отделяющую день от вечера.

Днем Константин Сергеевич работал. Работал не по специальности, как многие. И как многие, работу эту не любил. Впрочем, и специальность свою он выбрал не по любви, а скорее, по расчету родителей. Та, что ему нравилась, казалась им недоступной, а доступная оказалась неинтересной. Так часто бывает с профессиями и женами. Наверно, и с мужьями тоже. Мужем Константин Сергеевич был почти четверть века, а потом, вырастив сына, разошлись. Она вышла замуж за чиновника средней руки (смешное определение: ну где она, средняя рука, расположена?). А Константин Сергеевич остался один. Сын женился и уехал работать за границу. Писем не писал, иногда звонил по телефону. На день рождения присылал деньги, с инструкцией: "Папа, купи что хочешь". Добрый мальчик. То, что Константин Сергеевич хотел, купить за эти деньги было нельзя. Впрочем, это вообще нельзя было купить за деньги. За любые. Например, Константин Сергеевич хотел, чтобы весна в этом году была теплой, а она была холодной. А поскольку лечиться, как и спешить, Константин Сергеевич не любил, то, выходя на улицу, обязательно обматывал шею черным шерстяным шарфом, а под пиджак надевал тонкий кашемировый пуловер, согревающий его организм почти двадцать лет. Сверху — плащ на подстежке, с высоким воротником, который можно поднять при сильном ветре. В кармане плаща лежала вязаная шапочка на случай дождя. Конечно, если приходилось выходить в дождь, Константин Сергеевич брал зонт, хотя зонты не любил. Маленькие — за то, что плохо прячут от дождя, быстро ломаются и еще быстрее теряются. Большие не любил за то, что большие...

У черной, в тон шарфу, шапочки недостатков было меньше. Конечно, под проливным дождем долго сохранять волосы сухими она не могла, за-

то у нее было другое достоинство для вечерних прогулок. Надвинутая на брови, она придавала интеллигентному Константину Сергеевичу вид освободившегося братка из бандитского сериала. Выполняла отпугивающую функцию, как ядовитая окраска у насекомых.

Константин Сергеевич жил в центре большого приморского города, в старом фонде, как называют маклеры дома, построенные до той, настоящей, октябрьской по имени и ноябрьской по сути революции.

Парадная выходила во двор, не знавший ремонта все послереволюционные годы. Константин Сергеевич помнил, как ему и его сверстникам мешали играть в этом дворе художники, приходившие рисовать дворик, — почему-то итальянский! — с висящим посреди него бельем и облупившимися стенами. Фауна двора была представлена, в основном, кошками, существующими не столько за счет охоты на грызунов, сколько на пенсию двух одиноких бабушек, подкармливающих их ежевечерне.

Квартира Константина Сергеевича находилась над полуподвалом. Не первый, но и не второй этаж звался *прекрасным*. "Бельэтаж" напоминал о безвозвратно ушедшем времени, в котором французские, а не английские слова селились в нашем языке.

Как-то зимой, уже в зрелые годы, воскресным утром, наступившим после затянувшегося празднования дня рождения, Константин Сергеевич проснулся и подошел к окну. Выпал долгожданный снег, и по нему радостно бегали кошки, за которыми гонялся сосед с первого этажа. "Странно, зачем они ему?" — подумал Константин Сергеевич, отходя от окна. Когда его взгляд прощался с жанровой картинкой, он отметил, что у кошек, у всех бегающих по двору кошек длинные, как у зайцев, уши. Не веря глазам своим, Константин Сергеевич прижался к стеклу, чтобы лучше рассмотреть мутантов... Рассмотрел. По двору бегали не кошки, а кролики... То есть белой горячки не было. А было тайное разведение четвероногих в дощатом сарайчике, пристроенном к квартире соседа. Наверное, их забыли закрыть, или они что-то перегрызли...

Как давно это было? Лет двадцать, не меньше... Соседа уже десять лет нет. А носители ценного меха, как и все остальные съедобные представители фауны, перестали быть дефицитом. Сам дефицит стал дефицитом, практически исчезнув. Напарник Константина Сергеевича по нелюбимой работе любил повторять, что "сегодня в дефиците — только деньги". На что Константин Сергеевич всегда добавлял: "Нет, не только. Еще совесть". Напарник вздыхал и соглашался. До следующего раза.

Дело было не в том, что Константин Сергеевич не любил деньги, как раз наоборот, а в том, что деньги не любили Константина Сергеевича и всяче-

ски уклонялись от встречи с ним. Совесть, напротив, не хотела его покидать, хотя много раз он на этом настаивал. Наверное, ей с ним было хорошо...

Одевшись, Константин Сергеевич вышел из дома, перешел улицу на зеленый сигнал светофора, прошел квартал и остановился у дверей недавно открывшегося ресторана. Рядом со входом висело меню. Не доставая очки, прищурившись по-ленински, Константин Сергеевич начал внимательно его читать.

"Холодные закуски: килечка малосольная, тюлечка черноморская...". Уменьшительные суффиксы наверно, усиливают выделение желудочного сока. Знал ли об этом физиолог Павлов? Хотя на собак это могло и не действовать, размышлял Константин Сергеевич.

"Ассорти сырное (дор блю, камамбер, сырные "шнурки", фета, голландский, маслины...)". Покойная теща Константина Сергеевича помнила нэп, и названия "рокфор" и "камамбер" часто звучали в семье в те времена, когда в единственном в городе сырном магазине продавался единственный сорт сыра — "костромской". Надо было два часа стоять в очереди. И больше килограмма в одни руки не давали. Жалко, не дожила теща до второго пришествия камамбера. Да еще в такой компании.

"Грибы белые в чесночном маринаде".

Бабушка Константина Сергеевича, которая помнила не только нэп, но и дореволюционное детство, говорила: "Дешевле грибов", — когда хотела подчеркнуть, что дешевле некуда. Это удивляло Костю, потому что связка сухих грибов стоила на базаре безумных денег. Видимо, нагибаться за ними никто не хотел. А больше всего противился пионер Костя бабушкиной поговорке "Простота хуже воровства", объясняя ее заблуждение отсутствием комсомольской организации в гимназии, которую бабушка окончила с отличием в 16-м году.

Сегодня Константин Сергеевич уже не был столь категоричен в том, что чего лучше. "Оба хуже", — заочно примирялся он с бабушкой.

"Рыбная тарелка для гурманов (сельдь малосольная, картофель, скумбрия малосольная, масло слив., лук, зелень)". Оказывается, из слив тоже делают масло. Никогда не пробовал. Всё ты пробовал, отвечал Константин Сергеевич сам себе, — это же сливочное масло. Тогда, конечно, пробовал, — быстро согласился с собой Константин Сергеевич.

Все мы гурманы... Селедка с картошкой — кто же ее не любит? Каждый помнит воскресные семейные завтраки: никто никуда не спешит, все выспались, впереди выходной, настроение хорошее, и на столе, кроме прочего, селедка с картошкой, как правило, "в мундирах". Маленький Костя

говорил: "Хочу картошку в командирах". Эта фраза прижилась, и мама спрашивала: "Тебе пюре или "в командирах"? Но чистить будешь сам".

"В командирах", — всегда отвечал Костя. Он любил обмакивать еще горячую картофелину в так вкусно пахнущее жареное подсолнечное масло и, не в обиду селедке, посыпать крупной солью. Теперь все знают, что жареное масло вредно, а соль... И того хуже.

"Икра красная — 50 гр.". Свободно. И недорого, думал Константин Сергеевич. Чуть дороже селедки. А было время — все застолья делились на две категории: с икрой и без икры. Когда с икрой, то, как правило, по бутерброду на нос, а сейчас — как селедка...

"Салат "Лолита" (ветчина, помидор, яйцо, креветки, курага, майонез, сметана)". Интересное сочетание. Креветки-нимфетки.

Константин Сергеевич читал этот роман еще в самиздате, перепечатанный на машинке и до Константина Сергеевича прошедший сотни рук и глаз. В то время роман считался порнографическим, а теперь это классика. Интересно, почему салат "Лолита" есть, а салата "Гумберт" нет?

Правда, есть "Мужской каприз" (сыр сулугуни, куриное мясо, помидоры, огурцы, сельдерей, зелень). В чем "каприз" — *каприччио* по-итальянски? В сельдерее? Главное — не перепутать каприччио с карпаччо, а их обоих — с гаспаччо. Это все равно, что перепутать Венецию с Винницей — сам себя рассмешил Константин Сергеевич.

"Рапаны в сметане". Рапаны — это содержимое красивых ракушек, которые прикладывают к уху, чтобы услышать шум моря. Летом крымчане набивают ими морозилки, как сибиряки — пельменями, а зимой употребляют.

Рапана — это Крым. Константин Сергеевич вспомнил город-городок с маленькими карабкающимися на вершину холма беленькими домиками и зеленое, пронзительно зеленое, как глаза той женщины, море. Три недели они прожили в одном из таких домиков, не отрывая друг от друга глаз и рук. И казалось, что так будет всегда. Один раз они гуляли, держась за руки, попали под ливень и, не разжимая рук, прибежали домой, промокнув до нитки.

Дальше... Дальше было все... и ничего. Ничего, потому что сын был маленьким, и жену было жалко.

Ничего, потому что казалось, что на вопрос "или... или" можно ответить "и... и". Казалось. Она ждала его семь лет, а потом вышла замуж, как позже выяснилось, за миллионера, и родила ему двух дочерей в Австралии...

Вспоминает ли она тот крымский город-городок или не может забыть, как не могу я?

Хотя теперь у нас даже звезды разные, думал Константин Сергеевич. Надо мной Большая Медведица, над ней Южный Крест.

Креста Константин Сергеевич не носил, а в Бога верил. Чаще бывает наоборот.

В детстве его не крестили, а взрослому казалось, что Бог в сердце, то есть в душе, если в нее верить, а не в купели. Но это дело сугубо личное.

Рапаны в сметане... Сметана. Говорят, что нигде в мире ее не найдешь. Сливки, йогурт — пожалуйста, а сметаны нет. Редкое сочетание жирного, кислого и плотного. Главный признак подлинности продукта — ложка в сметане должна стоять. Вот и "Борщ украинский со сметаной".

Отец Константина Сергеевича любил борщ. Не московский, больше похожий на свекольник с капустой, а именно украинский — с помидорами, сладким, или, как его называют на юге, — болгарским перцем и чесноком.

Константин Сергеевич борща не любил. С детства. Из-за шкварок. В борщ бабушка обязательно добавляла растопленные на сковороде кусочки сала — шкварки, что делало борщ более сытным. Хотя варили его на мясном бульоне, и сытности было — хоть отбавляй. В те годы борщ заправляли шкварками по инерции, по опыту предвоенных, военных и послевоенных голодовок, когда о мясном бульоне мечтать не приходилось. Потом, после бабушки, борщ варили уже без шкварок, но Костя его по-прежнему не любил, тоже по инерции. А отец любил, вернувшись поздно из гостей, после всех угощений съесть на кухне тарелку горячего борща и долго беседовать с Костей о своей неправильно прожитой жизни. Может, потому, что в гостях отец мало ел, но много пил.

А мама? Что она любила есть в молодости? Жаркое. Жаркое из баранины. С картошкой. Горячее, пока бараний жир не успел застыть. Интересно, есть у них в меню жаркое? "Жаркое по-домашнему с лисичками". Нет, мама любила без лисичек. В войну их эвакуировали в Узбекистан, в небольшой городок. Дедушка ушел на фронт, бабушка Константина Сергеевича умерла в эвакуации в сорок втором году, когда маме было двенадцать лет, практически от голода, а мама выжила, будучи полунянькой-полуучительницей детей заведующего городской столовой.

Она как-то рассказывала Косте про спектакль, который показывали в городке приехавшие из Ташкента актеры. Сюжет был незамысловат. Немцы схватили партизанку, и как ни пытали, она не говорила, где скрываются ее товарищи. Тогда фашисты поставили на стол дымящийся казан и сказали: если выдашь, где партизаны, мы дадим тебе жареное мясо с картошкой.

Сидящие в зале зрители партизанами не были, но есть им хотелось не меньше героини. И каждый мог оценить подвиг отказавшейся от мяса с картошкой девушки.

Мама любила жаркое без лисичек. Откуда в Узбекистане лисички? Папа любил борщ со сметаной. Мама, папа. Анкета какая-то! У анкеты много общего с меню. А у меню — с анкетой. Хотя меню — оно; они, наверное, сестрички.

Анкет Константин Сергеевич не любил, как будто кто-то сквозь бумажку с вопросами простреливал его насквозь альфа- или гамма-частицами. Даже, казалось бы, приятный вопрос о дне рождения был дополнительным ориентиром для розыска среди тезок и однофамильцев. А уж вопросы про судимости и родственников за границей, участие и нахождение, исключения и сокрытие казались даже не враждебными, а угрожающими. Хотя скрывать особо было нечего, анкеты Константин Сергеевич не любил. А меню любил. Так бывает с сестрами: одну любишь, а другую ненавидишь. Сестер у Кости не было, как и братьев. Вроде как жилплощадь не позволяла.

У сына Константина Сергеевича тоже братьев и сестер нет. Жилплощадь. Универсальная причина.

Так, что у них на десерт? — еще сильнее прищурился Константин Сергеевич.

"Чернослив со сливками и грецкими орехами". Хорошо, что тут без сметаны обошлось.

"Крем из белого шоколада с фруктовой начинкой".

Начинка — ладно, а белый шоколад? Это почти безалкогольное пиво...

Меню закончилось. Пошли дальше.

Константин Сергеевич направился к перекрестку. Пройдя два квартала, он остановился у входа в ресторан французской кухни со скромным названием "Максим". Меню висело в стеклянном ящике и было подсвечено почему-то голубым фонариком. Его изучение Константин Сергеевич начал с супов.

"Буайябес" (суп из пяти видов рыбы и креветок с сырными гренками и соусом "Айоли"; самое популярное блюдо в Марселе).

На память пришла старая псевдоблатная песенка:

А я теперь имею одну лишь в жизни цель,
Чтоб как-нибудь добраться в тот западный Марсель.
Там девки пляшут голые, там дамы в соболях,
Лакеи носят вина, а воры носят фрак.

Слава Богу. Добрались все. Причем, не выходя из собственных квартир. И девки пляшут. И воры в галстуках и без галстуков... Кого за это благодарить? Бога не хочется...

Салат "Бон Фам" (нежный салат из корня сельдерея, заправленный соусом "Айоли").

"Бон Фам" — в переводе с французского — хорошая женщина. А можно перевести и как добрая. Почему добрая? А наверно, после эффекта, который производит на мужчину корень сельдерея. Ничего другого в голову не приходило.

Вообще, так уж сложилось, что любимым собеседником Константина Сергеевича был он сам, и когда им удавалось прийти к согласию, ему было хорошо и спокойно. Но так случалось редко. "Бон Фам" — а где же ее найти? После развода желающих подать Константину Сергеевичу воды в трудную минуту было достаточно... Но пить из рук ровесниц не хотелось, а из тех, что хотелось... Ну, во-первых, деньги. Да и неинтересно было бы друг с другом. Тут сам с собой договориться не можешь, а с молоденькой дурочкой? Почему с дурочкой? Потому что умные давно замужем. Да и другое поколение, оно же действительно: другое.

Год назад Константин Сергеевич, вспомнив юношеские успехи в эпистолярном жанре, написал повесть. О прожитом времени. Назвал ее "Повесть о ненастоящем человеке" и отправил в Москву, в толстый, любимый с юных лет журнал. Не надеясь на ответ, хотел написать обратный адрес: "ул. Любая, 29", но потом подумал: а вдруг захотят напечатать? Зря. Ответ пришел через месяц. Начинался он так: "Уважаемый Константин Сергеевич. Ваша повесть проникнута желчным разочарованием незаслуженно обиженного жизнью совка...". Откуда ей знать: заслуженно, не заслуженно? Писала ему зам. редактора, судя по слогу — молодая женщина, выросшая в подлинно демократическом обществе. Бог с ней, с молодежью и с демократией, объявить которую намного легче, чем построить. Обойдемся без "Бон Фам".

"Фуа-гра с цукатами (один из самых известных деликатесов французской кухни)". А по-русски — жирная печень. Напарник по работе часто повторял: "Все, что есть в жизни хорошего, или преступно, или аморально, или ведет к ожирению". Хотя это многие повторяют, но они неправы. Разве преступно или аморально читать меню ресторанов, гуляя по вечернему городу? Не в окна же я заглядываю... Константин Сергеевич начал очередной спор с самим собой. Аморально. Потому что ты не собираешься заходить и заказывать. Да, но я же не сажусь за столик, читаю меню

и ухожу. Так я их обижу, а так наоборот, они видят интерес. Не зайду сегодня, зайду завтра.

И завтра ты к ним не зайдешь. На завтра у тебя запланирован китайский, греческий и болгарский, а вчера ты стоял у чешского и ливанского. Ладно, примирительно сказал Константин Сергеевич сам себе. К ожирению это точно не ведет.

Неважно, что ублажать — хрусталик глаза, барабанные перепонки или пупырышки языка. Важно, как это делать...

На сегодня был запланирован еще японский ресторан, находившийся недалеко от входа в порт. Поздно. Может, домой, на йогурт? Хотя сегодня я действительно проголодался и могу сварить вкусный грибной суп из концентрата, думал Константин Сергеевич, но ноги уже шагали по спуску. Сырая рыба, рис, водоросли, — а такая популярность. В городе было уже пять японских ресторанов, и все полны посетителями. Интересно, что у каждого было свое меню с цветными картинками предлагаемых блюд. К портовскому "японцу" Константин Сергеевич приходил раз в две недели. Обычно ресторан и тротуар перед ним были ярко освещены, но сегодня лишь изнутри пробивались блики от стоящих на столах свечей. Наверное, электричество в доме отключили, подумал Константин Сергеевич. Да, при таком освещении креветки на картинках не рассмотришь, и состав коктейля "Камикадзе" не прочитаешь, зря шел. Темно. Поздно. Иду йогурт пить.

Константин Сергеевич развернулся по направлению к дому. Ему навстречу шли трое коротко стриженых мужиков.

"Батя, сотку не разменяешь?" — спросил один из них, преграждая ему дорогу. Рука Константина Сергеевича потянулась в карман, за черной шапочкой, но было поздно. Действительно поздно... Совсем.

.....

Изменилось ли что-то? Для кого? Для случайных прохожих, которые больше не встретят вечером человека в старомодном с приподнятым воротником плаще на подстежке? Для посетителей ресторанов, которые больше не увидят сквозь стекло переминающегося с ноги на ногу человека, долго читающего меню, но так ничего и не выбравшего в этой жизни? Вряд ли.



Александр ГРИНБЛАТТ

Зико

"Бедная, бедная Зико..." — Дайнур запрокидывала голову и воздевала руки к небу... В тесной толпе вокруг нее сохранялось свободное пространство: люди сторонились юродивой, которая, по слухам, наводила порчу.

"Бедные! Бедные мы!" — горестно басил с двухметровой высоты бородатый оборванец Торибал. Он скреб подмышки и отирал руки о майку, пропитанную потом.

"Ах, зачем ты бросила нас?" — поочередно завывали три старые девы в черных платках, и тела их сотрясались от всхлипов.

"Благородный мой... — Дайнур остановилась против бездомного пса, присевшего по нужде на кромке выгоревшей клумбы, — воздай прощальные почести Зико! Ты же друг человечества..."

"Я понимаю, почему молчал я, но почему молчали другие? — возмущался мужчина в черном мундире перед катафалком. — Сначала они отобрали у меня власть, а теперь — мечту! Все, кому дороги..." Он понапрасну вертел головой.

В середине процессии шествовал оркестрик из пяти человек и двух попугаев, которые равномерно вздрагивали на жерди, переброшенной между правым плечом флейтиста и левым старика с литаврами. Дама в матросском костюме виляла контрабасом на колесике и время от времени припадала к струнам верхней частью тела, отчего звуки застревали внутри дамы. По обе стороны контрабаса выдували из меди одинаковые ноты разноякцовые близнецы. А поверх голов кружил шмель, выискивая нужное лицо...

Толпа редела. На подходе к спуску продолжали скорбный путь лишь Дайнур и Торибал. За ними устало тянулись музыканты. Замыкал ход пес. Он плелся с опущенной головой, вынюхивал по дороге невидимые следы и качал хвостом. Иногда задирал морду и щелкал челюстями, пытаясь ухватить жужжащего шмеля. Попугаи после каждого удара медных тарелок шумно били крыльями и вскрикивали разгульное "Опа!".

Навстречу процессии по узкому спуску Милагро шел Студент с томиком Монтеня. Поравнявшись с катафалком, он остановился. Шмель завис над головой студента, облетел его и сел на книгу.

Монтень был подарком Филеты. Ей хотелось оставить себя Студенту, но у него за душой всего-то был университетский заем. Поэтому Филета себя оставила себе. При расставании она сунула Студенту книгу, залежав-

шуюся с прошлого года, когда в "блудоловку" попался университетский профессор.

Тогда Бодин грохнул кулаком по незапертой двери и, сдерживая смех, заорал, что жутко отомстит за "оскорбление постели". Ученый муж, как и предшественники, в страхе вскарабкался на подоконник распахнутого окна и прыгнул в спасительную темноту улицы... Филета притворно заметалась по комнате, подхватила в охапку одежду и выбросила ее вдогонку жертве...

Благодаря накатанному приему к ним переходило все, что снималось с клиентов под пылкий шепот и метания торопливых рук. Верхняя доска тумбочки, на которой ожидали хозяев часы, зажигалки, портмоне, посередине имела разрез; при повороте ручки на задней стенке тумбочки створки опускались вовнутрь, и все предметы на поверхности ссыпались в потайной ящик; затем пружина возвращала створки в первоначальное положение. Идея "блудоловки" принадлежала Бодину, но успех предприятия обеспечивали прелести искусной Филеты.

Монтень среди полезных приобретений был недоразумением, но не выбрасывать же его потому, что он скучен. Вот подвернулся Студент, погрузился в творение француза, и щедрость Филеты получила достойное признание.

Они столкнулись на лестничной площадке парадного, в котором снимала квартиру Филета. Там же проживал хозяин ресторана "Утоленное чрево", нанявший Студента обучать сына латыни.

В тот памятный день Студент съехал по перилам с третьего этажа... На втором пролете в его ягодицу вонзилась заноза от недавно вырезанного "здеся жевут суки". Корчась от боли, он оголил низ, чтобы вытащить щепку. Малейшее прикосновение подвергало волю жуткому испытанию...

Филета, войдя в парадное, нащупала ключ в сумочке и подняла глаза... С верхней площадки на нее испуганно глядел молодой человек со спущенными штанами и скрещенными ладонями... Она обошла его, увидела рану и тут же приложила руку... Заноза была извлечена, но проступила кровь, и Филета настояла на дезинфекции... Со все еще спущенными штанами Студент по-пингвиньи последовал за ней... В спальне она велела ему лечь на живот. Наконец, разрешила перевернуться — и склонилась над ним в распахнутом пеньюаре.

...Знойный день сменился тихим вечером. Над побережьем разносилось завывание койотов, спускавшихся с гор Санта-Ольгасаны. При подходе к порту загорелся танкер, а на другом конце света, в Динозии, прогре-

мел взрыв в ночном клубе... Зико успела предсказать все происходящее в мире, включая собственное исчезновение. И не было ничего нового в том, что армия рокейских студентов, уставших от выпивки и караоке, перешла к национальной забаве — уличному протесту против чего-то риканского, а пластиковые щиты и дубины привычно молотили их ребра. Лучше бы они пили... Но по Зико, им еще предстояли коллективные подвиги...

"Зико, откуда ты взяла, что нас развращают твои услуги? Мы отвернулись от тебя потому, что ты предала нас! Ты отказалась пророчествовать и занялась политикой. Скажи, кому нужна мечта, которая перестала исполняться? Могла бы хоть притвориться... Но ты надумала преобразить нас нравоучениями, забыв, что решать-то нам!

Да, твои откровения вызывали интерес. В одном Уселе, которому ты едва уделила страницу, были проданы 3 миллиона твоих книг. Рокейцы все не могут усвоить, как ты могла предугадать появление антимыслей именно у них, ведь кто как не они должны быть благодарны риканцам за помощь. Но от одного этого неприязнь к риканцам только растет.

Спустя год после похорон риканский посол в Тепигете решил купить древний памятник твоей прапрабабке с такими же сросшимися бровями, как у тебя, и перевезти его в Рику, но тепигтяне всегда играли двойную роль и, кроме того, они боялись продешевить. Если бы наисправедливейшее правительство Дамаксинии не вмешалось, памятник установили бы на твоей могиле, но Дамаскиния на всякий случай организовала несколько взрывов на территории Зиариля в защиту мира. И тогда все мые и немые планеты привычно осудили Зиариль за агрессивные действия в ответ на миролюбивые взрывы. А Рика оказалась в изоляции...

Ты не поверишь, Зико, твою шутку "Прозрение — в слепой вере!" мусуляне сделали своим главным лозунгом. Правда, они отказались переводить твои пророчества на рибабский, объявив их происками Зиариля, подкупившего тебя, твоих издателей и тех, кто читает твои книги..."

— Господин Студент, — Профессор откинулся на спинку кресла и снял очки, — Зико, она кто?

— Мечта, Профессор.

— Мечта? Хм... Зачем же ее похоронили?

— От безысходности, Профессор... Она как бы перестала работать... То есть мечтать продолжали, только ничего из того не получалось...

— Ах, вон оно что... Понятно... Хотя, знаете, дорогой, в ваших размыш-

лениях не улавливается... И потом, ссылки на Монтеня малоубедительны. Также непонятно, почему вы увлеклись чтением, следуя за гробом по спуску вверх? Ведь вы шли вниз! И монолог о том, где нас любят, а где нет... Зачем отправляться так далеко? Послушали бы моих университетских коллег!.. Далее, что общего между Зугрией и Ронвегией?..

Вы о Зугрии почему-то пишете как о многовековом государстве... в то время как о ней следует писать как об историческом курьезе...

И, наконец, не кажется ли вам, что без мечты жизнь нормальнее? Мечта — продукт распада действительности, эдакое ускользание ума в надуманное... А жизнь требует работы и терпимости к рутине. На мой взгляд, вы явно перехватили...

— Мне хотелось осмыслить...

— Ах, милый мой, и вы решили предложить ваши выводы человечеству. Только оно в них не нуждается... Человечество вообще ни в чем не нуждается, кроме профилактического кровопускания... Я бы на вашем месте не бросался под колеса истории. Напишите что-нибудь свое... Про будоражащие плоть мысли... О том, как у вас первый раз было с женщиной... или, может, с мужчиной?

— С женщиной... С удивительной женщиной... Профессор, я знаю, у всех влюбленных происходит одно и то же, но мне кажется, что я счастлив по-особому...

— Насчет счастья позвольте будущему внести ясность... По той же причине монологи лучше сжечь уже сегодня.

— Спасибо, Профессор... Я подумаю... Всего хорошего.

— До свиданья, дорогой... До свиданья...

"Зико, тебя хоронили на Ралитонском кладбище в тот самый момент, когда Президент поднял букет, сиротливо лежащий у мраморного столбика. Камера крупным планом выхватила Президента, слезно закусившего нижнюю губу, и устремилась к цветам, которые, по сценарию, президентская рука деликатно вставила в пластиковый стакан. Страна умилилась. Страна никогда не устает умиляться!

Съемки Президента отвлекли нас от тебя, Зико, но едва отъехал его лимузин, мы вернулись к нашей скорби: "Бедная, бедная Зико!.. То есть тебе уже все равно...

Я всегда отмечал двусмысленность в твоих пророчествах. Ну, почему куцей Ронвегии ты дала так много, а великой Зугрии не досталось ничего, кроме украденных Ягуаров и обещаний избыть обнищание! В Билитиси

нет света и тепла, а в Олсо жизнь течет степенно и сыто даже холодной зимой... Неужели фьорды лучше южных гор? Твои доводы о том, что будущее строится на основе настоящего, нелепы! Ты что же, винишь нас за то, что случится после нас?

В одном из свитков твоей рукой написано, что в Тикае надолго сохранится терминологическая шелуха бродячего Призрака, но ее употребление — дань имперской традиции, потому что тикайцев, прежде всего, интересует капитал. Но в другом твоем утверждении записано, что в Тикае принята незаконная власть. Стало быть, ты сама себе противоречила, а раз так, то цена твоим пророчествам — сама понимаешь!

Зико, тебе остается винить только себя! Для чего ты внушала, что перемены ведут к лучшему? Твои несостоятельные посулы оттолкнули тех, кто верил в тебя. И не притворяйся мертвой оттого, что лежишь в могиле! Тебя похоронили, чтобы не раздражала... Зачем ты спрашивала, куда мы смотрим! Ты ведь знала, что наше мировоззрение косит. Иначе как нам жить с постоянными изломами? "Все в длинной очереди за счастьем, а товару мало..." Это твои слова!"

— Господин Студент, я нашла в мусорной корзине вашу сказку про соловья и розу. Она мне так понравилась, что я не решилась ее выбросить...

— Спасибо, госпожа Смотрительница, но сказка не моя. Я переписал ее у Оскара Уайльда. Думал, смогу набраться стиля и мыслей...

— Чего, вы сказали, набраться?..

— Стиля... Стиля и мыслей... Понимаете?

— Нет. Вы можете объяснить?

— Ах, если бы!

"Зико, ты была права! В Будашпете лучшие пирожные опять пекут в кафе у Оперного театра. Как быстро вернулись из забытья рецепты кондитеров. Только на собственных мерзавцев не хватило памяти... И сооружают монументы жертвам на средства, сбираемые с их ненавистников... Все пострадавшие от Призрака заняты ревизией истории с точки зрения выгоды сегодняшнего рынка. Этого в твоих предсказаниях не было, Зико".

После похорон Дайнур отошла от могилы, у которой по-прежнему рыдал Торибал, и побрела к столбику с президентским букетом. Ее опередил пес. Он подбежал к цветам и поднял лапу. Дайнур кинулась к собаке и попыталась оттянуть ее за хвост. Тогда-то и произошло теперь уже знаменитое со-

бытие, описанное во всех учебниках по психиатрии и обществоведению. Пес зарычал, бросился на Дайнур и вонзил клыки в ее икроножную мышцу.

Дайнур вскрикнула... и полностью пришла в сознание! Она удивленно разглядывала морщинистые руки, грязную блузу и шершавые ступни в босоножках разных моделей. Когда подоспел заплаканный Торибал и оттащил собаку, Дайнур в ужасе отпрянула от великана и побежала прочь. Остановилась она на углу далекой улицы, на которой жил старший брат, но узнать его дом не смогла...

В тот же день в "Старбаке" она подобрала газету и стала искать объявления о найме. Одно привлекло ее внимание: отелю в курортном городке требовалась дама средних лет для демонстрации купальников.

С клочком газеты она отправилась на Океанский бульвар, где по уикендам очередная кинозвезда высаживала десант опеки над бездомными, обеспечивая их горячей едой и мелкой наличностью на наркотики и презервативы.

Ровно в четыре из рук мужчины в комбинезоне Дайнур получила коробку с горячей едой и бутылку содовой. Устроившись на скамье, начала есть... а мгновенье спустя заорала от боли в животе и свалилась на землю. Знаменитость подбежала и приложила ко лбу страждущей тонкую руку в перчатке...

Через двенадцать минут карета скорой помощи доставила бездомную в роскошный госпиталь Санта-Ольгасаны.

На следующий день, так и не установив причину колик, Дайнур выписали. За нею заехала сама дива и повезла ее к себе в поместье, где все уже было готово для съемки фильма о попечительской деятельности хозяйки. Дайнур было отведено четыре минуты на воспоминания о дружбе с опекуншей. Затем ей вручили конверт с наличными, сумку с новой одеждой и водительское удостоверение на имя Исабель дель Прадо Гарсиа. Она подписала бумагу об отсутствии претензий к еде и обязалась увезти собаку, которая бегала вокруг поместья и безостановочно лаяла.

"Пегая борзая"* доставила Дайнур и пса к южной границе штата, где расположился крохотный курорт на триста два дома и одну гостиницу.

Название "Лазурное Вымя" городок получил за голубые рассветы и знаменитую породу коров, копыта которых расходились на сувениры. Последние можно было купить с видами городка, барышень в бикини и бывших президентов... Благодаря копытному промыслу городской бюджет умудрялся держаться на ногах.

* Автобусная компания междугородних маршрутов.

Место купальной модели заняла теща отельного менеджера. Дайнур не пала духом. Городок ей понравился; она решила остаться. В сопровождении пса Дайнур посетила мэрию, где познакомилась с заведующей отделом социального развития меньшинств, которой нагадала скорое замужество и бесплатную стиральную машину. Городской голова, брат заведующей, по ее рекомендации подписал указ о создании муниципального агентства путешествий. Таким образом, Дайнур стала руководить новой службой, а затем и выпускать рекламный журнал "Лазурь и Вымя".

Рассуждая о нуждах города, Дайнур в одной из редакторских колонок предложила согражданам перекрасить дома в разные цвета и разрисовать фасады сценами из жизни, о которой внутри стен мечтали хозяева. Необычный проект должен был привлечь туристов и, таким образом, наполнить городскую казну средствами для возведения нового общественного коровника.

Результаты превзошли ожидания. За пять месяцев город не только сумел построить новый коровник с мемориальной доской на фасаде в честь Исабель дель Прадо Гарсиа, но и увеличил население на девяносто семь человек. Лазурное Вымя стремительно рос благодаря меньшинствам, облюбовавшим городок, в котором до них никому не было дела. К концу первого года цены на недвижимость увеличились на 24%, прирост населения достиг 568 человек. Из них процент этнических меньшинств возрос до 21,9%, из числа которых специфическое меньшинство составило большинство в 51,82%.

С притоком средств в городскую казну мэрия отменила налог на моносекс, введенный на одинокое население в пору экономического спада, разрешила бытовую рекламу на порносайтах и удвоила плату за вывоз мусора.

Местная фабрика игрушек, до недавних пор дышавшая на ладан, успешно освоила массовое производство фарфоровой группы под названием "С любимым на рассвете". Статуэтка представляла собой две мужские фигуры в желтых шортах, сидящие лицом друг к другу в голубом седле на спине коровы розового цвета, стоящей в завитках бирюзовых волн.

Именно такой сувенир Исабель дель Прадо Гарсия преподнесла Президенту и его второй Первой леди в Вушиконе, когда избиратели послали ее в Конгресс представлять разбухшее Лазурное Вымя.

— Я пришел проститься с вами, Профессор, и поблагодарить за совет и поддержку. Примите от меня том Монтеня с иллюстрациями Дали...

— Господин Сту... Виноват! По привычке... Хе-хе... Господин Магистр,

очень тронут. Жаль, что вы решили нас покинуть, но, как говорится, птенцы вырастают и летят прочь из гнезда. Как я понимаю, вы осели в самом привлекательном месте? Позвольте подлить вам ликеру?

— С большим удовольствием, Профессор. Вы правы, народ буквально помешался на Лазурном Вымени. И многим, надо сказать, повезло. После того как я год назад прочел статью в "Лазури и Вымени" о рассветах над городским коровником, меня постоянно одолевала мысль о переезде. Как наваждение, знаете?

— Понимаю вас, дорогой, понимаю... Я в молодости пережил подобное увлечение японской хурмой, но в итоге удержался от риска... Как видите, не прогадал... Хотя, кто его знает... Так вы теперь преподаете в тамошней школе?

— Не совсем, Профессор... Я, видите ли, поменял профессию.

— Поменяли? Вам же нравилось учительствовать? И школьники вас любили, как мне помнится...

— Ах, Профессор, при нынешней системе детям все равно, с кем не учиться...

— Чему же вы отдали предпочтение?

— О-о-о... Вы не поверите... В Лазурном Вымени открывается ресторан под названием "Утоленная страсть", и хозяин предложил мне войти в долю без капитала! Редкой щедрости человек!

— Погодите... погодите... Не ему ли принадлежит другой?..

— Совершенно верно, Профессор. Я как раз приехал по его вызову для отгрузки оборудования... Заодно и вас решил навестить.

— Ах, вот что... А ваши личные дела? У вас, я помню, была особая?..

— Была, Профессор... Теперь уже в прошлом... Филета переехала вслед за мной, но потом бездумно пригласила кузена, который обосновался в нашем доме на правах командира. Более того, он почему-то решил, что я обязан оплачивать его страсть к лотерейным билетам. С них-то и пошли трещины в наших отношениях...

— Стало быть, у вашей Филеты есть кузен?

— Да, Бодин... Странный человек... Нигде не работает... Целыми днями придумывает, что будет делать, когда выиграет... Причем минимальная сумма его фантазии составляет десять миллионов...

— Хм! Поразительно!.. Еще ликеру?

— Нет-нет... Благодарю вас, Профессор. Мне, пожалуй, пора двигаться. На всякий случай, оставлю мой номер телефона — вдруг надумаете посетить наши края. Так сразу ко мне... В городе уйма гостиниц, но снять но-

мер непросто, особенно теперь, когда отменили налог на моносекс. Настоящий бум! Приезжайте, буду искренне рад!

— Благодарю вас, мой дорогой. Может быть, когда-нибудь... Э-э... Кстати... Вам там не попадался на глаза перстень... с двумя изумрудами?

— Где, господин Профессор?

— Ну, там... где был Монтень...

"Зико, тебя забыли даже те, у кого на груди вытатуировано твое имя, а новому поколению ты вообще не ведома. Если бы не война в Арике, о тебе и не вспомнили бы. Старый пройдоха из "Дэйли Кукука" раскопал твое пророчество о сентябрьской трагедии и последующей войне... Мы только не уверены, та ли это война, которую предвидела ты, или же другая, которую списывают под твое предсказание. Политики воспринимают арикскую войну как спортивное состязание, требуя рекордов и вопя о малейших потерях...

Зико, ты однажды предрекла, что восстанешь из небытия, но не для того чтобы вернуться к прежнему, а чтобы уйти от "назойливого вымогательства". Но когда это будет? Мне так хотелось бы встретиться с тобой и обсудить несколько обещающих вариантов... Особенно раздражает, как другие умудряются нажить на тебе капиталец даже в твое отсутствие.

После публикации в "Дэйли Кукука" телепрограмма Кэрри Линга пригласила Торибала на передачу о твоих пророчествах. Линг пожертвовал ему один из своих костюмов, чтобы подать гостя в приличном виде. Честно говоря, мы думали, оборванец опозорится при первом же ответе, но его толкования публике пришлись по душе. Кэри Линга засыпали телефонными звонками, а когда Торибал сказал, что ты не умирала, передачу пришлось остановить...

Сегодня уже никто не помнит, Зико, почему тебя решили закопать. Время остужает пыл. Даже катастрофа сегодня не вызывает прежнего возмущения. Напротив, нам старательно пытаются объяснить мотивы врагов. Оказывается, нас "проучили" за бесчувственность и высокомерие. Так что, Зико, ты была права насчет "бесполезности разума"...

Торибал привел твое пророчество о пастилинцах и риадинцах, в котором ты настаивала на том, что только массовое облучение может остановить их фанатизм. Его тут же обвинили в фашизме, но никто ни в чем не обвиняет пастилинцев, а риадинцев называют "друзьями".

Кстати, после телепередачи Торибал начал сбор денег на создание твоего мемориала. Теперь он ищет место для постройки храма и центра по

изучению твоего наследия. Только ведь, Зико, учения у тебя никакого не было... Разве не так? Скорее всего, он решил построить кормушку с твоим именем... Ну и что, что все эти годы он поливал цветы на твоей могиле? Отсюда вовсе не следует, что он должен стать главным жрецом. Я, между прочим, тоже шел за твоим гробом...

После кэррилинговской передачи Торибала пригласили в Министерство Обороны для секретных консультаций. В голове не укладывается — этот чумазый дает советы Объединенному Штабу! Но самое любопытное произошло на Капитолийском Перевале, где он столкнулся с дель Прадо Гарсиа. Они, оказывается, были вместе еще при тебе, Зико... Одним словом, Торибалу и здесь повезло — конгрессвумен еще не замужем..."

В субботнем выпуске "Вушикон Стоп" публику заинтересовало сообщение о скандале в Конгрессе: "Исабель дель Прадо Гарсиа, представительница Лазурного Вымени, вынуждена была подать в отставку, после того как на встрече латянского кокуса в Конгрессе отказалась поддержать предложение сенатора Зуса Бастатонто о создании зон благоприятствования латянам, переползающим государственную границу в пустыне Мухабунга. Согласно предложению Бастатонто, через каждые две мили в пограничной зоне государство обязано было создать киоски с газировкой и бутербродами для ослабевших ползунов, а через каждые семь миль построить пункты первой легальной помощи, где ползуны могли бы ознакомиться со своими новыми правами и получить защиту от покушений риканского правительства на их свободы.

После того как Исабель дель Прадо Гарсиа назвала предложение сенатора безумством, присутствовавшие единодушно проголосовали за исключение представительницы Лазурного Вымени из кокуса и поддержали законопроект о благоприятствовании ползунам. В ответ Исабель дель Прадо Гарсиа беспомощно обвинила бывших коллег в предательстве национальных интересов".

Когда Исабель паковала чемоданы, по телефону позвонил Торибал и предложил ей выступить в его радиоток-шоу. Она, не задумываясь, отказалась: "Тем, кто меня поддерживает, объяснять нечего, а тем, кто меня обвиняет, — незачем".

Торибал хотел прилететь в Вушикон, чтобы помочь с переездом, но Исабель убедила его ничего не предпринимать. Они договорились свидеться в Лазурном Вымени.

В новом аэропорту Исабель встречали мэр, управляющий поместьем

и пес. Пока управляющий получал ее багаж, мэр рассказал Исабель о лотерейном выигрыше в десять миллионов, доставшемся безработному жителю Лазурного Вымени. Кто-то остановился рядом с ними и поклонился. Мэр приподнял шляпу и простер руку в сторону незнакомцев:

— Исабель, позволь представить тебе совладельца нового ресторана господина Серли Надану. Завтра мы встречаемся в его "Утоленной страсти" на банкете. Простите, не представляю вашего спутника, так как не имею чести...

— Виноват, господа! Мой университетский наставник, профессор Шанторан. Приехал в гости познакомиться, так сказать, с воплощением заветного... Госпожа дель Прадо, для нас будет огромной честью принять вас в "Утоленной страсти". Я надеюсь, что мы сможем доставить...

Серли Надану умолк от растерянности... Исабель и профессор Шанторан медленно, словно зачарованные, двигались навстречу друг другу. Через мгновение они обнялись. Исабель плакала, а профессор без конца целовал ее лицо, плечи и руки.

Когда управляющий подоспел с багажом, Исабель оторвалась от профессора и повернулась к спутникам:

— Господа, это мой брат, с которым я не виделась двенадцать лет...

Мэр поспешно пожал руку профессору. Исабель настояла, чтобы брат ехал к ней. Господин Надану понимающе кивал...

При выходе из здания их ожидала группа латянцев, которые дозировали свой гнев по команде толстого коротышки: латянцы сыпали проклятьями и размахивали плакатиками, на которых Исабель под кактусом жевала риканский флаг.

К счастью, сразу подкатил лимузин, и конфронтации удалось избежать. Ехали молча. Исабель не выпускала руку брата из своей ладони.

Машина неслась вдоль океана. Когда подъехали к Молочному Парку, вынуждены были остановиться из-за толпы, перекрывшей шоссе.

— В чем дело, Чарли? Почему здесь столько народу? — тревожно спросила Исабель мэра.

— Не волнуйся! Люди идут поклониться Зико. Они приписывают лотерейный выигрыш ее покровительству. Торибал не рассказывал тебе о проекте? Странно! Видишь на холме деревянный саркофаг?.. Завтра Торибал прилетит прямо на банкет и объявит о строительстве храма... Слушай, наверно я не должен был говорить об этом? Может быть, он хотел, чтобы это было сюрпризом для тебя?

— Может быть...

Когда доехали до поместья, быстро распрощались, и машина с мэром укатила в город. Исабель не могла объяснить охватившего ее беспокойства... Ей казалось, что с океана доносится тревожный шепот... К тому же, пропал пес. Его искали, но не нашли... За ужином брат увлеченно рассказывал о своих приключениях в Вероне и смеялся собственным шуткам. Она была недовольна собой, слушала рассеянно и отвечала невпопад на его вопросы.

Ночью они проснулись от сильного землетрясения. На втором этаже упали напольные часы. По дому прокатился стон искалеченных струн... Затем еще один толчок. Раздался грохот падающих балок, звон битого стекла... Стены медленно поползли вниз... Здание содрогнулось и рухнуло...

Океан вышвырнул на берег многоэтажную волну, которая объяла сонный город и поволокла за собой в вечную темноту. Утром на зыбкой воде среди резиновых игрушек и обломков мебели качались резные доски саркофага...

На пустынном берегу обнаженная женщина со сросшимися бровями нашла тетрадь "Монологи магистра наук Серли Надану" и положила ее поверх ритуальной одежды, аккуратно сложенной на песке рядом с дремлющим псом. Когда солнце стало припекать, она подхватила "Монологи" и скрылась в тени за высоким валуном. Вслед за ней туда же подался пес.

Лос-Анджелес



Ганна КОСТЕНКО

Не дивись так...

Про автора

Ганна Костенко народилася у 1988 р. в Одесі. Навчається на другому курсі ОНУ ім. І.І. Мечнікова, факультет української філології, відділення видавничої справи та редагування. У 2005 році вийшла перша збірка оповідань "Все ще буде, все...".

Була учасницею Всеукраїнської наради молодих літераторів у Коктебелі (2005 р.), за результатами якої прийнята до Національної спілки письменників України.

Переможець Міжнародного літературного конкурсу "Гранослов-2005" Має диплом переможця Всеукраїнського конкурсу-огляду за програмою "Нові імена України" у номінації "Проза" (2005 р.), а також диплом третього ступеню етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, секція "Літературна творчість" (2005 р).

Дощ нікого не жалів. Нанизував пальцями і клав собі до рота. Смакував. Всіх. І мене. Воїна.

Ми не заспокоювалися. Не зважали на залізну маску крапель. Кидали на землю і стріли, і тіла вбитих. І неважливо було, за кого ти чи проти кого: вбивай, щоб не вбили тебе.

Я відчув гострий біль у плечі. А потім і в спині. Впавши, я зрозумів, що мене поранено. Витягнув стріли саморуч. Разом із кров'ю з тіла виринали сили.

Дощ заклеював мені повіки. Я не бачив перед собою нічого, крім мокрої важкої фіранки. Навкруги темно і глухо. Як на краю світу.

Почав повзти. Куди?! Закусував губи від болю. Треба рухатися: смерть побачить, що я живий.

Далеко від мене з брудом змішалося світло. Це перші галюцінації, подумав я і поклав голову в калюжу. Сили скінчилися. Значить, і кров скінчилася.

Вогник не зникав. Дратував. До мене підійшла смерть. Присіла навпочіпки, легенько попестила мене по голові.

— Не лежи в калюжі! Некрасиво...

Я злякався.

— Доповзу до вогника...

Смерть покачала головою.

— Доповзу до вогника! У будь-якому разі, доповзу. А там — роби зі мною, що хочеш!..

Через вічність опинився на порозі чужої халупи. Чорної. Стукав у двері і не бачив власні пальці. Вони давно у шлунку дощу.

Хідники відчинилися майже одразу. Я примружився й побачив тебе. Точніше, твої очі.

Я знав, що не можна йти до тебе, знав. Відчував. Я б погодився залишитися із смертю, але ти квапливо втягнула мене у хату. Зиркнула на суперницю, взяла каменя і кинула їй у голову.

— А ну, пішла звідси! Проклята! Пішла! — завила, як плачка.

Затулила двері. Знову кудись потягнула моє тіло.

— Почекай, любчику, почекай! Зараз тобі буде легше! Почекай.

Побачила мої рани, скрикнула. Мені не примарилося, ти потім сама зізналася в цьому.

Я погано пам'ятаю, що було далі. Перший раз, коли прокинувся, тебе не було поруч. Ти щось готувала. Відьма, промайнуло в голові.

За спиною приковане вікно, і у нього дивилася смерть. Кістлява дівчина з впалими сумними очима. Як у собаки.

Ти сіла поруч і почала натирати мене травами. Дала щось випити.

— Відьма-а... — подумав знову, — виживу-у...

Я прокинувся вдруге. Було темно. Досі не можу забути свій сон. Снилося, як падав донизу, як ударявся об землю, як болить плече, і як я повзу. А після — твої очі. Погляд. Вії. Я благав тебе не дивитися, мені не хотілося, щоб ти бачила мене слабким. Мене, воїна. Але ти чомусь сміялася. Твій сміх досі блукає у вухах...

Ще у сні я почав тебе ненавидіти...

Я довго спав. Смерть не відходить від вікна і дивиться мені у тім'я. А ти, вперта, не відпускала мене. Тримала за руку. Дозволяв тобі робити зі мною що завгодно, тільки б лишитися живим. Лишитися воїном. Пам'ятав, що десь іде війна, і я їй потрібен. Чи вона — мені.

Інколи відчував, що вмираю. По-справжньому. Твої трави не допомогали, заговори також. Я чув, як смерть гупала у вікно долонею, кричала, як змочувала язиком губи, поправляла від нетерпіння на собі мокру сукню, яка поприлипала до маленьких грудей.

Розплющив очі. Ти запалила вогонь у печі. Роздягнулася. Чорне довге волосся закривало твій сором.

— Ні про що не питай, — почув твій голос над собою, — повір мені! Це єдине, що я можу зробити...

Я нічого не відчував тоді. Мені знову наснилися твої очі. А ще крапля за краплею з'являлася впевненість, що я виживу. І я вижив.

Тепер ти лікувала мене своїм тілом. Твоя сила повертала мені життя. Вранці ти давала мені пити зілля із солоним присмаком крові молодої вовчиці. На десятий день я вперше заговорив з тобою.

— Вона пішла? — це я про смерть.

— Ні, ще стоїть у воріт. Але не бійся, ця проклята скоро піде... Випий це.

Вмить мені здалося, що ти брешеш. Що смерть давно пішла і втратила надію врятувати мене від тебе. Зараз я був безпомічною дитиною. Ні! Лялькою, з якою ти гралася. Я не довіряв тобі, але не міг пояснити, чому. Може, тому, що ти була красивою. Відьмою.

— Ти будеш пити, чи ні?!

Я взяв піалу і зробив ковток.

— Огида, — кажу.

Ти посміхнулася.

Проклята відьма, думав тоді, що у тебе на розумі, тільки диявол знає! Я вб'ю тебе одразу, як видужую!

І я стримав свою обіцянку. Бо я — воїн. От тільки не одразу вбив. Згодом...

Твоє зілля скоро поставило мне на ноги. Я почав ходити, невпевнено, але ходити. Відчувався біль у спині й плечі.

Вночі ти вже не приходила до мене. Вистачало трав.

Я майже не говорив з тобою. Не хотів звикати до твого голосу. І до тебе. Переважно говорила ти. І звикала ти. Я сидів і слухав. А ти говорила. Навіть не пам'ятаю, про що.

— Як тебе звати? — питаю я.

Ти замовкла. А коли повернулася, на твоєму обличчі я побачив щастя. Сльози. Ти давно чекала цього питання.

— Чого ти так дивишся? — питаю. — Не дивись так.

Дивишся.

— Не дивись так! Чого ти так дивишся?!

Дивишся.

А потім тихо-тихо кажеш мені своє ім'я.

Ім'я одразу забув. А от обличчя — ні. Я роздивлявся його довго. Кожну зморшку. Родимку. Нестерпно красиве обличчя. Барбело[1], заздри! Твоя краса вкрадена цією відьмою!

— Не болить плече? — завжди запитувала, коли не знала, що сказати.

Кожен день повторювався до дрібниць. Кожен день ти жовтилася навколо мене. Намагалася, щоб я відчував себе як вдома. За це я тебе не-

[1] Барбело — найкрасивіший занепалий янгол, який вважається рівноправним Люциферу.

навидів ще більше. У мене не було дома. Бо я був воїном, а воїн забуває, де його дім.

— Нащо ти робиш це?! — питаю і дивлюся на твою посмішку, на прозору шкіру, як у медузи.

— Я хочу тобі допомогти.

— Невдячне діло! Я вже казав це своєму другові.

Ти відвела погляд.

— Не болить плече?

Мовчу.

— Пора обідати, — кажеш і посміхаєшся.

Диявол! Як я ненавидів тебе тієї миті, коли ти посміхалася! Зранку, ввечері, завжди ти мені посміхалася. Чорні очі горіли вогниками, тонкі смоляні брови танцювали на лобі, коли ти посміхалася. Диявольська жінка! Я вб'ю тебе одразу, як наберуся сил. Я вб'ю тебе одним ударом, тобі навіть не буде боляче.

Я сидів і дивився, як вигинається твоя спина, твоє тіло. Кожним рухом показувала мені, що не відпустиш мене. Не зможеш.

Ти накладаєш мені їжі. Прислужливо, наче гієна, всміхаєшся. Поряд не сідаєш. Стоїш. Дивишся, як я їм, очей не зводиш.

— Смачно, — кажу.

А хліб іде мені поперек горла. Дияволиця! Я на тебе не погляну, а попрошу іще порцію, тобі на зло! Ти дивишся.

— Не дивись так.

Дивишся.

— Не дивись так, я прошу!

Дивишся.

— Та не дивись так! — сам лякаюся свого голосу.

Я глянув на тебе крадькома, бо тепер не міг не глянути. Ти стояла в сльозах і зовсім не сходила на відьму.

Вибігла. Заплакала. Мені стало прикро. Я підійшов заспокоїти тебе. Нічого не сказала, та в очах прочитав...

Я вже казав, що у неї були красиві очі, про які я можу говорити й згадувати постійно.

Я витер твої сльози долонею. Вони потекли ще швидше. Ти поклала голову мені на плече, і ми стояли так довго. Я навіть забув про те, що тільки-но хотів тебе вбити. За погляд.

— Я не знаю, хто ти і твоє ім'я. Я не вимагаю, щоб ти називав мені його. Але пообіцяй, що ти залишишся зі мною!

— Для тебе я завжди буду пораненим, якого треба лікувати. Багато хто знає мене як воїна. А ти пам'ятатимеш мою слаботу.

— Це неправда! Я забуду! Я обіцяю, я забуду! Але не йди від мене, будь ласка! Я люблю тебе!

І знову цей погляд, тільки благаючий і ніжний.

Моє ім'я було Воїн. І я назвав своє ім'я. Ти заплющила очі й поцілувала мою руку.

Вночі я не спав. Чув, як ти плакала. Хотів піти й заспокоїти тебе. Але встиг прокляти себе за цю думку тисячу разів. Диявольська жінка, вона навмисно так робить! Чортова спокуса! Не вірю тобі!

Вибіг у сад, зірвав кропиву, почав обтирати тіло. І чув, як ти плачеш. Бив спину сухою гілкою. І чув, як ти плачеш. Бив у кров. І чув. До м'яса. Чув...

Вранці майже не розмовляли. Мені здалося, що ти і справді закохалася, але я прогнав здогадки. Ти була відьмою. Ти не могла закохатися.

Три ночі ти плакала. Я виходив на двір і рахував зірки. Диявол! Я ненавиджу тебе! І цю жінку! Вона завжди бачитиме у мені слабкість.

Почув, як ти закашлялась, як дитина, від власних сліз. Не витримав. Побіг.

На мене не відреагувала. Чекала, що я прийшов тебе вбивати.

— Не плач! Заради мене, не плач!

Лягаю поруч у ліжко, цілую тебе у тім'ячко. Спи. Ти обвила мою шию руками, а очі наблизила нестерпно близько. Не дивись так...

— Плече не болить?...

Диявол!

Ти злякалася власних слів і швидко поцілувала мене.

Це був не я. Це була моя ненависть. Тепер ти лялька, з якою грався я. Моя душа, соромлячись, вийшла з кімнати. Я не впізнавав себе, але впізнавав свою лють, яка сумувала за війною. Бідна відьма! Диявол покинув тебе і перейшов на мій бік! Я був дияволом тієї ночі.

Вчепився зубами в твоє вухо. Тобі було боляче, і ти заплакала. Від щастя.

— Відчини мене! Зруйнуй мене!

І я відчиняв усі твої кімнати, руйнував їх без жалю. Деколи мені здавалося, ти помираєш у мене на руках. Я заспокоювався, цілував твоє обличчя. Тільки не відкривай очей! Я від них шаленію!

Відкриваєш. Дивишся. Смієшся. Я пригадую, хто ти, і що я воїн, і в мені прокидається ненависть, жорстокість і ще більше бажання бути твоїм, бути з тобою, бути у тобі. Бути!

Чується дощ. За вікном дощ. А я іду далі блукати по храмовим спорудам твого тіла. Ти — храм. Мені хотілося залишатися у ньому назавжди.

— Не йди від мене! — я розумію, що ти любиш мене, — люблю! Люблю тебе!

Кладу голову на твої груди і плачу. Я, воїн, плачу. Ти не питаєш чому, мовчиш, все розумієш. Воїн не повинен плакати. А ти бачиш мої сльози.

Твоє серце забилося швидше. Я заплющив очі. Я мріяв про тебе. Кімната твого серця поступово відчинялася. Я побачив позолоту твоєї душі.

І тільки зараз я зрозумів усе, що трапилося зі мною. Це був жарт, жарт Диявола. Це він підстрелив мене, звів з тобою. Тільки він прорахувався, ти ж бо справді закохалася у мене. А я?! Я втратив самого себе. Я програв собі. А воїн, який плаче, не воїн.

— Не йди від мене!..

— Я не зможу від тебе піти. Мені легше буде тебе вбити.

Ти поцілувала мене. І я заснув.

...Пройшов іще місяць. Я згадав, що потрібен війні, чи вона мені. І неважливо, за кого я чи проти кого.

Рани загоїлися. Лишились на згадку два поцілунки від стріл. У мене є сили. Кров гаряча.

Ти все відчувала. Останнім часом навіть не благала мене лишитися. Змирилася. Мовчки цілувала мені руки і плакала. Вирішив, що піду у дощ, як і прийшов.

Чекав дощу. І дощ хлянув.

— Я мушу йти.

Ти не відповіла, зробила вигляд, що не почула моїх слів.

— Доки я тут, я не пам'ятаю себе. Але я знаю, що я воїн, а воїну потрібна війна. І сила.

Ти підійшла і торкнулася губами мого обличчя. Я відчував, як необхідно тебе вбити. Щоб піти.

— Ти вб'єш мене?! — прочитала мої думки.

— Так...

— Тому що я відьма?!

Я подивився на тебе. Ти пам'ятала мене слабким, і тому була так впевнена у собі. А ще ти бачила мої сльози. А воїн, який плаче, не воїн.

— Багато хто знає в мені воїна...

— Послухай! — ти перервала мене, впевнена відьма! — можеш залишитися у мене назавжди! Я зроблю так, що ніяка війна не торкнеться тебе!

Ти не розуміла мене! За це я тебе ненавидів. Тримала мене за руки: так благати могла тільки відьма. Відьма!

— По-моєму, ти просто боїшся! — засміялася. — Боїшся мене!

Мої очі налилися кров'ю.

— Не дивись так на мене!

Дивишся.

— Не дивись так!

Дивишся.

Я вдарив тебе. Одним ударом я тебе вбив. Тобі навіть не було боляче.

Ти впала на спину. Я почекав, доки ти встанеш, але ти не вставала. Сів коло тебе і заплакав.

І тільки зараз я зрозумів усе, що трапилося зі мною. Це був жарт, жарт Диявола. Це він підстрелив мене, звів з тобою. Тільки він прорахувався, ти ж бо справді закохалася у мене. А я?! Я втратив самого себе. Я програв собі. А воїн, який плаче, не воїн.

Я подивився на тебе. Мертву. Вродливу. І злякався. Тебе.

У відчинене вікно залізла смерть. Не промовила ані слова. Взяла твою руку і потягнула, як здобич, за собою. По землі. Твої очі дивилися в стелю.

Мені стало неприємно.

— Зачекай! — крикнув я смерті.

Та зупинилася і взяла руку в зуби.

— Зачекай! Так некрасиво...

Я нахилився до тебе і долонею закрив холодні повіки.

— Не дивись так, — прошепотів, — не дивись...



Валерий КУЗНЕЦОВ

Уманское утро

Поезд из Киева в Умань шел полночи. Полночи, пропитанной запахом грязных носок и портянок, храпом и сивухой. Утром интеллигенты чистили в поездном сортире зубы, стараясь не глядеть на заблеванный унитаз. Вентиляция была только в тамбуре вагона, и то при открытой двери, так что на поворотах меня обдавало дымом и сажей. Я ехал в Умань заделывать в местном театре пять цирковых представлений. И хотя я был не администратором, а рядовым акробатом (работал номер "акробаты-эксцентрики"), директор сказал мне: "Хочешь жрать, езжай в Умань и делай концерты". Он сунул мне рулон афиш. Я расписался за пачки билетов, получив несколько рублей. Отбыл на вокзал. Когда я сел в поезд, то обнаружил, что денег хватило только на билет, и то сидячий, так что я простоял в тамбуре всю дорогу.

По-прежнему уважая голодный желудок грушами, я ходил по городу, размышляя, где кинуть уставшие кости.

Неподалеку от знаменитого парка наблюдалось столпотворение, шум и передвижение всяческих агрегатов. Это была киносъемка. И когда я узнал от мальчишек, что киношники из Одессы, сразу двинул к ним, потому что нет двух одесситов, которые не знали бы друг друга, или хотя бы общих знакомств не было бы.

И действительно, в толпе снующих людей — операторов, рабочих и прочей киношной братии — мелькнула знакомая фигура.

С этим парнем я незадолго до описываемых событий кочегарил на одесской киновухе, так называют старые одесситы киностудию. Он был сухопарый, высокого роста, фигурой похож на павиана. Из всей своей сознательной жизни большую часть он провел по тюрьмам и зонам. Это была колоритная фигура: грудь порезана крест-накрест, нога порезана при попытке к бегству, зубы выбиты сержантским сапогом. Когда он валялся раненный, сержант от злости, что не добил зека, двинул его сапогом по лицу, оставив на всю жизнь мучиться протезами. Хотя его лагерная кликуха была Пантера, я прозвал его Бесхвостый Павиан. Потому что у него была какая-то плоская фигура, без задницы.

В кочегарке, где мы сдружились, он учил меня лагерным песням и особому блатному бою на гитаре. Например: вешал на шею кучу ниток с привязанными иголками, иголки касались струн и пронзительно дребезжали, когда он пятаком вместо медиатора отбивал по струнам ритм.

Я, в свою очередь, показывал ему аккорды и корректировал их последовательность.

Звали его Виля.

Мы очень сдружились с ним. Виля намного старше меня, познал всю несправедливость и жестокость, голод и холод лагерных зон, и поэтому особенно ценил радости жизни. К одной из этих радостей он приобщил меня. Однажды Пантера пришел в кочегарку, и когда мы сели пообедать, достал несколько плиток шоколада. Я очень удивился. Обычно он вынимал из кармана чекушку или, в лучшем случае, пол-литра. Иногда к нашей немудреной закуске он приносил котлеты. Потом, когда мы закусывали, признавался, что по старой лагерной привычке не прошел мимо задавленного машиной пса. Ободрав, перемолов на машинке, сделал отменные котлеты.

После этого мы осторожно принимали его приношения, долго обнюхивая и расспрашивая, откуда. Шоколад страшно нас удивил, и я подумал, что неспроста он так разорился. Виля достал из кармана кусочек чего-то, завернутый в грязный газетный лоскут, и, положив его на ладонь, широкую, как лопата, осторожно развернул. На грязной газетной бумаге лежал кусочек чего-то, похожего на грязно-зеленую глину. Он осторожно поднял ладонь к хищным ноздрям и глубоко с наслаждением втянул запах в раздувшиеся ноздри, а затем поднес поочередно к нашим носам. Пахло землей и конским навозом. Потом, вынув папиросу, выдул из нее табак. Отломив кусочек вещества, положив в табак, долго перемешивал и мял смесь, и приставив мундштук к желтому ногтю, припрессовал смесь в папиросу, превратив беломорку в обычную папиросу. Обмочив кончиком языка края спички, зажег ее, поднес к папиросе и с наслаждением затянул. Он затягивался не как обычно, а как пылесос, втягивая дым в самые заветные уголки легких. Зрачки его расширились, он прищурился и протянул мне папиросу. Я сделал то же самое. Он одобрительно кивнул и протянул моему товарищу и напарнику по смене. Тот отрицательно покачал головой.

Потом он разломал плитку шоколада и протянул кусок мне. Моему товарищу он отказал, заявив, что шоколад кушает тот, кто курит. Потом я лежал на нарах, в глазах мелькали желто-красные полотнища, в ушах звучала торжественная музыка, во рту было сладко, внутри что-то приятно. Через некоторое время все прошло. Голова была пуста, тело ощущало легкую слабость. Я пристрастился с Вилькиной легкой руки к этой глине, которую воры называли "план", а обычные фраера — "анаша".

Мы встретились. Виля был мне рад не меньше, чем я ему. Представив меня всей съемочной группе, он отпросился у режиссера и отвел меня на квартиру, где уложил в постель, предварительно скормив 300 грамм водки и кусок сала.

Я проснулся в следующее утро, сияющее желтизной и зеленью.

Мы с Вилей выпили по кружке крутого обрата и отправились на вокзал встречать труппу.

Виля был уже не просто Виля, а главный квартирмейстер киевского цирка. Он галантно встречал на перроне артистов и развозил их по квартирам, снимая с каждого мзду и массу комплиментов. Вечером мы собрались у Вили на квартире. Мы — это мой постоянный партнер по номеру Женя Еремин, лилипут Боря и коллега по программе Рудик Муллер.

О них, о каждом, отдельно.

Начну с Рудика. Знакомство наше началось со звонка в мамину квартиру, где он объявился с таким видом, как будто проживал там всю жизнь и всех знал поименно. Был в зеленых брюках. Брюки были женские. Дело в том, что в те годы женщины только начали носить брюки, и у них был особый покрой. В тазу — широко, в щиколотках — узко. Поэтому вид у Рудика был экзотичный. Плюс великолепная черная шевелюра и сросшиеся у переносицы брови. Он зашел ко мне в комнату, обнял меня, заявив, что только что из Москвы, из ГУЦИ, передал привет от знакомых студентов, и на мой вопрос "Что ты работаешь?", став в стойку на две руки, потихоньку перешел на одну. Мне этой рекомендации было достаточно.

Остановился Рудик у тети Доры, которую знала все Тираспольская площадь. Она торговала пирожками с бутером на трамвайной остановке 15 номера. Ей сначала понравилось, что ее двоюродный племянник — артист из Москвы, как она говорила всем соседям и знакомым. Потом, по прошествии некоторого времени, Дора увидела, что племянник ничего не собирается делать, а только стоит на руках и поедает огромное количество пирожков, приготовленных на продажу. Она переменила тон и стала гнать бедолагу на улицу. Он частенько ночевал у меня. Характера Рудик был благодушного, все невзгоды переносил безропотно. Часто стирал свои зеленые штаны и кофту, которые тетя Дора подарила ему по приезде в Одессу.

За бутылку Рудик сходил на руках по Потемкинской лестнице, собирая толпы любопытных бездельников, которых в Одессе было пруд пруди. Или на перилах балкона, где-нибудь на четвертом или шестом этаже выжимал стойку на руках, вызывая вокруг охи слабонервных дворничек. За ним охотился военкомат, пора было на военную службу, но свободолю-

бивый Рудик говорил: "Я от мамы ушел, я от папы ушел, я от Доры ушел, и от армии уйду".

Обменяв Дорины часы на реквизит у одного незадачливого эквилибриста и пообещав Доре за эти часы золотые горы, он поехал работать в мою программу, номер "эквилибр".

Впоследствии его все-таки военкомат разыскал и отправил служить в пехоту, где свободолюбивый Рудик Муллер повесился.

На следующий день, в зелено-желтое изумительное уманское утро, вся вышеперечисленная компания во главе с длинным сухопарым Вилей топала по направлению к знаменитому парку Софиевке, чтоб выпить, как говорил мой любимый Бабель, рюмку водки и дать кому-нибудь по морде... За Вилькой, с авоськой, полной бутылок и немудреной закуси, весело ухмыляясь, шел Рудик, я с партнером, который нес лилипута Борьку на плечах. Был Борька настолько мал и коротконог, что не мог одолеть несколько кварталов. Одет он был в детский матросский костюм и сидел на плечах у моего партнера Жени Еремина, как на породистой лошади, время от времени прикладываясь к бутылке пива и вызывая недоумение и недовольство прохожих.

Когда мы заходили в магазин, Женя ставил его на прилавок, и Борька громко требовал водки, протягивая деньги. Любимое занятие лилипута было забраться под юбку проходящей молодки и хватать ее за непотребные места. Ошарашенная женщина вытаскивала его из-под юбки, крича: "Мальчик, что тебе надо?!" — на что хам Борька громко заявлял, что ему надо. За это Борька частенько попадал в участок, и когда в продолжительной беседе участковый узнавал, что Борька лишен сексуальных радостей и делает это от обиды и злости, как правило, отпускал его восвояси, предварительно попугав тюрьмой.

...Как-то, приехав в Одессу в очередной ВП (вынужденный простой), я очутился в школе, в восьмом классе. Сестра моего друга, попеняв мне за безделье и неграмотность, предложила пойти учиться. Меня как великовозрастного приняли в восьмой, а потом перевели в девятый класс. Это случилось в тот год, когда объединили женские школы с мужскими. Причем если младшие классы половинились особами обоих полов, то в старших так не получалось. И я оказался в женском классе единственным мужчиной. Девочки таинственно перешептывались и перемалчивались, поглядывая на меня. Учителя охлаждали их пыл, частенько покрикивая

и конфузя их. Я, откровенно, чувствовал себя не в своей тарелке, и поэтому обрадовался, когда появился новый ученик — мальчик, с которым я сразу подружился, хотя он был несколько младше меня.

На новогодние праздники классная руководительница попросила меня принять участие в самодеятельности класса, и Женя впервые увидел акробатику, гимнастику в моем исполнении и увлекся цирком на всю жизнь. Он ходил вместе со мной на репетиции и в скором времени превзошел меня. Маленький, коренастый, ловкий, как кошка, он вскоре превратился в прекрасного акробата и стал моим постоянным партнером. Я получил приглашение на летние гастроли, и мы с ним выехали в Киев.

Там нас присмотрела худкомиссия, и председатель, старый цирковой артист — буффонарный клоун Таити, которого все артисты любовно называли Тин Тиныч, погладил Женю по густой шевелюре, благословив его на всю акробатическую жизнь.

Еремин стал прекраснейшим артистом и долгое время работал со мной. Потом, как бывает в цирке, мы женились и разошлись. Не все у него удачно складывалось. Умер первый ребенок, не везло с партнерами. Он стал прикладываться к бутылке. Потом я узнал, что, бросив все, Женя уехал в Иркутскую область, где работал в лесу смолокуром. Его нашли при очередном обходе с ножом в спине. Борька лилипут, его неизменный соратник по хохмам и подначкам, тоже вскоре спился и уехал в свою деревню, где сгорел от самогона...

А пока мы, чуть пьяненькие и веселые, смеясь, тащили на плечах Борьку и шли в Софиевский парк на пикник.

Вот он, пикник со слезами на глазах. Сначала Вилька вытащил кусок мускатного ореха и с загадочным видом разминал его между пальцами, заряжал в беломорину. Потом мы, выпив прилично, всасывали эту гадость в легкие. В голове немного помутилось, и Вилька взял гитару. "А не кури, голова плановая, а не кури, не кури корешок. А дома плачут, нотации читают, а на кого стал похожий мой сынок", — уныло завывал Вилька, елозя пятаком по струнам. Голова кружилась, Рудик молча глупо улыбался, а лилипут Борька колотил кудлатого Женьку жестяной кружкой по голове. Волшебное место, которое мы выбрали для пирушки, стало напоминать мне выгребную яму. Все вокруг приняло серый дальтонический вид. На душе стало муторно. И только одна мысль крутилась в голове: как я вечером буду работать концерт в таком состоянии? Я оставил компанию и побрел к ближайшему пруду. Раздевшись, вошел в прохладную воду.

Я вырос возле моря и всегда искал душевного, да и физического спокойствия у воды. И хотя это было не море, я все-таки немного пришел в себя и вылез из воды на берег. Оглядываясь и не видя никого, я снял трусы и стал выжимать их. Ветерок ласково обвевал тело прохладной струей, а солнце пригревало мою уставшую душу.

Вдруг я почувствовал чей-то взгляд. Круто обернувшись, я увидел девочку, которая с откровенным любопытством тупо глядела на меня. "Что уставилась? — крикнул я. — Голых мужиков не видела?" — "Видела, — с ухмылкой ответила она. — Только вот такого красавца впервые".

Я быстро натянул одежду и вылез на обрыв, где она стояла. Пьяная муть не совсем улеглась. И я, бесцеремонно обняв ее за плечи, хрипло спросил: "Что ты тут делаешь?" — "А, яблок пришла нарвать бабке", — ответила она, доверчиво не отстраняясь от меня. "Идем, помогу", — вызвался я, и мы пошли вдоль обрыва к яблоням, росшим недалеко от пруда. Я трусил ветки, а она собирала плоды в холщовую торбу. Потом, обнявшись, мы побрели в яблоневую рощу. Мы ни о чем не говорили, просто шли, прижавшись друг к другу. Я ощущал под легким ситцевым платьем упругое доверчивое девичье тело. Краски лета ярко били в глаза. Она не сопротивлялась моим объятиям, поминутно взглядывая в мои глаза. Блаженство охватило меня. Ноги вдруг ослабли, и я присел на траву, увлекая ее за собой. Она положила голову мне на плечо и, вынув большое зеленое яблоко, протянула мне.

Вдруг за спиной раздался сдавленный смешок. Мы обернулись. Сзади стоял Рудик и, похотливо улыбаясь, заявил: "Дашь нам двоим". Мы быстро поднялись и пошли в сторону города. Все очарование случайной встречи, близости, померкло. За нами плелась вся компания, похотливо похохатывая. Мне стало омерзительно, и я, крикнув им, чтобы они оставили ее в покое, повернулся и пошел обратно к пруду, к воде. Она побежала за мной, что-то бормоча и хватая меня за руки.

Мы сели на краю обрыва, а рядом примостился Рудик, глупо ухмыляясь. Он ей говорил: "Дам полтинник, если дашь двоим". Она зажала уши руками. Я опять поднялся и пошел в сторону. И в это время Рудик, разозлившись на несговорчивость девчонки, схватил ее за руку и швырнул с обрыва в реку. Обрыв был невысокий. И она, скатившись боком, плюхнулась, как узел тряпок, в пруд. Там было мелко (вода доходила до пояса), она села на дно и тихо заплакала, вытирая лицо голыми по локоть руками. Волосы распластались и закрыли ей лицо. Она плакала тихо, подвывая и что-то бормоча. А когда лилипут Борька со злобным смешком

подскочил и высыпал сверху яблоки из торбы ей на голову, она сначала оцепенела, а потом вдруг громко зарыдала. Туман застлал мне глаза кровавым маревом, я кинулся на Рудика. Он смотрел на меня с недоуменной улыбкой. Я ударил его кулаком по лицу. Потом еще. Кто-то сзади обхватил меня за руки, и град ударов обрушился на меня. Даже лилипут, подскакивая, пытался пнуть меня ногой.

Когда я очнулся, не было ни девочки, ни компании. Я смыл в пруду кровь с лица, и опять вода успокоила меня. Потом пошел на вокзал, сел в одесский поезд и уехал домой.



* * *

Звезда морей — из серого песчаника
часовенка над горечью морской —
изгнанника укрыть, утешить странника,
скитальцу и страдальцу дать покой.
Но там, вдали, над черными проливами,
над лежбищем погибших кораблей,
над ржавыми, пустыми, молчаливыми,
она еще горит, звезда морей.
Она летит над стылыми фиордами,
над островами ледяных полей,
над временем, когда мы были гордыми,
над беспощадной юностью моей.
И в поздний час прощального безмолвия
она одна проводит нас домой
над темными сомкнувшимися волнами —
уже не за кормой, а над кормой.
Подводные холодные течения,
забвения последняя печать.
Нам никогда не вымолить прощения.
Нас в этом море некому прощать.

Сидней



Стансы времени

Посмертная слава при жизни,
концертный костюм ледяной.
Всем телом прижаться к отчизне
усталой кремлевской стеной.

Узбек ли кричит на молитве,
калмык ли справляет нужду —
холодное лезвие бритвы
остудит былую вражду.

Кого не признает эпоха,
того не заметит патруль.
Везде одинаково плохо —
на солнце стоять, на ветру ль.

Гремит огнедышащий полдень,
зияет глубокая ночь,
и нет ни тригорских, ни болдин,
и гений не сможет помочь.

Не будет ни мира, ни хлеба,
войну напророчит спирит.
Горячее смуглое небо
над городом вечным парит,

и брат ополчится на брата,
и нервы натянут струной.
Холодное небо разврата
висит над великой страной.

Молчит потрясенный оракул,
весталки бормочут во сне.
И сотни проснувшихся дракул
довольными будут вполне.

И наша Россия не наша,
и спят в золоченых гробах
Знакомая Чехова, Маша,
и бедный барон Тузенбах.



Сквозь кружево пауз и реплик
Григорий уходит в туман,
за пулю хватается Треплев,
Шарлотта стучит в барабан.

...Дымится вдали синагога,
и в холоде страшных равнин
еврей уповает на Бога
и верит в судьбу славянин.

Поклонимся вечной отчизне.
Натянуто время струной.
Посмертная слава при жизни,
последний костер ледяной...

Предисловие к путешествию

В царстве теней, в этом обществе строгом...
В. В.

Там тебя ждут не дождутся
толпы друзей.
Только не надо дуться —
просто глазей.

Там увидишь кого-то,
кого здесь потерял.
Их не терзает забота —
не тот матерьял.

Они пролетают сквозь время, —
их не догнать.
(Ножку вдень в серебристое стремя,
небесных коней погладь.)

Холодно там, наверно, и пусто,
там — никого...
Хочешь — читай Марселя Пруста,
хочешь — аббата Прево.

Никто не скажет: "Захлопни книгу.
Лучше иди погуляй..."
Там уже не затеешь интригу —
в ад идти или в рай.

И никакого тебе дизайна,
и вряд ли будет жилье.
У входа надпись "Jedem zeine!" —
каждому свое.

Там тишина, бестелесность, духи
тех, что ушли давно.
Несутся по небу небесные слухи
о том, что нам знать не дано.

...Хорошо, если увижу маму
и если мелькнет отец...
Там разрешится небесная драма
наших душ и сердец.

А коротать придется Вечность
среди млечных путей.
Ангелы... Звезды... Миры... Бесконечность...
Царство детей...

Но это — если ты чист и безгрешен
и порхаешь, как легкий снежок...
А что если скажут: "Ты взвешен —
и найден легким, дружок"?..

Тогда и завертишься на сковородке,
подставляя грудь и бока.

Трое возлюбленных — в одной лодке,
и так — на века.

Впрочем, еще ничего неизвестно,
что там произойдет...
Все будет стерильно, все будет честно
и Суд, как всегда, грядет.

Наступит рассвет, осторожный, хилый,
и скажет последний смерд:
"Господи Боже, дай мне силы,
к грешнику будь милосерд!"

...Сказал мне раввин: "Когда вечность очнется, —
запомните это навек! —
только тогда все и начнется,
молодой человек!"

(Там проплывут знакомые тени —
Иосиф, Блок, Пастернак...
Промчится век, пройдет неврастеник —
гений и просто дурак.)

В царстве теней, в этом обществе строгом,
моя любимая мать.
Господи, только маму не трогай
и дай отца повидать.

В царстве теней блеснет астероид,
идут проливные дожди.
И пока эти ливни твой грех не омоют,
будь терпелив и жди!

Так что не надо заранее дуться,
просто стой и глазей.
И помни: там тебя ждут не дождутся
толпы твоих друзей.

* * *

Страх и трепет у ворот,
снова жизнь кого-то треплет...
Время движется — и вот
наступают страх и трепет.

Входит в гости Киркегор,
жизнь опять кого-то мучит...
Нерадивый Пифагор
неуд свой опять получит.

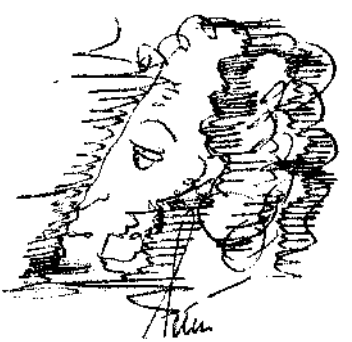
Видно, жизнь не удалась...
Стыдно слушать этот лепет.
Неужели снова в класс,
снова в школу, в страх и в трепет?..

Стансы-2

Анатолию Гланцу

Корнеплоды и заводы,
сизый муравей,
Мы с тобой одной породы,
брат мой, соловей.

Сухофрукты и продукты
тонут вдалеке.
И плывут барахты с бухты
по родной реке.



Гарнитуры и амуры...
Лавры старика...
Белокурые профуры
смотрят свысока.

Пионэры и эсеры,
прадед и кадет —
каждый, кто из СССРа,
празднично раздет.

Огнедышащие волки,
мокрая трава...
Дует в поле ветер колкий,
гнутся дерева.



Дирижабли и скрижабли,
в небе человек...
На одни и те же грабли
наступает век.

На таинственные книги —
Кафка, Элиот —
сквозь тяжелые вериги
смотрит идиот.

Будет жертва, будет клятва,
жатва и жратва...
За базар ответит завтра
глупая братва.

Потому и смотрит косо
неподкупный вождь,
что родные абрикосы
поливает дождь.

Потому и верит ветер
в сонные пруды,
что одни на белом свете
живы — я и ты...

Потому и смотрит грозно
месяц из-за крыш,
что молиться Богу поздно
там, где ты стоишь.

Одесса. Экологический этюд

Это одесское лето, одесское гетто,
толпа озаренных придурков,
это влажная завязь травы и речи,
морской соли и сырого тумана,
косноязычие одесских долгожителей,
подвеянных поэтов, тихих задумчивых сумасшедших,
хитрых шахматистов и расчетливых утренних философов...

Это утренний кефир и полдневное солнце
над горячим от жизни Привозом,
Молдаванка с покосившимися улицами
и древними, подмытыми артезианскими и фекальными
водами, дворами,
где долго не гаснут закаты,
и на бледные лица слепых кариатид
ложится к ночи теплая бессмертная одесская пыль...

Сладкий дым и смог загазованных пляжей,
Златы Пяски еще не загаженной Дофиновки,
свежие жабры бычков-гладиаторов,
борющихся с тяжким воздухом моей отчизны,
моего любимого греческого полиса,
моей старушки Пальмиры...

Восхитительный запах дерьма и отечества!
Где сливочный ампир и классическое барокко,
цветной торт лепных карнизов
и ломкий бисквит известняка,
дворовые сортиры,
дождик на станции Сортировочной,
мокрые рельсы и тоска переездов.

Где по утрам над Отрадой встает высокое свежее море,
которое пахнет степью и неубитой рыбой...
Где не слабеет целебный запашок водорослей и йода,

и в августе на скалах крепчает зловоние мидий,
черной и жирной морской травы...
Это — память о временах, когда под Одессой, как под сердцем,
ходило большое свежее море,
и в турецком чаду кофеен
подымался над Ланжероном
жертвенный шашлычный дым...

К распаду Союза

Но синий декабрьский денек,
но нежность оттуда,
где горем залитый белок
горяч, как Иуда.

Покуда чеканят гроши
над гробом событий,
играют в лапту латыши
в предгорье наитий.

Пока голубеет река
в тазу, как в лазури,
играет поллитрой рука
в предчувствии бури.

Весна

...А утром во дворе так тихо лопнет лед,
и сыростью ночной подует из сортира,
с окрестных гор и ледяных болот,
из плодоовощной квартиры.

Там грезит о тепле холодный зябкий парк,
налитый молоком тумана,
там детское евангелие Марк
читает людям без обмана.

Пускает в небеса свой аленький кораблик
мой грач двоюродный, троюродный мой зяблик.

Не знаю почему, но в сумерках рассвета
таится ослепительное лето.
И тает лед, и ветка голодает,
и месяц тонкий над землей летает...

И город всхлипнет вдруг, и ослабеет холод,
и скажет мне мой друг, что я красив и молод.

Кругом такая ночь!.. Расслабленная речь,
задумчивая дочь, затопленная печь...

И звезды смотрят вниз в предощущенье чуда,
и неземная речь летит оттуда.

На отлете

Мне кажется: на теплых камнях города
лежит моя голова.
Она осталась здесь...
Дышит, смотрит в листву, грезит —
послевоенным летом, детством,
клекотом свежей воды из-под крана,
югом, мокрой галькой моря,
облаками над Хаджибеем,
книгами юности,
нашими надеждами, музыкой, —
отшелушившейся молодостью...

Теперь я вижу себя,
бегущего в лабиринте дворов
отощавшей гончей,
с исхудалым лицом педагога,
уже почти безумным...
Нынче все позади,
но это во мне.

Я долго смотрю на месяц.
Месяц тонкий, слезящийся...
Кругом ночь, крыши, туман.
Блестит мостовая... Никого.
Я не выдерживаю —
и поднимаюсь к звездам...

Россия. Метеосводка (прогноз погоды)

О первый летний дождь!
Шумит, благоухает...
Уж травам невтерпеж,
и небо набухает.

Хлеба уже мокры,
и влажен куст сирени.
О, трепетанье крыл!
О, грозы озарений!

Всем ливнем двор порос.
Гром в подворотни рухнет.
И молния угроз
то вспыхнет, то потухнет.

Как этот шквал рисков!
Там град созрел и вызрел.
Дожди пойдут на Псков
и повернут на Сызрань.

Пожарами грозя,
весь мир кипит от ветра.
Как жалко, что нельзя
перекрестить язя
и отмолить осетра!

За Волгой дождь следит,
вода под ливнем пляшет...
И сельдь во тьме кипит,
и гусь крылами машет.

У ливня есть фантом —
из вод выходят реки.
Под проливным зонтом
гуляют человеки.

Разбух от ливней плот,
трещит небесный кокон...
На нерест рыба прет,
и тяжелеет окунь.

Уже трава горчит,
в восторге утка крячет...
И гром еще ворчит,
и страх свой рыба прячет.

Безмолвствуют леса,
и речка без призора...
Наивно в небеса
уже глядят озера.

Как в закрома, в чердак
засыпан дождик крупный.
На даче Пастернак
окучивает клубни.

Уже восходит зябь,
и дни грозят Мессией...
Уже разверзлась хлябь
над сумрачной Россией.

Но паутинки нить
дрожала осторожно.
Уже нельзя казнить,
лишь миловать возможно.

Весна опять

...Но в доме сумерки, и в окнах тьма и свет,
и ливень топчется в передней,
и кошка ластится, и потускнел паркет,
и вечер тянется, не первый, не последний.

Неосторожные, без глаз, бредут коты
по крышам маленьким и острым.
Серп смотрит пристально на город с высоты:
кто в эту ночь был тайно к нам подослан?

Там хвоей вздернутая лагерная высь
играет в прятки с небесами.
Дни Словом схвачены. Там духи собрались.

Жизнь, не затравленная псами,
течет, безгласная. Где голубеет дол,
и в городах светло и пусто, —
весна торопится, поэты пишут в стол,
и дорожают зелень и капуста.

Время года — апрель

Печальные дети отпетой зимы!..
Страна многолюдна, и люди в истоме.
Там дети Гоморры играют в Содоме...
О, только б спастись от сумы да тюрьмы!

Гоните их в шею! Чеканьте мосты!
Оставьте в покое монеты и флаги...
Сверкнут ятаганы в турецкой отваге,
и в детской молитве раскроются рты.

Прощай, Андалузия! Лето, прощай!
Зима наступает на горло предметам,
и солнце китайское смотрит при этом
так косо, как будто летает праща

по улицам... Статуи стынут в метро,
деревья роняют остатки обедов,
и ветер пирует на кортах соседа,
и мальчики спят, улыбаясь хитро...

Гуляет весна. Городской Капабланка
обыгрывал в шахматы местную власть.
Вороны кричали надсадно и всласть,
и в небе дрожала спортивная планка.

...Крошится апрельский обеденный мел.
Все школы объяты распутством и ленью.
Проклюнулась травка. И маленький Ленин
еще не родился, еще не успел...



Литография (Голландия, 17 век)

Зверь таится, дышит птица,
Привидения растений.
Их немая тень таится.
Смотрит филин-неврастеник;
Вкруг замшелого болота
Колобродит мсутный кто-то.
Утаился кот лесной.
Еле видим за сосной,
Вжался в мох, лежит и слышит
Чьей-то жизни норный трепет,
И душа летит все выше,
И луну за аверс треплет.

Эти шорохи и скрипы
Вчуже страннице в бауте,
Приумолкшей среди кипы
Лиственной до той минуты,
Когда взор она настроит,
Как бинокль, на луну...
С трех сторон сойдутся Трое —
Духи Вечного покоя
И — глаза в глаза — пальнут
Темно-синим и лиловым,
И бордовым... Лес молчит,
Филин не промолвит слова,
К смерти подобрав ключи.

Сочельник

Сочельник. Иноземная поземка,
С газетами и кошками вприпрыжку,
Поет свое, протяжно и негромко,
Что сторож-идиот, хлебнувши лишку.
Лилов отвес фаянсовых небес.

Свяченая вода в водопроводе
Внушает недоверие к природе
Недо-чудес или пере-чудес.
В намоленных потемках храма вы
Все думаете: "Братие-христиане,
Что просите вы вечно, хоть по пьяне,
Хоть по трезвяне, всюду таковы?".
Молва, свиваясь, уползла в молитву.
Там, горнее и дольнее смешав,
Сопит остолбеневшая душа,
Проигрывая вновь за битвой битву.
И поделом. В бездарности своей,
В безадресности этой изначальной,
Она не стоит песенки печальной
(За окнами орудует борей
И бьется головой о шест причальный),
Печальной песенки... А ну, налей!
Попьем-ка менделеевой водицы,
За упокой свершенных нами благ,
Во здравье дней грехущих вскинем флаг,
Да и пойдем в жилкоповке топиться.

Пятерчатка ко сну

Е. Ж.

1

...Запутанность не то чтобы судьбы,
Но и статей бюджета государства,
В котором жить все больше не хочу!

"Я тут хотел немножечко подкрасть", —
Правитель молвил, а народ, народ-то,
Скосивши рот и глаз на справедливость,
Орет ему: "Поймаю — оторву!".
Поймать, положим, не поймал, но — мог.
Просто отвлекся временно на Запад
И, поглощенный Западом, — отвлекся.

А у меня — узлы и кренделя
Судьбы, столь схожие с прической первой
В стране мадам (такая Леди Ди
Для помраченных тем, что есть, старушек
И одиноких бизнесменов тож),
Судьбы, висящей, словно на крючке, —
Многокарманный плащ — на краешке того
Ущербного поделочного месяца:
С такой судьбой ни выпить, ни заснуть.

2

Когда туман сгущается до спазмов
В гортани подворотни, вот тогда
(Вокруг ни зги и множества миазмов
Заразы, что гудят, как провода),
Тогда выходят маги и спириты,
Все угольные вывернув углы...
Я слышу их, как пение юлы,
Как мухи зов во рту твоем открытом...
Убоги хоть, но — маги и спириты!

3

Вернемся-тко к судьбе вне Государства
(Она, как Церковь — вне, как самогуб —
погоста вне: кто — плюнет, кто — заплачет...).
И ежели ее что сгубит, то —
Как кошку — любопытство: варианты,
Возможности сей звонкий чистоган
Коли и разменять, так — подороже.
Не гнить же, право слово, задарма!
По существу, меняться поздновато
И незачем... Дай Бог, чтоб те, кто любят,
Шли рядом, в такт; а то — бегут навстречу,
Из-за чего лишь грохот и таран.
Но, видно, чтоб пойти навстречу, надо
Им забежать вперед и — я-то знаю —
Им это тяжко, ибо сам я — скороход,
И крейсерская скорость велика...

Ну, словом, не нужны нам катастрофы:
Горючее слезливо подтекает
(Сейчас рванет!), фигурные обломки
Намерений благих и там, и сям;
И служба чрезвычайных ситуаций
В лице крылатых, гневных и прозрачных,
Скрестивши крылья, думает — как быть:
Разруха велика, но поправима.

Мезальянс

Трибады, окончив обед, прилегли — настало время сиесты.
Зрачок коньяка загорелся в случайном луче
Осеннего солнца; салфетка — что платье невесты,
И рядом маслина на палочке — что голова на мече.

Гранулы винограда, яблок округлое "я",
Обиженное вино, к которому не прикасались...
Одна размаяно курит, другая, как пария,
Места себе не найдет, от взглядов подруги спасаясь

То бегством в беседу, которой развития нет,
То в робких прикосновеньях, которым нет ходу...
Ступают осенне и тихо часы по стене,
По кругу, понуро, как ослик бредет в непогоду.

Размолвка, которой не было столько лет,
Теперь неизбежна, но и желанна, зане
Это — по сути — был их последний обед:
У одной случилась любовь к футболисту. На стороне.

Юрий БЫЧКОВ

Любить пересмешника
Из истории личной жизни А.П. Чехова

Действующие лица:

Чехов Антон Павлович.
Суворин Алексей Сергеевич, *друг Чехова.*
Чехова Мария Павловна, *сестра А.П. Чехова.*
Авилова Лидия Алексеевна | *Молодые*
Мизинова Лидия Стахиевна | *интеллигентные*
Книппер Ольга Леонардовна | *женщины,*
Шаврова Елена Михайловна | *поклонницы Чехова.*

ЧЕХОВ. Глухой, неведомой тайгою, Сибирской дальней стороной Бежал бродяга с Сахалина Звериной узкою тропой...

Наконец я опять сижу у себя за столом. У меня такое хорошее чувство, как будто я никуда не уезжал из дома.

СУВОРИН. Сибирь, Сахалин, это вам не Одесса и не Крым. Бескрайняя Сибирь, неведомый Сахалин, великий океан. Могу только позавидовать. С приездом, милый Антон Павлович!

ЧЕХОВ. Здравствуйте, драгоценный мой! Здоров и благополучен до мозга костей! Хорош божий свет!

Был на Цейлоне, видел... девиц в индусских платьях и темных очках. Толпа голожопых мальчишек сзади. Негр в красной куртке. Девственницы поют что-то дикое, барабан — бу-бу! Однако от Цейлона остались впечатления и более приятного свойства. Проехав по железной дороге 100 верст вглубь страны, я по самое горло насладился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами. Не без гордости признаюсь вам: "Я познал черноглазую индуску... и где же? В кокосовом лесу в лунную ночь". А японки! Т-ц-ц, т-ц-ц, т-ц-ц!!!

Появляется Авилова

СУВОРИН. Как говаривал ваш Платонов: "У людей мировые проблемы, а у меня женщины".

ЧЕХОВ. Хорошенькая!.. (*Подходит к девушке.*) Чехов, Антон Павлович.

АВИЛОВА. Авилова Лидия Алексеевна.

ЧЕХОВ. Сергей Николаевич рассказывал мне о вас. Девица Флора! Значит, пишете?

АВИЛОВА. Пишу... Рассказы.

ЧЕХОВ. Это хорошо! Дайте мне всё, что успели сделать. Прочту, и мы встретимся. В Петербурге я остановился у Суворина. Пришлите за мной нарочного. Кстати, вы будете на представлении моего "Иванова"?

АВИЛОВА. Вряд ли. Трудно достать билет.

ЧЕХОВ. Я вам пришлю, именной. Я таких никогда не видел! Девица Флора! Вы живете здесь, в доме Сергея Николаевича Худякова?

АВИЛОВА (*с вызовом*). Знаете, Антон Павлович, я никакая не девица Флора. Меня Сергей Николаевич так называет за яркий цвет лица и обилие волос. Я замужем. У нас с Мишей свой дом, сын-младенец.

ЧЕХОВ. У вас сын? Младенец?!

АВИЛОВА. Мне пора. (*Уходит.*)

СУВОРИН. Где пропадали, голубчик? Ждали вас к обеду — тщетно. Опять. Наверное, познакомились с хорошенькой?

ЧЕХОВ. Не просто с хорошенькой, а с очень хорошенькой.

СУВОРИН. Пишет рассказы?

ЧЕХОВ. Как водится.

СУВОРИН. Играла в вашем "Медведе"?

ЧЕХОВ. Не спросил...

СУВОРИН. Зря. Если это свояченица издателя "Петербургской газеты" Худякова, то играла.

АВИЛОВА. "Мужчина! Мужчина верен и постоянен в любви! Скажите, какая новость! Да какое вы имеете право говорить мне это? Мужчины верны и постоянны! Коли на то пошло, то я вам скажу, что из всех мужчин, каких только я знала и знаю, самым лучшим был мой покойный муж..."

СУВОРИН (*насмешливо*). Я тому свидетель.

Чехов и Суворин смеются.

МАША. Лика, послушай. Вдруг я получаю от него письмо: "Минуя всякие красивые фразы, я прямо делаю вам предложение быть моей женой. Если и руководит мною в этом деле расчет, то только единственный, иметь жену — близкого мне по духу человека".

ЛИКА. Я действительно прекрасная девушка и по внешности, и по содержанию. Все на меня заглядываются, а природа кроме красоты наградила умом и веселым характером.

ЧЕХОВ (*Суворину*). Опять хорошенькая!

ЛИКА. Я остроумна, ловко умею парировать удары, со мной всегда приятно поговорить, и во мне нет ни тени тщеславия.

ЧЕХОВ. Вы к кому?

ЛИКА. К Маше... Простите, к Марии Павловне...

ЧЕХОВ. Маша! К тебе пришли.

МАША. Антоша, это Лика — моя подруга. Я тебе о ней говорила.

ЛИКА. "Мужчина! Мужчина верен и постоянен в любви! Скажите, какая новость! Да какое вы имеете право говорить мне это? Мужчины верны и постоянны! Коли на то пошло, то я вам скажу, что из всех мужчин, каких только я знала и знаю, самым лучшим был мой покойный муж..."

ЧЕХОВ. Ну да. Маша грозилась: "Вот подождите, приведу хорошенькую девицу!"

Лика запела: "Не пробуждай воспоминаний ушедших дней, ушедших дней..."

ГОЛОС МАШИ. Лика, поднимайся ко мне на второй этаж.

Лика допела и "уплыла" наверх.

ЧЕХОВ. Да это же пава, царь-девица!

ШАВРОВА. Я все время видела его одного, следила за тем, что он делает, где сидит, с кем разговаривает. Мучительно завидовала взрослым людям, которые были возле него. О чем это он разговаривает с ними? Интересно послушать.

ЧЕХОВ. Здравствуйте, барышня! Вы сюда тоже кофе пить. Что же вы на самом солнце? Пожалуйте в тень, здесь прохладнее и ближе к морю. Обеды дрянные: ленивые щи, антрекот, как подошва, компот — цена один рубль.

ШАВРОВА. У него удивительно добрые, немного насмешливые глаза и прелестная улыбка. Мадам Яхненко в его честь устроила грандиозный праздник в Массандре. Приглашены все, все, все! Боже! Как хорошо, как тепло, как радостно от чего-то... Знаете, а я играла в вашем "Медведе"!

ЧЕХОВ. Очень рад! Таким образом знакомство со мной начинает почти каждая барышня.

ШАВРОВА. Но я... я правда... правда играла!.. "Мужчина! Мужчина верен и постоянен в любви! Скажите, какая новость! Да какое вы имеете право говорить мне это? Мужчины верны и постоянны! Коли на то пошло, то я вам скажу, что из всех мужчин, каких только я знала и знаю, самым лучшим был мой покойный муж..."

ЧЕХОВ. Да я верю. К тому же, мы с вами старые знакомые...

ШАВРОВА. Вы шутите?

ЧЕХОВ. Ничуть. Никогда не был таким серьезным, как теперь!

ШАВРОВА. Я ведь тоже...

ЧЕХОВ. Что тоже? Пишете?!

ШАВРОВА. Пишу... Антон Павлович, не сочтите за труд...

ЧЕХОВ. Сочту.

ШАВРОВА. Но об этом никто не должен знать!

ЧЕХОВ. Мы сделаем так... Вы положите рассказ в конверт и завтра рано утром отнесете его в магазин Синани, что на набережной. В полдень я получу ваш рассказ и тотчас прочитаю. Договорились?

СУВОРИН. Антон Павлович, верные люди донесли мне, что видели вас в Одессе, теперь вы сидите в Ялте, а ведь собирались вместе в Тироль, и билет у нас был взят до Вены. Не так ли?

ЧЕХОВ. Так-то оно так, милейший Алексей Сергеич, но от станции Жмеринка я взял несколько в сторону и... попал в Одессу...

СУВОРИН. Что же вас туда потянуло?

ЧЕХОВ. Малый театр... Они гастролировали в Одессе, ну и позвали раба божьего Антония к себе.

СУВОРИН. Вот оно что!

ЧЕХОВ. Там я отдал себя в услужение Глафирочке Пановой.

СУВОРИН. Бывшей балерине Большого, ныне актрисе Малого театра... Очень хорошенькой!

ЧЕХОВ. Скажу по секрету, едва не женился... Проел половину состояния на мороженом (было очень жарко), вследствие чего вынужден был отложить насчет заграницы всякое попечение и отправился в Ялту...

СУВОРИН. Итак, вы удалились в Ялту и, по слухам, много работаете.

ЧЕХОВ. Если бы... У меня тьма знакомых, и оттого я редко остаюсь один. Шляются ко мне студенты, приносят увесистые рукописи. Стихи одолели. Все претенциозно, умно, благородно и... бездарно.

ШАВРОВА. Бездарно?!.

ЧЕХОВ. Ваш рассказ, уважаемая коллега, мне понравился. Надо продолжать. Кое-что я почеркал карандашом, немного изменил конец. Вот ваша рукопись.

ШАВРОВА. Зачем вы ее возвращаете?

ЧЕХОВ. Нарежьте четвертух бумаги, перепишите рассказ заново и опять принесите в магазин Синани.

ШАВРОВА. А потом?

ЧЕХОВ. Потом — все сначала.

ШАВРОВА. Что сначала?

ЧЕХОВ. Все!.. Надо писать и вычеркивать, вычеркивать и снова писать.

ШАВРОВА. Э-э, нет! Я лучше отправлю рассказ "на кладбища".

ЧЕХОВ. Барышня, милая! Вы писать уже не бросите. Это — как волны: одна идет за другой, и остановиться они не могут...

ШАВРОВА. Я понимаю... А вы, Антон Павлович?.. Пишете?.. Сейчас?

ЧЕХОВ. Пишу... "Скучную историю"... Так называется мой новый рассказ.

Шаврова с газетой в руках.

ШАВРОВА. Нет, этого не может быть!.. "Новое время" № 4846 от 26 августа за 1889 год... Рассказ "Софка"...

ЧЕХОВ. Поздравляю.

ШАВРОВА. Спасибо, спасибо, спасибо, Антон Павлович!.. (*Целует Чехова.*) Этим я обязана исключительно вам!.. И хотя я рискую попасть в число современных Татьян, ужасно рада этому! Не смейтесь, пожалуйста. Это, должно быть, глупо и смешно. Но я ужасно рада...

СУВОРИН (*Чехову*). Вы влюблены?

ЧЕХОВ. Есть отчасти. Не жениться ли мне? Нет, уеду врачом на пароходе Добровольческого флота...

Шаврова и Лика, перебивая друг друга, атакуют Чехова.

ШАВРОВА. Многоуважаемый Антон Павлович, что мои рассказы?

ЛИКА. Программа, которую я вам посылаю, годится только для начальной школы.

ШАВРОВА. Что мне про них скажете?

ЛИКА. Достала все, что в настоящее время есть.

ШАВРОВА. Как поживаете и как ваше здоровье? Надеюсь, теперь лучше?

ЛИКА. Как-то вы добрались до Петербурга? Вероятно, уже успели пять раз пообедать, и вообще, отлично проводите время.

ШАВРОВА. А что, если назвать мой "некрещеный" рассказ просто — "Невесты"? Как вы думаете?

ЛИКА. Хандру свою вы для меня оставили в Москве?!

ШАВРОВА. Я все-таки не дерзаю подписываться своей фамилией — заклюют дома. Согласна на псевдоним "Е. Шастунов".

ЛИКА. И если не совсем еще дубина, напишите.

ШАВРОВА. И похоже на настоящее имя, и никто знать не будет.

ЛИКА. Если бы я могла уехать хоть на Алеутские острова, то я тоже была бы "щислива"...

ШАВРОВА. Вообще-то, дела мои плохи, и я не шутя думаю уехать куда-нибудь в Австралию... например.

ЧЕХОВ. Одна на Алеутские острова, другая в Австралию... Куда же мне деваться? Этак вы лучшую часть земли захватите.

ЛИКА. Ответа от вас я, конечно, не жду, потому что я ведь только "думский писец", а вы — известный писатель Чехов.

ШАВРОВА. Благодарю вас за все! Елена Шаврова...

ЧЕХОВ (*Шавровой*). Только что прочел рассказ в корректуре, Елена Михайловна, и паки нахожу, что он очень хорош. Еще год-два, и я не буду сметь прикасаться к вашим рассказам и давать вам советы.

(*Лике.*) Насчет того, что я успел пообедать пять раз, вы ошибаетесь: я пообедал четырнадцать раз. Хандры же, вопреки вашему желанию, в Москве не оставил, а увез с собой в Петербург.

(*Шавровой.*) Побойтесь бога! Что это еще за Шастунов? Помнится, где-то около Триумфальных ворот я видел бакалейную лавочку Шастунова. Впрочем, подписывайтесь, как хотите, но лучше придумать что-нибудь не столь бакалейное.

(*Лике.*) Вам хочется на Алеутские острова? Что же, поезжайте, я достану бесплатные билеты вам и вашему Барцалу или Буцефалу. Да, кстати, как его фамилия?

ЛИКА. Евгений Николаевич Баллас — мой жених. Как не стыдно!

ЧЕХОВ. Я и говорю — Буцефал! Прощайте, злодейка души моей! Неужели вам улыбается актерство?

ЛИКА. Да, улыбается.

ЧЕХОВ. Да если бы у семи из десяти актрис был такой литературный талант...

ЛИКА. Что?

ЧЕХОВ (*к Шавровой*). Как у вас, то они бы побросали сцену и молебен отслужили. Будьте здоровы и благополучны!

ШАВРОВА. Спасибо, Антон Павлович, за добрые слова. Но, право, вы ошибаетесь: какой там талант! Фантазии нет у меня. Иначе я бы давно придумала себе псевдоним. Прошу вас, придумайте мне "литературную кличку". А если нет, то поставьте просто "Е. Ш." Шастунова не надо!

ЛИКА. А меня провожал Левитан. Не обращайте внимания на неровный почерк: пишу в темноте, и притом после того, как меня проводил Левитан! А вас кто провожает? Буцефал велит вам кланяться и сказать, что он вас нисколько не боится, потому что уверен во мне.

ЧЕХОВ. Спешу порадовать вас, милая Ликуся: я купил для вас на 15 копеек бумаги и конвертов. Думаю, эта бумага вполне удовлетворит изысканным вкусам высшего света, к которому принадлежит Левитан и кондуктора конно-железной дороги. Остаюсь преданный вам А. Кислота. Скажите Буцефалу, что я чихаю на его поклон. И если вы назло, с досады выйдете за него замуж, то я тоже назло увезу вас от мужа. Я человек наглый!

СУВОРИН. Голубчик, со мной опять беда.

ЧЕХОВ. Все та же? Бессонница?

СУВОРИН. Совсем не сплю. В голову лезет всякая чушь. Ворочаюсь, до утра не могу заснуть. Хоть бы какая-нибудь Венеция или Аббация приснились — пусть даже Везувий...

ЧЕХОВ. Где мы с вами стояли у самого жерла вулкана и философствовали. Так пусть вместо Везувия вам приснится голая испанка с гитарой!

СУВОРИН. Куда поедем? В Италию? В Париж?

ШАВРОВА. Если бы я была свободна, знаете, куда бы я поехала?

ЧЕХОВ. Куда?

ШАВРОВА. В Африку. В Сахару.

ЧЕХОВ. В пустыню? Должно быть, в этой самой Сахаре жарища — страшное дело!

ШАВРОВА. Да, в Сахару. Там мне будет хорошо — в пустыне...

ЧЕХОВ. Отчего бы вместо Африки в Италию не поехать? Я еду туда с Сувориным.

ШАВРОВА. Ой, если встретите Суворина, порадейте за меня: ужасно нужны деньги. С мамой я поссорилась из-за театральной школы. Она, как и вы, против моей актерской судьбы.

В ресторане, куда Чехов пригласил Шаврову.

ЧЕХОВ. Многоуважаемая Елена Михайловна, начинающим писателям полезно посещать рестораны. Во-первых, их здесь иногда кормят, а во-вторых, только в ресторанах встречаются типы, коих вы никогда не найдете в другом месте. Одинокие люди ходят в бани и рестораны, чтобы разговаривать.

СУВОРИН. Знаете ли вы, отчего закашлялся вон тот молодой человек?

ШАВРОВА. Простудился!

СУВОРИН. Ничего подобного. Увидел хорошенькую и поперхнулся. Потом еще одну — и опять поперхнулся. Так и не ужинал.

ЧЕХОВ. А знаете ли, чем замечательна вон та семья?

ШАВРОВА. Чем же?

ЧЕХОВ. Муж приглашает приятелей к себе на дачу отдохнуть, а жена ночью тайно от него подает им счет и берет плату за квартиру и стол. Жаль, у меня нет жены.

ШАВРОВА. А тот суровый господин, что сидит под пальмой?

ЧЕХОВ. Всю жизнь писал известным людям письма, которые все начинались так: "Ты думаешь, подлец...". Никогда своих писем не подписывал, вот и сидит теперь один. Под пальмой!..

ШАВРОВА. А что вы скажете о той коротко остриженной даме?

ЧЕХОВ. Радикалка.

СУВОРИН. В самом деле?

ЧЕХОВ. Отпетая радикалка, но... Но по ночам тайком крестится, до верху набита предрассудками: услышала как-то, что для того чтобы быть счастливой, надо сварить черного кота...

ШАВРОВА. Какой ужас!..

ЧЕХОВ. Украла кота у дворника и попыталась сварить...

СУВОРИН. И что же? Удалось?..

ЧЕХОВ. Судя по физиономии — нет!

ШАВРОВА. Чем интересен вот этот высокий молодой господин с улыбающимися глазами?

СУВОРИН. Судя по наружности и моим наблюдениям, он не любит седобородых стариков, а любит молоденьких хорошеньких.

ШАВРОВА. А вот та очень серьезная пара?

ЧЕХОВ. Супруги. Как-то ночью, когда не спалось, разговаривали о том, как плоха стала литература и что хорошо бы издать журнал вроде "Нового времени"...

ШАВРОВА. Алексей Сергеевич, а это камень в ваш огород...

ЧЕХОВ. Идея увлекла обоих. "Чехова пригласим?" — спросил он. "Конечно, пригласим! Как можно без него?!"

ШАВРОВА. А еще кого?

ЧЕХОВ. Долго не могли решить. "А Суворина пригласим?"

СУВОРИН. Ни за что!

ШАВРОВА. Почему?

СУВОРИН. Очень скучно пишет!

АВИЛОВА. Я не ожидала вас увидеть здесь.

ЧЕХОВ. А я предвидел встречу: вы — близкая родня Худяковых и литератор, я же приглашен на юбилей как автор "Петербургской газеты". Едва ли не половина моих ранних рассказов напечатаны в ней.

АВИЛОВА. Давайте выберем место. Впрочем, бесполезно. Вас посадят по чину, к сонму светил.

ЧЕХОВ. Хорошо бы устроиться здесь.

ГОЛОС ХУДЯКОВА. А где же Антон Павлович? Антон Павлович, позвольте вас просить.

ЧЕХОВ. Не могу. Дама не позволяет покинуть ее.

АВИЛОВА (*поет*). "Когда порой тебя не вижу, грустна, задумчива сижу".

ЧЕХОВ. А не кажется вам... не кажется вам, что тогда, три года назад, мы не познакомились, а нашли друг друга после долгой разлуки? Мы были молоды. И мы погибли... при кораблекрушении. Мы долго боролись с волнами. Вы держались рукой за мою шею.

АВИЛОВА. Это я от растерянности. Я плавать не умею.

ЧЕХОВ. Я тоже плавать не мастер. По всей вероятности, пошел на дно и увлек вас с собой.

ГОЛОС ХУДЯКОВА. Антон Павлович, ну идите же сюда!

ШАВРОВА. Уважаемый Антон Павлович! Некто Е. Шастунов — из начинающих — решил навестить вас, и вы его не приняли! Ужасно обидное слово "не принимать". За что?..

ЧЕХОВ. Елена Михайловна, я принимаю всех начинающих, продолжающих и даже кончающих авторов. Это мое правило, а ваш визит я почитал за величайшую честь для себя. Но в ту минуту, когда мне подали вашу карточку, я, больной и раздетый, простите бытовые подробности, сидел у себя в спальне. Принять физически было не возможно. Вы обиделись?! Ну, и бог с вами. Неужели до сих пор вы написали только пятнадцать рассказов? Этак вы к пятидесяти годам писать не научитесь. Напишите еще двадцать.

ШАВРОВА. Посылаю рассказ — один из двадцати...

ЧЕХОВ. Вы послушная ученица...

ШАВРОВА. Мама, как и вы, против моей актерской судьбы; ужасно нужны деньги.

ЧЕХОВ. Значит, вы — бедная писательница? Вы можете теперь свое писательство называть "тернистый путь"! Я тоже бедствую. У меня был способ вынырнуть из пучины грошовых забот — жениться на богатой. Увы и ах! Ваше признание опрокинуло мои надежды.

ШАВРОВА. Вы опять шутите!..

ЛИКА. Три года у меня не болело горло, а теперь разболелось так, что ни глотать, ни дышать не могу. При этом и головная боль. В подлой Москве дождь, снег — отвратительно. Я сижу дома и мучаюсь. Вы тронуты тем, что я все-таки пишу вам?

ЧЕХОВ. Лика, лютый мороз на дворе и в моем сердце, а потому и не пишу длинного письма, которое вы хотели получить... Когда же весна? Лика, когда весна? Последний вопрос понимайте буквально и не ищите в нем скрытого смысла. Увы! Я уже старый молодой человек. Любовь моя не солнце и не делает весны ни для меня, ни для той птицы, которую я люблю... Лика. "Нет, не тебя так пылко я люблю!"

ЛИКА (*поет*). "Нет, не тебя так пылко я люблю! Люблю в тебе я прошлые страданья И молодость погибшую мою..."

ЧЕХОВ. Лика! Приезжайте в Мелихово на Страстной.

ЛИКА. Постараюсь на Святой.

ЧЕХОВ. Есть у нас превосходная липовая аллея — Аллея любви, по ней можно гулять. Мы сняли с нее снег и выбросили в пруд. Денег нет. Форточек нет. Отец накурил ладаном. Я навонял скипидаром. Болит голова. Уединения нет. Клопов и тараканов у нас множество. Делаем из них бутерброды и едим.

ЛИКА. И как?

ЧЕХОВ. Вкусно! Снится ли вам Левитан с черными глазами, полными африканской страсти? Обманывайте нас, Лика. Обманывайте. Обман лучше, чем равнодушие... Левитану поклон.

Лика уходит.

ШАВРОВА. Шер мэтр! Я прочла "Попрыгунью"! Москва буквально погрязла в пересудах о том, кого и как вы продернули в этой повести. Во-первых, говорят, что Попрыгунья — Софья Петровна Кувшинникова! Во-вторых, что художник Рябовский — это ваш друг Левитан! В-третьих, что именно таким образом вы отомстили Левитану за его роман с Лидией Стахиевной Мизиновой. Поздравляю!

ЧЕХОВ. Был в Москве и едва не задохнулся там от скуки и гнусных домыслов. Сорокадвухлетняя дама узнала себя в двадцатилетней героине "Попрыгуньи". Меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником.

ШАВРОВА. Согласитесь, совпадение налицо. У Кувшинниковой муж доктор...

ЧЕХОВ. Но ведь мой Дымов погиб, а ее муж жив! И что общего может быть у молодого талантливого ученого с заурядным полицейским врачом?

ШАВРОВА. Злые языки говорят: Софья Петровна живет или жила до недавнего времени с художником... с вашим другом Левитаном.

ЧЕХОВ. Левитан хочет вызвать меня на дуэль... Знаменитый артист Ленский написал убийственное письмо. Вообразил, будто бритый толстый актер на даче — это он. Даже Лика Мизинова рассердилась... А у меня и в мыслях не было сказать про нее что-нибудь обидное!

ЛИКА. Какой же вы дикий человек, Антон Павлович! На что я могла обидеться? Не знаю. Я не обижалась и вообще никогда не обижаюсь. Будем жить мирно и, главное, не будем воображать того, чего нет.

АВИЛОВА. За мою доверчивость так обдать грязью!.. Куда это я готова была бежать с вами от мужа и троих детей?!

ЧЕХОВ. Письмо ваше огорчило меня и поставило в тупик. Что сей сон значит? Мое достоинство не позволяет оправдываться. Убедительно прошу вас, если вы доверяете мне меньше, чем сплетникам, не верьте тому дурному, что говорят о людях у вас в Петербурге. Если нельзя не верить, то уж верьте всему и оптом и в розницу: и моей женитьбе на миллионах, и моим романам с женами моих лучших друзей, и моему намерению выкрасть вас. Живу в деревне. Бросаю снег в пруд и с удовольствием помышляю о своем решении никогда не бывать в Петербурге.

АВИЛОВА. Меня ужасно огорчило ваше решение никогда больше не приезжать в Петербург! Значит, мы никогда не увидимся?!

ЧЕХОВ. Матушка, вы опять надолго исчезли из поля моего зрения...

АВИЛОВА. Почему он называет меня "матушка"? Ах да, — у меня трое детей.

ЛИКА. Мне очень грустно и очень хочется вас увидеть. Пишите мне, голубчик, побольше. Право, это ни к чему не обяжет вас.

ЧЕХОВ. Благородная Лика! Как только вы написали мне, что мои письма ни к чему меня не обязывают, я легко вздохнул, а то боялся, что какая-нибудь тетушка женит меня на таком чудовище, как вы. В вас, Лика, сидит большой крокодил и, в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое вы... укусили. Дальше, дальше отменяя!.. или нет! Нет, Лика, куда ни шло, позвольте моей голове закружиться от ваших духов и помогите мне покрепче затянуть аркан, который вы уже набросили мне на шею!..

ЛИКА. Ах, как бы я хотела, если бы могла, затянуть аркан покрепче!.. Да не по Сеньке шапка!.. Первый раз в жизни мне так не везет... Я очень, очень несчастна. (*Поет.*) "Не шей ты мне, матушка..."

ЧЕХОВ. Милая Лика, жизнь до такой степени пуста, что только чувствуешь, как кусаются мухи, — и больше ничего.

ЛИКА. Вы кому отдали мою фотографию?

ЧЕХОВ. Виноват, виноват. Показал ее крюковскому учителю, он выпросил у меня на время. Время прошло, спрашиваю — он объясняет: "А я отдал ее фабриканту Кочеткову — тот вывесил карточку у себя в гостиной и подписал: "Пава". Какие скоты. Они положительно не имеют уважения к чистоте и невинности.

ЛИКА. Мой портрет можете навсегда оставить у фабриканта, там его место. Крюковский учитель, кстати сказать, совершенно справедливо не видит невинности там, где ее нет.

ЧЕХОВ. Знаете, завтра ко мне приедет Потапенко — сама скука. По Волге ходит пароход "Антон Чехов" — это сказал мне редактор "Русской мысли" Гольцев. Когда я построю пароход — назову его "Лика".

ЛИКА. Гольцева знаю не хуже вас. Только вчера была с ним в ресторане. Виктор Александрович настоящий кавалер. Не мешало бы некоторым поучиться у него обращению с дамами.

ЧЕХОВ. Вы несправедливы, Лика! В доме Чеховых первый тост поднимают за родителей, а второй? Вспомните, Лика!

ЛИКА. За дамские прелести, воркуша. А Потапенко мило поет... со мной дуэты...

ЧЕХОВ. У нас поспели огурцы. Водку мы уже не пьем и не курим, но почему-то все же после ужина всякий раз сильно хочется спать и в комнате пахнет сигарой. Что поделаешь! Я — старик и живу по-стариковски.

ЛИКА. Легко, сидя в Мелихове на диване, спя по 17 часов в сутки, сокрушаться 30 лет о старости. Прятаться за старость, чтобы иметь возможность только спать, есть и писать в свое удовольствие!

ЧЕХОВ. Я ем, сплю и пишу в свое удовольствие? Я ем и сплю, потому что все едят и спят. Даже вы не чужды этой слабости. Несмотря на вашу воздушность. Что же касается писания в свое удовольствие, то вы очаровательная. Прочирикали это только потому, что не знакомы на опыте со всею тяжестью и угнетающей силой этого червя.

ЛИКА. Вы не можете понять, что значит желать чего-нибудь и не мочь. Мне хочется вас видеть постоянно, быть рядом с вами. Страшно хочется этого... Вот и только. Знаю, это неисполнимым желанием так и пребудет! Мне осталось только три-четыре месяца видеть вас...

ЧЕХОВ. Что за мерлихлюндия, Лика? Мы будем видеться не три и четыре месяца, а 44 года, так как я поеду за вами или, проще, не пущу вас. Будем видеться, пока не прогоните. Скажите всем вашим поклонникам и тому, который стянул у вас 20 рублей, что им недолго еще осталось блаженствовать. Знаете, Лика, у нас поспел крыжовник.

ЛИКА. В декабре?! Оказывается, он знает про Потапенко. Я окончательно влюблена в Потапенко. Что же делать, папочка? Да очнитесь же, Антон Павлович!

ЧЕХОВ. Вскоре они уехали в Париж. И молчок. За дверью каждого счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком и непрерывно стучать, напоминая о том, что есть несчастные, и что после непродолжительного счастья непременно наступит несчастье.

СУВОРИН. Где вы пропадали?

ЧЕХОВ. В Мелиховском скиту. Хотите новость — моя литературная крестница Е. Шастунов...

МАША. Она вышло замуж... Да, да, Алексей Сергеевич, за петербуржца, тайного советника Максимилиана Юста.

ЧЕХОВ. ...И в огорчении...

СУВОРИН. Не расслышал. Вы в огорчении, Антон Павлович?

ЧЕХОВ. Пишет мне: "Муж — картежник, мистик, и от него пахнет серой".

СУВОРИН. Елена Михайловна тоже в переписке со мной. О запахе серы осведомлен.

ЧЕХОВ. Коли так — передайте мне письма Е. Шастунова. Я из них сделаю рассказчик... строк в четыреста... О мистицизме.

СУВОРИН. Стоит ли повторяться? У вас есть рассказ об этом.

ЧЕХОВ. "Ведьма"? Разве там от дамы дьявольщиной попахивает?

СУВОРИН. Кому вы это сомнение внушаете, неподражаемый пересмешник?

ЧЕХОВ. Да в рассказе дьячиха — жертва, несчастная женщина.

СУВОРИН. Жизнь с ненавистным мужем — явление, впрочем, распространенное — источник душевных болезней.

ЧЕХОВ. Я напишу рассказ про то, как голова действительного статского Юста, на сон грядущий трактующего о смерти, мало-помалу стала походить на голый череп. И как жена с ужасом ощутила прикосновение скелета. Теперь Елена Михайловна помешана на том, что у нее родится скелетик...

СУВОРИН. Психология в чистом виде. Спаси и помилуй...

ШАВРОВА. Не откажите прочесть новый рассказ...

ЧЕХОВ. Рад служить.

ШАВРОВА. Я в сомнении. Тема кажется мне слишком смелой и, пожалуй, неудобной для печати.

ЧЕХОВ. Вы правы. Сюжет рискованный. Тенденция так прет, подробности расползаются, словно пролитое масло, лица едва намечены...

ШАВРОВА. Какой ужас! Не по себе клонила дерево.

ЧЕХОВ. Женщину надо воспитывать так, чтобы она умела сознавать свои ошибки, а то, по ее мнению, она всегда права.

ЛИКА. Где вы, дядя? Я в Россию раньше Рождества не приеду, приезжайте вы к нам. Хандрю страшно, каштаны давно распустились, но меня ничто не радует. Пишите мне в Париж: рю Эмелан, 30.

ЧЕХОВ (*молчит*)**.**

ЛИКА. До свидания! Слышите, непременно до свидания в Париже. Ваш портрет показала хозяйке как портрет мужа. Она пристала показать, ну и пришлось. Поэтому пишите мне "мадам", а не "мадемуазель". И не сердитесь, что окажете мне такую услугу.

Здесь Потапенко вместе со свой женой.

ЧЕХОВ. Ехать с женой в Париж все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром.

ЛИКА. Я Потапенко почти не вижу. Он заходит иногда утром и, должно быть, потихоньку от жены. А та угощает его сценами, причем истерики и слезы — каждые полчаса.

Неужели я вас увижу? Напишите поскорее, когда думаете приехать. Но предупреждаю, не удивляться ничему. Да, какие-нибудь шесть месяцев перевернули всю жизнь, не оставили, как говорится, камня на камне. Впрочем, я не думаю, что вы бросите в меня камнем... Я беременна... Но все это пусть останется между нами, дядя! Никому, даже Маше вы не скажете ничего! Я нахожусь в том состоянии, когда не чувствуешь под собой почвы. И рядом никого.

ЧЕХОВ. К сожалению, я не могу ехать в Париж, так как я с Сувориным и не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель и, очевидно, здоровье я прозевал, так же, как вас. Будьте бодры и берегите свое здоровье. Крепко жму руку.

ЛИКА. Кажется, отдала бы полжизни за то, чтобы очутиться в Мелихове, посидеть на вашем диване, поговорить с вами десять минут, поужинать и вообще представить, что этого всего не существовало... Вообще!

СУВОРИН. Восьмого ноября 1894 года Лидия Стахиевна Мизинова родила дочь. Девочке дали имя Христина. Вот так-то, Антон Павлович! Христина Игнатьевна, что бы там ни говорили.

ЧЕХОВ. Если бы у меня были густые эполеты, как у того полковника, что мы встретили у Лейкина! Как бы меня женщины любили! Влюблялись бы без числа!

АВИЛОВА. Будто не влюбляются!

ЧЕХОВ. Влюбляются. Но я хочу проводить вас.

АВИЛОВА. Что эполеты?! За вами — шлейф славы от Москвы до Петербурга. И на каждой версте — романы, романы, романы...

ЧЕХОВ. Когда же вы, писательница, наконец, начнете писать романы? Пишите! Женщина должна писать так, точно она вышивает по канве. Напишите роман про то, как влюбились в офицера в густых эполетах...

АВИЛОВА. В высокого красавца со смеющимися глазами. Знаете что? Приезжайте завтра вечером ко мне...

ЧЕХОВ. Если только меня не увлекут в другое место.

АВИЛОВА. Муж Миша на Кавказе. Нам ничто не помешает поговорить по душам.

ЧЕХОВ. До завтра.

АВИЛОВА. Что я сделала? Миша с ума сойдет. И мне нечем защищаться. Но какое счастье ждет меня завтра?

СУВОРИН. Мария Павловна, куда исчез ваш брат? Ни в Большой Московской, ни в "Славянском базаре" о нем ничего не знают.

МАША. Он в Петербурге... Инкогнито. А вы знакомы с Лидией Алексеевной Авиловой?

СУВОРИН. Знаком, и весьма близко... Бледная, с белыми волосами, алыми розами на щеках... Нежный голос, стройная фигура, взгляд чудесных серо-голубых глаз. Можно увлечься. И серьезно.

МАША. Боже! Мать троих детей. "Матушка"...

ШАВРОВА. Антон Павлович, давно не имею о вас известий.

ЧЕХОВ. Спасибо, что вспомнили. И впредь не забывайте стариков... а мой адрес тот же — станция Лопасня Московско-Курской железной дороги.

ШАВРОВА. Очень прошу, пришлите мне рассказы, которые находятся у вас... Помните, из тех двадцати?

ЧЕХОВ. Зарежьте меня, повесьте, но рассказов ваших у меня нет...

ШАВРОВА. В наказание за рассеянность, Шер мэтр, жду вашу карточку, фотопортрет.

ЧЕХОВ. Исполняю ваше желание: посылаю фотографию. Лучшей у меня нет.

ШАВРОВА. А я рада, что вы прислали именно этот портрет, потому что напоминает он того Чехова, который в 89-м году жил в Ялте, и которого я больше всего знаю и люблю. Прошло столько лет. Теперешний Чехов кажется мне ужасно большим и далеким, правда! Вы не смейтесь...

ЧЕХОВ. Я не смеюсь... Я строю баню.

ШАВРОВА. Вы на меня за что-то сердитесь? За что?

ЧЕХОВ. К сведению всех, кто со мной дружит, — сердиться я не умею. Поручаю себя вашим святым молитвам.

ШАВРОВА. Упокойте меня... Скажите, что еще не вполне забыли "уважаемую коллегу"...

ЧЕХОВ. Отвечаю как помещик и литератор. Как помещик: меняю

кусок своего поля на усадьбу соседа. Как литератор: пишу пьесу. Пьеса моя растет, но медленно. Мешают писать.

МАША. Найдены на чердаке рукописи.

ЧЕХОВ. Сестра нашла. Когда я был за границей, прислуга все, что казалось лишним, отправила вместе с пустыми бутылками на чердак... Извиняюсь, извиняюсь, снисхождения не заслуживаю. Но... Рукописи ваши были ближе к небу — единственное утешение для людей и вещей, находящихся непосредственно под крышей.

ШАВРОВА. Отправьте их туда обратно!.. Или бросьте в печку! Или нет — привезите в Москву! Это вам в наказание. Во всяком случае, набивайте ими ваш чемодан!..

ЧЕХОВ. Слушаюсь!

ШАВРОВА. Как называется ваша пьеса?.. Или это секрет?

ЧЕХОВ. Секрет, но пьеса называется "Чайка"... Комедия. Три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пять пудов любви... В Москве буду 28-го. Я остановлюсь в Большой Московской гостинице, 5-й номер. Мы повидаемся, я попрошу у вас прощения...

ШАВРОВА. Антон Павлович, не смейтесь, прошу вас...

ЧЕХОВ. Не буду...

СУВОРИН. Отчего вы не женитесь? Хорошенькие, богатенькие и умненькие роятся вокруг вас. Погодите 5-6 лет, голубчик, и женитесь на моей дочери Насте. Какого вам еще рожна нужно? И я отдаю вам половину дохода с "Нового времени".

ЧЕХОВ. Извольте, я женюсь, если вы хотите этого. Но вот мои условия: все должно быть, как было до этого, то есть моя "она" должна жить в Москве или Петербурге, а я в деревне, и я буду к ней ездить. Счастье же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, — я не выдержу. Дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день!

СУВОРИН. Как же вы найдете такую "луну"? Мудрено...

ЧЕХОВ. Тоска! Не пойму, на том я или на этом свете. Уеду в Австралию — иначе сдохну...

ШАВРОВА. Возьмите меня с собой... Эх, силы бы мне побольше, смелости начать жить как-нибудь по-новому! Написала рассказ, опять вышло не так, как я хотела. Конца нет, сюжет не сложился...

ЧЕХОВ. Никаких сюжетов не нужно. В жизни нет сюжетов, в ней все перемешано...

ШАВРОВА. Едем вместе в Австралию, на Северный полюс, в преисподнюю, куда хотите... Душно мне...

ЧЕХОВ. В одном заштатном городе полицейский надзиратель сказал мне: "Хорош наш город, только любить здесь нечего!". Так и я скажу: "Хорошо в деревне жить, только в дурную погоду пить нечего!".

ШАВРОВА. Разве это справедливо, по-божески, когда ошибка в выборе мужа или жены должна испортить всю жизнь?

ЛИКА. Справедливость здесь ни при чем. Раз церковь благословила союз, он должен быть крепок и нерушим.

ЧЕХОВ. А ваше мнение, Лидия Алексеевна?

АВИЛОВА. Надо знать, стоит ли он?

ЧЕХОВ. Не понимаю. Как стоит ли?

АВИЛОВА. Стоит ли новое чувство тех жертв... ведь непременно должны быть жертвы. Прежде всего — дети. Надо думать о жертвах, а не о себе. К себе не надо жалости. Тогда ясно: стоит или не стоит.

ЧЕХОВ. У вас истинно христианская нравственность, Лидия Алексеевна...

СУВОРИН. Антон Павлович, ау! Скучаю-ю-ю!

ЧЕХОВ. Я дома в Мелихове. Завтра еду в Москву — проживу там три дня, а потом уж в Северную Пальмиру, прямо, стало быть, от расстегаев к славе и музам. В октябре там пойдет моя "Чайка" (*Пауза.*) Пьеса шлепнулась и провалилась.

СУВОРИН. Подумайте, что пишут, подлецы. "Пьеса провалилась так, как проваливаются пьесы вообще", — это "Сын Отечества". А вот "Биржевые ведомости": "Это не "Чайка", это дичь". "Петербургский листок": "Чайка" погибла. Ее убило единогласное шиканье публики...".

ЧЕХОВ. А ваше "Новое время" еще не высказалось?

СУВОРИН. Вы знаете, я был уверен в успехе и заранее написал заметку, где сказал о пьесе все то хорошее, что думал о ней, когда читал... Теперь придется кое-что переделывать, приноравливаясь к обстоятельствам.

ЧЕХОВ. Иероним Ясинский, за кого я ломал копья, с кем приятельски откровенничал, беспечно обедал, бегал по театру и шипел, как раздразненный индюк.

СУВОРИН. Да забудьте вы их всех. Они мизинца вашего не стоят.

ЧЕХОВ. Забыть?! Ну, нет! Самолюбие мое уязвлено. Больше пьес писать не буду. Не моего ума дело.

СУВОРИН. В театральной атмосфере есть что-то ядовитое, затягивающее. Как в алкоголе или никотине. И вы уже вкусили этой отравы. Она в вас.

ЧЕХОВ. Не шутя говорю, если проживу еще семьсот лет, то и тогда не дам в театр ни одной пьесы. Баста!

СУВОРИН. Не зарекайтесь. Поживете с мое, не так еще заговорите...

ЧЕХОВ. Послушайте... Рецензент живет с актрисой. Бенефис. Пьеса бездарная, игра дрянная, но рецензент обязан хвалить. Он пишет: "И пьеса, и бенефициантка имели большой успех. Подробности завтра". На другой день рецензент идет к актрисе. Та отворяет дверь, дает поцеловать себя и со словами: "Подробности завтра", — выпроваживает рецензента-любовника... Чтобы не знать новых подробностей, с утренним поездом уезжаю домой, в Мелихово.

МАША. Антон, где ты? На станцию Лопасня доставлен твой багаж. Что это значит?

ЧЕХОВ. А то, что я забыл вещи в вагоне. Маша, когда поедешь в Мелихово, привези с собой Лику.

ЛИКА. Маша звала меня побывать в Мелихове, а я застряла здесь, в Тверской глуши, дольше, чем хотела. Я и вам писала, что собираюсь через неделю быть в Москве... И не смогла... Девочка моя заболела воспалением легких... В очень тяжелой форме... 14 ноября доченьки моей не стало... В "Чайке" вы пишете про Нину: "Был у нее ребенок. Ребенок умер". И если правда, что Нина Заречная — это я, то ваше пророчество так жестоко!.. Зачем вы не предсказали Христине иной судьбы!

ШАВРОВА. Мысли непокорны, не укладываются гладко, и я не нахожу слов. Это было удивление, восторг и порою сладкое и жуткое страдание. "Чайка" так хороша, так трогательна, так правдива и жизненна, так нова по форме, что я не могу не выразить вам своего восторга и глубокой благодарности. Ах, боже мой! Отчего у меня нет настоящих слов?! Простите! Непрошеная экспансивность бывает смешна. В таком случае, вообразите, что все это пишет вам — одна из публики.

ЧЕХОВ. Если вы, почтенная, "одна из публики", говорите мне о первом представлении, о, позвольте мне — о, позвольте! — усомниться в вашей искренности.

ШАВРОВА. Нет, нет, нет...

ЧЕХОВ. Вы спешите пролить целительный бальзам на авторские раны, полагая, что это, по обстоятельствам времени, лучше и нужнее искренности.

ШАВРОВА. Нет, нет, нет...

ЧЕХОВ. Вы добры, вы очень добры, и это делает честь вашему сердцу. Во всяком случае, я благодарен и тронут очень, очень, очень... Пожа-

луйста, не молчите — говорите, а то у меня, право, такое чувство, точно ничего нет и ничего не было.

ШАВРОВА. Вы страшно несправедливы, упрекая меня в неискренности. Да, актеры, декорации, репетиции — все очень важно, но вы сами говорили — Шекспир, разыгрываемый даже бездарными лицедеями в деревянном сарае, все равно остается Шекспиром!

ЧЕХОВ. Почтенная коллега! Вы как-то признались, что хотите славы гораздо больше, чем любви. А я наоборот — хочу любви гораздо больше, чем славы.

ШАВРОВА. Верю! Верю! Верю!

ЧЕХОВ. Возвращаю с нарочным святочный рассказ. Дочитал его утром. Произошло что-то загадочное: нам не хватило долгого зимнего вечера, чтобы прочитать рассказ в пять страниц. Часы мои остановились.

ШАВРОВА. Кучер Василий, ожидавший меня у подъезда Большой Московской, превратился в Деда Мороза!..

ЧЕХОВ. Я ходил со своими часами к Буре, хотел отдать их в починку. Буре часы взял, повертел в руках, заглянул внутрь, улыбнулся и казал: "Мсье, вы забыли их завести!".

ШАВРОВА. Когда вы опять будете в Москве? Если не инкогнито, то дайте знать. Я приеду с верными часами. Мне, право, ужасно совестно — пробыла у вас с семи часов почти до двенадцати! Это вызывающе длинный визит.

ЧЕХОВ. Увы! Виноваты мы оба...

ШАВРОВА. Вы должны были соскучиться.

ЧЕХОВ. Мне вдвоем с литераторшей не бывает скучно.

АВИЛОВА. Алексей Сергеевич, вы только из Москвы. Как Чехов? Этот страшный скандал с "Чайкой"...

СУВОРИН. Москва добрее и умнее Петербурга. Чехов на деликатный пассаж Немировича: "Слышал, что "Чайка" не имела успеха", — ответствовал приятелю...

ЧЕХОВ. Да, моя "Чайка" имела в Петербурге громадный неуспех, и во всем этом виноваты ты и Сумбатов — вы подбили меня писать пьесу...

СУВОРИН. Немирович, однако, не каялся, а принялся уговаривать Антона Павловича разрешить ему взяться за постановку "Чайки" на новых принципах. На самом деле сцена с ее условностями на сто лет отстала от литературы, от Чехова. Полагаю, Владимир Иванович даст "Чайке" крылья...

АВИЛОВА. Спасибо. Вы сняли камень с моей души. Завтра я буду у него, пусть этот вечер все решит.

СУВОРИН. Третьего дня у Чехова пошла горлом кровь, когда мы сидели за обедом в "Эрмитаже". Он спросил себе льду, и мы, не начиная обеда, уехали. Два дня он пролежал у меня в номере.

ЧЕХОВ. У меня из правого легкого кровь идет, как у брата Николая...

СУВОРИН. Он смеялся и шутил по своему обыкновению, но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице.

ЧЕХОВ. Разве река тронулась?

СУВОРИН. А что в этом особенного?

ЧЕХОВ. Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит: "Не поможет. С вешней водой уйду...".

ЛИКА. Как вы меня напугали!.. Вы и представить себе не можете, какие хорошие, нежные чувства я к вам питаю.

ШАВРОВА. И все же, дорогой Шер мэтр, вы интриган. Назначить свидание и не прийти.

ЧЕХОВ. Увы и ах! С моими легкими случился скандал. Пишите мне, а то я подохну с тоски...

ШАВРОВА. Милый, дорогой, я предчувствовала что-то неладное... Господи, как же это могло случиться: вы не береглись, наверное, и слишком утомлялись? В течение этих двух недель я каждый день ожидала вас сюда, и когда сегодня позвонили в дверь, я подумала, это вы, но это было ваше письмо... из больницы.

СУВОРИН. От Чехова, который лежит в клинике Остроумова, телеграмма: "Крови меньше, но положение неопределенное. Неизвестно, когда выпустят...". Приходил Толстой.

ЧЕХОВ. Маша, матери о том, что я попал сюда в клинику, ни слова...

МАША. Антон, бога ради, береги себя, не переутомляйся!

ЧЕХОВ. Всё, иди, Маша.

С цветами входит Авилова. Подает цветы Чехову.

ЧЕХОВ. Все мои любимые. Ко мне не пускают, но я попросил доктора сделать для вас исключение.

АВИЛОВА. У нас три минуты.

ЧЕХОВ. Как вы добры...

АВИЛОВА. Всего три минуты...

ЧЕХОВ. Скажите: вы пришли бы?

АВИЛОВА. Но я была в Большой Московской...

ЧЕХОВ. Как же не везет нам! Да, да — не везет!

АВИЛОВА. Не говорите так много и горячо. Вам нельзя. И это неважно...

ЧЕХОВ. Неважно?

АВИЛОВА. Все на свете неважно, лишь бы вы скорей поправились.

ЧЕХОВ. Когда вы едете?

АВИЛОВА. Сегодня.

ЧЕХОВ. Нет, останьтесь еще на день, прошу вас.

АВИЛОВА. Антон Павлович, не могу. Миша в течение суток прислал три телеграммы.

ЧЕХОВ. Значит, нельзя... Простите.

АВИЛОВА. Выздоравливайте.

ЧЕХОВ. Лидия Алексеевна, вы похожи на гастролершу.

ЧЕХОВ (*один*)**.** Поле. Даль. Одинокая березка. Подпись под картиной — одиночество. (*Суворину.*) Алексей Сергеевич, я телеграфировал вам, что женюсь на богатой вдове. Увы! Теперь за меня ни одна дура не пойдет: я сильно скомпрометировал себя тем, что лежал в больнице.

СУВОРИН (*в зал*)**.** Антон Павлович сильно изменился. Лицо желтое, изможденное. Постоянный кашель и озноб.

ЧЕХОВ. Здоровье мое ни то ни се и порядочно-таки мне надоело. Стараюсь о нем не думать и злюсь, когда о нем говорят. Вы знаете, я зол, как тигра лютая. Будут приставать с этим, послушаюсь того хохла, который сказал: "Колы б я був царем, то украв бы сто рублив и утик". Похоже, я так и сделаю — до будущей весны сбегу в Ниццу...

ЛИКА. Где вы, дядя?

ЧЕХОВ. Мой адрес: Ницца, Русский пансион.

ЛИКА. Я тут недавно размышляла о вашем романе с писательницей Шавровой-Юст...

ЧЕХОВ. Ликуся, не сообщай тайных мыслей — не сбудется самое заветное желание.

ЛИКА. Ел, ел человек вкусные и тонкие блюда — и надоело ему, захотелось редьки!

ШАВРОВА. Я так горячо люблю его и сознаюсь в этом потому только, что это так же естественно, как если бы я сказала, что люблю солнце.

ЛИКА. В Мелихово не ездила, потому что и из Машиной души я вытиснута так же, как и вашего... Что испугались?! Думали, осмелюсь сказать "из вашего сердца"?... нет, флигеля.

ЧЕХОВ. Да, чуть не забыл. Я завел тут девицу, француженку. Для упражнений на французском языке. Девятнадцать лет, зовут Марго. Извините меня за это, пожалуйста, и верьте, я ценю в женщине не только чистоту, но и доброту.

ЛИКА. Я всегда рада, когда моим друзьям хорошо. Вот и за вас я порадовалась, что наконец-то вы взялись за ум и завели себе француженку. Для практики.

МАША. Так случилось, что все до единой пьесы ты, Антон, отдал Художественному общедоступному, Немировичу.

ЧЕХОВ. Как было не отдать. Режиссер-реформатор прислал мне душеспасительное письмо: "Сегодня было две считки "Чайки". Если бы ты незримо присутствовал, ты немедленно начал бы писать новую пьесу". Не знаю, не знаю, милый Владимир Иванович... Пока что дописываю рассказ. Рассказ называется "О любви".

АВИЛОВА. Как хочется знать, что в нем!

ЧЕХОВ. "Когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе". Прав тот, кто искренен.

АВИЛОВА. Неженатому мужчине легко рассуждать о любви. А мне с мужем и тремя детьми из какого такого "высшего" следует исходить? Жизнь защемила меня, и освободиться от этих тисков невозможно. Что ж, разорвать душу пополам?

ЧЕХОВ. "Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может привести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею..."

АВИЛОВА. В этих рассуждениях — ваши собственные опасения и сомнения.

ЧЕХОВ. Короче говоря, позвольте вам выйти вон, Антон Павлович. Мне грустно, что рассказом "О любви" я опечалил, раздосадовал вас.

ШАВРОВА. Что я сделала? Чем провинилась? Неужели нам не суждено увидеться? Я прочла недавно, что выдающихся писателей не следует беспокоить перепиской. Как часто я была грешна этим... в отношении вас. И все же скажите, как вам живется в парикмахерской Ялте?

ЧЕХОВ. Недурно. Гуляю по городскому саду и ялтинской набережной. Однако... Пришлите мне что-нибудь почитать. У меня ничего нет. Книготорговец Синани подарил "Таможенный тариф". Делать нечего, читаю.

МАША. Антон, у меня в гостях была писательница Юст. Сама пришла. Она премилая. Очень мне понравилась. Лицо у нее стало гораздо красивее и даже показалось мне прекрасным. Она готовится стать матерью. Может, от этого и похорошела.

ЧЕХОВ. Вы были у сестры, уважаемая коллега? Вы очень, очень добры.

ШАВРОВА. Мария Павловна прелесть и похожа на вас. Но это было так давно.

ЧЕХОВ. Вас не видно, не слышно. В Ялте без вас, без музыки скучно...

ШАВРОВА. Я была очень больна, и мой маленький умер. Вообще, я неудачница.

ЧЕХОВ. Мне грустно, что вам живется невесело, и что вы называете себя неудачницей. Крепко жму руку и желаю всего хорошего.

ЛИКА. Вы хорошо знаете, что я вас люблю гораздо больше того, чего вы стоите, и отношусь к вам лучше, чем вы ко мне! Я знаю отлично, что не могла представить для вас никакого интереса! Вы покупаете землю в Крыму и переселяетесь туда! Значит, прощай, Мелихово! Если бы я уже была великой певицей, купила бы у вас Мелихово. Ну, прощайте, если напишете, буду рада, а не хотите — не пишите!

ЧЕХОВ. Лика, ваше сердитое письмо, как вулкан, извергло на меня лаву и огонь, но тем не менее, все-таки я держал его в руках. И читал с большим удовольствием. Лика, я был на репетиции "Федора Иоанновича". У Немировича-Данченко и Станиславского интересный театр. Прекрасные актрисочки. Если бы я задержался в Москве, то потерял бы голову. Между прочим, ставится моя злополучная "Чайка". Клянусь, Лика, что без вас мне скучно.

ЛИКА. Когда-то я писала вам часто и много, и в ответ получала открытки о том, что поспел крыжовник.

ЧЕХОВ. Всякий раз, как вы нечаянно влюблялись то в одного, то в другого моего приятеля.

ЛИКА. В январе я в Россию не приеду — буду ждать вас в Париже. Слышите, дядя? Я приеду вас встретить, если бы у вас было даже десять невест, и все они собрались бы меня бить... Как мне скучно здесь, и как мне все надоело.

ЧЕХОВ. Не будьте кислы, как клюква, будьте рахат-лукумом.

МАША. Антоша, у тебя с лица не сходит улыбка, как будто ты вновь вкушаешь свой излюбленный рахат-лукум.

СУВОРИН. Антон Павлович, вы были на репетиции в Художественном общедоступном?

ЧЕХОВ. Они репетируют в "Эрмитаже". Ремонт сцены еще не закончен. Не налажено освещение. Помещение не отапливается. Актеры репетируют в пальто при зыбком свете свечей. Со сцены на меня повеяло настоящим искусством. Меня тронула интеллигентность тона в игре акте-

ров, а Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность — так хорошо, что даже в горле чешется. Если бы остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину.

МАША. А имя актрисы ты узнал? Настоящее имя?

ЧЕХОВ. Ольга Книппер. Я упросил Немировича поручить ей роль Аркадиной в моей "Чайке".

МАША. Надо же, влюбился в загримированную актрису. Впрочем, не в первый раз.

ЧЕХОВ. Ах, как обидно, что приходится уезжать.

АВИЛОВА. В апреле он жил в Москве. Я ему написала, что скоро буду в древней столице проездом.

ЧЕХОВ. Не приедете ли вы ко мне с вокзала пить кофе? Если будете с детьми, то заберите и детей. Кофе с булками, со сливками; дам и ветчины.

АВИЛОВА. Но приехать к вам никак невозможно. От поезда до поезда всего два часа.

ЧЕХОВ. Как знаете. Я повидаюсь с вами на вокзале. Я вот что хочу предложить вам: сегодня, первого мая, играют "Чайку" только для меня. Посторонней публики не будет. Останьтесь до завтра.

АВИЛОВА. У меня на руках дети, француженка, горничная. Надо телеграфировать сестре в деревню, мужу в Петербург. Все чрезвычайно сложно и трудно.

ЧЕХОВ. Вы никогда со мной ни в чем не согласны. Мне очень хотелось, чтобы вы видели "Чайку" вместе со мной. Неужели нельзя это как-нибудь устроить?

АВИЛОВА. Нельзя. Ничего не получается.

ЧЕХОВ. Поймите же, вечером пойдет "Чайка". Без публики, только для меня. Ах, какие артисты, какие артисты!.. Я сердит на вас, что вы не хотите остаться. Ну, прощайте...

АВИЛОВА. Но мы прощаемся не навсегда.

ЧЕХОВ. Навсегда... Даже если заболеете — не приеду. Я потребовал бы высокую плату... Вам не по средствам.

КНИППЕР. Мария Павловна, как хорошо, что он побывал на репетиции...

МАША. После знакомства с артистами Художественного театра я писала Антону Павловичу, что советую ему поухаживать за Книппер. В эту среду у меня назначен вечер с Книппер. Она тянется ко мне.

КНИППЕР. Это случилось в первый день Пасхи. К нам в московскую квартиру пришел с визитом Чехов. Как полагается, познакомился

с родителями, пригласил меня побывать в его подмосковной усадьбе. Три майских дня провела я в Мелихове. Все решительно пленило меня там: и дом, и флигель, где была написана "Чайка", и сад, и фруктовые деревья, и утки, и сельская учительница, гулявшая с учителем по дорожке. Казалось, шла Маша с Медведенко. Три дня, полные чудесного предчувствия... Мужчина! Мужчина верен и постоянен в любви! Скажите, какая новость! Имеете право говорить мне это? Мужчины верны и постоянны?

ЧЕХОВ. Здравствуйте, последняя страница моей жизни, великая актриса земли русской. Я завидую горам Кавказа и черкесам, которые вас видят каждый день. Когда вернетесь в Москву?

КНИППЕР. А я-то думала, что писатель Чехов забыл об актрисе Книппер. Так, значит, изредка вспоминаете?

ЧЕХОВ. Постоянно думаю о ней. Милая, необыкновенная актриса! Замечательная женщина!

ШАВРОВА (*потерянным голосом*). Шер мэтр, где вы? Я вас не вижу, не слышу...

КНИППЕР. На днях танцевала до пяти с половиной утра на балу в золотом платье на "Большую декольту"... Слава богу, что сезон кончается. Он мне надоел. Измучил меня. Хочется удрать из Москвы и театра.

ЧЕХОВ. Ваш начальник Владимир Иванович Немирович сообщает мне, что труппа будет в Ялте в начале мая: пять спектаклей, потом вечерние репетиции. Для репетиций останутся только ценные представители труппы. Надеюсь, вы ценная?

КНИППЕР. А вы еще сомневаетесь?

ЧЕХОВ. Милая актрисуля, я привез тебе из-за границы духов, очень хороших. Приезжай, милая, добрая, славная.

КНИППЕР. По-твоему, как? Лучше молчать о том, что хочется высказать, или наоборот?

ЧЕХОВ. Вы хотите есть? Нет, наоборот.

КНИППЕР. Я знаю — ты враг всяких "серьезных" объяснений, но мне не объясниться надо с тобой, а поговорить как с близким человеком. Я так ждала весны, ждала, что мы будем вместе, поживем хоть несколько месяцев друг для друга, станем ближе. И вот опять погостила в Ялте и опять уехала. Тебе все это не кажется странным? Тебе самому?

ЧЕХОВ. Теперешние женщины годятся только в прислугу, лучшие из них идут в актрисы.

МАША. Оля, я не думала, что так сильно буду тосковать по тебе!

Спрашиваешь, какое у меня настроение? Меня страшно беспокоит неизвестность. Как ты себя чувствуешь, и как порешили?

КНИППЕР. На чем порешили с братом твоим? Разве с ним можно порешить? Я ничего не понимаю и страдаю от этого.

МАША. Оля, я рада за вас...

КНИППЕР. Радоваться нечему! Он успел разлюбить меня.

МАША. Нет, нет. У Антона это серьезно... Мы жили на даче в Бабкине, на Истре. Иду однажды по лесной дороге и встречаю Левитана. Остановились. Заговорили. Вдруг он бух передо мною на колени и объясняется в любви. Левитан забавно картавил — не произносил звука "р", а вместо "ш" у него получалось "ф". Слышу: "Милая Мафа, каждая че-тока твоего лица мне до-ага"... Я расхохоталась и убежала...

КНИППЕР. Чем дело кончилось?

ЧЕХОВ. Я сказал ей тогда: "Все это несерьезно, конечно, можешь выйти за Левитана, но его интересуют женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты".

КНИППЕР. Маша, что, Антон тоже любит бальзаковских женщин?! Ну и что? Мне уже... В общем, у меня бальзаковский возраст...

МАША. Помнится, я советовала Антону поухаживать за актрисой Книппер. Теперь жалею об этом. Могу потерять и ближайшую подругу, и брата.

КНИППЕР. Не надо, Маша! Этого не случится!

МАША. Кто знает...

КНИППЕР. Левитану, конечно, было отказано. А дальше? Были женихи?

МАША. Были. Полтавский помещик Александр Иванович Смагин сделал мне предложение. Он нравился мне. Прежде, чем дать ответ, решила поговорить с братом. Я объяснилась — Антон молчал... Не смогла я причинить ему неприятность, уйти из семьи, расстроить привычный образ жизни. Вот так, Оля! (*Поет.*) "Утро туманное, утро седое..."

КНИППЕР. Доброе утро, дорогой мой! Ялта промелькнула, как сон. Какое счастье любить, быть близкими.

ЧЕХОВ. Мне все кажется, что откроется дверь и войдешь ты.

КНИППЕР. Как хочется посидеть у тебя в кабинете, чтобы было тихо-тихо — отдохнуть около тебя, глупостей наговорить, подурачиться... Вот сейчас, скрестив руки и глядя на твою фотографию, думала, думала и о тебе, и о себе, и о будущем. А ты думаешь?

ЧЕХОВ. Вчера и третьего дня был в Гурзуфе, теперь опять сижу в Ялте, в своей тюрьме. И злюсь, злюсь, злюсь...

ШАВРОВА. Кто поет для вас, Шер мэтр? У меня много новых вещей. С каким удовольствием я спела бы вам их.

ЧЕХОВ. Это было бы прекрасно. Приезжайте. Что нового в Петербурге, о чем говорят, кто будет министром, и кто за кем ухаживает? Кстати, я ни за кем не ухаживаю: нет ни одной живой души! Чтобы развлечь себя немножко, завел мышеловку новой конструкции и ловлю мышей. Так что вы, уважаемая коллега, не можете сказать: "Шер мэтр мышей не ловит".

ЛИКА. Когда же ваша свадьба? И где ваша невеста? А все-таки гадко с вашей стороны не сообщать об этом такому старому приятелю, как я.

ЧЕХОВ. Вы же знаете, Лика, что я никогда не женюсь без вашего позволения.

ЛИКА. Смотрела на днях "Чайку". Книппер...

ЧЕХОВ. Великолепна...

ЛИКА. Была я в понедельник, а сегодня суббота, и до сих пор я еще под впечатлением.

ЧЕХОВ. Лика, мне в Ялте очень скучно. Жизнь моя не идет и не течет, а влачится. Не забывайте обо мне, пишите хоть изредка. В письмах, как и в жизни, вы очень интересная женщина.

КНИППЕР. Когда я сказала, что уезжаю с Машей в Москву, ты ни одним словом не обмолвился, чтобы я осталась, или что тебе не хочется расставаться со мной. Ты промолчал.

ЧЕХОВ. Милая, славная Книпшиц, я не удерживал тебя, потому что в Ялте противно...

КНИППЕР. В Москве все поражены, узрев меня, не могут понять причины моего приезда. Я всем говорю, что вызвала мать для решения квартирного вопроса. Ты не выходишь у меня из головы. Вдруг мне кажется, что ты уже охладел ко мне, что не любишь меня, как прежде, что тебе просто нравится, чтобы я приезжала к тебе, вертелась бы около тебя и больше ничего...

ЧЕХОВ. Напрасно ты сердишься, моя Дуся. Никаких у меня тайных мыслей нет, я говорю тебе все, что думаю. В начале мая я приеду в Москву, мы, если можно будет, повенчаемся и поедем по Волге, или прежде поедем по Волге, а потом повенчаемся. Это как ты найдешь более удобным...

КНИППЕР. Пожить бы с тобой подольше полной, хорошей жизнью. Милый мой. Родной мой. Хороший мой. Просто хочется ласкательные слова говорить. Привези свои бумаги, чтобы мы скорее могли повенчаться. Надоели мне кусочки, хочу полноты.

ЧЕХОВ. Маша. Хочу жениться. На актрисе Книппер из Художественного театра. Лучше жениться на немке, чем на русской: Немка аккуратнее, и ребенок не будет по дому ползать и бить в медный таз.

МАША. Позволь мне высказать свое мнение насчет твоей женитьбы... Окрутиться всегда успеешь. Так и передай твоей Книпшиц... Прежде всего, нужно думать о том, чтобы ты был здоров. Здоров и счастлив.

ЧЕХОВ. Ну-с, мое здоровье. Был я у доктора Шуровского. Он нашел притупление и слева и справа, велел немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губернию. На кумысе придется пробыть два месяца. Уж не знаю, что мне делать, как быть. Ехать одному скучно, жить на кумысе скучно. Женился бы, да нет при мне документов, все в Ялте, в столе.

МАША. Если бы ты позволил навестить тебя на кумысе, хотя бы одну недельку. Почему ты молчишь, Антон?

КНИППЕР. Маша! Антон милый-размилый, я люблю его и любуюсь им, и ухаживаю за ним. Чувствует он себя лучше гораздо. Ему хорошо. Ты не волнуйся, родная, будь умницей, будь милая, чтобы нам всегда хорошо жилось. Ведь мы любим друг друга — правда? Ты ведь меня не разлюбишь оттого, что я стану женой Антона?

МАША. Милая моя, Олечка, тебе только одной удалось окрутить моего брата. Уж как он крепился, не поддавался, но в твоем лице судьба пришла, фатум. Кончено.

КНИППЕР. Но мы любим друг друга сильно.

МАША. Венчание это такой ужас, такая трепка нервов Антона, больного, очень больного человека. Зачем тебе все это нужно?

КНИППЕР. Не хочу незаконной любви.

МАША. Изменятся ли наши отношения к худшему — это теперь только от тебя зависит. А вдруг ты будешь Наташей из "Трех сестер", я ведь тебя тогда задушу. Горло перекусывать я тебе не стану, я тебя просто задушу.

КНИППЕР. Маша, мне надо много, много с тобою говорить. Милая, дорогая, родная моя.

МАША. За два года я успела к тебе сильно привязаться. Да не будет это мне во вред.

ЧЕХОВ. Женился. Женился я, главным образом, из того соображения, что, во-первых, мне теперь более 40 лет, во-вторых, у Ольги добродетельная родня и, в-третьих, если понадобится развестись с ней, то я разойдусь ничтоже сумняшеся, как будто и не женился. Ведь она самостоятельный человек и живет на свои средства. Затем важно соображе-

ние, что эта женитьба нисколько не изменила образа жизни моего и тех, кто жил и живет около меня. Все, решительно все останется так, как было, и я в Ялте по-прежнему буду проживать один. Один! Не знаю, как долго... Не знаю...

КНИППЕР. Свершилось. Я жена Чехова. Ольга Книппер-Чехова. Моя радость, моя гордость, мое блаженство.

ЧЕХОВ. Я влюблен в себя по самые уши.

КНИППЕР (АРКАДИНА). Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Не хотите ли сыграть партию... Ставка — гривенник. Поставьте за меня, доктор.

СУВОРИН (ДОРН). Слушаю-с.

АВИЛОВА (МАША). Все поставили? Я начинаю... Двадцать два!

КНИППЕР (АРКАДИНА). Есть.

АВИЛОВА (МАША). Три!...

СУВОРИН (ДОРН). Так-с.

АВИЛОВА (МАША). Поставили три? Восемь! Восемьдесят один! Десять.

ЛИКА. Не спеши.

КНИППЕР (АРКАДИНА). Как меня в Харькове принимали, батюшки мои, до сих пор голова кружится!

АВИЛОВА (МАША). Тридцать четыре!

КНИППЕР (АРКАДИНА). Студенты овацию устроили... Три корзины, два венка...

АВИЛОВА (МАША). Пятьдесят!..

ШАВРОВА. Ровно пятьдесят?

КНИППЕР (АРКАДИНА). На мне удивительный туалет... Что-что, а уже одеться я не дура.

АВИЛОВА (МАША). Восемьдесят восемь!

ЧЕХОВ (ТРИГОРИН). У меня партия, господа.

КНИППЕР. Браво! Этому человеку всегда и везде везет!

Чехов уходит.

СУВОРИН. Я забыл поздравить вас...

МАША. Антон, как мне жутко, что ты вдруг женат...

АВИЛОВА. Узнав о вашей женитьбе, я горячо, от всего сердца желаю вам счастья. Была ли наша любовь настоящей? Но какая бы она ни была, я вам благодарна за нее. Из-за нее вся моя молодость точно обрызгана сверкающей, душистой росой.

Я люблю...

ШАВРОВА. Я люблю его. Люблю страстно, до отчаянья люблю. Хорошо было прежде! Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства, чувства, похожие на нежные, изящные цветы! Помните!..

ЛИКА. Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил...

Я — чайка, чайка...

Крик чаек.

Конец.



Михаил ОБУХОВСКИЙ

Французский художник — сын Одессы

Собираясь на ежегодную семейную новогоднюю встречу, я и не предполагал, что в последние часы уходящего года получу привет из XIX века, от одного из ростков того питомника талантов, с которым уже прочно ассоциируется во всем мире наш Город.

...На этот раз была очередь принимать нашей младшей, которая живет под Версалем. Аккуратный городок, не нарушающий первозданность окружающих лесов Рамбуйе. Три-четыре двухэтажных домика вокруг крошечного сквера, — вот и модуль, образующий городок. Перед праздниками, как говорят французы, "Конца года", эти домики, соревнуясь друг с другом, засверкали симфонией электронных гирлянд, фигурками дедов морозов, карабкающихся к дымовым трубам, чтобы успеть всем разложить рождественские подарки в выставленные у камина туфельки... Многие уехали "на лыжи" или к друзьям, — места для парковки наших машин было достаточно, что стало наградой за сделанные 500 километров перегруженных дорог... На бывших королевских охотничьих землях возникли десятки комплексов новой королевы — информатики. Этот полюс новейших технологий вытеснил даже знаменитые военные школы Сен-Сира... До Версаля меньше 20 минут, и мы поехали туда 31-го после полудня. Дворец был в осаде, черные издали отряды туристов скапливались перед позолоченными порталами ограды с символами Короля-Солнца и, взяв штурмом ворота, растекались затем по булыжникам мостовой у подножия бронзового Людовика XIV. Мы решили пройтись старым городом, сохранившимся за левым крылом Версальского дворца: Пассаж де ля Жеоль, Импасс (тупик) Дюплесси... Останки Средневековья, зажатые между улочками Паруа и Баяж... Низкие массивные, выделяющиеся из сплошной застройки крепостные стены с арками для проезда экипажа, не шире. Дорогие витрины антиквариата, ювелирных изделий, часто отмеченных королевской лилией или стилизованным изображением солнца, конечно, — Короля-Солнца. Несколько почти пустых, если не считать нас, художественных лавок — картины не покупают в суете 31-го декабря.

И вдруг — странные в этом средневековом каменном королевстве красные паруса рыбацкой лодки. Выставленная на мольберте картина привлекала меня отражением косого цветного паруса в сине-зеленой воде. Внук, державший меня за руку (все другие уже ушли вперед), сказал: "Дед, смотри, здесь пишется: Одесса", — и показал на табличку у заинте-

ресовавшей меня картины... Фамилия художника, даты и места рождения и смерти: Emil Benediktoff Hirschfeld. 1867 (Odessa) — 1922 (Concarneau); и дата аукциона, где будет выставлена картина.

Фамилия художника была мне не знакома. Одесса в конце XIX века не имела связей с маленьким рыбацким портом Конкарно, защищенным крепостной стеной с толстыми угловыми башнями и дикими скалами бретонского берега (не сразу представляешь, что Бретань — нос Франции, высунутый в Атлантический океан, — находится западнее большей части Великобритании...).

— Вы не могли бы рассказать мне о художнике? — попросил я галериста.

— Это очень хорошая картина, — улыбнувшись, потому что вместо автора он говорит о работе, начал он. — Видите, какое море? Настоящая Бретань! Да еще славянская душа художника, он-то из России...

Я сразу понял, что заболел, — французский художник, родившийся в Одессе!

Начало года застало меня за каталогами выставок Финистера (самый морской департамент Бретани), на сайтах с описанием творчества художников западного побережья Франции. Ведь знал я о них очень мало, разве что Понт-Авенскую школу живописи, таинство картины "Добрый день, господин Гоген"...

Интересно, что никаких упоминаний об одесском периоде Эмиля Гиршфельда (наверное, так пишется фамилия художника в обратном переводе)* я так и не смог найти, а французский — собирал по крохам: галереи, аукционы и, как награда, — музеи Конкарно и Кемпэр.

Эмиль Гиршфельд появился в Бретани в последнем десятилетии XIX века, когда неоклассицизм был еще в апогее, но уже начал распространяться реализм пейзажей, портретов и жанровых сцен. На холстах и акварелях приезжавших в Бретань художников, очарованных пейзажами стиснутого океаном с трех сторон скалистого полуострова, природа занимала больше места, чем в работах, выполненных в других провинциях. Художники и писатели приезжали сюда, чтобы открыть для себя свирепые волны, атакующие отвесные скалы, задохнуться йодистым ветром, наклонившим почти горизонтально могучие корявые сосны на берегу.**

Своей конфигурацией полуостров был защищен от наступления индустриальной революции, и французских художников привлекла почти нетронутая природа во всей первозданной красоте, да плюс еще экзотика океана, запах холщовых просоленных парусов. Многие мастера живописи были сражены очарованием Корнуая.*** Здесь были отмечены вдохнове-

нием Коро, Добиньи, Эжен Будэн... (чтобы вспомнить только знаменитых). В парижских галереях и в Ежегодных салонах все чаще звучали бретонские мотивы, в то время как в самой Бретани образовывались артистические колонии. Наверное, самые известные и плодотворные в Понт-Авен и в Дуарнэз. Здесь в 1888-м Гоген и Эмиль Бернар выдумали синтетизм — первый этап современного искусства, как казалось мне много лет назад при первых встречах с еще черно-белыми репродукциями и монографиями Гогена...

Ранняя живопись Гиршфельда отмечена влиянием Курбэ. Как и многие из эмигрировавших художников России, Гиршфельд сделал остановки в Мюнхене и в Париже, прежде чем поселиться в Бретани. Он принес с собой социальную тематику передвижников, их внимание к народной добродетели и к народному горю.

В 1891 году по совету своего парижского учителя Кормона (Cormon) Гиршфельд впервые посещает маленький живописный порт французского "крайнего Запада" — Конкарно (Concarneau), и уже через два года вместе с Гиё (Alfred Guillau), он создает Группу Конкарно. Это содружество артистов не было художественной революцией, как в соседнем Понт-Авене, но подарило Бретани признание любви к ее вечно переменчивому океану, к отражению рыбацких парусов и неба, зажженного закатом.

В первый бретонский период, еще по следам русской тематики, печальные сюжеты стали определяющими в живописи Гиршфельда ("Останки кораблей", "Старые лодки под луной"...) Он уже имел солидный художественный багаж, когда предложил в 1893 году "Осень бравых" Национальному салону изящных искусств. Картина была отмечена жюри Салона. Постепенно пейзажи заменяют мелодрамы, как будто бы магия и красота океана лечили драмы. Его палитра становится более теплой и нюансированной, сменив монохромию начального французского периода. Он пишет море при рождении и при закате дня, зыбкий переход от одного состояния к другому, многочисленные рыбацкие суденышки — ловцы тунца. Гиршфельд позволил себе увлечься светом Бретани. Появляются "Эффект луны при отливе" (1998), "Парусники в бурю" (1905), "Закат солнца на неспокойном море"...

На самой значительной выставке бретонской живописи прошлого века — "Конкарно и его художники", проходившей в 1985 году, — одно из почетных мест занимал Эмиль Гиршфельд, работавший в Конкарно последние 30 лет своей жизни. Восемь картин представляли все периоды творчества художника: "Парусные лодки для ловли тунца у набережной", "Закат

при отливе", "Восход солнца на Руз"... Постоянная экспозиция музея содержит несколько работ художника: "Возвращение с рыбной ловли", "Полнолуние на море", "Парусник в лунную ночь", "Рыбаки. Выход в море утром"... — шедевры Мастера. Выставка подтверждает, что Гиршфельд нашел свою тематику: луна и море, закаты в заливах, многочисленных "рукавах" моря, изрезавших бретонское побережье.

В одном из редких документов, посвященных творчеству Гиршфельда, Огюст Дюпуи (Auguste Dupouy, сборник "Бретань туристская", 1924), художественный критик и друг художника, выражает свое восхищение игрой лунного света на белых корпусах двухмачтовых фелюг, утренним солнцем, расцветившим мачты, веревки такелажа и орудия лова. Он пишет о создании атмосферы таинственности в работах автора: "Когда я любуюсь картинами Гиршфельда, я чувствую себя унесенным эмоциональным порывом, как будто я слушаю одну из тех симфоний, которые вызывают мистические слезы".

В начале прошлого века, когда между французскими художниками и Бретанью установились уже привилегированные отношения, на бретонском берегу от флибустьерской крепости Сен-Мало и до рыбацкого порта Порник стали появляться художники из стран Восточной Европы, из России, в частности. Они привнесли мистику и полутона в работы художников Бретани. Это русское влияние еще не исследовано достаточно.

Честь объединить для одновременного показа творчество мастеров бретонских и эмигрировавших из России, исследовать их взаимное влияние, выпала выставке "Русские художники в Бретани" (1987 год) в Национальном музее Бретани, в городе Кемпэр (Quimper). Собранные вместе работы свидетельствовали счастливую "историю взаимной любви" между Бретанью и работавшими здесь русскими художниками. В каталоге выставки я нашел портреты женщин Корнуайа работы Зинаиды Серебряковой, картины Марии Васильевой, автора русско-бретонской "иконы"... Творчество Гиршфельда представляли восемь работ: "Бретонский продавец цветов", "Сушка сетей", "Выход парусников на ловлю тунца", "Заход солнца в заливе" — свидетельства очарования Бретанью.

Больше других меня привлекла картина "Пятидесятилетие свадьбы" (1893 год). На скамейке перед домом, сложенном из местного гранита, способном противостоять ураганному ветру, рядом с незавидным огородом сидят два старика; на столе бутылка сидра, которой они скромно празднуют юбилей их союза; мысли их далеко, в воспоминаниях о дне молодости, который сблизил их... А в вечернем воздухе уходящего дня растворяет-

ся образ молодой невесты, призрак, сквозь который просвечивается сад, залитый вечерним дрожащим светом... Для художника эта картина отмечала этап в поисках света, заполняющего все его картины; для меня — поэзию пройденного совместно пути... В этот полупрозрачный свет завернута портовая реальность и мистика всех его морских картин. Этот прозрачно-опаловидный блеск художник прибавил к конкарнуайской живописи как свою отличительную ноту.

В постоянной экспозиции музея в Кемпэр картины Константина Кузнецова, Андрея Ланского, акварели Александра Бенуа соседствуют с картинами Ива Танги, Алена Бретона... Таков уровень сокровищ Музея Бретани, которому выпала привилегия начертить соединительный союз между двумя мирами, созданными в Бретани местными мастерами и эмигрировавшими из России и ставшими французскими художниками.

Жена Гиршфельда, Emmy Leuze Hirschfeld (1884, Вена — 1973, Кемпэр), была также художником. Они соединили свои судьбы в 1906 году и поселились в вилле-мастерской, на нависшем над морем утесе ("на карнизе", как говорят в Бретани). До этого Эмиль жил в отеле Бориваж (Beaurivage) или снимал мастерскую. Красавица Эмма вдохновила не только мужа (прекрасный ее портрет 1903 года в музее Конкарно) — известен ее портрет работы Сиднея Томсона (Sydney Lough Thompson, 1917 год), которому, по-моему, не хватает чувственности (да и мастерства!) портрета Гиршфельда. После смерти мужа Эмма подарила несколько его работ музею в Кемпэр, среди них — весь пронизанный колышущимся светом "Вечерний отдых в Конкарно". Что касается творчества самой Эммы, то она известна колоритными портретами. Я нашел "Портрет Бретона" на последнем аукционе ArtPrice (проданный за 3700 евро), портрет "Жительница Генолэ в традиционном головном уборе", и единственную ее гуашь в упоминании о продаже на аукционе в столице Бретани городе Ренн, в 1957 году.****

Наиболее представительная за последние годы персональная выставка работ Гиршфельда проходила в 1989 году в галерее Депуа (Depoid) в Кемпэр. Были выставлены "Выход рыбаков в море", "Море в лунную ночь при отливе"... Журналист Ивон Ле Флош (Yvon Le Floch) писал в газете "Запад Франции": "Живописная морская жизнь Бретани напоминала Гиршфельду город его рождения (Одессу. — **М. О.**)"

Умер Эмиль Гиршфельд скоропостижно, в возрасте 54 лет.

Он остался в памяти бретонцев артистом с загадочной "славянской" душой, сумевшим полюбить и выразить красоту Бретани.

Примечания

* Во французской литературе закрепилась составляющая "Benediktoff", которую ассоциируют то с именем "Emil-Benediktoff", то с двойной фамилией "Hirschfeld-Benediktoff". Но картина "Пятидесятилетие свадьбы", например, подписана "E.B. Hirschfeld", некоторые другие: "Emile B. Hirschfeld", что для меня стало подтверждением того, что речь идет об отчестве — "Бенедиктович" (которое, кстати, не существует во французском языке).

** Пятнадцать лет назад, впервые после отъезда из Одессы встретившись с морем в Бретани, я подумал, входя в, казалось бы, небольшие волны: "Ну вот, наконец, здравствуй, океан!.." — и тут же был схвачен, закручен, брошен вниз взбесившейся горько-соленой водой, захлебнулся... Не-ет, это не идиллия одесского берега, не Аркадия, не Бугаз. Одним словом — Нефонтан. Это просто Другая Красота.

*** Корнуай (Cornouaille) — северный район Финистер, кристаллическое плато, полого спускающееся к океану, эталон штормовых ветров — мыс Ра (pointe du Raz), каменистые пляжи, прорезанные утесами, цитадель бретонских сепаратистов.

**** Если говорить о продажах на аукционах, основном инструменте оценки художественных произведений сегодня, то возможно, будет интересно узнать, что я насчитал 7 работ Гиршфельда, которые были проданы с мая по декабрь 2006 года на аукционах Франции от 400 до 6000 евро. Например, мэрия Дижона в Бургундии приобрела "Останки кораблей" за 3500 евро.

Лион

Несколько слов в дополнение

Гиршфельд Емельян (Эмилий-Бенедикт) Борисович родился в 1867 г. в Одессе, умер в 1922 г. во Франции, в Конкарно.

В начале 1880-х учился в Одесской рисовальной школе. Его этюд значится в "Каталоге работ учеников школы рисования Общества изящных искусств, находящихся на выставке в малой Биржевой зале, открытой с 23-го февраля по 11 марта 1884 года". Известно, что после Одессы он уехал в Мюнхен, где занимался в Академии художеств, затем продолжил образование в Париже – работал в ателье В.-А. Бугро, у Ж. Лефевра и Т. Робера-Флери, известных салонных живописцев и педагогов.

С 1892 г. Гиршфельд – постоянный и успешный участник парижских салонов. Уже в год дебюта в салоне Национального общества изящных искусств была премирована его работа, а в 1894 г. за картину "Старый флаг" он получил медаль салона Общества французских художников. И в последующие годы участие Гиршфельда в салонах отмечалось официальными наградами и благосклонными отзывами критики, а в 1910 г. он был удостоен ордена Почетного Легиона. Весной 1914 г. в Париже прошла персональная выставка художника.

Гиршфельд поселился в Бретани, в приморском городке Конкарно, где провел большую часть жизни. И почти все его картины – как пейзажи, так и жанры – сюжетно связаны с морем.

Не прерывались и контакты с Одессой. Зиму и весну 1897 г. он провел в родном городе, о чем сохранились свидетельства в подробной хронике одесских газет тех лет. Принял участие в весенней выставке, организованной местными художниками С. Кишинев-



Эмиль Гиршфельд. Старый флаг. Иллюстрация из каталога салона 1894 г.

ским, Я. Бродским и И. Паолини. Из рецензии "Художника" (Николай Вучетич): "Большою выразительностью, продуманностью, чувством и настроением отличается одна из лучших на выставке жанровых картин "Разлука" г. Гиршфельда. Она была уже выставлена в Париже в Салоне Елисейских полей и удостоилась самых лестных отзывов парижской печати /…/ Художнику вздумалось передать на полотно одну из самых обыденных житейских сцен: молодой матрос трогательно прощается и, как видно, надолго, со своей возлюбленной. Расстающихся окружает деревенская обстановка какого-то приморского хутора; на дворе стоит теплый летний вечер; воздух наполнен туманною мглою вечерних испарений моря. /…/ По технике и мастерству, с каким написано это большое полотно, г. Гиршфельда следует считать не только талантливым, но и весьма серьезным, добросовестным художником" (Театр. 10.03.1897).

Несколько позже на выставку поступили еще три работы Гиршфельда – "Охота на вальдшнепов", "Охота на рябчика" и уже упоминавшийся "Старый флаг". "…О многочисленных картинах, появившихся на выставке за все это время и не вошедших в каталог. Самая лучшая и значительная из них – "Старый флаг" г. Гиршфельда. /…/ …так много выражения, жизни и непринужденности, что нам долго не хочется отойти от прекрасной картины, удо-

стоенной в Париже на выставке Салона Елисейских полей медали и делающей большую честь ее даровитому автору. В картине этой есть, по нашему мнению, только один недостаток – вялость красок, какая-то туманность, напоминающая туманность воздуха в "Разлуке" /…/ Недостаток этот, как теперь ясно видно, присущ художнику и относится к области современных увлечений особою манерой и немалых заблуждений в воздухе, составившем *idee fixe* пленеристов" (Н. Вучетич. – Театр. 28.03.1897).

Столь же благожелательно отзывалась одесская критика и на участие Гиршфельда в выставках Товарищества южнорусских художников в 1901-1902 гг. Кстати, в 1901 г. он стал членом товарищества.

В последний раз одесская публика увидела две картины Гиршфельда в I салоне В. Издебского 1909/10 гг. – они значатся во всех вариантах каталога и, соответственно, были показаны в Одессе, Киеве, Санкт-Петербурге и Риге. Газета "Киевлянин" отмечала: "Платит дань импрессионизму и г. Гиршфельд в картине "Летний вечер", очень хорошо выдержанной в тоне сумеречного мечтательного настроения. Другая его картина, "На мосту", тоже хорошо написана, но уже в стиле самого здорового реализма" (1910. № 56).

Начавшаяся мировая война, а затем события революционных лет не дали художнику возможности участвовать в более поздних одесских выставках. На родине его практически забыли. А во Франции его работы – в музейных и частных собраниях, его творчество изучают. Подтверждение этому – присланный в прошлом году из Парижа Кириллом Махровым альбом-каталог выставки "Peintres Russes en Bretagne" (выставка состоялась в Бретани в июне-сентябре 2006). В одном ряду с А. Бенуа, И. Билибиным, З. Серебряковой и другими славными именами – одессит Эмилий Гиршфельд.

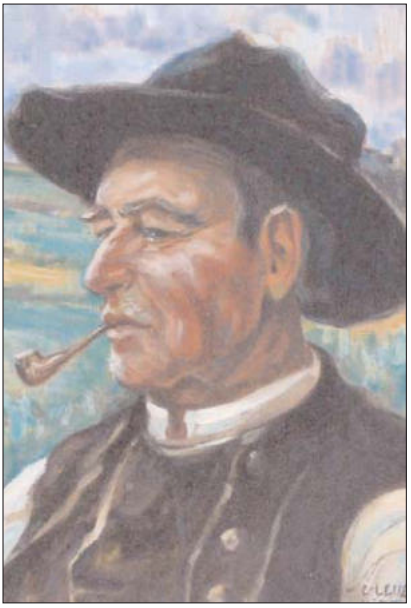
Ольга БАРКОВСКАЯ



Парусные лодки для ловли тунца у набережной
Золотая свадьба (1893)









Валентин МАКСИМЕНКО

Новый поэтический сборник и вся жизнь

Опыт не рецензии, а рассказа о жизни хорошего человека

Передо мною один из первых прибывших в Одессу экземпляров книги "Пейзажи Нью-Йорка". Эта книга вышла, как теперь говорят, в "дальнем (очень дальнем) зарубежье" и принадлежит перу моей в недавнем прошлом коллеги по ОНПУ Евгении Львовне Кричевской.

В своем новом сборнике стихотворений Е. Л., по сути, рассказала об узловых моментах своей жизни, которая не баловала ее, но не смогла лишить оптимизма, любви к науке, искусству. На обложке обозначено "Нью-Йорк — Одесса". Мне кажется, что точнее было бы написать "Одесса — Нью-Йорк — Одесса". Дело в том, что в "Милом политехе", как она назвала свой цикл, посвященный родному вузу, Е. Л. проработала... 52 года. Она автор более 100 научных работ, кандидат химических наук, доцент. К слову, Е. Л. окончила этот институт, когда он назывался Индустриальным. Долгие годы сотрудничала с Новосибирским институтом катализа, куда летала не один десяток раз.

Может быть, вы, уважаемый читатель, решите, что все в прошлом, если узнаете, что этому человеку 93-й год? (Она никогда не скрывала свой возраст и гордится им, об отношении со старостью — чуть позднее.) Судите сами, прочитав отрывки из недавно полученного ею письма.

"Рады, что Вы сохраняете творческую активность и интерес к истории нашего института (это Новосибирский институт катализа имени Г.К. Борескова, первого научного руководителя Е.Л. Кричевской. — **В. М.**) и его основателю... Намечена дата Международной конференции — 4-8 июля 2007 года... Присылайте материалы, мы будем Вам очень признательны и обязательно поместим их в сборник, который планируем выпустить до начала конференции, т. е. в мае-июне 2007 года..." Вы обратили внимание на год?

С 1998 года Е.Л. Кричевская живет в США. Первый раздел ее книги называется "Предотъездное". В нем трогательный и честный рассказ о трудном для человека ее возраста решении о перемене места не жительства — жизни... Ее телефон, главное средство связи с внешним миром для больного и почти полностью слепого человека, на новом месте практически замолкнет...

...Слезы прощанья льются,
Сильные уезжают,
Тихие остаются...
...Я забывать не вправе,
Что мы живем на вулкане,
Что есть в этом мире "Память"...

Она понимает диалектику жизни и далее неожиданно меняет оценку:

...Самолет взлетает,
Слезы разлуки льются.
Смелые уезжают,
Стойкие остаются.... (курсив мой. — **В. М.**)

...И сердцу хочется верить,
Мы еще будем вместе,
Тот, кто навек уехал,
И кто остался на месте...
Не знаю, как это будет,
Но хочется верить — будет!

Ее тревожит естественный вопрос: "Что ожидает нас? Утонем или выживем?".

... Какой бы ты ни была, Америка,
Приют для беженцев из самых дальних стран,
Здесь отделит нас от родного берега
Не море теплое, а грозный океан!

Сегодня мы знаем, что семья нашей героини, к счастью, "выжила". И телефон ее не замолчал! И сама она часто звонит нам, в родную Одессу.

Чего греха таить, многие, уезжая, вынужденно бросали на произвол судьбы домашних животных, стараясь поскорее забыть об этом. Мне кажется, что одно из самых значительных стихотворений Е. Л. — посвященное коту Кузе.

Милый кот, тебя мы предали...

Рассказав о жизни кота в семье, радости общения с ним, Е. Л. так кончает свое стихотворение:

В нашем горестном изгнании
Станешь ты воспоминанием,
Что, как всякое предательство,
Не простится никогда.

Такое признание мог сделать только душевно чистый человек. Такой, как Евгения Львовна...

Второй раздел книги собственно и дал название сборнику. Это рассказ о новой жизни, о поиске путей общения, о Манхеттене и "Оркестре сеньоров", давно не работающих музыкантов, которые раз в году собираются, чтобы дать концерт и почувствовать себя нужными людям, это рассказ о новом друге, эмигрантке из Одессы 70-х годов Розе Бунчик, матери поэта Юрия, издавшего уже несколько книг. Светлому человеку Розе, помогающей бескорыстно всем новым иммигрантам, которым одиноко и трудно вне привычного круга общения, посвящено стихотворение "Ирисы". Е. Л. пишет, что для нее в американских ирисах "запах Родины таится...".

Но есть особенность в их цвете,
На чувство горькое намек,
Ирисы русские — в соцветье,
Цветок Нью-Йорка — одинок

(в американских магазинах ирисы продаются с одним цветком на стебле).

Е. Л. пишет о неизбежной для чувствующего, думающего человека ностальгии.

...Прихожу я на берег песчаный,
Где шумит неумолчный прибой,
Сквозь безбрежную даль океана
Я лечу к тебе, город родной!

В своих письмах она тревожится о судьбе нашего Театра оперы и балета, интересуется сроками окончания ремонта, его качеством, она, которая никогда не увидит театр, где когда-то бывала с мужем, друзьями...

На пороге нового тысячелетия Е. Л. вспоминает всех, кто дорог ей в Одессе. И снова:

Пусть же светятся в веках
Театр наш и наш маяк.

Она изучает шрифт Брайля и обучает ему других людей, посвящает благодарный стих ныне живущему в Америке одесскому артисту Александру Краснопольскому, озвучившему книги для незрячих, называя его Волонтером:

В глазах слепого свет мерцает,
Он не погаснет до тех пор,
Пока нам Бабеля читает
Незримый миру волонтер.

Сама Е. Л. пишет статьи о новой жизни, присылает в Одессу, и мы стараемся их публиковать. Она печатается в американских изданиях, где опуб-

ликовала уже более двух десятков материалов. Е. Л. активный член Нью-йоркского клуба любителей книги, где выступает с интересными сообщениями, пользующимися успехом у членов клуба. Просит присылать ей книги, но непременно — сперва для клуба, потом для нее, что я и делаю...

Трогательное стихотворение посвящено "новому одесситу" американцу Хобарту Эрлу и нашему филармоническому оркестру. Мне очень хочется подарить Хобарту сборник Е. Л., и я просил прислать экземпляр для него.

Неожиданное стихотворение она посвящает своему одесскому знакомому, ныне бизнесмену Б.

Его империя огромна,
В ней реки красного вина
Текут на Запад. Пышут домны.
Струится нефть с морского дна...
Он как король сидит на троне,
Но под дамокловым мечом...
...Вдруг вспомнит он былые годы,
Иную жизнь и мир иной,
Когда счастливый и желанный,
Благословенным майским днем
Без кошелька и без охраны
Он шел по улице пешком.

(Фрагменты.)

Она уважает этого человека и, беспокоясь о нас, рекомендует обращаться к нему как к спонсору. Признаюсь честно, что ни разу ее советом воспользоваться не смог...

Е. Л. вспоминает об эвакуации, о радостном, но нелегком возвращении домой, о муже Борисе Аганине, с которым прожила 42 счастливых года, о дочери Наташе, внуках и правнуках, об ушедших друзьях ("ведь рядом с Вами мы стали лучше и добрей..."), о дорогих сердцу походах (Нью-Йорк для нее 103-й и, наверное, последний город), о "рецепте", "как прожить до 90" ("С наслаждением трудиться, не искать перо Жар-птицы и глядеть на мир людской с юмором и теплотой")...

Сама она это умеет. Чего стоит ее самокритичный поэтический автопортрет, в котором Е. Л. явно преувеличивает свои несовершенства... А уж трудится, как немногие. Е. Л. — сгусток энергии Добра. Она заботится о нас, ее младших и теперь далеких коллегах, помогая преодолевать неприятности, беды... В одном из писем в Одессу Е. Л. говорит о жизненной энергии своей матери, по сравнению с которой ее собственная — "ничто"...

Трудно, невозможно представить себе, каким вулканом должна была быть ее мать, воспитавшая такую без преувеличения поразительную дочь...

Е. Л. не может не размышлять о старости. Обращаясь к сверстнице, двоюродной сестре Вере, она пишет:

Если в дождливый вечер,
В часы своего досуга,
Ты не выйдешь на улицу,
Чтоб повидать подругу...
Если ты больше не плачешь
Там, где вчера рыдала,
Значит, старость явилась, —
Вот где ее начало,
Безразличие к жизни,
Равнодушие к людям...
Милая, дорогая,
Мы такими не будем!

В своем сборнике Е. Л. рассказала не только о себе и близких, она рассказала о нашей жизни, о "судьбах людских". Своим примером она помогает жить другим.



Ласло САБО

Книга об Одессе — в Венгрии

В конце 2006 года в издательстве "Баба эш Тарша" (г. Сегед) вышла книга доцента местного университета литературоведа-слависта Иштвана Феньвеши. Мы обратились по Интернету к автору с просьбой познакомить наших читателей с монографией "Нас покорила Одесса. Город в истории венгерской культуры".

— Такого рода книги о культурных контактах заграницы с Одессой сколь дороги для нас, столь и, к сожалению, нечасты. Иштван, не расскажете ли коротко о ней?

— Да, насколько мне известно, это первая работа в этом роде. В ней я представил сумму тех сведений, которые накапливались у "среднего венгра" об Одессе в 19-20 вв., собрал основные моменты творческих контактов в сфере науки, литературы и искусства, и через все это пытался выявить главные направления творческой энергии, излучавшейся ее носителями.

Здесь дана, в первую очередь, Одесса глазами венгров. Первые приведенные данные о городе датируются 1805, последние — 2005 гг.

— В объемистой синей книге 428 страниц. Расскажите о ее структуре.

— Во введении описаны параллельные моменты развития Будапешта и Одессы в 19-20 вв., специфика социально-культурно-психологической среды в Одессе, факторы, определившие ментальностъ ее жителей. Главный среди них — это "неизгоняемый дух суверенности" (Л. Зорин), именно он выступает определяющей чертой типа *homo odessicus*.

— Надо полагать, книга, в основном, обращена в прошлое? Не боялись ли вы, что получится некая "лавка древностей"?

— При объекте исследования, которому исполнилось всего двести с хвостиком лет, даже вопрос такой вызывает улыбку. Если серьезно — лишь пять глав посвящены 19 веку, все остальное — это наше вчера, век двадцатый. А самая последняя — отчасти вовсе о 21-м.

В первой половине 19 в. там жил венгр, входивший в круг друзей Пушкина. Другой наш соотечественник, будучи в Одессе, перевел "Кавказского пленника". В местном альманахе печатались произведения венгерских классиков. Наш путешественник оставил колоритнейшее описание города 40-х годов. В художественной жизни города участвовали трое венгров. Концерт Ф. Листа 1847 г. — вершина музыкальной хроники тех лет.

Немало одесских следов и в истории венгерской революции 1848-49 гг. Взять хотя бы судьбу рядового Одесского полка, перешедшего на сторону венгров. Нет уже смысла лицемерно игнорировать и факт гибели

Шандора Петефи от пик одесских уланов в битве под Шегешваром 31 июля 1849 года. Дается подробный обзор материалов о восприятии стихов поэта в Одессе в 19 — начале 20 вв.

В отдельной главе собраны материалы об одесских ученых, побывавших в Венгрии. И. Мечников был на будапештском конгрессе по гигиене и демографии в 1894 г., а Д.Л. Рубинштейн — участник всемирного конгресса зоологов в венгерской столице в 1927 г. Минералог Шандор Кох вспоминает о влиянии на него учения А. Ферсмана. Широко известна у нас деятельность офтальмолога академика В.П. Филатова, психолога академика С.Л. Рубинштейна. Четыре ученых-одессита избраны почетными докторами венгерских университетов. Вузы города стали *alma mater* для многих венгерских студентов.

В "зеркальной" по отношению к предыдущей главе приводятся материалы о командировках крупных наших ученых в Одессу (геолога, историка, лингвиста, археолога и др.) в 19 в. Подробно излагается история исследований Кавказа жившим в Одессе три десятилетия Мором Дечи. В 20 веке трое венгров стали почетными докторами ОГУ.

В разнообразном материале конца 19 — начала 20 вв. прослеживается возможность изучения русского языка для деловых контактов с Россией, в т. ч. и в Одессе. Два журналиста — одессит и будапештец — дают зарисовки жизни и быта городов друг друга. Деятельность венгерского дирижера Артура Никиша в России, в частности, в Одессе, а также выступление скрипача Миши Эльмана у нас служат началом нового периода музыкальных контактов. Подробно освещается восприятие в начале 20 в. русских писателей Одессы — А. Куприна и В. Дорошевича, еврейских авторов Л. Кармена, С. Юшкевича, Бялика и Шолом-Алехема.

— После столь обильного урожая по первому веку связей — чем мог превзойти его следующий?

— Прежде всего, расширением социального охвата. Оно начинается "потемкинским" годом. Восстание броненосца вызвало в Венгрии острейшую реакцию, причем не только в публицистике (один из лучших журналистов освещал события с места), но и в литературе: стихи наших классиков — Эндре Ади и Йожефа Киша — можно отнести к художественным вершинам освещения темы.

— Судя по двум главам, вы не уклонились и от изучения выразителей "негативной энергии".

— В главе "Из реального училища Св. Павла в мировую историю" я прикоснулся к тому, что было неприкасаемым в течение 70 лет: как венг-

ры воспринимали самого известного выходца из Одессы — Льва Троцкого. Здесь использованы свидетельства свыше полусотни писателей, журналистов, общественных деятелей, ученых различных идейных направлений и жанров (1907-2002). Из них вырисовываются не только личные воззрения авторов, как правило, независимые, неподцензурные, но и воспринимаемый с самого начала в его противоречивости характер политика.

Не обойден и уроженец Одессы главный обвинитель на московских процессах и автор книги "Теория судебного доказательства в советском праве" А.Я. Вышинский. Его "практическая деятельность" и разработанная им теория "признание обвиняемых как королева доказательств" (нонсенс для юриста в любой стране мира!) послужили образцом для проведения подобных процессов на основе ложных обвинений и в Венгрии, начиная с 1948 года.

— В этот общественно-политический круг входят и главы, сухо обозначенные лишь годами, например, 1914-1918?

— О первой такой уже была речь выше, в связи с Петефи. Таких еще три. В главе о 1914-1918 гг. речь идет о военнопленных (в т. ч. о художнике Л. Мохой-Надь), рассматриваются: солдатская песня "Стоит в одесском порту военный корабль..." (лето 1918 г.), а также "Маленький негодяй" И. Ильфа и "Спящий" В. Катаева — о венгерских оккупантах.

В первом разделе главы о 1941-1945 гг. помещены эпизоды, связанные с обороной Одессы (воспоминания этнических венгров из румынской армии, данные современного венгерского историка о неслыханной по масштабам расправе над евреями после взрыва 22 октября здания румынского командования, отрывок из воспоминаний генерала Ковтуна о майоре Красной Армии венгре Шандоре Петраше — защитнике Одессы и др.).

В раздел "Освободители" включены имена свыше сотни одесситов, участвовавших в боях на территории Венгрии. В качестве их представителей предстают пятеро уроженцев Одессы, от маршала Советского Союза Малиновского до старшего сержанта Лысенко.

В разделе "Венгры ГУЛАГа" публикуется отрывок из книги воспоминаний Яноша Рожаша "Горькая молодость" (предисловие к ней написано его товарищем по Экибастузскому лагерю А.И. Солженицыным) об одесской тюрьме, служившей пересыльной для увозимых на советскую каторгу.

В главе о 1956 г. документально повествуется о двух очень разных одесситах. А в разделе "Искажающее зеркало" рассматривается роман Дм. Сергиевича "Гроза на рассвете" (1973).

— Однако, как я понимаю, не эти главы определяют основной облик одесского XX века?

— Совершенно верно, главное внимание и здесь уделяется литературе, искусству и музыке. Например, там, где содержатся материалы о венграх, проживавших или пребывавших в Одессе в период 1920-1940 гг., речь идет об общественном самочувствии писателей-эмигрантов А. Гидаша и Э. Шика, о приездах в город М. Золка, о людях искусства, работавших в Одессе (приехавших, например, на гастроли, как Бела Барток и скрипач Йожеф Сигети, для съемки картин — как кинооператор Миклош Фаркаш). Подробно освещается написанное об Одессе побывавшими здесь для знакомства с городом писателями — Лайошем Надем и Реже Бехтом из Венгрии, Марцеллом Янковичем из Чехословакии и Эрвином Шинко из Югославии, интерес которых ко всему увиденному искренен и непредвзят. Но, как заметил Бабель в свой приезд в Марсель, он там увидел, какой могла бы быть Одесса... А эти наши писатели увидели, какой она стала: "Одесса была великолепным городом в царские времена. Теперь она выглядит потрепанной, заброшенной, производит удручающее впечатление" (из очерков Лайоша Надя 1934 г.).

К этому смысловому блоку, "Одесса в венгерском зеркале", примыкают еще две главы. В одной ("Венгерские писатели о городе") печатаются отрывки 1830-2005 гг. из произведений писателей, не бывавших в Одессе. Это упоминания названия города в определенной связи с сюжетной линией, с ходом мысли авторов. В другой рассматриваются наиболее интересные произведения, написанные после 1945 года на основе личных впечатлений.

Процесс восприятия творчества большой одесской литературной плеяды дан в двух временных планах. В межвоенные десятилетия (1920-1941) доминируют цикл рассказов Бабеля "Конармия" (перевод 1927 г.) и сатирическая дилогия Ильфа и Петрова (1934). С 1929 года переводят рассказы В. Инбер о детях, "Растратчиков" В. Катаева и его же "Время, вперед!" (1935). Они вместе с Олешей и Паустовским выступают и в антологии малой прозы "Современный русский декамерон" (1936). "Квадратура круга" Катаева ставится в 1931 г. в двух городах. Приводятся оценки высокого художественного уровня написанного ими.

В послевоенные полвека, когда значительно расширяется число переводимых их произведений и круг их читателей, одесским автором, более всех затребованным в Венгрии, оказался Бабель. Его произведения изданы в Венгрии полностью, включая переписку и дневники. Отклики критики на них обнаруживают как широту исследовательских подходов, так и глубину теоретического проникновения.

Багрицкий удостоился перевода двух сборников стихов. Отмечаются его контакты с венгерскими писателями-эмигрантами.

Произведения Ильфа и Петрова разошлись среди читателей в двух десятках изданий, их романы воспринимались как остросовременные. Они зажили и на театральной сцене, и на радио, и на телеэкране.

В творчестве Веры Инбер критика отмечает тихий культурный голос и стремление к естественным формам.

Наряду с Бабелем В. Катаев — самый известный у нас писатель-одессит. Все его произведения переведены на венгерский. Его новая, "мовистская", проза признавалась чрезвычайно созвучной современной венгерской. Чрезвычайно популярен он и в театре. В "Квадратуре круга", не сходящей со сцены вот уже свыше 70 лет, зритель сменяющих друг друга общественных режимов продолжает находить вечно человеческое.

Широко известен в стране Паустовский, все его главные произведения переведены. Некоторые выдержали ряд изданий. Наиболее живой отклик вызвали книги его воспоминаний.

В главе отмечена известность в стране произведений М. Алигер, Б. Житкова, Ю. Либединского, Л. Славина и К. Чуковского.

— Заинтересовали ли венгров одесситы — представители других видов искусства?

— Хоть совсем не много, но есть в венгерских собраниях и произведения одесских художников, это в 18 главе: рисунок мелом жившей во Франции художницы Сони Делоне (до замужества — Терк) в Будапештском музее изобразительных искусств, два горельефа работы Н.В. Блажкова (Л. Заменгоф и эсперантист Василий Ерошенко), хранящиеся в сегедской библиотеке им. Шомод, и не в последнюю очередь — два десятка офортов Давида Беккера в коллекции автора книги.

А главное, разве возможно забыть о великих музыкантах-исполнителях из Одессы, из школы "папы Столярского"? Второй, главный раздел главы посвящен триумфальным выступлениям Э. Гилелъса, Д. Ойстраха и С. Рихтера в течение полувека, с 1947 по 1995 гг. Поскольку многообразные отзывы музыкальной критики о творчестве этих гениев исполнительского искусства невозможно передать в виде сжатых до максимума фраз жанра резюме, приводим названия посвященных им разделов и подразделов. Они состоят, как правило, из наиболее выразительных цитат об их выступлениях.

Виртуоз Гигельс. "Премьера: высшая школа игры на фортепиано". "Решающая межа". "Концерт-прощание".

Царь Давид. "Штурм билетных касс ради звука скрипки". "Паганини наших дней". "Дирижер хотел только музыки, ничего иного". "Лебединая песнь". "Ваш народ столь музыкален..."

Мы все выросли на Рихтере. "Начало". "Легенды, или К нам поселился Олимп". "Только внешность?" "Лист нашего времени". "По правде говоря, о нем невозможно писать". "Среди венгров". "Его сила заключалась в свободе".

— А почти уже полувековые связи городов-побратимов Одессы и Сегеда (многие одесситы помнят острый вкус сегедской ухи — халасле) — нашли ли место в книге?

— А как же без этого? Десятки тысяч людей ездили друг к другу. У нас пили токайское. У вас купались в море... В 19 главе делаю попытку объективно подытожить эти связи, по сферам общественно-социальной жизни, уделяя особое внимание приобретенному конкретному опыту в отдельных сферах.

Наиболее долговечные результаты дали контакты между высшими учебными заведениями. В систему подготовки специалистов органически вошел регулярный обмен студентами ряда специальностей (историков, географов, медиков, пищевиков и др.). Подлинное творческое сотрудничество установилось между многими учеными на самых различных кафедрах сегедских и одесских вузов.

В вышедшей в 1984 г. совместной антологии "Веселка над берегами", в одесском издании 9 украинских и 6 русских поэтов печатались каждый на родном языке, а 11 сегедских — на украинском; в сегедском же, естественно, — все на венгерском.

Одесса оценила мастерство оперных певцов Сегеда. Искусство же певцов с берегов Черного моря и мастеров одесского балета, начиная с 1975 г., предстало во всей полноте не только перед зрителями сегедского оперного театра, но и Сегедских летних игр 1986 года. Ряду их спектаклей в том же году от души аплодировали также и зрители венгерской столицы.

— В 80-е годы вы бывали в Одессе, и делились с земляками увиденным. Вошли ли в книгу эти заметки?

— Я включил в последнюю главу все три путевых очерка, они, оказывается, не устарели. А вот с тех пор, увы, не довелось побывать на Дерибасовской. Как-то все же хотелось закруглить их. Соорудил этакий "виртуальный" репортаж, в основном, по уже доступному, к счастью, Интернету.

— Спасибо за интервью.

— Это вам и читателям спасибо — за терпение. Авторы же все одинаковы, им все важно.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Портреты одесских художников

Одесская художественная школа всегда славилась, прежде всего, своей живописью. Еще бы, почти сами открыли импрессионизм, ну, пусть не импрессионизм, так пленэрную живопись.

И все-таки рисовальщиков, превосходных мастеров рисунка, в нашем городе было немало. Жаль, что имена их меньше известны, подчас почти забыты.

Недавно у одного искусствоведа я увидел папку с рисунками-портретами одесских живописцев. Первым в ней был автопортрет художника, неистового рисовальщика, который не расставался с карандашом, тушью, пером всю сознательную жизнь. К сожалению, имя его почти забыто, а необходимо, чтобы воспринимать художественный мир Одессы целостно, вспомнить и его — Александра Дмитриевича Чемисова.

Он родился в 1885 году в Дмитровске Орловской губернии, прожил долгую жизнь, закончив ее в Одессе в 1969 году. Учился живописи в Петербурге с 1909 по 1913 год, перед революцией переехал в Одессу, где продолжил образование, занимаясь в 1921-1927 годах в Одесском художественном институте у П. Волокидина, Т. Дворникова, В. Заузе. Затем многие годы преподавал рисование в средних учебных заведениях.

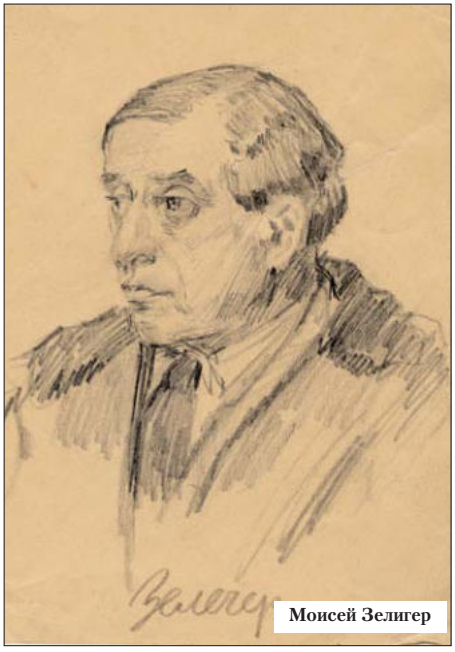
Думаю, что судьба была неблагосклонна к Чемисову, так как он остался в оккупации, принимал участие в выставке 1942 года. Забылось даже то, что в 1928 году он показывал в Одессе свою персональную выставку. И все же и после войны Чемисов пришел в Худфонд, по мере возможностей участвовал в одесских художественных выставках.

Папка, увиденная мной, бережно сохраненная любителем искусств Е.О. Лукашевым, дала возможность увидеть работы А.Д. Чемисова — послевоенные портреты художников Одессы, как "левых", так и "правых" — от Теофила Фраермана до Леонида Мучника, Николая Шелюто, Николая Павлюка, Петра Пархета.

Нужно напомнить, что рисунки А. Чемисова опубликовал М. Пойзнер в альбоме-монографии "Одесса. Оккупация". Так из XX века возвращается в век нынешний более полное представление о городе, лицах людей, о творчестве незаслуженно забытых мастеров.



Александр Чемисов
Автопортрет



Моисей Зелигер



Леонид Мучник



Николай Павлюк



Николай Шелюто



Петр Пархет

Папка, бережно сохраненная любителем искусств Е.О. Лукашевым, дала возможность увидеть работы А.Д. Чемисова – послевоенные портреты художников Одессы, как "левых", так и "правых" – от Теофила Фраермана до Леонида Мучника, Николая Шелюто, Николая Павлюка, Петра Пархета.



Теофил Фраерман

Инна КАМИНА

Интересные люди: кто они?

На фотовыставке про одесских кошек и собак он был со своей давней знакомой, которую я тоже знала. Мы одновременно вышли на улицу и решили прогуляться по городу. Оказавшись возле дома моего знакомого художника, поднялись по узенькой деревянной лестнице в квартиру-мастерскую, чтобы продолжить разговор. Оттуда протянулась ниточка к этому интервью. Оно было готово к печати в марте 2004 года, но...

В 2005 пришлось чуть-чуть изменить врез и уточнить кое-какие детали, чтобы не отстать от жизни. Другой правки не вносилось.

— **Вопрос первый: интересные люди, кто они?**

— Их не так много в природе. Или мне не слишком часто везло. Так или иначе, если говорить об интеллектуалах, то выделяю Миру Кесаду (в именительном падеже — Миру Кесада). Он перуанец, доктор философии и математических наук, логик, один из создателей "философии освобождения", был профессором Национального университета Лимы, президентом Перуанского философского общества, членом Королевской испанской лингвистической академии, членом Руководящего комитета Международной федерации философских обществ и т. д. Вряд ли сейчас жив. Много воды утекло...

Он пришел в редакцию журнала "Латинская Америка", где я вел тогда отдел социально-политических проблем. Я знал, кто он. И чтобы не влезать в очень уж специальные вопросы, спросил: "Что такое философия? Что такое наука? Что такое искусство, этика? Как они связаны между собой?". И получил интересные ответы. Вот небольшой фрагмент из того интервью: "...не будучи наукой, философия находится с ней в очень сложных отношениях. У них общее начало. С какого-то момента человек начинает рационально решать стоящие перед ним проблемы... Из этого подхода рождается философия. Но вот тот, кто опирается на разум в познании мира, добивается успеха, находит метод, позволяющий быстро продвигаться вперед, — рождается наука... Но когда тот же самый научный метод подводит к проблемам, которые с его помощью не могут быть решены, тогда... возвращается философия. Поэтому немного в шутку, немного всерьез, не знаю, больше в шутку или больше всерьез, я скажу так: наука — это философия, которая одержала победу; философия — это наука, которая потерпела поражение".

Мне и сегодня это определение науки и философии нравится. А кроме

того, материал был опубликован в те времена, когда философия марксизма-ленинизма все еще была "непобедима" именно потому, что опиралась на "работающий" научный метод, была абсолютной наукой. "Философские тетради" были наукой. А иностранец, в конце концов, мог сказать все, что ему вздумается...

Из наших выделяю троих: Владимира Орлова, Александра Меня и Мераба Мамардашвили.

Владимир Орлов — автор романа "Альтист Данилов". Этот роман сделал его известным как писателя. Но я знал его как человека, интересовавшегося латиноамериканской литературой. И когда понял, как должна выглядеть по стилю книга, готовившаяся к 500-летию открытия Америки, и потребовался кто-то, кто смог бы написать в нее свой раздел "по-писательски", лучшей кандидатуры, чем Орлов, мне просто и в голову не могло прийти.

Имеется в виду книга "Три каравеллы на горизонте", изданная в "Международных отношениях" в 1991 году. Я обдумал ее как целиком свою. Но не хватало времени, и пришлось предложить издательству выпустить сборник. План книги при этом утвердили. Каждому из авторов предлагалась определенная тема. И с людьми нужно было разговаривать, чтобы избежать повторов. Такой разговор был и с Орловым. Позже только он показал мне свой заход — несколько страниц, написанных от руки. Это — профессионально. Ты — составитель, редактор. Вот и смотри. Если все так — пойдем дальше. А если нет, можно и по-другому, но в таком случае скажи: чего не хватает, что не так?

Все было так и о том. В сданном материале ничего нельзя было поправить — так плотно слова были пригнаны друг к другу...

Бесцельно включив телевизор, я открыл для себя Мераба Константиновича Мамардашвили. Несколько слов, сказанных им как-то не по-философски просто, и оппонент, выглядевший на телеэкране вроде бы убедительно и по-философски глубокомысленно, вдруг оказывался в необычной для себя ситуации, лишенным возможности опереться на заготовленный заранее ответ. Вся убедительность мгновенно испарялась. А Мамардашвили готовыми ответами не пользовался, легко извлекая их из контекста.

Просмотрев несколько старых книг, я обнаружил, что читал его. Кое-кто из моих знакомых слушал его лекции о Декарте, а кто-то даже работал с ним раньше. Но это было раньше. А в 1989 году он бывал в Москве наездами. Так что нужна была командировка в Тбилиси...

Меня впустили в его квартиру на проспекте Чавчавадзе около 11 часов

утра, за несколько минут до назначенного времени. Хозяин отсутствовал. Поэтому я видел, как он вошел с улицы — в шерстяном сером пуловере и клетчатой рубашке, в обуви, удобной не только для прогулок, но и для игры в теннис. Думаю, что он не любил пиджаков. Мы поздоровались. Начали проверять диктофон, не хотевший включаться. Он рассказал мне, что летом болел, а кроме того, ездил на конференцию в США. Показал привезенный оттуда компьютер, на который потратил весь свой гонорар. У меня была тогда всего лишь портативная пишущая машинка. В редакции, в машбюро, стояли две электрические — для двух машинисток. Постепенно разговор перешел на определенную заранее тему — открытие Америки.

Интервью опубликовано. Его можно прочитать. Здесь я хочу сказать о другом. Он заметил, что мне действительно интересно его слушать и что я понимаю, о чем он говорит. И ему тоже стало интересно. И я оказался внутри "платоновского диалога". На целый день. В конце разговора он сказал, что когда-то зарабатывал на жизнь не тем, чем ему на самом деле хотелось заниматься. Но неправильно откладывать главные дела на потом или заниматься ими после работы — специально, чтобы это было не за деньги. Так не получится. По крайне мере, у него не получилось. Сказано это было значительно более красиво...

Он немного ошибся. Я откладывал на будущее не философию, а стихи, поэзию. Но в целом совет, данный в скрытой форме, был правильным. Нужно превращать то, что тебе интересно, в свое основное дело, в профессию. По существу ошибки не было. Особенно, если Хайдеггер прав, утверждая, что мышление — это и есть поэзия. Случай, когда уместно процитировать Хайдеггера дословно: "...язык хранит изначальную сущность поэзии". Поэтому порядок слов в распечатке диктофонной записи был оставлен без каких-либо изменений. Хотелось сохранить интонацию, естественную "невылизанность" речи. И мне кажется, что голос Мамардашвили пробивается сквозь печатный текст и немного "шуршит" — как на пленке. И я слышу, как он чиркает спичкой и раскуривает трубку...

Когда он, провожая меня, открыл дверь на лестницу, нельзя было разглядеть даже самой верхней ступеньки. За дверью стояла по-южному черная поздняя ночь...

С Менем было по-другому. В редакции, а точнее, прямо на входной двери, повесили объявление: Вечер памяти Н. Бердяева, состоится там-то и тогда-то. Ведет Александр Мень.

Это был первый вечер, посвященный Бердяеву, анонсированный в Москве при советской власти после его высылки. Состоялся он в нояб-

ре 1988 года. Очень может быть, что в ЦДЛ. По крайней мере, вспоминается помещение, похожее на большой зал Центрального Дома литераторов. А сам Мень тогда был очень похож на свою фотографию с плакатов, сопровождавших его выступления позже. Имидж потом не менялся: черная ряса, на груди тяжелый серебряный крест, седые вьющиеся волосы, довольно длинные и жесткие, образующие самую настоящую гриву... Сгусток энергии.

Он хорошо чувствовал аудиторию и, чтобы остаться понятным всем, почти не коснулся философии Бердяева. Тем не менее, несложно было угадать, что человек на сцене — крупный. Он только выбирался из подполья. Я видел его впервые. И все же в перерыве подошел к нему и предложил написать эссе о Лас Касасе для "Трех каравелл", сказав примерно следующее: Вы — миссионер. Напишите о миссионере XVI века — о Лас Касасе. Перед испанцами и автохтонными цивилизациями — индейцами — после открытия Америки встала проблема интеграции в мир, в неожиданно увеличившийся мир. Перед нами стоит сейчас та же задача — интеграции в мир. Напишите об этом.

Слова "интеграция в мир" оказались паролем. Но... через полгода текст еще не был готов. Он прислал открытку к Рождеству и подтвердил в ней свое намерение написать статью. Мы были в контакте. И... топтались на месте.

Поэтому я решил встретиться с ним в одном из московских клубов. Спрашивать дорогу не пришлось. От метро пошел туда же, куда и все. Мень стал необычно популярен. Его наперебой начали публиковать гораздо более тиражные издания, чем журнал "Латинская Америка". И все же еще через полгода мне из рук в руки передали обещанный материал.

К тому времени к людям в рясах и с крестами на груди привыкли.

Александр Мень был частью оппозиции тоталитарному режиму. Мог стать философом, но стал теологом, протоиереем, таким образом (даже формально, внешне), резче подчеркнув свою оппозиционность. Трудно сказать, как сложилась бы его судьба, останься он жив. Его-то интересовал не обряд. Возможно, что в России появилась бы современная христианско-демократическая партия...

Не раскрыто убийство. Но его творчество открыто всем. Есть в нем и небольшое эссе о Лас Касасе — доминиканце, поставившем вопрос о праве индейцев на права человека в Средние века.

Сегодня, в условиях шабаша приблатненной массовой культуры, почти невозможно выжить таланту. Утверждающим, что так было и есть всегда и повсюду, я бы ответил: верно, если речь идет о постсоветском гео-

политическом пространстве. Здесь считается, что "можно раскрутить каждого". Принцип логичный, поскольку он связан с генезисом всей этой "географии".

Однако... приведу пример, свидетельствующий о том, что так дело обстоит не всюду. Разумеется, хорошо там, где нас нет, и Афродита небесная может соседствовать (и с начала времен соседствует) с Афродитой пошлой. Тем не менее, когда мегазвезда российского шоу-бизнеса, научившаяся работать локтями и когтями еще в СССР, решила поучаствовать в конкурсе эстрадной песни на Интервидении, ей вежливо поаплодировали (за смелость?), однако с Пиаф не перепутали. Внутри же она до сих пор остается "солнцем", возглавляя "фабрику звезд". Вдумайтесь: фабрику... Не так давно на том же конкурсе (по-моему, он ежегодный) уверенно провалилась очередная российская претендентка. И это обнадеживает.

Но вот еще один пример на ту же тему. Это пример наоборот. В августе 2002 года, переведя ровно половину книги Октавио Паса ("Двойное пламя"), я вынужденно остановился. Издательство готово было выпустить его эссеистику лишь при условии, что мексиканцы возьмут на себя расходы на краску, смазку, бумагу и т. д. Сейчас перевод все-таки издан. А книга, мягко говоря, не раскупается. Симптоматично, что в одном из центральных московских магазинов ее поставили в отдел научно-популярной медицинской литературы. Видимо, прочитав в подзаголовке слова "секс, эротика и любовь", решили, что ее место рядом со справочником по контрацепции. Речь о книге, переведенной на все основные языки мира. Русский оказался последним. Пас написал ее, после того как получил Нобелевскую премию. Логично предположить, что если бы он родился "здесь и сейчас" и попробовал издать свой самый первый сборник эссеистики, то с ним и разговаривать бы никто не стал. Следовательно, и Нобелевской премии у него не было бы.

Редактор (не главный) газеты "Коммерсант" сказал: "Сейчас не модно быть интеллигентом, модно быть интеллектуалом". Если эту фразу расшифровать, получится следующее: "Сейчас не модно быть интеллигентом, модно быть обслуживающим персоналом с высшим образованием". Отсюда следует, что люди, о которых я вам рассказываю, "вышли из моды". Как интеллектуалы они, конечно, состоялись, добившись в профессиональном отношении максимально возможного. Но, кроме того, каждый из них — личность, интеллигент до мозга костей. Вот что говорит Миру Кесада: "С этикой проще. Я думаю, что интеллигент — тот, кто занимается наукой, философией, заключает договор с самим собой и с обществом. Опираться на разум, посвятить себя поиску рационального решения проблем — то же самое,

что стремиться к истине, к правде. А тот, кто стремится к правде, должен изобличать ложь, говорить правду. Это иногда нелегко. Иногда чревато неприятностями, опасно... Но нужно иметь мужество и необходимо проявить его настолько, насколько его достает".

Мамардашвили имеет в виду то же самое, напоминая, что человек рождается вторым рождением: сначала рождается животное, а лишь потом — человек. Твое рождение (человеческое) — это твое собственное деяние! А родившись, ты должен быть подобным луку с натянутой тетивой. Ведь только напряженный лук посылает стрелу. Стрелу истины.

Здесь я переадресую вам вопрос Мераба Мамардашвили из интервью с ним, которое, по сути, начал пересказывать: "Как посолить соль, если она несоленая?". Вопрос старый и всегда новый... Я не знаю на него полного ответа. Но мне точно известно, что когда Елена Дунская поет, кристаллики соли возникают. Речь об эстетике трудного. Это та соль, без которой нет человеческого измерения. Речь о символически обозначенном. О ценностях. Их нельзя "пощупать" и материализовать. Слишком хрупко и нематериально. Но уберите этот срез абсолютного или лишь потенциально возможного, и (как гениально просто сказал Мераб Константинович) реальный мир расплющится, станет плоским, мертвым... Иногда мир именно таким и кажется. К счастью, это всего лишь кажимость, потому что "воздушные замки", обозначаемые такими категориями, как "свобода" или "моральная ответственность", — тоже реальность.

Я вспомнил случаи, когда отношения с людьми складывались удивительно легко. Но так происходит не всегда...

— Вопрос второй: Бывает, что сначала человек что-то напишет или скажет, а потом событие случается. У вас были такого рода случаи мистики — чудесных совпадений или угадываний?

— Осенью 1989 года, то есть задолго до "Беловежской пущи", участвуя в "круглом столе", за которым обсуждались возможные модели развития и в этой связи возможности тоталитаризма, авторитаризма и демократии, я сказал буквально следующее: "...в связи с вопросом "легко ли стать Европой" хочу спросить: не реальнее ли выглядит превращение СССР в Латинскую Америку? В регион из пятнадцати де-факто не зависимых от Москвы республик, но с "латиноамериканской" зависимостью от Запада, со своими Перу, Аргентиной, Сальвадором, где демократию то и дело приходится подпирать авторитаризмом. Но сначала-то нужна демократия...". Цитату можно проверить — "Латинская Америка", 1990, № 2, с. 57.

Не уверены, что здесь присутствует мистика? Тем не менее, угадывание состоялось. А вопрос можно чуть-чуть повернуть. Угадывание состоялось благодаря интуиции, чудесному качеству сознания, которое само по себе — чудо. Это чудо, в свою очередь, связано с другим — с жизнью. Я имею в виду не поэтическую метафору. Посмотрите, что говорит ученый, физик, астрофизик и биолог — нобелевский лауреат 1903 года — о происхождении жизни, о том, как она возникла на Земле. Он считает, что облака бактерий, как бы взвесь, состоящую из спор, занесло на Землю из космоса. Споры осели на Землю, оказались в благоприятной среде, а дальше начался естественно-эволюционный процесс.

Фамилия этого ученого — Аррениус. Он высказал свою гипотезу на заре прошлого века. Он не знал, что даже споры микроорганизмов, оказавшись в открытом космосе, были бы убиты жестким космическим излучением. Но другой нобелевский лауреат, наш современник (Френсис Крик, открывший двойную спираль ДНК), знал о космосе больше. И в результате предложил еще более фантастическую теорию, поместив бактерии в оболочку, неуязвимую для метеоритных дождей и космических лучей. Такой оболочкой мог быть космический корабль. Гипотеза покажется вам еще более невероятной, если вспомнить, что она замешана на этике: корабль на Землю отправила гибнущая цивилизация, чтобы спасти не себя, а саму жизнь.

На эти сюжеты написан не один десяток киносценариев. Отснятые фильмы мы смотрим как развлекательный жанр — фантастику. Но ведь выдающиеся ученые не ставили перед собой цели прославиться в качестве фантастов. Наоборот, они стремились объяснить происхождение жизни на Земле так, чтобы их объяснения как можно меньше напоминали фантастику, чудеса и мистику.

Я не против такого рода мистики. Я против ее вульгаризации, против современных мифов и невежества. Что такое в чистом виде рациональный метод познания, если рацио чувствует?

Вернемся к нашим конкретным жизням. Скорее всего, вы знаете Евгения Голубовского. В 1976 году он опубликовал в "Вечерней Одессе" (в моем переводе) подборку стихотворений одного чилийского поэта. Это была не первая моя публикация. Но она была для меня первой, явно связанной с литературой. А через 25 лет он же первым опубликовал в вашем альманахе отклик на мой сборник стихов*. Если учесть, что я лично с Голубовским не знаком и 25 лет в Одессе не был, то чисто рациональным спо-

* См.: Галина Маркелова. Заглянув в "Окно". Дерибасовская — Ришельевская, 2001, № 7.

собом объяснить такую последовательность событий трудно. Можно, конечно, сказать, что случай всегда выглядит как чудо...

Раз уж мы говорим о чудесах и мистике, то нужно сказать и о судьбе. Ведь впервые я приехал в Одессу не по своей воле. Призвали после университета в армию. Армией оказалось бюро переводов в военном училище для иностранцев на четвертой станции Фонтана. Здание, кстати, сохранилось. Оно сложено из красного кирпича. Думаю, сохранились и двуглавые орлы — барельеф из того же кирпича, что и вся кладка, — пережившие серп и молот под карнизом.

Не стерлись и самые первые впечатления от вашего города. Удивило отсутствие курортности, столичность фасадов. Я историк по образованию, и поэтому, когда посмотрел и вспомнил, кем и зачем была основана Одесса, понял, в чем дело, — Южный Петербург.

Внешний облик вовсе не обманчив. Он всегда что-то выражает. За одесскими фасадами скрывается онтология. В чем ее особенность? Вам видней. Вы здесь живете. Но если попытаться в названиях одесских улиц увековечить память всех писателей, оставивших на них следы, то очень может быть, что улиц не хватит. Согласитесь, случай тоже интересный, имеющий отношение к теме нашего разговора.

Осталось представить моего собеседника: Алексей Гришин. В прошлом году в его переводе вышло большое литературное эссе Октавио Паса ("Двойное пламя") о любви, сексе и эротизме, охватывающее всю историю человечества — от начала времен "до живой повседневности". Совсем недавно выпустил обновленный сборник своих стихов (Окно. М.: Дон Кихот, 2005). Сейчас заканчивает перевод романа Клаудиу Агиара — бразильского писателя, ранее на русском языке никогда не издававшегося, и готовит к печати книгу эссе. О более далеких планах предпочитает не говорить. Но может быть, это и хорошо? Как только они исполнятся, мы снова его проинтервьюируем.

P. S. Роман Клаудиу Агиара только что вышел в свет в издательстве "Вагриус". Стихи из сборника "Окно" появились на литературном канале интернет-библиотеки "КМ онлайн", а также на сайте "Поэзия Московского университета от Ломоносова и до...". Сайт начал превращаться в "бумажную" антологию-восьмитомник. Работа над книгой эссе продолжается.

Эвелина ШАЦ

Горе от ума, или Сатурн пожирает своих сыновей*

"И все-таки она вертится"

Великий насмешник, как называли великого Эразма, говорил: "Счастлив лишь тот, кто лишен разума". Великий разум — великая боль.

Если бы весь человек сводился к рассудку, то его можно бы было заменить компьютером, любого — любым, а все многообразие жизни — двоичной логикой. Люди так верят в разум, что иногда не видят и не слышат, что разум способен тиранить, убивать, угнетать. Чтобы заряжаться, ему приходится порой обращаться в то, против чего разум восстал.

Разве не было Просвещение, из которого мы вышли, догматическим, односторонним, примитивным, нетерпимым описанием бесконечно сложного бытия (редукционизм).

Разве Гельвеций не преклонялся перед Спартой и не ратовал за введение в культуру лагерных порядков, униформы и ранжира? Разве не требовал Вольтер раздавить гадину, то есть религию — мать Просвещения? Разве с Дидро на смену средневековому плюрализму, единству знаний и веры, еретизму не пришла однозначность? Не закончилось ли все это 100-мегатонной водородной бомбой, которую Сахаров предлагал направить на северный мирный порт для испытания ее разрушительной силы, для эксперимента (по опубликованным воспоминаниям его коллег)?

Личностное мышление интеллигента несет в себе одновременно возможность Христа и Антихриста. Интеллектуальная свобода — что-то вроде атомной энергии. Она может служить и добру, и злу, может спасти мир и погубить его.

Опасен не разум, опасно сокрытие неразумного. Опасен не рассудок, опасна рационализация бессознательного. Опасно не знание, опасна безграничная вера в рационализацию не рационализируемого. Опасно одно знание на всех, превращающее человечность в тоталитарность. В то время как давно исчез народ (архаичный, носитель фольклора) = *folk*, и нетрудно представить себе, что *people* тоже исчезает. Все растворяется в массе. Однако масса — это полуфабрикат.

* Статья была прочитана на философском факультете Московского государственного университета.

Давно замечено, что изнанкой рационального знания является сильная власть. Фуко идет дальше: сильная власть неизбежно требует тотальной рационализации. Причем эта взаимность силы и знания значительно глубже, чем предполагал Бэкон. Она капиллярно пронизывает общество: тюрьма и казарма, семья и школа, и не только, все виды официального превосходства человека над человеком, логика всех видов власти. Власть вездесуща благодаря рацио. Тоталитаризм начинается не с вождизма, а с узаконенной историей человечества власти каждого из людей: над женой, ребенком, учеником, солдатом, подчиненным, пациентом, собакой. С некоторым социальным высвобождением женщины и подростка растет педофилия и количество домашних собак в городах.

Знание часто бывало слугой насилия, порой многократно усиливая его: так просвещение стало всесторонним идеологическим обоснованием робеспьеровского террора. Позже Ницше доказывал необходимость насилия, Маркс логически выводил неизбежность пролетарской революции. Сначала они верят, потом они перестают думать, потом они неспособны думать. От Робеспьера до камикадзе. Насаждая бесконечную веру в разум, просветители превращали веру в разум — в религию. Потребовалась интуиция Киркьегора и Фрейда, чтобы за словесными бурями распознать не только темное бытие, но и омассовляющую опасность тотальной рационализации рассудка.

"И все-таки она вертится", то есть вся надежда — на разум. Ибо только потеснив неразумие, можно все-таки выдавить из человека раба и из человечества орду.

"Радость моя была радостью интеллектуальной, как и горе. Даже самую красоту я пытался когда-то долго и мучительно уложить в категорию разума. Если хочешь, у меня была одна религия, религия интеллекта. К этому присоединялась идея общественного служения..." (из письма Н.Д. Кондратьева жене из тюрьмы, 1922).

Как стать интеллигентом в 12 лет?

Пишет Евгений Рейн, русский поэт, из Москвы матери Евгения Алберти, поэта итало-русского, в Милан. "А теперь, когда Жене исполняется 4 года, читай ему на ночь глядя Достоевского, тогда к 12 годам он станет настоящим русским интеллигентом".

В 4 года замечательный лингвист Роман Якобсон начал читать. Начиная с четырех лет, в жизни русского интеллигента Жюль Верн занимает

очень важное место. Так я недавно, четыре года исполнилось давно, совершила паломничество в город Нант, Франция, где находится небольшой музей Жюля Верна. Много школьников, но ни одного четырехлетнего интеллектуала. Якобсон же к шести годам становится заядлым читателем. По-русски, по-французски и по-немецки. В 12 лет он редактирует журнал "Студенческая мысль". Всю последующую жизнь он ищет порядок в кажущемся хаосе.

Хотя у России есть и иной опыт. Так, когда русскому царю доложили о научных результатах выдающегося математика Лобачевского и назвали его гением, царь заметил: "России не нужны гении, России нужны верноподданные".

Генеалогия

Когда мы говорим об интеллектуалах, мы рассуждаем об отношениях знания и власти, мысли и действия, теории и практики, утопии и реальности. Фигура интеллектуала и само слово в последние десятилетия стали ускользать, стали неопределенными. Интересно проследить роль интеллектуалов в различные эпохи, хотя бы для того чтобы попытаться понять резкий упадок интереса к ним сегодня. Теме истории интеллектуалов было посвящено много текстов: Вебер (1926 год), Ортега-и-Гассет (1940), Грамши (1949), Шумпетер (1942), Боббио (1955), Арон (1955), Лукач (1962), Адорно (1963), Аренд (1965), Сартр (1972), Хабермас (1985) — вот некоторые из них. Это относится к интеллигенции в контексте западных стран. В истории русской мысли это вечная тема. Слово *интеллектуал* в Европе распространяется в конце 19 века, в частности, во Франции, вызванное к жизни яростной политической и культурной дискуссией по делу Дрейфуса. Хотя само слово встречается уже в середине 15 века в Англии. В 1813 году оно встречается у Байрона, в 1847 году у Раскина, а затем переселяется на континент.

Историю этого слова можно синтезировать следующим образом. 13 января 1898 года Эмиль Золя публикует письмо президенту республики, в котором открывает полемику по делу Дрейфуса. В этом письме Золя еще не использовал слово *интеллектуал*. Знаменитое "Я обвиняю" (название письма) не принадлежит Золя, а принадлежит Жоржу Клемансо редактору журнала, который опубликовал его. На следующий день появляется декларация за подписями писателей, ученых, профессоров университетов с протестом против нарушения юридических норм по делу Дрей-

фуса. Этот документ печатается под названием "Протест", а не, как принято считать, "Манифест интеллектуалов". Так он выходит три дня, а затем, с 17 января по 2 февраля, — "Les protestataires", и там тоже не появляется слово *intellectuel*. И тогда 23 января Клемансо, выражая хвалу всем подписавшим декларации, пишет: "N'est-ce pas un signe, tous ces intellectuels venus de tous les coins de l'horizon, qui se groupent sur une idée?". Не правда ли, что это особый знак: все эти интеллектуалы, пришедшие с разных концов горизонта, сплотились вокруг одной идеи? Слово подчеркнуто самим Клемансо. Таким образом, можно считать, что тем самым неологизм вошел в официальную жизнь. Первым в литературе его применил писатель Морис Барре. Интересно отметить, что этот термин соединил как положительное социальное явление (объединение людей против социальной несправедливости), так и отрицательное в виде претензии на сакральность позиции.

Интеллигенция — русское слово. Оно возникло в 19 веке и вошло в словари всего мира. Сам же феномен, со всеми его историческими, вплоть до революционных, последствиями, представляет собой наиболее значительный и своеобразный вклад России в социальную динамику. Разумеется, следовало бы уточнить разницу между интеллигенцией и интеллектуалами, но мне она сегодня кажется не такой значительной.

Динамику истории идей невозможно представить себе без истории интеллектуалов, которые сделали возможной эту динамику. Это невозможно, не связывая ее с теми интеллектуалами, которые своим стойким мышлением, порою подрывным, способствовали кризису ценностей, основанных на догме, на идеологических слонах. И хотя призванием этих людей было все то же призвание диссидентства, инакомыслия, но идеальный стандарт, который они поднимали, не всегда был одинаковым. Достаточно вспомнить, как их именовали в историческом времени: циники, стоики, еретики, мистики, гностики, протестанты, утописты, анархисты, социалисты и, наконец, интеллигенты. Что общего, например, между циником Диогеном, мистиком Сузо, еретиком Бруно, утопистом Моро или социалистом Марксом? Беспокойство миром, беспокойство будущим, самостоятельность мышления. Протест, антагонизм, трансгрессия, короче говоря, диссидентство как призвание и в некоторых случаях открытый саботаж — революционный жест. Таковы судьбы интеллигенции.

Когда Каутский пишет о различии умственного и физического труда (1894-1895 гг.), он применяет термин *интеллигент*. В каком-то смысле он предвосхищает идею Грамши *intellettuale organico* (*партийный работник*).

Тема различения интеллектуала-ученого и интеллектуала-эксперта, то есть придворного советника, традиционно занимает западную философию. Так, например, софисты настаивали на этом разделении, а Сократ, наоборот, считал его ошибкой, для него "Вся власть находится в горизонте знаний". Сартори считает (1979), что не столь важно соотношение знаний и компетенции, сколько соотношение знаний и власти. При этом он различает четыре варианта: 1) власть без знаний, 2) знание без власти, 3) обладатели знания обладают и властью, 4) обладатели власти обладают и знанием.

Под сенью современности это касается не только интеллектуала-ученого как социального индивидуума, но и как сотрудника крупной корпорации, которая, по сути, представляет собой особую единицу интеллекта. Другими словами, эта особая единица интеллекта выступает как коллективный индивидуум, а в случае Интернета — как коллективный интеллект. С этой точки зрения можно признать их интеллектуальной фигурой, интеллектуал-коллективным ученым, который подчас может выполнять функцию экспертного совета.

И здесь мы встречаемся с новой проблемой — проблемой авторского права и этической ответственности. Например, кого бы Сталин стал преследовать? Впрочем, масштабы его никогда не останавливали. И не его одного. Вспомним, что писал Розанов о родителе русской литературы и наук Ломоносове: "Тут дело не в Ломоносове и не в Шумахере (тайном советнике), а в чем-то третьем: это третье — просто форма, чин, должность, ранг, о который разбивается живой человек. Так разве один Ломоносов тут погиб или одному Ломоносову не удалось: тут не удалось и погибло целое кладбище... Ломоносов только самый яркий, самый большой... оттого-то к нему так и привязаны русские люди, и чтут его, что он символ и эмблема вообще русской судьбы в самой России, горе-горевальница русского человека в своей же земле".

"Совершилось и по днесь совершается что-то дикое и ни в одной земле не бывалое, ни в чьей истории не слыханное: забивание, заколачивание русского человека и русского дара в русском же своем отечестве. Этого — ни у негров, ни у турок, ни у китайцев нет, это только в одной России, у одних русских", — так рассуждал Розанов.

Впрочем, Тредиаковского ведь не сожгли, как Джордано Бруно, правда, морду расквасили, да в маске оду заставили читать в Ледяном доме, и спать там же уложили. А вот отречение Галилея перед патерами инквизиции — это уже настоящее театральное шоу.

Де Помбал — культовое слово Лиссабона. Для Португалии он — что Петр для России. Страстный сторонник просвещенной монархии — сеял доброе, разумное, вечное, но без картечи. Тюрьмы петровские под завязку были забиты дворянской знатью, которая не хотела брить бороды.

А сколько раз шел на риск Платон за свое желание, не намерение, изменить нелегальный режим сиракузанских тиранов на королевский режим, основанный на законах, определяющих права и обязанности правителей и управляемых! Именно поэтому он не один раз рисковал жизнью.

Если Платон занимался "государевым делом", то Сократ говорил нечто противоположное — зачем же идти так далеко: познай самого себя, то есть вглядись в собственное положение, тогда будет понятно, что оно также подлежит закону незнания: "Я знаю, что я ничего не знаю". Сократ рассуждал о предметах, которые близки каждому, о которых часто говаривали на рынке в античном городе: о мужестве, о военном искусстве, о добродетели, о морали, о том, что такое красота. И он задавал в диалогах вопросы, направленные на то, чтобы выявить, о чем в действительности говорит человек, имея в виду, что, может быть, есть разница между тем, что говорится, и тем, что высказано. Он шел по пути неэмпирического обоснования этических понятий. Музиль назвал бы его *schmollender Intellektuelle* (*ворчащий интеллектуал*).

Горе от ума

Дестабилизирующая речь Сократа привела его, в конце концов, к вынужденному самоубийству. Язык его — враг его. Нет в этом ли — вечная социальная трагедия разума? К счастью, не всегда трагедия принимает экстремальные формы. Нострадамус, Спиноза, Гейне обошлись только сменой религии.

...Рим. Продолжительное судебное разбирательство закончилось 22 июня 1633 г. Последнее заседание проходило в Санта-Мария-сопрала-Минерва Доминиканского монастыря в самом центре Рима. Подсудимый стоял на руинах древнего храма богини мудрости. Он дрожал в белом балахоне грешника. Это стоял на коленях перед судом истории автор шедевра научной литературы, Галилео Галилей.

А вот в России — все менее театрально, но более драматично. Воплощение западной рациональности, начатое Петром, приспосабливается к культуре, в которой доминирует не собственный тип рациональности, а иррациональность. В 19 веке увлечение наукой породило нигилистиче-

скую интеллигенцию и воплотилось в революцию. После революции во имя науки пришлось пожертвовать православной культурой. А заодно косили головы и судьбы и самих ученых, участников этого действа: среди них — Флоренский, Лосев, Вавилов, Гастев, Гумилев, — и русских философов, гуртом высланных на Запад и тем спасшихся от дальнейшего насилия, не говоря уже о трагедии звездной плеяды поэтов и творческой интеллигенции.

"Не кажется ли тебе, — писал Кондратьев жене из тюрьмы в 1922 году, — что интеллигенция 20-40-х годов прошлого века, люди типа Герцена, Огарева, Хомякова, умели жить более глубокой, полной и содержательной жизнью? Мне кажется — да. ...Вот почему они оставили так много дневников и писем — этих удивительных памятников из истории человеческой личности". Трудно было представить сидящему в тюрьме Кондратьеву, что он сам принадлежал поколению колоссального интеллектуального взрыва, которого никогда еще не знала Россия, а то и мир, по которому проехала тяжелая колесница истории (Кондратьев).

Проблемы 18 века, поднятые на суде инквизиции, актуальны и сегодня, после процессов XX века, когда речь идет о противоречиях между наукой и властью. Россия, как Сатурн, пожирала своих сыновей, и чтобы они снова появились, потребуются десятилетия. Кондратьева я читала поитальянски в шестидесятые годы в Италии. Студенты миланского экономического университета Бокони спокойно склоняют его имя в связи с большими циклами природы экономики. А судьба Кондратьева попала под то самое колесо истории, которое заставило его молчать вместе с лучшими умами России.

И если тираны Сиракузы

Исайя Берлин, гость из будущего, которому Анна Ахматова, из плеяды великих молчальников русской культуры, посвятила "Поэму без героя", пишет в недавно опубликованном 2-м томе "Истории свободы" о тонком механизме управления сталинской разработки, о том физическом и нервном напряжении на износ, которому люди подвергаются в этой системе, об ужасающих масштабах режима. Он призывает к пристальному изучению этого изобретения. Хотя бы потому, что это такой сильный и эффективный инструмент управления людьми — инструмент, позволяющий сломить человеческую волю и все же одновременно заставить людей работать на максимуме своих возможностей, о каком самые

жестокие и беспринципные эксплуататоры капиталистического мира даже мечтать не могли. "Ибо лишь душа, презирающая свободу и человеческие идеалы больше, чем сам Великий Инквизитор Достоевского, могла изобрести этот инструмент; и этот инструмент, держащий в подчинении и страхе восемьсот миллионов* человек, остается... самым важным и самым малоизученным феноменом нашего времени".

И если тираны Сиракуз или папская инквизиция нам сегодня далеки, то совершенно иначе — в домашней географии и в новой истории — воспринимаются тюремные письма Кондратьева. Их трудно и больно читать. Вот уж действительно горе от ума!

Милан



* Вероятно, автор имеет в виду население всех социалистических стран, вместе взятых.

Кира САПГИР

Ночь Спинозы

"Сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь" (Исаия XXI, 11) — красовалась надпись на транспаранте над резным порталом Зала собраний города Экс-ан-Прованса в ночь с 18 на 19 марта. Здесь, в трапезной бывшего монастыря братьев-миноритов (XIII в.), был дан старт международной "Философской ночи" в честь Баруха Спинозы (1632-1677), скончавшегося 21 марта ровно 330 лет тому назад. Чествование великого еврейского искателя истины проходило во Франции под эгидой министерства культуры, министерства народного образования и в партнерстве с государственным Институтом политологии (Sciences Po). Руководило чтениями Общество по изучению философского наследия Спинозы, организованное в 2002 г. в Лионе. В эту ночь на университетские кафедры Сорбонны, Лиона, Лилля поднимались ученые мужи, поминавшие влияние философа-рационалиста и пантеиста из Нидерландов на развитие мировой философской мысли.

Бенедикт (Барух) Спиноза родился 24 ноября 1632 года в семье зажиточного торговца в Амстердаме, где нашел пристанище его дед после изгнания евреев из Испании. Богословское образование Спиноза получил в еврейской школе. Там он изучал Библию, Талмуд, великолепно овладел древнееврейским. Изучал он также каббалу, знатоком которой был раввин Мортейра. Мортейра превозносил Спинозу, говорил о нем как о будущем великом светоче иудейского вероучения. Однако могущественную поддержку в поисках познания Бога и природы всего сущего Спиноза нашел для себя в трудах Рене Декарта, для изучения которых блистательно освоил латынь. Спиноза, подобно Декарту, уверовал в спасительную силу и могущество Разума. "Люди, управляемые разумом, не чувствуют влечения ни к чему, чего бы не желали другим людям, а потому они справедливы, верны и честны", — это рассуждение Спинозы есть, по сути дела, предвосхищение категорического императива Канта.

Когда стало известно, что Спиноза мыслит вне всякого вероучения, его потребовали в синагогу на суд. Раввин Мортейра постарался вразумить Спинозу. Он предложил ему годовое содержание в тысячу гульденов, лишь бы тот иногда посещал синагогу и оставался иудеем. Но философ отказался променять свободную мысль на житейское благополучие. И еврейская община, ужаснувшись, решила отлучить отступника. В конце июля 1656 г. было произнесено в амстердамской синагоге: "Да будет он

проклят днем и да будет он проклят ночью! Да будет он проклят, когда спит, и да будет проклят, когда восстает от сна! Да будет он проклят при выходе и да будет он проклят при входе! Господь да не простит ему никогда!..". Так Спиноза стал отверженным.

В Талмуде есть предписание, которое обязывает ученого помимо умственной деятельности знать какое-то ремесло. Следуя мудрой заповеди, Спиноза овладел искусством шлифовки линз — в этом, как и во всем остальном, подражая своему кумиру — Декарту.

В Амстердаме в кругу последователей Спинозы был Альберт Бург, который безуспешно пытался убедить друга принять католичество и избавиться от гордыни — прекратить числить себя провозвестником "высших" истин. Ответ Спинозы был достойным и кратким: "Я вовсе не претендую на то, что открыл наилучшую философию, но я знаю, что постигаю истинную". Именно необходимость такого различия подчеркивает Спиноза в своей "Этике" — главном труде жизни.

Во второй части "Этики" говорится о природе и происхождении души, в третьей — о происхождении и природе аффектов. Эти части подготавливают основу "Богословско-политического трактата", написанного позднее.

Спиноза всегда хотел быть свободным и жить независимо от внешних обстоятельств. Он говорил, что корыстолюбие и суетные блага определяют основные человеческие влечения. Сам он, по свидетельству как своих друзей, так и врагов, был совершенно непритязателен. Его жизнь была настолько образцовой, что напоминает великие примеры жизни мудрецов классической древности. Он предпочитал тишину и уединение. У него было любимое занятие: он ловил пауков, бросал их в стеклянную банку, запускал туда мух и наблюдал за борьбой насекомых, говоря, что в этом он видит суть человеческого общества. Свои труды он писал, в основном, ночами, а днем отдыхал. Он никогда ни на что не жаловался, хотя более двадцати лет страдал чахоткой, так как постоянно дышал стеклянной пылью, шлифуя стекла. В близость смерти он не верил до конца своих дней.

21 февраля 1677 г. к Спинозе в Амстердам приехал его друг и врач Людвиг Мейер. Он осмотрел Спинозу и распорядился, чтобы хозяева приготовили ему куриный суп. Спиноза ел с аппетитом, потом прилег и в 3 часа дня умер. В двухсотлетнюю годовщину его смерти вблизи его последнего жилища установили бронзовый памятник. При жизни Спинозы были опубликованы лишь два его произведения: "Основы философии Декарта" (1663 г.) и "Богословско-политический трактат" (1670 г.).

"В чем главный постулат "Этики" Спинозы? Прежде всего, в том, что именно там впервые была продемонстрирована возможность метафизики как системы. Притом системы, возможной только на пантеистической основе", — говорилось во вступительном слове Альфонса Риво, президента Лионского общества друзей Спинозы; вслед за этим вступлением последовал любопытный доклад "Спинозизм и судьбы еврейских анархистов" профессора-историка М. Гочарока, автора сборника исторических очерков "Пепел наших костров", посвященных идиш-анархизму.

Прибыли на философские чтения и гости из России. В Сорбонне с докладом "Спиноза и Рерих" выступил доктор философских наук профессор МГУ Л.М. Робинсон. Рассказывая об ассоциации "Живая Этика" при "Рериховском центре", докладчик процитировал слова Н.К. Рериха из его эссе "Спиноза":

"Случайно ли само время напоминает о славных достижениях мысли? Суровый лик Испании, родины семьи Спинозы, тяжкая судьба соотчичей Марранов, легенда Сабаттая Цеви, вспышка Уриэля да Косты, знакомство с Бэконом, Декартом, Джордано Бруно, понесшими на себе тяготу окружающего невежества — среди ночи сознания человеческого, освещаемого до зари задолго сполохами истины, бодрствует на плотинах Голландии неусыпное мыслетворчество Спинозы. В темноту вопрошает оно: "Почему материя не достойна природы божественной?".

"Тогда"

Спинозе посвящается

Ошибаешься, ученик! Зла — нет.
Зло сотворить Великий не мог.
Есть лишь несовершенство.
Но оно так же опасно, как то,
что ты злом называешь.
Князя тьмы и демонов нет.
Но каждым поступком
лжи, гнева и глупости
создаем бесчисленных тварей,
безобразных и страшных по виду,
кровожадных и гнусных.
Они стремятся за нами, наши творенья!
Размеры и вид их созданы нами.

Берегися рой их умножить.
Твои порожденья тобою
питаться начнут. Осторожно
к толпе прикасайся. Жить трудно,
но все же помни наказ:
жить, не бояться и верить.
Остаться свободным и сильным.
А после удастся и полюбить.
Темные твари очень все это не любят.
Сохнут и гибнут
тогда.

Париж



Ольга БАРКОВСКАЯ

Журнальная графика Л. Пастернака



Среди многих талантов, подаренных миру Одессой, — прекрасный живописец и график Леонид Осипович Пастернак (1862-1945). Он учился в Одесской рисовальной школе, затем в Мюнхенской академии художеств. После женитьбы на пианистке Розе Кауфман переехал в Москву и в родном городе бывал только наездами. Большой период его жизни связан с Львом Толстым, художник неоднократно гостил в Ясной Поляне, много рисовал Толстого и его близких, был одним из первых иллюстраторов "Воскресения" и "Войны и мира". В 1920-21 годах Пастернак выполнил







официальный заказ на создание портретов деятелей революции, сделал большое количество зарисовок на заседаниях ВЦИК, на съездах Советов, на конгрессе Коминтерна. А в 1921-м с семьей уехал в Германию (в России остался сын Борис). После прихода к власти нацистов ему как еврею запретили заниматься живописью, и семья Пастернака перебралась в Англию. Последние годы жизни художник провел в Оксфорде, где ныне существует музей его имени.

Но начался его долгий и славный творческий путь в 1880-е годы здесь, в Одессе, рисунками для юмористических журналов "Маяк" и "Пчелка". Их выпускал популярный одесский фельетонист Михаил Федорович Фрейденберг, подписывавший свою постоянную колонку в "Одесском вестнике" и тексты и рисунки в журналах псевдонимом Оса. Об этом начале своей карьеры Пастернак не без юмора вспоминал впоследствии в автобиографической книге "Записи разных лет". Фрейденбергу, затеявшему издание "Маяка", требовался рисунок для обложки, и он обратился

к юному художнику, а для достижения цели воспользовался не слишком корректным, но зато эффективным приемом:

"...Попробуйте! Авось удастся!.. Мне надо на некоторое время уйти, а Вы вот сядьте здесь — вот бумага, карандаши и... до свиданья! Я даже запру Вас на ключ, чтобы Вы, чего доброго, не сбежали до моего прихода..." Как умный и решительный человек, он сразу понял, что только таким насильственным путем он добьется чего-нибудь. Когда же он возвратился — и позже, конечно, чем обещал, — он пришел в такой восторг, что только повторял: "Ну, я спасен, слава Богу! Молодчина!.. Я знал! ...у нас с Вами дело пойдет!"

И действительно, "дело у нас пошло"! Еще будучи гимназистом-восьмиклассником, я стал заправским художественным сотрудником журнала "Маяк", а потом "Пчелка".

Из воспоминаний Пастернака трудно понять, что солидному издателю и "решительному человеку" не намного больше лет, чем художнику — в 1880 году, когда Фрейденберг начал выпускать журнал "Маяк", ему был всего 21 год. В следующем году он взял







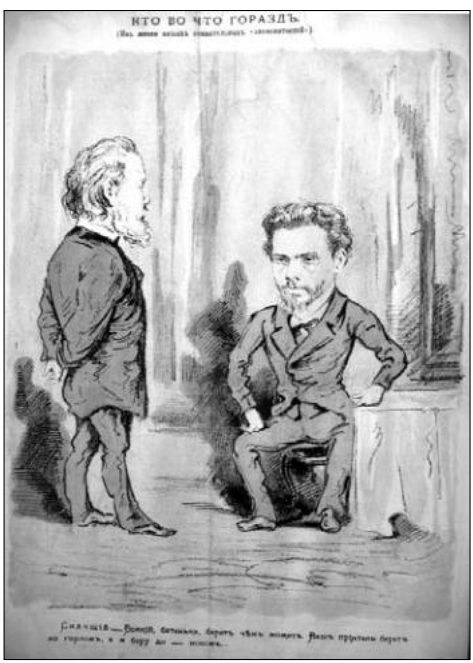


в аренду газету "Пчелка" и превратил ее в насыщенный иллюстрациями юмористический журнал — с цветными обложками, что было для Одессы новшеством. Кстати, именно в период сотрудничества с "Пчелкой" Пастернак познакомился со своей будущей женой, молодой, но уже завоевавшей известность пианисткой Розой Кауфман, портрет которой (правда, работы другого художника) украсил одну из обложек журнала. Пастернак работал в "Маяке" и "Пчелке", скорее, из дружеских чувств к издателю, чем по другим причинам. "Душа его не лежала к карикатурам, которые он находил низшим родом искусства", — писал впоследствии Фрейденберг. Да и назвать карикатурами большую часть рисунков, сделанных художником для обоих журналов, трудно. В основном, это — бытовые

зарисовки, достаточно реалистичные, и лишь кое-где можно увидеть некоторую шаржированность, свойственную карикатуре. В любом случае, для начинающего художника работа в журналах была полезной школой. А мы благодаря сохранившимся старым подшивкам имеем неоценимую возможность проследить первые шаги мастера и попытаться увидеть в них то зерно, из которого выросла великолепная графика зрелого Леонида Пастернака.







Виталий АМУРСКИЙ

Мучительное право — любить...

О своем труде — "Антологии еврейско-русской литературы" — в беседе с Виталием Амурским рассказывает Максим Шраер.



Максим Шраер
Фото Гери Гилберта

В нью-йоркском издательстве *M. E. Sharpe* весной 2007 года вышла в свет двухтомная "Антология еврейско-русской литературы", которая охватывает период от 1801 до 2001 года. Читателю предлагается знакомство со 132 авторами, многие из которых получили мировую известность, но имена некоторых, вероятно, известны, в основном, лишь любителям словесности, специалистам. Огромный труд по сбору материалов для этой антологии проделал замечательный литературовед, писатель и переводчик, профессор русистики и англистики, заведующий кафедрой славянских и восточных языков, содиректор программы по еврейским исследованиям Бостонского колледжа Максим Шраер.

Шраер — автор ряда литературоведческих книг, изданных по-английски и по-русски, среди которых "Мир рассказов Набокова" (1999), "Русский поэт / советский еврей: Наследие Эдуарда Багрицкого" (2000), "Генрих Сапгир: Классик авангарда" (2004, совместно с Давидом Шраером-Петровым), а также сборников стихов и множества литературных публикаций. В составленной им антологии перу Шраера принадлежит общее монографическое введение, обзоры периодов еврейско-русской литературной истории, вступительные статьи о каждом из представленных авторов, все комментарии, а также переводы произведений более сорока писателей. По этому случаю журналист Международного французского радио, прозаик и поэт, член редакционного совета альманаха "Дерибасовская — Ришельевская" Виталий Амурский попросил М.Д. Шраера ответить на несколько вопросов, которые мы и предлагаем вашему вниманию.

— Вы родились в Москве в 1967 году, в двадцатилетнем возрасте эмигрировали с родителями в Соединенные Штаты, где смогли добиться больших успехов в разных областях творчества. Разумеется, литературоведение — это творчество особое, тесно связанное с наукой. Анто-

логии, о которой сейчас идет речь, вы предпослали подзаголовок: "Два века двойного самосознания в прозе и поэзии". Понятие "двойного самосознания" в данном случае, вероятно, оказалось тем, что вы испытали сами. Так что, первым делом, если позволите, — об этом, а следовательно — о том, как и когда сформировался у вас замысел антологии. Как много времени у вас ушло на реализацию этого проекта?

— Вы совершенно правы, что предмет и направленность литературоведческих исследований в существенной мере определяется биографическими, экзистенциальными обстоятельствами, под воздействием которых я формировался как литературовед. В этом смысле, наверное, не случаен тот факт, что начиная свой путь в литературоведении, я идентифицировал себя с судьбой и творчеством Владимира Набокова и исследовал культуру русской эмиграции. Я полагаю, что на подсознательном уровне мое обращение к вопросам еврейско-русского литературного творчества — сначала в книге о великолепном, все еще не полностью оцененном литературным истэблишментом одессите Багрицком, а потом уже в самой антологии, — началось еще в детстве в России.

И тут дело не только и не столько в персональной дозе ксенофобии и антисемитизма, испытанной конкретным еврейским мальчиком, потом юношей из семьи отказников. Из одних лишь воспоминаний о травме преследуемых евреев — как и из воспоминаний о противоречивой любви евреев к России — серьезной науки не сделаешь. Тут дело, главным образом, в том пародоксальном состоянии двойственности (и раздвоенности), которое присуще евреям вообще, а особенно евреям в России (как наиболее экстремальном варианте еврейской ашкеназской диаспоры (всего 200 лет — сравните с еврейской историей в Италии, Германии или Польше).

Это двойное самосознание дает еврейско-русским писателям колоссальный созидательный импульс, черпаемый как из глубин религиозного, историко-культурного и энтолингвистического наследия еврейства, так и из переполненных кладовых русского слова. Я стал обо всем этом задумываться еще восемнадцатилентим московским юношей, начинавшим писать стихи и мечтавшем одновременно о жизни в медицине (не довелось!) и литературе (эмиграция открыла для меня этот путь). И конечно же, мои представления отчасти складывались под влиянием моего отца и учителя в поэзии Давида Шраера-Петрова, творчество которого обращено к проблематике отношений евреев и русских.

Замысел же самой "Антологии еврейско-русской литературы" явился мне примерно в 1999 году, когда я заканчивал книгу о Багрицком — о ев-

рейском самосознании в ранние советские годы и демонизации Багрицкого русскими ультранационалистами. В общей сложности я работал над антологией почти восемь лет. За эти годы годы многое изменилось в моей жизни, и прежде всего, я стал мужем и отцом. (И даже побывал в Рио-де-Жанейро, воплотив месту Остапа Бендера.)

В процессе подготовки и отбора материалов я прочитал множество произведений, написанных по-русски 300 авторами, и отобрал прозу и стихи 132 авторов. Порой отбор был чрезвычайно труден, мучителен. Я люблю все вошедшие в антологию тексты — в разной степени, но люблю. В антологии два тома (1801-1953; 1953-2001) и следующие разделы: "Начало", "Приобретая голос: 1840-1881"; "Первое цветение: 1881-1902"; "Накануне: 1902-1917"; "Революция и поражение: 1917-1939"; "Эмиграции: 1917-1967"; "Война и террор: 1939-1953"; "Оттепель: 1953-1964"; "Поздняя советская империя: 1964-1991"; "Еврейский исход: 1967-2001"; "В постсоветское время: 1991-2001".

Как специалист в области еврейской культуры я начинал этот многолетний проект в надежде проследить поведение множества разнообразных текстов и сформулировать "еврейскую поэтику". Но при этом как литературовед-компаративист общего профиля я испытывал определенную долю скепсиса по отношению к возможности того, что вселенские, универсальные законы творчества по-разному проявляются у представителей различных этнических, национальных и религиозных групп.

Моя рабочая гипотеза основывалась на трех посылках. Во-первых, на разных стадиях еврейско-русские писатели проявляли разные типы двойственности. Во-вторых, еврейско-русские писатели по свой природе двукультурны. В-третьих, любой неинклюзивный и редуктивный подход может привести в двойному насилию над культурой.

Именно поэтому в ходе работы над антологией я избегал предварительных и скороспелых заключений о каноне еврейско-русской литературы. Отбираемые материалы сами постепенно подсказывали критический подход к авторам. Результаты — в предлагаемой вниманию читателя антологии, выход которой — самое важное событие моей профессиональной судьбы.

— Перед тем как задать следующий вопрос по этой работе, я хотел бы спросить: в чем именно повлиял на вас как на литератора ваш отец, которого я очень люблю и уважаю как прекрасного писателя и человека?.. Впрочем, наверное, непросто провести грань между влиянием творческим и человеческим, тем более, когда были пережиты страшные времена "отказа"…

— Коль скоро речь зашла о моей семье, позвольте несколько слов сказать сначала о моей маме Эмилии Шраер (Поляк). Она талантливый филолог-англист и переводчик, человек безукоризненного вкуса, и именно маме я обязан раннему погружению в английскую речь. Под влиянием мамы, которая у нас в семье была и остается "западницей", я еще в детстве стал задумываться о возможности одновременного, параллельного существования в двух языковых измерениях. Уроки английского, усвоенные в детстве, помогли мне стать билингвой, а значит, и самым прямым образом повлияли на качество переводов в "Антологии еврейско-русской литературы".

Теперь об отце. Мой отец, писатель и ученый-медик Давид Шраер-Петров, был для меня в детстве и отрочестве главным источником еврейской духовности. Он в детстве — еще до войны и эвакуации и сразу после войны — застал живую еврейскую жизнь наших предков, которые вывезли из бывшей черты оседлости (из Подолии и Литвы) в ленинградскую эмиграцию иудейские традиции, идиш и память о прошлом. Отец еще до войны застал своего деда со стороны матери, благословенной памяти раввина Вульфа Брейдо, который происходил из династии раввинов-литваков Брейдо (Бройде), — он погиб в Шоа, отказавшись покинуть дом и священные книги.

Я подчеркиваю тот факт, что в 1970-е и ранние 1980-е мой отец был для меня связующим звеном между тысячетилетиями еврейского прошлого и нашим акультурированным московским еврейским настоящим. Именно из неподцензурных стихов и прозы моего отца о еврействе — а мне не раз посчастливилось быть их первым слушателем и читателем — я, наверное, впервые извлек вот эту самую двойственность и раздвоенность. Отец выразил эту трагедию еврейско-русского творческого сознания в известном стихотворении "Моя славянская душа в еврейской упаковке...", за которое в СССР он подвергся остракизму. Потом уже, в годы отказа, я прочитал в рукописи эпический роман-дилогию отца "Герберт и Нэлли" о судьбе еврейского исхода из СССР, которая уже два раза переиздавалась в постсоветской России.

Родители воспитали меня как еврея и как русского, и даже в тяжелейшие годы отказа, годы преследований, угроз, запретов и изоляции, я никогда не слышал дома коллективных проклятий в адрес преследователей моих родителей и страны, которая породила этих преследователей.

Я уже упомянул, что отец был моим учителем в поэзии. Но уроки в литературе — это еще и уроки общения с живыми литераторами. Мне очень повезло, что до того как мы попали в отказ и до исключения моего отца из Союза писателей, в 1970-е, отец часто водил меня в Дом литераторов, ЦДЛ, где я на-

блюдал со стороны, как набоковский мальчик в берлинском пивном зале, московскую писательскую тусовку. То, что видишь в детстве, часто запоминается на всю жизнь — и я запомнил лица, портреты, ремарки многих писателей.

Из друзей отца на меня, несомненно, повлияло общение в Евгением Рейном и Генрихом Сапгиром, которые тогда уже были знамениты, но все еще ходили в официально непризнанных "взрослых" поэтах. Замечательного Сапгира уже нет с нами, а Рейн сильно изменился с тех пор, как стал лауреатом и официальным поэтом. Но ведь самое главное для еврея — память. Поэтому мне очень приятно, что в антологию вошли стихи этих поэтов — "В последний раз" Рейна и большая подборка иудейских постмодернистских псалмов Сапгира.

— Спасибо за этот рассказ, который приоткрывает важные моменты в вашей судьбе. Вернемся, впрочем, к центральной теме. Среди тех, кто фигурирует в антологии, далеко не все показывали, проявляли свое еврейство. Я имею в виду — в творчестве. Насколько я понимаю, для вас важно было все-таки происхождение того или иного автора?

— Два главных критерия, достаточный и необходимый, определяли выбор вошедших в антологию текстов. Прежде всего, что касается происхождения и самоидентификации автора, достаточно того, чтобы данный автор был евреем или согласно Халахическим представлениям (т. е. согласно иудейским законам), или в соответствии с теми представлениями или принципами, согласно которым еврейство было юридически определено или понималось в Российской империи, СССР и республиках бывшего СССР, а также в других странах проживания автора, как при жизни, так и после смерти.

Факт перехода автора из иудаизма в другие религии сам по себе не дисквалифицировал этого автора от включения в антологию и в канон еврейско-русской литературы. В то же время, факт еврейского рождения и происхождения сам по себе не гарантировал включения данного автора в антологию и в канон еврейско-русской литературы, каким бы важным ни было место автора в русской литературной традиции. Здесь начинал действовать необходимый критерий: ангажированность еврейских предметов, тем, вопросов, проблем и так далее в творчестве. Для авторов, в произведениях которых нет существенного, значительного проявления критерия еврейской ангажированности, врата еврейского-русского литературного рая, пожалуй, закрыты.

Добавлю только в качестве пояснения, что в литературных текстах проявление еврейскости бывает разное, и вовсе не только на уровне тематики и повествования. Разумеется, когда поэт-имажинист Марк Ройзман пишет по-

русски в Москве в ранние 1920-е яркие экспериментальные иудейские стихи (см. его замечательный цикл "Кол Нидре" — на иврите это означает "Все обеты", начало вечерней службы Судного дня) и печатает его в сборнике "Хевронское вино" (1923), то всем читателям, а не только причастным к еврейской цивилизации, очевидна тематика и словесная ориентация этих стихов.

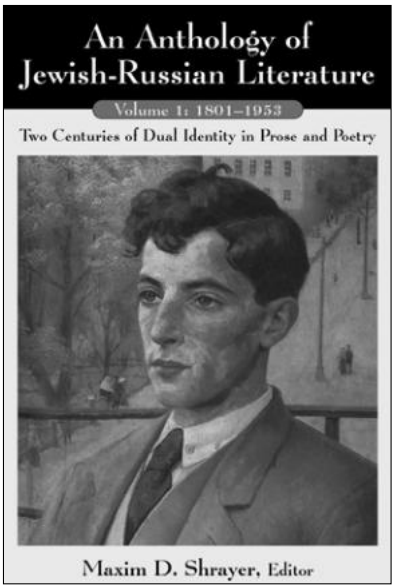
Сложнее дело обстоит с текстами, где еврейскость зашифрована, закодирована, проявлена не впрямую. В антологии я оперирую термином "текстура еврейства". Мы еще не научились измерять все показатели, все параметры литературных текстов точными научными методами. Важно понимать, что "еврейскость" стихотворения, поэмы, рассказа, романа или эссе не только в тематике, риторике или идеологической направленности, а в еврейских интонациях, полутонах, модуляциях, которые зачастую воспринимаются лишь еврейскими читателями. Тут чистейший эксперимент — хороший перевод на иностранный язык, а в моей антологии почти 90% текстов публикуются в новых, специально заказанных и тщательно выверенных английских переводах. Трудно переоценить вклад переводчиков в популяризацию еврейско-русской литературы на Западе.

— Вероятно, работая над своим двухтомником, который в целом составил 1278 страниц, вы могли отметить некие общие черты, знаки, приметы, которые могли бы дать более отчетливое представление о специфике еврейской прозы и поэзии?

— Очень трудно вкратце ответить на этот вопрос, а большинство ответов не в умозрительных построениях критика и историка литературы, а в самих еврейско-русских текстах, в их формальном и смысловом многообразии. Но нельзя не отметить, вслед за покойным Шимоном Маркишем, столько сделавшим для изучения еврейско-русской литературы, ее принадлежность одновременно двум культурам или цивилизациям.

Кроме того, неотъемлемой чертой этих текстов мне кажется память о многовековой библейской и талмудической культуре, нередко выраженная в завуалированной форме, но, тем не менее, присущая страницам еврейско-русской литературы. Кроме того, отметим взгляд авторов, который направлен извне и изнутри одновременно, а также интерес авторов и их героев-представителей к острейшим, нередко запретным вопросам истории и идеологии (векторы еврейского патриотизма, смешанный брак, религиозное отступничество, евреи и радикализм и многие другие вопросы).

И наконец, нельзя не коснуться двойственной модели прочтения этих текстов. Возьмем пример из Исаака Бабеля, классический по своей ясности и простоте. Американский исследователь Морис Фридберг в свое время за-



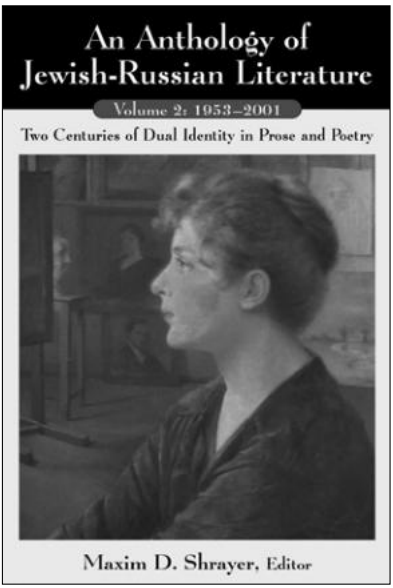
метил, что в имени "Арье-Лейб" читатель, знакомый с элементами еврейской цивилизации, обнаружит намеренную тавтологию. "Арье" — "лев" на иврите, а "Лейб" — "лев" на идиш. Бабелевского колоритного персонажа в позднем рассказе "Конец богадельни", по сути, зовут Лев-Лев, т. е. вдвойне "лев". Этот пример иллюстрирует двойное и раздвоенное прочтение этого еврейского-русского рассказа, действие которого происходит в Одессе. Читательская аудитория, которую можно условно назвать "русской", вряд ли обратит внимание на эту деталь, хотя по-своему сможет оценить художественный замысел рассказа Бабеля. Представители же "еврейской" читательской аудитории, скорее всего, поймут, что имя "Арье-Лейб" — имя администратора богадельни — отмечено двойной бабелевской иронией. Ведь, по сути, это рассказ об исчезновении еврейской дореволюционной Одессы в водовороте советского времени.

— Нельзя не обратить внимание на то, что из 132 авторов антологии более двадцати из Одессы. Удивительно, как щедро одарила судьба этот южный город таким числом мастеров слова! Интересно, среди них есть ли у вас любимые?

— Если хотя бы отчасти правомерен афоризм, что русская литература вышла из гоголевской шинели, то не самым большим преувеличением будет наблюдение, что еврейско-русская литература вышла из Одессы. В 1860-е годы Одесса была центром Хаскалы в России, и именно в Одессе был основано первое еврейское периодическое издание на русском языке, "Рассвет", просуществовавшее один год. За ним последовали еще два кратко-срочных, но колоссально важных для истории еврейско-русской культуры одесских периодических издания, "Сион" (1861) и "День" (1869-1871).

Я счастлив, что в антологию вошли произведения еврейско-русских писателей, родившихся или выросших в Одессе, или живших в Одессе в течение длительных и плодотворных периодов своего творчества. В первом томе антологии это (в хронологическом порядке): Осип Рабинович,

Бен-Ами, Давид Айзман, Семен Юшкевич, Владимир Жаботинский, Саша Черный, Исаак Бабель, Вера Инбер, Марк Тарловский, Виктор Финк, Семен Кирсанов, Эдуард Багрицкий, Илья Ильф (и Евгений Петров), Аркадий Штейнберг, София Прегель и Маргарита Алигер. Во втором томе одесситов меньше, но это прекрасные писатели: Семен Липкин, Лев Мак, Аркадий Львов, Руфь Зернова и Михаил Жванецкий.



Кроме "Происхождения" и "Февраля" Багрицкого и двух рассказов Бабеля ("Пробуждение" и "Сын рабби") из вошедших в антологию текстов писателей-одесситов мне особенно дороги "Земляки" Айзмана, "Памяти Герцля" Жаботинского, "Соловей и Роза" Инбер, "Буква "Р" Кирсанова и "Я видел море Черное во сне..." Штейнберга.

Без Одессы просто невозможно представить себе карту еврейско-русского литературного мира.

— Кстати, в Одессе вам приходилось бывать?

— Нет, пока не довелось, к большому сожалению. Хотя мне иногда кажется, что я сам из Одессы, — прежде всего, из-за многолетнего вчитывания в тексты Бабеля и Багрицкого (особенно в поэму "Февраль", которую я перевел на английский, и очень важные для меня лично "автобиографические" рассказы Бабеля, среди которых "Пробуждение" — в нем почти каждый еврейско-русский писатель узнает те или иные треволнения своей литературной юности).

Сколько раз я показывал своим студентам фотографии Одессы и знаменитую эйзенштейновскую сцену с Потемкинской лестницей! Я не раз слышал от одесситов, от писателей из Одессы (например, от Аркадия Львова, рассказ которого "Последний раввин" представлен в антологии), об их не уходящей ностальгии по родному городу. В Одессе, кстати сказать, у нас (Шраеров) до войны были родные. Из Одессы в 1924 году уплыл на пароходе в Яффу брат моего деда, Моисей Шраер (Шарир). Все пути ведут меня в Одессу. Некоторое время назад, после выхода моей кни-

ги о Багрицком (первой на Западе), у меня завязались контакты с коллегами из Одесского литературного музея. Надеюсь, что в ближайшие годы наконец-то осуществится мечта увидеть Одессу, постоять в Практической гавани вместе с моими женой и дочкой — там, где когда-то стояли Бабель, Багрицкий и другие неповторимые одесские таланты и всматривались в черноморские дали.

— Нередко приходится слышать, что в творческом отношении евреи особо талантливы как музыканты и художники. Собранная вами антология в известном смысле доказывает и то, что в литературе дело обстояло и обстоит не хуже. Но нужно ли вообще выделять это? Важно ли для читателя знать, скажем, что Мандельштам и Пастернак были евреи? Они изначально — кровная часть литературы русской…

— Я думаю, что в выражении "кровная" заключена горькая ирония. И часто, слишком часто, отводя еврейско-русским писателям то или иное место в пантеоне великой русской литературы, критики и читатели с готовностью забывают о формообразующих аспектах происхождения этих писателей и об их двойном самосознании. В руссоцентристкой презентации фактов литературной истории писатели вступают в сельский ландшафт или городской пейзаж русской литературы евреями, так сказать, по случайности, но становятся и остаются русскими писателями.

На самом деле, перестать быть евреем (а в творческом сознании такого рода психоэстетические процессы гипертрофированы!) — евреем в культуре — невозможно, даже если этого страстно желать, как желал этого Борис Пастернак. Поэтому в работе над антологией я исходил из убеждения, что читателю важно знать правду — как о читаемых и любимых им произведениях, так и об их авторах. Только узнав правду и попытавшись разобраться в перипетиях еврейско-русского творчества, каждый читатель для себя по-своему решит, что принимать во внимание, а от чего отмахнуться. В советское время по отношению к проявлениям еврейства бытовало выражение "не выпячивайте пятый пункт". Но как можно умалчивать ключевые факты происхождения писателей и их текстов? Особенно в наше, постсоветское время?

Владислав Ходасевич, сын воспитанной в католичестве еврейки и поляка, писал в программном стихотворении "Не матерью, но тульскою крестьянкой...", вошедшем в первый том антологии наряду с "Вечером", "Слезами Рахили" и "Я родился в Москве. Я дымы...": "И вот Россия, "громкая держава", / Ее сосцы губами теребя, / Я высосал мучительное право / Тебя любить и проклинать тебя". Здесь речь идет о многом, прежде всего,

о месте инородцев по происхождению в русской культуре и об их праве держать дистанцию чужака между собой и русским большинством. Так вот, мне кажется, что и я как составитель этой антологии "высосал" право не оставлять за кормой еврейскость писателей, прославивших русскую литературу далеко за пределами российских земель.

Вырвать Мандельштама из "хаоса иудейского", как этого желал ультранационалист Станистав Куняев, так же невозможно, как невозможно просто читать Мандельштама, забывая о том (или закрывая глаза на то), что Мандельштам пытался своими текстами и своей литературной судьбой примирить иудейство и эллинство, а также стыд за своих местечковых евреев и гордость за своих библейских предков. И при этом стремился все это исторически осмыслить в контексте освобождения российского еврейства и еврейского (временного) опьянения революцией.

В случае Пастернака исключать еврейство не менее бессмысленно. Тема еврейского апостатства и невозможности полной ассимиляции красной лентой пронизывает творчество Пастернака. Вспомним "Апеллесову черту", "Повесть" и "Спекторского". Кстати, в "Антологию" включены два малоизвестные стихотворения 1944 года, в которых фигурирует Одесса — город предков Пастернака, в котором он бывал в детстве и юности. Эти два стихотворения, "В низовьях" и "Одесса", были опубликованы в газете "Красный флот", причем "Одесса" — 12 апреля 1944 года, через два дня после освобождения города.

"В низовьях" — реквием по погибшей и уничтоженной довоенной одесской культуре, по юго-западной школе; в этом стихотворении Пастернака слышны отголоски "Юго-Запада" Багрицкого. "Одесса" — вымученное и потому особенно трагическое обещание Пастернака построить "вечный памятник" жертвам нацистской и румынской оккупации, десяткам тысяч убиенных евреев Одессы и Транснистрии. "Памятником" Пастернака, в его собственных глазах и в глазах миллионов читателей, стал написанный уже после Шоа (еврейской Катастрофы) роман "Доктор Живаго", с его чудовищным призывом к евреям: "Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми".

Можно ли после этого игнорировать иудейство и еврейство этих и других писателей, пусть даже не творивших на еврейских языках?

— В то время когда вы работали над антологией, охватывающей два века еврейско-русской литературы, в России вышла книга о двух веках еврейско-русского "соседства", написанная Солженицыным. Разумеется, у каждого труда — свой вектор. Но все-таки странно, горько, что

в России, где, казалось бы, должны были научиться извлекать уроки из истории, отказаться от подлых антисемитских догм, многое остается по-прежнему... Что вы об этом думаете?

— Антология вышла в свет относительно недавно. За это время я услышал много разных отзывов, среди которых отмечу два. Несколько американских евреев употребили термин "мацева" (еврейский надгробный камень) по отношению к антологии. Это примечательно. С другой стороны, не только вы, Виталий, но и другие литераторы-эмигранты называют мою антологию "ответ Солженицыну".

Я, честно говоря, не думал ни о еврейских надгробиях, ни об ответах Солженицыну, когда работал над антологией. А думал я о том, что трудно, невозможно представить русскую литературу без евреев. Но представить будущее еврейско-русской литературы тоже нелегко. Пожалуй, в республиках бывшего СССР отсутствует критическая масса населения, необходимая для продолжения этой литературы.

Конечно же, не только в России и Украине, но и в Израиле, Германии, США и Канаде плодотворно работают еврейско-русские писатели. Но я говорю о будущем, скажем, о том, что будет через 50 лет. Следующий шаг (и это уже происходит) — творчество выходцев из СССР на иврите, английском, немецком. Я и сам, признаться вам, как прозаик перешел на английский. Осенью выходит моя мемуарно-беллетристическая книга "В ожидании Америки: История эмиграции", о трех месяцах в жизни еврейской семьи, проведенных в Австрии и Италии летом 1987 года. Книга написана по-английски, но в ней, как мне кажется, запечатлено наследие еврейско-русской литературы, и прежде всего, дорогого мне Бабеля.

Тем не менее, несмотря на не самые радужные прогнозы будущего еврейско-русской литературы, мне бы очень не хотелось, чтобы с годами моя антология все больше и больше походила на некрополь. Именно поэтому я очень надеюсь, что "Антология еврейско-русской литературы" выйдет по-русски и станет доступна русскоязычным читателям во всем мире.

Париж — Бостон

В оформлении 1-го тома антологии использована работа Иегуды Пэна (1854-1937) "Портрет неизвестного", 1917 г., хранящаяся в Национальном художественном музее Белоруссии в Минске, а на обложке тома 2-го воспроизведен его же холст "Портрет Елены Кабишер-Якерсон" из коллекции Витебского областного музея.

Алена ЯВОРСКАЯ

"На перекрестке Степовой мы нынче дружно заседаем..."

Литераторы – народ веселый и любящий жизнь (ну, встречаются иногда пессимисты и мизантропы, но их меньшинство). А так – все веселы (и, возможно, немного пьяны). Особенно на юге. Особенно в Одессе. И тем более, если литераторы эти – начинающие.

Ну и что ж, что начало двадцатых, время голодное, холодное и мрачноватое. Главное, чтобы компания была хороша, – собраться, почитать написанное, поговорить... А еще лучше, если их, компаний этих, несколько.

В 1922 году появляется в Одессе литературный кружок "Потоки Октября". Серьезный, профессиональный, существовал более четырех лет, даже одноименный альманах выпустил. Одним из организаторов кружка был Илья Чернов, а душой – Эдуард Багрицкий. Именно он прививал вкус к хорошим стихам вчерашним наборщикам и рабочим, а ныне начинающим поэтам. Впрочем, далеко не все потоковцы были "от станка". ("От сохи" был только один Иван Микитенко, будущий классик украинской драматургии.) Среди приходивших на заседания были и Лев Славин, и Сергей Бондарин, и Татьяна Тэсс, будущая звезда советской журналистики.

Собирались потоковцы в железнодорожном клубе на Степовой улице "в комнате со шкурой белого медведя на полу и небольшим, круглым, словно для игры в карты, столом посередине". Заседания проходили два раза в неделю – в среду и субботу. По средам знакомились с произведениями классиков и новинками литературы, а в субботу проводились литературные вечера, на которых члены кружка читали свои новые произведения. По воспоминаниям, заглядывал к ним и Исаак Бабель. Один (или одна) из участников застенографировал такое заседание в стихах. Вот какая картина получилась:

Мария ТАРАСЕНКО

Потоки

(дружеские укоры)

На перекрестке Степовой
Мы нынче дружно заседаем,
Единый рокот огневой
Связует нас – и мы сияем!
Тяжелый Беклин на стене,
В углу у входа ангел юркий.

Вода в граненом кувшине,
Бычки, цыгарки и окурки.
Струится дым, течет вода,
Потоки патоки и пота.
Еще не выдохлась "среда",
Как надвигается "суббота".
Да будет! Зачинаем бой
и вот, глазищами моргая,
Встает Чернов "как таковой",
За ним жена "как таковая".
Зачем же, дорогой Чернов,
Питать такую злость на Гехта?
О Баршт! О Тэсс! О Резников!
Необходимо высечь всех-то.
Страшитесь! Встанет Эдуард,
Сверкая впадиной зубною,
Гехт Соломон войдет в азарт,
Тряся еврейской головою.
Сергей Бондарин — всякий слышит
О яблоке, о наливном.
Смотрите: он прекрасно дышит
То самогоном, то вином.
И ты, Борисов Алексей,
Скажи, брат хитрый, сколько суток
В далекой юности своей
Описывал ты проституток?
Вступая в лоно поэтесс
Мы мыслим: лоно есть ли лужа?
О истерическая Тэсс,
Скорее обретайте мужа.
Чье слово мед и каждый слог
Симптоматичен и размерен
Он древле — ассирийский бог,
А ныне только доктор Верин.
Захаров, экс-имажинист,
В ближайшем — яркий коммунист.
Пусть спереди невзрачен он,
Зато он сзади превосходен,

И пусть на Пильняке взращен,
Но все же в интернат пригоден.
Довольно, суетный, остынь.
Да будет мир меж вами, дети,
Заканчиваем строки эти
Атеистическим "аминь".

Журнал "Силуэты", 1923, № 6-7

"Беклин" — по воспоминаниям, в комнате висела репродукция модной в начале века картины А. Беклина "Остров мертвых".

"Потоки патоки и пота" — авторство фразы в воспоминаниях приписывается Э. Багрицкому.

Чернов Илья, один из основателей кружка. Его жена постоянно присутствовала на заседаниях. Семен Гехт вспоминал: "За столом прочно усаживался Илья Чернов с женой, в супружестве тоже полюбившей поэзию".

Гехт Семен Григорьевич (1900/1903? — 1964) писатель, автор воспоминаний о "Потоках Октября".

Баршт Аркадий — по словам Гехта, "рабочий с табачной фабрики, признающий Гейне за то, что его признал Карл Маркс".

Тэсс Татьяна Николаевна

Резников Анатолий, один из основателей кружка, поэт, прозаик, считался одним из самых талантливых в "Потоках". Кирсанов, негативно отзываясь о потоковцах, делал для него исключение: "есть один талантливый парень — Резников".

Эдуард — Багрицкий Эдуард Георгиевич (1895-1934) — поэт, автор сборника стихов "Юго-Запад".

Бондарин Сергей Александрович (1903-1978) — писатель, автор воспоминаний о "Потоках Октября".

"Наливное яблоко" — поэма Сергея Бондарина, которую он с успехом читал на всех литературных вечерах.

Борисов Алексей Михайлович (1887-1973) — писатель, журналист.

Захаров Георгий Яковлевич (1898-1964) — писатель.

Пильняк Борис (18-19) писатель. Дискуссии о его творчестве были постоянной приметой литературной жизни 1920-х годов.

Бурные перепалки случались часто. Гехт вспоминал об одном из подобных споров о стихах Киплинга:

"Баршт ворчал, что в поэме действуют офицеришки, а мы офицеров загнали и так далее. У Багрицкого потом этот вечер был описан в лихой пародии, где обо мне сказано:

Он выступил раз и выступил два, и слова его были просты.
— На Киплинга лаешь, — он сказал, — покажи мне, как пишешь ты".

К сожалению, пародия Багрицкого не сохранилась.

В том же 1923 году молодой и, скажем честно, нахальный поэт Семен Кирсанов так описывает литературную жизнь города: "В Одессе существуют кружки: 1) "Потоки". Это

пролетарские поэты и писатели – порядочная пакость...". И вскоре при активном участии Кирсанова появляется "Юголеф". То есть Южный Леф. Левое искусство, одним словом.

По одной версии, деньги на затею давал модный дамский портной Исаак Корчик, имевший "счастье" быть отцом юного дарования. По другой – служебное положение и казенные деньги использовал в литературных целях поэт-коммунист Леонид Недоля-Гончаренко. Он был заведующим одесским отделением Госиздата и при первой же встрече с левыми поэтами и художниками Одессы "дал нам понять, что его положение в Госиздате открывает широкие возможности для пропаганды наших художественных взглядов и издания произведений лефовцев, вплоть до выпуска лефовского журнала", – вспоминал театральный художник Николай Данилов.

При такой материальной поддержке юголефы вполне могли выпускать журнал, редактором которого, естественно, стал Недоля. В отличие от других литературных организаций Одессы, кроме журнала у них была своя печать, настоящие членские билеты, книжный ларек, действовали театральная мастерская "Этмас" и изосекция Юголефа. Даже кафе. "РОЖ" называется – Работа, Отдых, Жратва. Сергей Бондарин вспоминал: "В целях эпатирования буржуазии мы в ресторанчике, который должен был служить, по нашему замыслу, материальной базой для идеологической надстройки, время от времени устраивали незамысловатые инсценировки ... с улицы вдруг раздавалось как бы церковное пение: открывалась дверь, группа молодых людей и девушек вносили просмоленный, как лодка, черный плоский гроб. В гробу лежал человек и курил. Случалось, ложился в гроб и я". Такую картину увидели однажды столичные гости. "Миша Голодный поперхнулся. Светлов молча проводил глазами процессию ... оглядел онемевших за столиками посетителей и, улыбаясь, спокойно сказал:

– Интересно, тот парень, что лежит в гробу, он и олицетворяет собой левое искусство? ... Если так, то едва ли стоит ему так беспечно покуривать: есть над чем подумать".

И реклама у юголефов соответственная. Вот как прививали они любовь к чтению народным массам: "Книгу жуя, жми буржуя", "Только животное и идиот не нуждаются в книге".

Коллег по перу (то есть потоковцев) недолюбливают. Риторический вопрос "Как пишут потОкоВЦЫ?". Тут тебе и вопрос, и ответ. Правда, вышеупомянутый Сергей Бондарин состоит членом и "Потоков", и "Юголефа".

О выступлениях юголефов много пишут газеты. Вот такая, например, заметка:

"Состоявшееся 19 мая ... собрание... привлекло большую аудиторию. У входа плакат: "Пьяным и крашеным не входить". ... Читают свои стихи Л. Недоля, С. Кирсанов и С. Бондарин. ... Работы т. Недоли отличаются стремлением к освобождению от образа, который заменяется конденсацией фразы. Шумные и разнообразные отзывы встречают стихи т. Кирсанова с "сомнительным выражением". Критикой Юголефа установлен принципиальный взгляд на этот вопрос. В стихах т. Бондарина критика отмечает выдержанную марксистскую мысль". Неизвестно, что за стихи читал Кирсанов. Возможно, описывающие заседание Юголефа.

Новый быт

После дневной напряженной работы
К черту отбросив дружно заботы, —
В час, когда нужно ложиться в кровать, —
Секция быта идет заседать.
Вот она — кузница нового быта.
Стойте, буржуи, окаменев,
В царство коммуны дорога пробита,
Твердо на страже стоит Юголеф.
Первый вопрос: "комсомольцы и кольца"
— Эй, комсомольцы, рубахи-развольцы.
Для изученья вопроса — алле —
Три "комсомольца" стоят на столе.
Вот она — кузница нового быта,
Слушай, Маруся еще не пробита
Как? Не пробита? Постановить —
Надо Марусю сегодня ж пробить.
Думает молча предисполкома —
— Эх, не дошло бы лишь все до Губкома.
Впрочем, налей полстаканчика, Сема,
Я о Губкоме подумаю дома.
Очень прельщенный лефовской "спайкой",
Некий юнец егозит попрошайкой —
Дайте хотя бы полкапли винца.
— Сема, порадуй винищем юнца.
Некий поэт оглашается воем:
— Нет, мы на это глаза не закроем
И не медля ни минуты — уже
К Женечке лезет за — П— и за — Ж-.
Вот она — кузница нового быта,
Выпита четверть — водкой запита,
Две юголефовки тихо твердят:
— Шура умеет три раза подряд —
Некий поэт осемнадцати лет

Томно выделывал — "па",
И фокстротируя, думал поэт —
— Эх, не узнал бы папа.
Впрочем, подробность проведал о танце я —
Танец кончался в гостинице "Франция".
Предисполкома кричал в упоении:
— Братья, да здравствует жизнестроение,
Покончим, товарищи, с пушкинским хлипом,
Ну, а по этому поводу — выпьем.
Три "комсомольца" стояли пустые,
Тихо икали бойцы бытовые,
И заключив воспитание масс,
Каждый по девочке взял на Этмасс.

Против старья до конца озверев,
С бытом сражался герой-Юголеф.

Можно окончить словечком Чернова
(тоже сказал одно умное слово):
В это болотище пьянства и лени
Смотрит с портрета запыленный Ленин.
Думает, верно, сощурясь на донышко:

— Вас бы, друзья, за ушко, да на солнышко.

Стройте, товарищи, наше искусство,
Лишь бы в бутылках не было пусто.
Смело решайте культуры задачи,
Только, смотрите, получите сдачи
Пробками бейте старье навылет —
Пока вам затылки друзья не намылят.

1924-25. Печатается по рукописи, ранее не публиковалось.

Комсомольцы и кольца — популярные в начале двадцатых годов дискуссии об отношении к браку и свободной любви.

Три комсомольца — в данном контексте обозначение бутылок со спиртным.

Чернов — украинский поэт Леонид Чернов.

Вот такие литературные нравы были в Одессе в начале двадцатых годов двадцатого века.

Пародии о ГУЛАГе

Тема не очень располагает к юмору. Однако таковы особенности пародии — она не знает границ и не укладывается в канонические рамки. Пародия везде, где есть жизнь. Гулаговская тема обширна и серьезна, и здесь будут обозначены подступы к ней на примере двух пародийных циклов: Л. Кассиля и В. Лапина "Разговор костистых с мастистыми" о знаменитой экспедиции писателей по Беломоро-Балтийскому каналу и неизвестного автора-заключенного "Что кто из поэтов написал бы по прибытии на Соловки". Оба цикла написаны примерно в одно время — конец 20-х — начало 30-х годов — и посвящены одному вопросу: ГУЛАГу. Ну, а подход к теме, естественно, различен, как различно было положение авторов, создавших циклы.

Известна нынешняя болезненная реакция общественности на поездку М. Горького в Соловки в 1929 году и экспедицию писателей на Беломоро-Балтийский, канал. Конечно, это были беспримерные по цинизму мероприятия. Сейчас трудно судить, какие впечатления вынесли писатели из этих поездок: то ли они ничего не видели, то ли не хотели видеть, то ли видели и понимали все... Однозначно можно сказать, что идеологи стих мероприятий не просчитались: экскурсанты вели себя так, как и предполагали организаторы.

О чем говорят в пародиях писатели, только что столкнувшиеся с зоной, с подневольным рабским трудом? О чем угодно, как будто они едут на курорт, на первом месте у них собственное "я", прихотливо переплетающееся с изящными фантазиями не по существу. За каждым персонажем цикла видится этакая пресыщенность, равнодушие, бравирование возможностью говорить о чем попало. Практически сама тема Беломоро-Балтийского канала и людских судеб, связанных с ним, всерьез и не возникает, оставаясь вынесенной за скобки: она не затронула души писателей.

Наоборот, в пародиях из Соловков чувства сконцентрированы. С точки зрения классического пародийного цикла он является как бы циклом наоборот. Обычно в таких пародиях взятая за основу тема дробится, и каждый из осколочков представляет собой как бы отдельное мнение конкретного персонажа. В творениях неизвестного автора все происходит иначе. Постепенно из осколочного мнения каждого персонажа вырастает общая картина, ужасающая в своей сути, ибо суть эта — стон человека, бездна отчаяния и беспросветности. За полуанекдотическим приемом — высказывания классиков о концлагере — во весь рост встает проблема ответственности литературы как средства понимания и осмысления человеческого бытия, происходящей в стране трагедии. И в этом свете бытовая трескотня "инженеров человеческих душ" резко контрастирует с мнениями персонажей гулаговского цикла, рассматривающих трагедию заключенных изнутри, а не снаружи, как у Кассиля и Лапина.

Аркадий ВАЙНЕР, Эдуард КУЗНЕЦОВ

Л. КАССИЛЬ и Б. ЛАПИН

Разговор костистых с мастистыми

(из стенгазеты "За душевное слово" экспедиции писателей по Беломоро-Балтийскому каналу на теплоходе)

Катаев (не Иван)

Кончив на 45-м километре Мурм. ж-д. 250-й лист своего нового колхозно-трюкового романа "Без метафор" (так как во Франции все кондуктриссы говорят метафорами) и водевиль "Площадь треугольника" из жизни политотдельцев, я занят сейчас обработкой богатейшего материала, собранного мной во время 10-минутной остановки на станции Петропавловск. Это будет широкое полотно, охватывающее 100.000 биографий ударников, 378 километро-листов, 150.000 кубометров лесоводы.

Я пишу свой роман свободной реалистической кистью в манере основоположников реаволюнтаризма (Золя, Флобера, Стендаля, Авербаха, Эврипида, Стенича), свойственной мне. Пора ударить по дешевой образности деклассированных бульварьдье: во Франции все сапожники говорят метафорами.

Л. Леонов

Еще на даче в Барвихе я замыслил создать на материале нашей беспримерной поездки психологический роман "Перековчуки" из жизни молодых перековавшихся иноков монастыря святого Иегупия на Ходульцах, получивших крепкую трудовую заверть в стылой остеклянелости замшелой береговизны северных рек. Этот роман станет настольной книгой для молодых поколений в грядущих веках.

Е. Габрилович

дал нам отрывок из рассказа "Август" из книги "Дожди, банкеты, вагоны".

"...Сын был юн. Он думал. Он курил. Он чесался. Он кашлял. Он перековывался. Он вышел на улицу. Мороз крепчал. Светила луна. Пел петух. Кричала собака. Дымился снег. Шли гулаговцы. Он сделал шаг вперед. Он думал. Он почесывался. Сосна. Небо. Солома. Сено. Овес..."

М. Зощенко

Еду я, братцы мои гражданочки, на Беломорстрой. Оргкомитет меня в эту поездку втравил. А сели ночью. Не видать ни хрена. Не то взад едем, не то

вперед. А тут еще купец Иринин подсел, маленько окосевши. Теперь утром смотрю в окно. Посветлело. Констатирую я при етой сетуации, что прем мы, братцы, на север. Пальмы тут не растут. Бананы населению не выдаются. Молодость проходит. Вот уж и женщины чевой-то не так на мою морду интересуются. А вы говорите — искусство, актуальность. Знаем. Писали.

Что кто из поэтов написал бы по прибытии на Соловки

А. Блок

По вечерам над соловчанами
Весенний воздух мглист и сыр,
И правит окриками пьяными
Суровый ротный командир.
А там, за далью принудительной,
Над пылью повседневных скук
СЛОН* серебрится упоительный
И раздается чей-то "стук".
А дальше, за постами самыми, —
Касаясь трепетной руки,
Среди канав гуляют с дамами
Рискующие остряки.
И каждый вечер омрачающим
Туманом полон небосклон,
И я опять неубывающим
Остатком срока оглушен.
А рядом, у дневальных столиков,
Проверок записи торчат,
И ротные противней кроликов,
"Сдавайте сведенья", — кричат.
И каждый вечер в час назначенный,
Иль это только снится мне,
Девичий стан, бушлатом схваченный,
В казенном движется окне.
И медленно пройдя меж ротами,
Без надзирателя — одна,
Томима общими заботами,
Она садится у бревна.

*СЛОН — Соловецкие лагеря особого назначения.

И веет тягостным поверьем
Метелка в узенькой руке,
Полна Особым Назначением,
Нога в болотном сапоге.
Сибирь и минусы склоненные
В моем качаются мозгу,
И сроки длинные, бездонные
Цветут на синем берегу.
Глухие тайны мне поручены,
Мне чьи-то сроки вручены,
И все души моей излучины
Осенней скукою полны.

С. Есенин

Недошедшее "Письмо к матери"

Ты еще жива, моя старушка,
Жив и я. Привет тебе, привет...
Получил в посылке я подушку
И цилиндр с парою штиблет.
Слышал я, тая тоску во взоре,
Ты взгрустнула шибко обо мне.
Ты так часто ходишь к прокурору
В старомодном ветхом шушуне.
Ничего, родная, успокойся...
Не грусти на дальнем берегу.
Я хотя отчаянный пропойца,
Но без водки — спиться не могу.
Я по-прежнему такой же нежный,
И мечта одна лишь в сердце есть:
Чтоб скорей от этой вьюги снежной
Возвратиться к нам — на минус шесть.
Я приду, когда раскинет ветви
Сад, купаясь в розовости вод,
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как в роте на развод.
Не томи ж меня прощальным взором,
Не грусти так шибко обо мне,
Не ходи так часто к прокурору
В старомодном ветхом шушуне.

Козьма Прутков

Из мыслей и афоризмов на Соловках

Никто не отсидит неотсидимого.

Избегай числа 58, даже не будучи суеверным.

Петух пробуждается рано, а нарядчик еще раньше.

Козыряй!

Продолжать сидеть легче, чем окончить.

И уборщица имеет врагов.

Если у тебя есть блат — заткни его. Дать отдых нужно и блату.

Сиди!

Если на воротах Пункта прочтешь надпись "Загородный сад Ливадия" — не верь глазам своим.

Цикл Л. Кассиля и Р. Лапина опубликован в "Литературной газете" за 1933 год, № 40
Пародии о Соловках перепечатаны "Литературной Россией" в 1989 году, № 2



"...И красный гимн поют свирели"





Журнал революционной сатиры "Бомба" (1917-1918), выходивший под редакцией Незнакомца, до сих пор остается для нас образцом профессионального периодического издания одного из самых сложных жанров и направлений. Опытнейший редактор Борис Давыдович Флит (Незнакомец) сумел со времен издания журнала "Крокодил" (1911-1912) сохранить творческие связи со многими журналистами, поэтами и художниками, а также привлечь молодых Ю. Олешу, В. Катаева, Б. Бобовича, художников Скифа (Самуил Фикс), Алеко (А. Костюкевич) и многих других, чтобы талантливо и разнообразно отразить сложнейшее время в истории империи, города, отдельно взятого человека.

От эйфории после февральской революции и наивной надежды на светлое и вольное:

СОНЕТ СВОБОДЕ

Я помню день. На шумных площадях,
Над солнечной толпой — пылающие флаги.
В весенних улицах — нестройные ватаги.
Штыки. Гром музыки. Улыбки на губах.

Как хорошо. Прошел недавний страх,
Гнетущий и тупой. И грудь полна отваги,
И весело идти в отчетливых рядах
По таящему льду и по весенней влаге.

Идти — и чувствовать, что за тобой народ,
Что каждый — друг и преданный товарищ,
Что мы идем сквозь чад и дым пожарищ.

К чему-то тихому и светлому вперед.
Идем вперед, вперед. И марсельеза
Гремит в ушах, как вольный лязг железа.

Вал. КАТАЕВ

приходило отрезвление, недоумение, сарказм ("...Нет подъема, нет больше экстаза, / Страстных песен, бурлящих рекой... / Вместо яркого счастья — тревога. / Вместо радости — злобный отбой...").

Сначала многие известные авторы, среди которых были, например, Эмиль Кроткий, Дон-Аминадо, сам Незнакомец, увлеклись сатирой на царя и его окружение, после чего в "Бомбе" появились стихи талантливого журналиста, подписывающегося "Жак Нуар":

Коллегамъ.

Съ давнихъ поръ мы и доселѣ,
Съ каждымъ часомъ все сильнѣй,
Мчимся въ пестрой каруселИ
Нашихъ нервныхъ шумныхъ дней.

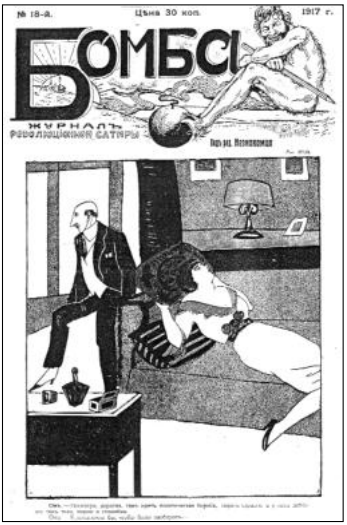
И довольны урожаемъ,
Фактъ смакуя словно ромъ,
Мы мгновенно отражаемъ
Всеобъемлющимъ перомъ.

Нами пущенныя смѣло,
Попадаютъ каждый день
Сатирическія стрѣлы
Въ слишкомъ юркую мишень.

И натянуты тетивы
Отъ утра и до утра.
И звучатъ, звучатъ мотивы
Яркой кисти и пера.

Но порою смыслъ ихъ мутенъ.
Какъ другого ни желай:
Вновь Алиса и Распутинъ,
Вновь безвольный Николай.





И прилежные въ наукахъ,
Затвердили, какъ урокъ,
Въ риѳмахъ, въ прозѣ, въ шаржахъ, въ звукахъ
Надоѣдливый лубокъ.

Вы имъ должное воздали,
Вызвавъ сильную мигрень.
Но глядите — свѣтлы дали,
И цвѣтетъ уже сирень.

Ну ихъ! Сбросьте это бремя:
Надоѣли, право, всѣмъ.
Неужели въ наше время
Нѣтъ гораздо лучшихъ темъ?

Жакъ Нуаръ.

Помимо политической сатиры в журнале отражались сложности бытовой жизни одесситов, и вы сможете не раз улыбнуться, прочитав анекдоты с неповторимой одесской интонацией. В одном из номеров напечатана блестящая миниатюра "Час, проведенный с Уайльдом", в которой здорово сочетаются известные парадоксы писателя с парадоксами обыденной жизни того времени. Тут же душевное смятение юноши, переживающего катаклизмы в окружающем мире (рассыпанные во многих номерах журнала стихи молодого Юрия Олеши), а рядом милые салонные стихи Георгия Долинова...

Очередная волна украинизации Одессы, искусственность этой ситуации тут же рождала комическую реакцию художников и авторов миниатюр. Смешно до сих пор.

Вас ждет также настоящий пир графики, наслаждение от рисунков, карикатур и шаржей Михаила Линского, Сандро Фазини, Сигизмунда Олесевича, Mad, Федора Сегаля, Израиля Мексина и других мастеров.

Талантливой сатире суждена долгая жизнь. Наверное, поэтому эмоционально откликаешься, читая "Песню о большевике" О. Томского:

"...Стреляют и грабят и тащат вокруг,
И нет от поганых спасенья...
...Несут за собою страданья, испуг,
Насилья, позор, разрушенья..."

Пѣсня о большевикѣ.



Какъ нынѣ сбирается "типъ" большевикъ
Отомстить ненавистнымъ эсъ-эрамъ,
Ихъ жизни, безмѣрною злобой великъ,
Обрекъ онъ различнымъ холерамъ.
А съ ними буржуевъ рѣшилъ за одно
Отправить хоть въ пекло, на самое дно...

Собрались Нахамкесъ и онъ же Стекловъ,
Не бывшій лишь въ вѣрѣ татарской,
И Ленинъ, надежный оплотъ босяковъ,
Самъ Троцкій и самъ Луначарскій...
А съ ними матросы съ Кронштадтскихъ твердынь,
И полкъ пулеметчиковъ, — словомъ, аминь!..

Собрались, пошли на столицу въ походъ,
Наносятъ побои и раны,
Трещатъ пулеметы, — стрѣляютъ въ народъ.
Буржуй! Берегите карманы.
Вотъ юной свободы "цвѣты и красы"
Стащили тотчасъ въ магазинѣ часы.

Стрѣляютъ и грабятъ и тащатъ вокругъ,
И нѣтъ отъ поганыхъ спасенья,
Несутъ за собою страданья, испугъ,
Насилья, позоръ, разрушенья.
Ну, словомъ, гуляетъ, отъ радости дикъ,
Товарищъ германца, шпіонъ, — большевикъ.

— Держитесь, эсъ-эры! Буржуямъ конецъ!...
Свои наведемъ мы порядки!..
И вдругъ задрожалъ и бѣжитъ молодецъ,
Сверкаютъ стремительно пятки.
Да, какъ не летѣть, не дрожать, не бѣжать —
Идетъ на подмогу Правительству рать...

Нахамкесъ отъ страха залѣзъ подъ кровать, —
Отрекся отъ партіи разомъ,
И Троцкій и Ленинъ рѣшили бѣжать,
Конецъ положивъ всѣмъ проказамъ.
И въ спальню къ супругамъ залѣзъ большевикъ,
Пріятель германцевъ, испытанный шпикъ...

Залѣзъ, чтобъ спасенье найти и пріютъ.
Забыты буржуямъ угрозы.
Быть можетъ, супруги бѣднягу спасутъ,
Утрутъ его горькія слезы!..
И шепчетъ несчастный и жалкій герой:
— Ахъ, Ленинъ, зачѣмъ я пошелъ за тобой?..

Теперь не сбирается "типъ" большевикъ
Отмстить ненавистнымъ буржуямъ,
Сидитъ за рѣшеткой, печаленъ и дикъ,
Безсильною злобой волнуемъ.
Давно ль на Правительство шелъ молодецъ! —
А нынѣ — ужасный и жалкій конецъ...

О. Томскій ("Жизнь и Судъ")



Вильгельм: Доннерветтеръ! Я перепуталъ, гдѣ у меня какой фронтъ! Съ Запада – марсельеза, съ Востока – марсельеза!

Революціонный разсказъ.

Подарокъ молодымъ беллетристамъ.

Экспромтъ.

Въ 140 строчекъ "баррикадъ"
Влить строчекъ 10 "марсельезы".
Взболтать. Прибавить "грустный взглядъ",
По вкусу "грохотъ ми ральезы",
15 строчекъ про "нее": –
Курсистку, 8 – про студента,
13 строчекъ – про "него",
"Свободнаго интеллигента".
Затѣмъ "толпу", "плакаты", "мглу",
Въ "побѣду надъ врагомъ" вмѣшайте,
На керосинку!.. – И къ столу
Въ горячемъ видѣ подавайте!

Валентинъ Катаевъ.

О любознательномъ иностранцѣ.

(Поучительная исторія).

Во времена совсѣмъ еще недавнія, пріѣхалъ въ Москву одинъ иностранецъ и услышавъ гдѣ-то слово "царь", очень заинтересовался этимъ словомъ и пожелалъ узнать, что оно означаетъ.

Въ глубокомъ раздумьи пришелъ онъ на нѣкую площадь и увидѣлъ тамъ огромную пушку, а возлѣ нея сложенную кучу большихъ ядеръ.

– Скажите, пожалуйста, – обратился иностранецъ къ стоявшему на посту городовому, – что это за пушка?

– Это царь-пушка!

– Ага! вотъ какъ! Должно быть хорошо стрѣляетъ?

– Не, куды ей стрѣлять! Такъ только для блезиру стоитъ.

Сокрушенно вздохнулъ иностранецъ и пошелъ дальше. Вдругъ видитъ огромный колоколъ, нижній край его отбитъ и отверстіе получилось такое, что хоть трамваемъ въѣзжай туда.

– Это что такое? – спросилъ иностранецъ.

– Царь-колоколъ, – отвѣтили ему.

– А когда въ него звонятъ?

– Да никогда!

– Для чего-же его тутъ поставили?

– А такъ, для красоты.

Прояснилось при этихъ словахъ лицо иностранца, вынулъ онъ изъ бокового кармана записную книжку и сдѣлалъ тамъ такую отмѣтку: "съ большимъ трудомъ удалось мнѣ выяснить, что приставляя къ названіямъ предметовъ частицу "царь" русскіе хотятъ этимъ показать, что такой предметъ ни на что не годенъ и служитъ только для декораціи; напримѣръ, царь-пушка, царь-колоколъ".

Маноля.

Студенческая весна.

У него сутулая фигура
И въ глазахъ какой-то тусклый свѣтъ.
По утрамъ задумчиво и хмуро
Онъ шагаетъ въ университетъ.
Сидя тамъ на лекціяхъ по "праву",
Въ продолженьи нѣсколькихъ часовъ,
Онъ глотаетъ мутную отраву
Скучныхъ стѣнъ и сѣрыхъ потолковъ.
Въ два часа въ дешевенькой столовкѣ
Скудно ѣстъ, попрежнему угрюмъ,
А затѣмъ въ домашней обстановкѣ
Погружаетъ молча въ книги умъ.
Такъ скучна убогая "квартира",
Обстановка: стулъ, кровать и столъ.
Здѣсь всегда накурено и сыро
И немытый мѣсяцами полъ.
Дни бѣгутъ, бѣгутъ неутомимо.
Все, слабѣе съ внѣшнимъ міромъ связь.
Жизнь идетъ волной кипучей мимо,
Надъ аскетомъ бѣшено смѣясь.
Отъ сомнѣній нѣтъ ему покою,
Каждый мигъ встаетъ другой вопросъ...
Подойти бъ и приласкать рукою
Мягкій шелкъ нечесанныхъ волосъ.
"Другъ и братъ, скажи мнѣ, неужели
Ты не вѣришь въ свѣтлую мечту?
Посмотри: поля зазеленѣли
И въ садахъ сирень стоитъ въ цвѣту.
Къ намъ весна явилась съ новой пѣсней
И дарить улыбки каждый мигъ.
Жизнь, пойми, гораздо интереснѣй
И мудрѣе самыхъ умныхъ книгъ.
Сбрось съ души налетъ тоски суровой
И въ каморку солнце позови.
Нужно жить во имя жизни новой!
Стоитъ жить для счастья и любви!.."

Н. Топузъ.



Три акта.

– Не можете-ли вы въ общихъ чертахъ разсказать мнѣ историческую схему каждой революціи?

– Извольте. Это пьеса въ 3-хъ актахъ. Актъ первый: Всѣ идутъ на одного. Актъ 2-й: Всѣ идутъ другъ на друга. Актъ 3-й: Одинъ идетъ на всѣхъ. Конецъ.

А. С-къ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Редакція „ВЛАСТИ НАРОДА"
проситъ лицъ,
еще не обруганныхъ въ этой газетѣ, сообщить свои имена и фамиліи секретарю редакціи.
Въ виду большого скопленія срочной ругани, лица, подавшія заявленія позже 20 апрѣля,
будутъ обруганы не ранѣе 15-го мая.

* * *

Если жизнь для насъ цѣль,
То зачѣмъ на пути
Столько въ розахъ шиповъ,
Столько слезъ и безсонныхъ ночей.

Если жъ смерть для насъ цѣль,
То зачѣмъ на пути
Столько пышныхъ цвѣтовъ
И сіяющихъ страстью очей.

Изъ "Золотой книги"
Черноморскаго Корпуса.

Товарищъ.

Товарищъ-извозчикъ,
Товарищъ-разносчикъ,
Товарищъ-кухарка, товарищъ-курьеръ.
Товарищъ-конторщикъ,
Товарищъ-наборщикъ,
Товарищъ-эс-дэ и товарищъ-эс-эр.

Товаришъ-читатель,
Товарищъ-писатель,
Товарищъ-художникъ, товарищъ поэтъ.

Товарищъ-сапожникъ,
Товарищъ-картежникъ,
Товарищъ-блондинъ и товарищъ-брюнетъ.

Какъ звуки набата на фонѣ пожарищъ,
Несется сей возгласъ – повсюду одинъ:
– Товарищъ! товарищъ! товарищъ! товарищъ!

– Товарищъ, спасите, – оглохъ гражданинъ!

Жакъ Нуаръ.



— Что это за шумъ на улицѣ?
— Противъ насъ сейчасъ разстрѣляли двухъ прохожихъ.
— А-а... А я думала что нибудь случилось!..



Обыватель: Направо убьють; налѣво – боюсь! Хоть бы ноги у меня отнялись, все же легче было бы: никуда бы не двигался!

* * *

Но все же мнѣ мила Одесса,
Гдѣ такъ сиренева сирень,
И отъ зеленаго навѣса
Листвы не жарокъ лѣтній день,
Гдѣ въ шумѣ греческихъ кофеенъ
Сидишь экзотикой овѣянъ,
Гдѣ на концертахъ, и въ кино,
И въ ресторанахъ – все полно;
Гдѣ у брекватора несмѣнно,
Направивъ жерла въ дальній лобъ,
Стоитъ рѣшительный "Синопъ",
И гдѣ горятъ попеременно
(Беру для риѳмы "падекатръ")
Сибиряковъ или театръ.

———

Гдѣ слышитъ запоздалый путникъ
Кондукторское "нѣтъ мѣстов",
Гдѣ биржевой ораторъ Гутникъ,
Когда свободы путь готовъ,
Свободы требуетъ народной,
И тамъ, гдѣ Финкель благородный
Собралъ въ потокѣ нѣжныхъ слезъ
Окурки царскихъ папиросъ;
Гдѣ съ одинаковымъ подъемомъ
Готовы всѣмъ ура кричать
И съ поклоненіемъ бѣжать
Ко всѣмъ прославленнымъ хоромамъ:
Лишь кто-нибудь воздвигъ алтарь –
Керенскій, Линдеръ или царь!

———

Пора кончать... Въ моемъ разсказѣ
(О, непростительный пробѣлъ!) ...
Я о Хари и Ашкинази
Сказать ни слова не успѣлъ...
Но, впрочемъ, лишняя услуга:
Они вѣдь съ сѣвера до юга
Извѣстны каждому (увы!),
Отъ Аргентины до Москвы,
Отъ Гонолулу и до Марса...
Ахъ, что жъ объ Анатра сказать?
Умѣетъ кой-куда летать,
Пилотъ, любимецъ Каульбарса...
Я умолкаю и на томъ
Поздравлю васъ, друзья, съ концомъ.

Юрій Олеша.

Въ скверѣ.

Изъ цикла "Стиховъ объ Одессѣ".
(Сонетъ).

Вчера надъ моремъ тосковало лѣто,
Іюльскій полдень былъ печально сѣръ, –
А я бродилъ, пришелъ въ зеленый скверъ...
Вокругъ листва и небо безъ просвѣта...

Кругомъ театра изъ тумана флеръ.
Все ждетъ дождя – весенняго привѣта...
Въ душѣ печаль, какъ будто пѣснь пропѣта;
Іюль груститъ и говоритъ: не вѣрь...

И я не вѣрю. Нудная "разлука"
За зеленью звучитъ издалека.
И тишина. И нѣтъ живого звука...
Но почему? – Вѣдь осень не близка!

А надъ цвѣтами, надъ театромъ скука
И тишина. А на душѣ тоска.

Юрій Олеша.

Сиреневое рондо.

По полямъ скитался цѣлый день –
Все вокругъ такъ солнечно, такъ молодо,
А вдали надъ дымомъ деревень
Разлилось негаснущее золото...
По садамъ кудрявится сирень,
И сирень къ груди моей приколота, –
Хорошо, и сладостно, и лѣнь,
И горитъ сиреневое золото...

Юрій Олеша.



Апрѣль.

Изъ цикла "Стиховъ объ Одессѣ"

Сегодня воздухъ чисть и свѣтелъ
И пахнетъ моремъ... А вдали,
Надъ городомъ, какъ будто вѣтеръ
По небу гонитъ корабли...

И улицы сегодня громки,
Отъ словъ, трамваевъ и каретъ,
И въ быстромъ взглядѣ незнакомки
Встрѣчаешь ласковый привѣтъ...

А вечеромъ, когда такъ ярки
Въ зеленомъ небѣ фонари,
Все золотится въ голомъ паркѣ,
Отъ угасающей зари...

Юрій Олеша.

О одесском языке

"Человек – это слог" (по Бюффону). Речь одессита ярка, красочна, неглубока по содержанию, но эластична, остроумием не блещет, но иногда ослепляет или же ударяет в нос, подобно хорошей одесской сельтерской воде. Ощущение получается не то, чтобы уж очень неприятное, но с непривычки не всякий переносит.

Прежде всего, заметим, что одессит – это особая разновидность людей, с национальностью нисколько не связанная; это русский, еврей, грек, армянин и т. д. Это всякий человек, не обязательно родившийся в Одессе, но, во всяком случае, настолько любящий этот город, что, находясь на Монблане или в лазуревом гроте острова Капри, вдруг иногда вздохнет и скажет: ах, Одесса-мама!

Вот у детей этой мамы и существуют особые выражения; назовем их "одессизмами" в pendant к галлицизмам и т. п., словам и выражениям, свойственным определенным народностям и непереводимым на другие языки.

Многие одессизмы распространяются за пределы родного города и их можно услышать в Маяках, Слободке-Романовке, Аккермане и даже Балте.

Приведу некоторые примеры.

Одессит говорит: "Я нечаянно лопнул стакан". Конечно, не нужно быть специалистом-филологом, чтобы заметить, что выражение это, с точки зрения русского языка, неправильно: глагол "лопнуть" не действительного залога, а потому после него не может быть прямого дополнения (стакан). Однако такая фраза имеет право на существование, ибо ее нельзя заменить другой, такой же краткой и имеющей тот же смысл.

Еще говорят в Одессе: "Я видел тетю вашу идти по Ришельевской улице". Здесь, очевидно, влияние французского языка. Сравните, например: Je vois vous chanter, что значит буквально: "я вижу вас петь". Укажу еще на некоторые одесские фразы.

"Сема, не дрожи диван: ты лопнешь все пружины".

"Ходить пешком или ехать на трамвае – это две большие разницы".

"Вчера на улице была страшная мокрота".

Недавно, сидя в "Иллюзионе", я слышал, как один одессит обратился к громко разговаривающему соседу с замечанием: "Товарищ, вы мне мешаете впечатляться!". И это выражение мне очень понравилось, как новое, оригинальное и очень соответствующее.

Почему одесситу-южанину нельзя того, что можно Игорю Северянину, в особенности теперь, когда у нас равноправие?

Есть у нас один очень известный писатель. Русские писатели считают его еврейским, а еврейские писатели считают его русским. Так и не знали, куда его причислить, пока не открыли, что он пишет на чистейшем одесском языке. Среди его произведений есть "Распад", "Король", "Приключения Леона Дрея", "Комедия брака" и другие. Желающих поближе ознакомиться с одесским языком мы прямо отсылаем к этим произведениям (Семена Юшкевича. – **Сост.**). Это мы считаем тем более необходимым, что в Лазаревском институте восточных языков кафедры одесского языка пока еще не существует.

Маноля



Поэтъ и художникъ.
При чемъ художники говорятъ, что онъ лучше пишетъ, чѣмъ рисуетъ, а поэты считаютъ, что наоборотъ. Но публика рѣшила иначе.
— И рисуетъ и пишетъ хорошо.
Самымъ лучшимъ своимъ произведеніемъ считаетъ любимаго сына.
Милая, простая русская душа.
Поэтъ въ жизни, несмотря на то, что одесситъ.



Человѣкъ который даже въ молодости былъ "старымъ театраломъ".
Редактируетъ два изданія:
— "Одесскія Новости" и Литературно-Артистическій Клубъ.
И оба одинаково талантливо.
Отказался отъ приглашенія стать редакторомъ "Биржевки", потому что не могъ перенести въ Петроградъ Одесскую "литературку".
Президентъ республики "ОдессклЯ Новости", хотя самъ — ярый "монархистъ":
— Играетъ только въ "короля".



Потомокъ Богдана Хмѣльницкаго.
И отецъ талантливаго сына.
Самъ же — членъ Правленія Литературно-Артистическаго Клуба.
Человѣкъ, у котораго самолюбіе больше его носа.
Обиженъ, почему министръ юстиціи Керенскій, а не Хмѣльницкій.



Каршонъ аккомпанируетъ "Тишину".



Начинающій, молодой, подающій надежды врачъ.



Одесскій фруктъ.
Сталъ великъ и славенъ въ Одессѣ.
Изъ монастыря попалъ въ оперетту.
Теперь обратно нехочетъ.
Оченъ хочетъ пѣть Евгенія Онѣгина, но Онѣгинъ у него выходитъ, а Евгеній ни за что...
Попупяренъ, какъ кувака.

Борис БОРУКАЕВ

Общее Солнце...

— Если замучает ностальгия, иди на Брайтон. Полегчает.

Так в один голос заявляли мне родственники и друзья сразу же после моего прибытия в Новый Свет. Вы, наверное, помните, как это происходит. Встреча в аэропорту, головокружение от впечатлений, неиссякаемый поток информации в виде рассказов "бывалых", добрые напутствия, ободряющие похлопывания по плечу и тому подобное.

Сначала экскурсии в сопровождении, затем осторожные самостоятельные вылазки в окрестности и, наконец, независимость.

Ностальгия меня не мучила. Распирало любопытство. В Одессе я много слышал об этом живописном районе Нью-Йорка на берегу Атлантического океана, где наши соотечественники ведут тяжелую, изнурительную борьбу за выживание в невыносимых для них условиях демократии и изобилия.

И вот при первой же возможности я иду на Брайтон, чтобы собственными глазами все увидеть и описать в письме, которое с нетерпением ожидают мои друзья. Дело происходит летом. Пекло невообразимое. Влажность невероятная. Горячий и мокрый, шагаю, зная только направление, руководствуясь описанными мне заранее ориентирами. По мере приближения к цели замечаю, как прямо на глазах меняется окружающая среда. Все чаще звучит родная речь. Больше мелькает родных лиц.

"Наши" лица распознаются мгновенно. В отличие от "не наших", на них написано все: настроение, семейное положение, достаток, отношение к окружающим. Они честнее.

Если владелец данного лица кого-то невзлюбил, ему не надо открывать рот, чтобы выразить свои эмоции словесно. Лицо само говорит: "Убью!". К счастью, во время моего первого посещения Брайтона таких лиц было немного. В общем, используя безошибочный для поисков принцип "холодно-теплее-горячо", следую верным курсом и, пройдя еще одну короткую неширокую улочку, попадаю в самое сердце русскоязычной эмиграции. Извините за высокий стиль.

Я тут же окунаюсь в могучий людской поток. Он увлекает меня, захлестывает, кружит. Вот это да! Кто сказал: "Маленькая Одесса"?. Это же Одесса в натуральную величину! Разношерстная, колоритная, шустрая, мудрая и язвительная, толкающая и не извиняющаяся! Здесь те же запахи, такие же цвета, собственный климат. Все настолько близко и привычно. Если бы не грохот поезда почему-то над головой...

Первое, что бросается в глаза, — вывески. "Одесса", "Золотой ключик", "Украина". В витринах шокирующие надписи типа "В продаже имеется балык". Помните, как в старые добрые времена там: "Есть пиво"? Эту вывеску, правда, мало кто читал. Есть ли пиво, определялось за версту. Когда я уезжал, Одесса уже о нем не вспоминала, и можно было увидеть надписи "Есть молоко", "Есть колбаса". Я, конечно, имею в виду госторговлю. В частной было все. Но не для всех.

Почти на каждом углу расположены лотки с книгами. За лотками — мужики, которые точно так же торговали книгами на специально отведенном для них городскими властями месте между Дерибасовской и Греческой в разрешающие времена перестройки. До нее они делали то же самое, на том же месте, но без разрешения. Немало их, несших культуру в массы, прошло через инквизиторские конфисковывающие руки милиционеров, тщательно пытавшихся уберечь массы от культуры по заданию горисполкома. Будучи книголюбом и проводя все свободное время здесь, я неоднократно присутствовал при конфликтах "книжников" с властями и как сторона заинтересованная, естественно, сочувствовал первым. Но единственный, непререкаемый аргумент — "не положено" — всегда решал спор в пользу последних. Переполненный чувствами от нахлынувших воспоминаний, подхожу к хозяину одного из лотков, как к старому знакомому.

— Ну как?

— Все так же. А ты?

— Ничего.

— Как там?

— Без особых изменений.

— В гости или как?

— Или как.

— Значит, будем часто видеться. Привет.

— Пока.

Диалог в стиле Хемингуэя. Следую дальше довольный. Ожидания пока оправдываются.

— Советские лекарства. Духи — Франция. Икра, — слышу приглушенные голоса.

Оборачиваюсь... О боже! Этого не может быть! Кто-нибудь, ущипните меня! Вдоль края тротуара стройной цепочкой выстроились женщины и мужчины, предлагающие товары "с рук"! Нет, я никуда не уезжал. Хлопотные сборы, многочисленные посылки, "дружелюбные" лица киевских таможенников, длительный перелет с пересадкой в Париже — все это бы-

ло сном, результатом работы перевозбужденного от навязчивой идеи мозга. Возможно ли? В Нью-Йорке — самом, можно сказать, центре развитого капитализма, разбухшего от изобилия, — продажа с рук! Это уже превосходит мои ожидания. Позже мне объясняли, что нашим людям на пользу идут только наши лекарства. Организм, мол, привык и только их и слушается. С этим я мог согласиться. Но вот доводы на тему всего остального меня не убедили. Наверное, все-таки для бывшего советского человека такая покупка является психологической потребностью, душевным порывом, ритуалом, а может... проявлением ностальгии?

Для подтверждения собственных выводов захожу в ближайший магазин. Вернее, втискиваюсь. Думаю, что в Центральном гастрономе в Одессе народу поменьше, правда, справедливости ради, и продуктов не больше. Я уже успел повидать очереди в Waldbaums, я был их частью в Edwards и, проводя параллель, могу смело утверждать, что очереди на Брайтоне, бесконечно сжимающиеся, спиралевидные, как галактики, — это стиль, образ жизни. Бывшие граждане страны Советов не могут жить без очередей. Никакая покупка без очереди им не будет в радость. Они должны потолкаться, поругаться и заодно чего-нибудь купить. В общем, несомненно: не там хорошо, где нас нет, а там плохо, где мы есть.

В неимоверной толкотне слышу знакомый акцент: "Фира, если вы будете все время лезть без очереди, вам будет нехорошо". "Нехорошо, — тут же отвечает Фира, — мне будет, если я встану в очередь. Какой же нормальный человек может всех вас переждать и остаться здоровым?!" Как любит повторять мой знаменитый земляк Роман Карцев, "Я ничего не придумываю. Просто хожу и слушаю".

Выбравшись из магазина, подхожу к газетному киоску. Количество наименований печатных органов на русском языке создает впечатление, что у каждой семьи на Брайтоне есть своя, специально для нее издающаяся газета или журнал.

Мимо проходит пара, замедляя шаг и пристально всматриваясь в меня. Мы улыбаемся друг другу. Откуда я их знаю?

— Это ты? — спрашивают осторожно.

— Гм... я, — отвечаю, замявшись.

— Узнал?

— Почти, — глупо, но нейтрально.

— 2-ая спортшкола?

— Не-а.

— Французский бульвар?

— Не-а.

— Еврейская больница?

— Упаси бог!

Теперь моя очередь.

— Университет? РГФ?

Сразу попадаю в точку. Мы радостно пожимаем друг другу руки и с чувством облегчения расходимся. За время моего первого пребывания на Брайтоне таких забавных встреч было несколько. "Шапочные" приветствия не в счет.

Бросив взгляд напротив, сквозь маленький переулок, замечаю синюю полоску океана. Там знаменитый бордвок. Спешу к новым впечатлениям. Предвкушаю что-нибудь не менее удивительное, но с детства родное.

В одной из популярных передач о Соединенных Штатах, с успехом шедшей и, возможно, продолжающей идти на тамошнем телевидении, в серии, посвященной жизни на Брайтоне, мне заполнился такой эпизод. Набережная. Прекрасный яркий день. На скамейках сидят беззаботные старички, о чем-то оживленно беседуя. Камера приближается. Крупный план. Голос за кадром произносит: "Скажите, пожалуйста, есть же все-таки нечто общее в вашей жизни здесь и там?" — " Есть", — отвечает один из стариков. "Что?" — радостно спрашивает интервьюер. — "Солнце".

Бордвок предстал передо мной именно таким, каким я его увидел в телевизионной передаче. Но кроме солнца очень многое кажется схожим. Ведь главное — люди. А они те же. И ничто их не изменит.

Вот стоит женщина с согнутой в колене ногой и поднятой вертикально вверх рукой, подставляя солнышку места, которые, по ее мнению, еще недостаточно загорели.

На скамейках пузатые дяденьки самозабвенно "забивают козла". Вокруг с визгом и топаньем босыми ножками по деревянным доскам бегают внучата. Они кричат друг другу что-то на двух языках одновременно... Стоп! Вот что портит общую картину. Невероятный симбиоз, режущий слух: резкие, отрывистые с выхлопом звуки английского вперемежку с мягкими шипящими русского в устах маленького Майкла, или Мишеньки (в зависимости от того, на каком языке он в данную минуту говорит) — сразу отрезвляет, нарушает гармонию, заставляет, встряхнув головой, очнуться и вспомнить, где ты все-таки находишься. Кстати, старики стараются не отставать. У них получается менее академично, но забавно.

— Скажи Семе, чтоб достал из транка фуд, а то испарится.

Или:

— Вчера пришел билл с таким балансом, будто я открывал рот в прошлом месяце, только чтобы болтать по телефону. Надо хорошо прочекать.

Спустившись с деревянного настила, ступаю в мягкий горячий песок. Я не переношу жары, а спрятаться негде. Ни намека на тень. Да, это не Аркадия или Ланжерон с топчанами, раздевалками и вбитыми глубоко в песок зонтами. Сжигающее солнце и раскаленные тела. Но где же то, что должно поражать не отличием, а сходством? А вот. Как говорится, далеко ходить не надо.

На песочке расстелено широкое покрывало, на котором восседает дружное семейство. Он, она и двое детишек. Он и детишки, застыв в позе по-турецки, устремляют нетерпеливые взоры в одну точку. Точкой является двухлитровая стеклянная баночка, из которой заботливая мамаша с умиленным выражением лица вынимает очищенную заранее вареную картошечку, густо посыпанную укропом. В центре круга уже разложены хлеб, помидоры, огурчики, лучок и соль. Никаких излишеств. После того как картошка расходится по протянутым рукам, начинается второй, основной этап — поглощение. Челюсти каждого работают четко, бесперебойно, ритмично, как хорошо налаженный механизм. Картошку аккуратно опускают в соль, холмиком возвышающуюся на салфетке. Нарезанный толстыми ломтиками хлеб складывается пополам, чтобы быть еще толще. Особое внимание вызывает целый помидор, который не режется ножиком и не прокалывается вилочкой, а просто лопается от первого укуса, обдавая всех участников трапезы алым соком.

Знакомо до боли! До восторга! Вся сцена пышет таким энтузиазмом и наслаждением, что кажется, именно за этим они сюда пришли. А солнце, воздух и вода — лишь атрибуты для соответствующего настроя. Долго наблюдать за ними неловко, и я удаляюсь. Пожелание приятного аппетита этому квартету могло быть воспринято как издевка.

Осторожно огибая загорающих, подхожу к воде. Теплая и мягкая, как в Черном море, она ласково обволакивает. Маленькие покатые волны, чередуясь, ложатся на песок, не пересекая на нем определенной черты. Я глубоко вдыхаю влажный воздух и поворачиваю назад. Поднявшись вновь на бордвок, пересекаю его в обратном направлении. Сегодня вечером я снова приду сюда. Говорят, ночные гуляния здесь — захватывающее зрелище.

Нью-Йорк

Михаил ЧАБАН

Фразы моего отца

Так уж получилось, что я (как, возможно, и многие другие) понял, кем был для меня отец, только после его смерти. И это несмотря на то, что последние годы его жизни (более 20) я со своей семьей жил в другом городе. Теперь я сам трижды отец и трижды дед, и хотя прошло уже больше 20 лет с его смерти, я часто вспоминаю его, и его место у меня остается пустым, видимо, уже навсегда. Заполнить его просто нечем.

Официальное, по паспорту, имя отца было Осип, в метрической книге в Одессе он записан как Иосиф, но мать и все знакомые, кроме работы, звали его Юзя, как я понимаю, это был уменьшительный еврейский аналог его официального имени. Это еще ничего, моего деда при рождении назвали Шалом, в метрической книге его записали как Шулим, на русский это перевели как Соломон, а в Канаде он стал Сэмом.

Отец обладал большими математическими способностями. Он редко играл в домино, но когда садился – никто не мог у него выиграть. Он помнил все перемещения камней у всех участников и хорошо запоминал все ситуации игры. Я сам не раз проводил с ним эксперимент. Мы открывали несколько, даже более десятка камней домино, и он мгновенно называл общее число очков на них. Потом мы долго и нудно проверяли, и они всегда совпадали.

Кроме того, он обладал хорошим логическим и аналитическим мышлением, мог очень точно подметить характерное в человеке или его действиях и часто его прозвища или меткие шутливые выражения становились крылатыми в нашей семье и запоминались надолго. Я до сих пор помню многие из них и даже применяю их время от времени. Может быть, в другие времена он бы стал профессором математики, но это было не его время, и он всю жизнь проработал мастером кабельной сети Одесского трамвайно-троллейбусного управления.

1. Восемь газет

Мой дедушка по линии матери – Лева (Лев Годев Граник) – очень любил читать газеты. Напомню, что тогда телевизоров еще не было, а радио было только по "точке", и только одна станция. Поэтому почти единственным источником новостей, кроме друзей и знакомых, была газета – коллективный организатор и пропагандист. Дедушка всегда покупал ровно восемь газет. У него был "свой" газетный киоск, где продавец его знал, и он там "отмечался" ежедневно. Почему именно восемь газет, а не шесть и не десять, – никто не знал, думаю, что и он сам. Восемь газет – и все. Тем более что во всех газетах было одно и то же. Ну, какая разница была

между "Правдой" и "Известиями", да и другими газетами? Дедушка тогда был уже на пенсии, особенно заниматься было нечем, и он покупал газеты, садился на скамейку на воздухе в садике возле дома и читал. Я иногда заставал его там, и мы немного разговаривали. Мой отец тоже интересовался политикой, и мы, как и положено (добровольно-принудительно), что-то выписывали — одну-две газеты, центральную и местную. Отец всегда удивлялся: что можно прочитать в восьми газетах, если они все одинаковы, только названия разные? И выражение "восемь газет" для него (как и для нас, как я вижу сейчас) стало характеристикой чего-то неинтересного, скучного, повторяющегося, рутинного. В этих случаях он говорил по-одесски: "Маем дило, восемь газет".

2. Когда кушаешь, хочется еще

У моего дедушки было четыре дочери, в том числе моя мама. Как и было тогда положено в добрых еврейских семьях, все они очень хорошо готовили. Никогда не ленились приготовить такие трудоемкие блюда, как фаршированную рыбу, холодец, салаты, "наполеон". Они очень переживали, когда что-то не получалось, это была целая трагедия с последующими обсуждениями и воспоминаниями. Тем не менее, все, что они готовили, было достойно самых высоких похвал и опробовалось на совместных празднованиях разных событий. Не помню точно, кто первым, желая похвалить блюдо, сказал эту фразу за столом, но, кажется, это был дедушка. Похвала прозвучала немного по-одесски: на вопрос, как ему понравилось блюдо, он сказал: "Когда кушаешь, хочется еще". Эту фразу ухватил мой отец, и с его благословения она стала потом крылатой в нашей семье. При любом одобрении, и не только пищи, но и многого другого, мы говорили: "Когда кушаешь, хочется еще".

3. Ми вас будем обеспечаивать

В старые времена, когда еще иностранного туризма и в помине не было, а санатории и дома отдыха были для простых людей недоступны, и даже выехать за пределы города была проблема, в Одессе обычным был отдых на даче. Но дачи были у очень немногих, и люди обычно снимали комнату на даче или в домах пригорода. Особенным успехом пользовались районы так называемого Большого Фонтана. Воздух, море. Я помню, как мы регулярно снимали дачу на 16 станции Фонтана. Поскольку чем

ближе к морю комнаты, тем они стоили дороже, а возле самого моря были вообще не по карману, то приходилось снимать места подальше.

Несколько лет подряд мы снимали комнату у пары, фамилию которой я даже запомнил, — Гейзер. Когда мы приходили на предварительные переговоры, я там тоже был, несмотря на малолетство, и шел обычный одесский торг. Покупатель расхваливал свой товар, а продавец искал недостатки и сбивал цену. Дом, в котором мы собирались снимать комнату, находился далековато от моря, где-то в часе ходьбы, станция трамвая и магазины — полчаса. Это и приводила в качестве доводов моя мать, особенно это касалось продуктового магазина. Хозяин с естественным одесским акцентом и соответствующим знанием "великого и могучего" ответил: "Ми вас будем обеспечаивать". Он хотел сказать, что они нас будут снабжать продуктами, обеспечивать. Это было, конечно, обычным и полным трепом, и все это понимали, и он сам тоже. Он был уже в возрасте, и его самого надо было "обеспечаивать". Но в разговорах-уговорах это был как бы довод.

Отец запомнил эту фразу и потом, всегда и очень к месту, когда речь шла о заведомо невыполнимых обещаниях и напрасных надеждах, он говорил: "Ми вас будем обеспечаивать".

4. А зачем ты тогда сюда пришла?

У нас были хорошие знакомые, почти родственники, которые приходили к нам в гости, как и мы к ним. У них было двое детей — девочки. Поскольку всегда к встречам всего наготавливалось, то обычно столы были полны всевозможных яств. Ну, а дети есть дети, они капризничали и не хотели есть самое вкусное. Родители, конечно, переживали по этому поводу. Помню, один раз у нас в гостях отец этих девочек, его звали Борис, терпел-терпел капризы своих дочек с отказом от разных блюд и в итоге откровенно так им сказал: "А зачем вы тогда сюда пришли?". Поскольку фраза имела подтекст, то присутствующие стали улыбаться, а потом и сам Борис его понял. Фраза очень понравилась моему отцу, и он стал ее применять каждый раз, когда речь шла о каком-нибудь нарушении логики, смысловых нестыковках. Понравилась и запомнилась она и мне, и я ее опробовал уже на своих детях. В компании, когда они, на мой взгляд, недостаточно активничали за столом, я громко на всю комнату говорил: "А зачем вы тогда сюда пришли?". Для собравшихся это получалась шутка, ну а дети, естественно, стеснялись папиной "откровенности", не нахо-

дя что ответить. И на самом деле, что можно ответить на такой вопрос за столом: "А зачем ты тогда сюда пришел?".

5. Не может быть!

Это выражение, "Не может быть!", моя мама и ее сестры часто применяли в разговорах. Смысл был не в недоверии или, тем более, не в уличении во лжи, а воспринимался просто как междометие, проявление интереса, удивления и желания услышать детали, ну, если перевести с русско-одесского на простой русский, вроде как: "Это же надо!" или же "Вы только посмотрите!". Моему отцу это выражение понравилось, и он его стал часто применять, но он вкладывал в него более ироничный смысл. Ну, например, мать работала недалеко от Нового рынка и в свой обед еще и успевала "делать базар". Дома она выкладывала все на стол и показывала отцу, и рассказывала, как выгодно она купила, например, хорошее мясо, как выторговала цену. И отец в ответ говорил: "Не может быть!" — хотя это мясо лежало на столе прямо перед ним, всем своим видом доказывая противоположное. Мать хорошо знала отца и совершенно не обижалась, воспринимая это как форму одобрения ее покупки, но выраженной "по-папиному". По-видимому, это настолько въелось в мое сознание, что с течением времени я и за собой заметил, что применяю это выражение, "Не может быть!", в разговорах уже со своей женой, и она после некоторой тренировки с выражениями типа: "Ну, тогда я тебе вообще ничего рассказывать не буду!" — привыкла и тоже понимает это как одобрение. Не может быть.

6. Маем дило

Выражение "Маем дило", по существу, украинское, приблизительно его можно перевести как "Имеем занятие", хотя оно и гораздо богаче, и национально колоритнее. В одесском исполнении оно выражает некоторый диапазон значений от принятия соглашения, в смысле — "по рукам", что, возможно, и было его первоначальным смыслом, до одесского иронического, типа: "Ну вот, опять эти проблемы на мою голову", — с задумчивым почесыванием "потылицы". Вообще, украинский язык богато вкраплен в "одесский диалект", и эта проблема еще ждет своего исследователя-лингвиста. Наиболее употребительный одесский смысл выражения "Маем дило" — иронический, и он в том, что человек от нечего делать или

от "большого" ума сам создает себе проблемы. То есть на пустом месте, из ничего, создается "конфетка". Или же человек занимается совершенно бесполезной деятельностью, но он зато "Мает дило". Естественно, такой подход очень свойственен женщинам, и особенно одесским женщинам. Из ничего сделать скандал. В этом ироническом ключе мой отец и произносил это выражение.

7. Ви днем спите?

Одна из наших знакомых была замужем за ювелиром, у них был один ребенок, но она всю свою жизнь не работала, что для тех времен представить себе трудно, так как тогда в семье все взрослые работали, зарплаты одного совершенно не хватало на жизнь семье, да и двоих тоже. Но ювелиры во все времена зарабатывали неплохо, хотя в те годы за малейшие "левые" дела или металл их карали страшно. Эта знакомая иногда встречалась с нами в городе, и как всегда, женщины разговаривали о том о сем. Она была простой и откровенной женщиной и однажды спросила мою мать (с одесским акцентом): "Ви днем спите?". Большей несуразицы придумать было нельзя. Но это был ее стиль мышления и жизни. Мне это немного напоминает сцену из кинофильма "Гусарская баллада", когда главный герой, в данном случае девушка, спрашивает красавца гусара, которого играл Яковлев: "Вы любите вышивать?" — а он ошалело хохочет. Гусар — и вышивать! Вы ж понимаете. Мать всю жизнь работала, и как она могла "спать днем"? Отец это выражение заметил и стал применять его в ироническом смысле. Когда он слышал явную глупость, он говорил (повторяя "одесский" акцент): "А ви днем спите?". Вот и я хочу у вас поинтересоваться: "А ви днем спите?".

8. Я так и знал!

Это выражение мой отец употреблял часто и, как это ни странно, в его прямом смысле — как подтверждение его предположений, предвидения. Но, естественно, делал он это акцентированно и несколько перегибал палку в сторону иронии, и часто получалось, в итоге, — к месту и смешно. Как и у всех нас, у него были свои жизненные понятия и правила, которым он следовал и, естественно, хотел, чтобы следовали другие. И любые отклонения от них и их отрицательные последствия вызывали его реакцию: "Я так и знал". Я также думаю, что это было его дежурной защитной про-

тиворечивой реакцией на многие явно не предвиденные беды и невзгоды. Но в жизни это приобретало более широкий смысл. Стоило, например, уронить стакан, как он тут же возмущался: "Я так и знал!". "Папа, как ты мог знать, что я уроню стакан?" — "Потому что ты так живешь!" — и далее следовал небольшой курс о философии жизни, смешанный с поучениями по поводу недавних событий и поступков, которые ему не понравились. В чем была связь между ними и нечаянно уроненным стаканом, трудно установить с помощью формальной логики, но с помощью диалектической — можно. Отца почему-то любой беспорядок, нарушения, нестандартные положения очень раздражали. Когда они завершались неудачей, следовало: "Я так и знал!". И теперь, когда у меня свои дети и внуки, и я думаю о них, об их жизни, анализирую их успехи и неудачи, у меня тоже возникает та же иллюзия, что многие ошибки на их месте я мог бы предусмотреть, и о получаемых в итоге негативных результатах "я так и знал". Все мы умные задним числом и местом.

9. Скажи "да"

Смысл, который вкладывал мой отец в это выражение, не в подтверждении какого-либо факта, обстоятельства, действия или обещания, а формально-условный с ироническим подтекстом. Мол, скажи "да", чтобы просто отцепились, а там видно будет. Тебя это ни к чему не обяжет. Просто подтверди на словах — и все. Свободен. Происхождение этого выражения я точно не помню, но думаю, отец его тоже взял "из жизни", из характерных высказываний одного из родственников или знакомых. И связано это было с невыполнением данных обещаний, откровенным обманом. Человек в важном деле сказал определенное "да" и так же определенно сделал "нет" — и вот это было метко подмечено отцом и запомнилось нами и нашими детьми на поколения, хотя самого обманщика давно уже нет, да и никто его не помнит. А клеймо осталось. Юмористическая условность выражения заключалась в его универсальности, обобщении на многие случаи жизни. Это могло касаться любого предмета обсуждения, например, между мамой и ее сестрами, в которое в определенный момент "врезался" отец со своим ироническим "Скажи "да", тем самым придавая предмету разговора смысл абсурда. Обычно момент выбирался очень удачно, и все смеялись, понимая нереальность, невыполнимость обсуждаемого. Так что, "скажи "да", и я скажу тебе — кто ты.

10. Врожденный идиёт

Это было ругательство отца, определяющее беспробудную человеческую глупость, ну просто дальше некуда. Но, тем не менее, в жизни такое встречается чаще, чем хотелось бы. Вот почему именно "врожденный" идиот, а не простой или благоприобретенный, например, с возрастом и жизненным опытом, — не спрашивайте, видимо, логика здесь в усилении понятия, его беспросветности. Причем произносилось слово "идиот" с одесским акцентом, как "идиёт". Вообще, нелогичными, на наш взгляд, могут быть различные действия, но чтобы заслужить от моего отца это "почетное" звание "врожденного идиота" нужно было на этом поприще довольно хорошо потрудиться или же привести отца в нестабильное состояние духа. Но мы с сестрой старались, и при достаточно глупых поступках или намерениях нам от отца доставалось, хотя по логике вещей — что значит "врожденный", от кого мы произошли, кто же нас, в конце концов, "вродил", если не он сам? Ну, с некоторым участием мамы, конечно. Помню, попозже, когда я защитил кандидатскую диссертацию и прислал ему копию моего диплома, которым он очень гордился, я спросил его при встрече: "Папа, видишь, а ты говорил, что я врожденный идиот". Но он нашелся и ответил: "Если бы я тебе не говорил, ты, может быть, и был бы". Так вот, может быть, он и был прав, имея в виду мой образ жизни: я всегда брал на себя повышенные "социалистические" обязательства, старался что-то доказать себе и другим, и может быть, это и было моим внутренним, но к сожалению, не вечным двигателем.

Врожденный идиот. Я уже не говорю про сестру. Да и вообще, человеку от рождения свойственно ошибаться. Кто из нас не делал ошибок — крупных, мелких, не говоря уже о средних? Так, может быть, мы все немного это самое... ну, и немного другое. А результат зависит от соотношения.



Олег ГУБАРЬ

Бабушка Пастернака

Из цикла зарисовок о Вениамине Абрамовиче, искусствоведе и человеке

В момент моего явления заместитель директора по научной работе Вениамин Абрамович в полемическом задоре размахивал растопыренной пятерней перед нежно розовеющим носом несколько осоловевшего, однако неизменно склонного к активному оппонированию художника Паши Митриева. Последний, в свою очередь, потрясал на виду Абрамыча тусклым осыпающимся холстом на обшарпанном подрамнике. Сюжет дополняла недопитая бутылка коньяка стоматологического "Десна", нашинкованный толстыми колбасными ломтями мятый лимон и груда припорошенных табачным пеплом высоконаучных бумаг на обширной столешнице. Прибывшие со мною девственницы — бутылка водки "Хортица" и банка арахиса — кратковременно облагородили интерьер.

"Нет, ты мне скажи, — агрессивно вопрошал Вениамин Абрамович, оскалившись немногочисленными потертыми зубами, — сколько ниток у нас приходится на сантиметр холста?!" — "Веня, — уныло отбояривался Митриев, — разве количество ниток тут может служить определяющим фактором в вопросах датировки?!" По всему было видно, что витающему в изрядно сгустившихся коньячных эмпиреях Паше едва ли удалось бы сосчитать нитки даже под дулом имени предпринимателя Калашникова.

"А рука, — горячился искусствовед, и мефистофельский профиль его обретал все более ощутимую рельефность и завершенность, — рука! Гляди! Ты в жизни своей надоедливо нескончаемой видал ли такую руку?! А?! Как смело, как безоглядно решительно выписан мизинец! Только Пастернак мог себе такое позволить! Только он! А не те, что и мизинца его не стоят! И обрати свое померкшее внимание: натурщица водит пальцем по книге справа налево, — голос искусствоведа предательски дрогнул, срываясь на фальцет, — ты понял меня, знаток хренов?! Это же наша интеллигентная бабушка одесской национальности!" Абрамыч многозначительно погрозил Митриеву пальцем. Почему-то указательным.

Пользуясь сумятицей, я наполнил вместительный стаканчик, но не тут-то было. Паша сквозь очки блеснул в мою сторону негодующим взором: "Беру тебя в свидетели, Кубарь. Смотри сам: свинцовые белила пробуравили холст навылет, а наш записной эксперт Веня утверждает, что сие есть банальнейший грибок. Как это на ядовитом свинце могла столь буй-

но, по-весеннему взрасти плесень?! Это ж не мухомор какой-нибудь образцовый! Возмутительное шулерство!" — "Очки, — надменно откликнулся Вениамин Абрамович, презрительно махнув костлявыми фалангами, шарнирно притороченными к пергаментной ладони, — оправа, эти блики, этот грациозно бликующий металл! Прописано не линией, а точками! Точками!" — "Морзянкой", — отзываюсь ехидно. "Именно так, как прописано пенсне жены Льва Николаевича, — убедительно жестикулирует Абрамыч, — ты, Кубарь, сам видел пастернаковское "Под лампой", сделанное в имении Толстых. Здесь то же самое, один к одному! Двести процентов!"

Обстоятельно выпиваю в два приема, поочередно и со значением заглядывая в глаза истцу и ответчику. "Двадцатые годы!" — с невозмутимо мягким сарказмом высюсюкивает Митриев. "Восьмидесятые, голову на отрез!" — тавтологически отрезает искусствовед. "Смутное время... Магазины затоварены, — неспешно, с достоинством гнет свое Паша (*вгемя, затовагены* — его более чем легкое грассирование от искреннего негодования посягает на картавость!), — цинковые белила дороги (*догоги*!)..." — "Сам ты фальсификатор!.. Нет, я насмерть буду стоять, что бы ты там ни доказывал! Это Леонид Осипович!" — картинно меняет интонацию Абрамыч, демонстрируя симптоматичные навыки голосистых лекторов общества "Знание". "Утесов?" — уточняю вполголоса.

"Бабушку Пастернака" среди разнообразного хлама откопал на развалках Староконного базара (легендарного блошиного рынка) наш находчивый добрый приятель, везунчик Гурген Агдамян, которому еще воздастся по заслугам. Вениамин Абрамович увидал бабушку и обомлел. Он в бабушках толк знает, ибо сам свежеиспеченный дедушка. Старушка с молдаванской барахолки и в самом деле представляется неправдоподобно по нынешним меркам интеллигентной. Трогательно склонившись над оправленным в белую накрахмаленную скатерть столом, непреклонно доброжелательная, в темно-синем, чуть ни панбархатном, платье, с седеющим "кубликом", она (похоже, и точно справа налево) с заметным аппетитом читает толстенную книжищу.

"Я ее атрибутировал, — подводит черту Абрамыч категорически, — и останусь на своем!" — "Он атрибутировал бабушку... Ты слышишь, художник, что он с нею сделал..." — я нахально ухмыляюсь. Осоловевший было Паша моментально реанимируется и хрипло хохочет: "Ага, так это, выходит, заместитель директора по науке атрибутировал безропотную старушку на Дерибасовской угол Ришельевской?!" Безропотную или безотказную?..

Не к ночи будет сказано, мы с энтузиазмом выпили, тогда как атрибутированная бабушка оскорблено уткнулась в недочитанный талмуд.

"Какие люди", — резюмировал Вениамин Абрамович весомо. "Нет, вы только подумайте, — снова встрепенулся Митриев, — и все отсюда, все наши!" — "Все пастернаки? — уточняю в сторону. — А, нет, есть еще один Кандинский". (Вениамин Абрамович помешан на Кандинском, а Пастернак так, с боку припеку, со стороны бабушки.) Паша сделал эффектную паузу, после чего изрек проникновенно, с неким привычно священным трепетом: "Давайте выпьем за Одессу!". Вениамин поддержал с ироническим пониманием: "Давайте". Как нечто сакраментальное. Взъерепенившись, вступаюсь за "Бабушку Пастернака": "За Одессу пить не стану. За одесситок — пожалуйста". "Ты что, не патриот?" — спрашивает Паша с интонацией кинематографического провокатора. "Нет, не патриот. То есть не местечковый патриот". "А мы, — художничек даже как бы трезвеет, — по-твоему, местечковые?!" Я: "Ну, как тебе сказать... Знай наших, да? Одесса — родина слонов, кинематографа, бычков в томате и языка суахили... Водку будете?" Паша, с той же интонацией: "А что?" — "Ну, вы же, вроде, по коньячку..." Паша: "Так одна ж мама". Я: "Ты снова за Одессу?" Вениамин Абрамович, примирительно: "Допиваем непатриотическую "Хортицу", и я бегу за коньяком местного производства". Блаженны миротворцы... И точно, порысачил.

Сидим. Жуем споли. И тут меня осеняет: "Знаешь, Митрич, а что если это и есть та самая бабушка?!" Паша подозрительно, но со все более пробуждающимся пиететом взирает на портрет. Продолжаю проникновенно: "И ее сначала написал один Леонид Осипович, а впоследствии воспел другой Леонид Осипович?!" Явившись минутой позже, Абрамыч застает нас торжественно-молчаливыми, исполненными некоего тайного знания и бережно передающими осыпающуюся бабушку из рук в руки, но истолковывает ситуацию по-своему: "Ну что, убедились, наконец, олухи царя небесного?! Моя правота! Ведь он же, он! Его рука и бабушка!" Я, как бы уступчиво: "Ладно, наливай свой стоматологический". Художничек Паша, снисходительно поглядывая на искусствоведа: "Давай уже, черт с тобой". "За это таки стоит выпить", — воспаряет Вениамин Абрамович победительно. "Согласен, — Митрич на манер Иоанна-Павла Второго степенно помавает рукой, — за бабушку Пастернака!" "И Утесова, — прибавляю истово, — короче, за многострадальных старорежимных бабушек!"

Звонит Агдамян: они с бутылкой уже на подходе, но еще не знают развязки. Кто-кто, а уж Гурген точно оценит. Это ж его отец, узнавши о рождении внука, отреагировал философически: "Стать дедушкой не стыдно. Стыдно спать с бабушкой".

Михаил ЛАНДЕР

Старая трубка

"В благословенный наш и просвещенный век
всего сумел дойти курящий человек".
Михайло Ломоносов

"Сколько великих людей сохраняли спокойствие, чувство ответственности
и стремление к цели, такие важные для человека... с помощью табака".
Джон В. Кемпбелл

"Нет ничего проще, чем бросить курить, — я это сто раз делал".
Марк Твен

Не подумайте, что я проповедую курение. С этим общество, и не безуспешно, борется. Особенно сейчас в Америке — родине табака и курения.

Лично я уже давно не курю — с момента вступления на землю Нового Света, да и запах табачного дыма мне уже неприятен. А ведь курил. У меня было 18 трубок. Все они хранятся у моей дочери. На трубку я перешел уже в зрелом возрасте, до этого курил сигареты. Да и курить я стал поздно, после войны. Дело в том, что на кораблях курение разрешалось в специально оборудованных местах — обычно на корме, на открытом воздухе, — и нарушение этого правила строжайше наказывалось. Исключение составляла "боеготовность один", и то только для тех, чьи боевые посты были на открытой палубе и в светлое время, — комендоров, торпедистов и сигнальщиков.

Как только звонки громкого боя извещали о боевой тревоге, я взлетал через четыре трапа в боевую рубку управления кораблем, на ходу надевая каску и засовывая бескозырку за ремень, закрывал иллюминаторы броняшками и становился на руль. В рубке вообще никто никогда не курил. Видимо, поэтому я впервые закурил в День Победы. Согласно флотской традиции, некурящие получали шоколад, а так как я был "пацаном", меня это вполне устраивало. Согласно этой же традиции, на кораблях выдавали только сигареты. Махорку давали только в береговых частях и в армии. В целях безопасности никакие "самокрутки" не разрешались, тем более из махорки, извергавшей при малейшем дуновении снопы искр.

После демобилизации я не стал заядлым курильщиком, как некоторые мои сослуживцы. Благодаря профессии мне были доступны хорошие сигареты, но о трубке я и не помышлял.

Почему-то у окружающих образ моряка неразрывно связан с трубкой в зубах, особенно образ капитана. Смею вас заверить, что это не так. Как свидетельствуют историки, даже пираты табак не курили, а жевали или нюхали. Из моих друзей-капитанов трубку курили только двое. Я же перешел на трубку на Севере. Многие капитаны-поморы курили трубку — это связано со спецификой профессии: всегда теплые руки, и ветер не превращает сигарету в летящие искры. В этом я убедился сам. Вот так и привык.

Но курение трубки — это ритуал, о котором я узнал позднее. Первую трубку мне подарил капитан Сапогов. Выходец из знатной стариной семьи архангельских рыбопромышленников, Александр Иванович был всесторонне образованным человеком, изумительным гитаристом и знатоком русского романса.

Я пришел к нему на пароход "Аскольд" старшим помощником. В первом же рейсе он пригласил меня в свою каюту, налил крохотные рюмочки коньяка и такие же крохотные чашечки густого кофе и, изящно держа их, отставив мизинец, произнес поморским говором: "Ты, Михайло, вот что: или не кури во время вахты свои сигареты, или переходи на "сопелку", а то вон сколько пепла разбросал, — и положил предо мною коробочку с трубкой — чуть изогнутой, с ажурной крышечкой. — Бери, бери, настоящий "бриэр", только поначалу обкури ее хорошим табаком, иначе загубишь вкус. Трубка — как собака: как наречешь, такая и будет. Ее уже потом ни одалживать, ни дарить нельзя. А выбрасывать — тем более плохая примета, болеть будешь". Так появилась моя первая трубка, давно уже прогоревшая, которую я храню до сих пор.

Ну, а потом пошло-поехало. Я узнал, что курить одну и ту же трубку нельзя, она устает. Что в день надо менять несколько трубок. Поскольку я курил не более трех-четырех раз в день, то остановился на английском варианте — три трубки: утренняя, дневная и вечерняя. Так и вошел во вкус. Хранил трубки в специальном футляре, к каждой свой ершик, табак в специальном кисете. Трубочный табак годится только для трубки, ни в какие скрутки его не свернешь и ни в какие папиросные гильзы его не засунешь, он специальной выделки и с особым густым ароматом.

В силу своего природного любопытства я стал интересоваться историей курения и узнал очень много любопытных фактов. История курения насчитывает более трех тысячелетий, от древних индейских племен. Обнаруженные в курганах и захоронениях глиняные и каменные трубки очень высоко ценятся как музейные реликвии. Особенно дороги частные коллекции. В Средней и Северной Америке трубки делали из мягкого

красного камня — катлинита. В Южной Америке трубки изготавливали, как правило, из древесины. Вообще, все трубки изготавливались в форме фигурок людей и животных, очень тщательно и детально проработанных. У древних майя трубки почему-то делались в виде мужского детородного органа. Известная всем "трубка мира" индейцев представляла собой томагавк с чубуком для курения.

В Европе курение прижилось после открытия Нового Света и довольно долго считалось "бесовским" занятием, за которое можно было угодить в тюрьму. Поэтому и появились трубки с головой Мефистофеля. Широкое признание курения табака началось с XVI века в Англии — оно превратилось в выгодную статью дохода. Вскоре и Голландия догнала англичан.

В течение ста лет после открытия Америки курение распространилось по всему свету. Началось изготовление глиняных трубок по специальной лицензии. В Дании изготовлением трубок занимался королевский фарфоровый завод.

Первым россиянином, закурившим трубку, был царь Петр Первый, обучавшийся у голландцев кораблестроению. Он вернулся в Россию с мешком табака и дюжиной голландских трубок. Вторым курильщиком стал светлейший князь Меньшиков. Ну, а потом последовал высочайший указ "трубки курить, бороды брить". И Россия задымила.

Далее на очереди был Восток — ему помогли Португалия и Испания. Там уже стали делать трубки с мундштуками из янтаря. Там появился новый способ курения — пропускать дым через ароматную воду. Так появился кальян. Для знати трубки для кальяна мастера инкрустировали драгоценностями. В богатых дворцах появилась должность "чибукши" — мастера по кальянам, умевшего приготовлять ароматизированную воду путем добавления разных эссенций. В Стамбуле во дворце-музее Топкапы можно увидеть такую коллекцию трубок-кальянов, которые не уступят известным ювелирным изделиям.

В Китае кальян превратился в длиннющий мундштук с крохотной чашечкой на конце для шарика опия. Японцы делали трубки в виде фигурок из кости — "нэцке". Они очень дорогие и являются предметом коллекционирования. В Африке трубки делали из костей, бивней, бамбука и колебаса — высушенной тыквы. Африканские трубки очень разнообразны.

Обычно трубки делаются из дерева ореха, груши или вишни, но только не из дуба — из-за горьковатого привкуса. Первые американские фермеры делали трубки из кукурузных кочерыжек после годовой высушки.

Но все деревянные трубки страдали одним недостатком — быстро прогорали, а фарфоровые — весьма хрупкие и обжигают руки.

Появились пенковые трубки из мягкого минерала. Он называется "морская пена". Это вековая смесь мертвых моллюсков с песком. Еще его называют *афродит* или *сениолит* и добывают на большой глубине у берегов Турции и Восточной Африки. Материал хорошо обрабатывается и полируется.

Сейчас же основная масса курительных трубок изготавливается из древовидного вереска бриэр — это разновидность черного дерева. В ход идут только корни растения в возрасте 80-100 лет. Хорошие курительные трубки очень дороги. Это не значит, что и сейчас не делают трубки из разного материала, но настоящие хорошие трубки имеют клеймо и паспорт. Кстати, трубки с крышечкой изготовляют, как правило, для моряков. Когда я в Гамбурге купил очередной бриэр, в коробочке лежало напутствие: "Пепел от вашей сигареты может стать вашим пеплом". Лучше не скажешь.

Ни одной трубки я не потерял и не выбросил. Их хранит моя дочь в огромной кружке в форме одноглазого пирата — типичного стивенсонского Джона Сильвера. Незабываемый аромат сохранился и сейчас. Понюхал я свои трубки, и показалось, что старик Сильвер мне подмигнул. Но я не закурил — и вам не советую.



Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол!

Евгений и Татьяна

Лирическая мини-трагедия в 10 действиях и без единого акта

Действующие лица:

Мужчина — Правильный холостой мужчина лет 55. Мечта любой женщины. Старше 50.

Женщина — Самая симпатичная в доме из всех незамужних женщин. Старше 50.

Действие 1

Лестничная клетка. Мужчина ковыряется в замке, чертыхается. Из соседней двери выходит Женщина, подозрительно смотрит на мужчину.

Ж. Вы что тут делаете? Это квартира Курдюкина!

М. Где-то у меня был нож... (*Достает нож, раскрывает, пробует лезвие.*)

Ж. (*с испугом*). Не надо нож! Вообще-то, этот Курдюкин мне никогда не нравился...

М. (*ковыряя ножом в замке*). Это теперь моя квартира. Я не вор, я ваш новый сосед.

Ж. Да? Тогда давайте знакомиться. Как вас зовут?

М. Меня?.. Только не смейтесь... Евгений Онегин.

Ж. А я Татьяна Ларина.

М. Вот всегда так! (*Сует ей паспорт.*) Приходится всегда носить с собой. Читайте: Онегин Евгений... Сидорович.

Ж. (*достает из сумочки паспорт, дает ему*). Ларина Татьяна Ивановна.

М. Вот так встреча! (*Смотрит на Ж.*) Вы это... Вы сегодня вечером что делаете?

Ж. Ну... Вообще-то, я не замужем... И сегодняшний вечер у меня не занят...

М. Вот хорошо! Я вечером вещи буду возить — посторожите? (*Дверь, наконец, открывается.*) До вечера!

Действие 2

Она тихонько выглядывает из-за своей двери на лестничную клетку, потом на цыпочках подкрадывается к его двери, прислушивается. Вдруг она вздрагивает, оглядывается и видит непонятно откуда взявшегося соседа.

Ж. Ай!

М. Я же вам сказал, я не вор, я — ваш новый сосед.

Ж. Как будто нельзя быть и тем, и другим... Мой старый сосед как раз был вором, да еще и женатым.

М. Ну, если это так важно, то я, во-первых, не вор, а во-вторых, не женат.

Ж. (*поднимает пальчик, поправляя*). Во-первых, не женат. А не вор — это... во-вторых.

Действие 3

Женщина идет с полным мусорным ведром, навстречу Мужчина с пустым мусорным ведром. Женщина пытается избежать встречи, но он ее догоняет.

М. Что с вами? Это же я, Онегин!

Ж. Я вижу! Но у вас же пустое ведро! Это плохая примета!

М. Я лично в приметы не верю.

Ж. Это естественно. Вы такой сильный мужчина! А я всего лишь слабая женщина. Неужели вы совсем-совсем не верите?

М. Ни грамма! Вот высыпайте ваше ведро — увидите.

Ж. Благодарю вас! (*Высыпает свое ведро в его пустое.*) Вот что значит настоящий мужчина! Я подожду вас у парадного.

Действие 4

Женщина стоит у своей приоткрытой двери на лестничной клетке и несколько секунд мнется, поглядывая на дверь соседа, в зеркальце и на часы. Наконец, соседская дверь открывается, и выходит Мужчина. Женщина дергает своей дверью, имитируя, что она тоже вышла в этот же момент.

М. О! Здравствуйте! Мы с вами одновременно, как будто договаривались.

Ж. (*машет пальчиком*). Ну-ну... Мы с вами еще не договаривались. Хотя одна моя знакомая нашла свое счастье как раз на лестничной площадке.

М. Неужели?

Ж. Да. Оно лежало там пьяное, грязное и вонючее... Такое у нее счастье!

Действие 5

Женщина стоит у выхода из парадного, посматривает наверх и прислушивается, обильно припудривается — поджидает соседа сверху.

Ж. (*пудрясь, себе*). Опять кончается... Вот мерзавцы! Негодяи! Подонки!

Он спускается по лестнице, а она, увлекшись, его не замечает.

М. Кого это вы так?

Ж. Представляете, пудру с каждым годом все хуже выпускают. Раньше мне ее на месяц хватало, а теперь максимум на два дня.

Действие 6

Женщина звонит в дверь к Мужчине. У нее в руке полная ложка. Он открывает.

Ж. Я прошу прощения. Попробуйте суп, пожалуйста. У меня сегодня что-то со вкусом.

М. Хм... Ну, давайте. (*Пробует и застывает, с трудом сдерживаясь...*)

Ж. Ну как? Что вы молчите?

М. (*с трудом выдавливая из себя*). Вкусно... Сказочно...

Ж. Да?! А мне почему-то показалось, что протухло... (*Уходя.*) Точно! Что-то у меня сегодня со вкусом...

Действие 7

Женщина выходит из своих дверей, поправляет волосы, смотрит в зеркальце пудреницы, звонит в дверь мужчины. Он открывает. Слышно, как громко у него орет телевизор — идут новости.

Ж. Извините, Евгений Сидорович, но у нас в доме такие тонкие стены, все слышно... Вы смотрите сейчас новости, да?

М. Да. А что, громко очень?

Ж. Нет-нет. Просто у меня что-то с телевизором, изображение хоть какое-то есть, а звука вообще нет. А я очень хотела послушать новости. Если я вам не помешаю...

М. Да ради бога, что мне, жалко? Идите себе спокойно домой, а я сейчас сделаю еще громче, чтоб у вас тоже было слышно! Я мигом!

Закрывает дверь, Женщина вздыхает, идет к себе.

Действие 8

Женщина быстро поднимается по лестнице, испуганно оглядываясь назад, ее догоняет Мужчина.

М. Татьяна Ивановна! Как дела?

Ж. (*хватается за сердце*). Как вы меня напугали! Ужас! Я думала, за мной идет какой-то незнакомый мужчина.

М. Жаль, что в доме лифта нет. Ехали бы мы с вами в лифте — вы бы не пугались.

Ж. Ну, с вами да. А если я в лифте с незнакомым мужчиной?! Вы это себе представляете?

М. Нет...

Ж. Нет? (*Вздохнув.*) А я себе часто представляю: я в лифте, с незнакомым мужчиной... Фантазии, фантазии... (*Идет дальше.*) Так жизнь и прошла...

Действие 9

Ночь. Женщина в халатике звонит соседу. Он открывает дверь, зевая.

Ж. Извините, Евгений Сидорович, я понимаю, уже час ночи, но для меня это крайне важно. Вы разбираетесь в электричестве?

М. Да. А что случилось?

Ж. У меня сломался ночник. Прямо над моей постелью. Идемте скорей!

М. (*возмущенно*). И вы хотите, чтобы я среди ночи пошел, залез к вам в постель и чинил ночник?

Ж. Зачем вы так нервничаете? Ну, хорошо, идемте — ночник можно не чинить... (*Он захлопывает дверь.*)

Действие 10

У почтового ящика встречаются Мужчина и Женщина.

Он достает из ящика письмо, смотрит на адрес. Подходит Женщина.

Ж. Здравствуйте, Евгений Сидорович.

М. Вы написали мне письмо? (*Показывает письмо.*) Вот, тут даже адреса нет. Только "от Татьяны Лариной" и все.

Ж. (*вздохнув*). Да, я вам пишу! Чего же боле? Что я могу еще сказать... Женя! Вы такой холостой... то есть я хотела сказать — такой симпатичный! Совсем не то, что этот Селедкин из 5-й квартиры. (*Стучит пальчиком по ящику с номером 5.*)

М. Вы думаете?

Ж. Конечно. Даже наша соседка Светка вчера сказала, что вы очень симпатичный.

М. Правда? Если бы вы знали, как я ждал этих слов! (*Берет ее за руку.*) Вы дали мне надежду на счастье! Спасибо вам! Я же из-за нее сюда и переехал! Побегу к ней! (*Сует ей письмо и бежит вверх.*)

Ж. Женя! Куда же вы?... (*Смотрит ему вслед.*) Прощай, Евгений...

Смотрит на письмо, на письменные ящики, вздыхает, сует письмо в ящик № 5 и идет вверх по лестнице.

Конец

Возвращение Одессы
Возвращение в Одессу



Анатолий ГОРБАТЮК
Дитя Европы
Одесса, Optimum, 2006

Мы постепенно освобождаемся от исторической, навязанной нам летаргии, и возвращаемся в свой город, тот, давний, воспетый пушкинскими строками, прославленный знаменитыми именами его первостроителей.

Словно Феникс из пепла забытья, возрождается наша память о чуде Одессы, о дерзновенном и блистательном расцвете города, возникшего на границе двух безбрежных миров — Моря и Степи, впитавшего воздух и вольность двух этих пространств, старательно и мудро освоившего наследие великой средиземноморской цивилизации — от финикийцев до греков и римлян, явившего изумленной России и ее соседям свой благородный европейский облик.

Мы до сих пор удивляемся тому, что какую историческую, генеалогическую нить не потяни, она, как нить Ариадны, приведет тебя в Одессу, щедро развеявшую свои благодатные семена по всему миру. Еще бы! Потомки того многоязыкого племени, той неповторимой общности, получившей звучное имя — одесситы, впитавшие от рождения вольный дух города, любовь к простору, наделенные дерзкой отвагой (сказано же было "Жизнь требует уменья и отваги!"), рассеялись по всему свету, оставив последующим поколениям свой драгоценный опыт. Некоторые из них, подобно Одиссею, вернувшемуся в Итаку (помните, у Мандельштама — "Одиссей возвратился пространством и временем полный"?), возвращались в Одессу. Вот и автор, или Автор, как говорит он о себе на страницах книги, предлагаемой вниманию читателя, Анатолий Исаакович Горбатюк, изведав дух пространства и времени, вернулся из благополучного Лос-Анджелеса в родную Одессу (да еще и в свою бывшую квартиру, чему он особенно радуется!). И там, в Лос-Анджелесе, одесская закваска бродила в нем. Он собрал там одесское землячество, ре-

дактировал газету "Одесский маяк", словно стараясь держать руку на аритмичном одесском пульсе...

Одесса не отпускала, тянула к себе. И он вернулся в "родные палестины".

И написал книгу, уже не первую, книгу, полную нежности и любви к родному городу, благодарного восхищения, преклонения перед всеми, кто основал и создавал наш город, — от Екатерины Великой до де Рибаса, де Волана, дюка де Ришелье, графа Ланжерона, графа, потом светлейшего князя М.С. Воронцова...

Автор и радуется, и печалится со своими героями, страдает от несправедливостей и горестных поворотов в их судьбах. И в этой палитре авторских чувств и переживаний, скорее сопереживаний, непременно присутствует одесский юмор — легкий, искрящийся, не натужный, как у многих, пытающихся поэксплуатировать это подлинно одесское достояние.

Чего стоят страницы, повествующие о поисках Автором усыпальницы нашего (!) "одесского Дюка" в Париже! Забыли его французы, а мы помним, и будем помнить — таков был его вклад в развитие и процветание Одессы.

А нестерпимая боль по поводу противостояния "Воронцов — Пушкин, Пушкин — Воронцов"! Автор не стесняется своих чувств в попытке развести эту "дуэль", длящуюся почти два века в памяти потомков...

Благодарная память Автора с волнением подмечает счастливый, я бы сказал, судьбоносный для Одессы, день — 10 апреля. Еще бы! В 1854 году, во время Крымской кампании, на Платоновском молу (дорогое для Автора, много лет проработавшего в одесском порту, место) "небольшая (4 орудия) батарея под командованием юного прапорщика Александра Щеголева... в течение почти семи часов вела неравную артиллерийскую дуэль с батареями девяти вражеских судов". Англо-французский десант не смог высадиться и оккупировать Одессу.

Ровно через девяносто лет, 10 апреля 1944 года, Одесса была освобождена от немецких оккупантов. Знамение судьбы!

В руках у читателя книга, где искренне и взволнованно описаны не просто биографии, а судьбы людей, подвижнически служивших нашему городу, а вместе с ними и прекрасная судьба Лучшего-в-мире-Города! Великие люди построили Великий город, давший миру бесчисленное множество своих талантливых детей.

Как когда-то за книгу об одесском джазе, написанную тем же автором, я благодарен ему за то, что так страстно, так живо, так по-одесски он написал новую книгу о "Южной Пальмире". Вслед за очерками Андрея Доб-

ролюбского и Евгения Новицкого о предыстории Одессы она может стать учебным пособием — и в старших классах школы, и в колледжах, и в университетах.

Продолжу еще одну мысль. Думаю, как во Франции — Ришелье и Ланжерона, так в Испании и Италии забыли де Рибаса. А это значит, что книгу следует перевести на европейские языки, и это будет вкладом Одессы в осознание европейцами не только истории Одессы, но и своей роли в создании нашего города.

Так что предвижу, что у этой книги может сложиться долгая и интересная судьба.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

От тюрьмы, от сумы и от "Букера"...



Владимир КАТКЕВИЧ
Европейская шабашка
Одесса, Optimum, 2006

В дарственной надписи на титульном листе своей новой книги Владимир Каткевич назвал меня "первым читателем "Шарашки". Действительно, я имел причастность к публикации глав будущего романа на страницах одной из газет. Не скрою — испытываю к его творчеству особый интерес, и вот почему. Мы — коренные одесситы, наше детство пришлось на послевоенные годы, мы учились плавать на одних и тех же "скалках", читать — в одних и тех же библиотеках... Нас объединяет и "охота к перемене мест", на многие города и страны мы смотрели с Володей, как бабелевские герои на цветущий луг, но вот угол зрения у нас был разный.

В морских путешествиях я был пассажиром и вел не вахтенный журнал, а журналистский дневник, Каткевич — членом экипажей черноморских судов, на которых совершил кругосветку. С распадом СССР и гибелью ЧМП (дело идет к тому, что дети, того и гляди, не смогут расшифровать эти аббревиатуры) кадровый мореман был вынужден, как и многие

ролюбского и Евгения Новицкого о предыстории Одессы она может стать учебным пособием — и в старших классах школы, и в колледжах, и в университетах.

Продолжу еще одну мысль. Думаю, как во Франции — Ришелье и Ланжерона, так в Испании и Италии забыли де Рибаса. А это значит, что книгу следует перевести на европейские языки, и это будет вкладом Одессы в осознание европейцами не только истории Одессы, но и своей роли в создании нашего города.

Так что предвижу, что у этой книги может сложиться долгая и интересная судьба.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

От тюрьмы, от сумы и от "Букера"...



Владимир КАТКЕВИЧ
Европейская шабашка
Одесса, Optimum, 2006

В дарственной надписи на титульном листе своей новой книги Владимир Каткевич назвал меня "первым читателем "Шарашки". Действительно, я имел причастность к публикации глав будущего романа на страницах одной из газет. Не скрою — испытываю к его творчеству особый интерес, и вот почему. Мы — коренные одесситы, наше детство пришлось на послевоенные годы, мы учились плавать на одних и тех же "скалках", читать — в одних и тех же библиотеках... Нас объединяет и "охота к перемене мест", на многие города и страны мы смотрели с Володей, как бабелевские герои на цветущий луг, но вот угол зрения у нас был разный.

В морских путешествиях я был пассажиром и вел не вахтенный журнал, а журналистский дневник, Каткевич — членом экипажей черноморских судов, на которых совершил кругосветку. С распадом СССР и гибелью ЧМП (дело идет к тому, что дети, того и гляди, не смогут расшифровать эти аббревиатуры) кадровый мореман был вынужден, как и многие

наши земляки, стать шабашником. Увиденное и пережитое на рынке дешевой рабочей силы стран ЕС Владимир Каткевич описал в романе-дилогии "Европейская шабашка", недавно вышедшем в издательстве "Оптимум".

На обложке — фотография, сделанная в баварской столице Мюнхене, на главной его площади Мариенплатц. Несколько раз в день — в любое время года — сюда собираются гости города, чтобы поглазеть на действо, длящееся уже много лет: под перезвон курантов на самой верхотуре оживают фигурки, изображающие рыцарей, королевскую чету, наблюдающую за турниром, и, наконец, Смерть, завершающую представление, увы, традиционным концом...

В начале 90-х в этой толпе зевак я вполне мог оказаться рядом с Володей. Мы бы перебросились парой слов, и он побежал бы на вокзал, чтоб продолжить "Почтовый путь на Галле" (так называется первая часть дилогии) — в старинный саксонский город, где вкалывал на вчерашних гедеэровцев, еще не подзабывших русский язык...

Во второй части дилогии герой пытается интегрироваться, а если проще — заработать пару евро в Греции. И на северном, и на южном флангах НАТО ему приходится одинаково кисло...

Можете себе представить, что пережил за эти годы тонко чувствующий, воспитанный на русской классике, склонный к рефлексии (хотя и рефмеханик) человек, которого если что спасло от беса уныния, то самоирония и писательский дар.

Внимательный читатель, даже многое на Земле повидавший (всласть, а не в нужде), на примере автора еще раз убедится, что от сумы и от тюрьмы не отрекаются любя...

Выход книги В. Каткевича в родной Одессе оживляет наш литературный пейзаж. Она читается легко, и смех в ней перемежается с задумчивостью. В последнее время нашего земляка охотно печатают толстые журналы — российские и украинские. В том числе и наш альманах "Дерибасовская — Ришельевская", публикующий в нынешнем номере его рассказ о путешественниках. Сам Сергей Юрский, как правило, не отличающийся комплиментарностью, еще в 1999 году сетовал: "Вызывает сожаление, что в шорт-лист премии "Букер" не вошли многие достойные книги. Обидно, что номинантом не стал Владимир Каткевич с "Германской шабашкой".

С выходом в 2007-м еще и "Шабашки греческой", уверен, шансов на "Букер" у нашего земляка прибавилось.

Феликс КОХРИХТ

Другие берега



Николай ЩЕРБАНЬ
Белые грозы
Одесса, Печатный дом, 2006

В Одесской государственной научной библиотеке имени М. Горького состоялась презентация нового поэтического сборника Николая Щербаня "Белые грозы", выпущенного издательством "Печатный дом". В адрес автора прозвучало немало добрых, искренних слов из уст университетских преподавателей, литературоведов, писателей, журналистов, студентов. Стихи Щербаня чисты, мудры, исповедальны, лиричны.

"От рощи светлой синью веет,
Пришел на исповедь к березам.
Они одни понять сумеют
Скупые искренние слезы".

Открывается сборник подборкой стихотворений, написанных автором на украинском языке, и это — не конъюнктурный ход, а органичный способ поэтического самовыражения, ведь, как признался сам Николай Щербань в обращении к читателям, — "українська мова — мова моєї рідної Матері. І перед російською мовою з вдячністю схиляю голову, бо саме вона відкрила переді мною двері в неосяжний світ планетраної культури". Автор включил в сборник стихотворения и на украинском, и на русском языках, поскольку они равноправные помощники в осмыслении событий его долгой и беспокойной жизни. Или, как он сам определил, два языка для него — как два берега у одной реки.

"...Біліє в травні цвітом старість,
І сумом повняться роки".

"Душу очистят и сердце омоют
Белые грозы — и станет светлей".

Характерная, яркая черта поэзии Николая Щербаня — обращение автора к явлениям и образам природы (качество, кстати, многими современными поэтами невостребованное, если не сказать — утраченное напрочь). Читая стихотворения из сборника "Белые грозы", волей-неволей проникаешься восхищением — почти детским, — вызванным у автора скромной красотой полевых цветов, буйным цветом сирени или легким дуновением ветерка. Именно они помогают ему ощутить полноту вечного и прекрасного человеческого чувства — любви, и не столь важно, взаимной или неразделенной, главное — искренней и чистой.

"Косят травы вдоль лесных посадок,
В подвечерье липы золотятся.
Аромат их непривычно сладок —
Время жить и солнечно влюбляться".

Полноправным соавтором сборника является одесский фотохудожник Леонид Сидорский: его выразительные пейзажи и этюды не просто иллюстрируют, а органично дополняют поэтическое слово, помогая читателю открыть и полюбить красоту причерноморской природы.

Виктория ФРОЛОВА

Содержание

От редакции 3

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

Елена ПОЛЕВЩИКОВА
Французские волонтеры в Измаиле: неопубликованная записка графа Ланжерона 6

Олег ГУБАРЬ
Дом Никифорова: Успенская, № 21 (Маразлиевская, № 1) 12

А.В. ГЛУШКО
Взаимоотношения академика В.П. Глушко со своими руководителями 15

Владимир КАТКЕВИЧ
Внучка Сталина и Кленов на фоне Эвереста 32

ПРОЗА

Аркадий ЛЬВОВ
Двор 45

Анатолий КОНТУШ
Прерывистые линии 69

Александр МАРДАНЬ
Меню 120

Александр ГРИНБЛАТТ
Зико 128

Ганна КОСТЕНКО
Не дивись так… 140

Валерий КУЗНЕЦОВ
Уманское утро 147

ПОЭЗИЯ

Юрий МИХАЙЛИК
"Звезда морей — из серого песчаника..." 155

Ефим ЯРОШЕВСКИЙ
Стансы времени 156

Валерий СУХАРЕВ
Литография 169

ДРАМАТУРГИЯ

Юрий БЫЧКОВ
Любить пересмешника 174

ЖИЗНЬ — ИСКУССТВО — ЖИЗНЬ

Михаил ОБУХОВСКИЙ
Французский художник — сын Одессы 205

Валентин МАКСИМЕНКО
Новый поэтический сборник и вся жизнь 213

Ласло САБО
Книга об Одессе — в Венгрии 218

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Портреты одесских художников 224

Инна КАМИНА
Интересные люди: кто они? 225

Эвелина ШАЦ
Горе от ума, или Сатурн пожирает своих сыновей 233

Кира САПГИР
Ночь Спинозы 241

Ольга БАРКОВСКАЯ
Журнальная графика Л. Пастернака 245

Виталий АМУРСКИЙ
Мучительное право — любить 250

ПУБЛИКАЦИИ

Алена ЯВОРСКАЯ
"На перекрестке Степовой мы нынче дружно заседаем..." 262

Семен КИРСАНОВ
Новый быт 266

Пародии о ГУЛАГе 268
Публикация Аркадия ВАЙНЕРА, Эдуарда КУЗНЕЦОВА

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна ЩУРОВА
"...И красный гимн поют свирели" 274

АХ, ОДЕССА

Борис БОРУКАЕВ
Общее Солнце... 286

Михаил ЧАБАН
Фразы моего отца 291

Олег ГУБАРЬ
Бабушка Пастернака 298

Михаил ЛАНДЕР
Старая трубка 301

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК
"Городок" — пятый угол! 305

ИЗДАНО В ОДЕССЕ

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Возвращение Одессы. Возвращение в Одессу 310

Феликс КОХРИХТ
От тюрьмы, от сумы и от "Букера"… 312

Виктория ФРОЛОВА
Другие берега 314

Литературно-художественное издание

ДЕРИБАСОВСКАЯ — РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Одесский альманах

Книга 29

DERIBASOVSKAYA — RISHELIEVSKAYA

Odessa almanac

Book 29

Издается с 2000 года

Технический редактор Андрей Вишненко
Корректор Татьяна Коциевская

Оригинал-макет, верстка
ТИА "Вікна-Одеса"
Тел. 77-33-705

Подписано в печать 16.06.2007.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Формат 60x84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Зак. № 2. Тираж 500 экз.

www.odessitclub.org

Отпечатано в типографии издательства "Печатный дом"